

Иван СОЛОНЕВИЧ

РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ

Пятое издание

Издательство П. Р. Ваулина

Права на переиздание этой книги сохранены за наследниками
автора.

1958 год

Адрес издателя: Paul R. Vaulin, P.O. Box 1084, Washington 13, D.C.

ОГЛАВЛЕНИЕ

НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОБЪЯСНЕНИЙ	4		
ВОПРОС ОБ ОЧЕВИДЦАХ	4		
ДВЕ СИЛЫ	4		
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ	5		
ИМПЕРИЯ ГУЛАГА	6		
БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ КОМБИНАТ — ББК	8		
ОДИНОЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ	8		
БЫЛО ЛИ ЭТО ОШИБКОЙ?	9		
О МОРАЛИ	11		
ТЕОРИЯ ВСЕОБЩЕГО НАДУВАТЕЛЬСТВА	11		
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА	12		
ДОПРОСЫ	15		
СТЁПУШКИН РОМАН	17		
СИНЕДРИОН	18		
ПРИГОВОР	19		
В ПЕРЕСЫЛКЕ	20		
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ТЮРЬМА	21		
УМЫВАЮЩИЕ РУКИ	22		
ЯВЛЕНИЕ ИОСИФА	23		
ЭТАП	26		
ВЕЛИКОЕ ПЛЕМЯ «УРОК»	28		
ДИСКУССИЯ	30		
ЛИКВИДИРОВАННАЯ БЕСПРИЗОРНОСТЬ	31		
ЭТАП, КАК ТАКОВОЙ	32		
ЛАГЕРНОЕ КРЕЩЕНИЕ	34		
ПРИЕХАЛИ	34		
НОВЫЙ ХОЗЯИН	34		
ЛИЧНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ	35		
В БАРАКЕ	36		
БАНЯ И БУШЛАТ	37		
ОБСТАНОВКА В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ	40		
БОБА ПРИСПОСАБЛИВАЕТСЯ	40		
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА	41		
ТЕОРИЯ ПОДВОДИТ	41		
ЧТО ЗНАЧИТ РАЗГОВОР ВСЕРЬЕЗ	43		
РОССИЙСКАЯ КЛЯЧА	45		
РАЗГОВОР ВСЕРЬЕЗ	45		
СКАЧКА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ	47		
УРКИ В ЛАГЕРЕ	48		
ПОДПОРОЖЬЕ	49		
НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ	50		
ОПОРА ВЛАСТИ	51		
«ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ К МАССАМ»	51		
РОЖДЕНИЕ АКТИВА	52		
НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОПРИЩЕ	53		
КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ	54		
ЧЕРТОВЫ ЧЕРЕПКИ	56		
АКТИВ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ	56		
		СТАВКА НА СВОЛОЧЬ	58
		ЛАГЕРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ АКТИВА	59
		РАЗГОВОР С НАЧАЛЬСТВОМ	61
		ТЕХНИКА ГИБЕЛИ МАСС	62
		БЕСПОЩАДНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМЫ	62
		АКТИВИСТСКАЯ ПОПРАВКА К СИСТЕМЕ БЕСПОЩАДНОСТИ	63
		ЗА ЧТО ЛЮДИ СИДЯТ?	65
		АКТИВ СХВАТИЛ ЗА ГОРЛО	66
		ТОВАРИЩ ЯКИМЕНКО И ПЕРВЫЕ ХАЛТУРЫ	68
		БАРИН НАДЕВАЕТ БЕЛЫЕ ПЕРЧАТКИ	70
		БАМ— БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ	74
		МАРКОВИЧ ПЕРЕКОВЫВАЕТСЯ	74
		МИШИНА КАРЬЕРА	77
		НАБАТ	78
		ЗАРЕВО	79
		О КАЗАНСКОЙ СИРОТЕ И О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ	80
		ПРОМФИНПЛАН ТОВАРИЩА ЯКИМЕНКО	81
		КРИВАЯ ИДЕТ ВНИЗ	81
		ПЛАНЫ ОТЧАЯНИЯ	82
		МАРКОВИЧА ПЕРЕКОВАЛИ	83
		НА СКОЛЬЗКИХ ПУТЯХ	84
		ИЗМОР	87
		ВСТРЕЧА	87
		СРЫВ	89
		Я ТОРГУЮ ЖИВЫМ ТОВАРОМ	90
		СНОВА ПЕРЕДЫШКА	92
		ДЕВОЧКА СО ЛЬДОМ	93
		НОЧЬ В УРЧЕ	94
		ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН	95
		ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА	99
		ПРОФЕССОР БУТЬКО	107
		ЛИКВИДАЦИЯ	110
		ПРОБУЖДЕНИЕ	110
		ЛИКВИДКОМ	112
		СУДЬБЫ ЖИВОГО ИНВЕНТАРЯ	113
		ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ	113
		САНИТАРНЫЙ ГОРОДОК	114
		ПЛАНЫ ДЕРУТСЯ	116
		ЯКИМЕНКО НАЧИНАЕТ ИНТРИГУ	119
		ТЕОРИЯ СКЛОКИ	120
		НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА	123
		СВИРЬЛАГ	128
		ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ КВАРТАЛ	128
		ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ	128
		РАЗБОЙ СРЕДИ ГОЛЫХ	129
		ВШИВЫЙ АД	129
		ИДУЩИЕ НА ДНО	130
		ПРОФЕССОР АВДЕЕВ	132
		ИСТОРИЯ АВДЕЕВА	132
		ПОД КРЫЛЬЯМИ АВДЕЕВСКОГО ДЬЯВОЛА	135
		ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОДПОРОЖЬЯ	138
		ПРОЛЕТАРИАТ	140
		МЕДГОРА	140
		ТРЕТИЙ ЛАГПУНКТ	143

НА ЧЕРНОРАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ	144	ВТОРОЕ БОЛШЕВО	227
РАЗГАДКА 135 ПРОЦЕНТОВ	145	ПО КОМАНДИРОВКЕ	228
ТРУДОВЫЕ ДНИ	148	ЧЕРТОВА КУЧА	229
ИЗВЕРНУЛИСЬ	149	НАЧАЛЬСТВО	229
СУДОРОГА ТЕКУЧЕСТИ	150	ТРУДОВОЙ ПЕЙЗАЖ	231
КАБИНКА МОНТЕРОВ	151	ИДЕАЛИСТ	231
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	156	БЕСПРИЗОРНЫЕ БУДНИ	233
КУЛАК АКУЛЬШИН	157	СТРОИТЕЛЬСТВО	234
КЛАССОВАЯ БОРЬБА	160	ВИДЕМАН ХВАТАЕТ ЗА ГОРЛО	238
ЗУБАМИ — ГРАНИТ НАУКИ	162	ВОДРАЗДЕЛ	240
НА ВЕРХАХ	166	ПОБЕДИТЕЛИ	245
ИДИЛЛИЯ КОНЧАЕТСЯ	166	ПОБЕЖДЕННЫЕ	247
«ДИНАМО»	166	ПОБЕГ	250
ТОВАРИЩ МЕДОВАР	167	ОБСТАНОВКА	250
СУДЬБА ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ	169	ПОИСКИ ОРУЖИЯ	254
ПРОЩАНИЕ С НАЧАЛЬНИКОМ ТРЕТЬЕГО ЛАГПУНКТА	170	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ	256
АУДИЕНЦИЯ	171	ИСХОД ИЗ ЛАГЕРЯ	258
ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР	173	ПОРЯДОК ДНЯ	262
БЕСПЕЧАЛЬНОЕ ЖИТЬЕ	175	ПЕРЕПРАВЫ	263
ПО ШПАЛАМ	177	В ФИНЛЯНДИИ	269
ВОЛЬНОНАЕМНЫЕ	178	У ПОГРАНИЧНИКОВ	272
ПЯТЫЙ ЛАГПУНКТ	180	В КАТАЛАЖКЕ	276
НЕМНОГО О ФИЗКУЛЬТУРЕ	181		
«СЕКРЕТ»	182	Борис Солоневич. МОЙ ПОБЕГ ИЗ «РАЯ»	
СЛЕТ УДАРНИКОВ	182	ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ — 28 июля 1934 года	278
ПЕРЕКОВКА В КАВЫЧКАХ	184	ПЕРВАЯ ЗАДАЧА	278
ПЕРВЫЕ ТЕРРОРИСТЫ	187	МОЙ ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ	278
ОТЦЫ И ДЕТИ	189	МАТЧ	279
О СВИДЕТЕЛЯХ И О КАБАКЕ	191	ЗАДАЧА НОМЕР ДВА	280
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРАЖЕНИЯ КАБАКА	192	СРЕДИ ЛЕСОВ И БОЛОТ	281
СПАРТАКИАДА	193	ВПЕРЕД	281
ДИНАМО ТАЕТ	193	ГОРЬКИЕ МЫСЛИ	282
БЕСЕДА С КОРЗУНОМ	194	ПЕРВАЯ ОПАСНОСТЬ	282
ПЛАН ВЕЛИКОЙ ХАЛТУРЫ	196	НА ВОЛОСОК ОТ ОБИДНОЙ ГИБЕЛИ	283
СОЛОВЕЦКИЙ НАПОЛЕОН	197	В ТУПИКЕ	284
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ХАЛТУРЫ	199	НОЧЬЮ	284
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВИХРЬ	199	ВПЛАВЬ	285
КАК ОТКРЫВАЕТСЯ ЛАРЧИК С ЭНТУЗИАЗМОМ	200	ЛАЙ СЗАДИ	285
ТРАМПЛИН ДЛЯ ПРЫЖКА К ГРАНИЦЕ	201	ВСТРЕЧА	286
РЕЗУЛЬТАТЫ	203	СТОЙ!	287
ЕСЛИ БЫ	203	СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГАЗ	288
ПРИПОЛЯРНЫЕ ОГУРЦЫ	204	ГРАНИЦА	288
КУРОРТ НА ВИЧКЕ	205	СПАСЕН	288
НА САМЫХ ВЕРХАХ	206	СРЕДИ ЛЮДЕЙ	289
ВОДНАЯ СТАНЦИЯ	207	ЭПИЛОГ	289
МОЛОДНЯК	209	НА НАСТОЯЩЕЙ ВОЛЕ	290
ВИЧКИНСКИЙ КУРОРТ	209	ПОСЛЕСЛОВИЕ	290
ТОВАРИЩ ЧЕРНОВ	215	ОТ ИЗДАТЕЛЯ	291
ЕЩЕ О КАБИНКЕ МОНТЕРОВ	217		
ПРИМИРЕНИЕ	220		
«НАЦИОНАЛИСТЫ»	221		
ПАНАМА НА ВИЧКЕ	224		
ПРОСВЕЧИВАНИЕ	225		
ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ	227		

НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОБЪЯСНЕНИЙ

ВОПРОС ОБ ОЧЕВИДЦАХ

Я отдаю себе совершенно ясный отчет в том, насколько трудна и ответственна всякая тема, касающаяся советской России. Трудность этой темы осложняется необычайной противоречивостью всякого рода «свидетельских показаний» и еще большей противоречивостью тех выводов, которые делаются на основании этих показаний.

Свидетелям, вышедшим из советской России, читающая публика вправе несколько не доверять, подозревая их, и не без некоторого психологического основания, в чрезмерном сгущении красок. Свидетели, наезжающие в Россию извне, при самом честном своем желании технически не в состоянии видеть ничего существенного, не говоря уже о том, что подавляющее большинство из них ищет в советских наблюдениях не проверки, а только подтверждения своих прежних взглядов. А ищущий, конечно, находит...

Помимо этого значительная часть иностранных наблюдателей пытается — и не без успешно — найти положительные стороны сурового коммунистического опыта, оплаченного и оплачиваемого не за их счет. Цена отдельных достижений власти — а эти достижения, конечно, есть — их не интересует: не они платят эту цену. Для них этот опыт более или менее бесплатен. Вивисекция производится не над их живым телом. Почему же не воспользоваться ее результатами?

Полученный таким образом «фактический материал» подвергается затем дальнейшей обработке в зависимости от насущных и уже сформировавшихся потребностей отдельных политических группировок. В качестве окончательного продукта всего этого «производственного процесса» получают картины или обрывки картин, имеющие очень мало общего с «исходным продуктом» — советской реальностью: должное получает подавляющий перевес над «сущим».

Факт моего бегства из СССР в некоторой степени предопределяет тон и моих «свидетельских показаний». Но если читатель примет во внимание то обстоятельство, что и в концлагерь-то я попал именно за попытку бегства из СССР, то этот тон получает несколько иное, не слишком банальное объяснение: не лагерные, а общероссийские переживания толкнули меня за границу.

Мы трое, т.е. я, мой брат и сын, предпочли совсем всерьез рискнуть своими жизнями, чем продолжать свое существование в социалистической стране. Мы пошли на этот риск без всякого непосредственного давления извне. Я в материальном отношении был устроен значительно лучше, чем подавляющее большинство квалифицированной русской интеллигенции, и даже мой брат, во время наших первых попыток бегства еще отбывавший после Соловков свою «административную ссылку», поддерживал уровень жизни, на много превышающий уровень, скажем, русского рабочего. Настоятельно прошу читателя учитывать относительность этих масштабов: уровень жизни советского инженера на много ниже уровня жизни финляндского рабочего, а русский рабочий вообще ведет существование полуголодное.

Следовательно, тон моих очерков вовсе не определяется ощущением какой-то особой, личной обиды. Революция не отняла у меня никаких капиталов — ни движимых, ни недвижимых — по той простой причине, что капиталов этих у меня не было. Я даже не могу питать никаких специальных и личных претензий к ГПУ: мы были посажены в концлагерь не за здорово живешь, как попадает, вероятно, процентов восемьдесят лагерников, а за весьма конкретное «преступление» и преступление с точки зрения советской власти особо предосудительное: попытку оставить социалистический рай. Полгода спустя после нашего ареста был издан закон от 7 июня 1934 года, карающий побег за границу смертной казнью. Даже и советски настроенный читатель должен, мне кажется, понять, что не очень велики сладости этого рая, если выходы из него приходится охранять суровее, чем выходы из любой тюрьмы.

Диапазон моих переживаний в советской России определяется тем, что я прожил в ней 17 лет и за эти годы с блокнотом и без блокнота, с фотоаппаратом и без фотоаппарата я исколесил ее всю. То, что я пережил в течение этих советских лет и то, что я видал на пространствах советских территорий, определило для меня невозможность оставаться в России. Мои личные переживания, как потребителя хлеба, мяса и пиджаков, не играли в этом отношении решительно никакой роли. Чем именно определялись эти переживания, будет видно из моих очерков, в двух строчках этого сказать нельзя.

ДВЕ СИЛЫ

Если попытаться предварительно и, так сказать, эскизно определить тот процесс, который сейчас совершается в России, то можно сказать приблизительно следующее.

Процесс идет чрезвычайно противоречивый и сложный. Властью создан аппарат принуждения такой мощности, какого история еще не видала. Этому принуждению противостоит сопротивление почти такой же мощности. Две чудовищные силы сцепились друг с другом в объёмку, в беспрецедентную по своей напряженности и трагичности борьбу. Власть задыхается от непосильности задач; страна задыхается от непосильности гнета.

Власть ставит своей целью мировую революцию. Ввиду того, что надежды на близкое достижение этой цели рухнули, страна должна быть превращена в моральный, политический и военный плацдарм, который сохранил бы до удобного момента революционные кадры, революционный опыт и революционную армию.

Люди же составляющие эту «страну», становиться на службу мировой революции не хотят и не хотят отдавать своего достоинства и своих жизней. Власть сильнее «людей», но «людей» больше. Водораздел между властью и «людьми» проведен с такой резкостью, с какою это обычно бывает только в эпохи иноземного завоевания. Борьба принимает формы средневековой жестокости.

Ни на Невском, ни на Кузнецком мосту ни этой борьбы, ни этих жестокостей не видеть. Здесь — территория, уже прочно завоеванная властью. Борьба идет на фабриках и заводах, в степях Украины и Средней Азии, в горах Кавказа, в лесах Сибири и Севера. Она стала гораздо более жестокой, чем она была даже в годы военного коммунизма — отсюда чудовищные цифры «лагерного населения» и не прекращающееся голодное вымирание страны.

Но на завоеванных территориях столиц, крупнейших промышленных центров, железнодорожных магистралей достигнут относительный внешний порядок: «враг» или вытеснен или уничтожен. Террор в городах, резонирующий по всему миру, стал не нужен и даже вреден. Он перешел в низы, в массы, от буржуазии и интеллигенции — к рабочим и крестьянам, от кабинетов — к сохе и станку. И для постороннего наблюдателя он стал почти незаметен.

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ

Тема о концлагерях в советской России уже достаточно использована. Но она была использована преимущественно, как тема «ужасов» и как тема личных переживаний людей, попавших в концлагерь более или менее безвинно. Меня концлагерь интересует не как территория «ужасов», не как место страданий и гибели миллионов масс, в том числе и не как фон моих личных переживаний, каковы бы они

ни были. Я не пишу сентиментального романа и не собираюсь вызвать в читателе чувства симпатии или сожаления. Дело не в сожалении, а в понимании.

И вот именно здесь, в концлагере, легче и проще всего понять основное содержание и основные «правила» той борьбы, которая ведется на пространстве всей социалистической республики.

Я хочу предупредить читателя: ничем существенным лагерь от «воли» не отличается. В лагере если и хуже, чем на воле, то очень уж не на много — конечно; для основных масс лагерников, рабочих и крестьян. Все то, что происходит в лагере, происходит и на воле. И наоборот. Но только в лагере все это нагляднее, проще, четче. Нет той рекламы, нет тех идеологических надстроек, подставной и показной общественности, белых перчаток и оглядки на иностранного наблюдателя, какие существуют на воле. В лагере основы советской власти представлены с четкостью алгебраической формулы.

История моего лагерного бытия и побега если не доказывает, то во всяком случае показывает, что эту формулу я понимал правильно. Подставив в нее вместо отвлеченных алгебраических величин живых и конкретных носителей советской власти в лагере, живые и конкретные взаимоотношения власти и населения, я получил нужное мне решение, обеспечившее в исключительно трудных объективных условиях успех нашего очень сложного технически побега.

Возможно, что некоторые страницы моих очерков покажутся читателю циничными... Конечно, я очень далек от мысли изображать из себя невинного агнца; в той жестокой ежедневной борьбе за жизнь, которая идет по всей России, таких агнцев вообще не осталось, они вымерли. Но я прошу не забывать, что дело шло совершенно реально о жизни и смерти, и не только моей.

В той общей борьбе не на жизнь, а на смерть, о которой я только что говорил, нельзя представлять себе дело так, что вот с одной стороны беспощадные палачи, а с другой — только безответные жертвы. Нельзя же думать, что за годы этой борьбы у страны не выработалось миллионов способов и открытого сопротивления и «применения к местности» и всякого рода изворотов, не всегда одобряемых евангельской моралью. И не нужно представлять себе страдание непременно в ореоле святости. Я буду рисовать советскую жизнь в меру моих способностей такую, какою я ее видел. Если некоторые страницы этой жизни читателю не понравятся — это не моя вина.

ИМПЕРИЯ ГУЛАГА

Эпоха коллективизации довела количество лагерей и лагерного населения до неслыханных цифр. Именно в связи с этим лагерь перестал быть местом заключения и истребления нескольких десятков тысяч контрреволюционеров, каким были Соловки и превратился в гигантское предприятие по эксплуатации даровой рабочей силы, находящейся в ведении Главного Управления Лагерями ГПУ — ГУЛАГа. Границы между лагерем и волей стираются все больше и больше. В лагере идет процесс относительного раскрепощения лагерников; на воле идет процесс абсолютного закрепощения масс. Лагерь вовсе не является изнанкой, неким *Unterwelt* от воли, а просто отдельным и даже не очень своеобразным куском советской жизни. Если мы представим себе лагерь несколько менее голодный, лучше одетый и менее интенсивно расстреливаемый, чем сейчас, то это и будет куском будущей России, при условии ее дальнейшей «мирной эволюции». Я беру слово «мирная» в кавычки, ибо этот худой мир намного хуже основательной войны... А сегодняшняя Россия пока очень немногим лучше сегодняшнего концлагеря.

Лагерь, в который мы попали — Беломорско-Балтийский Комбинат (ББК) — это целое королевство с территорией от Петрозаводска до Мурманска, с собственными лесоразработками, каменоломнями, фабриками, заводами, железнодорожными ветками и даже с собственными верфями и пароходством. В нем девять отделений: мурманское, туломское, кемское, сорокское, сегежское, сосновецкое, водораздельное, повенецкое и медгорское. В каждом таком отделении — от пяти до двадцати семи лагерных пунктов (лагпункты) с населением от пятисот человек до двадцати пяти тысяч. Большинство лагпунктов имеют еще свои «командировки» — всякого рода мелкие предприятия, разбросанные на территории лагпункта.

На ст. Медвежья Гора (Медгора) находится управление лагерем — оно же и фактическое правительство так называемой «Карельской республики»; лагерь поглотил республику, захватил ее территорию и — по известному приказу Сталина об организации Балтийско-Беломорского Комбината — узурпировал все хозяйственные и административные функции правительства. Этому правительству осталось только «представительство», побегушки по приказам Медгоры да роль декорации национальной автономии Карелии.

В июне 1934 года «лагерное население» ББК исчислялось в 286 тысяч человек, хотя лагерь находился уже в состоянии некоторого упадка: работы по сооружению Беломорско-Балтийского канала были

уже закончены, и огромное число заключенных — я не знаю точно, какое именно — было отправлено на БАМ (Байкало-Амурская магистраль). В начале марта того же года мне пришлось работать в плановом отделе Свирского лагеря — это один из сравнительно мелких лагерей; в нем было тогда 78 000 «населения».

Некоторое время я работал в учетно-распределительной части (УРЧ) ББК и в этой работе сталкивался со всякого рода перебросками из лагеря в лагерь. Это дало мне возможность с очень грубой приблизительностью определить число заключенных всех лагерей СССР. Я при этом подсчете исходил с одной стороны — из точно мне известных цифр «лагерного населения» Свирьлага и ББК, а с другой — из, так сказать, «относительных величин» остальных более или менее известных мне лагерей. Некоторые из них больше ББК (БАМ, Сиблаг, Дмитлаг); большинство — меньше. Есть совсем уж неопределенное количество мелких и мельчайших лагерей — в отдельных совхозах, даже в городах. Так, например, в Москве и Петербурге стройки домов ГПУ и стадионов «Динамо» производились силами местных лагерников. Есть десятка два лагерей средней величины — так, между ББК и Свирьлагом. Я не думаю, чтобы общее число всех заключенных в этих лагерях было меньше пяти миллионов человек. Вероятно, несколько больше. Но, конечно, ни о какой точности подсчета не может быть и речи. Больше того, я знаю системы низового подсчета в самом лагере и поэтому сильно сомневаюсь, чтобы само ГПУ знало о числе лагерников с точностью хотя бы до сотен тысяч.

Здесь идет речь о лагерниках в строгом смысле этого слова. Помимо них существуют всякие другие более или менее заключенные слон населения. Так, например, в ББК в период моего пребывания там находилось 28000 семейств так называемых «спецпереселенцев» — это крестьяне Воронежской губернии, высланные в Карелию целыми селами на поселение к под надзор ББК. Они находились в гораздо худшем положении, чем лагерники, ибо они были с семьями и пайка им не давали. Далее следует категория административно ссыльных, высылаемых в индивидуальном порядке; это вариант довоенной ссылки, только без всякого обеспечения со стороны государства — живи, чем хочешь. Дальше — «вольно ссыльные» крестьяне, высылаемые обычно целыми селами на всякого рода «неудобоусвояемые земли», но не находящиеся под непосредственным ведением ГПУ.

О количестве всех этих категорий, не говоря уже о количестве заключенных в тюрьмах, я не имею никакого даже и приблизительного представления. Надо иметь в виду, что все эти заключенные и полузаключенные люди — все это цвет нации, в особенности крестьяне.

Думаю, что не меньше одной десятой части взрослого мужского населения страны находится или в лагерях или где-то около них.

Это, конечно, не европейские масштабы. Системы советских ссылок как-то напоминают новгородский «вывод» при Грозном, а еще больше — ассирийские методы и масштабы.

Ассирийцы, — пишет Каутский, — додумались до системы, которая обещала их завоеваниям большую прочность: там, где они наталкивались на упорное сопротивление или повторные восстания; они парализовали силы побежденного народа таким путем, что отымали у него голову; то есть отымали у него господствующие классы — самые знатные, образованные и боеспособные элементы и отсылали их в отдаленную местность, где они, оторванные от своей подпочвы, были совершенно бессильны. Оставшиеся на родине крестьяне и мелкие ремесленники представляли плохо связанную массу, не способную оказать какое-нибудь сопротивление завоевателям» .

Советская власть повсюду «наталкивалась на упорное сопротивление и повторные восстания» и имеет все основания опасаться в случае внешних осложнений такого подъема «сопротивления и восстаний», какого еще не видала даже и многострадальная русская земля. Отсюда — и ассирийские методы и ассирийские масштабы. Все более или менее хозяйственно устойчивое, способное мало-мальски самостоятельно мыслить и действовать, короче говоря, все то, что оказывает хоть малейшее сопротивление всеобщему нивелированию, подвергается «выводу, искоренению, изгнанию».

Как видите, эти цифры очень далеки и от «мирной» эволюции и от «ликвидации террора». Боюсь, что во всякого рода эволюционных теориях русская эмиграция слишком увлеклась тенденцией видеть чаемое как бы сущим. В России об этих теориях не слышно абсолютно ничего, и для нас — всех троих — эти теории эмиграции явились полнейшей неожиданностью, как снег на голову. Конечно, нынешний маневр власти «защита родины» обсуждается и в России, но за всю мою весьма многостороннюю советскую практику я не слыхал ни одного случая, чтобы этот маневр обсуждался, так сказать, всерьез, как его обсуждают здесь, за границей.

При нэпе власть использовала инстинкт собственности и, используя, послала на Соловки и на расстрел десятки и сотни тысяч своих временных нэповских «помощников». Первая пятилетка использовала инстинкт строительства и привела страну к голоду, еще не бывалому даже в истории социалистического рая. Сейчас власть пытается использовать национальный инстинкт для того, чтобы в момент военных испытаний обеспечить, по крайней мере, свой тыл.

История всяких помощников, попутчиков, сменовеховцев и прочих, использованных до последнего волоса и потом выкинутых на расстрел, могла бы заполнить целые тома. В эмиграции и за границей об этой истории позволительно время от времени забывать, не эмиграция и не за граница платила своими шкурами за тенденции видеть «чаемое как бы сущим». Профессору Устрялову, сильно промахнувшемуся на своих нэповских пророчествах, решительно ничего не стоит в тиши харбинского кабинета сменить свои вехи еще один раз (или далеко не один раз) и состряпать свое пророчество. В России люди, ошибающиеся в своей оценке и поверившие власти, платили за свои ошибки жизнью. И поэтому человек, который в России стал бы всерьез говорить об эволюции власти, был бы просто поднят на смех.

Но как бы ни оценивать шансы «мирной эволюции», мирного вращивания социализма в кулака (можно утверждать, что издали виднее), один факт остается для меня абсолютно вне всякого сомнения. Об этом мельком говорил, краском Тренин в «Последних Новостях»: страна ждет войны для восстания. Ни о какой защите «социалистического отечества» со стороны народных масс не может быть и речи. Наоборот, с кем бы ни велась войнами какими бы последствиями ни грозил военный разгром, все штыки и все вилы, которые только могут быть воткнуты в спину красной армии, будут воткнуты обязательно. Каждый мужик знает это точно так же, как это знает и каждый коммунист! Каждый мужик знает, что при первых же выстрелах войны он в первую голову будет резать своего ближайшего председателя сельсовета, председателя колхоза и т.д., и эти последние совершенно ясно знают, что в первые же дни войны они будут зарезаны, как бараны.

Я не могу сказать, чтобы вопросы отношения масс к религии, монархии, республике и пр. были для меня совершенно ясны. По вопросу об отношении к войне выпирает с такой очевидностью, что тут не может быть никаких ошибок. Я не считаю это особенно розовой перспективой, но особенно розовых перспектив вообще не видеть. Достаточно хорошо зная русскую действительность, я довольно ясно представляю себе, что будет делаться в России на второй день после объявления войны: военный коммунизм покажется детским спектаклем. Некоторые репетиции этого спектакля я видел уже в Киргизии, на Северном Кавказе и в Чечне. Коммунизм это знает совершенно точно, и вот почему он пытается ухватиться за ту соломинку доверия, которая, как ему кажется, в массах еще осталась. Конечно, осел с охапкой сена перед носом принадлежит к числу гениальнейших изобретений мировой истории, так по крайней мере утверждает Вудворт, но даже и это изобретение изнашивается. Можно еще один, совсем лишний раз, обмануть людей, сидящих в Париже или в Харбине, но нельзя еще один раз (который, о

Господи!) обмануть людей, сидящих в концлагере или в колхозе. Для них сейчас *ibi bene — ibi patria*, а хуже, чем на советской родине, им все равно не будет нигде. Это, как видите, очень прозаично, не очень весело, но все-таки факт.

Учитывая этот факт, большевизм строит свои военные планы с большим расчетом на восстания — и у себя и у противника. Или, как говорил мне один из военных главков, вопрос стоит так: «где раньше вспыхнут массовые восстания — у нас или у противника. Они раньше всего вспыхнут в тылу отступающей стороны. Поэтому мы должны наступать, и поэтому мы будем наступать».

К чему может привести это наступление, я не знаю. Но возможно, что в результате его мировая революция может стать, так сказать, актуальным вопросом. И тогда господам Устрялову, Блюму, Бернару Шоу и многим другим, покровительственно поглаживающим большевицкого пса или пытающимся в порядке торговых договоров урвать из его шерсти клочок долларов, придется пересматривать свои вехи уже не в кабинетах, а в Соловках и ББКах, как их пересматривают много, очень много людей, уверовавших в эволюцию, сидя не в Харбине, а в России.

В этом, все же не вполне исключенном случае, неудобосуваемые просторы российских отдаленных мест будут несомненно любезно предоставлены в распоряжение соответствующих братских ревкомов для поселения там многих, ныне благополучно верующих людей — откуда же взять эти просторы, как не на Российском севере?

И для этого случая мои очерки могут сослужить службу путеводителя и самоучителя.

БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ КОМБИНАТ — ББК

ОДИНОЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В камере мокро и темно. Каждое утро я тряпкой стираю струйки воды со стен и лужицы с полу. К полудню пол снова в лужах.

Около семи часов утра мне в окошечко двери просовывают фунт черного малосъедобного хлеба — это мой дневной паек — и кружку кипятку. В полдень — блюдечко ячкаши, вечером — тарелку жидкости, долженствующей изображать щи и тоже блюдечко каши.

По камере можно гулять из угла в угол, выходит четыре шага туда и четыре обратно. На прогулку меня не выпускают, книг и газет не дают, всякое сообщение с внешним миром отрезано. Нас арестовали весьма конспиративно, и никто не знает и не может знать, где мы, собственно, находимся. Мы — т.е. я, мой брат Борис и сын Юра. Но они где-то по другим одиночкам.

Я по неделям не вижу даже тюремного надзирателя. Только чья-то рука просовывается с едой, и чей-то глаз каждые 10-15 минут заглядывает в волчок. Владелец глаза ходит неслышно, как привидение, и мертвая тишина покрытых войлоком тюремных коридоров нарушается только редким лязгом дверей, звоном ключей и изредка каким-нибудь диким и скоро заглушаемым криком. Только один раз я явственно разобрал содержание этого крика:

— Товарищи, братишки, на убой ведут...

Ну, что же. В какую-то не очень прекрасную ночь вот точно так же поведут и меня. Все объективные основания для этого «убоя» есть. Мой расчет заключается, в частности, в том, чтобы не дать довести себя до этого «убоя». Когда-то, еще до голодовок социалистического рая, у меня была огромная физическая сила. Кое-что осталось и теперь. Каждый день, несмотря на голодовку, я все-таки занимаюсь гимнастикой, неизменно вспоминая при этом андреевского студента из «Рассказа о семи повешенных». Я надеюсь, что у меня еще хватит силы, чтобы кое-кому из людей, которые вот так ночью войдут ко мне с револьверами в руках, переломать кости и быть пристреленным без обычных убойных обрядностей. Все-таки это проще.

Но, может быть, захватят сонного и врасплох, как захватили в вагоне. К тогда придется пройти весь этот скорбный путь, исхоженный

уже столькими тысячами ног, со скрученными на спине руками, все ниже и ниже, в таинственный подвал ГПУ... И с падающим сердцем ждать последнего — уже неслышного — толчка в затылок.

Ну, что ж... Не уютно, но я не первый и не последний. Еще не уютнее мысль, что по этому пути придется пройти и Борису. В его биографии — Соловки, и у него совсем уж мало шансов на жизнь. Но он чудовищно силен физически и едва ли даст довести себя до убоя.

А как с Юрой? Ему еще нет 18-ти. Может быть, пощадят, а может быть и нет. И когда в воображении всплывает его высокая и стройная юношеская фигура, его кудрявая голова... В Киеве, на Садовой 5, после ухода большевиков я видел человеческие головы, простреленные из нагана на близком расстоянии. «...Пуля имела модный чекан, и мозг не вытек, а выпер комом...».

Когда я представляю себе Юру, плетущегося по этому скорбному пути и его голову... Нет, об этом нельзя думать. От этого становится тесно и холодно в груди и мутится в голове. Тогда хочется сделать что-нибудь решительное и ни с чем не сообразное.

Но не думать тоже нельзя. Бесконечно тянутся бессонные тюремные ночи, неслышно заглядывает в волчок чей-то почти невидимый глаз. Тускло светит с середины потолка электрическая лампочка. Со стен несет сыростью. О чем думать в такие ночи?

О будущем думать нечего. Где-то там, в таинственных глубинах Шпалерки, уже, может быть, лежит клочок бумажки, на котором черным по белому написана моя судьба, судьба брата и сына и об этой судьбе думать нечего, потому что она не известна, потому что в ней изменить я уже ничего не могу.

Говорят, что в памяти умирающего проходит вся его жизнь. Так и у меня. Мысль все настойчивее возвращается к прошлому, к тому, что за все эти революционные годы было пережито, передумано, сделано, точно на какой-то суровой, аскетической исповеди перед самим собой; исповеди тем более суровой, что именно я, как «старший в роде», как организатор, а в некоторой степени и инициатор побега, был ответственен не только за свою собственную жизнь. И вот, я допустил техническую ошибку.

БЫЛО ЛИ ЭТО ОШИБКОЙ?

Да, техническая ошибка, конечно, была. Именно в результате её мы очутились здесь. Но не было ли чего-либо более глубокого, не было ли принципиальной ошибки в нашем решении бежать из России? Неужели же нельзя было остаться, жить так, как живут миллионы,

пройти вместе со своей страной весь её трагический путь в неизвестность? Действительно ли не было никакого житья, никакого просвета?

Внешнего толчка в сущности не было вовсе. Внешне наша семья жила в последние годы спокойной и обеспеченной жизнью, более спокойной и более обеспеченной, чем жизнь подавляющего большинства квалифицированной интеллигенции. Правда, Борис прошел многое, в том числе и Соловки, но и он, даже будучи ссыльным, устраивался как-то лучше, чем устраивались другие.

Я вспоминаю страшные московские зимы 1928-1930 годов, когда Москва — конечно, рядовая, неофициальная Москва — вымерзала от холода и вымирала от голода. Я жил под Москвой в 20 верстах, в Салтыковке, где живут многострадальные «зимогоры» для которых в Москве не нашлось жилплощади. Мне нужно было ездить в Москву на службу, ибо моей профессией была литературная работа в области спорта и туризма. Москва внушала мне острое отвращение своей переполненностью, суетою, клопами, грязью. В Салтыковке у меня была своя робинзоновская мансарда, достаточно просторная и почти полностью изолированная от жилищных дрызг, подслушивания, грудных ребят за стеной и вечных примусов в коридоре; без вечной борьбы за ухваченный кусочек жилплощади, без управдомовской слежки и прочих московских ароматов. В Салтыковке кроме того можно было, хотя бы частично, отгораживаться от холода и голода.

Летом мы собирали грибы и ловили рыбу. Осенью и зимой корчевали пни (хворост был давно подобран под метёлку). Конечно, всего этого было мало, тем более, что время от времени в Москве наступали моменты, когда ничего мало-мальски съедобного иначе, как по карточкам, нельзя было достать ни за какие деньги; по крайней мере легальным путём.

Поэтому приходилось прибегать иногда к весьма сложным и почти всегда не весьма легальным комбинациям. Так, одну из самых голодных зим мы пропитались картошкой и икрой; не какой-нибудь грибной икрой, которая по цене около трёхки за кило предлагается «кооперированным трудящимся» и которой даже эти трудящиеся есть не могут, а настоящей, живительной чёрной икрой, зернистой и паусной. Хлеба, впрочем, не было...

Факт пропитания икрой в течение целой зимы целого советского семейства мог бы, конечно, служить иллюстрацией «беспримерного в истории подъёма благосостояния масс», но по существу дело обстояло прозаичнее.

В старом Елисейском магазине на Тверской обосновался «Инснаб», из которого бесхлебное советское правительство снабжало своих иностранцев, приглашённых по договорам иностранных специалистов и разную коминтерновскую и профинтерновскую шпану помельче. Шпана покрупнее снабжалась из кремлёвского распределителя.

Впрочем, это был период, когда и для иностранцев уже немного оставалось. Каждый из них получал персональную заборную книжку, в которой было проставлено, сколько продуктов он может получить в месяц. Количество, это колебалось в зависимости от производственной и политической ценности данного иностранца, но в среднем было очень невелико. Особенно ограничена была выдача продуктов первой необходимости — картофеля, хлеба, сахару и пр. И наоборот, икра, сёмга, балыки, вина и пр. отпускались без ограничения. Цены же на все эти продукты первой и не первой необходимости были раз в 10-20 ниже рыночных.

Русских в магазин не пускали вовсе. У меня же было сногшибательное английское пальто и «неопалимая» сигара, специально для особых случаев сохранявшаяся.

И вот, я в этом густо иностранном пальто и с сигарой в зубах важно шествую мимо чекиста из паршивеньких, охраняющего этот съестной рай от голодных советских глаз. В первые визиты чекист ещё пытался спросить у меня пропуск, я величественно запускал руку в карман и ничего оттуда видимого не вынимая, проплывал мимо. В магазине все уже было просто. Конечно, хорошо бы купить и просто хлеба; картошка даже и при икре всё же надоедает, но хлеб строго нормирован и без книжки нельзя купить ни фунта. Ну, что ж. Если нет хлеба, будем жрать честную пролетарскую икру.

Икра здесь стоила 22 рубля кило. Я не думаю, чтобы Рокфеллер поглощал её в таких количествах, в каких её поглощала советская Салтыковка. Но к икре нужен был ещё и картофель.

С картофелем делалось так. Моё образцово-показательное пальто оставлялось дома, я надевал свою выдавшую самые живописные виды советскую хламиду и устремлялся в подворотню где-нибудь у Земляного Вала. Там мирно и с подозрительно честным взглядом прохаживались подмосковные крестьянки. Я посмотрю на неё, она посмотрит на меня. Потом я пройду ещё раз и спрошу её таинственным шепотком:

— Картошка есть?

— Какая тут картошка... — но глаза «спекулянтки» уже ощупывают меня. Ощупав меня взглядом и убедившись в моей

добропорядочности, «спекулянтка» задаёт какой-нибудь довольно бессмысленный вопрос:

— А вам картошки надо?

Потом мы идём куда-нибудь в подворотню, на задворки, где на какой-нибудь куче тряпья сидит мальчуган или девчонка, а под тряпьем — заветный, со столькими трудностями и риском привезенный в Москву мешочек с картошкой. За картошку я плачу по 5-6 рублей кило.

Хлеба же не было потому, что мои неоднократные попытки использовать все блага пресловутой карточной системы кончались позорным провалом: я бегал, хлопотал, доставал из разных мест разные удостоверения, торчал в потной и вшивой очереди в карточном бюро, получал карточки и потом ругался с женой, по экономическо-хозяйственной инициативе которой затевалась вся эта волынка.

Я вспоминаю газетные заметки о том, с каким «энтузиазмом» приветствовал пролетариат эту самую карточную систему в России; «энтузиазм» извлекался из самых, казалось бы, безнадежных источников. Но карточная система организована была действительно остроумно.

Мы все трое — на советской работе, и все трое имеем карточки. Но моя карточка прикреплена к распределителю у Земляного Вала, карточка жены — к распределителю на Тверской и карточка сына — где-то у Разгуляя. Это — раз. Второе. По карточке кроме хлеба получаю еще и сахар по 800 г. в месяц. Талоны на остальные продукты имеют чисто отвлеченное значение и никого ни к чему не обязывают.

Так вот попробуйте на московских трамваях объехать все эти три кооператива, постоять в очереди у каждого из них и по меньшей мере в одном из трех получить ответ, что хлеб уже весь вышел, будет к вечеру или завтра. Говорят, что сахару нет. На днях будет. Эта операция повторяется раза три-четыре, пока в один прекрасный день вам говорят:

— Ну, что ж вы вчера не брали? Вчера сахар у нас был.

— А когда будет в следующий раз?

— Да все равно эти карточки уже аннулированы. Надо было вчера брать.

И все в порядке. Карточки у вас есть? Есть. Право на два фунта сахару вы имеете? Имеете. А что вы этого сахару не получили — ваше дело. Не надо было зевать.

Я не помню случая, чтобы моих нервов и моего характера хватало больше, чем на неделю такой волокиты. Я доказывал, что за время, ухлопанное на всю эту идиотскую возню, можно заработать в два раза больше денег, чем эти паршивые, нищие советские объедки стоят на

вольном рынке. Что для человека вообще и для мужчины в частности, ей Богу, менее позорно схватить кого-нибудь за горло, чем три часа стоять бараном в очереди и под конец получить издевательский шиш.

После вот таких поездок приезжаешь домой в состоянии ярости и бешенства. Хочется по дороге набить морду какому-нибудь милиционеру, который приблизительно в такой же степени, как и я, виноват в том раздувшемся на одну шестую часть земного шара кабаке, или устроить вооруженное восстание. Но так как бить морду милиционеру — явная бессмыслица, а для вооруженного восстания нужно иметь, по меньшей мере, оружие, то оставалось прибегать к излюбленному оружию рабов — к жульничеству.

Я с треском рвал карточки и шел в какой-нибудь «Инснаб».

О МОРАЛИ

Я не питаю никаких иллюзий на счет того, что комбинация с «Инснабом» и другие в этом же роде, имя им — легион, не были жульничеством. Не хочу вскармливать на этих иллюзиях и читателя.

Некоторым оправданием для меня может служить то обстоятельство, что в советской России так делали и делают все, начиная с государства. Государство за мою более или менее полноценную работу дает мне бумажку, на которой написано, что цена ей рубль и даже, что этот рубль обменивается на золото. Реальная же цена этой бумажки — немногим больше копейки, несмотря на ежедневный курсовой отчет «Известий», в котором эта бумажка упорно фигурирует в качестве самого всамделишного полноценного рубля. В течение 17-ти лет государство, если и не всегда грабит меня, то уж обжуливает систематически, изо дня в день. Рабочего оно обжуливает больше, чем меня, а мужика больше, чем рабочего. Я пропитываюсь «Инснабом» и не голодаю, рабочий ворует на заводе и все же голодает, мужик таскается по ночам по своему собственному полю с ножиком или ножницами в руках, стрижет колосья и совсем уж мрет с голоду. Мужик, ежели он попадется, рискует или расстрелом или минимум «при смягчающих вину обстоятельствах» — десятью годами концлагеря (закон от 7 августа 32 г.). Рабочий рискует тремя-пятью годами концлагеря или минимум — исключением из профсоюза. Я рискую минимум одним неприятным разговором и максимум несколькими неприятными разговорами, ибо никакой «широкой общественно-политической кампанией» мои хождения в «Инснаб» не предусмотрены.

Легкомысленный иностранец может упрекнуть и меня и рабочего и мужика в том, что «обжуливая государство, мы сами создаем свой

собственный голод. Но и я и рабочий и мужик отдаем себе совершенно ясный отчет в том, что государство — это отнюдь не мы, государство — это мировая революция. И что каждый украденный у нас рубль, день работы, сноп хлеба пойдут в эту самую бездонную прорву мировой революции: на китайскую красную армию, на английскую забастовку, на германских коммунистов, на откорм коминтерновской шпаны; пойдут на военные заводы пятiletки, которая строится все же в расчете на войну за мировую революцию; пойдут на укрепление того же дикого партийно-политического кабака, от которого стоном стонем все мы.

Нет, государство — это не я и не мужик и не рабочий. Государство для нас — это совершенно внешняя сила; насильственно поставившая нас на службу совершенно чуждым нам целям. И мы от этой службы изворачиваемся, как можем.

ТЕОРИЯ ВСЕОБЩЕГО НАДУВАТЕЛЬСТВА

Служба же эта заключается в том, чтобы мы возможно меньше ели и возможно больше работали во имя тех же бездонных универсально революционных appetitов. Во-первых, не евши, мы вообще толком работать не можем — одни потому, что сил нет, — другие потому, что голова занята поисками пропитания. Во-вторых, партийно-бюрократический кабак, нацеленный на мировую революцию, создает условия, при которых толком работать совсем уж нельзя. Рабочий выпускает браг; ибо вся система построена так, что браг является эго почти единственным продуктом; о том, как работает мужик, видно по неизбывному советскому голоду. Но тема о советских заводах и советских полях далеко выходит за рамки этих очерков. Что же касается лично меня, то я поставлен в такие условия, что не жульничать я никак не могу.

Я работаю в области спорта и меня заставляют разрабатывать и восхвалять проект гигантского стадиона в Москве. Я знаю, что для рабочей и прочей молодежи нет элементарнейших спортивных площадок, что люди у лыжных станций стоят в очереди часами, что стадион этот имеет единственное назначение — пустить пыль в глаза иностранцев, обжулить иностранную публику размахом советской физической культуры. Это делается для мировой революции. Я против стадиона, но я не могу ни протестовать, ни уклониться от него.

Я пишу очерки о Дагестане. Из этих очерков цензура выбрасывает самые отдаленные намеки на тот весьма существенный факт, что весь плоскостной Дагестан вымирает от малярии, что вербовочные организации вербуют туда людей — кубанцев и украинцев —

приблизительно на верную смерть. Конечно, я не пишу о том, что золота, которое тоннами идет на революцию во всем мире и на социалистический каба́к в одной стране, хватило бы на покупку нескольких килограммов хинина для Дагестана. И по моим очеркам выходит, что на Шипке все замечательно спокойно и живописно. Люди едут, приезжают с малярией и говорят мне вещи, от которых надо бы краснеть.

Я еду в Киргизию и вижу там неслыханное разорение киргизского скотоводства, неопиcуемый даже для советской России каба́к животноводческих совхозов, концентрационные лагеря на реке Чу, цыганские таборы оборванных и голодных кулацких семейств, выселенных сюда из Украины. Я чудом уношу свои ноги от киргизского восстания, а киргизы зарезали бы меня, как барана и имели бы весьма веские основания для этой операции: я русский и из Москвы. Для меня было бы очень невеселое похмелье на совсем уж чужом пиру, но какое дело киргизам до моих политических взглядов?

И обо всем этом я не могу писать ни слова. А не писать — тоже нельзя. Это значит — поставить крест на всякие попытки литературной борьбы и, следовательно, на всякие возможности заглянуть вглубь страны и собственными глазами увидеть, что там делается. И я вру.

Я вру, когда работаю переводчиком с иностранцами. Я вру, когда выступаю с докладами о пользе физической культуры, ибо в мои тезисы обязательно вставляются разговоры о том, как буржуазия запрещает рабочим заниматься спортом. Я вру, когда составляю статистику советских физкультурников, целиком и полностью высосанную мною и моими сотоварищами из всех наших пальцев, ибо «верхи» требуют крупных цифр, так сказать, для экспорта за границу.

Это все вещи похуже пяти килограмм икры из иностранного распределителя. Были вещи и еще похуже. Когда сын болел тифом и мне нужен был керосин, а керосина в городе не было, я воровал этот керосин в военном кооперативе, в котором служил в качестве инструктора. Из-за двух литров керосина, спрятанных под пальто, я рисковал расстрелом (военный кооператив). Я рисковал своей головой, но в такой же степени я готов был свернуть каждую голову, ставшую на дороге к этому керосину. И вот, крадучись с этими двумя литрами, торчавшими у меня из-под пальто, я наталкиваюсь нос к носу с часовым. Он понял, что у меня керосин и что этого керосина трогать не следует. А что бы было, если бы он этого не понял?

У меня до революции не было ни фабрик, ни заводов, ни имений, ни капиталов. Я не потерял ничего такого, что можно было бы вернуть, как, допустил, в случае переворота можно было бы вернуть дом. Но я

потерял 17 лет жизни, которые безвозвратно и бессмысленно были ухлопаны в этот сумасшедший дом советских принудительных работ во имя мировой революции; в жульничество, которое диктовалось то голодом, то чрезвычайкой, то профсоюзом — а профсоюз иногда не многим лучше чрезвычайки. И, конечно, даже этими семнадцатью годами я еще дешево отделался. Десятки миллионов заплатили всеми годами своей жизни, всей своей жизнью.

Временами появлялась надежда, что на российских просторах, удобренных миллионами трупов, обогащенных годами нечеловеческого труда и нечеловеческой плюшкинской экономии, взойдут, наконец, ростки какой-то человеческой жизни. Эти надежды появлялись до тех пор, пока я не понял с предельной ясностью: все это для мировой революции, но не для страны.

Семнадцать лет накапливалось великое отвращение. И оно росло по мере того, как рос и совершенствовался аппарат давления. Он уже не работал, как паровой молот, дробящими и слышными на весь мир ударами. Он работал, как гидравлический пресс, сжимая неслышно и сжимая на каждом шагу, постепенно охватывая этим давлением абсолютно все стороны жизни.

Когда у вас под угрозой револьвера требуют штаны — это еще терпимо. Но когда у вас под угрозой того же револьвера требуют, кроме штанов еще и энтузиазма, жить становится вовсе невозможно, захлестывает отвращение. Вот это отвращение и толкнуло нас к финской границе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

Долгое время над нашими попытками побега висело нечто вроде фатума, рока, невезенья — называйте, как хотите. Первая попытка была сделана осенью 1932 года. Все было подготовлено очень неплохо, включая и разведку местности. Я предварительно поехал в Карелию, вооруженный, само собою разумеется, соответствующими документами и выяснил там приблизительно все, что мне нужно было. Но благодаря некоторым чисто семейным обстоятельствам мы не смогли выехать раньше конца сентября — время для Карелии совсем не подходящее, и перед нами встал вопрос: не лучше ли отложить все это предприятие до следующего года?

Я справился в московском бюро погоды. Из его сводок явствовало, что весь август с сентябрь в Карелии стояла исключительно сухая погода, не было ни одного дождя. Следовательно, угроза со стороны карельских болот отпала, и мы двинулись.

Московское бюро погоды оказалось, как в сущности следовало полагать заранее, советским бюро погоды. В августе и сентябре в Карелии шли непрерывные дожди. Болота оказались совершенно непроходимыми. Мы четверо суток вязли и тонули в них и с великим трудом и риском выбрались обратно. Побег был отложен на июнь 1933 года.

8 июня 1933 года рано утром моя belle-soeur Ирина поехала в Москву получать уже заказанные билеты. Но Юра, проснувшись, заявил, что у него какие-то боли в животе. Борис ощупал Юру, и оказалось что-то похожее на аппендицит. Борис поехал в Москву «отменять билеты», я вызвал еще двух врачей, и к полудню все сомнения рассеялись: аппендицит. Везти сына в Москву в больницу на операцию по жутким подмосковным ухабам я не рискнул. Предстояло выждать конца припадка и потом делать операцию. Но во всяком случае побег был сорван второй раз. Вся подготовка, такая сложная и такая опасная — продовольствие, документы, оружие и пр. — была сорвана. Психологически это был жестокий удар, совершенно непредвиденный и неожиданный удар, свалившийся, так сказать, совсем непосредственно от судьбы. Точно кирпич на голову.

Побег был отложен на начало сентября — ближайший срок поправки Юры после операции.

Настроение было подавленное. Трудно было идти на такой огромный риск, имея позади две так хорошо подготовленные и все же сорвавшиеся попытки. Трудно было потому, что откуда-то из-под сознания бесформенной, но давящей тенью выползало смутное предчувствие, суеверный страх перед новым ударом, у даром, не известно, с какой стороны.

Наша основная группа — я, сын, брат и жена брата — были тесно спаянной семьей, в которой каждый друг в друге был уверен. Все были крепкими, хорошо тренированными людьми, и каждый мог положиться на каждого. Пятый участник группы был более или менее случаен: старый бухгалтер Степанов (фамилия вымышленна), у которого за границей в одном из лимитрофов осталась вся его семья и все его родные, а здесь, в СССР, потеряв жену, он остался один, как перст. Во всей организации побега он играл чисто пассивную роль, так сказать, роль багажа. В его честности мы были уверены точно так же, как и в его робости.

Но кроме этих пяти непосредственных участников побега, о проекте знал еще один человек — и вот именно с этой стороны пришел удар.

В Петрограде жил мой очень старый приятель Иосиф Антонович. И у него была жена г-жа Е., женщина из очень известной и очень богатой польской семьи, чрезвычайно энергичная, самовлюбленная и неумная. Такими бывает большинство женщин, считающих себя великими дипломатками.

За три недели до нашего отъезда в моей салтыковской голубятне, как снег на голову, появляется г-жа Е. в сопровождении мистера Бабенко. Мистера Бабенко я знал по Питеру — в квартире Антоновича он безвылазно пьянствовал три года подряд.

Я был удивлен этим неожиданным визитом, и я был еще более удивлен, когда г-жа Е. стала просить меня захватить с собой и ее; и не только ее, но и мистера Бабенко, который, дескать, является ее женихом или мужем или почти мужем — кто там разберет при советской простоте нравов.

Это еще не был удар, но это была уже опасность. При нашем нервном состоянии, взвинченном двумя годами подготовки, двумя годами неудач, эта опасность сразу приняла форму реальной угрозы. Какое право имела г-жа Е. посвящать мистера Бабенко в наш проект без всякой санкции с нашей стороны? А что Бабенко был посвящен, это стало ясно, несмотря на все отпирательства г-жи Е.

В субъективной лояльности г-жи Е. мы не сомневались. Но кто такой Бабенко? Если он сексот, мы все равно никуда не уедем и никуда не уйдем. Если он не сексот, он будет нам очень полезен: бывший артиллерийский офицер, человек с прекрасным знанием и прекрасной ориентировкой в лесу. А в Карелии, с ее магнитными аномалиями и ненадежностью работы компаса, ориентировка в странах света могла иметь огромное значение. Его охотничьи и лесные навыки мы проверили, но в его артиллерийском прошлом оказалась некоторая неясность.

Зашел разговор об оружии, и Бабенко сказал, что он в свое время много тренировался на фронте в стрельбе из нагана, и что на пятьсот шагов он довольно уверенно попадал в цель величиной с человека.

Этот «наган» подействовал на меня, как удар обухом. На пятьсот шагов наган вообще не может дать прицельного боя, и этого обстоятельства бывший артиллерийский офицер не мог не знать. В стройной биографии Николая Артемьевича Бабенки образовалась дыра, и в эту дыру хлынули все наши подозрения.

Но что нам было делать? Если Бабенко сексот, то все равно мы уже «под стеклышком», все равно где-то здесь же в Салтыковке, по каким-то окнам и углам торчат ненавистные нам агенты ГПУ: все равно каждый наш шаг уже под контролем.

С другой стороны, какой смысл Бабенке выдавать нас? У г-жи Е. в Польше весьма солидное имение, Бабенко — жених г-жи Е., и это имение во всяком случае привлекательнее тех двадцати советских серебрянников, которые Бабенко, может быть, получит, а может быть и не получит за предательство.

Это было очень тяжелое время неоформленных подозрений и давящих предчувствий. В сущности, с очень большим риском и с огромными усилиями мы еще имели возможность обойти ГПУ: ночью уйти из дому в лес и пробираться к границе, но уже персидской, а не финской, и уже без документов и почти без денег.

Но... мы поехали. У меня было ощущение, то что я еду в какой-то похоронной процессии, а покойники — это все мы.

В Питере нас должен был встретить Бабенко и присоединиться к нам. Поездка г-жи Е. отпала, так как у нее появилась возможность легального выезда через Интурист. Впоследствии уже здесь за границей я узнал, что к этому времени г-жа Е. уже была арестована. Бабенко встретил нас и очень быстро и ловко устроил нам плац-пересадочные билеты до ст. Шуйская, Мурманской ж. д.

Я не думаю, чтобы кто-либо из нас находился вполне в здравом уме и твердой памяти. Я как-то вяло отметил в уме и «оставил без последствий» тот факт, что вагон, на который Бабенко достал плацкарты, был последним в хвосте поезда, что какими-то странными были номера плацкарт — вразбивку 3, 6, 8 и т.д., что главный кондуктор без всякой к этому надобности заставил нас сесть «согласно взятым плацкартам», хотя мы договорились с пассажирами о перемене мест. Да и пассажиры были странноваты.

Вечером мы все собрались в одном купе. Бабенко разлил чай, и после чаю я, уже давно страдавший бессонницей, заснул как-то странно быстро, точно в омут провалился.

Я сейчас не помню, как именно я это почувствовал. Помню только, что я резко рванулся, отбросил какого-то человека к противоположной стенке купе, человек глухо стукнулся головой об стенку, что кто-то повис на моей руке, что кто-то обхватил мои колена, какие-то руки сзади судорожно вцепились мне в горло, а прямо в лицо уставились три или четыре револьверных дула.

Я понял, что все кончено. Точно какая-то черная молния вспыхнула светом и осветила все: и Бабенко с его странной теорией баллистики, и странные номера плацкарт, и тех 36 пассажиров, которые в личинах инженеров, рыбаков, бухгалтеров, железнодорожников,

едущих в Мурманск, в Кемь, в Петрозаводск; составляли кроме нас все население вагона.

Вагон был наполнен шумом борьбы, тревожными криками чекистов, истерическим визгом Стёпушки, чьим-то раздирающим душу стоном... Вот почтенный «инженер» тычет мне в лицо кольцом, кольт дрожит в его руках, инженер приглушенно, но тоже истерически кричит:

— Руки вверх! Руки вверх, говорю я вам! — Приказание явно бессмысленное, ибо в мои руки вцепилось человека по три на каждую и на мои запястья уже надета «восьмерка» — наручники, тесно сковывающие одну руку с другой. Какой-то вчерашний «бухгалтер» держит меня за ноги и вцепился зубами в мою штанину. Человек, которого я отбросил к стене, судорожно вытаскивает из кармана что-то блестящее. Слово все купе оцетинилось стволами каганов, кольцов, браунингов.

...Мы едем в Питер в том же вагоне что и выехали. Нас просто отцепили от поезда и прицепили к другому. Вероятно, вне вагона никто ничего не заметил.

Я сижу у окна. Руки распухли от наручников, кольца которых оказались слишком узкими для моих запястий. В купе, ни на секунду не спуская с меня глаз, посменно дежурят чекисты — по три человека на дежурство. Они изысканно вежливы со мной. Некоторые знают меня лично. Для охоты на столь «крупного зверя», как мы с братом, ГПУ, по видимому, мобилизовало половину тяжелоатлетической секции ленинградского Динамо. Хотели взять нас живьем и по возможности неслышно.

Сделано, что и говорить, чисто, хотя и не без лишних затрат. Но что для ГПУ значат затраты? Не только отдельный «салон вагон», и целый поезд могли для нас подставить.

На полке лежит уже не нужное ружье. У нас были две двустволки, берданка, малокалиберная винтовка и у Ирины — маленький браунинг, который Юра контрабандой привез из-за границы. В лесу, с его радиусом видимости в 40-50 метров, это было очень серьезным оружием в руках людей, которые бьются за свою жизнь. Но здесь в вагоне мы не успели за него даже и схватиться. Грустно, но уже все равно. Жребий был брошен, и игра проиграна вчистую.

В вагоне распоряжается тот самый толстый «инженер», который тыкал мне кольцом в физиономию. Зовут его Добротиным. Он разрешает мне под очень усиленным конвоем пойти в уборную, и проходя через вагон, я обмениваюсь деланной улыбкой с Борисом, с Юрой. Все они, кроме Ирины, тоже в наручниках. Жалобно смотрит на меня Стёпушка.

Он считал, что на предательство со стороны Бабенки — один шанс на сто. Вот этот шанс и выпал.

Здесь же и тоже в наручниках сидит Бабенко с угнетенной невинностью в бегающих глазах. Господи, кому при такой дешевой мизансцене нужен такой дешевый маскарад!

Поздно вечером во внутреннем дворе ленинградского ГПУ Добротин долго ковыряется ключом в моих наручниках — и никак не может раскрыть их. Руки мои превратились в подушки. Борис, уже раскованный, разминает кисти рук и иронизирует: «Как это вы, товарищ Добротин, при всей вашей практике до сих пор не научились с восьмерками справляться?»

Потом мы прощаемся с очень плохо сделанным спокойствием. Жму руку Бобу. Ирочка целует меня в лоб. Юра старается не смотреть на меня, жмет мне руку и говорит:

— Ну, что ж, Ватик. До свиданья... в четвертом измерении.

Это его любимая и весьма утешительная теория о метампсихозе в четвертом измерении; но голос не выдает уверенности в этой теории.

Ничего Юрчинька. Бог даст — в третьем встретимся.

...Стоит совсем пришибленный Стёпушка — он едва соображает сейчас. Вокруг нас плотным кольцом выстроились все 36 захвативших нас чекистов, хотя между нами и волей — циклопические железобетонные стены тюрьмы ГПУ, тюрьмы новой стройки. Это, кажется, единственное, что советская власть строит прочно в расчете на долгое, очень долгое время.

Я подымаюсь по каким-то узким бетонным лестницам. Потом целый лабиринт коридоров.

Двухчасовой обыск. Одиночка. Четыре шага вперед, четыре шага назад. Бессонные ночи. Лязг тюремных дверей... И ожидание.

ДОПРОСЫ

В коридорах тюрьмы собачий холод и образцовая чистота. Надзиратель идет сзади меня и командует: налево... вниз... направо... Полы устланы половиками. В циклопических стенах — глубокие ниши, ведущие в камеры. Это — корпус одиночек.

Вдали из-за угла коридора появляется фигура какого-то заключенного. Ведущий его надзиратель что-то командует и заключенный исчезает в нише. Я только мельком вижу безмерно исхудавшее оброщенное лицо. Мой надзиратель командует:

— Проходите и не оглядывайтесь в сторону.

Я все-таки искося оглядываюсь. Человек стоит лицом к двери, и надзиратель заслоняет его от моих взоров. Но это незнакомая фигура.

Меня вводят в кабинет следователя, и я к своему изумлению вижу Добротина, восседающего за огромным министерским письменным столом.

Теперь его руки не дрожат; на круглом, хорошо откормленном лице — спокойная и даже доброжелательная улыбка.

Я понимаю, что у Добротина есть все основания быть довольным. Это он провел всю операцию, пусть несколько театрально, но втихомолку и с успехом. Это он поймал вооруженную группу. Это у него на руках какое ни на есть, а все же настоящее дело, а ведь не каждый день да, пожалуй и не каждый месяц ГПУ, даже ленинградскому, удастся из чудовищных куч всякой провокации, липы, халтуры, инсценировок, доносов, «романов» и прочей трагической чепухи извлечь хотя бы одно «жемчужное зерно» настоящей контрреволюции да еще и вооруженной.

Лицо Добротина лоснится, когда он приподымается, протягивает мне руку и говорит:

— Садитесь, пожалуйста, Иван Лукьянович! Я сажусь и всматриваюсь в это лицо, как хотите, а все-таки победителя. Добротин протягивает мне папиросу, и я закуриваю. Я не курил уже две недели, и от папиросы чуть-чуть кружится голова.

— Чаю хотите?

Я, конечно, хочу и чаю. Через несколько минут приносят чай, настоящий чай, какого «на воле» нет, с лимоном и с сахаром.

— Ну-с, Иван Лукьянович, — начинает Добротин, — вы, конечно, прекрасно понимаете, что нам все, решительно все известно. Единственно правильная для вас политика — это карты на стол.

Я понимаю, что какие тут карты на стол, когда все карты и без того в руках уже Добротина. Если он не окончательный дурак — а предполагать это у меня нет решительно никаких оснований — то помимо бабенковских показаний у него есть показания г-жи Е. и, что еще хуже, показания Стёпушки. А что именно Стёпушка с переполоху мог наворотить — этого наперед и хитрый человек не придумает.

Чай и папиросы уже почти совсем успокоили мою нервную систему. Я почти спокоен. Я могу спокойно наблюдать за Добротиным, расшифровывать его интонации и строить какие-то планы самозащиты, весьма эфемерные планы, впрочем.

— Я должен вас предупредить. Иван Лукьянович, что вашему существованию непосредственной опасности не угрожает. В особенности

если вы последуете моему совету. Мы не мясники. Мы не расстреливаем преступников, гораздо более опасных, чем вы. Вот, — тут Добротин сделал широкий жест по направлению к окну. Там, за окном во внутреннем дворе ГПУ, еще достраивались новые корпуса тюрьмы, — Вот, тут работают люди, которые были приговорены даже к расстрелу, и тут они своим трудом очищают себя от прежних преступлений перед советской властью. Наша задача — не карать, а исправлять.

Я сижу в мягком кресле курю папиросу и думаю о том, что это дипломатическое вступление решительно ничего хорошего не предвещает. Добротин меня обхаживает. А это может означать только одно: на базе бесспорной и известной ГПУ и без меня фактической стороны нашего дела Добротин хочет создать какую-то «надстройку», раздуть дело, запутать в него кого-то еще. Кого именно, я еще не знаю.

— Вы, как разумный человек, понимаете, что ход вашего дела зависит прежде всего от вас самих. Следовательно, от вас зависят и судьбы ваших родных — вашего сына, брата... Поверьте мне, что я не только следователь, но и человек. Это, конечно, не значит, что вообще следователи не люди... Но ваш сын еще так молод.

Ну-ну, думаю я. Не ГПУ, а какая-то воскресная проповедь.

— Скажите, пожалуйста, товарищ Добротин, вот вы говорите, что не считаете нас опасными преступниками. К чему же тогда такой, скажем, расточительный способ ареста? Отдельный вагон, почти четыре десятка вооруженных людей...

— Ну, знаете, вы не опасны с точки зрения советской власти. Но вы могли быть очень опасны с точки зрения безопасности нашего оперативного персонала. Поверьте, о ваших атлетических достижениях мы знаем очень хорошо. И так ваш брат сломал руку одному из наших работников.

— Что это? Отягчающий момент?

— Э, нет. Пустяки. Но если бы наших работников было бы меньше, он переломал бы кости им всем. Пришлось бы стрелять... Отчаянный парень ваш брат.

— Неудивительно. Вы его лет восемь по тюрьмам таскаете за здорово живешь.

— Во-первых, не за здорово живешь. А во-вторых, конечно, с нашей точки зрения, ваш брат едва ли поддается исправлению. О его судьбе вы должны подумать особенно серьезно. Мне будет очень трудно добиться для него... более мягкой меры наказания. Особенно, если вы не поможете.

Добротин кидает на меня взгляд в упор, как бы ставя этим взглядом точку над каким-то не высказанным «і». Я понимаю, в переводе на общепонятный язык это значит: или вы подпишите все, что вам будет приказано, или...

Я еще не знаю, что именно мне будет приказано. По всей вероятности, я этого не подпишу... И тогда?

— Мне кажется, товарищ Добротин, что все дело совершенно ясно, и мне только остается письменно подтвердить то, что вы и так знаете.

— А откуда вам известно, что именно мы знаем?

— Помилуйте, у вас есть Степанов, г-жа Е., «вещественные доказательства» и, наконец, у вас есть товарищ Бабенко.

При имени Бабенко Добротин слегка улыбается.

— Ну, у Бабенки есть еще и своя история — по линии вредительства в Рыбпроме.

— Ага, так это он так заглаживает вредительство?

— Послушайте, — дипломатически намекает Добротин, — следствие веду я, а не вы.

— Я понимаю. Впрочем, для меня дело так же ясно, как и для вас.

— Мне не все ясно. Как, например, вы достали оружие и документы?

Я объясняю. Я, Юра и Степанов — члены союза охотников, следовательно, имели право держать охотничьи гладкоствольные ружья. Свою малокалиберную винтовку Борис спер в осоавиахимовском тире. Браунинг Юра привез из-за границы. Документы все совершенно легальны, официальные и получены таким же легальным и официальным путем там-то и там-то.

Добротин явственно разочарован. Он ждал чего-то более сложного, откуда можно было бы вытянуть каких-нибудь соучастников, разыскать какие-нибудь «нити» и вообще развести всякую пинкертоновщину. Он знает, что получить даже самую прозаическую гладкоствольную берданку — в СССР очень трудная вещь и далеко не всякому удается. Я рассказываю, как мы с сыном участвовали в разных экспедициях — в Среднюю Азию, в Дагестан, Чечню и т.д., и что под этим соусом я вполне легальным путем получил оружие. Добротин пытается выудить хоть какие-нибудь противоречия из моего рассказа, я пытаюсь выудить из Добротина хотя бы приблизительный остов тех «показаний», какие мне будут предложены. Мы оба терпим полное фиаско.

— Вот, что я вам предложу, — говорит, наконец, Добротин, — Я отдам распоряжение доставить в вашу камеру бумагу и прочее, и вы сами изложите все показания, не скрывая решительно ничего. Ещё раз напоминаю вам, что от вашей откровенности зависит всё.

Добротин опять принимает вид рубахи парня, и я решаюсь воспользоваться моментом.

— Не можете ли вы вместе с бумагой приказать мне доставить хоть часть того продовольствия, которое у нас было отобрано?

Голодая в одиночестве, я не без вождления в сердце своём вспоминал о тех запасах сала, сахару, сухарей, которые мы везли с собой и которые сейчас жрали какие-то чекисты.

— Знаете, Иван Лукьянович, это будет трудно. Администрация тюрьмы не подчинена следственным властям. Кроме того, ваши запасы, вероятно, уже съедены... Знаете ли, скоропортящиеся продукты.

— Ну, скоропортящиеся мы и сами могли бы съесть.

— Да... Вашему сыну я предлагал кое-что, — врал Добротин. — Постараюсь и вам. Вообще я готов идти вам навстречу и в смысле режима и в смысле питания... Надеюсь, что к вы...

— Ну, конечно. И в ваших и в моих интересах покончить со всей этой канителью возможно скорее; чем бы она ни кончилась.

Добротин понимает мой намёк.

— Уверяю вас, Иван Лукьянович, что ничем особенно страшным она кончиться не может... Ну, пока до свиданья.

Я подымалось со своего кресла и вижу, рядом с креслом Добротина из письменного стола выдвинута доска, и на доске крупнокалиберный кольт со взведённым курком. Добротин был готов к менее великосветскому финалу нашей беседы.

СТЁПУШКИН РОМАН

Вежливость — качество приятное даже в палаче. Конечно, очень утешительно, что мне не тыкали в нос наганом, не инсценировали расстрела. Но, во-первых, это до поры до времени, во-вторых, допрос не дал решительно ничего нового. Весь разговор совсем впустую. Никаким обещаниям Добротина я, конечно, не верю, как не верю и его крокодиловым вздыханиям по поводу Юриной молодости, Юру, впрочем, вероятно, посадят в концлагерь. Но что из того? За смерть отца и дяди он ведь будет мстить — он не из таких мальчишек. Значит, тот же расстрел, только немного позже. Стёпушка, вероятно, отделается дешевле всех. У него одного не было никакого оружия, он не принимал

никакого участия в подготовке побега. Это старый, затрушенный и вполне аполитичный гроссбух. Кому он нужен, абсолютно одинокий, от всего оторванный человек, единственная вина которого заключалась в том, что он, рискуя жизнью, пытался пробраться к себе домой на родину, чтобы там доживать свои дни.

Я наскоро пишу свои показания и жду очередного вызова, чтобы узнать, где кончится следствие, как таковое, к где начнутся попытки выжать из меня «роман».

Мои показания забирает коридорный надзиратель и относит Добротину. Дня через три меня вызывают на допрос. Добротин встречает меня так же вежливо, как и в первый раз, но лицо его выражает разочарование.

— Должен вам сказать, Иван Лукьянович, что ваша писанина никуда не годится. Это всё мы и без вас знаем. Ваша попытка побега нас очень мало интересует. Нас интересует ваш шпионаж.

Добротин бросает это слово, как какой-то тяжёлый метательный снаряд, который должен сбить меня с ног и выбить из моего очень относительного, конечно, равновесия. Но я остаюсь равнодушным. Вопросительно и молча смотрю на Добротина. Добротин «пронизывает» меня взглядом. Техническая часть этой процедуры ему явственно не удаётся. Я курю добротинскую папироску и жду...

— Основы вашей «работы» нам достаточно полно известны, и с вашей стороны, Иван Лукьянович, было бы даже, так сказать... неумно эту работу отрицать. Но целый ряд отдельных нитей нам неясен. Вы должны нам их выяснить.

— К сожалению, ни насчет основ, ни насчет нитей ничем вам помочь не могу,

— Вы, значит, собираетесь отрицать вашу «работу»?

— Самым категорическим образом. И преимущественно потому, что такой работы и в природе не существовало.

— Позвольте, Иван Лукьянович. У нас есть наши агентурные данные, у нас есть копии с вашей переписки. У нас есть показания Степанова, который во всём сознался...

Я уже потом, по дороге в лагерь, узнал, что со Стёпушкой обращались далеко не так великосветски, как со всеми нами. Тот же самый Добротин, который вот сейчас прямо лоснится от корректности, стучал кулаком по столу, крыл его матом, тыкал ему в нос кольцом и грозил «пристрелить, как дохлую собаку». Не знаю, почему именно, как дохлую.

Стёпушка наворотил. Наворотил совершенно жуткой чепухи, запугав в ней и людей, которых он знал. Он перепугался так, что стремительность его «показаний» прорвала все преграды элементарной логики, подхватила за собой Добротина, и Добротин в этой чепухе утоп.

Что он утоп, мне стало ясно после первых же минут допроса. Его «агентурные данные» не стоили двух копеек; слежка за мной, как оказалось, была, но ничего путного и выслеживать не было; переписка моя, как оказалось, перлюстрировалась вся, но и из неё Добротин ухитрился выкопать только факты, разбивающие его собственную или вернее Стёпушкину теорию. Оставалась одна эта теория, или точнее остов «романа», который я должен был облечь плотью и кровью, закрепить всю эту чепуху своей подписью, и тогда на руках у Добротина оказалось бы настоящее дело, на котором, может быть, можно было бы сделать карьеру и в котором увязло бы около десятка решительно ни в чем неповинных людей.

Если бы эта чепуха была сгруппирована хоть сколько-нибудь соответственно с человеческим мышлением, выбраться из нее было бы нелегко. Как-никак, знакомства с иностранцами у меня были. Связь с границей была. Все это само по себе уже достаточно предосудительно с советской точки зрения, ибо не только за границу, но и каждого отдельного иностранца советская власть отгораживает китайской стеной от зрелища советской нищеты, а советского жителя — от буржуазных соблазнов.

Я до сих пор не знаю, как именно конструировался остов этого романа. Мне кажется, что Стёпушкин переполох вступил в соцсоревнование с добротинским рвением, и из обоих и в отдельности не слишком хитрых источников получился совсем уж противоестественный убудок. В одну нелепую кучу были свалены и Юрины товарищи по футболу и та английская семья, которая приезжала ко мне в Салтыковку на week end, и несколько знакомых журналистов, и мои поездки по России и все, что хотите. Здесь не было никакой логической или хронологической увязки. Каждая «улика» вопиюще противоречила, другой, и ничего не стоило доказать всю полную логическую бессмыслицу этого «романа». Но что было бы, если бы я ее доказывал? В данном виде это было варево, несъедобное даже для непритворного желудка ГПУ. Но если бы я указал Добротину на самые зияющие несообразности, он устранил бы их, и в коллегия ГПУ пошел бы обвинительный акт, не лишенный хоть некоторой самой отдаленной доли правдоподобия. Этого правдоподобия было бы достаточно для создания нового «дела» и для ареста новых «шпионов».

И я очень просто говорю Добротину, что я — по его же словам — человек разумный, и что именно поэтому я не верю ни в его обещания, ни в его угрозы, что вся эта пинкертоновщина со шпионами — несусветный вздор, и что вообще никаких показаний на эту тему я подписывать не буду; что можно было перепугать Степанова и поймать его на какую-нибудь очень дешевую удочку, но что меня на такую удочку никак не поймать.

Добротин как-то сразу осекся, его лицо на один миг перекашивается яростью, и из-под лоснящейся поверхности хорошо откормленного и благодушно-корректного, если хотите, даже европеизированного «следователя» мелькает оскал чекистских челюстей.

— Ах, вы так...

— Я так.

Мы несколько секунд смотрим друг на друга в упор.

— Ну, мы вас заставим сознаться.

— Очень мало вероятно.

По лицу Добротина видна, так сказать, борьба стилей. Он сбился со своего европейского стиля и почему-то не рискует перейти к обычному чекистскому. Толи ему не приказано, толи он побаивается. За три недели тюремной голодовки я не очень уж ослаб физически и терять мне было нечего. Разговор заканчивается совсем уж глупо.

— Вот, видите. — раздраженно говорит Добротин. — А я для вас даже выхлопотал сухарей из вашего запаса.

— Что же вы думали купить сухарями мои показания?

— Ничего я не думал покупать. Забирайте ваши сухари. Можете идти в камеру.

СИНЕДРИОН

На другой же день меня снова вызывают на допрос. На этот раз Добротин не один. Вместе с ним еще каких-то три следователя, видимо, чином значительно выше. Один в чекистской форме с двумя ромбами в петлице. Дело идет всерьез.

Добротин держится пассивно и в тени. Допрашивают те трое. Около пяти часов идут бесконечные вопросы о всех моих знакомых, снова выплывает уродливый, нелепый остов Стёпушкиного детективного романа, но на этот раз уже в новом варианте. Меня в шпионаже уже не обвиняют. Но граждане X, Y, Z и прочие занимались шпионажем, и я об этом не могу не знать. О Степушкином шпионаже тоже почти не

заикаются, весь упор делается на нескольких моих иностранных и не иностранных знакомых. Требуется, чтобы я подписал показания, их избобличающие, и тогда — опять разговор о молодости моего сына, о моей собственной судьбе, о судьбе брата. Намеки на то, что мои показания весьма существенны «с международной точки зрения», что ввиду дипломатического характера моего этого дела имя мое нигде не будет названо. Потом намеки — и весьма прозрачные — на расстрел всех нас троих, в случае моего отказа и т.д. и т.д.

Часы проходят, я чувствую, что допрос превращается в конвейер. Следователи то выходят, то приходят. Мне трудно разобрать их лица. Я сижу на ярко освещенном месте, в кресле, у письменного стола. За столом Добротин, остальные в тени, у стены огромного кабинета, на каком-то диване.

Провраться я не могу, хотя бы просто потому, что я решительно ничего не выдумываю. Но этот многочасовой допрос, это огромное нервное напряжение временами уже завлакивает сознание какой-то апатией, каким-то безразличием. Я чувствую, что этот конвейер надо остановить.

— Я вас не понимаю, — говорит человек с двумя ромбами — Вас в активном шпионаже мы не обвиняем. Но какой вам смысл топить себя, выгораживая других. Вас они так не выгораживают.

Что значит глагол «не выгораживают» и еще в настоящем времени? Что это люди или часть из них уже арестованы? И действительно «не выгораживают» меня? Или просто это новый трюк?

Во всяком случае, конвейер надо остановить.

Со всем доступным мне спокойствием и со всей доступной мне твердостью я говорю приблизительно следующее:

— Я журналист и, следовательно, достаточно опытный в советских делах человек. Я не мальчик и не трус. Я не питаю никаких иллюзий относительно своей собственной судьбы и судьбы моих близких. Я ни на одну минуту и ни на одну копейку не верю ни обещаниям, ни увещаниям ГПУ, весь этот роман я считаю форменным вздором и убежден в том, что таким же вздором считают его и мои следователи; ни один мало-мальски здравомыслящий человек ничем иным и считать его не может. И что ввиду всего этого я никаких показаний не только подписывать, но и вообще давать не буду.

— То есть, как это вы не будете? — вскакивает один из следователей и замолкает. Человек с двумя ромбами медленно подходит к столу и говорит:

— Ну, что ж, Иван Лукьянович. Вы сами подписали ваш приговор... И не только ваш. Мы хотели дать вам возможность спасти себя. Вы этой возможностью не воспользовались. Ваше дело. Можете идти.

Я встаю и направляюсь к двери, у которой стоит часовая.

— Если надумаетесь, — говорит мне вдогонку человек с двумя ромбами, — сообщите вашему следователю. Если не будет поздно...

— Не надумаюсь.

Но когда я вернулся в камеру, я был совсем без сил. Точно вынули что-то самое ценное в жизни и голову наполнили бесконечной тьмой и отчаянием. Спас ли я кого-нибудь в реальности? Не отдал ли я брата и сына на расправу этому человеку с двумя ромбами? Разве я знаю, какие аресты произведены в Москве, и какие методы допросов были применены, и какие романы плетутся или сплетены там. Я знаю, я твердо знаю, знает моя логика, мой рассудок, знает весь мой опыт, что я правильно поставил вопрос. Но откуда-то со дна сознания подымается что-то темное, что-то почти паническое, и за всем этим кудрявая голова сына, развороченная выстрелом из револьвера на близком расстоянии.

Я забрался с головой под одеяло, чтобы ничего не видеть, чтобы меня не видели в этот глазок, чтобы не подстерegli минуты упадка.

Но дверь лязгнула: в камеру вбежали два надзирателя и стали стаскивать одеяло. Чего они хотели, я не догадался, хотя я знал, что существует система медленного, но довольно верного самоубийства — перетянуть шею веревочкой или полоской простыни и лечь. Сонная артерия передавлена, наступает сон, потом смерть. Но я уже оправился.

— Мне мешает свет.

— Все равно, голову закрывать не полагается.

Надзиратели ушли, но волчок поскрипывал всю ночь.

ПРИГОВОР

Наступили дни безмолвного ожидания. Где-то там, в гигантских и беспощадных зубцах чекистской машины вертится стопка бумаги с пометкой «Дело 2248». Стопка бежит по каким-то роликам; подхватывается какими-то шестеренками. Потом подхватит ее какая-то одна, особенная шестеренка — и вот, придут ко мне и скажут:

«Собирайте вещи»...

Я узнаю, в чем дело, потому что они придут не вдвоем и даже не втроем. Они придут ночью. У них будут револьверы в руках, и эти

револьверы будут дрожать больше, чем дрожал кольт в руках Добротина в вагоне номер 13.

Снова бесконечные бессонные ночи. Тускло с центра потолка подмигивает электрическая лампочка. Мертвая тишина корпуса одиночек лишь изредка прерывается чьими-то предсмертными ночными криками. Полная отрезанность от всего мира. Ощущение человека, похороненного заживо.

Так проходит три месяца.

...Рано утром часов в шесть в камеру входит надзиратель. В руке у него какая-то бумажка.

— Фамилия?

— Солоневич, Иван Лукьянович.

— Выписка из постановления чрезвычайной судебной тройки ПП ОГПУ ЛВО от 28 ноября 1933 года.

У меня чуть-чуть замирает сердце, но в мозгу уже ясно: это не расстрел. Надзиратель один и без оружия.

...Слушали: дело 2248 гражданина Солоневича Ивана Лукьяновича, по обвинению его в преступлениях предусмотренных статьями 58 пункт 6; 58 пункт 10; 58 пункт 11 и 59 пункт 10...

Постановили: признать гражданина Солоневича Ивана Лукьяновича виновным в преступлениях, предусмотренных указанными статьями и заключить его в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. Распишитесь...

Надзиратель кладет бумажку на стол, текстом книзу. Я хочу лично прочесть приговор и записать номер дела, дату и пр. Надзиратель не позволяет. Я отказываюсь расписаться. В конце концов он уступает.

Уже потом в концлагере я узнал, что это — обычная манера объявления приговора; впрочем, крестьянам очень часто приговора не объявляют вовсе. И человек попадает в лагерь, не зная или не помня номера дела, даты приговора, без чего всякие заявления и обжалования почти не возможны, и что в большей степени затрудняет всякую юридическую помощь заключенным.

Итак, восемь лет концентрационного лагеря. Путевка на восемь лет каторги, но все-таки не путевка на смерть.

Охватывает чувство огромного облегчения. И в тот же момент в мозгу вспыхивает целый ряд вопросов — отчего такой милостивый приговор, даже не 10, а только 8 лет? Что с Юрой, Борисом, Ириной, Стёпушкой? И в конце этого списка вопросов последний: как удастся

очередная — которая по счету? — попытка побега? Ибо если мне и советская воля была невтерпех, то что же говорить о советской каторге?

На вопрос об относительной мягкости приговора у меня ответа нет и до сих пор. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что мы не подписали никаких доносов и не написали никаких романов. Фигура романиста, как бы его ни улещали во время допроса, всегда остается нежелательной фигурой, конечно, уже после окончательной редакции романа. Он уже написал все, что от него требовалось, а потом из концлагеря начнет писать заявления, опровержения, покаяния. Мало ли, какие группировки существуют в ГПУ. Мало ли, кто может друг друга подсиживать. От романиста проще отделаться совсем: мавр сделал свое дело, и мавр может отправляться ко всем чертям. Документ остается, и опровергать его уже некому. Может быть, меня оставили жить для того, чтобы ГПУ не удалось создать крупное дело. Может быть, благодаря признания советской России Америкой. Кто его знает, отчего?

Борис, значит, тоже получил что-то вроде 8-10 лет концлагеря. Исходя из некоторой пропорциональности вины и прочего, можно было бы предполагать, что Юра отделается какой-нибудь высылкой в более или менее отдаленные места. Но у Юры были очень плохи дела со следователем. Он вообще от всяких показаний отказался, и Добротин мне о нем говорил: «Вот тоже ваш сын, самый молодой и самый жутковатый». Стёпушка своим романом мог себе очень сильно напортить.

В тот же день меня переводят в пересыльную тюрьму на Нижегородской улице.

В ПЕРЕСЫЛКЕ

Огромные каменные коридоры пересылки переполнены всяким народом. Сегодня — «большой прием». Из провинциальных тюрем прибыли сотни крестьян, из Шпалерки — рабочие, урки (профессиональный уголовный элемент) и к моему удивлению всего несколько человек интеллигенции. Я издали замечаю всклокоченный чуб Юры, и Юра устремляется ко мне, уже издали показывая пальцами — три года. Юра исхудал почти до неузнаваемости: он оказывается, объявил голодовку в виде протеста против недостаточного питания. Мотив, не лишенный оригинальности. Здесь же и Борис, тоже исхудавший, обросший бородами и уже поглощенный мыслью о том, как бы нам всем попасть в одну камеру. У него, как и у меня — восемь лет, но в данный момент все эти сроки нас совершенно не интересуют. Все живы — и то слава Богу.

Борис предпринимает ряд таинственных манипуляций, а часа через два — мы все в одной камере, правда, одиночке, но сухой и светлой и главное без всякой посторонней компании. Здесь мы можем крепко обняться, обменяться всем пережитым и... обмозговать новые планы побега.

В этой камере мы как-то быстро и хорошо обжились. Все мы были вместе и пока что вне опасности. У всех нас было ощущение выздоровления после тяжелой болезни, когда силы прибывают, и когда весь мир кажется ярче и чище, чем он есть на самом деле. При тюрьме оказалась старенькая библиотека. Нас ежедневно водили на прогулку. Сначала трудно было ходить: ноги ослабели и подгибались. Потом после того, как первые передачи влили новые силы в наши ослабевшие мышцы, Борис как-то предложил:

— Ну, теперь давайте тренироваться в беге. Дистанция — икс километров: совдепия — заграница.

На прогулку выводили сразу камер десять. Ходили по кругу, довольно большому, диаметром метров сорок; причем каждая камера должна была держаться на расстоянии десяти шагов одна от другой. Не нарушая этой дистанции, нам приходилось «бегать» почти на месте, но мы все же бегали. Прогульщик, тот чин тюремной администрации, который надзирает за прогулкой, смотрел на нашу тренировку скептически, но не вмешивался. Рабочие подсмеивались. Мужики смотрели недоуменно. Из окон тюремной канцелярии на нас взирали изумленные лица... А мы все бегали.

Прогульщик стал смотреть на нас уже не скептически, а даже несколько сочувственно.

— Что, спортсмены?— спросил он как-то меня.

— Чемпион России, — кивнул я в сторону Бориса.

— Вишь ты, — сказал прогульщик.

На следующий день, когда прогулка уже кончилась, и вереница арестантов потянулась в тюремные двери, он нам подмигнул:

— А ну, валяй по пустому двору! Так мы приобрели возможность тренироваться более или менее всерьез. И попали в лагерь в таком состоянии физической fitness, которое дало нам возможность обойти много острых и трагических углов лагерной жизни.

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ТЮРЬМА

Это была рабоче-крестьянская тюрьма в буквальном смысле. Сидя в одиночке на Шпалерке, я не мог составить себе никакого представления

о социальном составе населения советских тюрем. В пересылке мои возможности несколько расширились. На прогулку выводили человек от 50 до 100 одновременно. Состав этой партии менялся постоянно, одних куда-то усылали, других присылали, но за весь месяц нашего пребывания в пересылке мы оставались единственными интеллигентами в этой партии — обстоятельство, которое для меня было несколько неожиданным.

Больше всего было крестьян, до жути изголодавшихся и каких-то по особенному пришибленных. Иногда встречаясь с ними где-нибудь в темном углу лестницы, слышишь придушенный шепот:

— Братец, а братец. Хлебца бы корочку... А?

Много было рабочих. Эти имели чуть-чуть менее голодный вид и были лучше одеты. И, наконец, мрачными фигурами, полными окончательного отчаяния и окончательной безысходности, шагали по кругу «знатные иностранцы».

Это были почти исключительно финские рабочие, теми или иными, но большей частью нелегальными способами перебравшиеся в страну строящегося социализма, «на родину всех трудящихся» Сурово их встретила эта родина. Во-первых, ей и своих трудящихся деть было некуда; во-вторых, и чужим трудящимся неохота показывать своей нищеты, своего голода и своих расстрелов. А как выпустить обратно этих чужих трудящихся, хотя бы одним уголком глаза уже увидевших советскую жизнь не из окна спального вагона?

И вот, месяцами они маячат здесь по заколдованному кругу пересылки (сюда сажали и следственных, но не срочных заключенных) без языка, без друзей, без знакомых, покинув волю своей не пролетарской родины и попав в тюрьму пролетарской.

Эти пролетарские иммигранты в СССР — легальные, полулегальные и вовсе нелегальные — представляют собой очень жалкое зрелище. Их привлекла сюда та безудержная коммунистическая агитация о прелестях социалистического рая, которая была особенно характерна для первых лет пятилетки и для первых надежд, возлагавшихся на эту пятилетку. Предполагался бурный рост промышленности и большая потребность в квалифицированной рабочей силе, предполагался «небывалый рост благосостояния широких масс трудящихся» — многое предполагалось. Пятилетка пришла и прошла. Оказалось, что и своих собственных рабочих девать некуда, что перед страной, в добавление к прочим прелестям, стала угроза массовой безработицы, что от благосостояния массы ушли еще дальше, чем до пятилетки. Правительство стало выжимать из СССР и тех иностранных рабочих, которые приехали по договорам и которым тут нечем было платить и

которых нечем было кормить. Но агитация продолжала действовать. Тысячи неудачников идеалистов, если хотите, идеалистических карасей, поперли в СССР всякими не очень легальными путями и попали в щучьи зубы ГПУ.

Можно симпатизировать и можно не симпатизировать политическим убеждениям, толкнувшим этих людей сюда. Но не жалеть этих людей нельзя. Это не та коминтерновская шпана, которая едет сюда по всяческим, иногда даже не очень легальным визам советской власти, которая отдыхает в Крыму, на Минеральных Водах, которая объедает русский народ Инснабами, субсидиями и просто подачками. Они, эти идеалисты, бежали от «буржуазных акул» к своим социалистическим братьям. К эти братья первым делом скрутили им руки и бросили их в подвалы ГПУ.

Эту категорию людей я встречал в самых разнообразных местах советской России, в том числе и у финляндской границы в Карелии, откуда их на грузовиках и под конвоем ГПУ волокли в Петрозаводскую тюрьму. Это было в селе Койкоры, куда я пробрался для разведки насчет бегства из социалистического рая, а они бежали в этот рай. Они были очень голодны, но еще больше придавлены и растеряны. Они видели еще очень немного, но и того, что они видели, было достаточно для самых мрачных предчувствий насчет будущего. Никто из них не знал русского языка, и никто из конвоиров не знал ни одного иностранного. Поэтому мне удалось на несколько минут втиснуться в их среду в качестве переводчика. Один из них говорил по-немецки. Я переводил под пронизательными взглядами полудюжины чекистов, буквально смотревших мне в рот. финн плохо понимал по-немецки, и приходилось говорить очень внятно и раздельно. Среди конвоиров был один еврей, он мог кое-что понимать по-немецки, и лишнее слово могло бы означать для меня концлагерь.

Мы стояли кучкой у грузовика. Из-за изб на нас выглядывали перепуганные карельские крестьяне, которые шарахались от грузовика и от финнов, как от чумы: перекинешься двумя-тремя словами, а потом Бог знает, что могут пришить. Финны знали что местное население понимает по-фински, и мой собеседник спросил, почему к ним никого из местных жителей не пускают. Я перевел вопрос начальнику конвоя и получил ответ:

— Это не ихнее дело.

Финн спросил, нельзя ли достать хлеба или сала. Наивность этого вопроса вызвала хохот у конвоиров, финн спросил, куда их везут. Начальник конвоя ответил: «Сам увидит», и предупредил меня: «Только вы лишнего ничего не переводите». Финн растерялся и не знал, что и

спрашивать больше. Арестованных стали сажать в грузовик. Мой собеседник бросил мне последний вопрос:

— Неужели, буржуазный газеты говорили правду?

И я ему ответил словами начальника конвоя: увидите сами. И он понял, что увидеть ему предстоит еще очень много.

В концлагере ББК я не видел ни одного из этих дружественных иммигрантов. Впоследствии я узнал, что всех их отправляют подальше: за Урал, на Караганду, в Кузбасс, подальше от соблазна нового бегства — бегства-возвращения на свою старую и несоциалистическую родину.

УМЫВАЮЩИЕ РУКИ

Однако, самое приятное в пересылке было то, что мы, наконец, могли завязать связь с волей, дать знать о себе людям, для которых мы четыре месяца тому назад как в воду канули, слать и получать письма, получать передачи и свидания.

Но с этой связью дело обстояло довольно сложно: мы не питерцы; и по моей линии в Питере было только два моих старых товарища. Один из них, Иосиф Антонович, муж г-жи Е., явственно сидел где-то рядом с нами, но другой был на воле, вне всяких подозрений ГПУ и вне всякого риска, что передачей или свиданием он навлечет какое бы то ни было подозрение: такая масса людей сидит по тюрьмам, что если поарестовывать их родственников и друзей, нужно было бы окончательно опустошить всю Россию. *Nominae sunt odiosa* — назовем его «профессором Костей». Когда-то очень давно наша семья вырастила и выкормила его, почти беспризорного мальчика; он кончил гимназию к университет. Сейчас он мирно профессорствовал в Петербурге, жил тихой кабинетной мышью. Он несколько раз проводил московские свои командировки у меня в Салтыковке, и у меня с ним была почти постоянная связь.

И еще была у нас в Питере двоюродная сестра. Я и в жизни ее не видал, Борис встречался с нею давно и мельком; мы только знали, что она, как и всякая служащая девушка в России, живет нищенски, работает каторжно и почти как и все они, каторжно работающие и нищенски живущие, болеет туберкулезом. Я говорил о том, что эту девушку не стоит загруждать хождением на передачи и свидания, а что вот Костя — так от кого же и ждать помощи, как не от него.

Юра к Косте вообще относился весьма скептически, он не любил людей, окончательно выхолащенных от всякого протеста... Мы послали до открытке — Косте и ей.

Как мы ждали первого дня свидания! Как мы ждали этой первой за четыре месяца лазейки в мир, в котором близкие наши то молились уже за упокой душ наших, то мечтали о почти невероятном — о том, что мы все-таки как-то еще живы. Как мы мечтали о первой весточке туда и о первом куске хлеба оттуда!

Когда голодаешь этак по-ленински — долго и всерьез, вопрос о куске хлеба приобретает странное значение. Сидя на тюремном пайке, я как-то не мог себе представить с достаточной ясностью и убедительностью, что вот лежит передо мной кусок хлеба, а я есть не хочу, и я его не съем. Хлеб занимал командные высоты в психике, унизительные высоты.

В первый же день свиданий в камеру вошел дежурный.

— Который тут Солоневич?

— Все трое.

Дежурный изумленно воззрился на нас.

— Эка вас расплодилось. А который Борис? На свидание.

Борис вернулся с мешком всяческих продовольственных сокровищ: здесь было фунта три хлебных огрызков, фунтов пять вареного картофеля в мундирах, две брюквы, две луковицы и несколько кусочков селедки. Это было все, что Катя успела наскребать. Денег у нее, как мы ожидали, не было ни копейки, а достать денег по нашим указаниям она еще не сумела.

Но картошка... Какое это было пиршество! И как весело было при мысли о том, что наша оторванность от мира кончилась, что панихид по нам служить уже не будут. Все-таки по сравнению с могилой и концлагерь — радость.

Но Кости не было.

К следующему свиданию опять пришла Катя.

Бог ее знает, какими путями и под каким предлогом она удрала со службы, наскребла хлеба, картошки и брюквы, стояла полубольная в тюремной очереди. Костя не только не пришел; на телефонный звонок Костя ответил Кате, что он, конечно, очень сожалеет, но что он ничего сделать не может, так как сегодня же уезжает на дачу. Дача была выдумана плохо: на дворе стоял декабрь.

Потом, лежа на тюремной койке и перебирая в памяти все эти страшные годы, я думал о том, как «тяжкий млат» голода и террора одних закалил, других раздробил, третьи оказались пришибленными, но пришибленными прочно. Как это я раньше не мог понять, что Костя — из пришибленных?

Сейчас в тюрьме, видя, как я придавлен этим разочарованием, Юра стал утешать меня, так неуклюже, как это только может делать юноша 18 лет от роду и 180 сантиметров ростом.

— Слушай, Ватик, неужели же тебе и раньше не было ясно, что Костя не придет и ничего не сделает? Ведь, это же просто Акакий Акакиевич по ученой части. Ведь, он же: Ватик, трус. У него от одного Катиного звонка душа в пятки ушла. А чтобы придти на свиданье — что ты, в самом деле? Он дрожит над каждым своим рублем и над каждым своим шагом. Я, конечно, понимаю, Ватик, — смягчил Юра свою филиппику, — ну, конечно, раньше он, может быть и был другим, но сейчас...

Да, другим. Многие были иными. Да, сейчас, конечно — Акакий Акакиевич. Роль знаменитой шубы выполняет дочь, хлипкая истеричка двенадцати лет. Да, конечно, революционный ребенок; ни жиров, ни елки, ни витаминов, ни сказок. Пайковый хлеб и политграмма. Оную же политграмму, надрываясь до тошноты, читает Костя по всяким рабфакам — кому нужна теперь славянская литература. Тощий и шаткий уют на Васильевском острове. Вечная дрожь: справа — уклон, слева — загиб; снизу — голод, а сверху — просто ГПУ... Оппозиционный шепот за закрытой дверью. И вечная дрожь.

Да, можно понять. Как я этого раньше не понял? Можно простить. Но руку трудно подать. Хотя, разве он один, духовно убиенный революцией? Если нет статистики убитых физически, то кто может подсчитать количество убитых духовно, пришибленных забитых?

Их много. Но, как ни много их, как ни чудовищно давление, есть все-таки люди, которых пришибить не удалось...

ЯВЛЕНИЕ ИОСИФА

Дверь в нашу камеру распахнулась, и в нее ввалилось нечто перегруженное всяческими мешками, весьма небритое и очень знакомое. Но я не сразу поверил глазам своим.

Небритая личность свалила на пол свои мешки и зверски огрызнулась на дежурного:

— Куда же вы к чертовой матери меня пихаете? Ведь, здесь ни статья, ни сесть. Но дверь захлопнулась.

— Вот, сук-к-кины дети! — сказала личность по направлению к двери.

Мои сомнения рассеялись. Невероятно, но факт: это был Иосиф Антонович.

И я говорю таким для вящего изумления равнодушным тоном:

— Ничего, И.А., как-нибудь поместимся. И.А. нацелился было молотить каблуком в дверь. Но при моих словах его приподнятая было нога мирно стала на пол.

— Иван Лукьянович! Вот это значит — черт меня раздери. Неужели, ты? И Борис? А это, как я имею основание полагать, Юра. — Юру И.А. не видал 15 лет, не мудрено было не узнать.

— Ну, пока там что, давай поцелуемся. Мы по доброму старому российскому обычаю колем друг друга небритыми щетинами.

— Как ты попал сюда? — спрашиваю я.

— Вот тоже дурацкий вопрос, — огрызается И.А. и на меня. — Как попал? Обыкновенно, как все попадают. Во всяком случае, попал из-за тебя, черт тебя дери... Ну, это ты потом мне расскажешь. Глазное — все живы. Остальное — хрен с ним. Тут у меня полный мешок всякой жратвы. К папиросы есть.

— Знаешь, И.А., мы пока будем есть, а уж ты рассказывай. Я — за тобой.

Мы принимаемся за еду. И.А. закуривает папиросу и, мотаясь по камере, рассказывает:

— Ты знаешь, я уже месяцев восемь в Мурманске. В Питере с начальством разругался вдрызг: они, сукины дети, разворовали больничное белье, а я эту хреновину должен был в бухгалтерии замазывать. Ну, я плюнул им в рожу и ушел. Перебрался в Мурманск. Место замечательно паршивое, но ответственным работникам дают полярный паек, так что в общем жить можно. Да еще в заливе морские окуни водятся — замечательная рыба! Я даже о коньках стал подумывать (И.А. был в свое время первоклассным фигуристом). Словом, живу, работы чертова уйма, и вдруг — ба-бах. Сижу вечерок дома, ужинаю, пью водку. Являются: разрешите, говорят, обыск у вас сделать... Ах вы, сукины дети — еще в вежливость играют. Мы, дескать, не какие-нибудь, мы, дескать, европейцы. «Разрешите». Ну, мне плевать. Что у меня можно найти, кроме пустых бутылок? Вы мне, говорю, водку разрешите допить, пока вы тем под кроватями ползать будете... Словом, обшарили все, водку я допил, поволокли меня в ГПУ, а оттуда со спецконвоем — двух идиотов приставили — повезли в Питер. Ну, деньги у меня были, всю дорогу пьянствовали. Я этих идиотов так накачал, что когда приехали на Николаевский вокзал, прямо деваться некуда, такой дух, что даже прохожие внохиваются. Ну, ясно, в ГПУ с таким духом идти нельзя было, мы заскочили на базарчик, пожевали чесноку, я позвонил домой сестре...

— Отчего же вы не сбежали? — снаивничал Юра.

— А какого мне, спрашивается, черта бежать? Куда бежать? И что я такое сделал, чтобы мне бежать? Единственное, что водку пил. Так за это у нас сажать еще не придумали. Наоборот: казне доход и о политике меньше думают. Словом, притащили на Шпалерку и посадили в одиночку. Потом вызывают на допрос — сидит какая-то толстая сволочь.

— Добротин?

— А черт его знает. Может и Добротин. Начинается, как обыкновенно мы все о вас знаем. Очень, говорю, приятно, что знаете. Только, если знаете, так на какого же черта вы меня посадили? Вы, говорит, обвиняетесь в организации контрреволюционного сообщества. У вас бывали такие-то и такие-то, вели такие-то и такие-то разговоры; знаем решительно все — и кто был, и что говорил. Я уже совсем ничего не понимаю. Водку пьют везде, и разговоры такие везде разговаривают. Если бы за такие разговоры сажали, в Питере давно бы ни одной души живой не осталось. Потом выясняется: и кроме того вы обвиняетесь в пособничестве попытке побега вашего товарища Солоневича.

Тут я понял, что вы влипли. Но откуда такая информация о моем собственном доме? Эта толстая сволочь требует, чтобы я подписал показания и насчет тебя и насчет всяких других моих знакомых. Я ему говорю, что ни черта подобного я не подпишу, что никакой контрреволюции у меня в доме не было, что тебя я за хвост держать не обязан. Тут этот следователь начинает крыть матом, грозить расстрелом и тыкать мне в лицо револьвером. Ах ты, думаю, сукин сын! Я восемнадцать лет в советской России живу, а он еще думает расстрелом, видите ли, меня запугать. Я знаешь, с ним очень вежливо говорил. Я ему говорю, пусть он тыкает револьвером в свою жену, а не в меня, потому что я ему вместо револьвера и кулаком могу ткнуть... Хорошо, что он убрал револьвер, а то набил бы я ему морду.

Ну, на этом наш разговор кончился. А через месяца два вызывают и пожалуйста: три года ссылки в Сибирь. Ну, в Сибирь, так в Сибирь, черт с ними. В Сибири тоже водка есть. Но скажи ты мне, ради Бога, И. Л.: вот ведь не дурак же ты, как же тебя угораздило попасться этим идиотам?

— Почему же идиотам?

И.А. был самого скептического мнения о талантах ГПУ.

— С такими деньгами и возможностями, какие имеет ГПУ, зачем им мозги. Берут тем, что четверть Ленинграда у них в шпиках служит. И если вы эту истину зубурите у себя на носу, никакое ГПУ вам не страшно. Сажают так, для цифры, для запугивания. А толковому

человеку их провести ни шиша не стоит. Ну, так в чем же, собственно, дело?

Я рассказываю, и по мере моего рассказа в лице И.А. появляется выражение чрезвычайного негодования.

— Бабенко! Этот сукин сын, который три года пьянствовал за моим столом и которому я бы ни на копейку не поверил! Ох, какая дура Е. Ведь, сколько раз ей говорил, что она дура — не верит. Воображает себя Меттернихом в юбке. Ей тоже три года Сибири дали. Думаешь, поумнеет? Ни черта подобного. Говорил я тебе, И.Л., не связывайся ты в таком деле с бабами — Ну, черт с ними, со всем этим. Главное, что живы, и потом — не падать духом. Ведь, вы же все равно сбежите.

— Разумеется, сбежим.

— И опять за границу?

— Разумеется, за границу. А то, куда же?

— Но за что же меня, в конце концов, выперли? Ведь, не за контрреволюционные разговоры за бутылкой водки?

— Я думаю, за разговоры со следователем.

— Может быть. Не мог же я позволить, чтобы всякая сволочь мне в лицо револьвером тыкала.

— А что, И.А., — спрашивает Юра, — вы на самом деле дали бы ему в морду?

И.А. ошетинивается на Юру:

— А мне что по-вашему оставалось бы делать? Несмотря на годы неистового пьянства, И.А. остался жилистым, как старая рабочая лошадь и в морду мог бы дать. Я уверен, что дал бы. А пьянствуют на Руси поистине неистово, особенно в Питере, где кроме водки почти ничего нельзя купить, и где население пьет без просыпу. Так, положим, делается во всем мире, чем глубже нищета и безысходность, тем страшнее пьянство.

— Черт с ним, — еще раз резюмирует нашу беседу И.А. — В Сибирь, так в Сибирь. Хуже не будет. Думаю, что везде приблизительно одинаково паршиво.

— Во всяком случае, — сказал Борис, — хоть пьянствовать перестанете.

— Ну, это уж извините. Что здесь больше делать порядочному человеку? Воровать? Лизать сталинские пятки? Выслуживаться перед всякой сволочью? Нет, уж я лучше просто буду честно пьянствовать. Лет на пять меня хватит, а там — крышка. Все равно, вы ведь должны понимать, Б.Л., жизни нет. Будь мне тридцать лет — ну, туда-сюда. А

мне пятьдесят. Что ж, семьей обзаводиться? Плодить мясо для сталинских экспериментов? Ведь, только приедешь домой, сядешь за бутылку, так по крайней мере всего этого кабака не видишь и не вспоминаешь. Бежать с вами? Что я там буду делать? Нет, Б.Л., самый простой выход это просто пить.

В числе остальных видов внутренней эмиграции есть и такой, пожалуй, наиболее популярный: уход в пьянство. Хлеба нет, но водка есть везде. В нашей, например. Салтыковке, где жителей тысяч 10, хлеб можно купить только в одной лавчонке, а водка продается в шестнадцати, в том числе и в киосках того типа, в которых при «проклятом царском режиме» торговали газированной водой. Водка дешева. Бутылка водки стоит столько же, сколько стоит два кило хлеба, да и в очереди стоять не нужно. Пьют везде. Пьет молодежь, пьют девушки, не пьет только мужик, у которого денег уж совсем нет.

Конечно, никакой статистики алкоголизма в советской России не существует. По моим наблюдениям больше всего пьют в Петрограде, и больше всего пьет средняя интеллигенция и рабочий молодежь. Уходят в пьянство от принудительной общестственности, от казенного энтузиазма, от каторжной работы, от бесперспективности, от всяческого гнета, от всяческой тоски со человеческой жизни и от реальностей жизни советской.

Не все. Конечно, не все. Но по какому-то таинственному и уже традиционному русскому заскоку в пьяную эмиграцию уходит очень ценная часть людей. Те, кто как Есенин, не смог, «задрать штаны, бежать за комсомолом». Впрочем, комсомол указывает путь и здесь.

Через несколько дней пришли забрать И.А. на этап.

— Никуда я не пойду. — заявил И.А. — У меня сегодня свидание.

— Какие тут свидания! — заорал дежурный. — Сказано, на этап. Собирай вещи!

— Собирайте сами. А мне вещи должны передать на свидании. Не могу я в таких ботинках зимой в Сибирь ехать.

— Ничего не знаю. Говорю, собирайте вещи, а то вас силой выведут.

— Идите вы к чертовой матери, — вразумительно сказал И.А.

Дежурный исчез и через некоторое время явился с другим каким-то чином повыше.

— Вы что позволяете себе нарушать тюремные правила? — стал орать чин.

— А вы не орите. — сказал И.А. и жестом опытного фигуриста поднес к лицу чина свою ногу в старом продранном полуботинке. — Ну, видите? Куда я к черту без подошв в Сибирь поеду?

— Плевать мне на ваши подошвы. Приказываю вам немедленно собирать вещи и идти.

Небритая щетина на верхней губе И.А. грозно стала дыбом.

— Идите к чертовой матери. — сказал И.А., усаживаясь на койку. — И позовите кого-нибудь поумнее.

Чин постоял в некоторой нерешительности и ушел, сказав угрожающе:

— Ну, сейчас мы вами займемся...

— Знаешь, И.А., — сказал я, — как бы тебе в самом деле не влетело за твою ругань.

— Хрен с ними. Эта сволочь тащит меня за здорово живешь куда-то к чертовой матери, таскает по тюрьмам, а я еще перед ним расшаркиваться буду. Пусть попробуют. Не всем, а уж кому-то морду набью.

Через полчаса пришел какой-то новый надзиратель .

— Гражданин А., на свидание.

И.А. уехал в Сибирь в полном походном обмундировании.

ЭТАП

Каждую неделю ленинградские тюрьмы отправляют по два этапных эшелона в концлагеря. Но так как тюрьмы переполнены свыше всякой меры, ждать очередного этапа приходится довольно долго. Мы ждали больше месяца.

Наконец, отправляют и нас. В полутемных коридорах тюрьмы снова выстраиваются длинные шеренги будущих лагерников, идет скрупулезный, бесконечный и в сущности никому не нужный обыск. Раздевают до нитки. Мы долго мерзнем на каменных плитах коридора. Потом нас усаживают на грузовики. На их бортах — конвойные красноармейцы с наганом в руках. Предупреждение: при малейшей попытке к бегству — пуля в спину без всяких разговоров.

Раскрываются тюремные ворота, и за ними целая толпа, почти исключительно женская, человек пятьсот.

Толпа раздается перед грузовиком, и из нее сразу взрывом несутся сотни криков, приветствий, прощаний, имен. Все это превращается в какой-то сплошной нечленораздельный вопль человеческого горя, в

котором тонут отдельные слова и отдельные голоса. Все это — русские женщины, изможденные и истощенные, пришедшие и встречать и провожать своих мужей, братьев, сыновей.

Вот, где поистине «долюшка русская, долюшка женская»... Сколько женского горя, бессонных ночей, невидимых миру лишений стоит за спиной каждой мужской судьбы, попавшей в зубцы ГПУской машины. Вот и эти женщины. Я знаю — они неделями бегали к воротам тюрьмы, чтобы узнать день отправления их близких. И сегодня они стоят здесь, на январском морозе с самого рассвета; на этап идет около сорока грузовиков, погрузка началась с рассвета и кончится поздно вечером. И они будут стоять здесь целый день только для того, чтобы бросить мимолетный прощальный взгляд на родное лицо. Да и лица-то этого, пожалуй, не увидят: мы сидим, точнее валяемся, на дне кузова и заслонены спинами чекистов, сидящих на бортах.

Сколько десятков и сотен тысяч сестер, жен, матерей вот так бьются о тюремные ворота, стоят в бесконечных очередях с «передачами», сэкономленными за счет самого жестокого недоедания! Потом, отрывая от себя последний кусок хлеба, они будут слать эти передачи куда-нибудь за Урал, в Карельские леса, в приполярную тундру. Сколько загублено женских жизней вот так, мимоходом прихваченных чекистской машиной.

Грузовик еще на медленном ходу. Толпа, отхлынувшая было от него, опять смыкается почти у самых колес. Грузовик набирает ход. Женщины бегут рядом с ним, выкрикивая разные имена. Какая-то девушка, растрепанная и заплаканная, долго бежит рядом с машиной, шатаясь, словно пьяная и каждую секунду рискуя попасть под колеса.

— Миша, Миша, родной мой, Миша!...

Конвоиры орут, потрясая своими наганом:

— Сиди на месте! Сиди, стрелять буду!

Сколько грузовиков уже прошло мимо этой девушки и сколько еще пройдет. Она нелепо пытается схватиться за борт грузовика, один из конвоиров перебрасывает ногу через борт и отталкивает девушку. Она падает и исчезает за бегущей толпой.

Как хорошо, что нас никто здесь не встречает. И как хорошо, что этого Миши с нами нет. Каково было бы ему видеть свою любимую, сбитую на мостовую ударом чекистского сапога... И остаться бессильным.

Машины режут. Люди шарахаются в стороны.

Все движение на улицах останавливается перед этой похоронной процессией грузовиков. Мы проносимся по улицам «красной столицы»

каким-то многоликим олицетворением *momento morge*, каким-то жутким напоминанием каждому, кто еще ходит по тротуарам: сегодня я, а завтра ты.

Мы въезжаем на задворки Николаевского вокзала. Эти задворки невидимому, специально приспособлены для чекистских погрузочных операций. Большая площадь обнесена колючей проволокой. На углах бревенчатые вышки с пулеметами. У платформы бесконечный товарный состав — это наш эшелон, в котором нам придется ехать Бог знает, куда к Бог знает, сколько времени.

Эти погрузочные операции как будто должны бы стать привычными и налаженными. Но вместо налаженности — крик, ругань, сутолока, бестолковщина. Нас долго перегоняют от вагона к вагону. Все уже заполнено до отказа, даже по нормам чекистских этапов; конвоиры орут, урки ругаются, мужики стонут. Так тыкаясь от вагона к вагону, мы наконец попадаем в какую-то совсем пустую теплушку и врываемся в нее оголтелой и озлобленной толпой.

Теплушка официально рассчитана на 40 человек, но в нее напихивают и 60 и 70. В нашу, как потом выяснилось, было напихано 58; Мы не знаем, куда нас везут и сколько времени придется ехать. Если за Урал, нужно рассчитывать на месяц, а то и на два. Понятно, что при таких условиях места на нарах — а их на всех конечно, не хватит — сразу становятся объектом жестокой борьбы.

Дверь вагона с треском захлопывается и мы остаемся в полутьме. С правой по ходу поезда стороны оба люка забиты наглухо. Оба левых — за толстыми железными решетками. Кажется, что вся эта полутьма от пола до потолка битком набита людьми, мешками, сумками, тряпьем, дикой руганью и дракой. Люди атакуют нары, отталкивая ногами менее удачливых претендентов, в воздухе мелькают тела, слышится мат, звон жестяных чайников, грохот падающих вещей.

Все атакуют верхние нары, где теплее, светлее и чище. Нам как-то удается протиснуться сквозь живой водопад тел на средние нары. Там хуже, чем наверху, но все же безмерно лучше, чем остаться на полу посредине вагона.

Через час это столпотворение как-то утихает. Сквозь многочисленные дыры в стенах и в потолке видно, как пробирается в теплушку свет, как январский ветер намечает на полу узенькие полоски снега. Становится зябко при одной мысли о том, как в эти дыры будет дуть ветер на ходу поезда. Посредине теплушки стоит печурка, изъеденная всеми язвами гражданской войны, военного коммунизма, мешочничества и Бог знает, чего еще.

Мы стоим на путях Николаевского вокзала почти целые сутки. Ни дров, ни воды, ни еды нам не дают. От голода, холода и усталости вагон постепенно затихает.

Ночь. Лязг буферов... Поехали... Мы лежим на нарах, плотно прижавшись друг к другу. Повернуться нельзя, ибо люди на нарах уложены так же плотно, как дощечки на паркете. Заснуть тоже нельзя. Я чувствую, как холод постепенно пробирается куда-то внутрь организма, как коченеют ноги, и застывает мозг. Юра дрожит мелкой, частой дрожью, старается удержать ее и опять начинает дрожать.

— Юрчик, замерзаешь?

— Нет, Ватик, ничего.

Так проходит ночь.

К полудню на какой-то станции нам дали дров — немного и сырых. Теплушка наполнилась едким дымом, тепла прибавилось мало, но стало как-то веселее. Я начинаю разглядывать своих сотоварищей по этапу.

Большинство — это крестьяне. Они одеты во что попало, как их захватил арест. С мужиком вообще стесняются очень мало. Его арестовывают на полевых работах, сейчас же переводят в какую-нибудь уездную тюрьму, по сравнению с которой Шпалерка — это дворец. Там, в этих уездных тюрьмах, в одиночных камерах сидят по 10-15 человек, там действительно негде ни стать, ни сесть, и люди сидят и спят по очереди. Там в день дают 200 грамм хлеба, и мужики, не имеющие возможности получать передачи (деревня далеко, да и там нечего есть), если и выходят оттуда живыми, то выходят совсем уж привидениями.

Наши этапные мужички тоже больше похожи на привидения. В звериной борьбе за места на нарах у них не хватило сил, и они заползли на пол, под нижние нары, расположились у дверных щелей. Зеленые, оборванные, они робко взглядами загнанных лошадей посматривают на более сильных и более оборотистых горожан.

«В столицах шум, гремят витии»... Столичный шум и столичные расстрелы дают мировой резонанс. О травле интеллигенции пишет вся мировая печать. Но какая в сущности это ерунда, какая мелочь эта травля интеллигенции. Не помещики, не фабриканты, не профессора оплачивают в основном эти страшные «издержки революции» их оплачивает мужик. Это он, мужик, дохнет миллионами и десятками миллионов от голода, тифа концлагерей, коллективизации и закона о «священной социалистической собственности», от всяких великих и малых строек Советского Союза, от всех этих сталинских хеопсовых пирамид, построенных на его мужицких костях. Да, конечно,

интеллигенции очень туго. Да, конечно, очень туго было и в тюрьме и в лагере, например, мне. Значительно хуже большинству интеллигенции. Но в какое сравнение могут идти наши страдания и наши лишения со страданиями и лишениями русского крестьянства, и не только русского, а и грузинского, татарского, киргизского и всякого другого. Ведь вот, как ни отвратительно мне, как ни голодно, ни холодно, каким бы опасностям я ни подвергался и буду подвергаться еще, со мною считались в тюрьме и будут считаться в лагере. Я имею тысячи возможностей выкручиваться — возможностей, совершенно недоступных крестьянину. С крестьянином не считаются вовсе, и никаких возможностей выкручиваться у него нет. Меня плохо ли, хорошо ли, но все же судят. Крестьянина и расстреливают и ссылают или вовсе без суда или по такому суду, о котором и говорить трудно; я видал такие «суды». Тройка безграмотных и пьяных комсомольцев засуживает семью, в течение двух-трех часов ее разоряет вконец и ликвидирует под корень. Я, наконец, сижу не зря. Да, я враг советской власти, я всегда был ее врагом, и никаких иллюзий на этот счет ГПУ не питало. Но я был нужен, в некотором роде «незаменим» и меня кормили и со мной разговаривали. Интеллигенцию кормят и с интеллигенцией разговаривают. И если интеллигенция садится в лагерь, то только в исключительных случаях «массовых кампаний» она садится за здорово живешь.

Я знаю, что эта точка зрения идет совсем в разрез с установившимися мнениями о судьбах интеллигенции в СССР. Об этих судьбах я когда-нибудь буду говорить подробнее, но все то, что я видел в СССР — а видел я много вещей — создало у меня твердое убеждение: лишь в редких случаях интеллигенцию сажают за зря, конечно, с советской точки зрения. Она все-таки нужна. Ее все-таки судят. Мужика — много, им хоть пруд пруди, и он совершенно реально находится в положении во много раз худшем, чем он был в самые худшие, в самые мрачные времена крепостного права. Он абсолютно бесправен, так же бесправен, как любой раб какого-нибудь африканского царька, так же он нищ, как этот раб, ибо у него нет решительно ничего, чего любой деревенский помпадур не мог бы отобрать в любую секунду, у него нет решительно никаких перспектив и решительно никакой возможности выкарабкаться из этого рабства и этой нищеты.

Положение интеллигенции? Ерунда — положение интеллигенции по сравнению с этим океаном буквально неизмеримых страданий многомиллионного и действительно многострадального русского мужика. И перед лицом этого океана как-то неловко, как-то язык не поворачивается говорить о себе, о своих лишениях: все это булавочные уколы. А мужика бьют по черепу дубьем.

И вот, сидит «сеятель и хранитель» великой русской земли у щели вагонной двери. Январская вьюга уже намела сквозь эту щель сугробик снега на его обутую в рваный лапоть ногу. Руки зябко запряты в рукава какой-то лоскутной шинелишки времен мировой войны. Мертвецки посиневшее лицо тупо уставилось на прыгающий огонь печурки. Он весь скомкался, съежился, как бы стараясь стать меньше, незаметнее, вовсе исчезнуть так, чтобы его никто не увидел, не ограбил, не убил.

И вот, едет он на какую-то очередную «великую» сталинскую стройку. Ничего строить он не может, ибо сил у него нет. В 1930-31 году такого этапного мужика на Беломорско-Балтийском канале прямо ставили на работы, и он погибал десятками тысяч, так что на строительном фронте вместо «пополнений» оказывались сплошные дыры. Санчасть ББК догадалась: прибывающих с этапами крестьян раньше, чем посылать на обычные работы, ставили на более или менее «усиленное» питание. И тогда люди гибли от того, что отошавшие желудки не в состоянии были переваривать нормальную пищу. Сейчас их оставляют на две недели в «карантине», постепенно втягивая и в работу и в то голодное лагерное питание, которое мужику и на воле не было доступно и которое является лукулловым пиршеством с точки зрения провинциального тюремного пайка. Лагерь — все-таки хозяйственная организация, и в своем рабочем скоте он все-таки заинтересован. Но в чем заинтересован редко грамотный и еще реже трезвый деревенский комсомолец, которому на потоп и на разграбление отдано все крестьянство, и который и сам-то окончательно очумел от всех вихляний «генеральной линии», от дикого, кабацкого административного восторга бесчисленных провинциальных властей?

ВЕЛИКОЕ ПЛЕМЯ «УРОК»

Нас, интеллигенции, на весь вагон всего пять человек: нас трое, наш горе-романист Стёпушка, попавший в один с нами грузовик и еще какой-то ленинградский техник. Мы все приспособились вместе на средней наре. Над нами группа питерских рабочих: их нам не видно. Другую половину вагона занимает еще десятка два рабочих; они сытее и лучше одеты, чем крестьяне или, говоря точнее, менее голодны и менее оборваны. Все они спят.

Плотно сбитой стаей сидят у печурки уголовники. Они не то, чтобы оборваны, они просто полураздеты, но их выручает невероятная, волчья выносливость бывших беспризорников. Все они — результат жесточайшего естественного отбора. Все, кто не мог выдержать поездок под вагонными осями, ночевков в кучах каменного угля, пропитания из мусорных ям (советских мусорных ям!) — все они погибли. Остались

только самые крепкие, по-волчьи выносливые, по-волчьи ненавидящие весь мир — мир, выгнавший их детьми на большие дороги голода, на волчью борьбу за жизнь.

Тепло от печки добирается, наконец, и до меня, и я начинаю дремать. Просыпаюсь от дикого крика и вижу: прислонившись спиной к стенке вагона, бледный, стоит наш техник и тянет к себе какой-то мешок. За другой конец мешка уцепился один из урок, плюгавый парнишка с глазами попавшего в капкан хорька. Борис тоже держится за мешок. Схема ясна: урка спер мешок, техник отнимает, урка не дает, в расчете на помощь «своих», Борис пытается что-то урегулировать. Он что-то говорит, но в общем гвалте и ругани ни одного слова нельзя разобрать. Мелькают кулаки, поленья и даже ножи. Мы с Юрой пулей выкидываемся на помощь Борису. Мы втроем представляем собой «боевую силу», с которой приходится считаться и уркам — даже и всей их стае, взятой вместе. Однако, плюгавый парнишка цепко и с каким-то отчаянием в глазах держится за мешок, пока откуда-то не раздастся спокойный и властный голос:

— Пусти мешок...

Парнишка отпускает мешок и уходит в сторону, утирая нос, но все же с видом исполненного долга.

Спокойный голос продолжает:

— Ничего, другой раз возьмем так, что и слышать не будете.

Оглядываюсь. Высокий, иссиня бледный, испитой и, видимо, пахан, много и сильно на своем веку битый урка. Очевидно «пахан» — коновод и вождь уголовной стаи. Он продолжает, обращаясь к Борису:

— А вы чего лезете? Не ваш мешок — не ваше дело. А то так и нож ночью можем всунуть. У нас, брат, ни на каких обысках ножей не отберут.

В самом деле, какой-то нож фигурировал под свалкой. Каким путем урки ухитряются фабриковать и пронести свои ножи сквозь все тюрьмы и сквозь все обыски, Аллах их знает, но фабрикует и пронесят. И я понимаю, вот в такой людской толчее, откуда-то из-за спин и мешков ткнут ножом в бок и пойдешь доискивайся.

Рабочие сверху сохраняют полный нейтралитет: они-то по своему городскому опыту знают, что значит становиться урочьей стае поперек дороги. Крестьяне что-то робко и приглушенно ворчат по своим углам. Остаемся мы четверо — Стёпушка не в счет — против 15 урок, готовых на все и ничем не рискующих. В этом каторжном вагоне мы, как на необитаемом острове. Закон остался где-то за дверьми теплушки, закон в лице какого-то конвойного начальника, заинтересованного лишь в том;

чтобы мы не сбежали и не передохли в количествах, превышающих некий «нормальный» процент. А что тут кто-то кого-то зарежет — кому какое дело.

Борис поворачивается к пахану:

— Бот тут нас трое: я, брат и его сын. Если кого-нибудь из нас ткнут ножом, отвечать будете вы.

Урка делает наглое лицо человека, перед которым лягнули вопиющий вздор. И потом раздражается хохотом.

— Ого-го! Отвечать! Перед самим Сталиным... Вот это здорово... Отвечать! Мы тебе, брат, кишки и без ответа выпустим...

Стая урок подхватывает хохот своего пахана. И я понимаю, что разговор об ответственности, о законной ответственности на этом каторжном робинзоновском острове — пустой разговор. Урки понимают это еще лучше, чем я. Пахан продолжает ржать и тычет Борису в нос сложенные в традиционную эмблему три своих грязных посиневших пальца. Рука пахана сразу попадает в Бобины тиски. Ржанье переходит в вой. Пахан пытается вырвать руку, но это дело совсем безнадежное. Кто-то из урок срывается на помощь своему вождю, но Бобин тыл прикрываем мы с Юрой, и все остаются на своих местах.

— Пусти, — тихо и сдающимся тоном говорит пахан. Борис выпускает руку пахана. Тот корчится от боли, держится за руку и смотрит на Бориса глазами, преисполненными боли, злобы и... почтения.

Да, конечно, мы не в девятнадцатом веке. Faustrecht. Ну, что ж. На нашей полудюжине кулаков, кулаков основательных, тоже можно какое-то право основать.

— Видите ли, товарищ... как ваша фамилия? — возможно спокойнее начинаю я.

— Иди ты к черту с фамилией, — отвечает пахан.

— Михайлов, — раз дается откуда-то со стороны.

— Так видите ли, товарищ Михайлов, — говорю я чрезвычайно академическим тоном. — Когда мой брат говорил об ответственности, то это, понятно, вовсе не в том смысле, что кто-то там куда-то пойдет жаловаться. Ничего подобного, Но если кого-нибудь из нас троих подколнут, то оставшиеся просто переломают вам кости. И переломают всерьез. И именно вам. Так что и для вас и для нас будет спокойнее такими делами не заниматься.

Урка молчит. Он по уже испытанному ощущению Бобиной длани понял, что кости будут переломаны совсем всерьез.

Если бы не семейная спаянность нашей «стаи» и не наши кулаки, то спаянная своей солидарностью стая урок раздела бы и ограбила нас до нитки. Так делается всегда — в общих камерах, на этажах, отчасти и в лагерях, где всякой случайной и разрозненной публике, попавшей в пещеры ГПУ, противостоит спаянная и классово-солидарная стая урок. У них есть своя организация, и эта организация давит и грабит. Впрочем, такая же организация существует и на воле. Там она давит и грабит всю страну.

ДИСКУССИЯ

Часа через полтора я сижу у печки. Пахан подходит ко мне.

— Ну и здоровый же бугай ваш брат. Чуть руку не сломал. И сейчас еще еле шевелится. Оставьте мне, товарищ Солоневич, бычка — страсть курить хочется.

Я принимаю оливковую ветвь мира и достаю свой кисет. Урка крутит козью ножку и сладострастно затягивается.

— Тоже надо понимать, товарищ Солоневич, собачье наше житье.

— Так чего же вы его не бросите?

— А как его бросить? Все мы — беспризорная шатия. От мамкиной цицки да прямо в беспризорники. Я, прямо говоря, с самого малолетства вор, так вором и помру. А этого супчика, техника-то, мы все равно обрабатываем. Не здесь, так в лагере. Сволочь. У него одного хлеба с пуд будет. Просили по-хорошему: дай хоть кусок. Так он как собака лается.

— Вот еще вас, сволочей, кормить. — раздается с рабочей полки чей-то внушительный бас. Урка подымает голову.

— Да вот, хоть и неохотой, да кормите же. Так ты думаешь, я хуже тебя ем?

— Я ни у кого не прошу.

— И я не прошу. Я сам беру.

— Ну, вот и сидишь здесь.

— А ты где сидишь? У себя на квартире?

Рабочий замолкает. Другой голос с той же полки подхватывает тему:

— Воруют с трудящего человека последнее, а потом еще и корми их. Мало вас, сволочей, сажают.

— Нас действительно мало сажают, — спокойно парирует урка. — Вот вас много сажают. Ты, небось, лет на десять едешь, а я на три года.

Ты на советскую власть на воле спину гнул за два фунта хлеба и в лагере за те же два фунта будешь гнуть. И подохнешь там к чертовой матери.

— Ну, это еще кто скорее подохнет.

— Ты подохнешь, — уверенно сказал урка. — Я, как весна — и ищи ветра в поле. А тебе куда податься? Подохнешь.

На рабочей наре замолчали, подавленные аргументацией урки.

— Таким прямо головы проламывать, — изрек наш техник.

У урки от злости и презрения перекошилось лицо.

— Эх ты, в рот плеванной. Это ты-то, черт моржовый, проламывать будешь? Ты смотри, сукин сын, на нос себе накрути. Это здесь мы просим, а ты куражишься, а в лагере ты у меня будешь на брюхе ползать, сукин ты сын. Там тебе в два счета кишки вывернут. Ты там, брат, за чужим кулаком не спрячешься. Вот этот — урка кивнул в мою сторону — этот может проломать. А ты... Эх ты, дерьмо вшивое.

— Нет, таких... да таких советская власть расстреливать должна. Прямо расстреливать. Везде воруют, везде грабят, — это, оказывается, вынырнул из-под нар наш Стёпушка. Его основательно ограбили урки в пересылке, и он предвидел еще массу огорчений в том же стиле. У него дрожали руки, и он брызгал слюной.

— Нет, я не понимаю. Как же это так? Везут в одном вагоне. Полная безнаказанность. Что хотят, то и делают.

Урка смотрит на него с пренебрежительным удивлением.

— А вы, тихий господинчик, лежали бы на своем местечке и писали бы свои показания. Не трогают вас, так и лежите. А вот часишки вы в пересылке обратно получили, так вы будьте спокойны — мы их возьмем.

Стёпушка судорожно схватился за карман с часами. Урки захохотали.

— Это из нашей компании, — сказал я, — так что на счет часиков уж вы не троньте.

— Все равно. Не мы, так другие. Не здесь, так в лагере. Господинчик-то ваш больно уж хреновый. Покаяния все писал. Знаю, наши с ним сидели.

— Не ваше дело, что я писал. Я на вас заявление подам.

Стёпушка нервничал, трусил и глумил. Я ему подмигивал, но он ничего не замечал.

— Вы, господинчик хреновый, слушайте, что я вам скажу. Я у вас пока ничего не украл, а украду — поможет вам заявление, как мертвому кадилло.

— Нет, в лагере вас прикрутят, — сказал техник.

— С дураками, видно, твоя мамаша спала, что ты таким умным родился. В лагере. Эх ты, моржовая голова! Да что ты о лагере знаешь? Бывал ли ты в лагере? Я вот уже пятый раз еду, а ты мне о лагере рассказываешь.

— А что в лагере? — спросил я.

— Что в лагере? Первое дело вот, скажем, вы или этот господинчик — вы, ясное дело, контрреволюционеры. Вот та дубина, что наверху, — урка кивнул в сторону рабочей нары — тот или вредитель или контрреволюционер. Ну, мужик — он всегда кулак. Это так надо понимать, что все вы классовые враги, ну и обращение с вами подходящее. А мы, урки — социально близкий элемент. Вот как. Потому мы, елки-палки, против собственности.

— И против социалистической? — спросил я.

— Э, нет. Казенное не трогаем. На грош возьмешь — на рубль ответу. Да еще в милиции бьют. Зачем? Вот тут наши одно время на торгсин было насели. Нестоящее дело. А так просто фраера, в от вроде этого господинчика. Во-первых, раз плюнуть. А второе — куда он пойдет? Заявления писать будет? Так уж будьте покойнички, с милицией я лучше сговорюсь, чем этот ваш шибздик. А в лагере и подавно. Уж там скажут тебе сними пинжак, так и снимай без разговоров, а то еще нож получишь.

Урка явно хвастался, но урка врал не совсем. Стёпушка, иссякнув, растерянно посмотрел на меня. Да, Стёпушке придется плохо, ни выдержки, ни изворотливости, ни кулаков. Пропадет.

ЛИКВИДИРОВАННАЯ БЕСПРИЗОРНОСТЬ

В книге советского бытия, трудно читаемой вообще, есть страницы, недоступные даже очень близко стоящему и очень внимательному наблюдателю. Поэтому всякие попытки «познания России» всегда имеют эту самую прелесть неожиданности. Правда, прелесть эта несколько вывернута наизнанку, но неожиданности обычно ошарашивают своей парадоксальностью. Ну, разве не парадокс, что украинскому мужику в лагере живется лучше, чем на воле, и что он из лагеря на волю шлет хлебные сухари? И как это совместить с тем фактом, что этот мужик в лагере вымирает десятками и сотнями тысяч в масштабе ББК? А вот в российской сумятице это совмещается: на

Украине крестьяне вымирают в большей пропорции, чем в лагере, и я реально видал крестьян, собирающих всякие объедки для посылки их на Украину. Значит ли это, что эти крестьяне в лагере не голодали? Нет, не значит. Но за счет еще большего голодания они спасали свои семьи от голодной смерти. Этот парадокс цепляется еще за один: за необычайное укрепление семьи, какое не снилось даже и покойному В.В. Розанову. А от укрепления семьи возникает еще одна неожиданность — принудительное безбрачие комсомолок: никто замуж не берет, ни партийцы, ни беспартийные, так и торчи всю свою жизнь какой-нибудь месткомовской девой.

Много есть таких неожиданностей. Я однажды видал даже образцовый колхоз. Его председателем был старый трактирщик. Но есть вещи, о которых вообще ничего нельзя узнать. Что мы, например, знаем о таких явлениях социальной гигиены в советской России, как проституция, алкоголизм, самоубийства? Что знал я до лагеря о «ликвидации детской беспризорности»? Я, исколесивший всю Россию!

Я видал, что Москва, Петроград, крупнейшие магистрали «подчищены» от беспризорников, но я знал и то, что эпоха коллективизации и голод последние лет дали новый резкий толчок беспризорности. Но только здесь в лагере я узнал, куда девается, и как «ликвидируется» беспризорность всех призывов — и эпохи военного коммунизма; тифов, гражданской войны и эпохи ликвидации кулачества, как класса, эпохи коллективизации и просто голода, стоящего вне «эпох» и образующего общий более или менее постоянный фон советской жизни.

Так, почти ничего я не знал о великом племени урок, населяющем широкие подполья социалистической страны. Раза два меня обворовывали, но не очень сильно. Обворовывали моих знакомых, иногда очень сильно, а два раза даже с убийством. Потом еще Утесов пел свои блатные песенки:

С вапнярского кичмана
Сорвались два уркана,
Сорвались два уркана на Одест.

Вот, примерно и все. Так иногда говорилось, что миллионная армия беспризорников подросла и орудует где-то по тылам социалистического строительства. Но так как об убийствах и грабежах советская пресса не пишет ничего, то данное «социальное явление» для вас существует лишь поскольку вы с ним сталкиваетесь лично. Вне вашего личного горизонта вы не видите ни краж, ни самоубийств, ни убийств, ни алкоголизма, ни даже концлагерей, поскольку туда не сели

вы или ваши родные. И, наконец, так много и так долго грабили и убивали, что и кошелек и жизнь давно перестали волновать.

И вот передо мною, покуривая мою махорку и густо сплевывая на раскаленную печку, сидит представитель вновь открываемого мною мира — мира профессиональных бандитов, выросшего и вырастающего из великой детской беспризорности. На нем, на этом «представителе», только рваный пиджачишко (рубашка была пропита в тюрьме, как он мне объяснил), причем, пиджачишко этот еще недавно был, видимо, достаточно шикарным. От печки пышет жаром, в спину сквозь щели вагона дует ледяной январский ветер, но урке и на жару и на холод наплевать. Вспоминается анекдот о беспризорнике, которого по ошибке всунули в печь крематория, а дверцы забыли закрыть. Из огненного пекла раздался пропитый голос:

— Закрой, стерва, дует!

Еще с десяток урок, таких же, не то, что оборванных, а просто полуодетых, валяются на дырявом промерзлом полу около печки, лениво подбрасывают в нее дрова, курят мою махорку и снабжают меня информацией о лагере, пересыпанной совершенно несусветным сквернословием. Что боцманы доброго старого времени! Грудные ребята эти боцманы с их «морскими терминами», по сравнению с самым желторотым уркой.

Нужно сказать честно, что никогда я не затрачивал свой капитал с такой сумасшедшей прибылью, с какой я затратил червонец, прокуренный урками в эту ночь. Мужики где-то под нарами сбились в кучу, зарывшись в свои лохмотья. Рабочий класс храпит наверху. Я выпался днем. Урки не спят вторые сутки и не видно, чтобы их тянуло ко сну. И передо мною разворачивается «учебный фильм» из лагерного быта со всей беспощадностью лагерного житья, со всем лагерным «блатом», административной структурой, расстрелами, «зачетами», «довесками», пайками, жульничеством, грабежами, охраной, тюрьмами и прочим и прочим. Борис, отмахиваясь от клубов махорки, проводит параллели между Соловками, в которых он просидел три года и современным лагерем, где ему предстоит просидеть... вероятно, очень немного. На полупонятном мне блатном жаргоне рассказываются бесконечные воровские истории, пересыпаемые необычайно вонючими непристойностями.

— А вот в Киеве под самый новый год — вот была история, — начинает какой-нибудь урка лет семнадцати. — Сунулся я в квартирку одну. Замок пустяковый был. Гляжу — комнатенка. В комнатенке — канапа. А на канапе — узелок с пальто. Хорошее пальто, буржуйское. Ну, дело было днем, много не заберешь. Я за узелок и — ходу. Иду. А в

узелке что-то шевелится. Как я погляжу, а там ребеночек. Спит, сукин сын. Смотрю кругом — никого нет. Я это пальто на себя, а ребеночка под забор, в кусты, под снег.

— А как же ребенок-то? — спрашивает Борис. Столь наивный вопрос урке, видимо и в голову не приходил.

— А черт его знает, — сказал он равнодушно. — Не я его сделал, — урка загнул особенно изысканную непристойность, и вся орава заржала.

Финки, финки, «всадил», «кишки выпустил», малина, «шалманы», редкая по жестокости и изобретательности месть, поджоги, проститутки, пьянство, кокаинизм, морфинизм... Вот она, эта «ликвидированная беспризорность». Вот она, эта армия, оперирующая в тылах социалистического фронта «от финских хладных скал до пламенной Колхиды».

Из всех человеческих чувств у них, видимо, осталось только одно — солидарность волчьей стаи, с детства выкинутой из всякого человеческого общества. Едва ли какая-либо другая эпоха может похвастаться наличием миллионной армии людей, оторванных от всякой социальной базы, лишенных всякого социального чувства, всякой морали.

Значительно позже в лагере я пытался подсчитать, какова же, хоть приблизительно, численность этой армии или, по крайней мере, той ее части, которая находится в лагерях. В ББК их было около 15 процентов. Если взять такое же процентное отношение для всего лагерного населения советской России, получится что-то от 750.000 до 1.500.000 — конечно, цифра, как говорят в СССР, сугубо ориентировочная. А сколько этих людей оперует на воле? Не знаю.

И что станет с этой армией делать будущая Россия? Тоже не знаю.

ЭТАП, КАК ТАКОВОЙ

Помимо жестокостей планомерных, так сказать «классово целеустремленных», советская страна захлебывается еще от дикого потока жестокостей совершенно бесцельных, никому не нужных, никуда не устремленных. Растут они, эти жестокости, из того несусветного советского кабака, зигзаги которого предусмотреть вообще невозможно, который наряду с самой суровой ответственностью по закону, создает полную и безответственность на практике, наряду с официальной плановостью организует полнейший хаос, наряду со статистикой — абсолютную неразбериху. Я совершенно уверен в том, что реальной величины, например, посевной площади в России не знает никто — не

знает этого ни Сталин, ни политбюро, ни ЦСУ, вообще никто не знает, ибо уже и низовая колхозная цифра рождается в колхозном кабаке, проходит кабаки уездного, областного и республиканского масштаба и теряет всякое соответствие с реальностью. Что уж там с нею сделают в московском кабаке — это дело шестнадцатое. В Москве в большинстве случаев цифры не суммируются, а высасываются.

С цифровым кабаком, который оплачивается человеческими жизнями, мне потом пришлось встретиться в лагере. По дороге же в лагерь свирепствовал кабак просто, без статистики и без всякого смысла.

Само собой разумеется, что для ГПУ не было решительно никакого расчета, отправляя рабочую силу в лагерь, обставлять перевозку эту так, чтобы эта рабочая сила прибывала на место работы в состоянии крайнего истощения. Практически же дело обстояло именно так.

По положению этапники должны были получать в дороге по 600 г. хлеба в день, сколько-то грамм селедки, по куску сахару и кипяток. Горячей пищи не полагалось вовсе, и зимой при длительных — неделями и месяцами — переездах в слишком плохо отапливаемых и слишком хорошо вентилируемых теплушках люди несли огромные потери и больными и умершими и просто страшным ослаблением тех, кому удалось и не заболеть и не помереть. Допустим, что общие для всей страны «продовольственные затруднения» лимитировали количество и качество пищи помимо, так сказать, доброй воли ГПУ. Но почему нас морили жаждой?

Нам выдавали хлеб и селедку сразу на 4-5 дней. Сахару не давали, но Бог уж с ним. Но вот, когда после двух суток селедочного питания нам в течение двух суток не дали ни капли воды, это было совсем плохо. И совсем глупо.

Первые сутки было плохо, ко все же не очень мучительно. На вторые сутки мы стали уже собирать снег с крыши вагона: сквозь решетку люка можно было протянуть руку и пошарить ею по крыше. Потом стали с обирать снег, который ветер наметал на полу сквозь щели вагона, но понятно, для 53 человек этого немножко не хватало.

Муки жажды обычно описываются в комбинации с жарой, песками пустыни или солнцем Тихого океана. Но я думаю, что комбинация холода и жажды была на много хуже.

На третьи сутки, на рассвете, кто-то в вагоне крикнул:

— Воду раздают!

Люди бросились к дверям, кто с кружкой, кто с чайником. Стали прислушиваться к звукам отодвигаемых дверей соседних вагонов, ловили

приближающуюся ругань и плеск разливаемой воды. Каким музыкальным звуком показался мне этот плеск!

Но вот отодвинулась и наша дверь. Патруль принес бак с водой, ведер на пять. От воды шел легкий пар: когда-то она была кипятком, но теперь нам было не до таких тонкостей. Если бы не штыки конвоя, этапники нашего вагона, казалось, готовы были бы броситься в этот бак вниз головой.

— Отойди от двери, так-то и так-то! — орал конвойный. — А то унесем воду к чертовой матери.

Но вагон был близок к безумию.

Характерно, что даже и здесь, в водяном вопросе, сказалось своеобразное «классовое расслоение». Рабочие имели свою посуду, следовательно, у них вчера еще оставался некоторый запас воды, они меньше страдали от жажды да и вообще держались как-то организованнее. Урки ругались очень сильно и изысканно, но в бутылку не лезли. Мы, интеллигенция, держались этаким «комсоставом», который не считаясь с личным ощущением, старается что-то сорганизовать и как-то взять команду в свои руки.

Крестьяне, у которых не было посуды, как у рабочих, не было собачьей выносливости, как у урок, не было сознательной выдержки, как у интеллигенции, превратились в окончательно обезумевшую толпу. Со стонами, криками и воплями они лезли к узкой щели дверей, забивали ее своими телами так, что ни к двери подойти, ни воду в теплушку поднять. Задние оттаскивали передних или взбирались по их спинам вверх к самой притолоке двери, и двери оказались плотно снизу доверху забитыми живым клубком орущих и брыкающихся человеческих тел.

С великими мускульными и голосовыми усилиями нам, интеллигенции и конвою, удалось очистить проход и втащить бак на пол теплушки. Только что втянули бак, как какой-то крупный бородатый мужик ринулся к нему сквозь все наши заграждения и всей своей волосатой физиономией нырнул в воду; хорошо, что она еще не была кипятком.

Борис схватил его за плечи, стараясь оттащить, но мужик так крепко вцепился в края бака руками, что эти попытки грозили перевернуть весь бак и оставить нас всех вовсе без воды. Глядя на то, как бородатый мужик, захлебываясь, лакает воду, толпа мужиков снова бросилась к баку. Какой-то рабочий колотил своим чайником по полупогруженной в воду голове, какие-то еще две головы пытались втиснуться между первой и краями бака, но мужик ничего не слышал и ничего не чувствовал: он лакал, лакал, лакал...

Конвойный, очевидно, много насмотревшийся на такого рода происшествия, крикнул Борису:

— Пихай бак сюда.

Мы с Борисом поднажали, и по скользкому полу теплушки бак скользнул к дверям. Там его подхватили конвойные, а бородатый мужик тяжело грохнулся о землю.

— Ну, сукины дети, — орал конвойный начальник, — теперь совсем заберем бак, и подышайте вы тут к чертовой матери.

— Послушайте, — запротестовал Борис, — во-первых, не все же устраивали беспорядок, а во-вторых, надо было воду давать вовремя.

— Мы и без вас знаем, когда время, когда нет. Ну, забирайте воду в свою посуду, нам нужно бак забирать.

Возникла новая проблема; у интеллигенции было довольно много посуды, посуда была и у рабочих; у мужиков и у урок ее не было вовсе. Одна часть рабочих от дележки посудой своей отказалась наотрез. В результате длительной и матерной дискуссии установили порядок; каждому по кружке воды. Оставшуюся воду распределять не по принципу собственности на посуду, а так сказать, в общий котел. Те, кто не дают посуды для общего котла, больше воды не получают. Таким образом те рабочие, которые отказались дать посуду, рисковали остаться без воды. Они пытались было протестовать, но на нашей стороне было и моральное право и большинство голосов и, наконец, аргумент, без которого все остальные не стоили копейки — это кулаки. Частнособственнические инстинкты были побеждены.

ЛАГЕРНОЕ КРЕЩЕНИЕ

ПРИЕХАЛИ

Так ехали мы 250 километров пять суток. Уже в нашей теплушке появились больные, около десятка человек. Борис щупал им пульс и говорил хорошие слова — единственное медицинское средство, находившееся в его распоряжении. Впрочем, в обстановке этого человеческого зверинца и хорошее слово было медицинским средством.

Наконец, утром на шестые сутки в раскрывшейся двери появились люди, не похожие на наших конвоиров. В руках одного из них был список. На носу, как-то свесившись на бок, плясало пенсне. Одет человек был во что-то рваное и весьма штатское. При виде этого человека я понял, что мы куда-то приехали. Не известно, куда, но во всяком случае далеко мы уехать не успели.

— Эй, кто тут староста?

Борис вышел вперед.

— Сколько у вас человек по списку? Проверьте всех.

Я просунул свою голову в дверь теплушки и конфиденциальным тоном спросил человека в пенсне:

— Скажите, пожалуйста, куда мы приехали?

Человек в пенсне воровато оглянулся кругом и шепнул:

— Свирьстрой.

Несмотря на морозный январский ветер, широкой струей врывающийся в двери теплушки, в душах наших расцвели незабудки.

Свирьстрой! Это значит, во всяком случае, не больше двухсот километров от границы. Двести километров пустяки. Это не какой-нибудь «Сиблаг», откуда до границы хоть три года скачи, не доскачешь. Неужели, судьба после всех подвохов с её стороны повернулась, наконец, «лицом к деревне»?

НОВЫЙ ХОЗЯИН

Такое же морозное январское утро, как и в день нашей отправки из Питера. Та же цепь стрелков охраны и пулемёты на треножниках. Кругом поросшая мелким ельником равнина, какие-то захолустные, заметенные снегом подъездные пути.

Нас выгружают, строят и считают. Потом снова перестраивают и пересчитывают. Начальник конвоя мечется, как угорелый, от колонны к колонне: двое арестантов пропало. Впрочем, при таких порядках могло статься, что их и вовсе не было.

Мечутся и конвойные. Дикая ругань. Ошалевшие вконец мужики тыкаются от шеренги к шеренге, окончательно расстраивая и без того весьма приблизительный порядок построения. Опять перестраивают. Опять пересчитывают.

Так мы стоим часов пять и промерзаем до костей. Полураздетые урки, несмотря на свою красно-индейскую выносливость, совсем еле живы. Конвойные, которые почти так же замёрзли, как и мы, с каждым часом свирепеют всё больше. То там, то тут люди валятся на снег. Десяток наших больных уже свалились. Мы укладываем их на рюкзаки, мешки и всякое барахло, но ясно, что они скоро замёрзнут. Наши мероприятия, конечно, снова нарушают порядок в колоннах, следовательно, снова портят весь подсчёт. Между нами и конвоем возникает ожесточённая дискуссия. Крыть матом и приводить в порядок прикладами людей в очках конвой всё-таки не решается. Нам угрожают арестом и обратной отправкой в Ленинград. Это, конечно, вздор, и ничего с нами конвой сделать не может. Борис заявляет, что люди заболели ещё в дороге, что стоять они не могут. Конвоиры поднимают упавших на ноги, те снова валятся наземь. Подходят какие-то люди в лагерном одеянии, как потом оказалось, приёмочная комиссия лагеря. Насквозь промёрзший старичок с колючими усами оказывается начальник санитарной части лагеря. Подходит начальник конвоя и сразу набрасывается на Бориса:

— А зам какое дело? Немедленно станьте в строй!

Борис заявляет, что он врач и не может допустить, чтобы люди замерзли единственно в следствии полней нераспорядительности конвоя. Намёк на «нераспорядительность» и на посылку жалобы в Ленинград несколько тормозит начальственный разбег чекиста. В результате длительной перепалки появляются лагерные сани, на них нагружают упавших, и обоз разломанных саней и дохлых кляч с погребальной медленностью исчезает в лесу. Я потом узнал, что до лагеря живыми доехали всё-таки не все.

Какая-то команда. Конвой забирает свои пулемёты и залезает в вагоны. Поезд, гремя буферами, трогается и уходит на запад. Мы остаёмся в пустом поле. Ни конвоя, ни пулемётов. В сторонке от дороги у костра греется полдюжина какой-то публики с винтовками — это, оказалось, лагерный ВОХР, вооружённая охрана, в просторечии называемая «попками» и «свечами». Но он нас не охраняет. Люди

мечтают не о бегстве, а о тёплом уголке и горячей пище. Куда бежать в эти заваленные снегом поля?

Перед колоннами возникает какой-то расторопный юнец с побелевшими ушами и в лагерном бушлате. Юнец обращается к нам с речью о предстоящем нам честном труде, которым мы будем зарабатывать себе право на возвращение в семью трудящихся, о социалистическом строительстве, о бесклассовом обществе и о прочих вещах, столь же не уместных на 20 градусах мороза и перед замёрзшей толпой, как и во всяком другом месте. Это — обязательные акафисты из обязательных советских молебнов, которых никто и нигде не слушает всерьёз, но от которых никто и нигде не может отвертеться. Этот молебен заставляет людей ещё полчаса дрожать на морозе. Правда, из него я окончательно и твердо узнаю, что мы попали на Свирьстрой, в Подпорожское отделение ББК.

До лагеря вёрст шесть. Мы ползём убийственно медленно и кладбищенски уныло. В хвосте колонны плетутся полдюжины вохровцев и дюжина саней, подбирающих упавших. Лагерь всё же заботится о своём живом товаре. Наконец, с горки мы видим вырубленную в лесу поляну. Из под снега торчат пни. Десятка, четыре длинных дощатых барачков. Одни с крышами, другие без крыш. Поляна окружена колючей проволокой, местами уже заваленной. Вот он, концентрационный или по официальной терминологии «исправительно-трудовой» лагерь — место, о котором столько трагических шепотов по всей Руси.

ЛИЧНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Я уверен в том, что среди двух тысяч людей, уныло шествовавших вместе с нами на Беломорско-Балтийскую каторгу, ни у кого не было столь оптимистически бодрого настроения, какое было у нас троих. Правда, мы промёрзли, устали, нас тоже не очень уж лихо волокли наши ослабевшие ноги, но...

Мы ожидали расстрела, а попали в концлагерь. Мы ожидали Урала или Сибири, а попали в район полутораста-двухсот верст от границы. Мы были уверены, что нам не удастся удержаться всем вместе — и вот, мы пока что идем рядышком. Все, что нас ждет дальше, будет легче того, что осталось позади. Здесь мы выкрутимся. И так в сущности недолго осталось выкручиваться: январь, февраль... в июле мы будем где-то в лесу, по дороге к границе. Как это все устроится, еще не известно, но мы это устроим. Мы люди тренированные, люди большой физической силы и выносливости, люди, не придавленные неожиданностью ГПУ-ского приговора и перспективами долгих лет сиденья, заботами об оставшихся

на воле семьях. В общем, все наше концлагерное будущее представлялось нам приключением суровым и опасным, но не лишенным даже некоторой доли интереса. Несколько более мрачно был настроен Борис, который видал и Соловки и на Соловках видал вещи, которых человеку лучше бы и не видеть. Но ведь тот же Борис даже и из Соловков выкрутился, правда потеряв более половины своего зрения.

Это настроение бодрости и, так сказать, боеспособности в значительной степени определило и наши лагерные впечатления и нашу лагерную судьбу. Ото, конечно, ни в какой степени не значит, чтобы эти впечатления и эта судьба были обычными для лагеря. В подавляющем большинстве случаев, вероятно, в 99 из ста лагеря для человека является катастрофой. Он ломает его и психически и физически — ломает непосильной работой, голодом, жестокой системой, так сказать, психологической эксплуатации, когда человек сам выбивается из последних сил, чтобы сократить срок своего пребывания в лагере, но все же главным образом ломает не прямо, а косвенно — заботой о семье; ибо семья человека, попавшего в лагерь, обычно лишается всех гражданских прав и в первую очередь права на продовольственную карточку. Во многих случаях это означает голодную смерть. Отсюда — эти неправдоподобные продовольственные посылки из лагеря на волю, о которых я буду говорить позже.

И еще одно обстоятельство. Обычный советский гражданин очень плотно привинчен к своему месту и вне этого места видит очень мало. Я не был привинчен ни к какому месту и видел в России очень много. И если лагерь меня и поразил, так только тем обстоятельством, что в нем не было решительно ничего особенного. Да, конечно, каторга. Но где же в России кроме Невского и Кузнецкого нет каторги? На постройке Магнитогорска так называемый «энтузиазм» обошелся приблизительно в 22 тысячи жизней. На Беломорско-Балтийском канале он обошелся около ста тысяч. Разница, конечно, есть, но не такая уж по советским масштабам существенная. В лагере людей расстреливали в больших количествах, но те, кто считает, что о всех растрепках публикует советская печать, совершают некоторую ошибку. Лагерные бараки — отвратительны, но на воле я видал похуже и значительно похуже. Очень возможно, что в процентном отношении ко всему лагерному населению количество людей, погибших от голода, тут выше, чем скажем на Украине, но с голода мрут и тут, и там. Объем прав и безграничность бесправия примерно такая же, как и на воле. И тут и там есть масса всяческого начальства, которое имеет полное право или прямо расстреливать или косвенно сжить со свету, но никто не имеет права ударить или обратиться на ты. Это, конечно, не значит, что в лагере не бьют.

Есть люди, для которых лагерь на много хуже воли, для которых разница между лагерем и волей почти не заметна; есть люди — крестьяне, преимущественно южные, украинские — для которых лагерь лучше воли. Или, если хотите, воля хуже лагеря.

Эти очерки — несколько оптимистически окрашенная фотография лагерной жизни. Оптимизм исходит из моих личных переживаний и мироощущения, а фотография оттого, что для антисоветски настроенного читателя агитация не нужна, а советски настроенный все равно ничему не поверит. И погромче нас были витии. Энтузиастов не убавишь, а умным нужна не агитация, а фотография. Вот в меру сил моих я ее и даю.

В БАРАКЕ

Представьте себе грубо сколоченный дощатый гробообразный ящик, длиной метров 50 и шириной метров 8. По середине одной из длинных сторон прорублена дверь, по середине каждой из коротких — по окну. Больше окон нет. Стекла выбиты, и дыры затыканы всякого рода тряпьем. Таков барак с внешней стороны.

Внутри вдоль длинных сторон барака тянутся ряды сплошных нар — по два этажа с каждой стороны. В концах барака по железной печурке из тех, что зовутся времянками, румынками, буржуйками — нехитрое и кажется единственное изобретение эпохи военного коммунизма. Днем это изобретение не топится вовсе, ибо предполагается, что все население барака должно пребывать на работе. Ночью над этим изобретением сушится и тлеет бесконечное и безымянное вшивое тряпье — все, чем только можно обмотать человеческое тело, лишенное обычной человеческой одежды.

Печурка топится всю ночь. В радиусе трех метров от нее нельзя стоять, в расстоянии десяти метров замерзает вода. Бараки сколочены наспех из сырых сосновых досок. Доски рассохлись, в стенах щели, в одну из ближайших к моему ложу я свободно просовывал кулак. Щели забиваются всякого рода тряпьем, но его мало; да и во время периодических обысков ВОХР это тряпье выковыривает вон, и ветер снова разгуливается по бараку. Барак освещен двумя керосиновыми коптилками, долженствующими освещать хотя бы окрестности печурок. Но так как стекол нет, то лампочки мигают этакими одиночными светлячками. По вечерам, когда барак начинает наполняться пришедшей с работы мокрой толпой (барак в среднем рассчитан на 300 человек), эти коптилки играют только роль маяков, указывающих иззябшему лагернику путь к печурке сквозь клубы морозного пара и махорочного дыма.

Из мебели на барак полагается два длинных, метров на десять, стола и четыре таких же скамейки. Вот и все.

И вот мы после ряда приключений и передрыг угнездились, наконец, на нарах, разложили свои рюкзаки, отнюдь не распаковывая их, ибо по всему бараку шныряли урки и смотрим на человеческое месиво, с криками, руганью и драками расплзающееся по темным закоулкам барака.

Повторяю, на воле я видел бараки и похуже. Но этот оставил особо отвратительное впечатление. Бараки на подмосковных торфяниках были на много хуже уже по одному тому, что они были семейные. Или землянки рабочих в Донбассе. Но там походишь, посмотришь, выйдешь на воздух, вдохнешь полной грудью и скажешь: ну-ну, вот тебе и отечество трудящихся. А здесь придется не смотреть, а жить. «Две разницы». Одно, когда зуб болит у ближнего вашего, другое, когда вам не дает житья ваше дупло.

Мне почему-то вспомнились прения в комиссии по проектированию новых городов. Проектировался новый социалистический Магнитогорск, тоже немногим замечательнее ББК. Барак для мужчин, барак для женщин. Кабинки для выполнения функций по производству социалистической рабочей силы. Дети забираются и родителей знать не должны. Ну и так далее. Я обозвал эти «функции» социалистическим стойлом. Автор проекта небезызвестный Сабсович обиделся сильно, и я уже подготовился было к значительным неприятностям, когда в защиту социалистических производителей выступила Крупская, и проект был объявлен «левым загибом» или, говоря точнее, «левацким загибом». Коммунисты не могут допустить, чтобы в этом мире было что-нибудь, стоящее левее их. Для спасения девственности коммунистической левизны пущен в обращение термин «левацкий». Ежели уклон вправо, так это будет «правый уклон». А ежели влево, то это будет «левацкий» и причем не уклон, а «загиб».

Не знаю куда загнули в лагере вправо или в «левацкую» сторону. Но прожить в этакой грязи, вони, тесноте, вшах, холоде и голоде целых полгода? О Господи!

Мои не очень оптимистические размышления прервал чей-то пронзительный крик:

— Братишки! Обокрали! Братишечки, помогите

По тону слышно, что украли последнее. Но как тут поможешь? Тьма, толпа, и в толпе змейками шныряют урки. Крик тонет в общем шуме и в заботах о собственной шкуре и о своем собственном мешке.

Сквозь дыры потолка на нас мирно капает тающий снег. Юра вдруг почему-то засмеялся.

— Ты это чего?

— Вспомнил Фредди. Вот его бы сюда!

Фред, наш московский знакомый — весьма дипломатический иностранец. Плохо поджаренные утренние гренки портят ему настроение на весь день. Его бы сюда? Повесился бы.

— Конечно, повесился бы. — убежденно говорит Юра.

А мы вот не вешаемся. Вспоминаю мои ночлеги на крыше вагона, на Лаптарском перевале и даже в Туркестанской «красной Чай-Хане»... Ничего, жив.

БАНЯ И БУШЛАТ

Около часу ночи нас разбудили крики:

— А ну, вставай в баню!

В бараке стояло человек тридцать вохровцев — никак не отвертеться. Спать хотелось смертельно. Только-то как-то обогрелась, плотно прижавшись друг к другу и накрывшись всем, чем можно. Только что начали дремать и — вот. Точно не могли найти другого времени для бани. Мы топаем куда-то версты за три; к какому-то полустанку, около которого имеется баня. В лагере с баней строго. Лагерь боится эпидемий, и «санитарная обработка» лагерников производится с беспощадной неуклонностью. Принципиально бани устроены неплохо: вы входите, раздеваетесь, сдаете платье на хранение, а белье на обмен на чистое. После мытья выходите в другое помещение, получаете платье и чистое белье. Платье кроме того пропускается и через дезинфекционную камеру. Баки фактически поддерживают некоторую физическую чистоту. Мыло во всяком случае дают, а на коломенском заводе даже повара обходились без мыла. Не было.

Но скученность и тряпье делают борьбу со вшой делом безнадежным. Она плодится и множится, обгоняя всякие плановые цифры.

Мы ждем около часу в очереди, на дворе, разумеется. Потом в предбаннике двое юнцов с тупыми машинками лишают нас всяких волосяных покровов, в том числе и тех, с которыми обычные мирские парикмахеры дела никакого не имеют. Потом, после проблематического мытья — не хватило горячей воды — нас пропихивают в какую-то примостившуюся около бани палатку, где так же холодно, как и на дворе. Белье мы получаем только через полчаса, а платье из дезинфекции через

час. Мы мерзнем так, как и в теплушке не мерзли. Мой сосед по нарам поплатился воспалением легких. Мы втроем целый час усиленно занимались боксерской тренировкой — то, что называется «бой с тенью» и выскочили благополучно.

После бани, дрожа от холода и не попадая зубом на зуб, мы направляемся в лагерную каптерку, где нам будут выдавать лагерное обмундирование. ББК — лагерь привилегированный. Его подпорожское отделение объявлено сверхударной стройкой — постройка гидростанции на реке Свири. Следовательно, на какое-то обмундирование действительно рассчитывать можно.

Снова очередь у какого-то огромного сарая, изнутри освещенного электричеством. У дверей попка с винтовкой. Мы отбиваемся от толпы, подходим к попке, и я говорю авторитетным тоном:

— Товарищ, вот этих двух пропустите.

А сам ухожу.

Попка пропускает Юру и Бориса.

Через пять минут я снова подхожу к дверям:

— Вызовите мне Синельникова.

Попка чувствует: начальство.

— Я, товарищ, не могу. Мне здесь приказано стоять, зайдите сами.

И я захожу. В сарае все-таки теплее, чем на дворе. Сарай набит плотной толпой. Где-то в глубине его — прилавок, над прилавком мелькают какие-то одеяния и слышен неистовый гвалт. По закону всякий новый лагерник должен получить новое казенное обмундирование, все с ног до головы. Но обмундирования вообще не хватает, а нового тем более. В исключительных случаях выдается «первый срок», т.е. совсем новые вещи; чаще «второй срок» — старое, но не рваное; и в большинстве случаев «третий срок» — и старое и рваное. Приблизительно половина новых лагерников не получает вовсе ничего, работает в своем собственном.

За прилавком мечутся человек пять каких-то каптеров, за отдельным столиком сидит некто вроде заведующего. Он-то и устанавливает, что кому дать и какого срока. Получатели торгуются и с ним и с каптерами, демонстрируют собственную рвань, умоляют дать что-нибудь поцелее и потеплее. Взгляд завсклада пронзителен и неумолим, и приговоры его, невидимому, обжалованию не подлежат.

— Ну, тебя по роже видно, что промотчик, — говорит он какому-то урку. — Катись катышом.

— Товарищ начальник. Ей, Богу...

— Катись, катись, говорят тебе. Следующий.

Следующий нажимает на урку плечом. Урка кроет матом. Но он уже отжат от прилавка, и ему только и остается, что на почтительной дистанции потрясать кулаками и позорить завскладовских родителей. Перед завскладом стоит огромный и совершенно оборванный мужик.

— Ну, тебя сразу видно, мать без рубашки родила. Так с тех пор без рубашки и ходишь? Совсем голый. Когда это вас, сукиных детей, научат — как берут в ГПУ, так сразу бери из дому все, что есть.

— Гражданин начальник, — взывает крестьянин. — И дома, почитай, голые ходил. Детишкам, стыдно сказать, срамоту прикрыть нечем.

— Ничего, не плач. И детишек скоро сюда заберут.

Крестьянин получает второго и третьего сорта бушлат, штаны, валенки, шапку и рукавицы. Дома действительно он так одет не был. У стола появляется еще один урка.

— А, мое вам почтение, — иронически приветствует его зав.

— Здравствуйте вам, — с неубедительной развязностью отвечает урка.

— Не дали погулять?

— Что, разве помните меня? — с заискивающей удивленностью спрашивает урка. — Глаз у вас, можно сказать...

— Да, такой глаз, что ничего ты не получишь. А ну, проваливай дальше.

— Товарищ заведующий! — вопит урка в страхе. — Так посмотрите же. Я совсем голый. Да, поглядите!

Театральным жестом — если только бывают такие театральные жесты — урка подымает подол своего френча, и из-под подола глядит на зава голое и грязное пузо.

— Товарищ заведующий! — продолжает вопить урка. — Я же так без одежды совсем к чертям подохну.

— Ну и дохни ко всем чертям.

Урку с голым пузом оттирают от прилавка. Подходит группа рабочих. Все они в сильно поношенных городских пальто, никак не приносивших ни к здешним местам, ни к здешней работе. Они получают, кто валенки; кто ватник, кто рваный бушлат. Наконец, перед

завскладом выстраиваемся все мы трое. Зав скорбно оглядывает нас и наши очки.

— Вам лучше бы подождать. На ваши фигурки трудно подобрать.

В глазах зава я вижу какой-то сочувственный совет и с оглашаюсь. Юра — он еле на ногах стоит от усталости — предлагает заву иной вариант:

— Вы бы нас к какой-нибудь работе пристроили. И вам лучше, и нам не так тошно.

— Это идея.

Через несколько минут мы уже сидим за прилавком и приставлены к каким-то ведомостям: бушлат 2-го ср. — 1; штаны 3-го ср. — 1 и т.д.

Наше участие ускорило операцию выдачи почти вдвое. Часа через полтора эта операция была закончена, и зав подошел к нам. От его давешнего балагурства не осталось и следа. Передо мной был бесконечно, смертельно усталый человек. На мой вопросительный взгляд он ответил:

— Вот уже третьи сутки на ногах. Все одеваем. Завтра кончим — все равно, ничего уже не осталось. Да, — спохватился он, — вас ведь надо одеть. Сейчас вам подберут. Вчера прибыли?

— Да, вчера.

— И на долго?

— Говорят, лет на восемь.

— И статьи, вероятно, зверские?

— Да, статьи подходящие.

— Ну, ничего, не унывайте. Знаете, как говорят немцы: *mit verlogen* — *alles verlogen*. Устройтесь. Тут, если интеллигентный человек и не совсем шляпа, не пропадет. Но, конечно, веселого мало.

— А много веселого на воле?

— Да и на воле тоже. Но там семья. Как она живет, Бог ее знает.

А я здесь уже пятый год.

— На миру и смерть красна. — кисло утешаю я.

— Очень уж много этих смертей. Вы, видно, родственники?

Я объясняю.

— Вот это удачно. Вдвоем на много лучше. А уж втроем... А на воле у вас тоже семья?

— Никого нет.

— Ну, тогда вам пустяки. Самое горькое — это судьба семьи.

Нам приносят по бушлату, паре штанов и прочее — полный комплект первого срока. Только валенок на мою ногу найти не могут.

— Зайдите завтра вечером с заднего хода. Подыщем.

Прощаясь, мы благодарим зава.

— И совершенно не за что, — отвечает он. — Через месяц вы будете делать то же самое. Это, батенька, называется классовая солидарность интеллигенции. Чему-чему, а уж этому большевики нас научили.

— Простите, можно узнать вашу фамилию? Зав называет ее. В литературном мире Москвы это весьма небезызвестная фамилия.

— И вашу фамилию я знаю, — говорит зав.

Мы смотрим друг на друга с ироническим сочувствием.

— Вот еще что. Вас завтра попытаются погнать в лес дрова рубить. Так вы не ходите.

— А как не пойти? Погонят.

— Плюньте и не ходите.

— Как тут плюнешь?

— Ну, вам там будет виднее. Как-то нужно изловчиться. На лесных работах можно застрять надолго. А если отвертитесь, через день-два будете устроены на какой-нибудь приличной работе. Конечно, если можно считать этот кабак приличной работой.

— А под арест не посадят?

— Кто вас будет сажать? Такой же дядя в очках, как и вы? Очень мало вероятно. Старайтесь только не попадаться на глаза всякой такой полупочтенной и полупартийной публике. Если у вас развито советское зрение, вы разглядите сразу.

Советское зрение было у меня развито до изощренности. Это тот сорт зрения, который, в частности, позволяет вам отличить беспартийную публику от партийной и «полупартийной». Кто его знает, какие внешние отличия существуют у этих, столь неравных и количественно и юридически категорий. Может быть, тут играет роль то обстоятельство, что коммунисты и иже с ними — единственная социальная прослойка, которая чувствует себя в России, как у себя дома. Может быть, та подозрительная, вечно настороженная напряженность человека, у которого дела в этом доме обстоят как-то очень неважно, и

подозрительный нюх подсказывает в каждом углу притаившегося врага. Трудно это объяснить, но это чувствуется.

На прощанье зав дает нам несколько адресов — в таком-то бараке живет группа украинских профессоров, которые уже успели здесь окопаться и обзавестись кое-какими связями. Кроме того, в Подпорожьи, в штабе отделения, имеются хорошие люди X, Y, Z, с которыми он, зав, постарается завтра о нас поговорить. Мы сердечно прощаемся с завом и бредем к себе в барак, увязая в снегу, путаясь в обескураживающем однообразии барачков.

После этого сердечного разговора наша берлога кажется нам особенно гнусной

ОБСТАНОВКА В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ

Из разговора в складе мы узнали очень много весьма существенных вещей. Мы находились в подпорожском отделении ББК, но не в самом Подпорожьи, а на лагерном пункте Погра. Сюда предполагалось свезти около 27 000 заключенных. За последние две недели сюда прибыло 6 эшелонов, следовательно, 10-12 тысяч народу, следовательно, по всему лагпункту свирепствовал невероятный кабак и следовательно, все лагерные заведения испытывали острую нужду во всякого рода культурных силах. Между тем, по лагерным порядкам всякая такая культурная сила, совершенно независимо от ее квалификации, немедленно направлялась на общие работы, т.е. лесозаготовки. Туда отправлялись и врачи, и инженеры, и профессора. Интеллигенция всех этих шести эшелонов рубила где-то в лесу дрова.

Сам по себе процесс этой рубки нас ни в какой степени не смущал. Даже больше, при наших физических данных лесные работы для нас были бы легче и спокойнее, чем трепка нервов в какой-нибудь канцелярии. Но для нас дело заключалось вовсе не в легкости или трудности работы. Дело заключалось в том, что, попадая на общие работы, мы превращались в безличные единицы той массы, с которой советская власть и советский аппарат никак не церемонится. Находясь в массах, человек попадает в тот конвейер механической и механизированной, бессмысленной и беспощадной жестокости, который действует много хуже любого ГПУ. Тут в массе человек теряет всякую возможность распоряжаться своей судьбой, как-то лавировать между зубцами этого конвейера. Попав на общие работы; мы находились бы под вечной угрозой переброски куда-нибудь в совсем неподходящее для бегства место, рассылки нас троих по разным лагерным пунктам. Вообще, общие работы таили много угрожающих возможностей. А раз

попав на них, можно было бы застрять на месяцы. От общих работ нужно было удирать, даже и путем весьма серьезного риска.

БОБА ПРИСПОСАБЛИВАЕТСЯ

Мы вернулись «домой» в половине пятого утра. Только что успели улечься и обогреться, нас подняли крики:

— А ну, вставай!

Было шесть часов утра. На дворе еще ночь. В щели барака дует ветер. Лампочки еле копят. В барачной тьме начинают копошиться не выспавшиеся, промерзшие, голодные люди. Дежурные бегут за завтраком, по стакану ячменной каши на человека, разумеется, без всякого признака жира. Каша «сервируется» в одной бачке на 15 человек. Казенных ложек нет. Над каждым бачком наклонится по десятку человек, поспешно запихивающих в рот мало съедобную замазку и ревниво наблюдающих за тем, чтобы никто не съел лишней ложки. Порции разделены на глаз по дну бачка. За спинами этого десятка стоят остальные участники пиршества, взирающие на обнажающееся дно бачка еще с большей ревностью и еще с большей жадностью. Это те, у которых своих ложек нет. Они ждут «смены». По барачку мечутся люди, как-то не попавшие ни в одну «артель». Они зывают о справедливости и об еде. Но зывать в сущности не к кому. Они остаются голодными.

— В лагере такой порядок. — говорит какой-то рабочий одной из таких неприкаянных голодных душ, — Такой порядок, что не зевай. А прозевал, вот и будешь сидеть не евши: и тебе наука и советской власти больше каши останется,

Наша продовольственная артель возглавляется Борисом и поэтому организована образцово. Борис сам смотался за кашей и как-то ухитрится выторговать несколько больше, чем полагалось — или во всяком случае, чем получили другие; из щепок настрогали лопаточек, которые заменили недостающие ложки. Впрочем, сам Борис этой каши так и не ел: нужно было выкручиваться от этих самых дров. Техник Лепешкин, которого мы в вагоне спасли от урока, был назначен бригадиром одной из бригад. Первой частью нашего стратегического плана было попасть в его бригаду. Это было совсем просто. Дальше Борис объяснил ему, что идти рубить дрова мы не собираемся ни в каком случае и что дня на три нужно устроить какую-нибудь липу. Помимо всего прочего, один из нас троих будет дежурить у вещей, кстати и будет караулить и вещи Лепешкина.

Лепешкин был человек опытный. Он уже два года просидел в ленинградском концлагере, на стройке дома ГПУ. Он внес нас в список

своей бригады, но при переключке фамилий наших выкликать не будет. Нам оставалось не попасть в строй при переключке и отправке бригады и урегулировать вопрос с дневальным, на обязанности которого лежала проверка всех оставшихся в бараке с последующим заявлением вышестоящему начальству. Была еще опасность нарваться на начальника колонны, но его я уже видел, правда, мельком; вид у него был толковый, следовательно, как-то с ним можно было сговориться. От строя мы отделались сравнительно просто: на дворе было еще темно; мы, выйдя из барака, завернули к уборной, оттуда дальше, минут сорок околачивались по лагерю с чрезвычайно торопливым и деловым видом. Когда последние хвосты колонны исчезли, мы вернулись в барак, усыпили совесть дневального хорошими разговорами, торгсиновской папиросой и обещанием написать ему заявление о пересмотре дела. Напились кипятку без сахару, но с хлебом и легли спать.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Проснувшись, мы устроили военный совет. Было решено: я и Юра идем на разведку. Борис остается на дежурстве. Во-первых, Борис не хотел быть мобилизованным в качестве врача, ибо эта работа намного хуже лесоразработок — преимущественно по ее моральной обстановке и во-вторых, можно было ожидать всякого рода уголовных налетов. В рукопашном же смысле Борис стоил хорошего десятка уроков; я и Юра на такое количество претендовать не могли.

И вот мы с Юрой солидно и медленно шествуем по лагерной улице. Не Бог весть, какая свобода, но все-таки можно пойти направо и можно пойти налево. После коридоров ГПУ, надзирателей, конвоиров и прочего и это удовольствие. Вот шествуем мы так, и прямо навстречу нам черт несет начальника колонны.

Я вынимаю из кармана коробку папирос. Юра начинает говорить по-английски. Степенно и неторопливо мы шествуем мимо начальника колонны и вежливо, однако, так сказать, с чувством собственного достоинства, как если бы это было на Невском проспекте, приподнимаем свои кепки. Начальник колонны смотрит на нас удивленно, но корректно берет под козырек. Я уверен, что он нас не остановит. Но шагах в тридцати за нами скрип его валенок по снегу замолкает, я чувствую, что начальник колонны остановился и недоумевает, почему мы не на работе и стоит ли ему нас остановить и задать нам сей нескромный вопрос. Неужели, я ошибся? Но нет. Скрип валенок возобновляется и затихает вдали. Психология — великая вещь.

А психология была такая. Начальник колонны, конечно — начальник; но, как и всякий советский начальник, хлибок и неустойчив. Ибо и здесь и на воле закона в сущности нет. Есть административное соизволение. Он может на законном и еще более на незаконном основании, сделать людям, стоящим на низах, целую массу неприятностей. Но такую же массу неприятностей могут наделать ему люди, стоящие на верхах. По собачьей своей должности начальник колонны неприятности делать обязан. Но собачья должность вырабатывает, хотя и не всегда и собачий нюх. Неприятности, даже самые законные, можно делать только тем, от кого ответной неприятности произойти не может.

Теперь представьте себе возможно конкретнее психологию вот этого хлипокого начальника колонны. Идут по лагерю двое этаких дядей, только что прибывших с этапом. Ясно, что они должны быть на работах в лесу, и ясно, что они от этих работ удрали. Однако, дяди одеты хорошо. Один из них курит папиросу, какие и на воле курит самая верхушка. Вид интеллигентный и, можно сказать, спецовский. Походка уверенная и при встрече с начальством смущения никакого. Скорее, такая покровительственная вежливость. Словом, люди, у которых, очевидно, есть какие-то основания держаться так независимо. Какие именно — черт их знает, но, очевидно, есть.

Теперь — дальше. Остановить этих дядей и послать их в лес, а то и под арест — решительно ничего не стоит. Но какой толк? Административного капитала на этом никакого не заработаешь. А риск? Вот этот дядя с папиросой во рту через месяц, а может быть и через день будет работать инженером, плановиком, экономистом. И тогда всякая неприятность, хотя бы самая злейшая, воздается начальнику колонны сторицей. Но даже возданная, хотя бы и в ординарном размере, сна ему ни к чему не нужна. И какого черта ему рисковать?

Я этого начальника видал и раньше. Лицо у него было толковое. И я был уверен, что он пройдет мимо. Кстати, месяц спустя я уже действительно имел возможность этого начальника вздрючить так, что ему небо в овчинку бы показалось. И на весьма законном основании. Так что он умно сделал, что прошел мимо.

С людьми бестолковыми хуже.

ТЕОРИЯ ПОДВОДИТ

В тот же день советская психологическая теория чуть меня не подвела.

Я шел один и услышал резкий оклик:

— Эй, послушайте! Что вы по лагерю разгуливаете?

Я обернулся и увидел того самого старичка с колючими усами, начальника санитарной части лагеря, который вчера встречал наш эшелон. Около него еще три каких-то полуначальственного вида дяди. Видно, что старичок иззяб до костей, и что печень у него не в порядке. Я спокойно, неторопливо, но отнюдь не почтительно, а так, с видом некоторого незаинтересованного любопытства подхожу к нему. Подхожу и думаю: а что же мне в сущности делать дальше?

Потом я узнал, что это был крикливый и милейший старичок, доктор Шуквец, отбарабанивший уже четыре года из десяти, никого в лагере не обидевший, но, вероятно, от плохой печени и еще худшей жизни иногда любивший поорать. Но ничего этого я еще не знал. И старичок тоже не мог знать, что я незаконно болтаюсь по лагерю не просто так, а с совершенно конкретными целями побега за границу. И что успех моих мероприятий в значительной степени зависит от того, в какой степени на меня можно будет или нельзя будет орать.

И я решаюсь идти на арапа.

— Что это вам тут курорт или концлагерь? — продолжает орать старичок. — Извольте подчиняться лагерной дисциплине! Что это за безобразия! Шатаются по лагерю, нарушают карантин.

Я смотрю на старичка с прежним любопытством, внимательно, но отнюдь не испуганно, даже с некоторой улыбкой. Но на душе у меня было далеко не так спокойно, как на лице. Уж отсюда-то, со стороны доктора, такого пассажи я никак не ожидал. Но что же мне делать теперь? Достаяю из кармана свою образцово-показательную коробку папирос.

— Видите ли, товарищ доктор. Если вас интересуют причины моих прогулок по лагерю, думаю, что начальник отделения даст вам исчерпывающую информацию. Я был вызван к нему.

Начальник отделения — это звучит гордо. Проверять меня старичок, конечно, не может да и не станет. Должно же у него мелькнуть подозрение, что если меня на другой день после прибытия с этапа вызывает начальник отделения, значит, я не совсем рядовой лагерник. А мало ли, какие шишки попадают в лагерь.

— Нарушать карантин никто не имеет права. И начальник отделения тоже. — продолжает орать старичок, но все-таки тоном пониже. Полуначальственного вида дяди, стоящие за его спиной, улыбаются мне сочувственно.

— Согласитесь сами, товарищ доктор: я не имею решительно никакой возможности указывать начальнику отделения на то, что он

имеет право делать и чего не имеет права. И потом, вы сами знаете, в сущности карантина нет никакого.

— Вот потому и нет, что всякие милостивые государи, вроде вас, шатаются по лагерю. А потом санчасть отвечать должна. Изволь те немедленно отправиться в барак.

— А мне приказано вечером быть в штабе. Чье же приказание я должен нарушить?

Старичок явственно смущен. Но и отступить ему неохота.

— Видите ли, доктор, — продолжаю я в конфиденциально-сочувственном тоне. — Положение, конечно, идиотское. Какая тут изоляция, когда несколько сот дежурных все равно лазают по всему лагерю — на кухни, в хлеборезку, в коптерку. Неорганизованность. Бессмыслица. С этим, конечно, придется бороться. Вы курите? Можно вам предложить?

— Спасибо, не курю.

Дяди полуначальственного вида берут по папиросе.

— Вы инженер?

— Нет, плановик.

— Вот тоже все эти плановики и их дурацкие планы. У меня по плану должно быть 12 врачей, а нет ни одного.

— Ну, это значит, ГПУ не допланировало. В Москве кое-какие врачи еще и по улицам ходят.

— А вы давно из Москвы?

Через минут десять мы расстаемся со стариком, пожимая друг другу руки. Я обещаю ему в своих «планах» предусмотреть необходимость жестокого проведения карантинных правил. Знакомлюсь с полуначальственными дядями: один санитарный инспектор Погры и двое — какие-то инженеры. Один из них задерживается около меня, прикуривая потухшую папиросу.

— Вывернулись вы ловко. Дело только в том, что начальника отделения сейчас на Погре нет.

— Теоретически можно допустить, что я говорил с ним по телефону... А, впрочем, что поделаешь. Приходится рисковать.

— А старичка вы не бойтесь. Милейшей души старичок. В преферанс играет? Заходите в кабинку, симровизируем пульку. Кстати и о Москве поподробнее расскажете.

ЧТО ЗНАЧИТ РАЗГОВОР ВСЕРЬЕЗ

Большое двухэтажное деревянное здание. Внутри закоулки, комнатки, перегородки, фанерные, дощатые, гонтовые. Все заполнено людьми, истощенными недоеданием, бессонными ночами, непосильной работой, вечным дерганием из стороны в сторону, «ударниками», «субботниками», «кампаниями». Холод, махорочный дым, чад и угар от многочисленных жестяных печурок. Двери с надписями: ПЭО, ОАО, УРЧ, КВЧ... Пойди, разберись, что это значит. Планово-экономический отдел, общеадминистративный отдел, учетно-распределительная часть, культурно-воспитательная часть. Я обхожу эти вывески. ПЭО — годится, но там никого из главков нет. ОАО — не годится. УРЧ — к чертям. КВЧ — подходяще. Заворачиваю в КВЧ.

В начальнике КВЧ узнаю того самого расторопного юношу с побелевшими ушами, который распинался на митинге во время выгрузки эшелона. При ближайшем рассмотрении он оказался не таким уж юношей. Толковое лицо, смышленные, чуть насмешливые глаза.

Ну, с этим можно говорить всерьез, думаю я.

Выражение «разговор всерьез» нуждается в очень пространным объяснении, иначе ничего не будет понятно.

Дело заключается, говоря очень суммарно, в том, что из ста процентов усилий, затрачиваемых советской интеллигенцией, девяносто идут совершенно впустую. Всякий советский интеллигент обвешан неисчислимым количеством всякого принудительного энтузиазма, всякой халтуры, невыполнимых заданий, бессмысленных требований.

Представьте себе, что вы врач какой-нибудь больницы, не московской показательней и прочее, а рядовой, провинциальной. От вас требуется, чтобы вы хорошо кормили ваших больных, чтобы вы хорошо их лечили, чтобы вы вели общественно-воспитательную работу среди санитарок, сторожей и сестер, подымали трудовую дисциплину, организовывали соцсоревнование и ударничество, источали свой энтузиазм и учитывали энтузиазм, истекающий из ваших подчиненных, чтобы вы были полностью подкованы по части диалектического материализма и истории партии, чтобы вы участвовали в профсоюзной работе и стенгазете, вели санитарную пропаганду среди окрестного населения и т.д. и т.д.

Ничего этого вы в сущности сделать не можете. Не можете вы улучшить пищи, ибо ее нет, а то, что есть, потихоньку подъедается санитарками, которые получают по 37 рублей в месяц и, не воруя, жить не могут. Вы не можете лечить, как следует, ибо медикаментов у вас нет. Вместо йода идут препараты брома, вместо хлороформа — хлор-этил,

даже для крупных операций вместо каломели — глауберова соль. Нет перевязочных материалов. Нет инструментария. Но сказать официально, что всего этого у вас нет, вы не имеете права: это называется дискредитацией власти. Вы не можете организовать соцсоревнования не только потому, что оно вообще вздор, но и потому, что если бы за него взялись мало-мальски всерьез, у вас ни для чего другого времени не хватило бы. По этой же последней причине вы не можете ни учитывать чужого энтузиазма, ни «прорабатывать» решения тысяча первого съезда мопра.

Но вся эта чушь требуется не то, чтобы совсем всерьез, но чрезвычайно настойчиво. Совсем не нужно, чтобы вы всерьез проводили какое-нибудь там соцсоревнование, приблизительно всякий дурак понимает, что это ни к чему. Однако, необходимо, чтобы вы делали вид, что это соревнование проводится на все сто процентов. Это понимает приблизительно всякий дурак, но этого не понимает так называемый советский актив, который на всех этих мопрах, энтузиазмах и ударничествах воспитан, ничего больше не знает и прицепиться ему в жизни больше не за что.

Теперь представьте себе, что откуда-то вам на голову сваливается сотрудник, который всю эту чепуховину принимает всерьез. Ему покажется недостаточным, что договор о соцсоревновании мирно висит на стенах и колупаевской, и разуваевской больницы. Он потребует «через общественность» или еще хуже через партийную ячейку, чтобы вы реально проверяли пункты этого договора. По советским «директивам» вы обязаны это сделать. Но в этом договоре, например, написано: обе соревнующиеся стороны обязуются довести до минимума количество паразитов. А ну-ка, попробуйте проверить, в какой больнице вшей больше и в какой меньше. А таких пунктов шестьдесят. Этот же беспокойный дядя возьмет и ляпнет в комячейке: надо заставить нашего врача сделать доклад о диалектическом материализме при желудочных заболеваниях. Попробуйте сделайте! Беспокойный дядя заметит, что какая-то иссохшая от голода санитарка где-нибудь в уголке потихоньку вылизывает больничную кашу — и вот заметка в какой-нибудь районной газете: «Хищение народной каши в колупаевской больнице». А то и просто донос, куда следует. И влетит вам по второе число, и отправят вашу санитарку в концлагерь, а другую вы найдете очень не сразу. Или подымет беспокойный дядя скандал: почему у вас санитарки с грязными физиономиями ходят? Антисанитария! И не можете вы ему ответить: да сукин ты сын, ты же и сам хорошо знаешь, что в конце второй пятилетки и то на душу населения придется лишь по полкуса мыла в год, откуда же я-то его возьму? Ну и так далее. И вам никакого житья к никакой возможности работать, и персонал ваш разбежится, и больные ваши

будутдохнуть, и попадете вы в концлагерь «за развал колупаевской больницы».

Поэтому-то при всяких деловых разговорах установился между толковыми советскими людьми принцип этакого хорошего тона, заранее отмечающего какую бы то ни было серьезность какого бы то ни было энтузиазма и устанавливающего такую приблизительно формулировку: лишь бы люди по мере возможности не дошли, а там черт с ним совсем с энтузиазмами и со строительствами и с пятилетками.

С коммунистической точки зрения — это вредительский принцип. Люди, которые сидят за вредительство, сидят по преимуществу за проведение в жизнь именно этого принципа.

Бывает и сложнее. Этот же энтузиазм, принимающий формы так называемых социалистических форм организации труда, режет под корень самую возможность труда. Вот вам, хотя и мелкий, но вполне: так сказать, исторический пример.

1929 год, Советские спортивные кружки дышат на ладан. Есть нечего, и людям не до спорта. Мы, группа людей, возглавляющих этот спорт, прилагаем огромные усилия, чтобы хоть как-нибудь задержать процесс этого развала, чтобы дать молодежи, если не тренировку всерьез, то хотя бы какую-нибудь возню на чистом воздухе, чтобы как-нибудь, хотя бы в самой грошовой степени, задержать процесс физического вырождения... В стране одновременно с ростом голода идет процесс всяческого полевения. На этом процессе делается много карьер.

Область физической культуры — не особо ударная область, и пока нас не трогают. Но вот группа каких-то активистов вылезает на поверхность: позвольте, как это так? А почему физкультура остается у нас аполитичной? Почему там не ведется пропаганда за пятилетку, за коммунизм, за мировую революцию? И вот — проект: во всех занятиях и тренировках ввести обязательную десятиминутную беседу инструктора на политические темы.

Все эти «политические темы» надоели публике хуже всякой горчайшей редьки. И так ими пичкают и в школе, и в печати, и где угодно. Ввести эти беседы в кружках, вполне добровольных кружках, значит — ликвидировать их окончательно: никто не пойдет.

Словом, вопрос об этих десятиминутках ставится на заседании президиума ВЦСПС. «Активист» докладывает. Публика в президиуме ВЦСПС не глупая публика. Перед заседанием я сказал Догадову, секретарю ВЦСПС:

— Ведь, этот проект нас без ножа зарежет.

— Замечательно идиотский проект, но... Активист докладывает — публика молчит. Только Угланов, тогда народный комиссар труда, как-то удивленно повел плечами:

— Да зачем же это? Рабочий приходит на водную станцию, он хочет плавать, купаться, на солнышке полежать, отдохнуть, энергии набраться. А вы ему тут политбеседу. По-моему не нужно это.

Так вот, год спустя это выступление припомнили даже Угланову. А все остальные, в том числе и Догадов, промолчали, помычали, и проект был принят. Сотни инструкторов «за саботаж политической работы в физкультуре» поехали в Сибирь. Работа кружков была развалена.

Активисту на эту работу плевать: он делает карьеру, и на этом поприще он ухватил этокое «ведущее звено», которое спорт-то провалит, но его уж наверняка вытащит на поверхность. Что ему до спорта? Сегодня он провалит спорт и подымет на одну ступеньку партийной лесенки. Завтра он разорит какой-нибудь колхоз — подымет еще на одну. Но мне-то не наплевать. Я-то в области спорта работаю 25 лет.

Правда, я кое-как выкрутился. Я двое суток подряд просидел над этой «директивой» и послал ее по всем подчиненным мне кружкам по линии союза служащих. Здесь было все: и энтузиазм и классовая бдительность и программы этих десятиминуток. А программы были такие:

Эллинские олимпиады, физкультура в рабовладельческих формированиях, средневековые турниры и военная подготовка феодального класса. Англосаксонская система спорта — игры; легкая атлетика — как система эпохи загнивающего капитализма. Ну и так далее. Комар носу не подточит. От империализма в этих беседах практически ничего не осталось, но о легкой атлетике можно поговорить. Впрочем, через полгода эти десятиминутки были автоматически ликвидированы: их не перед кем было читать.

Всероссийская халтура, около которой кормится и делает карьеру очень много всяческого и просто темного и просто безмозглого элемента, время от времени выдвигает вот такие «новые организационные методы». Попробуйте вы с ними бороться или их игнорировать! Группа инженера Палчинского была расстреляна, и в официальном обвинении стоял пункт о том, что Палчинский боролся против «сквозной езды».

Верно, он боролся, и он был расстрелян. Пять лет спустя эта езда привела к почти полному параличу тягового состава и была объявлена «обезличкой». Около трех сотен профессоров, которые протестовали против сокращения сроков и программ вузов поехали на Соловки. Три

года спустя эти программы и сроки пришлось удлинить до прежнего размера, а инженеров возвращать для доучения. Ввели «непрерывку», которая была уж совершенно очевидным идиотизмом и из-за которой тоже много народу поехало и на тот свет и на Соловки. Если бы я в свое время открыто выступил против этой самой десятиминутки, я поехал бы в концлагерь на пять лет раньше срока, уготованного мне для этой цели судьбой.

Соцсоревнование и ударничество, строительный энтузиазм и выдвигенчество, социалистическое совместительство и профсоюзный контроль, «легкая кавалерия» и чистка учреждений — все это заведомо идиотские способы «социалистической организации», которые обходятся в миллиарды рублей и в миллионы жизней, которые неукоснительно рано или поздно кончаются крахом, но против которых вы ничего не можете поделать. Советская Россия живет в правовых условиях абсолютизма, который хочет казаться просвещенным, но который все же стоит на уровне восточной деспотии с ее янычарами, райей и пашами.

Мне могут возразить, что все это — слишком глупо для того, чтобы быть правдоподобным. Скажите, а разве не глупо и разве правдоподобно то, что сто шестьдесят миллионов людей, живущих на земле хорошей и просторной, семнадцать лет подряд мрут с голоду? Разве не глупо то, что сотни миллионов рублей будут ухлопаны на Дворец Советов, на эту вавилонскую башню мировой революции, когда в Москве три семьи живут в одной комнате? Разве не глупо то, что днем и ночью, летом и зимой с огромными жертвами гнали стройку днепровской плотины, а теперь она загружена только на 12 процентов своей мощности? Разве не глупо разорить кубанский чернозем и строить оранжереи у Мурманска? Разве не глупо уморить от бескормицы лошадей, коров и свиней, ухлопать десятки миллионов на кролика, сорваться на этом несчастном зверьке и заниматься, в конце концов, одомашнением карельского лося и камчатского медведя? Разве не глупо бросить в тундру на стройку Беломорско-Балтийского канала 60 000 узББКов и киргизов, которые там в полгода вымерли все?

Все это вопиюще глупо. Но эта глупость вооружена до зубов. За ее спиной пулеметы ГПУ. Ничего не попишешь.

РОССИЙСКАЯ КЛЯЧА

Но я хочу подчеркнуть одну вещь, к которой в этих же очерках, очерках о лагерной жизни, почти не буду иметь возможности вернуться. Вся эта халтура никак не значит, что этот злополучный советский врач не лечит. Он лечит, и он лечит хорошо, конечно, в меру своих материальных

возможностей. Поскольку я могу судить, он лечит лучше европейского врача или во всяком случае добросовестнее его. Но это вовсе не от того, что он советский врач. Так же, как Молоков — хороший летчик вовсе не от того, что он советский летчик.

Тот же самый Ильин, о котором я сейчас буду рассказывать, при всей своей халтуре и прочем организовал все-таки какие-то курсы десятников, трактористов и прочее. Я сам, при всех прочих моих достоинствах и недостатках, вытянул все-таки миллионов пятнадцать профсоюзных денежек, предназначенных на всякого рода диалектическое околпачивание профсоюзных масс и построил на эти деньги около полусотни спортивных площадок, спортивных парков, водных станций и прочего. Все это построено довольно паршиво, но все это все же лучше, чем диамат.

Так что великая всероссийская халтура, вовсе не значит, что я, врач, инженер и прочее, что мы только халтурим. Помню, Горький в своих воспоминаниях о Ленине приводит свои собственные слова о том, что русская интеллигенция остается и еще долго будет оставаться единственной клячей, влекущей телегу российской культуры. Сейчас Горький сидит на правительственном облучке и вкупе с остальными, восседающими на оном, хлещет эту клячу и в хвост и в гриву. Кляча по уши вязнет в халтурном болоте и все-таки тащит. Больше тянуть, собственно, некому. Так можете себе представить ее отношение к людям, подкидывающим на эту и так непроезжую колею еще лишние халтурные комья?

В концлагере основными видами халтуры являются «энтузиазм» и «перековка». Энтузиазм в лагере приблизительно такой же и такого происхождения, как и на воле, а «перековки» нет ни на полкопейки. Разве что лагерь превращает случайного воришку в окончательного бандита, обалделого от коллективизации мужика в закаленного и остервенелого контрреволюционера; такого, что когда он дорвется до коммунистического горла, он сие удовольствие постарается продлить.

Но горе будет вам, если вы где-нибудь, так сказать, официально позволите себе усомниться в энтузиазме и в перековке. Приблизительно так же неуютно будет вам, если рядом с вами будет работать человек, который не то принимает всерьез эти лозунги, не то хочет сколотить на них некий советский капиталец.

РАЗГОВОР ВСЕРЬЕЗ

Так вот, вы приходите к человеку по делу. Если он беспартийный и толковый, вы с ним сговоритесь сразу. Если беспартийный и

бестолковый, лучше обойдите стороной: упаси вас, Господи, попадете в концлагерь или, если вы уже в концлагере, попадете на Лесную Речку.

С такими приблизительно соображениями я вхожу в помещение КВЧ. Полдюжины каких-то оборванных личностей малюют какие-то лозунги, другая полдюжина что-то пишет, третья просто суетится. Словом, кипит веселая социалистическая стройка. Вижу того юнца, который произносил приветственную речь перед нашим эшелонем на подъездных путях к Свирьстрою. При ближайшем рассмотрении он оказывается не таким уж юнцом, а глаза у него толковые.

— Скажите пожалуйста, где я могу видеть начальника КВЧ товарища Ильина?

— Это я.

Я этак мельком оглядываю эту веселую стройку и моего собеседника и стараюсь выразить взором своим приблизительно такую мысль:

— Подхалтуриваете?

Начальник КВЧ отвечает мне взглядом, который ориентировочно можно было бы перевести так.

— Еще бы! Видите, как насобачились.

После этого между нами устанавливается, так сказать, полная гармония.

— Пойдемте ко мне в кабинет.

Я иду за ним. Кабинет — это убогая закута с одним дощатым столом и двумя стульями, из коих один — на трех ножках.

— Садитесь. Вы, я вижу, удрали с работы.

— А я и вообще не ходил.

— Угу... Вчера там, в колонне — это ваш брат что ли?

— И брат и сын... Так сказать, восторгалась вашим красноречием.

— Ну, бросьте. Я все-таки старался в скорострельном порядке.

— Скорострельным? Двадцать минут людей на морозе морозили.

— Меньше нельзя. Себе дороже обойдется. Регламент.

— Ну, если регламент, так можно и ушами пожертвовать. Как они у вас?

— Черт его знает. Седьмая шкура слезает. Ну, я вижу, во-первых, что вы хотите работать в ВЧК, во-вторых, что статьи у вас для этого

предприятия совсем неподходящие и что, в-третьих, мы с вами как-то сойдемся.

И Ильин смотрит на меня торжествующе.

— Я не вижу, на чем, собственно, основано второе утверждение.

— Ну, плюньте. Глаз у меня наметанный. За что вы можете сидеть? Превышение власти? Вредительство? Воровство? Контрреволюция? Если бы превышение власти, вы пошли бы в административный отдел. Вредительство — в производственный. Воровство всегда действует по хозяйственной части. Но куда же приткнуться истинному контрреволюционеру, как не в культурно-воспитательную часть? Логично?

— Дальше некуда.

— Да. Но дело в том, что контрреволюции мы вообще, так сказать, по закону принимать права не имеем. А вы в широких областях контрреволюции, я подозреваю, занимаете какую-то особо непохвальную позицию.

— А это из чего следует?

— Так. Не похоже, чтобы вы за ерунду сидели. Вы меня извините, но физиономия у вас с советской точки зрения весьма неблагонадежная. Вы в первый раз сидите?

— Приблизительно в первый.

— Удивительно.

— Ну, что ж, давайте играть в Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Так что же вы нашли в моей физиономии?

Ильин уставился в меня и неопределенно пошевелил пальцами.

— Ну, как бы вам сказать... Продерзновенность. Нахальство сметь свое суждение иметь. Этакое, знаете ли, амбрэ «критически мыслящей личности». А не любят этого у нас...

— Не любят, — согласился я.

— Ну, не в том дело. Если вы при всем этом столько лет на воле проканителились — я лет на пять раньше вас угодил — значит и в лагере как-то ориентируетесь. А кроме того, что вы можете предложить мне конкретно?

Я конкретно предлагаю.

— Ну, я вижу, вы не человек, а универсальный магазин. Считайте себя за КВЧ. Статей своих особенно не рекламируйте. Да, а какие же у вас статьи?

Я рапортую.

— Ого! Ну, значит, вы о них помалкивайте. Пока хватятся, вы уже обживетесь и вас не тронут. Ну, приходите завтра. Мне сейчас нужно бежать еще один эшелон встретить.

— Дайте мне какую-нибудь записочку, чтобы меня в лес не тянули.

— А вы просто плюньте. Или сами напишите.

— Как это сам?

— Очень просто: такой-то требуется на работу в КБЧ. Печать? Подпись? Печати у вас нет. У меня тоже. А подпись ваша или моя — кто разберет?

— Гм, — сказал я.

— Скажите, неужели бы на воле все время жили, ездили и ели только по настоящим документам?

— А вы разве таких людей видали?

— Ну, вот. Приучайтесь к тяжелой мысли о том, что по существующим документам вы будете жить, ездить и есть и в лагере. Кстати, напишите уж записку на всех вас троих — завтра здесь разберемся. Ну, пока. О документах прочтите у Эренбурга. Там все написано.

— Читал. Так до завтра.

Пророчество Ильина не сбылось. В лагере я жил, ездил и ел исключительно по настоящим документам — невероятно, но факт. В КВЧ я не попал. Ильина я больше так и не видел.

СКАЧКА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

События этого дня потекли стремительно и несообразно. Выйдя от Ильина, на лагерной улице я увидел Юру под конвоем какого-то вохровца. Но моя тревога оказалась сильно преувеличенной: Юру тащили в третий отдел — лагерное ГПУ — в качестве машиниста; не паровозного, а на пишущей машинке. Он со своими талантами заявился в плановую часть, и какой-то мимохожий чин из третьего отдела забрал его себе. Сожаления были бы бесплодны да и бесцельны. Пребывание Юры в третьем отделе дало бы нам расположение вохровских секретов вокруг лагеря, знание системы ловли беглецов, карту и другие весьма существенные предпосылки для бегства.

Я вернулся в барак и сменил Бориса. Борис исчез на разведку к украинским профессорам — так, на всякий случай, ибо я полагал, что мы все устроимся у Ильина.

В бараке было холодно, темно и противно. Шатались какие-то урки и умильно поглядывали на наши рюкзаки. Но я сидел на нарах в этой богатырской позе, а рядом со мною лежало здоровенное полено. Урки облизывались и скрывались во тьме барака. Оттуда, из этой тьмы, время от времени доносились крики и ругань, чьи-то вопли о спасении и все, что в таких случаях полагается. Одна из таких стаек, осмотревши рюкзаки, меня и полено, отошла в сторонку, куда не достигал свет от коптилки и смачно пообещала:

— Подожди ты — в мать, печенку и прочее — поймем мы тебя и без полена.

Вернулся от украинских профессоров Борис. Появилась новая перспектива: они уже работали в УРЧ в Подпорожьи, в отделении. Там была острая нужда в работниках; работа там была отвратительная, но там не было лагеря, как такового, не было барачков, проволоки, урок и прочего. Можно было жить не то в палатке, не то в крестьянской избе. Было электричество. И вообще, с точки зрения Погры Подпорожье казалось такой мировой столицей. Перспектива была соблазнительная.

Еще через час пришел Юра. Вид у него был растерянный и сконфуженный. На мой вопрос, в чем дело, Юра ответил как-то туманно: потом де расскажу. Но в стремительности лагерных событий и перспектив ничего нельзя было откладывать. Мы забрались в глубину нар, и там Юра шепотом и по-английски рассказал следующее. Его уже забронировали было за административным отделом в качестве машиниста, но какой-то помощник начальника третьей части заявил, что машинист нужен им. А так как никто в лагере не может конкурировать с третьей частью, как на воле никто не может конкурировать с ГПУ, то административный отдел отступил без боя. От третьей части Юра остался в восторге: во-первых, на стене висела карта и даже не одна, а несколько; во-вторых, было ясно, что в нужный момент отсюда можно будет спереть кое какое оружие. Но дальше произошла такая вещь.

После надлежавшего испытания на пишущей машинке Юру привели к какому-то дяде и сказали:

— Вот этот паренек будет у тебя на машинке работать.

Дядя посмотрел на Юру весьма пристально и заявил:

— Что-то мне ваша личность знакома. И где это я вас видал?

Юра всмотрелся в дядю и узнал в нем того чекиста, который в роковом вагоне номер 13 играл роль контролера.

Чекист, казалось, был доволен этой встречей.

— Вот это здорово. И как же это вас сюда послали? Вот тоже чудачки ребята. Три года собирались и на бабе сорвались. — и он стал

рассказывать прочим чинам третьей части, сидевшим в комнате, приблизительно всю историю нашего бегства и нашего ареста.

— А остальные ваши где? Здоровые бугаи подобрались. Дядюшка евонный нашему одному (он назвал какую-то фамилию) так руку ломанул, что тот до сих пор в лубках ходит. Ну-ну, не думал, что встретимся.

Чекист оказался из болтливых в такой степени, что даже проболтался про роль Бабенки во всей этой операции. Но это было очень плохо. Это значит, что через несколько дней вся администрация лагеря будет знать, за что именно мы попались и, конечно, примет кое-какие меры, чтобы мы этой попытки не повторили.

А меры могли быть самые разнообразные. Во всяком случае все наши розовые планы на побег повисли над пропастью. Нужно было уходить с Погры, хотя бы и в Подпорожье, хотя бы только для того, чтобы не болтаться на глазах этого чекиста и не давать ему повода для его болтовни. Конечно и Подпорожье не гарантировало от того, что этот чекист не доведет до сведения администрации нашу историю, но он мог этого и не сделать. По-видимому, он этого так и не сделал.

Борис сейчас же пошёл к украинским профессорам форсировать подпорожские перспективы. Когда он вернулся, в наши планы ворвалась новая неожиданность.

Лесорубы уже вернулись из лесу, и барак был наполнен мокрой и галдевшей толпой. Сквозь толпу к нам протиснулись два каких-то растрёпанных и слегка обалделых от работы и хаоса интеллигента.

— Кто тут Солоневич Борис?

— Я, — сказал брат.

— Что такое *oleum ricini*?

Борис даже слегка отодвинулся от столь неожиданного вопроса.

— Касторка. А вам это для чего?

— А что такое *acidum arsenicosum*? В каком растворе употребляется *asibum carbolicum*?

Я ничего не понимал. И Борис тоже. Получив удовлетворительные ответы на эти таинственные вопросы, интеллигенты переглянулись.

— Годен? — спросил один из них у другого.

— Годен, — подтвердил другой.

— Вы назначены врачом амбулатории, — сказал Борису интеллигент. — Забирайте ваши вещи и идёте со мною. Там уж стоит

очередь на приём. Будете жить в кабинке около амбулатории.

Итак, таинственные вопросы оказались экзаменом на звание врача. Нужно сказать откровенно, что перед неожиданностью этого экзаменационного натиска мы оказались несколько растерянными. Но дискуссировать не приходилось. Борис забрал все наши рюкзаки и в сопровождении Юры и обоих интеллигентов ушёл в «кабинку». А кабинка — это отдельная комнатка при амбулаторном бараке, которая имела то несомненное преимущество, что в ней можно было оставить вещи в некоторой безопасности от уголовных налётов.

Ночь прошла скверно. На дворе стояла оттепель, и сквозь щели потолка нас поливал тающий снег. За ночь мы промокли до костей. Промокли и наши одеяла. Утром мы, мокрые и не выспавшиеся пошли к Борису, прихватив туда все свои вещи, слегка обогрелись в пресловутой кабинке к пошли нажимать на все пружины для Подпорожья. В лес мы, конечно, не пошли. К полдню я и Юра уже имели, правда, пока только принципиальное, назначение в Подпорожье, в УРЧ.

УРКИ В ЛАГЕРЕ

Пока все мы судорожно мотались по нашим делам, лагпункт продолжал жить своей суматошной каторжной жизнью. Прибыл ещё один эшелон, ещё тысячи две заключённых, для которых одежды уже не было да и помещения тоже. Людей перебрасывали из барака в барак, пытаясь «уплотнить» эти гробообразные ящики и без того набитые до отказа. Плотничьи бригады наспех строили новые бараки. По раскисшим от оттепели «улицам» подвозились серые промокшие брёвна. Дохлые лагерные клячи застревали на ухабах. Сверху моросила какая-то дрянь — помесь снега и дождя. Увязая по колени в разбухшем снегу, проходили колонны «новичков» — та же серая рабоче-крестьянская скотинка, какая была и в нашем эшелоне. Им будет намного хуже, ибо они останутся в том, в чём приехали сюда. Казённое обмундирование уже исчерпано, а ждут ещё три-четыре эшелона.

Среди людей, растерянных, дезориентированных, оглушённых перспективами долгих лет каторжной жизни, урки то вились незаметными змейками, то собирались в волчьи стаи. Шныряли по баракам, норовя стянуть всё, что плохо лежит, организовывали и, так сказать, массовые вооружённые нападения.

Вечером напали на трёх дежурных, получивших хлеб для целой бригады. Одного убили, другого ранили, хлеб исчез. Конечно, дополнительной порции бригада не получила и осталась на сутки голодной. В наш барак — к счастью когда в нём не было ни нас, ни

наших вещей — ворвалась вооружённая финками банда человек в пятнадцать. Дело было утром, народу в бараке было мало. Барак был обобран почти до нитки.

Администрация сохраняла какой-то странный нейтралитет. И за урок взялись сами лагерники.

Выйдя утром из барака, я был поражён очень неудобным зрелищем. Привязанный к сосне, стоял или висел какой-то человек. Его волосы были покрыты запекшейся кровью. Один глаз висел на какой-то кровавой ниточке. Единственным признаком жизни, а может быть только признаком агонии, было судорожное подергивание левой ступни. В стороне шагах в двадцати на куче снега лежал другой человек. С этим было всё кончено. Сквозь кровавое месиво снега, крови, волос и обломков черепа были видны размозженные мозги.

Кучка крестьян и рабочих не без некоторого удовлетворения созерцала это зрелище.

— Ну вот, теперь по крайности с воровством будет спокойнее, — сказал кто-то из них.

Это был мужицкий самосуд, жестокий и бешеный, появившийся в ответ на террор урок и на нейтралитет администрации. Впрочем и по отношению к самосуду администрация соблюдала тот же нейтралитет. Мне казалось, что вот в этом нейтралитете было что-то суеверное. Как бы в этих изуродованных телах лагерных воров всякая публика из третьей части видела что-то и из своей собственной судьбы. Эти вспышки — я не хочу сказать народного гнева — для гнева они достаточно бессмысленны, а скорее народной ярости, жестокой и неорганизованной, пробегают такими симпатическими огоньками по всей стране. Сколько всякого колхозного актива, сельской милиции, деревенских чекистов платят изломанными костями и проломленными черепами за великое социалистическое ограбление мужика. Ведь там, в глубине России, тишины нет никакой. Там идет почти ни на минуту не прекращающаяся звериная резня за хлеб и за жизнь. И жизнь в крови, и хлеб в крови. И мне кажется, что когда публика из третьей части глядит на вот такого изорванного в клочки урку, перед нею встанут перспективы, о которых ей лучше и не думать.

В эти дни лагерной контратаки на урок я как-то встретил своего бывшего спутника по теплушке Михайлова. Вид у него был отнюдь не победоносный. Физиономия его носила следы недавнего и весьма вдумчивого избиения. Он подошел ко мне, пытаясь приветливо улыбнуться своими разбитыми губами и распухшей до синевы физиономией.

— А я к вам по старой памяти, товарищ Солоневич. Махорочкой угостите.

— Вам не жалко за науку.

— За какую науку?

— А все, что вы мне в вагоне рассказывали.

— Пригодилось?

— Пригодилось.

— Да мы тут всякую запятую знаем.

— Однако, занятых-то оказалось для вас больше, чем вы думали.

— Ну, это дело плевое. Ну, что? Ну, вот меня избили. Наших человек пять на тот свет отправили. А дальше что? Побуйствуют, но наша все равно возьмет, организация.

И старый пахан улыбнулся с прежней самоуверенностью.

— А те, кто убил, те уж живыми отсюда не уйдут. Нет-с. Это уж извините. Потому все это — стадо баранов, а мы — организация.

Я посмотрел на урку не без некоторого уважения.

ПОДПОРОЖЬЕ

Тихий морозный вечер. Все небо в звездах. Мы с Юрой идем в Подпорожье по тропинке, проложенной по льду Свири. Вдали, верстах в трех, сверкают электрические огоньки Подпорожья. Берега реки покрыты густым хвойным лесом, завалены мягкими снеговыми сугробами. Кое-где сдержанно рокочут незамерзшие быстрины. Входим в Подпорожье.

Видно, что это было когда-то богатое село. Просторные двухэтажные избы, рубленные из аршинных бревен, резные коньки, облезлая окраска ставень. Крепко жил свирский мужик. Теперь его ребятишки бегают по лагерю, выпрашивая у каторжников хлебные объедки, селедочные головки, несъедобные лагерные щи.

У нас обоих — вызов в УРЧ. Пока еще не назначение, а только вызов. УРЧ — учетно-распределительная часть лагеря, она учитывает всех заключенных, распределяет их на работы, перебрасывает из пункта на пункт, из отделения в отделение, следит за сроками заключения, за льготами и прибавками сроков, принимает жалобы и прочее в этом роде.

Внешне это такое же отвратное здание, как и все советские заведения, не столичные, конечно, а так, чином пониже, какие-нибудь сызранские или царевно-кокшайские. Полдюжины комнатушек набиты так же, как была набита наша теплушка. Столы из не крашенных, иногда даже не обструганных досок. Такие же табуретки и взамен недостающих

табуреток — березовые поленья. Промежутки забиты ящиками с делами, связками карточек, кучами всякой бумаги.

Конвоир сдает нас какому-то делопроизводителю или, как здесь говорят, «делопуту». Делопут подмахивает сопроводилровку:

— Садитесь, подождите.

Сесть не на что. Снимаем рюкзаки и усаживаемся на них. В комнатах лондонским туманом плавают густой махорочный дым. Доносится крепкая начальственная ругань, угроза арестами и прочее. Не то, что в ГПУ и на Погре начальство не посмело бы так ругаться. По комнатушкам мечутся люди. Кто ищет полено, на которое можно было бы сесть, кто умоляет делопута дать ручку: срочная работа, не выполнишь — посадят. Но ручек нет и у делопута. Делопут же увлечен таким занятием: он выковыривает сердцевину химического карандаша и делает из нее чернила, ибо никаких других в УРЧ не имеется. Землесто-зеленые, изможденные лица людей, сутками сидящих в этом махорочном дыму, тесноте, ругани, бестолковщине. Жуть.

Я начинаю чувствовать, что на лесоразработках было бы куда легче и уютнее. Впрочем, потом так и оказалось. Но лесозаготовки — это конвейер; только попади и тебя потащит, черт знает, куда. Здесь все-таки как-то можно будет изворачиваться.

Откуда-то из дыма канцелярских глубин показывается некий старичок. Впоследствии он оказался одним из урчевских воротил товарищем Наседкиным. На его сизом носу перевязанные канцелярской дратвой железные очки. Лицо в геморроидальных морщинах. В слепящихся глазках — добродушное лукавство старой, выдавшей всякие виды канцелярской крысы.

— Здравствуйте. Это вы — юрист с Погры? А это — ваш сын? У нас, знаете, две пишущих машинки, только писать не умеет никто. Работы, вообще, масса. А работники! Ну, сами увидите. То есть, такой неграмотный народ, просто дальше некуда. Ну, идем, идем. Только вещи с собой возьмите. Сопрут, обязательно сопрут. Тут такой народ, только отвернись — сперли. А юридическая часть у нас запущена — страх. Вам с над нею крепко придется посидеть.

Следуя за разговорчивым старичком, мы входим в урчевские дебри. Из махорочного тумане У на нас смотрят жуткие кувшинные рыла, какие-то низколобые, истасканные, обалделые и озверелые. Вся эта губерния неистово пишет, штемпелюет, подшивает, регистрирует и ругается.

Старичок начинает рыться по полкам, ящикам и просто наваленным на полу кучам каких-то дел, призывает себе в помощь еще

двух канцелярских крыс и, наконец, из какого-то полуразбитого ящика извлекают наши «личные дела» — две папки с нашими документами, анкетами, приговором и прочее. Старичок передвигает очки с носа на переносицу.

— Солоневич, Иван... так... образование,.. так, приговор, гм, статьи...

На слове «статьи» старичок запинается, спускает очки с переносицы на нос и смотрит на меня взглядом, в котором я читаю:

— Как же это вас, милостивый государь, так угораздило? И что мне с вами делать?

Я тоже только взглядом отвечаю:

— Дело ваше хозяйское.

Я понимаю, положение и у старичка и у УРЧа пиковое. С контрреволюцией брать нельзя, а без контрреволюции откуда же грамотных взять? Старичок повертится-повертится и что-то устроит.

Очки опять лезут на переносицу, и старичок начинает читать Юрино дело, но на этот раз уже не вслух. Прочтя, он складывает папки и говорит:

— Ну, так значит в порядке. Сейчас я вам покажу ваши места и вашу работу. И, наклоняясь ко мне, добавляет шепотом:

— Только о статейках ваших вы не разглагольствуйте. Потом как-нибудь урегулируем.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Итак, я стал старшим юрисконсультom и экономистом УРЧа. В мое ведение попало пудов 30 разбросанных и растрепанных дел и два «младших юрисконсульта», один из коих до моего появления на горизонте именовался старшим. Он был безграмотен и по старой и по новой орфографии, а на мой вопрос об образовании ответил мрачно, но мало вразумительно:

— Выдвиженец.

Он бывший комсомолец. Сидит за участие в коллективном изнасиловании. О том, что в советской России существует такая вещь, как уголовный кодекс, он от меня услышал первый раз в своей жизни. В ящиках этого «выдвиженца» скопилось около 4.000 (четырёх тысяч!) жалоб заключенных.

И за каждой жалобой чья-то живая судьба.

Мое «вступление в исполнение обязанностей» совершилось таким образом. Наседкин ткнул пальцем в эти самые тридцать пудов бумаги, отчасти разложенной на полках, отчасти сваленной в ящики, отчасти валяющейся на полу и сказал:

— Ну, вот. Это, значит, ваши дела. Ну, тут уж вы сами разбирайтесь, что — куда. И исчез.

Я сразу заподозрил, что и сам-то он никакого понятия не имеет «что — куда» и что с подобными вопросами мне лучше всего ни к кому не обращаться. Мои «младшие юрисконсульты» как-то незаметно растаяли и исчезли, так что только спустя дней пять я пытался было вернуть одного из них в лоно «экономическо-юридического отдела», но от этого мероприятия вынужден был отказаться: мой «пом» оказался откровенно полуграмотным и нескрываяемо бестолковым парнем, к тому же его притягивал «блат» — работа в каких-то закоулках УРЧ, где он мог явственно распорядиться судьбой хотя бы кухонного персонала и поэтому получать двойную порцию каши.

Я очутился наедине с тридцатью пудами своих дел и лицом к лицу с тридцатью кувшинными рылами из так называемого советского актива. А советский актив — это вещь посерьезнее ГПУ.

ОПОРА ВЛАСТИ

«ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ К МАССАМ»

Картина нынешней российской действительности определяется не только директивами верхов, но и качеством повседневной практики тех миллионных «кадров» советского актива, которые для этих верхов и директив служат «приводными ремнями к массам». Это крепкие ремни. В административной практике последних лет двенадцати этот актив был подобран путем своеобразного «естественного отбора», спаялся в чрезвычайно однотипную прослойку, в высокой степени вытенировал в себе те, вероятно, врожденные качества, которые определили его катастрофическую роль в советском хозяйстве и в советской жизни.

Советский актив — это и есть тот загадочный для внешнего наблюдателя слой, который поддерживает власть крепче и надежнее, чем ее поддерживает ГПУ, единственный слой русского населения, который безраздельно и до последней капли крови предан существующему строю. Он охватывает низы партии, некоторую часть комсомола и очень

значительное число людей, жаждущих партийного билета и чекистского поста.

Если взять для примера, очень, конечно, не точного, аутентичные времена Угрюм-Бурчеевщины, скажем, времена Аракчеева, то и в те времена страной, т.е. в основном крестьянством, правило не третье отделение и не жандармы и даже не пресловутые 10.000 столоначальников. Функции непосредственного обуздания мужика и непосредственного выколачивания из него прибавочной стоимости выполняли всякие «незаметные герои», вроде бурмистров, приказчиков и прочих, действовавших кнутом на исторической «конюшне» и кулачищем во всяких иных местах. Административная деятельность Угрюм-Бурчеева прибавила к этим кадрам еще по шпиону в каждом доме.

Конечно, бурмистру крепостных времен до активиста эпохи «загнивания капитализма» и пролетарской революции, как от земли до неба. У бурмистра был кнут, у активиста пулеметы, а в случае необходимости и бомбовозы. Бурмистр выжимал из мужицкого труда сравнительно ерунду, активист отбирает последнее. «Финансовый план» бурмистра обнимал в среднем нехитрые затраты на помещичий пропой души, финансовый план активиста устремлен на построение мирового социалистического города Непреклонска и в этих целях на вывоз за границу всего, что только можно вывезти. А так как по тому же Щедрину город Глупов, будущий Непреклонск, «изобилует всем и ничего, кроме розог и административных мероприятий, не потребляет», отчего торговый баланс всегда склоняется в его пользу, то и взимание на экспорт идет в размерах, для голодной страны поистине опустошительных.

Советский актив был вызван к жизни в трех целях: «соглядатайство, ущемление и ограбление». С точки зрения Угрюм-Бурчеева, заседающего в Кремле, советский обыватель неблагонадежен всегда; начиная со вчерашнего председателя мирового коммунистического интернационала и кончал последним мужиком, колхозным или не колхозный, безразлично. Следовательно, соглядатайство должно проникнуть в мельчайшие поры народного организма. Оно и проникает. Соглядатайство без последующего ущемления бессмысленно и беспечно, поэтому вслед за системой шпионажа строится система «беспощадного подавления». Ежедневную мало заметную извне рутину грабежа, шпионажа и репрессии выполняют кадры актива. ГПУ только возглавляет эту систему, но в народную толщу оно не допускается: не хватило бы никаких «штатов». Там действует

исключительно актив, и он действует практически бесконтрольно и беспепелляционно.

Для того, чтобы заниматься этими делами из года в год; нужна соответствующая структура психики; нужны по терминологии опять же Щедрина, «твердой души прохвосты».

РОЖДЕНИЕ АКТИВА

Родоначалницей этих твердых душ, конечно, не хронологически, а так сказать, только психологически, является та же пресловутая и уже ставшая нарицательной пионерка, которая побежала в ГПУ доносить на свою мать. Практически не важно, из каких соображений она это сделала, то ли из идейных, то ли мать просто в очень уж недобрый час ей косу надрала. Если после этого доноса семья оной многообещающей девочки даже и уцелела, то ясно, что все же в дом этой пионерке ходу больше не было. Не было ей ходу и ни в какую иную семью. Даже коммунистическая семья, в принципе поддерживая всякое соглядатайство, все же предпочтет у себя дома чекистского шпиона не иметь. Первый шаг советской активности ознаменовывается предательством и изоляцией от среды. Точно такой же процесс происходит и с активом вообще.

Нужно иметь в виду, что в среде «советской трудящейся массы» жить действительно очень неуютно. Де-юре эта масса правит «первой в мире республикой трудящихся», де-факто она является лишь объектом самых невероятных административных мероприятий, от которых она в течение 17 лет не может ни очухаться, ни поесть досыта. Поэтому тенденция вырваться из массы, попасть в какие-нибудь, хотя бы относительные верхи, выражена в СССР с исключительной резкостью. Этой тенденцией отчасти объясняется и так называемая «тяга по учебе».

Вырваться из массы можно, говоря схематически, тремя путями: можно пойти по пути «повышения квалификации», стать на заводе мастером, в колхозе, скажем, трактористом. Это не очень многообещающий путь, но все же и мастер и тракторист питаются чуть-чуть сытнее массы и чувствуют себя чуть-чуть в большей безопасности. Второй путь — путь в учебу, в интеллигенцию — обставлен всяческими рогатками и в числе прочих перспектив требует четырех-пяти лет жуткой голодовки в студенческих общежитиях с очень небольшими шансами вырваться оттуда без туберкулеза. И, наконец, третий путь — это путь общественно-административной активности. Туда тянется часть молодняка, жаждущая власти и сытости немедленно, на бочку.

Карьерная схема здесь очень не сложна. Советская власть преизбыточествует бесконечным числом всяких общественных организаций, из которых все без исключения должны «содействовать». Как и чем может общественно содействовать наш кандидат в активисты?

В сельсовете или профсоюзе, на колхозном или заводском собрании он по всякому поводу, а также и без всякого повода начнет высказывать этаким Петрушкой и распинаться в преданности и непреклонности. Ораторских талантов для этого не нужно. Собственных мыслей — тек более, ибо мысль, да еще и собственная, всегда носит отпечаток чего-то недозволенного и даже неблагонадежного. Такой же оттенок носит даже и казенная мысль, но выраженная своими словами. Поэтому-то советская практика выработала ряд строго стандартизированных фраз, которые давно уже потеряли решительно всякий смысл: беспощадно борясь с классовым врагом (а кто есть ныне классовый враг?), целиком и полностью поддерживая генеральную линию нашей родной пролетарской партии (а что есть генеральная линия?), стоя на страже решающего и завершающего года пятилетки (а почем решающий и почему завершающий?), ну и так далее. Порядок фраз не обязателен; главное предложение может отсутствовать вовсе. Смысл отсутствует почти всегда. Но все это вместе взятое создает такое впечатление:

— Смотри-ка! А Петька-то наш в активисты лезет.

Но это только подготовительный класс активности. Для дальнейшего продвижения активность должна быть конкретизирована, и вот на этой-то ступени получается первый отсев званых и избранных. Мало сказать, что мы де, стоя пнями на страже и т.д., а нужно сказать, что и кто мешает нам этими пнями стоять. Сказать что мешает — дело довольно сложное. Что мешает безотлагательному и незамедлительному торжеству социализма? Что мешает «непрерывному и бурному росту благосостояния широких трудящихся масс» и снабжению этих масс картошкой, не гнилой и в достаточных количествах? Что мешает выполнению и перевыполнению «промфинплана» нашего завода? Во-первых, кто его разберет, а во-вторых, при всяких попытках разобраться всегда есть риск впасть не то в уклон, не то в загиб, не то даже в антисоветскую агитацию. Менее обременительно для мозгов, более рентабельно для карьеры и совсем безопасно для собственного благополучия вылезти на трибуну и ляпнуть:

— А по моему пролетарскому, рабочему мнению план нашего цеха срывает инженер Иванов. Потому, как он, товарищи, не нашего пролетарского класса: евоный батька поп, а сам он — кусок буржуазного интеллигента.

Для инженера Иванова это не будет иметь решительно никаких последствий: его ГПУ знает и без рекомендации нашего активиста. Но некоторый политический капиталец наш активист уже приобрел: болеет, дескать, нуждами нашего пролетарского цеха и перед доносом не остановился.

В деревне активист ляпнет о том, что «подкулачник» Иванов ведет антиколхозную агитацию. При таком обороте подкулачник Иванов имеет очень много шансов поехать в концлагерь. На заводе активист инженера, пожалуй, укубить всерьез не сможет, потому и донос его ни в ту, ни в другую сторону особых последствий иметь не будет, но своего соседа по цеху он может цапнуть весьма чувствительно. Активист скажет, что Петров сознательно и злонамеренно выпускает бракованную продукцию, что Сидоров — лжеударник и потому не имеет права на ударный обед в заводской столовке, а Иванов седьмой сознательно не ходит на пролетарские демонстрации.

Такой мелкой сошкой, как заводской рабочий, ГПУ не интересуется, поэтому, что бы тут ни ляпнул активист, это, как говорят в СССР, будет взято на карандаш. Петрова переведут на низший оклад, а не то и уволят с завода. У Сидорова отымут обеденную карточку. Иванов седьмой рискует весьма неприятными разговорами, ибо, как это своевременно было предусмотрено Угрюм-Бурчевым, «праздники отличаются от будней усиленным упражнением в маршировке», и участие в оных маршировках для обывателя обязательно.

Вот такой «конкретный донос» является настоящим доказательством политической благонадежности и открывает активисту дальнейшие пути. На этом этапе спотыкаются почти все, у кого для доноса душа не достаточно тверда.

Дальше активист получает конкретные, хотя пока еще и бесплатные задания, выполняет разведывательные поручения комячейки, участвует в какой-нибудь легкой кавалерии, которая с мандатами и полномочиями таким табунком налетает на какое-нибудь заведение и там, где раньше был просто честный советский кабак, устраивает форменное светопреставление; изображает «рабочую массу» на какой-нибудь чистке (рабочая масса на чистки не ходит) и там вгрызается в заранее указанные комячейкой икры, выуживает прогульщиков, лодырей, вредителей-рабочих, выколачивает мопровские или осоавиахимовские недоимки. В деревне помимо всего этого активист будет ходить по избам, вынюхивать запиханные в какой-нибудь рваный валенок пятьдесят фунтов не сданного государству мужицкого хлеба, выслеживать всякие антигосударственные тенденции и вообще доносить во всех возможных направлениях. Пройдя этакий искуc и доказав, что душа

у него действительно твердая, означенный прохвост получает, наконец, портфель и пост.

НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОПРИЩЕ

Пост этот обыкновенно из паршивенький. Но чем больше будет проявлено твердости души и непреклонности характера перед всяким человеческим горем, перед всяким человеческим страданием, перед всякой человеческой жизнью, тем шире и тучнее пути дальнейшего поприща. И вдали, где-нибудь на горизонте, маячит путеводной звездой партийный билет и теплое место в ГПУ.

Однако и в партию и в особенности в ГПУ принимают не так, чтоб уж очень с распростертыми объятиями, туда попадают только избранные из избранных. Большинство актива задерживается на средних ступеньках — председатели колхозов и сельсоветов, члены заводских комитетов профсоюзов, милиция, хлебозаготовительные организации, кооперация, низовой аппарат ГПУ, всякие соглядатайские ампула в домкомах и жилкомах и прочее. В порядке пресловутой текучести кадров наш активист, точно футбольный мяч, перебрасывается из конца в конец страны, по всяким ударным и сверхударным кампаниям, хлебозаготовкам, мясозаготовкам, хлопкозаготовкам, бригадам, комиссиям, ревизиям.

Сегодня он грабит какой-нибудь украинский колхоз, завтра вылавливает кулаков на Урале, через три дня руководит налетом какой-нибудь легкой гиппопотамии на стекольный завод, ревизует рыбные промыслы на Каспии, расследует «антигосударственные тенденции» в каком-нибудь совхозе или школе и всегда, везде, во всяких обстоятельствах своей бурной жизни вынюхивает скрытого классового врага.

Приказы, директивы, установки, задания, инструкции мелькают, как ассоциации в голове сумасшедшего. Они сыплются на активиста со всех сторон; по всем линиям — партийной, административной, советской, профсоюзной, хозяйственной. Они создают атмосферу обалдения, окончательно преграждающего доступ каких бы то ни было мыслей и чувств в и без того нехитрую голову твердой души прохвоста.

Понятно, что люди мало-мальски толковые по активистской стезе не пойдут: предприятие, как об этом будет сказано ниже, не очень уж выгодное и достаточно рискованное. Понятно также, что в атмосфере грабежа, текучести и обалдения, никакой умственности актив приобрести не в состоянии. Для того, чтобы раскулачить мужика даже и до самой последней нитки, никакой умственности по существу и не требуется.

Требуются стальные челюсти и волчья хватка, каковые свойства и вытениваются до предела. Учиться этот актив времени не имеет. Кое-где существуют так называемые совпартшколы, но там преподают ту науку, которая в терминологии щедринских знатных иностранцев обозначена, как *grom robieda razdovaissa* — разумеется в марксистской интерпретации этого грома. Предполагается, что «классовый инстинкт» заменяет активисту всякую работу сообразительного аппарата.

Отобранный по признаку моральной и интеллектуальной тупости, прошедший многолетнюю школу грабежа, угнетения и убийства, спянный беспредельной преданностью власти и беспредельной ненавистью населения, актив образует собою чрезвычайно мощную прослойку нынешней России. Его качествами, врожденными и благоприобретенными, определяются безграничные возможности разрушительных мероприятий власти и ее роковое бессилие в мероприятиях созидательных. Там, где нужно раскулачить, ограбить и зарезать, актив действует с опустошительной стремительностью. Там, где нужно что-то построить, актив в кратчайший срок создает совершенно безвылазную неразбериху.

На всякое мановение со стороны власти актив отвечает взрывами энтузиазма и вихрями административного восторга. Каждый очередной лозунг создает своеобразную советскую моду, в которой каждый активист выворачивается наизнанку, чтобы переплюнуть своего соседа и проползти вверх. Непрерывка и сверххранний сев, бытовые коммуны и соцсоревнование, борьба с религией и кролиководство — все сразу охватывается пламенем энтузиазма, в этом пламени гибнут зародыши здравого смысла, буде такие и прозябали в голове законодателя.

Когда в подмогу к остальным двуногим и четвероногим, впряженным в колесницу социализма, был запряжен таким коренником еще и кролик, это было глупо, так сказать, в принципе. Кролик — зверь в нашем климате капризный, кормить его все равно было нечем, проще было вернуться к знакомым населению и притерпевшимся ко всем невзгодам русской жизни свинье и курице. Но все-таки кое-чего можно было добиться и от кролика, если бы не энтузиазм.

Десятки тысяч активистов вцепились в куцый кроличий хвост, надеясь, что этот хвост вытянет их куда-то повыше. За границей были закуплены миллионы кроликов за деньги, полученные за счет вымирания от бескормицы свиней и кур. В Москве, где не то, что кроликов и людей кормить было нечем, «кролиководство» навязывали больницам и машинисткам, трестам и домашним хозяйкам, бухгалтерам и даже *horribile dictu* церковным приходам. Отказываться, конечно, было нельзя: неверие, подрыв, саботаж советских мероприятий. Кроликов

пораспихали по московским квартирным дырам, и кролики передохли все. То же было и в провинции. Уже на закате дней кроличьего энтузиазма я как-то «обследовал» крупный подмосковной кролиководческий совхоз, совхоз показательный и весьма привилегированный по части кормов. С совхозом было неблагополучно, несмотря на все его привилегии: кролики пребывали в аскетизме и размножаться не хотели. Потом выяснилось: на семь тысяч импортных бельгийских кроликов самок было только около двадцати. Как был организован этот кроличий монастырь, толи в порядке вредительства, толи в порядке головоуятия, толи за границей закупали кроликов вот такие энтузиасты — все это осталось покрытым мраком социалистической неизвестности.

Теперь о кроликах уже не говорят. От всей этой эпопеи остался десяток анекдотов, да и те непечатны.

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Пути административного энтузиазма усеяны, увы, не одними революционными розами. Во-первых, обыватель, преимущественно крестьянин всегда и при первом же удобном случае готов проломить активисту череп. И во-вторых, за каждым активистом сидит активист чином повыше, и от этого последнего проистекает ряд весьма крупных неприятностей.

Позвольте для ясности привести и расшифровать один конкретный пример.

В «Последних Новостях» от 5 февраля 1934 г, была помещена такая заметка о советской России, кажется, из «Правды». Граммофонная фабрика выпускала пластинки с песенкой «В Туле жил да был король». Администрация фабрики по зрелом, вероятно, обсуждении пришла к тому выводу, что король в пролетарской стране фигура неподходящая. Король был заменен «стариком». За этакий «перегиб» нарком просвещения Бубнов оную администрацию выгнал с завода вон.

Эмигрантский читатель может доставить себе удовольствие и весело посмеяться над незадачливой администрацией: заставьте дурака Богу молиться и т.д. Могу уверить этого читателя, что будучи в шкуре означенной администрации, он бы смеяться не стал; за «старика» выгнал Бубнов, а за «короля» пришлось бы, пожалуй, разговаривать с Ягодой. Ведь сажали же певцов за «В плену император, в плену...» Ибо требовалось петь: «В плену полководец, в плену...»

Во всяком случае, лучше рискнуть изгнанием с двадцати служб, чем одним приглашением в ГПУ. Не такой уж дурак этот администратор, как издали может казаться.

Так вот, в этой краткой, но поучительной истории фигурируют директор завода, который, вероятно, не совсем уж обормот, граммофонная пластинка, которая для «генеральной линии» не так уж актуальна и Бубнов, который не совсем уж держиморда. И кроме того, действие сие происходит в Москве.

А если не Москва, а Краснококшайск и если не граммофонная пластинка, а скажем «антипартийный уклон» и если не Бубнов, а просто держиморда. Так тогда как?

Недостарайся — влетит и перестарайся — влетит. Тут нужно потратить в самый раз. А как именно выглядит этот «самый раз», неизвестно приблизительно никому.

Неизвестно потому, что и сам актив безграмотен и бестолков и потому, что получаемые им «директивы» так же безграмотны и бестолковы. Те декреты и прочее, которые исходят из Москвы по официальной линии, практически никакого значения не имеют, как не имеет, скажем, решительно никакого значения проектируемые тайные выборы. Ибо кто осмелится выставить свою кандидатуру, которая будет ведь не тайной, а открытой. Имеют здесь значение только те и отнюдь не публикуемые директивы, которые идут по партийной линии. Скажем, по поводу означенного тайного голосования актив несомненно получит директиву о том, как тайно ликвидировать явных и неугодных кандидатов или явные и антипартийные предложения. В партийности и антипартийности этих предложений судьей окажется тот же актив. И тут ему придется сильно ломать голову: почему ни с того, ни с сего «король» оказался партийно приемлемым и почему за «старика» вздули?

Партийная директива исходит от московского держиморды и «спускаясь в низовку, подвергается обработке со стороны держиморд областных, районных и прочих «прорабатывающих оную директиву» применительно к местным условиям. Так что одна и та же директива, родившись в Москве из одного источника, по дороге на село или на завод разрастется целой этакой многоголовой гидрой. По советской линии (через исполком), по заводской линии (через трест), по партийной линии (через партийный комитет), по партийно-соглядатайской (через отдел ГПУ) и т.д. и т.д. Все эти гидры одновременно и с разных сторон вцепятся нашему активисту во все подходящие и неподходящие места, каковой факт способствовать прояснению чьих бы то ни было мозгов никак не может.

Конечно, промежуточные держиморды об этих директивах друг с другом не сговариваются. Когда очередная директива кончается очередным крахом, возникает ожесточенный междуведомственный мордобой. Держиморды большие сваливают все грехи на держиморд мелких, и едет наш актив и за Урал и на низовую работу и просто в концлагерь.

В самом чистом виде эта история произошла со знаменитым головокружением — история, которую я случайно знаю весьма близко. По прямой директиве Сталина Юг России был разорен вдребезги: требовалось сломить кулачество в тех районах, где оно составляло подавляющее большинство населения. Андреев, нынешний секретарь ЦК партии, получил на эту тему специальную и личную директиву от Сталина. Директива, примененная к местным условиям, была передана секретарям районных комитетов партии в письменном виде, но с приказанием по прочтении и усвоении сжечь. Этот последний вариант я самолично видал у одного из уже бывших секретарей, который догадался ее не сжечь.

На донского и кубанского мужика актив ринулся со всем своим погромным энтузиазмом. О том, что делалось на Дону и на Кубани, лучше и не говорить. Но когда начались волнения и восстания в армии, когда волей-неволей пришлось дать отбой, Сталин выкинул свое знаменитое «головокружение от успехов»: от актива ему нужно было отгородиться во имя собственной шкуры.

Маккиавели не подгадил. Мужики из актива вытягивали кишки по верхку. ГПУ расстреливало и рассылало особенно одиозные фигуры, и сам я слышал в вагоне старушонку, которая говорила:

— Вот Сталину уж действительно дай Бог здоровья. Прямо из петли вытащил.

Только здесь, за границей, я понял, что старушонка эта, несмотря на весь свой преклонный возраст, принадлежала к партии младоросов.

...Тот дядя, который догадался оную директиву не сжечь, был очень стреляным советским держимордой. Он не только не сжег ее, он ее передал в третьи руки. И взятый за жабры по обвинению в головокружении, сказал, что ежели с ним что-нибудь особенно сделают, так эта директивка за подписью самого Андреева пойдет гулять по партийным и по военным верхам. Дядя сторговался с ГПУ на том, что его выслали в Среднюю Азию. Директивна у него осталась и была запрятана в особо секретном месте. Но столь догадливые активисты попадают очень редко.

Так вот и живет этот актив между обухом рабоче-крестьянской ярости и плетью «рабоче-крестьянской» власти.

Власть с активом не церемонится. Впрочем, с кем в сущности церемонится сталинская власть? Разве только с Лениным да и то потому, что все равно уже помер. С активом она не церемонится в особенности исходя из того весьма реалистического соображения, что этому активу все равно деваться некуда; лишь только он уйдет из-под крылышка власти, лишь только он будет лишен традиционного нагана, его зарежут в самом непродолжительном времени.

ЧЕРТОВЫ ЧЕРЕПКИ

Оторванный от всякой социальной базы, предавший свою мать ГПУ и свою душу черту, актив делает карьеру. Но черт, как это известно было уже Гоголю, имеет чисто большевицкую привычку платить черепками. Этими черепками оплачивается и актив.

Люди, которые представляют себе этот актив в качестве «оливок нации» и победителей в жизненной борьбе, совершают грубую ошибку. Никакие они не сливки и никакие не победители. Это измотанные, истрепанные, обалделые люди и не только палачи, но и жертвы. Та небольшая сравнительно прослойка актива, которая пошла на все эти доносы и раскулачивания во имя какой-то веры, пусть очень туманной, но все же веры, веры хотя бы только в вождей, состоит кроме всего прочего из людей глубоко и безнадежно несчастных, слишком широкие потоки крови отрезают дорогу назад, а впереди... Впереди ничего, кроме чертовых черепков не видно.

Советская власть платить вообще не любит. Индивидуально ценный и во многих случаях практически трудно заменимый спец как-то пропитывается и не голодает, не воруя. Актив может не голодать только за счет воровства.

Он и подворовывает, конечно, в нищенских советских масштабах, так на фунт мяса и на бутылку водки, по такой примерно схеме:

Ванька сидит председателем колхоза, Степка в милиции Петька, скажем, в Госспирте. Ванька раскулачит мужицкую свинью и передаст ее милиции. Выходит как будто и легально: не себе же ее взял. Милицейский Степка эту свинью зарежет, часть отдаст на какие-нибудь мясозаготовки, чтобы потом, в случае какого-нибудь подсиживания, легче было отписаться, часть в воздаяние услуги даст тому же Ваньке, часть в чайники дальнейших услуг препроводит Петьке. Петька снабдит всю компанию водкой. Водка же будет извлечена из акта, в котором

будет сказано, что на подводе Марксо-Ленинско-Сталинского колхоза означенная водка была перевозима со склада в магазин, причем в силу низкого качества оси, изготовленной Россельмашем, подвода опрокинулась, и водка — поминай, как звали. Акт будет подписан председателем колхоза, старшим милицейским и заведующим Марксо-Ленинско-Сталинским от делением Госспирта. Подойди потом, разберись.

Да и разбираться-то никто не будет. Местное население будет молчать, воды в рот набравши. Ибо, ежели кто-нибудь донесет на Петьку в ГПУ, то в этом ГПУ у Петьки может быть свой товарищ или, как в этом случае говорят, «корешок». Петьку-то, может и вышлют в концлагерь, но зато и оставшиеся «корешки», и те, кто прибудет на Петькино место, постараются с возможным автором разоблачения расправиться так, чтобы уж окончательно никому повадно не было портить очередную активистскую выпивку.

Этакое воровство в той части, какая идет на активистский пропой души, большого народнохозяйственного значения не тлеет даже и в масштабах советской нищеты. Бывает значительно хуже, когда для сокрытия воровства или для получения возможности сорвать уничтожаются ценности, далеко превосходящие потребительские аппетиты актива. В моей кооперативной деятельности — была и такая — мне раз пришлось обследовать склад в 8.000 пудов копченого мяса, которое сгноили в целях сокрытия концов в воду. Концы действительно были скрыты: к складу за полверсты подойти было нельзя. И на все были акты, подписанные соответствующими Ваньками, Петьками и Степками.

Ревизионная комиссия вынесла соломоновское решение, согнать мужиков и выкопав ямы, зарыть в эти ямы оное гнилье.

Для полноты картины следует добавить, что сгнившие колбасы были изготовлены из раскулаченных у тех же мужиков свиней. В течение месяца после этого благовонного происшествия половина местного актива была вырезана мужиками «на корню». Остальные разбежались.

АКТИВ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Так что, куда ни кинь, все выходят чертовы черепки. Особенно обидный вариант этих черепков получается в отношении актива и интеллигенции.

Нынешний российский политический строй — это абсолютизм, который хочет быть просвещенным. Хозяйственный строй — это крепостничество, которое хочет быть культурным. Поэтому советский барин любит щеголять культурой и белыми перчатками. Обращаясь к

аналогии крепостных времен, следует вспомнить, что тот самый Мирабо, который

пьяного Гаврилу
за измятое жабо
хлещет в ус и в рыло,

относился весьма сочувственно к Вольтеру и украшал жизнь свою крепостным балетом. Он, конечно, был покровителем и наук и искусств. Он, скажем, после хорошей псовой охоты по мужичьим полям или после соответствующих операций на конюшне, был очень не прочь отдохнуть душой и телом за созерцанием каких-нибудь этаких черных тюльпанов. По этой самой причине он милостиво пригласит в свой барский кабинет ученого, хотя и тоже крепостного, садовода и будет вести с ним проникновенные разговоры о цветоводстве или о том, как бы этак распланировать барский парк, чтобы соседнее буржуазное поместье сдохло от зависти.

Как видите, тема эта довольно тонкая. Бурмистр же столь тонких разговоров вести не может. Он выполняет функцию грубую — бьет плещ по морде. Садовода пороть невыгодно, на обучение его какие-то деньги ухлопали. А на место бурмистра можно поставить приблизительно любого обормота с достаточно административными дланями и челюстями.

Вот приблизительная схема взаимоотношений треугольника — партия — актив — интеллигенция, — как эта схема складывается в последние годы. Ибо именно в последние годы стало ясно, что с интеллигенцией власть одновременно и перепланировала и недопланировала.

Истребление «буржуазной интеллигенции» было поставлено в таких масштабах, что когда «план» при содействии доблестных активистских челюстей был выполнен, то оказалось, что почти никого и не осталось. А новая советская, пролетарская и т.д. интеллигенция оказалась еще более контрреволюционной, чем была старая интеллигенция и менее грамотной технически и орфографически, чем была старая даже полуинтеллигенция. Образовалась дыра или по советской терминологии — прорыв; острая «нехватка кадров» врачебных, технических, педагогических и прочих. Интеллигент оказался «в цене». А недорезанный старый в еще большей. Это не поворот политики и не эволюция власти, а просто закон спроса и предложения или по Марксу «голый чистоган». При изменившемся соотношении спроса активистским челюстям снова найдется работа.

Теперь представьте себе психологию актива. Он считает, что он соль земли и надежда мировой революции. Он проливал кровь. Ему не

единожды и не дважды проламывали череп и выпускали кишки. Он безусловно верный пес советского абдул-гамидизы. Ни в каких уклонах, сознательных по крайней мере, он не повинен и повинен быть не может. Для уклона нужны все-таки хоть какие-нибудь мозги, хоть какая-нибудь совесть. Ни теме, ни другим актив не переобременен. Можете вы представить себе уездного держиморду, замешанного в «бессмысленных мечтаниях» и болеющего болями и скорбями страны?

По всему этому актив считает, что кто—кто, а уж он-то во всяком случае имеет право на начальственные благодеяния и на тот жизненный пирог, который, увы, проплывает мимо его стальных челюстей и разинутой пасти и попадает в руки интеллигенции, руки заведомо иронические и неблагонадежные.

А пирог попадает все-таки к интеллигенции. Цепных псов никогда особенно не кормят, говорят, что они от этого бывают злее. Не кормят особенно и актив, прежде всего потому, что кормить досыта вообще нечем, а то, что есть, перепадает преимущественно «людям в цене», т.е. партийной верхушке и интеллигенции.

Все это очень обидно и очень как-то двусмысленно. Скажем, актив обязан соглядатайствовать и в первую голову соглядатайствовать за интеллигенцией и в особенности за советской и пролетарской, ибо ее больше, и она более активна. Как бы осторожно человека не учили, он от этого приобретает скверную привычку думать. А ничего в мире советская власть так не боится, как оружия в руке и мыслей в голове у трудящихся масс. Оружие можно отобрать. Но каким, хотя бы самым пронзительным обыском можно обнаружить, например, склад опасных мыслей?

Слежка за мыслями — вещь тонкая и активу ясно не под силу. Но следить он обязан. Откопают помимо какого-нибудь приставленного к этому делу Петьки какой-нибудь Троцкистско-бу-харинский право-левацкий уклono-загиб и сейчас же Петьку за жабы: а ты что не вцепился? К поедет Петька или на Аму-Дарью или в ББК.

А с другой стороны, как его сигнализируешь? Интеллигент — он «все превзошел, депеши выдумывать может», а уж Петьку ему этаким уклono-загибом обойти — дело совсем плевое. Возьмет в руки книжку и ткнет туда Петьку носом.

— Видишь? Кем написано? Бухариным, Каменевым, Радеком написано. Смотри, партиздат есть? Есть. «Под редакцией коммунистической академии» написано? Написано. Ну так и пошел ты ко всем чертям. Активисту ничего не остается, как пойти ко всем чертям.

Но и в этом местопребывании активисту будет неудобно. Ибо откуда его бедная чугунная голова может знать, была ли инкриминируемая Бухаринско-прочая фраза или цитата написана до разоблачения или после покаяния. Или она успела проскочить перед обалделым взором коммунистической академии в промежуток между разоблачением и покаянием? И не придется ли означенному Бухарину за означенную фразу снова разоблачаться, пороться и каяться, и не влетит ли при этом оному активисту задним числом и по тому же месту?

Не досмотришь и —

Притупление классовой бдительности;
Хожение на поводу у классового врага;
Гнилой оппортунизм;
Смычка с враждебными партии элементами.

Перестараться и опять палка — «головокружение», «перегиб», «спецеество», «развал работы» и даже травля интеллигенции. И как тут отличить линию от загиба, недооценку от переоценки, пролетарскую общественность от голого администрирования и халтуру от кабака? На всей этой терминологии кружатся и гибнут головы, наполненные и не одним только «энтузиазмом».

СТАВКА НА СВОЛОЧЬ

Советскую власть, в зависимости от темперамента или от политических убеждений, оценивают, как известно, с самых различных точек зрения. Но, по-видимому, за скобки всех этих точек зрения можно вынести один общий множитель, как будто бесспорный — советская система, как система власти во что бы то ни стало, показала миру недостижимый образец «техники власти».

Как бы мы ни оценивали советскую систему, бесспорным кажется еще одно — ни одна власть в истории человечества не ставила себе таких грандиозных целей, ни одна в истории власть по дороге к своим целям не нагромодила такого количества трупов. И при этом осталась непоколебимой.

Этот треугольник целей—трупов—непоколебленности создает целый ряд оптических иллюзий. За голой техникой властвования людям мерещатся и «энтузиазм» и «мистика», и «героизм» и славянская душа... и черт знает, что еще.

В 1918 году в германском Киеве мне как-то пришлось этак «по душам» разговаривать с Мануильским, нынешним генеральным секретарем коминтерна, а также представителем красной Москвы в

весьма неопределенного цвета Киеве. Я доказывал Мануильскому, что большевизм обречен, ибо сочувствие масс не на его стороне.

Я помню, как сейчас, с каким искренним пренебрежением посмотрел на меня Мануильский. Точно хотел сказать, вот поди ж ты, даже мировая война и та не всех еще дураков вывела.

— Послушайте, дорогой мой, — усмехнулся он весьма презрительно, да на какого же нам черта сочувствие масс? Нам нужен аппарат власти. И он у нас будет. А сочувствие масс? В конечном счете наплевать нам на сочувствие масс.

Очень много лет спустя, пройдя всю суровую, снимающую всякую иллюзию школу советской власти, я, так сказать, своей шкурой прощупал этот уже реализованный аппарат власти в городах и в деревнях, на заводах и в аулах, в ВЦСПС и в лагере, и в тюрьмах. Только после всего этого мне стал ясен ответ на мой давнишний вопрос, из кого же можно сколотить аппарат власти при условии отсутствия сочувствия масс?

Ответ заключается в том, что аппарат можно сколотить из сволочи и сколоченный из сволочи, он оказался непреодолимым, ибо для сволочи нет ни сомнения, ни мысли, ни сожаления, ни сострадания: твердой души прохвосты.

Конечно, эти твердой души активисты отнюдь не специфически русское явление. В Африке они занимаются стрельбой по живым чернокожим целям, в Америке линчуют негров, покупают акции компании Ноева ковчега. Это мировой тип. Это тип человека с мозгами барана, челюстями волка и моральным чувством протоплазмы. Это тип человека, ищущего решения плюгавых своих проблем в распоротом животе ближнего своего. Ко так как никаких решений в этих животах не обнаруживается, то проблемы остаются нерешенными, а животы вспарываются дальше. Это тип человека, участвующего шестнадцатым в очереди в коллективном изнасиловании.

Реалистичность большевизма выразилась, в частности, в том, что ставка на сволочь была поставлена прямо и бестрепетно.

Я никак не хочу утверждать, что Мануильский был сволочью, как не сволочью был и Торкведама. Но когда христианство тянуло людей в небесный рай кострами и пытками, а большевизм — в земной чекой и пулеметами, то в практической деятельности, ничего не поделаешь, приходилось базироваться на сволочи. Технику организации и использования этой последней большевизм от средневековой и капиталистической кустарщины поднял до уровня самолетов и радио. Он этот «актив» собрал со всей земли, отделил от всего остального

населения химической пробой на донос и кровь, отгородил стеной из ненависти, вооружил пулеметами и танками... Сочувствие масс. Плевать нам на сочувствие масс.

ЛАГЕРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ АКТИВА

Когда я несколько осмотрелся кругом и ознакомился с людским содержанием УГЧ, мне стало как-то очень не по себе. Правда, на воле активу никогда не удавалось вцепиться мне в икры всерьез. Но как будет здесь, в лагере? Здесь в лагере самый неудачный, самый озлобленный, обиженный и Богом и Сталиным актив — все те, кто глядел и не доглядел, служил и переслужился, воровал и проворовался. У него вместо почти облюбованного партбилета — годы каторги, вместо автомобиля — березовое полено и вместо власти — нищенский лагерный блат из-за лишней ложки ячменной каши. А пирог? Пирог так мимо и ушел.

За что же боролись, братишечки?

...Я сижу на полене, кругом на полу валяются кипы «личных дел», и я пытаюсь как-нибудь разобраться или, по Наседкинской терминологии, определить «что—куда». Высокий жилистый человек с костистым изжеванным лицом в буденовке, но без звезды и в военной шинели, но без петлиц — значит, заключенный, но из привилегированных — проходит мимо меня и осматривает меня, мое полено и мои дела. Осматривает внимательно и как-то презрительно-озлобленно. Проходит в следующую закуту, и оттуда я слышу его голос:

— Что эти сукины дети с Погры опять нам какого-то профессора пригнали?

— Не, юрес-кон-сул какой-то, — отвечает подобострастный голос.

— Ну, все равно. Мы ему здесь покажем университет. Мы ему очки в зад вгоним. Твердун, вызови мне Фрейденаберга.

— Слушаю, товарищ Стародубцев.

Фрейденаберг — это один из украинских профессоров, профессор математики. В этом качестве он почему-то попал на должность «статистика» — должность, ничего общего со статистикой не имеющая. Статистик — это низовой погонщик УРЧ, долженствующий «в масштабе колонны», т.е. двух-трех баракон, учитывать использование рабочей силы и гнать на работу всех, кто еще не помер. Неподходящая для профессора Фрейденберга должность.

— Товарищ Стародубцев, Фрейденаберг у телефона.

— Фрейденаберг? Говорит Стародубцев... Сколько раз я вам, сукиному сыну, говорил, чтобы вы мне сюда этих очкастых идиотов не присылали... Что? Чей приказ? Плевать мне на приказ! Я вам приказываю. Как начальник строевого отдела... А то я вас со всем очкастым г. на девятнадцатый квартал вышибу. Тут вам не университет. Тут вы у меня не поразговариваете. Что? Молчать, черт вас раздери! Я вот вас самих в шизо посажу. Опять у вас вчера семь человек на работу не вышло. Плевать я хочу на ихние болезни... Вам приказано всех гнать... Что? Вы раньше матом крыть научитесь, а потом будете разговаривать. Что ВОХРа у вас нет?... Если у вас завтра хоть один человек не выйдет...

Я слушаю эту тираду, пересыпанную весьма лапидарными, но отнюдь не печатными выражениями, личные дела в голову мне не лезут. Кто такой Стародубцев, какие у него права и функции? Что означает этот столь многообещающий прием? И в какой степени моя теории советских взаимоотношений на воле может быть приложена здесь? Здесь у меня знакомых ни души. Профессора? С одним вот как разговаривают. Двое служат в УРЧ уборщиками — совершенно ясно, из чистого издевательства над «очкастыми». Один профессор рефлексологии штемпелует личные карточки, 10-15 часов однообразного движения рукой.

Профессор рефлексологии... Психология в советской России аннулирована. Раз нет души, то какая же психология? А профессор был такой. Как-то несколько позже, не помню, по какому именно поводу, я сказал что-то о фрейдизме.

— Фрейдизм? — переспросил меня профессор. — Это что? Новый уклон?

Профессор был советского скорострельного призыва. А уж новую советскую интеллигенцию «актив» ненавидит всеми фибрами своих твердых душ. Старая еще туда-сюда. Училась при царском строе — кто теперь разберет. А вот новая, которая обошла и обставила активистов на самых глазах, под самым носом... Тут есть, от чего скрипеть зубами.

Нет, в качестве поддержки профессора никуда не годятся. Пытаюсь рассмотреть свою ситуацию теоретически. К чему теоретически сводится эта ситуация? Надо полагать, что я попал сюда потому, что был нужен более высокому начальству, вероятно, из чекистов. Если это так, на Стародубцева не сейчас, так позже можно будет плюнуть. Стародубцева можно будет обойти так, что ему останется только зубами лязгать. А если не так? Чем я рискую? В конце концов, едва ли большим, чем просто лесные работы. Во всяком случае, при любом положении попытки актива вцепиться в икры нужно пресекать в самом корне. Так

говорит моя советская теория. Ибо, если не осадить сразу, заедят. Эта публика значительно хуже урок хотя бы потому, что урки гораздо толковее. Они если будут пырять ножом, то во имя каких-то конкретных интересов. Актив может вцепиться в горло просто из одной собачьей злости, без всякой выгоды для себя и без всякого в сущности расчета, из одной, так сказать, классовой ненависти. В тот же вечер я прохожу мимо стола Стародубцева.

— Эй вы, как ваша фамилия? Тоже профессор?

Я останавливаюсь.

— Моя фамилия Солоневич. Я не профессор.

— То-то. Тут идиотам плохо приходится.

У меня становится нехорошо на душе. Значит, началось. Значит, нужно осаживать сейчас же. А я здесь в УРЧ, как в лесу. Но ничего не поделаешь. Стародубцев смотрит на меня в упор наглыми, выпученными, синими с прожилками глазами.

— Ну, не все же идиоты. Вот вы, насколько я понимаю, не так уж плохо устроились.

Кто-то сзади хихикнул и заткнулся. Стародубцев вскочил с перекошенным лицом. Я постарался всем своим лицом и фигурой выразить полную и немедленную, психическую и физическую готовность дать в морду. И для меня это, вероятно, грозило бы несколькими неделями изолятора. Для Стародубцева — несколькими неделями больницы. Но последнего обстоятельства Стародубцев мог еще и не учитывать. Поэтому я, предупреждая готовый вырваться из уст Стародубцева мат, говорю ему таким академическим тоном.

— Я, видите ли, не знаю вашего служебного положения. Но должен вас предупредить, что если вы хоть на одну секунду попытаетесь разговаривать со мною таким тоном, как разговаривали с профессором Фрейденом, то получится очень нехорошо.

Стародубцев стоит молча. Только лицо его передергивается. Я поворачиваюсь и иду дальше. Вслед мне несется:

— Ну, подожди же...

И уже пониженным голосом присовокупляет мат. Но этого мата я «официально» могу и не слышать, я уже в другой комнате.

В тот же вечер сидя на своем полене, я слышу в соседней комнате такой диалог:

Чей-то голос:

— Товарищ Стародубцев, что такое ихтиолог?

— Ихтиолог? Это рыба такая. Допотопная. Сейчас их нету.

— Как нету? А вот Медгора требует сообщить, сколько у нас на учете ихтиологов.

— Вот тоже сразу видно — идиоты с университетским образованием... — Голос Стародубцева повышается в расчете на то, чтобы я смог слышать его афоризм. — Вот тоже удивительно, как с высоким образованием, так непременно идиот. Ну и пиши им, никаких допотопных рыб в распоряжении УРЧ не имеется. Утри им нос.

Парень замолк, видимо, приступил к утиранию носа. И вот, к моему ужасу, слышу я голос Юры:

— Это не рыба, товарищ Стародубцев, а ученый... который рыб изучает.

— А вам какое дело. Не разговаривать, когда вас не спрашивают, черт вас возьми. Я вас тут научу разговаривать. Всякий сукин сын будет лезть не в свое дело.

Мне становится опять нехорошо. Вступить с кулаками на защиту Юры — будет как-то глупо, в особенности, пока дело до кулаков еще не доходит. Смолчать? Дать этому активу прорвать наш фронт, так сказать, на Юрином участке? И на какого черта Юре было лезть с его поправкой. Слышу срывающийся голос Юры:

— Слушаюсь. Но только я доложу об этом начальнику УРЧ. Если бы ваши допотопные рыбы пошли в Медгору, была бы неприятность и ему.

У меня отходит от сердца. Молодцом, Юрчик, выкрутился. Но как долго и с каким успехом придется еще выкручиваться дальше?

Нас поместили на жительство в палатке. Было электрическое освещение и с потолка вода не лилась. Но температура на нарах была градусов 8-10 ниже нуля.

Ночью пробираемся «домой». Юра подавлен.

— Нужно куда-нибудь сматываться, Ватик. Заедят. Сегодня я видал: Стародубцев выронил папиросу, позвал из другой комнаты профессора Д. и заставил ее поднять. К чертовой матери. Лучше к уркам или в лес.

Я тоже думал, что лучше к уркам или в лес. Но я еще не знал всего, что нам готовил УРЧ и месяцы, которые нам предстояло провести в нем. Я также не дооценивал волчью хватку Стародубцева. Он чуть было не отправил меня под расстрел. И никто еще не знал, что впереди будут кошмарные недели отправки подпорожских эшелонов на БАМ, что

эти недели будут безмерно тяжелее Шпалерки, одиночки и ожидания расстрела.

И все-таки, если бы не попали в УРЧ, то едва ли бы мы выбрались из всего этого живьем.

РАЗГОВОР С НАЧАЛЬСТВОМ

На другой день ко мне подходит один из профессоров уборщиков.

— Вас вызывает начальник УРЧ товарищ Богоявленский.

Нервы, конечно, уже начинают тупеть. Ко все-таки на душе опять тревожно и нехорошо. В чем дело? Не вчерашний ли разговор со Стародубцевым?

— Скажите мне, кто, собственно, этот Богоявленский? Из заключенных?

— Нет, старый чекист.

Становится легче. Опять один из парадоксов советской путаницы. Чекист — это хозяин. Актив — это свора. Свора норовит вцепиться в любые икры, даже и те, которые хозяин предпочел бы видеть не изгрызанными. Хозяин может быть любой сволочью, но накинувшуюся на вас свору он в большинстве случаев отгонит плетью. С мужиком и рабочим актив расправляется более или менее беспрепятственно. Интеллигенцию сажает само ГПУ. В столицах, где актив торчит совсем на задворках, это мало заметно, но в провинции ГПУ защищает интеллигенцию от актива или во всяком случае от самостоятельных поползновений актива.

Такая же закута, как и остальные «отделы» УРЧ. Задрипанный письменный стол. За столом — человек в чекистской форме. На столе перед ним лежит мое личное дело.

Богоявленский окидывает меня суровым чекистским взором и начинает начальственное внушение, совершенно беспредметное и бессмысленное. Здесь, дескать, лагерь, а не курорт; тут, дескать, не миндальничают, а с контрреволюционерами в особенности; за малейшее упущение или нарушение трудовой лагерной дисциплины — немедленно под арест, в шизо, на девятнадцатый квартал, на Лесную Речку. Нужно взять большевицкие темпы работы. Нужна ударная работа. Ну и так далее.

Это свирепое внушение действует, как бальзам, на мои раны — эффект, какового Богоявленский никак не ожидал. Из этого внушения я умозаключаю следующее: что Богоявленский о моих статьях знает, что

онные статьи в его глазах никаким препятствием не служат, что о разговоре со Стародубцевым он или ничего не знает или, зная, никакого значения ему не придает и что, наконец, о моих будущих функциях он имеет то самое представление, которое столь блестяще было сформулировано Наседкиным: что — куда.

— Гражданин начальник, позвольте вам доложить, что ваше предупреждение совершенно бесцельно.

— То есть, как так бесцельно? — свирепеет Богоявленский.

— Очень просто, раз я попал в лагерь, в моих собственных интересах работать, как вы говорите, ударно и стать ценным работником, в частности, для вас. Дело тут не во мне.

— А в ком же по-вашему дело?

— Гражданин начальник, ведь через неделю-две в одной только Погре будет 25-30 тысяч заключенных. А по всему отделению их будет тысяч 40-50. Ведь вы понимаете, как при таком аппарате. Ведь и мне в конечном счете придется отвечать, всему УРЧ и мне тоже.

— Да уж на счет отвечать, это будьте спокойны. Не поцеремонимся.

— Ну конечно. На воле тоже не церемонятся. Но вопрос в том, как при данном аппарате организовать рассортировку этих сорока тысяч? Запутаемся ведь к чертовой матери.

— Н-да. Аппарат у вас не очень. А на воле вы где работали? Я изобретаю соответствующий моменту стаж.

— Так что ж вы стоите? Садитесь.

— Если вы разрешите, гражданин начальник. Мне кажется, что вопрос идет о квалификации существующего аппарата. Особенно в низовке, в бараках и колоннах. Нужно бы небольшие курсы организовать. На основе ударничества.

И я запинаясь. Усталость. Мозги не работают. Вот дернула нелегкая ляпнуть об ударничестве. Не хватало еще ляпнуть что-нибудь о соцсоревновании. Совсем подмочил бы свою нарождающуюся деловую репутацию.

— Да, курсы — это бы неплохо. Да кто будет читать?

— Я могу взяться. Медгора должна помочь. Отделение как-никак ударное.

— Да, это надо обдумать. Берите папиросу.

— Спасибо. Я старover.

Моя образцово-показательная коробка опять появляется на свет Божий. Богоявленский смотрит на нее не без удивления. Я протягиваю:

— Пожалуйста.

Богоявленский берет папиросу.

— Откуда это в лагере люди такие папиросы достают?

— Из Москвы приятели послали. Сами не курят, а записаны в распределитель номер первый.

Распределитель номер первый — это правительственный распределитель, так для наркомов и иже с ниш. Богоявленский это, конечно, знает.

Минут через двадцать мы расстаемся с Богоявленским несколько не в том тоне, в каком встретились.

ТЕХНИКА ГИБЕЛИ МАСС

Мои обязанности «юрисконсульта» и «экономиста-плановика» имели то замечательное свойство, что никто решительно не знал, в чем именно они заключаются. В том числе и я. Я знакомился с новой для меня отраслью советского бытия и по мере своих сил пытался завести в УРЧ какой-нибудь порядок. Богоявленский, надо отдать ему справедливость, оказывал мне в этих попытках весьма существенную поддержку. «Актив» изводил нас с Юрой десятками мелких бессмысленных подвохов, но ничего путного сделать не мог, а как оказалось впоследствии, концентрировал силы для генеральной атаки. Чего этому активу было нужно, я так и не узнал до конца. Возможно, что одно время он боялся, как бы я не стал на скользкие пути разоблачения его многообразного воровства, вымогательства и грабежа. Но для такой попытки я все-таки был слишком стрелянным воробьем. Благоприобретенные за счет мужицких жизней бутылки советской сивухи распивались, хотя и келейно, но в купе с головкой административного отдела, третьей части и прочих лагерных заведений. Словом, та же схема: Ванька в колхозе, Степка в милиции, Петька в Госспирте... Попробуйте пробить эту цепь круговой приятельской пролетарской поруки. Это и на воле жизнеопасно, а в лагере уж проще сразу повеситься. Я не собирался ни вешаться, ни лезть с буржуазным уставом в пролетарский монастырь. Но актив продолжал нас травить — бессмысленно и в сущности бесцельно. Потом в эту сначала бессмысленную травлю вклинились мотивы деловые и весьма весомые. Разыгралась одна из бесчисленных в России сцен классовой борьбы между интеллигенцией к активом — борьбы за человеческие жизни.

БЕСПОЩАДНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМЫ

Техника истребления масс тлеет два лица. С одной стороны простирается кровавая рука ГПУ, то есть система, обдуманная, беспощадно жестокая, но все же не бессмысленная. С другой стороны действует актив, который эту безумность, доводит до полной бессмыслицы уже никому, в том числе и ГПУ, решительно ни для чего не нужной. Так делается и на воле и в лагере.

Лагерный порядок поставлен так: заключенный Иван должен срубить и напилить 7,5 кубометров леса в день, или выполнить соответствующее количество другой работы. Все эти работы строго нормированы, и нормы напечатаны в справочниках. Этот Иван получает свое дневное пропитание исключительно в зависимости от количества выполненной работы. Если он выполняет норму целиком, он получает 600 грамм хлеба. Если не выполняет, получает 500, 400 и даже 200 грамм. На энном лагпункте имеется тысяча таких Иванов, следовательно энский лагпункт должен выполнить 7 500 кубометров. Если эта норма выполнена не будет, то не только отдельные Ивановы, ко и весь лагпункт в целом получит урезанную порцию хлеба. При этом нужно иметь в виду, что хлеб является почти единственным продуктом питания, и что при суровом приполярном климате 600 грамм обозначает более или менее стабильное недоедание, 400 — вымирание, 200 — голодную смерть. Количество использованных рабочих рук подсчитывает УРЧ, количество и качество выполненной работы — производственный отдел, на основании данных которого отдел снабжения выписывает то или иное количество хлеба.

Нормы эти технически не выполняются никогда. И от того; что рабочая сила находится в состоянии постоянного истощения и от того, что советский инструмент, как правило, никуда не годится, и от того, что на каждом лагерном пункте имеется известное количество отказчиков, преимущественно урок и по многим другим причинам. Техники вроде Лепешкина, экономисты вроде меня, инженеры и прочие интеллигенты непрестанно изощряются во всяких комбинациях, жульничествах, подлогах, чтобы половину выполненной нормы изобразить в качестве 70 процентов и чтобы отстоять лагпункты от голодания. В некоторой степени это удается почти всегда. При этой «поправке» и, так сказать, при нормальном ходе событий лагпункты голодают, но не вымирают. Однако, «нормальный порядок» — вещь весьма не устойчивая.

Карьер 3 на лагпункте Погра занят земляными работами. Эти работы опять-таки нормированы. Пока карьер копает в нормальном грунте, дело кое-как идет. Затем землекопы наталкиваются на так

называемый «плывун» — водоносный слой песка. Полужидкая песчаная каша расплывается с лопат и с тачек. Нормы выполнить физически невозможно. Кривая разработки катастрофически идет вниз. Так же катастрофически падает кривая снабжения. Бригада карьера, тысячи две землекопов, начинает пухнуть от голода. Кривая выработки падает еще ниже, кривая снабжения идет вслед за нею. Бригады начинают вымирать.

С точки зрения обычной человеческой логики нормы эти нужно пересмотреть. Но такой пересмотр может быть сделан только управлением лагеря и только с санкции Гулага в каждом отдельном случае. Это делается для того, чтобы никакое местное начальство, на глазах которогодохнут люди, не имело бы никакой возможности прикрывать объективными причинами какие бы то ни было производственные прорывы. Это делается также потому, что система, построенная на подстегивании рабочей силы угрозой голодной смерти, должна показать людям эту смерть, так сказать, в натуральном виде, чтобы публика не думала, что кто-то с нею собирается шутки шутить.

В данном случае, случае с карьером 3, санкция на пересмотр нормы пришла только тогда, когда все бригады полностью перешли в так называемую слабосилку — место, куда отправляют людей, которые уже совсем валяются с ног от голода или от перенесенной болезни; где им дают 600 грамм хлеба и используют на легких и не нормированных работах. Обычный лагерник проходит такую слабосилку раза три за свою лагерную жизнь. С каждым разом поправка идет все труднее. Считается, что посла третьей слабосилки выживают только исключительно крепкие люди.

Конечно, лагерная интеллигенция иногда при прямом попустительстве местного лагерного начальства, ежели это начальство толковое, изобретает самые фантастические комбинации для того, чтобы спасти людей от голода. Так в данном случае была сделана попытка работы в карьере прекратить совсем, а землекопов перебросить на лесные работы. Но об этой попытке узнало правление лагерем, и ряд инженеров поплатился добавочными сроками, арестом и даже ссылкой на Соловки. В бригадах из 2.000 человек до слабосилки и в самой слабосилке умерло по подсчетам Бориса около 1.600 человек.

Это — беспощадность, обдуманная и осмысленная. Борются с нею почти невозможно. Это система. В систему входят, конечно и расстрелы, но я не думаю, чтобы по Беломорско-Балтийскому лагерю расстреливали больше двух-трех десятков человек в день.

АКТИВИСТСКАЯ ПОПРАВКА К СИСТЕМЕ БЕСПОЩАДНОСТИ

Параллельно этой системе, возглавляемой и поддерживаемой ГПУ, развивается многополезная деятельность актива, причиняющая лагерному населению неизмеримо большие потери, чем ГПУ, слабосилка и расстрелы. Эта деятельность актива направляется, говоря схематично, тремя факторами: рвением, безграмотностью и бестолковщиной.

А. Рвение

Прибывающие в лагерь эшелоны этапников попадают в карантин и распределительные пункты, где людям дают 600 грамм хлеба и где нормированных работ нет. Лагерная система с необычайной жестокостью относится к использованию рабочей силы. Переброски из отделения в отделение делаются только в выходные дни. Пребывание лагерников в карантине и на распределительном пункте считается утечкой рабочей силы. Эта утечка организационно неизбежна, но УРЧ должен следить за тем, чтобы ни одного лишнего часа лагерник не проторчал вне производственной бригады. УРЧ из кожи лезет вон, чтобы в самом стремительном порядке разгрузить карантин и распределительные пункты. Этим делом заведует Стародубцев. Десятки тысяч лагерников, еще не оправившихся от тюремной голодовки, еще еле таскающих свои истощенные ноги, перебрасываются на лесные работы, в карьеры. Но делать им там нечего. Инвентаря еще нет. Нет пил, топоров, лопат, тачек, саней. Нет и одежды. Но одежды не будет совсем; в лесу на двадцатиградусных морозах по пояс в снегу придется работать в том, в чем человека застал арест.

Если нет топоров, нормы выполнены не будут. Люди хлеба не получают по той же причине, по которой не получали хлеба землекопы карьера номер 3. Но там давали хоть по 400 грамм: все-таки хоть что-то да копали, а здесь будут давать только 200, ибо выработка равна приблизительно нулю.

Следовательно, УРЧ в лице Стародубцева выполняет свое задание, так сказать, в боевом порядке. Он рабочую силу дал. Что с этой силой будет дальше, его не касается, пусть расхлебывает производственный отдел. Производственный отдел в лице своих инженеров мечется, как угорелый, с обирает топоры и пилы, молит о приостановке этого потока людей, не могущих быть использованными. А поток все льется.

Пришлось говорить Богдавленскому не о том, что люди гибнут, на это ему было наплевать, а о том, что если через неделю-две придется поставить на положение слабосилки половину лагеря, за это и Гулаг по

головке не погладит. Поток был приостановлен, и это было моим первым деловым столкновением со Стародубцевым.

Б. Безграмотность

Строительство гидроэлектростанции на реке Ниве (Нивастрой) требует от нашего отделения 860 плотников. По таким требованиям высылают крестьян, исходя из того соображения, что всякий крестьянин более или менее плотник. В партию, назначенную на отправку, попадают 140 узбеков, которые в личных карточках в графе «профессия» помечены крестьянами. Урчевский актив и понятия не имеет о том, что эти узбеки, выросшие в безводных и безлесных пустынях Средней Азии, с плотничьим ремеслом не имеют ничего общего, что следовательно, как рабочая сила, они будут бесполезны; как едоки, они, не вырабатывая нормы, будут получать по 200-400 грамм хлеба, что они, как жители знойной и сухой страны, попав за Полярный круг, в тундру, в болото, в полярную ночь, вымрут, как мухи и от голода и от цинги,

В. Бестолковщина

Несколько дней подряд Стародубцев изрыгал в телефонную трубку совершенно неопишную хулу на начальство третьего лагпункта. Но эта хула была, так сказать, обычным методом административного воздействия. Каждое советское начальство вместо того, чтобы привести в действие свои мыслительные способности, при всяком прорыве хватается прежде всего за привычное оружие разноса и разгрома. Нехитро, кажется, было бы догадаться, что если прорыв налицо, то все, что можно было сделать в порядке матерной эрудиции, было сделано уже и без Стародубцева. Что подтягивали, завинчивали гайки, крыли матом и сажали под арест и бригадиры и статистики и начальники колонн и уж, разумеется, начальник лагпункта. Никакой Америки Стародубцев тут изобрести не мог. Нехитро было бы догадаться и о том, что если низовой мат не помог, то и стародубцевский не поможет. Во всяком случае эти фиоритуры продолжались дней пять, и я как-то слышал, что на третьем лагпункте дела обстоят совсем дрянно. Наконец, вызывает меня Богоявленский, с которым к этому времени у меня успели установиться кое-какие «деловые отношения».

— Послушайте, разберитесь-ка вы в этой чертовщине. По нашим данным третий лагпункт выполняет свою норму почти целиком. А эти идиоты из продовольственного отдела (ПРО) показывают только 25 процентов. В чем здесь дело?

Я засел за кипу сводок, сотней которых можно было бы покрыть доброе немецкое княжество. Графы сводок, говорящие об использовании конского состава, навели меня на некоторые размышления. Звоню в ветеринарную часть лагпункта.

— Что у вас такое с лошадьми делается?

— У нас, говоря откровенно, с лошадьми фактически дело совсем дрянно.

— Да вы говорите толком, в чем дело?

— Так что лошади фактически не работают.

— Почему не работают?

— Так что, можно сказать, почти все подошли.

— Отчего подошли?

— Это, так сказать, по причине веточного корма. Как его, значит, осенью силосовали, так вот, значит, как есть, все кони передохли.

— А на чем же вы лес возите?

— Говоря фактически, на спинах возим. Ручную тягой.

Все сразу стало понятным,

Кампания, конечно, ударная на внедрение веточного корма провалилась по Руси, когда я еще был на воле. Когда от раскулачивания и коллективизации не то, что овес, а и трава расти перестала, власть стала внедрять веточный корм из сосновых и еловых веток, замечательно калорийный, богатый витаминами и прочее. Это было нечто вроде пресловутого кролика. Кто дерзал сомневаться или, Боже упаси, возражать, ехал в концлагерь. Колхозные мужики и бабы уныло бродили по лесам, резали еловые и сосновые ветки, потом эти ветки запикивались в силосные ямы. Та же история была проделана и здесь. Пока было сено, лошади кое-как держались. Когда перешли на стопроцентный дровяной способ кормления, лошади передохли все.

Начальство лагпункта совершенно правильно рассудило, что особенно торопиться с констатированием результатов этого елово-соснового кормления ему совершенно незачем, ибо хотя это начальство в данном нововведении уж никак повинно не было, но вздуют в первую очередь его по той именно схеме, о которой я говорил в главе об активе; отвечает преимущественно самый младший держиморда. Дрова таскали из лесу на людях на расстояние от 6 до 11 километров. Так как «подвозка ручной тягой» в нормировочных ведомостях предусмотрена, то лагерники выполнили приблизительно 70-50 процентов нормы, но не по рубке, а по перевозке. Путем некоторых статистических ухищрений лагпунктовская интеллигенция подняла этот процент до ста. Но от всех этих мероприятий дров отнюдь не прибавилось. И единственное, что могла сделать интеллигенция производственного отдела, это путем примерно таких же ухищрений поднять процент фактической заготовки

ЗА ЧТО ЛЮДИ СИДЯТ?

дров с 5-10, скажем, до 40-50 процентов. Отдел снабжения из этого расчета и выдавал продовольствие лагпункту.

Население лагпункта стало помаленьку переезжать в слабосилку. А это тоже не так просто — для того, чтобы попасть в слабосилку, раньше нужно добиться врачебного осмотра, нужно чтобы были «объективные признаки голодного истощения», а в этих признаках избирался не столько врач, сколько члены комиссии из того же актива. И наконец, в слабосилку, всегда переполненную, принимают далеко не всех. Лагпункт вымирал уже к моменту моего открытия этой силосованной чепухи.

Когда я с этими результатами пошел на доклад к Богоявленскому, Стародубцев кинулся сейчас же вслед за мной. Я доложил. Богоявленский посмотрел на Стародубцева.

— Две недели. Две недели ни черта толком узнать даже не могли. Работнички, мать вашу. Вот посажу я вас на месяц в Шизо.

Но не посадил. Стародубцев считался незаменимым специалистом по урчевским делам. В Медгору полетела средатированная в трагических тонах телеграмма с просьбой разрешить «внеплановое снабжение» третьего лагпункта в виду открывшейся конской эпидемии. Через три дня из Медгоры пришел ответ:

«Выяснить и подвергнуть суровому наказанию виновных».

Теперь в дело был брошен актив третьей части. Арестовывали ветеринаров, конохов, возчиков. Арестовали начальника лагпункта чекиста. Но никому в голову не пришло подумать о том, что будет с лошадьми и силосованным дубьем на других лагпунктах.

А на третьем лагпункте работало, около пяти тысяч человек.

...Конечно, помимо, так сказать, «массовых мероприятий» актив широко практикует и индивидуальный грабёж тех лагерников, у которых что-нибудь есть, а так же и тех, у которых нет решительно ничего. Так, например, от посылки на какой-нибудь Нивастрой можно откупиться литром водки. Литр водки равен заработку лесоруба за 4-5 месяцев каторжной работы. Лесоруб получает 3 р. 80 к. в месяц и на эти деньги он имеет право купить в ларьке 500 грамм сахара и 20 грамм махорки в месяц. Конечно, лучше обойтись и без сахара и без махорки и даже без марок для писем домой, чем поехать на Нивастрой. Способов в этом роде, иногда значительно более жестоких, в распоряжении актива имеется весьма обширный выбор. Я полагаю, что в случае падения советской власти этот актив будет вырезан приблизительно сплошь, так в масштабе семизначных чисел. Отнюдь не будучи человеком кровожадным, я полагаю, что стоит.

Все эти прорывы, кампании и прочая кровавая чепуха касалась меня, как экономиста-плановика, хотя я за все свое пребывание на этом ответственном посту ничего и ни на одну копейку не напланировал. В качестве же юрисконсульта я, несмотря на оптимистическое мнение Наседкина, что я сам разберусь «что — куда», все-таки никак не мог сообразить, что мне делать с этими десятками пудов личных дел. Наконец, я сообразил, что если я определю мои никому не известные функции, как «оказание юридической помощи лагерному населению» то это будет нечто соответствующее по крайней мере моим собственным устремлениям. На «юридическую помощь» начальство посмотрело весьма косо:

— Что, кулаков собираетесь из лагеря выцарапать?

Но я заявил, что по инструкции Гулага такая функция существует. Против инструкции Гулага Богоявленский, разумеется, возражать не посмел. Правда, он этой инструкции и в глаза не видал, я тоже, но инструкция Гулага, даже и не существующая, звучала как-то внушительно.

От тридцати пудов этих дел несло тяжким запахом того же бесправия и той же безграмотности. Тут действовала та же схема — осмысленная беспощадность ГПУ и бессмысленное и безграмотное рвение актива. С папками, прибывшими из ГПУ, мне не оставалось делать решительно ничего; там стояло: Иванов, по статье такой-то, срок десять лет. И точка. Никакой «юридической помощи» тут не выжмешь. Городское население сидело почти исключительно по приговорам ГПУ. Если и попадались приговоры судов, то они в подавляющем большинстве случаев были мотивированы с достаточной по советским масштабам убедительностью. Крестьяне сидели и по приговорам ГПУ и по постановлениям бесконечных троек и пятерок — по раскулачиванию, по коллективизации, по хлебозаготовкам, и я даже наткнулся на приговоры троек по внедрению веточного корма, того самого... Здесь тоже ничего нельзя было высосать. Приговоры обычно были формулированы так: Иванов Иван, средняк, 47 лет, 7-8, 10 лет. Это значило, что человек сидит за нарушение закона о «священной социалистической собственности» (закон от 7 августа 1932 года) и приговорен к десяти годам. Были приговоры народных судов, были и мотивированные приговоры разных троек. Один мне попался такой: человека засадили на 10 лет за кражу трех картошек на колхозном поле, «каковые картофелины были обнаружены при означенном обвиняемом Иванове обыском».

АКТИВ СХВАТИЛ ЗА ГОРЛО

Сел я в галошу из-за дел по выяснению. Дела же эти заключались в следующем.

Территория ББК, как я уже об этом говорил, тянется в меридиальном направлении приблизительно на 1.200 километров.

По всей этой территории идут непрерывные обыски, облавы, проверки документов и прочее в поездах, на пароходах, на мостах, на базарах, на улицах. Всякое лицо, при котором не будет обнаружено достаточно убедительных документов, считается бежавшим лагерником и попадает в лагерь до выяснения. Onus progandi возлагается по традиции ГПУ на обвиняемого: докажи, что ты не верблюд. Человек, уже попавший в лагерь, ничего толком доказать, разумеется, не в состоянии. Тогда местный УРЧ через управление ББК начинает наводить справки по указанным арестованным адресам его квартиры, его службы, профсоюза и прочее.

Разумеется, что при темпах мрачных выдвиженцев такие справки могут тянуться не только месяцами, но и годами. Тем временем незадачливого путешественника перебросят куда-нибудь на Ухту, в Вишеру, в Дальлаг, и тогда получается вот что. Человек сидит без приговора, без срока, а где-то там на воле семья попадает под подозрение особенно в связи с паспортизацией. Мечется по всяким советским кабакам, всякий кабак норовит отписаться и отделаться, и получается, черт знает, что. Из этой кучи дел которую я успел разобрать, таких «выясняющихся» набралось около полусотни. Были и забавные. Какой-то питерский коммунист, фамилии не помню, участвовал в рабочей экскурсии на Беломорско-Балтийский канал. Экскурсантов возят по каналу так: документы отбираются; вместо документов выдается какая-то временная бумажонка и делается свирепое предупреждение: от экскурсии не отбивайся. Мой коммунист, видимо полагал, что ему, как партийному, особые законы не писаны, от экскурсии отбил, как он писал «по причине индивидуального пристрастия к рыбной ловле удочкой». При этом небольшевиком занятии он свалился в воду, а когда вылез и высох, то оказалось, что экскурсия ушла, а бумажка в воде расплылась и разлезлась до неузнаваемости. Сидел он из-за своего «индивидуального пристрастия» уже восемь месяцев. Около полугода в его деле лежали уже все справки, необходимые для его освобождения, в том числе справка от соответствующей парторганизации и справка от медгорского управления ББК с приложением партийного билета незадачливого рыбака, а в билете и его фотография.

Мотивированный приговоры были мукой мученической. Если и был какой-то «состав преступления», то в литературных упражнениях какого-нибудь выдвиженца, секретарствующего в Краснококшайском народном суде, этот «состав» был запутан так, что ни начала, ни конца. Часто здесь же рядом в деле лежит и заявление осужденного, написанное уже в лагере. И из заявления ничего не понять. Социальное положение, конечно, бедняцкое, клятвы в верности к социалистическому строительству и «нашему великому вождю», призывы к пролетарскому милосердию. Одновременно и «полное и чистосердечное раскаяние» и просьба о пересмотре дела, «потому как трудящийся с самых малых лет, а что написано у приговоре, так в том виноватым не был»...

Из таких приговоров мне особенно ясно помнится один: крестьянин Бузулукского района Фаддей Лычков, осужден на 10 лет за участие в бандитском нападении на колхозный обоз. Здесь же к делу пришта справка бузулукской больницы. Из этой справки ясно, что за месяц до нападения и полтора месяца после него Лычков лежал в больнице в сыпном тифу. Такое алиби, что дальше некуда. Суд в своей «мотивировке» признает и справку больницы и алиби, а десять лет все-таки дал. Здесь же в деле покаянное заявление Лычкова, из которого понять окончательно ничего невозможно. Я решил вызвать Лычкова в УРЧ для личных объяснений. Актив сразу полез на стенку: я разваливаю трудовую дисциплину, я отрываю рабочую силу и прочее и прочее и прочее. Но за моей спиной уже стояла пресловутая инструкция Гулага, в которую я, в меру элементарнейшего правдоподобия, мог втиснуть решительно все, что мне вздумается. На этот раз Богоявленский посмотрел на меня не без некоторого недоверия: что-то врешь ты, брат, насчет этой инструкции. Но вслух сказал только:

— Ну, что ж, раз в инструкции есть. Только вы не очень уж этим пользуйтесь.

Вызванный в УРЧ Лычков объяснил, что ни о каком нападении он, собственно говоря, решительно ничего не знает. Дело же заключается в том, что он, Лычков, находился в конкурирующих отношениях с секретарем сельсовета по вопросу о какой-то юной колхознице. В этом соцсоревновании секретарь первого места не занял, и Лычков был пришит к бандитскому делу и поехал на 10 лет в ББК: не соревнуйся с начальством.

В особенно подходящий момент мне как-то особенно ловко удалось подбечь к Богоявленскому, и он разрешил мне переслать в Медгору десятка полтора таких дел для дальнейшего направления на их пересмотр. Это был мой последний успех в качестве юрисконсульта.

Человек грешный, в скорострельном освобождении этого рыболова я отнюдь заинтересован не был: пусть посидит и посмотрит. Любишь кататься — люби и дрова возить.

Но остальные дела как-то не давали покоя моей интеллигентской совести.

Загвоздка заключалась в том, что, во-первых, лагерная администрация ко всякого рода освободительным мероприятиям относилась крайне недружелюбно, а во-вторых, в том, что среди этих дел были и такие, которые лежали в УРЧ в окончательно выясненном виде больше полугодом, и они давно должны были быть отправлены в управление лагерем в Медвежью Гору. Это должен был сделать Стародубцев. С точки зрения лагерно-бюрократической техники здесь получалась довольно сложная комбинация. И я бы ее провел, если бы не сделал довольно грубой технической ошибки. Когда Богоявленский слегка заел по поводу этих дел, я сказал ему, что говорил с инспектором Мининым, который в эти дни инструктировал наш УРЧ. Минин был из Медвежьей Горы, следовательно, начальство, и, следовательно, от Медвежьей Горы скрывать уже было нечего. Но с Мининым я не говорил, а только собирался поговорить. Богоявленский же собрался раньше меня. Вышло очень неудобно. И во-вторых, я не догадался как-нибудь заранее реабилитировать Стародубцева и выдумать какие-нибудь «объективные обстоятельства», задержавшие дела а нашем УРЧ. Впрочем, ничем эта задержка Стародубцеву не грозила, разве только лишним крепким словом из уст Богоявленского. Но всей этой ситуации оказалось вполне достаточно для того, чтобы толкнуть Стародубцева на решительную атаку.

В один прекрасный день, очень не веселый день моей жизни, мне сообщили, что Стародубцев подал в третью часть (лагерное ГПУ или, так сказать, ГПУ в ГПУ) заявление о том, что в целях контрреволюционного саботажа работы УРЧ и мести ему, Стародубцеву, я украл из стола Стародубцева 72 папки личных дел освобождающихся лагерников и сжег их в печке. И что это заявление подтверждено свидетельскими показаниями поддружины других Урчевских активистов. Я почувствовал, что, пожалуй, немного раз в моей жизни я стоял так близко к «стенке», как сейчас.

Теоретическая схема мне была уныло ясна, безнадежно ясна: заявление Стародубцева и показаний активистов для третьей части будет вполне достаточно, тем более, что и Стародубцев и активисты и третья часть, все это были свои парни, своя шпана. Богоявленского же я подвел своим мифическим разговором с Мининым. Богоявленскому я все же не всегда и не очень был удобен своей активностью, направленной

преимущественно в сторону «гнилого либерализма». И наконец, когда разговор дойдет до Медгора, то Богоявленского спросят: а на какой же черт он вопреки инструкции брал на работу контрреволюционера да еще с такими статьями? А так как дело по столь контрреволюционному преступлению да еще и караемому «высшей мерой наказания», должно было пойти в Медгору, то Богоявленский, конечно, сбросит меня со счетов и отдаст на растерзание. В лагере — да и на воле тоже — можно рассчитывать на служебные и личные интересы всякого партийного и полупартийного начальства, но на человечность и даже на простую порядочность рассчитывать нельзя.

Деталей стародубцевского доноса я не знал, да так и не узнал никогда. Не думаю, чтобы 6 свидетельских показаний были отрецензированы без вопиющих противоречий (для того, чтобы в таком деле можно было обойтись без противоречий, нужны все-таки мозги), но ведь мне и перед расстрелом этих показаний не покажут. Можно было, конечно, аргументировать и тем соображением, что ежели я собирался с диверсионными целями срывать работу лагеря, то я мог придумать для лагеря что-нибудь менее выгодное, чем попытку оставить в нем на год-два лишних более семидесяти пар рабочих рук. Можно был бы указать на психологическую несообразность предположения, что я, который лез в бутылку из-за освобождения всех, кто, так сказать, попался под руку, не смог выдумать другого способа отмщения за мои поруганные Стародубцевым высокие чувства, как задержать в лагере 72 человека, уже предназначенных к освобождению. Конечно, всем этим можно было бы аргументировать. Но если и ленинградское ГПУ в лице Стародубцева товарища Добротина ни логике, ни психологии обучено не было, то что уж говорить о шпане из подпорожской третьей части!

Конечно, полсотни дел «по выяснению», из-за которых я в сущности и сел, были уже спасены: Минин забрал их в Медвежью Гору. Конечно, «несть больше любви, аще кто душу свою положит за други своя», но я с прискорбием должен сознаться, что это соображение решительно никакого утешения мне не доставляло. Роль мученика, при всей ее сценичности, написана не для меня.

Я в сотый, вероятно, раз нехорошими словам вспоминал своего интеллигентского червяка, который заставляет меня лезть в предприятия, в которых так легко потерять все, в которых ни в каком случае ничего нельзя выиграть. Это было очень похоже на пьяницу, который клянется — «ни одной больше рюмки», клянется с утреннего похмелья до вечерней выпивки.

Некоторый просвет был с одной стороны: донос был сдан в третью часть пять дней тому назад. И я до сих пор не был арестован.

В объяснение этой необычной отсрочки можно было выдумать достаточное количество достаточно правдоподобных гипотез, но гипотезы решительно ничего не устраивали. Борис в это время лечил от романтической болезни начальника третьей части. Борис попытался кое-что у него выпытать, но начальник третьей части ухмылялся с несколько циничной загадочностью и ничего путного не говорил. Борис был такого мнения, что на все гипотезы и на все превентивные мероприятия нужно плюнуть и нужно бежать, не теряя ни часу. Но как бежать? И куда бежать?

У Юры была странная смесь оптимизма с пессимизмом. Он считал, что и из лагеря в частности и из советской России вообще (для него советский лагерь и советская Россия были приблизительно одним и тем же), у нас все равно нет никаких шансов вырваться живьем. Но вырваться все-таки необходимо. Это — вообще. А в каждом частном случае Юра возлагал несокрушимые надежды на так называемого Шпигеля.

Шпигель был юным евреем, которого я никогда в глаза не видал и которому я в свое время оказал небольшую, в сущности пустяковую и вполне, так сказать, заочную услугу. Потом мы сели в одесскую чрезвычайку — я, жена и Юра. Юре было тогда семь лет. Сели без всяких шансов уйти от растрепы, ибо при аресте были захвачены документы, о которых принято говорить, что они «не оставляют никаких сомнений». Указанный Шпигель околачивался в то время в одесской чрезвычайке. Я не знаю, по каким, собственно, мотивам он действовал. По разным мотивам действовали тогда люди. К не знаю, каким способом это ему удалось. Разные тогда были способы. Но все наши документы он из чрезвычайки утащил; утащил вместе с нами и оба наши дела, и мое и жены. Так что, когда мы посидели достаточное время, нас выпустили вчистую, к нашему обоюдному и несказанному удивлению. Всего этого вместе взятого и с некоторыми деталями, выяснившимися значительно позже, было бы вполне достаточно для голливудского сценария, которому не поверил бы ни один разумный человек.

Во всяком случае, термин «Шпигель» вошел в наш семейный словарь. И Юра не совсем был не прав. Когда приходилось очень плохо, совсем безвылазно, когда ни по какой человеческой логике никакого спасения ждать было неоткуда, Шпигель подвергался.

Подвернулся он и на этот раз.

ТОВАРИЩ ЯКИМЕНКО И ПЕРВЫЕ ХАЛТУРЫ

Между этими двумя моментами — ощущения полной безвыходности и ощущения полной безопасности, прошло около суток. За эти сутки я передумал многое. Думал и о том, как неумно в сущности я действовал. Совсем не по той теории, которая сложилась за годы советского житья, и которая категорически предписывает из всех имеющихся на горизонте перспектив выбирать прежде всего халтуру. Под щитом халтуры можно и что-нибудь путное сделать. Но без халтуры человек незащищен, как средневековый рыцарь без лат. А я вот вопреки всем теориям взялся за дело. И как это у меня из головы выветрилась безусловная и повелительная необходимость взяться прежде всего за халтуру?

Очередной Шпигель и очередная халтура подвернулись неожиданно.

В Подпорожье свозили все новые и новые эшелоны лагерников, и первоначальный «промфинплан» был уже давно перевыполнен. К середине февраля в Подпорожском отделении было уже до 45.000 заключенных. Кабак в УРЧ свирепствовал совершенно невообразимый. Десятки тысяч людей оказывались без инструментов, следовательно, без работы; следовательно, без хлеба. Никто не знал толком, на каком лагпункте и сколько находится народу. Одни «командировки» снабжались удвоенной порцией пропитания, другие не получали ничего. Все списки перепутались. Сорок пять тысяч личных дел, сорок пять тысяч личных карточек, сорок пять тысяч формуляров и прочих бумажек, символизирующих где-то погибающих живых людей, засыпали УРЧ лавиной бумаги и писчей, и облойной, и от старых этикеток кузнецовского чая, и от листов старых акцизных бандеролей и Бог знает, откуда еще; все это называется бумажным голодом.

Такие же формуляры, личные карточки, учетные карточки, и также каждая разновидность в сорока пяти тысячах экземплярах перетаскивались окончательно обалдевшими статистиками и старостами из колонны в колонну, из барака в барак. Тысячи безымянных Иванов, «оторвавшихся от своих документов» и не знающих, куда им приткнуться, бродили голодными толпами по карантину и пересылке. Сотни начальников колонн металась по баракам, пытаясь собрать воедино свои разбредшиеся стада. Была оттепель. Половина бараков с дырявыми потолками, но без крыш, протекла насквозь. Другая половина; с крышами, протекла не насквозь. Люди из первой половины вопреки всяким вохрам перекочевывали во вторую половину, и в этом процессе всякое подобие колонн и бригад таяло, как снег на потолках протекавших

барак. К началу февраля в лагере установился окончательный хаос. Для ликвидации его из Медвежьей Горы приехал начальник УРО (учетно-распределительного отдела) управления лагерем. О нем, как и о всяком лагерном паше, имеющем право на жизнь и смерть, ходили по лагерю легенды, расцвеченные активистской угодливостью, фантазией урок и страхом за свою жизнь всех вообще обитателей лагеря.

...Часа в два ночи, окончив наш трудовой «день», мы собрались в кабинете Богоявленского. За его столом сидел человек высокого роста в щегольской чекистской шинели, с твердым, властным, чисто выбритым лицом. Что-то было в этом лице патрицианское. С нескрываемой брезгливостью в поджатых губах он взирал на рваную, голодную, вороватую ораву актива, которая, толкаясь и запинаясь, вливалась в кабинет. Его, казалось, мучила необходимость дышать одним воздухом со всей этой рванью, опорой и необходимым условием его начальственного бытия. Его хорошо и вкусно откормленные щеки подергивались гримасой холодного отвращения. Это был начальник УРО тов. Якименко.

Орава в нерешительности толкалась у дверей. Кое-кто подобострастно кланялся Якименке, видимо зная его по какой-то предыдущей работе. Но Якименко смотрел прямо на всю ораву и на поклоны не отвечал. Мы с Юрой пробрались вперед и уселись на подоконнике.

— Ну, что ж вы? Собирайтесь скорей и расслаживайтесь.

Расслаживаться било не на чем. Орава вытекла обратно и вернулась с табуретками, поленьями и досками. Через несколько минут все расселись, и Якименко начал речь

Я много слышал советских речей. Такой хамской и по смыслу и по тону я еще не слышал. Якименко не сказал «товарищи», не сказал даже «граждане». Речь была почти бессодержательна. Аппарат расхлябан. Так работать нельзя. Нужны ударные темпы. Пусть никто не думает, что кому-то и куда-то удастся из УРЧ уйти. (Это был намек на профессоров и на нас с Юрой). Из УРЧ уйдут либо на волю, либо в гроб.

Я подумал о том, что я, собственно, так и собираюсь сделать — или в гроб или на волю. Только уж, извините, на настоящую волю. Хотя, в данный момент дело, кажется, стоит гораздо ближе ко гробу.

Речь была кончена. Кто желает высказаться? Орава молчала. Начал говорить Богоявленский. Он сказал все то, что говорил Якименко — не больше и не меньше. Только тон был менее властен, речь была менее литературна, и выражений не литературных в ней было меньше.

Снова молчание. Якименко обводит презрительно-испытующим взором землисто-зеленые лица оравы, безразлично скользит мимо интеллигенции — меня, Юры и профессоров и говорит тоном угрозы:

— Ну?

Откашлялся Стародубцев и начал:

— Мы, конечно, сознавая наш пролетарский долг, чтобы, так сказать, загладить наши преступления перед нашим пролетарским отечеством, должны, так сказать, ударными темпами. Потому как некоторая часть сотрудников действительно работает в порядке расхлябанности и опять же нету революционного сознания, что как наше отделение ударное, и значит партия доверила нам ответственный участок великого социалистического строительства, так мы должны, не щадя своих сил, на пользу мировому пролетариату, ударными темпами в порядке боевого задания.

Бессмысленной чередой мелькают бессмысленные фразы — штампованные фразы любого советского «общественника» и в Колонном зале Москвы, и в прокуренной закуте колхозного сельсовета, и среди станков цехового собрания. Что это? За семнадцать лет не научились говорить так, чтобы было, если не смысловое, то хотя бы этимологическое подлежащее. Или просто — защитная окраска? Не выступить нельзя: антиобщественник. И выступить? Вот так и выступают — четверть часа из пустого в порожнее. И такое порожнее, что и зацепиться не за что. Не то, что смысла, и уклона не сыскать.

Стародубцев заткнулся.

— Кончили?

— Кончил.

Якименко снова обводит ораву гипнотизирующим взором.

— Ну, кто еще? Что и сказать нечего?

Откашливается Наседкин.

— У меня, разрешите, есть конкретное предложение. По части, чтобы заключить соцсоревнование с УРЧ краснознаменного Водораздельского отделения. Если позволите, я зачитаю.

— Зачитывайте, — брезглив о разрешает Якименко.

Наседкин зачитывает. Господи какая халтура!

Какая убогая, провинциальная, отставшая на две пятилетки халтура! Эх, мне бы!

Наседкин кончил. Снова начальственное «Ну»

И суровое молчание. Я решаюсь.

— Разрешите, гражданин начальник.

Разрешающее — «Ну».

Я говорю, сидя на подоконнике, не меняя позы и почти не подымая головы. К советскому начальству можно относиться корректно, можно и не относиться корректно, но относиться почтительно нельзя никогда. И даже за внешней корректностью всегда нужно показать, что мне на тебя в сущности наплевать, обойдусь и без тебя. Тогда начальство думает, что я действительно могу обойтись и что, следовательно, где-то и какую-то зацепку я и без него имею. А зацепки могут быть разные. В том числе и весьма высокопоставленные. Всякий же советский начальник боится всякой зацепки.

— Я, как человек в лагере новый, всего две недели, не рискую, конечно, выступать с решающими предложениями. Но, с другой стороны, я недавно с воли, и я хорошо знаю те новые формы социалистической организации труда (о, Господи!), которые проверены опытом миллионов ударников, и результаты которых мы видим и на Днепрострое и на Магнитострое и на тысячах наших пролетарских новостроек (а опыт сотен тысяч погибших!). Поэтому я, принимая, так сказать, за основу интересное (еще бы!) предложение товарища Наседкина, считал бы нужным его уточнить.

Я поднял голову и встретился глазами со Стародубцевым. В глазах Стародубцева стояло:

— Мели, мели. Не долго тебе молотье-то осталось.

Я посмотрел на Якименко. Якименко ответил подгоняющим «Ну!».

И вот из моих уст полились уточнения пунктов договора, календарные сроки, коэффициент выполнения, контрольные тройки, буксир отстающих, социалистическое совместительство лагерной общественности, выдвигенчество лучших ударников...

Боюсь, что из всей этой абракадабры читатель не поймет ничего. Имею также основание полагать, что в ней вообще никто ничего не понимает. На извилистых путях генеральной линии и пятилеток все это обрело смысл и характер формул знахарского заговора или завываний якутского шамана. Должно действовать на эмоции. Думаю, что действует. После получаса таких заклинаний мне лично хочется кому-нибудь набить морду.

Подымаю голову, мельком смотрю на Якименко, на его лице — насмешка. Довольно демонстративная, но не лишенная некоторой заинтересованности.

— Но помимо аппарата самого УРЧ, — продолжаю я, — есть и низовой аппарат колонн, лагпунктов, барачков. Он, извините за выражение, не годится ни к ... (Если Якименко выражался не вполне литературными формулировками, то в данном случае и мне не следует блюсти излишнюю pruderie). Люди новые, не всегда грамотные и совершенно не в курсе элементарнейших технических требований учетно-распределительской работы. Поэтому в первую голову мы, аппарат УРЧ, должны взяться за них. К каждой группе работников должен быть прикреплен известный лагпункт. Каждый работник должен ознакомить соответственных низовых работников с техникой работы. Товарищ Стародубцев, как наиболее старый и опытный из работников УРЧ, не откажется, конечно, (в глазах Стародубцева вспыхивает мат). Каждый из нас должен дать несколько часов своей работы (Господи, какая чушь! И так работают часов по 17). Нужно отпечатать на пишущей машинке или на гектографе элементарнейшие инструкции.

Я чувствую, что еще несколько уточнений и конкретизации, и я начну молотье окончательный вздор. Я умолкаю.

— Вы кончили, товарищ... ?

— Солоневич, — подсказал Богоявленский.

— Вы кончили, товарищ Солоневич?

— Да, кончил, гражданин начальник.

— Ну, что ж. Это более или менее конкретно. Предлагаю избрать комиссию для проработки. В составе: Солоневич, Наседкин. Ну, кто еще? Ну, вот вы, Стародубцев. Срок — два дня. Кончаем. Уже четыре часа.

Выборы а la soviet кончены. Мы выходим на двор, в тощие сугробы. Голова кружится, и ноги подкашиваются. Хочется есть, но есть решительно нечего. И за всем этим — сознание, что как-то, еще не вполне ясно, как, но все же в борьбе за жизнь, в борьбе против актива, третьей части и стенки какая-то позиция захвачена.

БАРИН НАДЕВАЕТ БЕЛЫЕ ПЕРЧАТКИ

На другой же день Стародубцев глядел окончательным волком. Даже сознание того, что где-то в джунглях третьей части «прорабатывается» его донос, не было достаточно для его полного удовлетворения.

Мой «рабочий кабинет» имел такой вид.

В углу комнаты табуретка. Я сижу на полу, на полене. Надо мною, на полках, вокруг меня на полу и передо мною на табуретке — все

мои дела; их уже пудов пятьдесят. Пятьдесят пудов пестрой бумаги, символизирующей сорок пять тысяч человеческих жизней.

Проходя мимо моего «стола», Стародубцев с демонстративной небрежностью задевает табуретку ногой, и мои дела разлетаются по полу. Я встаю с окончательно сформировавшимся намерением сокрушить Стародубцеву челюсть. В этом христианском порыве меня останавливает голос Якименко:

— Так вот он где. Я оборачиваюсь.

— Послушайте, куда вы к чертям запропастились? Ищу его по всем закоулкам УРЧ. Не такая уж миниатюрная фигура. А вы вот где приткнулись. Что это? Вы здесь и работаете?

— Да, — уныло иронизирую я. — Юрисконсультский и планово-экономический отдел.

— Ну, это безобразия! Не могли себе стола найти?

— Да все уж разобрано.

— *Tarde venientibus* — поленья, — шеголевато иронизирует Якименко. Бывает и так, что — *tarde venientibus* — поленьями.

Якименко понимающим взором окидывает сцену — перевернутую табуретку, разлетевшиеся бумаги, меня, Стародубцева и наши обоюдные позы и выражения лиц.

— Безобразие все-таки. Передайте Богдавленскому, что я приказал найти вам и место, и стул, и стол. А пока пойдете ко мне домой. Мне с вами кое о чем поговорить нужно.

— Сейчас, я только бумаги с полу подберу.

— Бросьте. Стародубцев подберет. Стародубцев, подберите.

С искаженным лицом Стародубцев начинает подбирать. Мы с Якименко выходим из УРЧ.

— Вот идиотская погода, — говорит Якименко тоном, предполагающим мою сочувственную реплику. Я подаю сочувственную реплику. Разговор начинается, так сказать, в светских тонах; погода, еще о художественном театре начнет говорить.

— Я где-то слышал вашу фамилию. Это не ваши книжки по туризму?

— Мои.

— Ну, вот. Очень приятно. Так что мы с вами, так сказать, товарищи по призванию. В этом году собираюсь по Сванетии.

— Подходящие места.

— Вы как шли? С севера? Через Донгуз-Орун?

Ну, чем не черные тюльпаны?

И так шествуем мы, обсуждая прелести маршрутов Вольной Сванетии. Навстречу идет начальник третьей части. Он почтительно берет под козырек. Якименко останавливает его.

— Будьте добры мне на шесть вечера машину. Кстати, вы знакомы?

Начальник третьей части мнется.

— Ну, так позвольте вас познакомить. Это наш известный туристский деятель, тов. Солоневич. Будет вам читать лекции по туризму. Это...

— Да, я уже имею удовольствие знать товарища Непомнящего.

Товарищ Непомнящий берет под козырек, щелкает шпорами к протягивает мне руку. В этой руке — донос Стародубцева, эта рука собирается поставить меня к стенке. Я тем не менеежимаю ее.

— Нужно будет устроить собрание наших работников. Вольнонаемных, конечно. Тов. Солоневич прочтет нам доклад об экскурсиях по Кавказу.

Начальник третьей части опять щелкает шпорами.

— Очень будет приятно послушать.

На всю эту комедию я смотрю с несколько запутанным чувством.

...Приходим к Якименко. Большая чистая комната. Якименко снимает шинель.

— Разрешите, пожалуйста, товарищ Солоневич, я сниму сапоги и прилягу.

— Пожалуйста, — запинаясь я.

— Уже две ночи не спал вовсе. Каторжная жизнь.

Потом, как бы спохватившись, что уж ему-то и в моем-то присутствии о каторжной жизни говорить вовсе уж не удобно, поправляется.

— Каторжная жизнь выпала на долю нашему поколению.

Я отвечаю весьма неопределенным междометием.

— Ну, что ж, товарищ Солоневич. Туризм — туризмом, но нужно и к делам перейти. Я настораживаюсь.

— Скажите мне откровенно. За что вы, собственно сидите?

Я схематически объясняю: работал переводчиком, связь с иностранцами, оппозиционные разговоры.

— А сын ваш?

— По форме — за то же самое. По существу — для компании.

— Н-да. Иностранцев лучше обходить стороной. Ну, ничего. Особенно унывать нечего. В лагере культурному человеку, особенно если с головой, не так уж плохо. — Якименко улыбнулся не без некоторого цинизма. — По существу не такая уж жизнь и на воле. Конечно, первое время тяжело. Но люди ко всему привыкают. И, конечно, восьми лет вам сидеть не придется. Я благодарю Якименко за утешение.

— Теперь дело вот в чем. Скажите мне откровенно, какого вы мнения об аппарате УРЧ?

Мне нет никакого смысла скрывать это мнение.

— Да, конечно. Но что поделаешь? Другого аппарата нет. Я надеюсь, что вы поможете мне его наладить. Вот вы вчера говорили об инструкциях низовым работникам. Я вас для этого, собственно говоря и побеспокоил. Сделаем вот что. Я вам расскажу, в чем заключается работа всех звеньев аппарата, а вы на основании этого напишете эти инструкции. Так, чтобы было коротко и ясно самым дубовым мозгам. Пишите вы, помнится, недурно.

Я скромно склоняю голову.

— Но, видите ли, товарищ Якименко, я боюсь что на мою помощь трудно рассчитывать. Здесь пустили сплетню, что я украл и сжег несколько десятков дел, и я ожидаю...

Я смотрю на Якименку и чувствую, как внутри что-то начинает вздрагивать.

На лице Якименки появляется вчерашняя презрительная гримаса.

— Ах, это? Плюньте.

Мысли и ощущения летят стремительной путаницей. Еще вчера была почти полная безвыходность. Сегодня — плюньте. Якименко не врет, хотя бы потому, что врать у него нет никакого основания. Неужели, это в самом деле Шпигель? Папироска в руках дрожит мелкой дрожью. Я опускаю ее под стол.

— В данных условиях не так легко плюнуть. Я здесь человек новый.

— Чепуха все это. Я этот донос... это дело видал. Сапоги в смятку. Просто Стародубцев пропустил все сроки, запутался и кинул все печку. Я его знаю. Вздор. Я это дело прикажу ликвидировать.

В голове становится как-то покойно и пусто. Даже нет особого облегчения. Что-то вроде растерянности.

— Разрешите вас спросить, товарищ Якименко, — почему вы поверили, что это вздор?

— Ну, знаете ли. Видал же я людей. Чтобы человек вашего типа, кстати и ваших статей, — улыбнулся Якименко, — стал покупать месья какому-то несчастному Стародубцеву ценой примерно... сколько это будет? Там, кажется, семьдесят дел. Да? Ну, так значит, в сумме лет сто лишнего заключения. Согласитесь сами, непохоже.

— Мне очень жаль, что вы не вели моего дела в ГПУ.

— В ГПУ — другое. Чаю хотите?

Приносят чай, с лимоном, сахаром и печеньем.

В срывах и взлетах советской жизни, где срыв — это смерть, а взлет — немного тепла, кусок хлеба и несколько минут сознания безопасности, я сейчас чувствую себя на каком-то взлете, несколько фантастическом.

Возвращаюсь в УРЧ в каком-то тумане. На улице уже темновато. Меня окликает резкий, почти истерический, вопросительный возглас Юры:

— Ватик? Ты?

Я оборачиваюсь. Ко мне бегут Юра и Борис. По лицам их я вижу, что что-то случилось. Что-то очень тревожное.

— Что, Ва, выпустили?

— Откуда выпустили?

— Ты не был арестован?

— И не собирался, — неудачно иронизирую я.

— Вот, сволочи! — с сосредоточенной яростью и вместе с тем с каким-то мне еще не понятным облегчением говорит Юра. — Вот, сволочи!

— Подожди, Юрчик, — говорит Борис. — Жив, и не в третьей части, и слава Тебе, Господи. Мне в УРЧ Стародубцев и прочие сказали, что ты арестован самим Якименкой, начальником третьей части и патрулями.

— Стародубцев сказал?

— Да.

У меня к горлу подкатывает острое желание обнять Стародубцева и прижать его так, чтобы и руки и грудь чувствовали, как медленно хрустит и лопается его позвоночник. Что должны были пережить и Юра и Борис за те часы, что я сидел у Якименки, пил чай и вел хорошие разговоры?

Но Юра уже дружественно тычет меня кулаком в живот, а Борис столь же дружественно обнимает меня своей пудовой лапой. У Юры в голосе слышны слезы. Мы торжественно в полутьме вечера целуемся, и меня охватывает огромное чувство и нежности и уверенности. Вот здесь два самых моих близких и родных человека на этом весьма неуютно оборудованном земном шаре. И неужели же мы, при нашей спайке, при абсолютном «все за одного, и один за всех» пропадем? Нет, не может быть. Нет, не пропадем!

Мы тискаем друг друга и говорим разные слова, милые, ласковые и совершенно бессмысленные для всякого постороннего уха, наши семейные слова. И как будто тот факт, что я еще не арестован, что-нибудь предрешает для завтрашнего дня; ведь, ни Борис, ни Юра о якименковском «плюньте» не знают еще ничего. Впрочем, здесь действительно *carpe diem*: сегодня живы и то слава Богу.

Я торжественно высвобождаюсь из братских и сыновних тисков и столь же торжественно провозглашаю.

— А теперь, милостивые государи, последняя сводка с фронта победы — Шпигель.

— Ватик, всерьез? Честное слово?

— Ты, Ва, в самом деле, не трепли зря нервов, — говорит Борис.

— Я совершенно всерьез. — и я рассказываю весь разговор с Якименкой.

Новые тиски, и потом Юра тоном полной непогрешимости говорит:

— Ну, вот. Я ведь тебя предупреждал. Если совсем плохо, то Шпигель какой-нибудь должен же появиться, иначе как же.

Увы, со многими бывает и иначе.

...Разговор с Якименкой, точно списанный со страниц Шехерезады, сразу ликвидировал все: и донос и третью часть и перспективы — или стенки или побега на верную гибель, активистские поползновения и большую часть работы в урчевском бедламе.

Вечерами вместо того, чтобы коптиться в махорочных туманах УРЧ, я сидел в комнате Якименки, пил чай с печеньем и выслушивал якименковские лекции о лагере. Их теоретическая часть в сущности ничем не отличалась от того, что мне в теплушке рассказывал уголовный коновод Михайлов. На основании этих сообщений я писал инструкции. Якименко предполагал издать их для всего ББК и даже предложить Гулагу. Как я узнал впоследствии, он так и поступил. Авторская подпись

была, конечно, его. Скромный капитал своей корректности и своего печенья он затратил не зря.

БАМ— БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ

МАРКОВИЧ ПЕРЕКОВЫВАЕТСЯ

Шагах в двухстах от УРЧ стояла старая, схилившаяся на бок бревенчатая избушка. В ней помещалась редакция лагерной газеты «Перековка», с ее редактором Марковичем, поэтом и единственным штатным сотрудником Трошиным, наборщиком Мишей и старой, разболтанной бостонкой. Когда мне удавалось вырваться из Урчевского бедлама, я нырял в низенькую дверь избушки и отводил там свою наболевшую душу. Там можно было посидеть полчаса-час вдали от Урчевского мата, прочесть московские газеты и почерпнуть кое-что из житейской мудрости Марковича.

О лагере Маркович знал все. Это был благодушный американизированный еврей из довоенной еврейской эмиграции в Америку.

— Если вы в вашей жизни не видали настоящего идиота, так смотрите, пожалуйста, на меня.

Я смотрел. Но ни в плюгавой фигурке Марковича, ни в его устало насмешливых глазах не было ничего особенно идиотского.

— А вы такой анекдот о еврее гермафродите знаете? Нет? Так я вам расскажу.

Анекдот для печати не пригоден. Маркович же лет семь тому назад перебрался сюда из Америки. «Мне, видите ли, кусочек социалистического рая пощупать захотелось. А? Как вам это нравится? Ну, не идиот?»

Было у него 27.000 долларов, собранных на ниве какой-то комиссионерской деятельности. Само собою разумеется, что на советской границе ему эти доллары обменяли на советские рубли, не известно уже, какие именно, но, конечно, по паритету рубль — за 50 центов.

— Ну, вы понимаете, тогда я совсем, как баран был. Словом, обменяли. Потом обложили. Потом снова обложили так, что я пришел в финотдел и спрашиваю: так сколько же вы мне самому оставить собираетесь — я уже не говорю в долларах, а хотя бы в рублях. Или мне, может быть, к своим деньгам еще и приплачивать придется? Ну, они

меня выгнали вон. Короче говоря, у меня уже через полгода ни копейки не осталось. Чистая работа. Хе. Ничего себе, шуточки — 27 тысяч долларов!

Сейчас Маркович редактировал «Перековку». Перековка — это лагерный термин, обозначающий перевоспитание, перековку всякого рода правонарушителей в честных советских граждан. Предполагается, что советская карательная система построена не на наказании, а на перевоспитании человеческой психологии, и что вот этакий каторжный лагерный труд в голоде и холоде возбуждает у преступников творческий энтузиазм, пафос построения бесклассового социалистического общества; и что проработав таким способом лет шесть-восемь, человек, ежели не подохнет, вернется на волю, исполненный трудовым рвением и коммунистическими инстинктами. «Перековка» в кавычках была призвана славословить перековку без кавычек.

Нужно отдать справедливость, «Перековка» даже и по советским масштабам была потрясающе паршивым листком. Ее содержание сводилось к двум моментам: энтузиазм и доносы. Энтузиазм испускал сам Маркович, для доносов существовала сеть лагкоров — лагерных корреспондентов, которая вынохивала всякие позорящие факты на счет недовыработки норм, полового сожительства, контрреволюционных разговоров, выпивок, соблюдения религиозных обрядов, отказов от работы и прочих грехов лагерной жизни.

— Вы знаете, Иван Лукьянович, — говорил Маркович, задумчиво взирая на свое творение, — вы меня извините за выражение, но такой газеты в приличной стране и в уборную не повесят.

— Так бросьте ее к черту!

— Хе. А что я буду без нее делать? Надо же мне свой срок отработывать. Раз уже я попал в социалистический рай, так нужно быть социалистическим святым. Здесь же вам не Америка. Это я уже знаю — за эту науку я заплатил тысячу тридцать долларов и пять лет каторги. И еще лет пять осталось сидеть. Почему я должен быть лучше Горького? Скажите, кстати, вот вы недавно с воли, ну, что такое Горький? Ведь, это же писатель?

— Писатель, — подтверждаю я.

— Это же все-таки не какая-нибудь совсем сволочь; ну, я понимаю — я. Так я ведь на каторге. Что я сделаю? И вы знаете, возьмите Медгорскую «Перековку» (центральное издание в Медгоре), так она, ей Богу, еще хуже моей. Ну, конечно. И я уже не краснею. Но все-таки я стараюсь, чтобы моя «Перековка» ну... не очень уж сильно воняла... Какие-нибудь там доносы, если они вредные, так я их не

пускаю, ну и все такое. Так я — каторжник. А Горький? В чем дело с Горьким? Что, у него денег нет? Или он на каторге сидит? Он же старый человек, зачем ему в проститутки идти?

— Можно допустить, что он верит во все, что пишет. Вот вы ведь верили, когда сюда ехали.

— Ну, это вы оставьте. Я верил ровно два дня,

— Да. Вы верили, пока у вас не отняли денег. Горький не верил, пока ему не дали денег. Деньги определяют бытие, а бытие определяет сознание. — иронизирую я.

— Гм. Так вы думаете, деньги? Слава? Реклама? Не знаю. Только, вы знаете, когда я начал редактировать эту «Перековку», так мне сначала было стыдно по лагерю ходить. Потом ничего, привык. А за Горького, так мне до сих пор стыдно.

— Не вам одному.

В комнатуху Марковича, в которой стояла даже кровать, неслыханная роскошь в лагере, удирал из УРЧ Юра, забегал с Погры Борис. Затапливали печку. Мы с Марковичем сворачивали по грандиозной козье ножке, гасили свет, чтобы со двора даже через заклеенные бумагой окна ничего не было видно, усаживались «у камина» и отводили душу.

— А вы говорите, лагерь, — начинал Маркович, пуская в печку клуб махорочного дыма. А кто в Москве имеет такую жилплощадь, как я в лагере? Я вас спрашиваю, кто? Ну, Сталин. Ну, еще тысяча человек. Я имею отдельную комнату. Я имею хороший обед. Ну, конечно, по благу, но имею. А что вы думаете, если мне завтра нужны новые штаны, так я штанов не получу? Я их получу. Не может же советское печатное слово ходить без штанов. И потом, вы меня слушайте, товарищи, я ей Богу, стал умный; знаете, что в лагере совсем-таки хорошо? Знаете? Нет? Так я вам скажу. Это — ГПУ.

Маркович обвел нас победоносным взглядом.

— Вы не смейтесь. Вот вы сидите в Москве, у вас начальство — раз, профсоюз — два, комячейка — три, домком — четыре, жилкооп — пять, ГПУ — и шесть, и семь, и восемь. Скажите, пожалуйста, что вы, живой человек или протоплазма? А если вы живой человек, так как вы можете разорваться на десять частей? Начальство требует одно, профсоюз требует другое, домком же вам вообще жить не дает. ГПУ ничего не требует и ничего не говорит, и ничего вы о нем не знаете. Потом раз — и летит Иван Лукьянович, ну вы знаете, куда. Теперь возьмите в лагере. Ильиных — начальник отделения. Он — мое начальство, он — мой профсоюз, он — мое ГПУ, он мой царь, он мой

Бог. Он может со мною сделать все, что захочет. Ну, конечно, хорошенькой женины он из меня сделать не может. Но, скажем, он из меня может сделать не мужчину; вот посидите вы с годик на Леской речке, так я посмотрю, что от такого бугая, как вы, останется. Но, спрашивается, зачем Ильиных гноить меня а Лесной Речке или меня расстреливать? Я знаю, что ему от меня нужно. Ему нужен энтузиазм — на тебе энтузиазм. Вот постоит, я вам прочту. Маркович поворачивается и извлекает откуда-то из-за спины со стола клочок бумаги с отпечатанным на нем заголовком.

— Вот, послушайте: «Огненным энтузиазмом ударники Белморстроя поджигают большевицкие темпы Подпорожья». Что, плохо?

— Н-да. Заворочено здорово, — с сомнением окликается Борис. — Только вот насчет «полагают» — как-то не тово.

— Не тово? Ильиных нравится? Нравится. Ну и черт с ним, с вашим «не тово». Что вы думаете, я в нобелевскую премию лезу? Мне дай Бог из лагеря вылезти. Так вот я вам и говорю. Если вам в Москве нужны штаны, так вы идете в профком и клянчите ордер. Так вы этого ордера там не получаете. А если получаете ордер, так не получаете штанов. А если вы такой счастливый, что получаете штаны, так или не тот размер или на зиму — летние, а на лето — зимние. Словом, это вам не штаны, а болезнь. А я приду к Ильиных, он мне записку — и кончено. Маркович ходит в штанах и не конфузится. И никакого ГПУ я не боюсь. Во-первых, я все равно уже в лагере, так мне вообще более или менее наплевать. А во-вторых, лагерное ГПУ — это сам Ильиных. А я его вижу, как облупленного. Вы знаете, если уж непременно нужно, чтобы было ГПУ, так уж пусть оно будет у меня дома. Я по крайней мере буду знать, с какой стороны оно кусается, так я его с той самой стороны за пять верст обойду.

Борис в это время переживал тяжкие дни. Если мне было тошно в УРЧ, где загубленные человеческие жизни смотрели на меня только этакими растрепанными символами из ящиков с личными делами, то Борису приходилось присутствовать при ликвидации этих жизней совсем в реальности, без всяких символов. Лечить было почти нечем. И кроме того, ежедневно в санитарную ведомость лагеря приходилось вписывать цифру, обычно однозначную, сообщаемую из третьей части и означающую число расстрелянных. Где и как их расстреливали, официально оставалось неизвестным. Цифра эта проставлялась в графу «Умершие вне лагерной черты», и Борис на соответственных личных карточках должен был изобретать диагнозы и писать exitus laetalis. Это были расстрелы втихомолку — самый распространенный вид расстрела в СССР.

Борис — не из унывающих людей. Но и ему, видимо, становилось невмоготу. Он пытался вырваться из санчасти, но врачей было мало, к его не пускали. Он писал в «Перековку» призывы насчет лагерной санитарии, ибо близилась весна, и что будет в лагере, когда растают все эти уборные, страшно было подумать. Маркович очень хотел перетащить его к себе, чтобы иметь в редакции хоть одного грамотного человека; сам-то он в российской грамоте был не очень силен, но этот проект имел мало шансов на осуществление. И сам Борис не очень хотел окуна́ться в «Перековку», и статьи его приговора представляли весьма существенное препятствие.

— Эх, Борис Лукьянович и зачем вы занимались контрреволюцией? Ну, что вам стоило просто зарезать человека? Тогда вы были бы здесь социально близким элементом, и все было бы хорошо. Но статьи — это уж я устрою. Вы только из санчасти выкрутитесь... Ну, я знаю как? Ну дайте кому-нибудь вместо касторки стрихнина... Нет ни касторки, ни стрихнина? Ну, так что-нибудь в этом роде. Вы же врач, вы же должны знать. Ну, отрежьте вместо от замороженной ноги здоровую. Ничего вам не влетит, только с работы снимут, а я вас сейчас же устрою... Нет, шутки — шутками, а надо же как-то друг другу помогать. Но только куда я дену Трошина? Ведь он же у меня в самых глубоких печенках сидит.

Трошин был поэт колоссального роста и оглушительного баса. Свои неизвестные мне грехи он замаливал в стихах, исполненных нестерпимого энтузиазма. И кроме того «пригвождал к позорному столбу» или, как говорил Маркович, к позорным столбцам «Перековки» всякого рода прогульщиков, стяжателей, баптистов, отказчиков, людей, которые молятся и людей, которые «сожительство́ют в половом отношении» — ну и прочих грешных мира сего. Он был густо глуп и приводил Марковича в отчаяние.

— Ну, вы подумайте. Ну, что я с ним буду делать? Вчера было узкое заседание: Якименко, Ильиных, Богоявленский — самая, знаете, верхушка. И мы с ним от редакции были. Ну, так что вы думаете? Так он стал опять про пламенный энтузиазм орать. Как бык орет. Я уж ему на ногу наступал: мне же не удобно, это же мой сотрудник.

— Почему же не удобно? — спрашивает Юра.

— Ох, как же вы не понимаете? Об энтузиазме можно орать ну там в газете, ну на митинге. А тут же люди свои. Что, они не знают? Это же вроде старорежимного молебна — никто не верит, а все ходят. Такой порядок.

— Почему же это, никто не верит?

— Ой, Господи! Что, губернатор верил? Или вы верили? Хотя вы уже после молебнов родились. Ну, все равно. Словом, нужно же понять, что если я, скажем, перед Якименкой буду орать про энтузиазм, а в комнате никого больше нет, так Якименко подумает, что или я дурак, или я его за дурака считаю. Я потом Трошина спросил: так кто же, по его, больше дурак — Якименко или он сам? Ну, так он меня матом обложил. А Якименко меня сегодня спрашивает: что это у вас за... как это... орясина завелась? Скажите, кстати, что такое орясина?

Я по мере возможности объяснил.

— Ну, вот. Конечно, орясина. Мало того, что он меня дискредитирует, так он меня еще закопает. Я уже чувствую, что он меня закопает. Ну, вот смотрите. Вот его заметка. Я ее, конечно, не помешу. Он, видите ли, открыл, что завхоз сахар крадет. А? Как вам нравится это открытие? Подумаешь, Христофор Колумб нашелся. Без него, видите ли, никто не знал, что завхоз не только сахар, а что угодно ворует. Но черт с ней, с заметкой. Я ее не помешу — и точка. Так этот, как вы говорите? Орясина? Так эта орясина ходит по лагерю и, как бык, орет, какой я активный! Я разоблачил завхоза, я открыл конкретного носителя зла. Я ему говорю: вы сами, товарищ Трошин, конкретный носитель идиотизма.

— Но почему же идиотизма?

— Ох, вы меня, Юрочка, извините, только вы еще совсем молодой. Уж раз он завхоз, так как же он может не красть?

— Но почему же не может?

— Вам все почему да почему. Знаете, как у О'Генри: «Папа, а почему в дыре ничего нет?» Потому и нет, что она дыра. Потому он и крадет, что он завхоз. Вы думаете, что если к нему придет начальник лагпункта и скажет, дай мне два кила, так завхоз может ему не дать? Или вы думаете, что начальник лагпункта пьет чай только со своим пайковым сахаром?

— Ну, если не даст, снимут его с работы.

— Ох, я же вам говорю, что вы совсем молодой.

— Спасибо.

— Ничего, не плачьте. Вот еще поработаете в УРЧ, так вы еще на пол-аршина вырастаете. Что, вы думаете, что начальник лагпункта это такой же дурак, как Трошин? Вы думаете, что начальник лагпункта может устроить так, чтобы уволенный завхоз ходил по лагерю и говорил: вот я не дал сахару, так меня сняли с работы! Вы эти самые карточки в УРЧ выдали? Так вот, карточка завхоза попадет на первый же этап на Морсплав или какую-нибудь там Лесную Ручку. Ну, вы, вероятно, знаете

уже, как это делается. Так ночью завхоза разбудят, скажут: собирай вещи, а утром поедет себе завхоз к чертовой матери. Теперь понятно?

— Понятно.

— А если завхоз ворует для начальника лагпункта, то почему он не будет воровать для начальника УРЧ? Или, почему он не будет воровать для самого себя? Это же нужно понимать. Если Трошин разоряется, что какой-то там урка филонит, а другой урка перековался, так от этого же никому ни холодно, ни жарко. И одному урке плевать: он всю свою жизнь филонит; и другому урке плевать: он всю свою жизнь воровал и завтра опять проворуется. Ну, а завхоз? Я сам из-за этого десять лет получил.

— То есть, как так из-за этого?

— Ну, не из-за этого. Ну, в общем был заведующим мануфактурным кооперативом. Так же тоже есть вроде нашего начальника лагпункта. Как ему не дашь? Одному дашь, другому дашь, а всем ведь дать нельзя. Ну, я еще тоже молодой был. Хе. Даром, что в Америке жил. Ну, вот и десять лет.

— И, так сказать, не без греха?

— Знаете что, Иван Лукьянович, чтобы доказать вам, что без греха — давайте чай пить с сахаром. Мишка сейчас чайник поставит. Так вы увидите, что я перед вами не хочу скрывать даже лагерного сахара. Так зачем же бы я стал скрывать нелегальную мануфактуру, за которую я все равно уже пять лет отсидел? Что, не видал я этой мануфактуры? Я же из Америки привез костюмов — на целую Сухаревку хватило бы. Теперь я живу без американских костюмов и без американских правил. Как это говорит русская пословица: в чужой монастырь со своей женой не суйся. Так? Кстати, о жене; мало того, что я дурак сюда приехал, так я, идиот, приехал сюда с женой.

— А теперь ваша жена где?

Маркович посмотрел в потолок.

— Вы знаете, И.Л., зачем спрашивать о жене человека, который уже шестой год сидит в концлагере? Вот я через пять лет о вашей жене спрошу.

МИШИНА КАРЬЕРА

Миша принес чайник, наполненный снегом и поставил его на печку.

— Вот вы этого парня спросите, что он о нашем поэте думает. — сказал Маркович по-английски.

Приладив чайник на печку, Миша стал запихивать в нее бревно, спертое давеча из разоренной карельской избушки.

— Ну, как вы, Миша, с Трошиным уживаетесь? — спросил я.

Миша поднял на меня свое вихрастое, чахоточное лицо.

— А что мне с ним уживаться? Бревно и бревно. Вот только в третью часть бегают.

Миша был парнем великого спокойствия. После того, что он видел в лагере, мало осталось в мире вещей, которые могли бы его удивить.

— Вот тоже, — прибавил он, помолчавши. — Приходит давеча сюда, никого не было, только я. Ты, говорит, Миша, посмотри, что с тебя советская власть сделала. Был ты, говорит, Миша, беспризорным. Был ты, говорит, Миша, преступным элементом. А вот тебя советская власть в люди вывела, наборщиком сделала.

Миша замолчал, продолжая ковыряться в печке.

— Ну, так что?

— Что? Сукин он сын, вот что.

— Почему же сукин сын? Миша снова помолчал.

— А беспризорником-то меня кто сделал? Папа и мама? А от кого у меня чахотка третьей степени? Тоже награда, подумаешь. Через полгода выпускают, а мне всего год жить осталось. Что а он, сукин сын, меня агитирует? Что он с меня дурака разыгрывает?

Миша был парнем лет двадцати, тощим, бледным, вихрастым. Отец его был мастером на николаевском судостроительном заводе. Был свой домик, мать, сестры. Мать померла, отец повесился, сестры смылись, не известно, куда. Сам Миша пошел «по всем дорогам», попал в лагерь, а в лагере лопал на лесозаготовки.

— Как доставили меня на норму, тут вижу я, здоровые мужики, привычные и то не вытягивают. А куда же мне? На меня дунь — свалюсь. Бился я, бился, да так и попал за филонство в изолятор, на 200 грамм хлеба в день и ничего больше. Ну, там бы я и загиб, да, спасибо, один старый соловчанин подвернулся, так он меня научил, чтобы воды не пить. Потому от голода опухлость по всему телу идет. От голода пить хочется, а от воды опухлость еще больше. Вот, как она до сердца дойдет, тут значит и крышка. Ну, я пил совсем помалу. Так по полстакана в день. Однако, нога в штанину уже не влезала. Посидел я так месяц, другой. Ну, вижу, пропадать приходится, никуда не денешься. Да спасибо, начальник добрый попался. Вызывает меня. Ты, говорит, филон. Ты, говорит, работать не хочешь; я тебя на корню сгною. Я ему говорю, вы, гражданин

НАБАТ

начальник, только на мои руки посмотрите. Куда же мне с такими руками семь с половиной кубов напилить и нарубить. Мне, говорю, все одно погибать — чи так, чи так. Ну, пожалел, перевел в слабосилку.

Из слабосилки Мишу вытянул Маркович, обучил его наборному ремеслу, и с тех пор Миша пребывает при нем неотлучно.

Но легких у Миши практически уже почти нет. Борис его общупывал и обстукивал, снабжал его рыбьим жиром. Миша улыбался своей тихой улыбкой и говорил:

— Спасибо, Б.Л., вы уж кому-нибудь другому лучше дайте. Мне это все одно уж поздно. Потом я как-то подсмотрел такую сценку. Сидит Миша на крылечке своей «типографии» в своем рваном бушлатишке, весь зеленый от холода. Между его коленями стоит местная деревенская «вольная» девчушка, лет этак десяти, рваная, голодная и босая. Миша остороженько наливает драгоценный рыбий жир на ломтик хлеба и кормит этими бутербродами девчушку. Девчушка глотает жадно, почти не пережевывая и в промежутках между глотками скулит:

— Дяденька, а ты мне с собой хлебца дай.

— Не дам. Я знаю, ты матке отдашь. А матка у тебя старая. Ей, что мне, все равно помирать. А ты вот кормиться будешь — большая вырастешь. На, ешь.

Борис говорил Мише всякие хорошие вещи о пользе глубокого дыхания, о солнечном свете, о силах молодого организма — лечение, так сказать, симпатическое, внушением. Миша благодарно улыбался, но как-то наедине, застенчиво и запинаясь, сказал мне:

— Вот, хорошие люди и ваш брат и Маркович. Душевные люди. Только зря они со мною возжаются.

— Почему же, Миша, зря?

— Да я же через год все равно помру. Мне тут старый доктор один говорил. Разве ж с моей грудью можно выжить здесь? На воле, вы говорите? А что на воле? Может, еще голоднее будет, чем здесь. Знаю я волю. Да и куда я там пойду? И вот Маркович. Душевный человек. Только вот, если бы он тогда меня из слабосилки не вытянул, я бы уже давно помер. А так вот еще мучаюсь. И еще с годик придется помучиться.

В тоне Миши был упрек Марковичу. Почти такой же упрек только в еще более трагических обстоятельствах пришлось мне услышать, на этот раз по моему адресу, от профессора Авдеева. А Миша в мае помер. Года промучиться еще не пришлось.

Так мы проводили наши редкие вечера у печки товарища Марковича, то опускаясь в философские глубины, то возвращаясь к прозаическим вопросам о лагере, о еде, о рыбьем жире. В эти времена рыбий жир спасал нас от окончательного истощения. Если для среднего человека канцелярская кухня означала стабильное недоедание, то, скажем, для Юры с его растущим организмом и пятью с половиной пудами весу, лагерное меню грозило полным истощением. Всякими правдами и неправдами (преимущественно, конечно, неправдами) мы добывали рыбий жир и делали так: в миску крошилось с полфунта хлеба и наливалось с полстакана рыбьего жира. Это казалось необыкновенно вкусным; в такой степени, что Юра проектировал, когда переберемся за границу, обязательно будем устраивать себе такой пир каждый день. Когда перебрались, попробовали. Ничего не вышло.

К этому времени горизонты наши прояснились, будущее стало казаться полным надежд, и мы, изредка выходя на берег Свири, оглядывали прилегающие леса и вырабатывали планы переправы через реку, на север, в обход Ладожского озера — тот приблизительно маршрут, по которому впоследствии пришлось идти Борису... Все казалось прочным и урегулированным.

Однажды мы сидели у печки Марковича. Сам он где-то мотался по редакционно-агитационным делам. Поздно вечером он вернулся, погрел у огня иззябшие руки, выглянул в соседнюю дверь, в наборную и таинственно сообщил:

— Совершенно секретно: едем на БАМ. Мы, разумеется, ничего не понимали.

— На БАМ. На Байкало-Амурскую магистраль. На Дальний Восток. Стратегическая стройка. Свирьстрой к черту. Подпорожье к черту. Все отделения сворачиваются. Все, до последнего человека — на БАМ.

По душе пробегал какой-то еще не определенный холодок. Вот и поворот судьбы лицом к деревне. Вот и мечты, планы, маршруты и «почти обеспеченное бегство». Все это летело в таинственную и жуткую неизвестность этого набатного звука БАМ. Что же дальше?

Дальнейшая информация Марковича была несколько сбивчива. Начальником отделения получен телеграфный приказ о немедленной, в течение двух недель, переброске не менее 35.000 заключенных со Свирьстроя на БАМ. Будут брать, видимо, не всех, но кого именно — неизвестно. Не очень известно, что такое БАМ. Не то стройка второй колеи Амурской железной дороги, не то новый путь от северной

оконечности Байкала по параллели к Охотскому морю. И то и другое приблизительно одинаково скверно. Но хуже всего дорога. Не меньше двух месяцев езды.

Я вспомнил наши кошмарные пять суток этапа от Ленинграда до Свири, помножил эти пять суток на 12 и получил результат, от которого по спине поползли мурашки. Два месяца! Да кто же это выдержит? Маркович казался пришибленным, да и все мы чувствовали себя придавленными этой новостью. Каким-то еще не снявшимся кошмаром вставали эти шестьдесят суток заметенных пургой полей, ледяного ветра, прорывающегося в дыры теплушек холода, голода, жажды. И потом БАМ. Какие-то якутские становища в страшной Забайкальской тайге. Новостройки на трупах. Как было на канале, о котором один старый беломорстроевец говорил мне: «Тут, братишка, на этих самых плотинах больше людей в землю вогнано, чем бревен...»

Оставался, впрочем, маленький просвет: эвакуационным директором Подпорожья назначался Якименко. Может быть, тут удастся что-нибудь скомбинировать. Может быть, опять какой-нибудь Шпигель подвернется. Но мне все эти просветы были неясны и нереальны. БАМ же вставал перед нами зловещей и реальной массой, навалившейся на нас так же внезапно, как чекисты в вагоне номер 13.

ЗАРЕВО

Совершенно секретная информация о БАМе на другой день стала известна всему лагерю. Почти пятидесятитысячная «трудовая» армия стала, как вкопанная. Был какой-то момент нерешительности, колебания, и потом все сразу полетело ко всем чертям.

В тот же день, когда Маркович ошарашил нас этим БАМом, из Ленинграда, Петрозаводска и Медвежьей Горы в Подпорожье прибыли и новые части войск ГПУ. Лагерные пункты были окружены плотным кольцом ГПУских застав и патрулей. Костры этих застав окружали Подпорожье заревом небывалых пожаров. Движение между лагерными пунктами было прекращено. По всякой человеческой фигуре, показывающейся вне дорог, заставы и патрули стреляли без предупреждения. Таким образом, в частности, было убито десятка полтора местных крестьян, но в общих издержках революции эти трупы, разумеется, ни в какой счет не шли.

Над тысячами метров развешенных в бараках и на бараках, протянутых над лагерными улицам полотнищ с лозунгами о перековке и переплавке, строительстве социализма и бесклассового общества, о мировой революции трудящихся и о прочем; над всеми нами, над всем

лагерем точно повис багровой спиралью один единственный невидимый, но самый действенный — все равно пропадать.

Работы в лагере были брошены все. На местах работ были брошены топоры, пилы, ломы, лопаты, сани. В ужасающем количестве появились саморубы. Старые лагерники, зная, что значит двухмесячный этап, рубили себе кисти рук, ступни, колени, лишь бы только попасть в амбулаторию и отвертеться от этапа. Начались совершенно бессмысленные кражи и налеты на склады и магазины. Люди пытались попасть в штрафной изолятор и под суд, лишь бы уйти от этапа. Но саморубов приказано было в амбулаторию не принимать, налетчиков стали расстреливать на месте,

«Перековка» вышла с энтузиазмом в том энтузиазме, с которым «ударники Свирьстроя будут поджигать большевицкие темпы БАМа», о великой чести, выпавшей на долю БАМовских строителей и — что было хуже всего — о льготах. Приказ Гулага обещал ударникам БАМа неслыханные льготы: сокращение срока заключения на одну треть и даже на половину, перевод на колонизацию, снятие судимости. Льготы пронесли по лагерю, как похоронный звон над заживо погребенными: советская власть даром ничего не обещает. Если дают обещания, значит, что условия работы будут неслыханными и никак не значит, что обещания будут выполнены. Когда же советская власть выполняет свои обещания?

Лагпунктами овладело безумие.

Бригада плотников на втором лагпункте изрубила топорами чекистскую заставу и, потеряв при этом 11 человек убитыми, прорвалась в лес. Лес был завален метровым слоем снега. Лыжные команды ГПУ в тот же день настигли прорвавшуюся бригаду и ликвидировали ее на корню. На том же лагпункте ночью спустили под откос экскаватор, он проломил своей страшной тяжестью полуметровый лед и разбился о камни реки. На третьем лагпункте взорвали два локомотива. Три трактора тягача, не известно кем пущенные, но без водителей, прошли железными привидениями по Погре, один навалился на барак столовой и раздавил его, два других свалились в Свирь и разбились. Низовая администрация какими-то таинственными путями, видимо, через урок и окрестных крестьян распродала на олонецком базаре запасы лагерных баз и пила водку. У погрузочной платформы железнодорожного тупичка подожгли колоссальные склады лесоматериалов. В двух-трех верстах можно было читать книгу.

Чудовищные зарева сполохами ходили по низкому зимнему небу, трещала винтовочная стрельба, ухал разворованный рабочими

аммонал. Казалось, для этого затерянного в лесах участка Божией земли наступили последние дни.

О КАЗАНСКОЙ СИРОТЕ И О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ

Само собою разумеется, что в отблесках этих зарев коротенькому промежутку относительно мирного житья нашего пришел конец. Если на лагерных пунктах творилось нечто апокалиптическое, то в УРЧ воцарился окончательный сумасшедший дом. Десятки пудов документов только что прибывших лагерников еще валялись неразобранными кучами, а всю работу УРЧ надо было перестраивать на ходу; вместо организации — братья за эвакуацию. Картотеки, формуляры, колонные списки — все это смешалось в гигантский бумажный ком, из которого ошалелые урчевцы извлекали наугад первые попавшиеся под руку бумажные символы живых людей и наспех составляли списки первых эшелонов. Эти списки посылались начальникам колонн, а начальники колонн поименованных в списке людей и слыхом не слыхали. Железная дорога подавала составы, но грузить их было нечем. Потом, когда было кем грузить, не было составов. Низовая администрация, ошалелая, запуганная «боевыми приказами», движимая тем же лозунгом, что и остальные лагерники — все равно пропадать, пьянствовала и отсыпалась во всякого рода потайных местах. На тупичках Погры торчало уже шесть составов. Якименко рвал и метал. ВОХР сгонял к составам толпы захваченных в порядке облав заключенных. БАМовская комиссия отказывалась принимать их без документов. Какие-то сообразительные ребята из подрывников взорвали уворованным аммоналом железнодорожный мост, ведущий от Погры к магистральным путям.

Над лесами выла вьюга. В леса, топорами прорубая пути сквозь чекистские заставы, прорывались целые бригады в расчете где-то отсидеться эти недели эвакуации, потом явиться с повинной, получить лишние пять лет отсидки, но все же вернуться от БАМа.

Когда плановый срок эвакуации уже истекал, из Медгоры прибыло подкрепление — десятков пять работников УРО, специалистов учетно-распределительной работы, еще батальон войск ГПУ и сотня собак ищек.

На лагпунктах и около лагпунктов стали расстреливать безо всякого зазрения совести.

Урчевский актив переживал дни каторги и изобилия. Спали только урывками, обычно здесь же на столах или под столами. Около УРЧ околачивались таинственные личности из наиболее оборотистых и

«социально близких» урок. Личности эти подносили активу подношения от тех людей, которые надеялись бутылкой водки откупиться от отправки или по крайней мере от отправки с первыми эшелонами. Якименко внюхивался в махорочно-сивушные ароматы УРЧ, сажал под арест, но сейчас же выпускал: никто, кроме Стародубцева и иже с ним никакими усилиями не мог определить, в каком хотя бы приблизительно углу валяются документы, скажем, третьего смоленского или шестого ленинградского эшелона, прибывшего в Подпорожье месяц или два тому назад.

Мои экономические, юридические и прочие изыскания были ликвидированы в первый же день БАМовской эпопеи. Я был пересажен за пишущую машинку — профессия, которая оказалась здесь дефицитной. Бывало и так, что я сутками не отходил от этой машинки. Но, Боже ты мой, что это была за машинка!

Это было советское изделие советского казанского завода, почему Юра и прозвал ее «казанской сиротой». Все в ней звенело, гнулось и разбалтывалось. Но хуже всего был ее нор. Вот, сидишь за этой сиротой, уже полуживой от усталости. Якименко стоит над душой. На какой-то таинственной букве каретка срывается с зубчатки и летит влево. От всех 12 экземпляров этапных списков остаются одни клочки. Якименко выпускает сдержанный мат в пространство, многочисленная администрация, ожидающая этих списков для вылавливания эвакуируемых, вздыхает с облегчением, значит можно поспать. А я сижу всю ночь, перестукивая изорванный список и пытаюсь предугадать очередную судорогу этого эпилептического советского недоноска.

О горестной советской продукции писали много. И меня всегда повергали в изумление те экономисты, которые пытаются объять необъятное и выразить в цифровом эквиваленте то, для чего вообще в мире никакого эквивалента нет.

Люди просиживают ночи над всякого рода «казанскими сиротами», летят под откосы десятки тысяч вагонов (по Лазарю Кагановичу — 62.000 крушений за 1935 год, результат качества сормовской и коломенской продукции), ржавеют на своих железных кладбищах сотни тысяч тракторов, сотня миллионов людей надрывается от отупляющей и непосильной работы во всяких советских урчах, стройках, совхозах, лагерях — и все это тонет в великом марксистско-ленинско-сталинском болоте.

И в сущности все это сводится к проблеме качества. Качество коммунистической идеи неразрывно связано с качеством политики, управления, руководства — и результатов.

И на поверхности этого болота яркими и призрачными цветами маячат разрушающийся и уже почти забытый Турксиб, безработный Днепрострой, никому и ни для чего не нужный Беломорско-Балтийский канал, гигантские заводы — поставщики тракторных и иных кладбищ. И щеголяют в своих кавалерийских шинелях всякие товарищи Якименки — поставщики кладбищ не тракторных.

Должен, впрочем, сознаться, что тогда все эти мысли о качестве продукции — и идейной и не идейной — мне в голову не приходили. На всех нас надвигалась катастрофа.

ПРОМФИНПЛАН ТОВАРИЩА ЯКИМЕНКО

На всех нас надвигалось что-то столь же жестокое, как я этот ББК. Зарева и стрельба на лапунктах у нас в управлении отражались беспросветной работой, чудовищным нервным напряжением, дикой суматошной спешкой. Все это было катастрофично. Конечно, наши личные судьбы в этой катастрофе были для нас самыми болезненными точками, но и бессмысленность этой катастрофы, взятой, так сказать, в социальном разрезе, давила на сознание, как кошмар.

Приказ гласил: отправить в распоряжение БАМа не менее 35.000 заключенных Подпорожского отделения и не более, как в двухнедельный срок. Запрещается отправлять всех бывших военных, всех уроженцев Дальнего Востока, всех лиц, кончающих срок наказания до 1 июня 34 г., всех лиц, осужденных по таким-то статьям и, наконец, всех больных — по особому списку.

По поводу этого приказа можно было бы поставить целый ряд вопросов. Неужели, этих 35 тысяч пар рабочих рук нельзя было найти где-то поближе к Дальнему Востоку, а не перебрасывать их через половину земного шара? Неужели, нельзя было подождать тепла, чтобы не везти эти 35.000 людей в заведомо истребительных условиях нашего этапа? Неужели, ГПУ не подумало, что в двухнедельный срок такой эвакуации ни физически, ни тактически выполнить невозможно? И, наконец, неужели ГПУ не понимало, что из наличных 45.000, или около того, заключенных Подпорожского отделения нельзя набрать 35.000 людей, удовлетворяющих требованиям приказа и в частности людей хотя бы относительно здоровых?

По существу все эти вопросы были бессмысленны. Здесь действовала система, рождающая казанских сирот, декоративных гигантов и нетракторные кладбища. Не могло быть особых сомнений и насчет того, как эта система, взятая в общем и целом, отразится на частном случае подпорожской эвакуации. Конечно, Якименко будет

проводить свой промфинплан с железной беспощадностью. На посты, вроде якименковского, могут пробраться только люди, этой беспощадностью обладающие. Другие отменяются, так сказать, в порядке естественного отбора. Якименко будет сажать людей в дырявые вагоны, в необорудованные теплушки. Якименко постарается впихнуть в эти эшелоны всех, кого только можно — и здоровых и больных. Больные, конечно, не доедут живыми. Но разве хотя бы один раз в истории советской власти человеческие жизни останавливали победно-халтурное шествие хотя бы одного промфинплана?

КРИВАЯ ИДЕТ ВНИЗ

Самым жестоким испытанием для нас в эти недели была угроза отправки Юры на БАМ. Как достаточно скоро выяснилось, ни я, ни Борис отправке не подлежали: в наших формулярах значилась статья 58-б (шпионаж), и нас Якименко не смог бы отправить, если бы и хотел: наших документов не приняла бы приемочная комиссия БАМа. Но Юра этой статье не имел. Следовательно, по ходу событий дело обстояло так: мы с Борисом остаемся, Юра будет отправлен один — после его летней болезни и операции, после тюремной и лагерной голодовки, после каторжной работы в урчевском махорочном тумане по 16-20 часов в сутки.

При самом зарождении всех этих БАМовских перспектив я как-то спросил Якименко об оставлении Юры. Якименко отвечал мне довольно коротко, но весьма неясно. Это было похоже на полуобещание, подлежащее исполнению только в том случае, если норма отправки будет более или менее выполнена. Но с каждым днем становилось все яснее, что норма эта выполнена быть не может и не будет выполнена.

По миновании надобности в моих литературных талантах Якименко все определеннее смотрел на меня, как на пустое место, как на человека, который уже не нужен и с которым поэтому ни считаться, ни разговаривать нечего. Нужно отдать справедливость и Якименке. Во-первых, он работал так же каторжно, как и все мы и, во-вторых, он обязан был отправить и всю администрацию от деления, в том числе и УРЧ. Не совсем уж просто было послать старых работников УРЧ и оставить Юру. Во всяком случае, надежда на Якименко с каждым днем падала все больше и больше. В связи с исчезновением могущественной якименковской поддержки снова в наши икры начала цепляться урчевская шпана, цеплялась скверно и в наших условиях — очень болезненно.

Мы с Юрой только что закончили списки третьего эшелона. Списки были проверены, разложены по столам, и я должен был занести их на Погру. Было около трех часов ночи. Пропуск, который мне должны были заготовить, оказался не заготовленным. Не идти было нельзя, а идти было опасно. Я все-таки пошел и прошел. Придя на Погру и передавая списки администрации, я обнаружил, что из каждого экземпляра списков украдено по 4 страницы. Отправка эшелона была сорвана. Многомудрый актив с Погры сообщил Якименко, что я потерял эти страницы. Нетрудно было доказать полную невозможность нечаянной потери четырех страниц из каждого из 12 экземпляров. И Якименке также не трудно было понять, что уж никак не в моих интересах было, с заранее обдуманной целью, выкидывать эти страницы, а потом снова их переписывать. Все это так. Но разговор с Якименкой, у которого из-за моих списков проваливался его «промфинплан», был не из приятных, особенно принимая во внимание Юрины перспективы. И инциденты такого типа, повторяющиеся приблизительно через день, спокойствию души не способствовали.

Между тем эшелоны шли и шли. Через Бориса и железнодорожников, которых он лечил, до нас стали доходить сводки с крестного пути этих эшелонов. Конечно, уже и от Погры (погрузочная станция) они отправлялись с весьма скудным запасом хлеба и дров, а иногда и вовсе без запасов. Предполагалось, что аппарат ГПУских баз по дороге снабдит эти эшелоны всем необходимым. Но никто не снабдил. Первые эшелоны еще кое-что подбирали по дороге, а остальные ехали, Бог уж знает как. Железнодорожники рассказывали об остановках поездов на маленьких заброшенных станциях и о том, как из этих поездов выносили сотни замерзших трупов и складывали их в штабели в стороне от железной дороги. Рассказывали о крушениях, при которых обезумевшие люди выли в опрокинутых деревянных западнях теплушек, слишком хрупких для силы поездного толчка, но слишком прочных для безоружных человеческих рук.

Мне мерещилось, что вот на какой-то заброшенной зауральской станции вынесут обледенелый труп Юры, что в каком-то товарном вагоне, опрокинутом под откос полотна, в каше изуродованных человеческих тел... Я гнал эти мысли, они опять лезли в голову. Я с мучительным напряжением искал выхода, хоть какого-нибудь выхода, и его видно не было.

ПЛАНЫ ОТЧАЯНИЯ

Нужно, впрочем, оговориться. О том, чтобы Юра действительно был отправлен на БАМ, ни у кого из нас ни на секунду не возникало

мысли. Это в вагоне номер 13 нас чем-то опоили и захватили спящими. Второй раз такой номер не имел шансов пройти. Вопрос стоял так: или Юре удастся отвертеться от БАМа, или мы все трое устроим какую-то резню и, если пропадем, то по крайней мере с треском. Только Юра иногда говорил о том, что зачем же пропадать всем троим, что уж если ничего не выйдет и ехать придется, он сбежит по дороге. Но этот план был весьма утопичен. Сбежать из арестантского эшелона не было почти никакой возможности.

Борис был настроен очень пессимистически. Он приходил из Погры в совсем истрепанном виде. Физически его работа была легче нашей, он целыми днями мотался по лагпунктам, по больницам и амбулаториям и хоть часть дня проводил на чистом воздухе и в движении. Он имел право санитарного контроля над кухнями и питался исключительно «пробами пищи», а свой паек — хлеб и по комку замерзлой ячменной каши — приносил нам. Но его моральное положение — положение врача в этой атмосфере саморубов, расстрелов, отправки в этапы заведомо больных людей — было отчаянным. Борис был уверен, что своего полуобещания насчет Юры Якименко не сдержит, и что пока хоть какие-то силы остались, нужно бежать.

Теоретический план побега был разработан в таком виде. По дороге из Подпорожья на Погру стояла чекистская застава из трех человек. На этой заставе меня и Бориса уже знали в лицо. Бориса в особенности, ибо он ходил мимо ее каждый день, а иногда и по два-три раза в день. Поздно вечером мы должны были все втроем выйти из Подпорожья, захватив с собою и вещи. Я и Борис подойдем к костру заставы и вступим с патрульными в какие-либо разговоры. Потом в подходящий момент Борис должен был ликвидировать ближайшего к нему чекиста ударом кулака и броситься на другого. Пока Борис будет ликвидировать патрульного номер два, я должен был, если не ликвидировать, то по крайней мере временно нейтрализовать патрульного номер три.

Никакого оружия вроде топора или ножа пускать в ход было нельзя. План был выполним только при условии молниеносной стремительности и полной неожиданности. Плохо было, что патрульные были в кожах: некоторые и при том наиболее действительные приемы атаки отпадали. В достаточности своих сил я не был уверен. Но с другой стороны, было мало вероятно, чтобы тот чекист, с которым мне придется схватиться, был сильнее меня. План был очень рискованным, но все же план был выполним.

Ликвидировав заставу, мы получим три винтовки и кое-какое продовольствие и двинемся в обход Подпорожья, через Свирь на север. До этого пункта все было более или менее гладко. А дальше что?

Лес завален сугробищами снега. Лыжи достать было можно, но не охотничьи, а беговые. По лесным завалам, корягам и ямам они большой пользы не принесут. Из нас троих только Юра хороший, «классный» лыжник. Мы с Борисом ходим так себе, по-любительски. Убитых патрульных обнаружат или в ту же ночь или к утру. Днем за нами уже пойдут в погоню команды оперативного отдела, прекрасно откормленные, с такими собаками-ищейками, какие не снились майнридовским охотникам за черным деревом. Куда-то вперед пойдут телефонограммы, какие-то команды будут высланы нам наперерез.

Правда, будут винтовки. Борис — прекрасный стрелок, в той степени, в какой он что-нибудь видит, а его близорукость выражается фантастической цифрой диопт диоптри 23. Я — стрелок более, чем посредственный. Юра тоже. Продовольствия у нас почти нет. Карты нет. Компаса нет. Каковы шансы на успех?

В недолгие часы, предназначенные для сна, я ворочался на голых досках своих нар и чувствовал ясно: шансов никаких. Но если ничего другого сделать будет нельзя, мы сделаем это.

МАРКОВИЧА ПЕРЕКОВАЛИ

Мы попробовали прибегнуть и к житейской мудрости Марковича. Кое-какие проекты, бескровные, но очень зыбкие, выдвигал и он. Впрочем, ему было не до проектов. БАМ нависал над ним и при том в ближайшие же дни. Он напрягал всю свою изобретательность и все свои связи. Но не выходило ровно ничего. Миша не ехал, так как почему-то числился здесь только в командировке, а прикреплен был к центральной типографии в Медвежьей Горе. Трошин мотался по лагерю, и из него, как из брандспойта, во все стороны хлестал энтузиазм.

Как-то в той типографской баньке, о которой я уже рассказывал, сидели все мы в полном составе: нас трое, Маркович, Миша и Трошин. Настроение, конечно, было висельное, а тут еще Трошин нес несусветную гнусность о БАМовских льготах, о трудовом перевоспитании, о строительстве социализма. Было невыразимо противно. Я предложил ему заткнуться или убираться ко всем чертям. Он стал спорить со мной.

Миша стоял у кассы и набирал что-то об очередном энтузиазме. Потом он, как-то бочком, бочком, как бы по совсем другому делу, подобрался к Трошину и изо всех своих невеликих сил треснул его

верстаткой по голове. Трошин присел от неожиданности, потом кинулся на Мишу, сбил его с ног и схватил за горло. Борис весьма флегматически сгрел Трошина за подходящие места и швырнул его в угол комнаты. Миша встал бледный и весь дрожащий от ярости.

— Я тебя, проститутка, все равно зарежу. Я тебе, чекистский ..., кишки все равно выпущу. Мне терять нечего. Я уже все равно, что в гробу.

В тоне Миши было какое-то удущье от злобы и непреклонная решимость. Трошин встал, пошатываясь. По его виску бежала тоненькая струйка крови.

— Я же вам говорил, Трошин, что вы конкретный идиот. — заявил Маркович. — Вот я посмотрю, какой из вас на этапе энтузиазм потечет.

Дверка в тайны трошинского энтузиазма на секунду приоткрылась.

— Мы в пассажирском поезде, — мрачно ляпнул он.

— Хе, в пассажирском. А, может быть, товарищ Трошин, в международном хотите? С постельным бельем и вагоном рестораном? Молите Бога, чтобы хоть теплушка целая попалась. И с печкой. Вчера подали эшелон, так там печки есть, а труб нету... Хе, пассажирский. Вам просто нужно лечиться от идиотизма, Трошин.

Трошин пристально посмотрел на бледное лицо Миши, потом на фигуру Бориса, о чем-то подумал, забрал под мышку все свои пожитки и исчез. Ни его, ни Марковича я больше не видал. На другой день утром их отправили на этап. Борис присутствовал при погрузке. Их погрузили в теплушку, при том дырявую и без трубы.

Недаром, в этот день, прощаясь, Маркович мне говорил:

— А вы, знаете, И.Л., сюда в СССР я ехал первым классом. Помилуйте, каким же еще классом нужно ехать в рай. А теперь я тоже еду в рай. Только не в первом классе и не в социалистический. Интересно все-таки, есть ли рай? Если хотите, И.Л., так у вас будет собственный корреспондент из рая. А? Вы думаете доеду? Ну, что вы, И.Л., я же знаю, что по дороге делается. И вы знаете. Какой-нибудь крестьянин, который с детства привык... А я — я же комнатный человек. Нет, знаете, И.Л. Если вы как-нибудь увидите мою жену — все на свете может быть — скажите ей, что за доверчивых людей замуж выходить нельзя. Хе, социалистический рай. Вот мы с вами получаем маленький кусочек социалистического рая...

НА СКОЛЬЗКИХ ПУТЯХ

Промфинплан товарища Якименко трещал по всем швам. Уже не было и речи ни о двух неделях, ни о 35 тысячах. Железная дорога вовсе не подавала составов, то подавала такие, от которых БАМовская комиссия отказывалась наотрез: с дырами, куда не только человек, а и лошадь пролезла бы. Проверка трудоспособности и здоровья дала совсем унылые цифры; не больше 6 тысяч человек могли быть признаны годными к отправке, да и те «постольку поскольку». Между тем ББК, исходя из весьма прозаического хозяйственного расчета: зачем кормить уже чужие рабочие руки, урезал нормы, снабжения до уровня клинического голодания. Люди стали валиться с ног сотнями и тысячами. Снова стали работать медицинские комиссии. Через такую комиссию прошел и я. Старичок доктор с беспомощным видом смотрит на какого-нибудь оборванного лагерника, демонстрирующего свою отекающую и опухшую, как подушка, ногу, выстукивает, выслушивает. За столом сидит оперативник, чин третьей части. Он-то и есть комиссия.

— Ну? — спрашивает чин.

— Отеки. Туберкулез второй степени. Сердце...

И чин размашистым почерком пишет на формуляре — «г о д е н».

Потом стали делать еще проще. Полдюжины урчевской шпаны вооружили резинками. На оборотных сторонах формуляров, где стояли нормы трудоспособности и медицинский диагноз, все это стиралось и ставилось простое: I категория — полная трудоспособность.

Эти люди не имели никаких шансов доехать до БАМа живыми. И они знали это. И мы знали это, и уж, конечно, это знал Якименко. Но Якименке нужно было делать свою карьеру. И свой промфинплан он выполнял за счет тысяч человеческих жизней. Всех этих чудесно подделанных при помощи резинки людей слали приблизительно на такую же верную смерть, как если бы их просто бросили в прорубь Свири.

А мы с Юрой все переписывали наши бесконечные списки. Обычно к ночи УРЧ пустел, и мы с Юрой оставались там одни за своими машинками. Вся картотека УРЧ была фактически в нашем распоряжении. Из 12 экземпляров списков Якименко подписывал три, а проверял один. Эти три шли в управление ББК, в управление БАМа и в Гулаг. Остальные экземпляры использовались на месте для подбора этапа, для хозяйственной части и т.д. У нас с Юрой почти одновременно возник план, который напрашивался сам собою. В первых трех экземплярах мы оставим все, как следует, а в остальных девяти фамилии заведомо

больных людей (мы их разыщем по картотеке) заменим несуществующими фамилиями или просто перепутаем так, чтобы ничего разобрать было нельзя. При том хаосе, который царил на лагерных пунктах, при полной путанице в колоннах и колонных списках, при обалделости и беспробудном пьянстве низовой администрации никто не разберет, сознательный ли это подлог, случайная ошибка или обычная урчевская путаница. Да в данный момент и разбирать никто не станет.

В этом плане был великий соблазн. Но было и другое. Одно дело рисковать своим собственным черепом, другое дело втягивать в этот риск своего единственного сына, да еще мальчика. И так на моей совести тяжелым грузом лежало все то, что с нами произошло — моя техническая ошибка с г-жей Е. и с мистером Бабенко, тающее с каждым днем лицо Юрочки, судьба Бориса и многое другое. И была еще великая усталость и сознание того, что все это в сущности так бессильно и бесцельно. Ну, вот выцарапаем из нескольких тысяч несколько десятков человек, а больше не удастся. И они, вместо того, чтобы умереть через месяц в эшелоне, помрут через несколько месяцев где-нибудь в слабосилке ББК. Только и всего. Стоит ли игра свеч?

Как-то под утро мы возвращались из УРЧ в свою палатку. На дворе было морозно и тихо. Пустынные улицы Подпорожья лежали под толстым снеговым саваном.

— А по-моему, Ватик, — ни с того, ни с сего сказал Юра, — надо все-таки это сделать. Неудобно как-то.

— Разменяют, Юрчик. — сказал я.

— Ну и хрен с ними. А ты думаешь, много у нас шансов отсюда живыми выбраться?

— Я думаю, много.

— А по-моему никаких. Еще через месяц от нас одни мощи останутся. Все равно. Ну, да дело не в том.

— А в чем же дело?

— А в том, что неудобно как-то. Можем мы людей спасти? Можем. А там пусть расстреливают. Хрен с ними. Подумаешь, тоже удовольствие околачиваться в этом раю.

Юра вообще и до лагеря развивал такую теорию, что если бы, например, у него была твердая уверенность, что из советской России ему не вырваться никогда, он застрелился бы сразу. Если жизнь состоит исключительно из неприятностей, жить нет «никакого коммерческого расчета». Мало ли какие «коммерческие расчеты» могут быть у юноши 18-ти лет, и много ли он о жизни знает.

Юра остановился и сел на снег.

— Давай посидим. Хоть урчевскую махорку из легких выветрим.

Сел и я.

— Я ведь знаю, Ватик. Ты больше за меня дрейфишь.

— Угу, — сказал я.

— А ты плюнь и не дрейфь.

— Замечательно простой рецепт!

— Ну, а если придется — придется же! — против большевиков с винтовкой идти, так тогда ты насчет риска ведь ничего не будешь говорить?

— Если придется... — пожал н плечами.

— Даст Бог, придется... Конечно, если отсюда выскочим.

— Выскочим, — сказал я.

— Ох, — вздохнул Юра. — С воли не выскочили. С деньгами, с оружием... Со всем. А здесь?

Мы помолчали. Эта тема обсуждалась столько уж раз!

— Видишь ли, Ватик. Если мы за это дело не возьмемся, будем потом чувствовать себя сволочью. Могли и сдрейфили.

Мы помолчали. Юра, потягиваясь, поднялся со своего мягкого кресла.

— Так что, Ватик, давай! А? На Миколу Угодника.

— Давай, — сказал я.

Мы крепко пожали друг другу руки. Чувства отцовской гордости я насовсем все-таки лишен.

Особенно великих результатов из всего этого, впрочем, не вышло в силу той прозаической причины, что без сна человек все-таки жить не может. А для наших манипуляций с карточками и списками у нас оставались только те 4-5 часов в сутки, которые мы могли отдать сну. И я и Юра, взятые в отдельности, вероятно, оставили бы эти манипуляции после первых же бессонных ночей, но поскольку мы действовали вдвоем, никто из нас не хотел первым подавать сигнал об отступлении. Все-таки из каждого списка мы успевали изымать десятка полтора, иногда и два. Это был слишком большой процент. Каждый список заключал в себе 500 имен. И на Погре стали говорить уже о том, что в УРЧ что-то здорово путают.

Отношения с Якименкой шли, все ухудшаясь. Во-первых, потому, что я и Юра, совсем уж валясь с ног от усталости и бессонницы,

врали в этих списках уже без всякого заранее обдуманного намерения, и на погрузочном пункте получалась неразбериха. И во-вторых, между Якименко и Борисом стали возникать какие-то трения, которые в данной обстановке ничего хорошего предвещать не могли, и о которых Борис рассказывал со сдержанной яростью, но весьма неопределенно. Старший врач отделения заболел; Борис был назначен на его место и, поскольку я мог понять, Борису приходилось своей подписью скреплять вытертые резинкой диагнозы и новые стандартизированные пометки «Годен». Что-то назревало и на этом участке нашего фронта, но у нас назревали все участки сразу.

Как-то утром приходит в УРЧ Борис. Вид у него невымытый и небритый, воспаленно-взъерошенный и обалделый, как, впрочем и у всех нас. Он сунул мне свое ежедневное приношение — замерзший ком ячменной каши, и я заметил, что кроме взъерошенности и обалделости, в Борисе есть и еще кое-что — какая-то гайка выскочила, и теперь Борис будет идти напролом. По части же хождения напролом Борис с полным основанием может считать себя мировым специалистом; на душе стало беспокойно. Я хотел, было, спросить Бориса, в чем дело, но в этот момент в комнату вошел Якименко, в руках у него были какие-то бумаги для переписки. Вид у него был ошалелый и раздраженный; он работал, как и все мы, а промфинплан таял с каждым днем.

Увидав Бориса, Якименко резко повернулся к

— Что это означает, товарищ Солоневич? Представитель третьей части в отборочной комиссии заявил мне, что вы что-то там бузить начали. Предупреждаю вас, чтобы этих жалоб я больше не слышал.

— У меня, гражданин начальник, есть жалоба и на них.

— Плевать мне на ваши жалобы! — холодное и обычно сдержанное лицо Якименки вдруг перекошилось. — Плевать мне на ваши жалобы. Здесь лагерь, а не университетская клиника. Вы обязаны исполнять то, что вам приказывает третья часть.

— Третья часть имеет право приказывать мне, как заключенному, но она не имеет права приказывать мне, как врачу. Третья часть может считаться или не считаться с моими диагнозами, но подписывать их диагнозов я не могу.

По закону Борис был прав. Я вижу, что здесь столкнулись два чемпиона по части хождения напролом со всеми шансами на стороне Якименки. У Якименки на лбу надуваются жилы.

— Гражданин начальник, позвольте вам доложить, что от дачи своей подписи под постановлениями отборочной комиссии я в данных условиях отказываюсь категорически.

Якименко смотрит в упор на Бориса и зачем-то лезет в карман. В моем воспаленном мозгу мелькает мысль о том, что Якименко лезет за револьвером — совершенно нелепая мысль. Я чувствую, что если Якименко попытается оперировать револьвером или матом, Борис двинет его по челюсти, и это будет последний промфинплан на административном и жизненном поприще Якименки. Свою не принятую Якименкой жалобу Борис перекладывает из правой руки в левую, а правая свободным расслабленным жестом опускается вниз. Я знаю этот жест по рингу — эта рука отводится для удара снизу по челюсти. Мысли летят с сумасшедшей стремительностью, Борис ударит, актив и чекисты кинутся всей сворой, я и Юра пустим в ход и свои кулаки — к через секунд пятнадцать все наши проблемы будут решены окончательно.

Немая сцена. УРЧ перестал дышать. И вот с лежанки, на которой под шинелью дремлет помощник Якименки, добродушно-жестоким и изысканно-виртуозным сквернослов Хорунжик, вырываются трели неопишуемого мата. Весь словарь Хорунжика ограничивается непристойностями. Даже когда он сообщает мне содержание «отношения», которое я должен написать для Медгоры, это содержание излагается таким стилем, что я могу использовать только союзы и предлоги.

Мат Хорунжика никому не адресован. Просто ему из-за каких-то там хреновых комиссий не дают спать. Хорунжик поворачивается на другой бок и натягивает шинель на голову.

Якименко вытягивает из кармана коробку папирос и протягивает Борису. Я глазам своим не верю.

— Спасибо, гражданин начальник. Я не курю. Коробка протягивается ко мне.

— Позвольте вас спросить, доктор Солоневич, — сухим и резким тоном говорит Якименко. Так на какого же вы черта взяли за комиссионную работу? Ведь, это же не ваша специальность. Вы, ведь, санитарный врач. Не удивительно, что третья часть не питает доверия к вашим диагнозам. Черт знает, что такое. Берутся люди не за свое дело.

Вся эта мотивировка не стоит выеденного яйца. Но Якименко отступает, и это отступление нужно всемерно облегчить.

— Я ему это несколько раз говорил, товарищ Якименко. — вмешиваюсь я. — По существу, это все доктор Шуквецц напутал.

— Вот еще, эта старая шляпа, доктор Шуквецц, — Якименко хватается за якорь спасения своего начальственного лица. — Вот, что. Я сегодня же отдам приказ о снятии вас с комиссионной работы. Займитесь санитарным оборудованием эшелонов. И имейте ввиду, за каждую

мелочь я буду взыскивать с вас лично. Никаких отговорок. Чтобы эшелоны были оборудованы на ять.

Эшелонов нельзя оборудовать не то, что на ять, но даже и на ижицу по той простой причине, что оборудовать их нечем. Но Борис отвечает:

— Слушаю, гражданин начальник.

Из угла на меня смотрит изжеванное лицо Стародубцева; и на нем я читаю ясно:

— Ну, тут уж я окончательно ни хрена не понимаю.

В сущности, не очень много понимаю и я. Вечером мы все вместе идем за обедом. Борис говорит:

— Да, а что ни говори, а с умным человеком приятно поговорить. Даже и с умной сволочью.

Уравнение с неизвестной причиной якименковского отступления мною уже решено. Стоя в очереди за обедом, я затеваю тренировочную игру: каждый из нас должен сформулировать про себя эту причину и потом эти определенные формулировки мы подвергаем совместному обсуждению.

Юра прерывает Бориса, уже готового предъявить свое решение.

— Пойдите, ребята. Дайте, я подумаю. А потом вы мне скажете, верно или не верно.

После обеда Юра докладывает в тоне объяснения Шерлока Холмса доктору Ватсону.

— Что было бы, если бы Якименко арестовал Боба? Во-первых, врачей у них и так не хватает. Во-вторых, что сделал бы Ватик? Ватик мог бы сделать только одно, потому что ничего другого не оставалось бы — пойти в приемочную комиссию БАМа и заявить, что Якименко их систематически надувает, дает дохлую рабочую силу. Из БАМовской комиссии кто-то поехал бы в Медгору и устроил бы там скандал... Верно?

— Почти, — говорит Борис. — Только БАМовская комиссия заявила бы не в Медгору, а в Гулаг. По линии Гулага Якименке влетело бы за зряшные расходы по перевозке трупов, а по линии ББК за то, что не хватило ловкости рук. А если бы не было тут тебя с Ватиком, Якименко слопал бы меня и даже не поперхнулся бы.

Таково было и мое объяснение. Но мне все-таки кажется, и до сих пор, что с Якименкой дело обстояло не так просто.

И в тот же вечер из соседней комнаты раздается голос Якименки:

— Солоневич Юрий, подите-ка сюда! Юра встает из-за машинки. Мы с ним обмениваемся беспокойными взглядами.

— Это вы писали этот список?

— Я.

Мне становится не по себе. Это наши подложные списки.

— А позвольте вас спросить, откуда вы взяли эту фамилию, как ее тут... Абруррахманов. Такой фамилии в карточках нет.

Моя душа медленно сползает в пятки.

— Не знаю, товарищ Якименко. Путаница, вероятно, какая-нибудь.

— Путаница! В голове у вас путаница.

— Ну, конечно. — с полной готовностью соглашается Юра. — И в голове тоже.

Молчание. Я, затаив дыхание, вслушиваюсь в малейший звук.

— Путаница. Вот посажу я вас на неделю в ШИЗО.

— Так я там, по крайней мере, отосплюсь, товарищ Якименко.

— Немедленно переписать эти списки! Стародубцев! Все списки проверять! Под каждым списком ставить подпись проверяющего! Поняли?

Юра выходит из кабинета Якименки бледный. Его пальцы не попадают на клавиши машинки. Я чувствую, что руки дрожат и у меня. Но, как будто, пронесло. Интересно, когда наступит тот момент, когда не пронесет?

Наши комбинации лопнули автоматически. Они, впрочем, лопнули бы и без вмешательства Якименки: не спать совсем было все-таки невозможно. Но что знал или о чем догадывался Якименко?

ИЗМОР

Я принес на Погру списки очередного эшелона и шатаюсь по лагпункту. Стоит лютый мороз, но после урчевской коптильни так хорошо проветрить легкие!

Лагпункт незнаваем. Уже давно никого не шлют и не выпускают в лес из боязни, что люди разбегутся. Хотя бежать некуда. И на лагпункте дров нет. Все то, что с такими трудами, с такими жертвами и с такой спешкой строилось три месяца тому назад, все идет в трубу, в печку. Ломают на топливо бараки, склады, кухни. Занесенной снегом кучей металла лежит кем-то взорванный мощный дизель, привезенный

сюда для стройки плотины. Валяются изогнутые буровые трубы. Все это импортное, валютное. У того барака, где некогда процветали под дождем мы трое, стоит плотная толпа заключенных, человек четыреста. Она окружена цепью стрелков ГПУ. Стрелки стоят в некотором отдалении, держа винтовки по уставу под мышкой. Кроме винтовок стоят на треножниках два легких пулемета. Перед толпой заключенных — столик, за которым местное начальство.

Кто-то из начальства равнодушно выкликает:

— Иванов! Есть? Толпа молчит.

— Петров! Толпа молчит.

Эта операция носит техническое название измора. Люди на лагпункте перепутались, люди растеряли или побросали свои «рабочие карточки» — единственный документ, удостоверяющий самоличность лагерника. И вот, когда в колонне вызывают на БАМ какого-нибудь Иванова 25-го, то этот Иванов предпочитает не откликаться.

Всю колонну выгоняют из барака на мороз, оцепляют стрелками и начинают вызывать. Колонна отмалчивается. Меняется начальство, сменяются стрелки, а колонну все держат на морозе. Понемногу один за другим молчаливники начинают сдаваться, раньше всего рабочие и интеллигенция; потом крестьяне и, наконец, урки. Но урки часто не сдаются до конца, валится на снег и замерзшего, его относят или в амбулаторию или в яму, исполняющую назначение общей могилы. В общем, совершенно безнадежная система сопротивления. Вот в толпе уже свалилось несколько человек. Их подберут не сразу, чтобы не симулировали. Говорят, что одна из землекопных бригад поставила рекорд — выдержала двое суток такого измора, и из нее откликнулось не больше половины. Но другая половина — не много от нее осталось.

ВСТРЕЧА

В лагерном тупичке стоит почти готовый к отправке эшелон. Территория этого тупичка оплетена колючей проволокой и охраняется патрулями. Но у меня пропуск, и я прохожу к вагонам. Некоторое вагоны уже заняты, из других будущие пассажиры выметают снег, опилки, куски каменного угля, заколачивают щели, настилают нары, словом, идет строительство социализма. Вдруг где-то сзади меня раздается зычный голос:

— Иван Лукьянович, алло! Товарищ Солоневич!

Я оборачиваюсь. Спрыгнув с изумительной ловкостью из вагоны, ко мне бежит некто в не очень рваном бушлате, весь заросший рыжей бородищей и призывно размахивающий шапкой. Останавливаюсь.

Человек с рыжей бородой подбегает ко мне и с энтузиазмом трясет мне руку. Пальцы у него железные.

— Здравствуйте, И.Л. Знаете, очень рад вас видеть. — Конечно, это я понимаю свинство с моей стороны высказывать радость, увидев старого приятеля в таком месте. Но человек слаб. Почему я должен нарушать гармонию общего равенства и лезть в сверхчеловеки.

Я всматриваюсь. Ничего не понять. Рыжая борода, веселые, забубенные глаза, общий вид человека, ни в коем случае не унывающего.

— Послушайте. — говорит человек с негодованием. — Неужели, не узнаете? Неужели, вы возвысились до таких административных высот, что для вас простые лагерники, вроде Гендельмана, не существуют ?

Точно кто-то провел мокрой губкой по лицу рыжего человека и сразу смыл бородищу, усищи, снял бушлат, и подо всем этим очутился Зиновий Яковлевич Гендельман таким, каким я его знал по Москве — весь сотканый из мускулов, бодрости и зубоскальства. Конечно, это тоже свинство, но встретить З.Я. мне было очень радостно. Так стоим мы и тискаем друг другу руки.

— Значит, сели, наконец, — неунывающим тоном умозаключает Гендельман. — Я ведь вам предсказывал. Правда, и вы мне предсказывали. Какие мы с вами проникательные! И как это у нас обоих не хватило проникательности, чтобы не сесть? Не правда ли, удивительно? Но нужно иметь силы подняться над нашими личными, мелкими, мещанскими переживаниями. Если наши вожди, лучшие из лучших, железная гвардия ленинизма, величайшая надежда будущего человечества — если эти вожди садятся в ГПУ, как мухи на мед, так что же мы должны сказать? А? Мы должны сказать: добро пожаловать, товарищи!

— Слушайте, — перебиваю я. — Публика кругом.

— Это ничего. Свои ребята. Наша бригада — все уральские мужички; ребята, как гвозди. Замечательные ребята. И так, по каким статьям существующего и несуществующего закона попали вы сюда?

Я рассказываю. Забубенный блеск исчезает из глаз Гендельмана.

— Да, вот это плохо. Это уж не повезло. — Гендельман оглядывается кругом и переходит на немецкий язык: — Вы ведь все равно сбежите?

— До сих пор мы считали это само собою разумеющимся. Но вот теперь эта история с отправкой сына. А ну-ка, З.Я., мобилизуйте вашу «юдиши копф» и что-нибудь изобретите.

Гендельман запускает пальцы в бороду и осматривает вагоны, проволоку, ельник, снег, как будто отыскивая там какое-то решение.

— А попробовали вы подъехать к БАМовской бы комиссии.

— Думал и об этом. Безнадежно.

— Может быть, не совсем. Видите ли, председателем этой комиссии торчит некто Чекалин. Я его знаю по Вишерскому лагерю, Восточных, он коммунист с дореволюционным стажем; и во-вторых, человек он очень неглупый. Неглупый коммунист и с таким стажем, если он до сих пор не сделал карьеры — а разве это карьера? — это значит, что он человек лично порядочный и что в качестве порядочного человека он рано или поздно сядет. Он, конечно, понимает это и сам. Словом, тут есть кое-какие психологические возможности.

Идея довольно неожиданная. Но какие тут могут быть психологические возможности, в этом сумасшедшем доме? Чекалин — колючий, нервный, судорожный, замотанный, полусумасшедший от вечной грызни с Якименкой.

— А то попробуйте увязаться с нами. Наш эшелон пойдет, вероятно, завтра. Или, на крайний случай, пристройте вашего сына сюда. Тут он у нас не пропадет. Я посылки получал. Еда у меня на дорогу более или менее есть. А? Подумайте.

Я крепко пожал Гендельману руку, но его предложение меня не устраивало.

— Ну, а теперь докладывайте вы!

Гендельман был по образованию инженером, а по профессии — инструктором спорта. Это довольно обычное в советской России явление. У инженера несколько больше денег, огромная ответственность (конечно, перед ГПУ) по линии вредительства, бесхозяйственности, невыполнения директив и планов и по многим другим линиям и конечно, никакого жителя. У инструктора физкультуры денег иногда меньше, а иногда и больше, столкновений с ГПУ почти никаких, и в результате всего этого возможность вести приблизительно человеческий образ жизни. Кроме того, можно потихоньку и сдельно подхалтуривать и по своей основной специальности. Гендельман был блестящим спортсменом и редким организатором. Однако и физкультурный иммунитет против ГПУ — вещь весьма относительная. В связи с той политизацией физкультуры, о которой я рассказывал выше, около пятисот

инструкторов спорта было арестовано и разослано по всяким нехорошим и весьма неудобосвоаемым местам. Был арестован и Гендельман.

— Да и докладывать в сущности нечего. Сцапали. Привезли на Лубянку. Посадили. Сижу. Через три месяца вызывают на допрос. Ну, конечно, они уже все решительно знают. Что я старый сокольский деятель. Что я у себя на работе устраивал старых соколов. Что я находился в переписке с международным сокольским центром. Что я даже посылал приветственную телеграмму всесокольскому слету. А я все сижу и слушаю. Потом я говорю: «Ну, вот вы, товарищи, все знаете». «Конечно, знаем». «И устав Сокола тоже знаете?» «Тоже знаем». «Позвольте мне спросить, почему же вы не знаете, что евреи в «Сокол» не принимаются?»

— Знаете, что мне следователь ответил? «Ах, говорит, не все ли вам равно, гражданин Гендельман, за что вам сидеть — за «Сокол» или не за «Сокол»? Какое гениальное прозрение в глубины человеческого сердца! Представьте себе! Мне, оказывается, решительно все равно, за что сидеть, раз я уже все равно сижу.

— Почему же я работаю плотником? А зачем мне работать не плотником? Во-первых, я зарабатываю себе настоящие мозолистые, пролетарские руки. Знаете, как в песенке поется:

«... В заводском гуле он ласкал
Ее мозолистые груди...»

Во-вторых, я здоров: посылки мне присылают. А уж лучше тесать бревна, чем зарабатывать себе геморрой. В-третьих, я имею дело не с советским активом, а с порядочными людьми — с крестьянством. Я раньше побаивался, думал — антисемитизм. У них столько же антисемитизма, как у вас коммунистической идеологии. Это — честные люди и хорошие товарищи, а не какая-нибудь советская сволочь. Три года я уже отсидел. Еще два осталось... Заявление о смягчении участи? Тут голос Гендельмана стал суров и серьезен:

— Ну, от вас я такого совета, И.Л., не ожидал. Эти бандиты меня без всякой вины, абсолютно без всякой вины, посадили на каторгу, оторвали меня от жены и ребенка — ему было только две недели — и чтобы я перед ними унижался, чтобы я у них что-то вымаливал!...

Забубенные глаза Гендельмана смотрели на меня негодующе.

— Нет, И.Л., этот номер не пройдет. Я, даст Бог, отсижу и выйду. А там — там мы посмотрим. Вы только на этих мужичков посмотрите. Какая это сила!

Вечерело. Патрули проходили мимо эшелонов, загоняя лагерников в вагоны. Пришлось попрощаться с Гендельманом.

— Ну, передайте Борису и вашему сыну, я его так и не видал, мой, так сказать, спортивный привет! Не унывайте! А насчет Чекалина все-таки подумайте.

СРЫВ

Я пытался прорваться на Погру на следующий день, еще раз отвести душу с Гендельманом, но не удалось. Вечером Юра мне сообщил, что Якименко с утра уехал на два-три дня на Медвежью Гору, и что в какой-то дополнительный список на ближайший этап урчевский актив ухитрился включить и его, Юру; что список уже подписан начальником отделения Ильиных, и что сегодня вечером за Юрой придет вооруженный конвой, чего для отдельных лагерников не делалось никогда. Вся эта информация была сообщена Юре чекистом из третьего отдела, которому Юра в свое время писал стихами письма к его возлюбленной: поэтические настроения бывают и у чекистов.

Мой пропуск на Погру был действителен до 12 часов ночи. Я вручил его Юре, и он, забрав свои вещи, исчез на Погру с наставлением «действовать по обстоятельствам»; в том же случае, если скрыться совсем будет нельзя, разыскать вагон Гендельмана.

Но эшелон Гендельмана уже ушел. Борис запрятал Юру в покойницкую при больнице, где он и просидел двое суток. Актив искал его по всему лагерю. О переживаниях этих двух дней рассказывать было бы слишком тяжело.

Через два дня приехал Якименко. Я сказал ему, что вопреки его прямой директиве, Стародубцев обходным путем включил Юру в список, что в частности, ввиду этого сорвалась подготовка очередного эшелона (одна машинка оставалась безработной), и что Юра пока что скрывается за пределами досягаемости актива.

Якименко посмотрел на меня мрачно и сказал:

— Позовите мне Стародубцева.

Я позвал Стародубцева. Минут через пять Стародубцев вышел от Якименки в состоянии близком к истерии. Он что-то хотел сказать мне, но величайшая ненависть сдавила ему горло. Он только ткнул пальцем в дверь якименковского кабинета. Я вошел туда.

— Ваш сын сейчас на БАМ не едет. Пусть он возвращается на работу. Но с последним эшелонам поехать ему, вероятно, придется.

Я сказал:

— Товарищ Якименко, но ведь вы мне обещали.

— Ну и что же, что обещал. Подумаешь, какое сокровище ваш Юра.

— Для... для меня сокровище... — я почувствовал спазмы в горле и вышел.

Стародубцев, который, видимо, подслушивал под дверь, отскочил от нее к стенке, и все его добрые чувства ко мне выразились в одном слове, в котором было... многое в нем было.

— Сокровище, гы-ы...

Я схватил Стародубцева за горло. Из актива с места не двинулся никто. Стародубцев судорожно схватил мою руку и почти повис на ней. Когда я разжал руку, Стародубцев мешком опустился на пол. Актив молчал.

Я понял, что еще одна такая неделя, и я сойду с угла.

Я ТОРГУЮ ЖИВЫМ ТОВАРОМ

Эшелоны все шли, а наше положение все ухудшалось. Силы таяли. Угроза Юре росла. На обещания Якименки после всех этих инцидентов рассчитывать совсем было нельзя. Борис настаивал на немедленном побеге. Я этого побега боялся, как огня. Это было бы самоубийством, но помимо такого самоубийства ничего другого видно не было.

Я уже не спал в те короткие часы, которые у меня оставались от урчевской каторги. Одни за другими возникали и отбрасывались планы. Мне все казалось, что где-то вот совсем рядом, под рукой, есть какой-то выход, идиотски простой, явственно очевидный, а я вот не вижу его: хожу вокруг да около, тыкаюсь во всякую майнридовщину, а того, что надо, не вижу. И вот, в одну из таких бессонных ночей меня, наконец, осенило. Я вспомнил о совете Гендельмана, о председателе приемочной комиссии БАМ чекисте Чекалине и понял, что этот чекист — единственный способ спасения и при том способ совершенно реальный.

Всяческими пинкертоновскими ухищрениями узнал его адрес. Чекалин жил на краю села в карельской избе. Поздно вечером, воровато пробираясь по сугробам снега, я подошел к этой избе. Хозяйка избы на мой стук подошла к двери, но открывать не хотела. Через минуту-две к двери подошел Чекалин.

— Кто это?

Дверь открылась на десять сантиметров. Из щели прямо мне в живот смотрел ствол парабеллума. Электрический фонарик осветил меня.

— Вы заключенный?

— Да.

— Что вам нужно? — голос Чекалина был резок и подозрителен.

— Гражданин начальник, у меня к вам очень серьезный разговор и на очень серьезную тему.

— Ну, говорите.

— Гражданин начальник, этот разговор я через щель двери вести не могу.

Луч фонарика уперся мне в лицо. Я стоял, щурясь от света и думал о том, что малейшая оплошность может стоить мне жизни.

— Оружие есть?

— Нет.

— Выверните карманы. Я вывернул карманы.

— Войдите.

Я вошел.

Чекалин взял фонарик в зубы и не выпуская парабеллума, свободной рукой ощупал меня всего. Видна была большая сноровка.

— Проходите вперед.

Я сделал два-три шага вперед и остановился в нерешимости.

— Направо... Наверх... Налеву, — командовал Чекалин, Совсем, как в коридорах ГПУ. Да, сноровка видна.

Мы вошли в убого обставленную комнату. Посредине комнаты стоял некрашенный деревянный стол. Чекалин обошел его кругом и, не опуская парабеллума, тем же резким тоном спросил;

— Ну-с, так что же вам угодно?

Начало разговора было малообещающим, а от него столько зависело. Я постарался собрать все свои силы.

— Гражданин начальник, последние эшелоны состояются из людей, которые до БАМа заведомо не доедут.

У меня запнулось дыхание.

— Ну?

— Вам, как приемщику рабочей силы, нет никакого смысла нагружать вагоны полутрупами и выбрасывать в дороге трупы.

— Да?

— Я хочу предложить давать вам списки больных, которых ББК сажает в эшелоны под видом здоровых. В нашей комиссии есть один

врач. Он, конечно, не в состоянии проверить всех этапников, но он может проверить людей по моим спискам.

— Вы по каким статьям сидите?

— Пятьдесят восемь — шесть, десять и одиннадцать; пятьдесят девять — десять,

— Срок?

— Восемь лет.

— Так... Вы по каким, собственно, мотивам действуете?

— По многим мотивам. В частности и потому, что на БАМ придется, может быть, ехать и моему сыну.

— Это тот, что рядом с вами работает?

— Да.

Чекалин уставился на меня пронизывающим, но ничего не говорящим взглядом. Я чувствовал, что от нервного напряжения у меня начинает пересыхать во рту.

— Так... — сказал он раздумчиво. Потом, отвернувшись немного в сторону, опустил предохранитель своего парабеллума и положил оружие в кобуру.

— Так, — повторил он, как бы что-то соображая. — А скажите, вот эту путаницу с заменой фамилий — это не вы устроили?

— Мы.

— А это по каким мотивам?

— Я думаю, что даже революции лучше обойтись без тех издержек, которые уж совсем бессмысленны.

Чекалина как-то передернуло.

— Так, — сказал он саркастически. — А когда миллионы трудящихся гибли на фронтах бессмысленной империалистической бойни, вы действовали по той же... просвещенной линии?

Вопрос был поставлен в лоб.

— Так же, как и сейчас, я бессилён против человеческого сумасшествия.

— Революцию вы считаете сумасшествием?

— Я не вижу никаких оснований скрывать перед вами этой прискорбной точки зрения.

Чекалин помолчал,

— Ваше предложение для меня приемлемо. Но если вы воспользуетесь этим для каких-нибудь посторонних целей, протекции или чего — вам пощады не будет.

— Мое положение настолько безвыходно, что вопрос о пощаде меня мало интересует. Меня интересует вопрос о сыне.

— А он за что попал?

— По существу за компанию. Связи с иностранцами.

— Как вы предполагаете технически провести эту комбинацию?

— К отправке каждого эшелона я буду давать вам списки больных, которых ББК дает вам под видом здоровых. Этих списков я вам приносить не могу. Я буду засовывать их в уборную УРЧ, в щель между бревнами, над притолокой двери, прямо посередине ее. Вы бываете в УРЧ и можете эти списки забирать.

— Так. Подходяще. К скажите, в этих подлогах с ведомостями ваш сын тоже принимал участие?

— Да. В сущности, это его идея.

— И из тех же соображений?

— Да.

— И отдавая себе отчет...

— Отдавая себе совершенно ясный отчет.

Лицо и голос Чекалина стали немного меньше деревянными.

— Скажите, вы не считаете, что ГПУ вас безвинно посадило?

— С точки зрения ГПУ — нет.

— А с какой точки зрения — да?

— Кроме точки зрения ГПУ есть еще и некоторые другие точки зрения. Я не думаю, чтобы был смысл входить в их обсуждение.

— Я напрасно вы думаете. Глупо думаете. Из-за Якименков, Стародубцевых и прочей сволочи революции и платит эти, как вы говорите, бессмысленные издержки. И это потому, что вы и я же с вами, с революцией идти не захотели. Почему вы не пошли?

— Стародубцев имеет передо мною то преимущество, что он выполнит всякое приказание. А я всякое не выполню.

— Белые перчатки?

— Может быть.

— Ну, вот и миритесь с Якименками.

— Вы, кажется, о нем не особо высокого мнения.

— Якименко карьерист и прохвост, — коротко отрезал Чекалин.
— Он думает, что он сделает карьеру.

— По всей вероятности, сделает.

— Поскольку от меня зависит, сомневаюсь. А от меня зависит. Об этих эшелонах будет знать и Гулаг. Штабели трупов по дороге Гулагу не нужны.

Я подумал о том, что штабели трупов до сих пор Гулагу не мешали.

— Якименко карьеры не сделает, — продолжал Чекалин. — Сволочи у нас и без него достаточно. Ну, это вас не касается.

— Касается самым тесным образом. И именно меня и нас.

Чекалина опять передернуло.

— Ну, давайте ближе к делу. Эшелон идет через три дня. Можете вы мне на послезавтра дать первый список?

— Могу.

— Так, значит, я найду его послезавтра, к десяти часам вечера, в уборной УРЧ, в щели над дверью?

— Да.

— Хорошо. Если вы будете действовать честно, если вы этими списками не воспользуетесь для каких-нибудь комбинаций, я ручаюсь вам, что ваш сын на БАМ не поедет. Категорически гарантирую. А почему бы, собственно, не поехать на БАМ и вам?

— Статьи не пускают.

— Это ерунда.

— И потом, вы знаете, на увеселительную прогулку это не очень похоже.

— Ерунда. Не в теплушке же бы вы поехали, раз я вас приглашаю.

Я в изумлении возрился на Чекалина и не знал, что мне и отвечать.

— Нам нужны культурные силы, — сказал Чекалин, делая ударение на «культурные». — И мы умеем их ценить. Не то, что БАМ.

В пафосе Чекалина мне слышались чисто ведомственные нотки. Я хотел спросить, чем собственно, я обязан чести такого приглашения, но Чекалин прервал меня:

— Ну, мы с вами еще поговорим. Так, значит, списки я послезавтра там найду. Ну, пока. Подумайте о моем предложении,

Когда я вышел на улицу, мне, говоря откровенно, хотелось слегка приплясывать. Но, умудренный опытами всякого рода, я предпочел подвергнуть всю эту ситуацию, так сказать, «марксистскому анализу». Марксистский анализ дал вполне благоприятные результаты. Чекалина, конечно, я оказывал весьма существенную услугу; не потому, что кто-то его стал бы потом попрекать штабелями трупов по дороге, а потому, что он был бы обвинен в ротозействе. Всучили ему, дескать, гнилой товар, а он и не заметил. С точки зрения советских работарговцев, да и не только советских — это промах весьма предосудительный.

СНОВА ПЕРЕДЫШКА

Общее собрание фамилии Солоневичей «трех мушкетеров», как нас называли в лагере, подтвердило мои соображения о том, что Чекалин не подведет. Помимо всяких психологических расчетов был и еще один. Связью со мною, с заключенным, использованием заключенного для шпионажа против лагерной администрации, Чекалин ставит себя в довольно сомнительное положение. Если Чекалин подведет, то перед таким «подводом», вероятно, он подумает о том, что я могу пойти на самые отчаянные комбинации; ведь, вот пошел же я к нему с этими списками. А о том, чтобы иметь в руках доказательства этой преступной связи, я уж позабочусь; впоследствии я об этом и позаботился. Поставленный в безвыходное положение, я эти доказательства предъявлю третьей части. Чекалин же находится на территории ББК. Словом, идя на все это, Чекалин уж должен был держаться до конца.

Все в мире весьма относительно. Стоило развеяться очередной угрозой, нависавшей над нашими головами, и жизнь снова начинала казаться легкой и преисполненной надежд, несмотря на каторжную работу в УРЧ, несмотря на то, что помимо этой работы, чекалинские списки отымали у нас последние часы сна.

Впрочем, списки эти Юра сразу весьма усовершенствовал; мы писали не фамилии, а только указывали номер ведомости и порядковый номер под которым в данной ведомости стояла фамилия, данного заключенного. Наши списки стали срывать эшелоны. Якименко рвал и метал, но каждый сорванный эшелон давал нам некоторую передышку: пока подбирали очередные документы, мы могли отоспаться. В довершение ко всему этому Якименко преподнес мне довольно неожиданный, хотя сейчас уже и ненужный сюрприз. Я сидел за машинкой и барабанил. Якименко был в соседней комнате.

Слышу негромкий голос Якименки:

— Товарищ Твердун, переложите документы Солоневича Юрия на Медгору. Он на БАМ не поедет.

Вечером того же дня я улучил минуту и как-то неловко и путано поблагодарил Якименко. Он поднял голову от бумаг, посмотрел на меня каким-то странным, вопросительно-ироническим взглядом и сказал:

— Не стоит, товарищ Солоневич. И опять уткнулся в бумаги.

Так и не узнал я, какую, собственно, линию вел товарищ Якименко.

ДЕВОЧКА СО ЛЬДОМ

Жизнь пошла как-то глаже. Одно время, когда начали срываться эшелоны, работы стало меньше. Потом, когда Якименко стал под сурдинку включать в списки людей, которых Чекалин уже по разу или больше снимал с эшелонов, работа опять стала беспросыпной. В этот период времени со мною случилось происшествие, в сущности пустяковое, но как-то очень уж глубоко врезавшееся в память. На рассвете перед уходом заключенных на работы и вечером во время обеда перед нашими палатками маячили десятки оборванных крестьянских ребятишек, выпрашивавших всякие съедобные отбросы. Странно было смотреть на этих людей «вольного населения», более нищего, чем даже мы, каторжники, ибо свои полтора фунта хлеба мы получали каждый день, а крестьяне и этих полутора фунтов не имели.

Нашим продовольствием заведовал Юра. Он ходил за хлебом и за обедом. Он же играл роль распределителя лагерных обедков среди детворы. У нас была огромная, литров на десять, алюминиевая кастрюля; которая была участницей уже двух наших попыток побега, а впоследствии и участвовала и в третьей. В эту кастрюлю Юра собирал то, что оставалось от лагерных щей во всей нашей палатке. Щи эти обычно варились из гнилой капусты и селедочных головок. Я так и не узнал, куда девались селедки от этих головок. Не многие из лагерников отваживались есть эти щи, и они попадали детям. Впрочем, многие из лагерников урывали кое-что и из своего хлебного пайка.

Я не помню, почему именно все это так вышло. Кажется, Юра дня два-три подряд вовсе не выходил из УРЧ, я тоже. Наши соседи по привычке сливали свои обедки в нашу кастрюлю. Когда однажды я вырвался из УРЧ, чтобы пройтись хотя бы за обедом, я обнаружил, что моя кастрюля, стоявшая под нарами, была полна до краев, и содержимое ее превратилось в глыбу сплошного льда. Я решил занести кастрюлю на кухню, поставить ее на плиту, и когда лед слегка оттает, выкинуть всю эту глыбу вон и в пустую кастрюлю получить свою порцию каши.

Я взял кастрюлю и вышел из палатки. Бала почти уже ночь. Пронзительный морозный ветер выл в телеграфных проводах и засыпал глаза снежной пылью. У палаток не было никого. Стайка детей, которые в обеденную пору шныряли здесь, уже разошлись. Вдруг какая-то неясная фигурка метнулась ко мне из-за сугроба, и хриплый, застуженный детский голосок пропищал:

— Дяденька, дяденька, может, что осталось. Дяденька, дай!...

Это была девочка лет, вероятно, одиннадцати. Ее глаза под спутанными космами волос блестели голодным блеском. А голосок автоматически, привычно, без всякого выражения, продолжал скулить:

— Дяденька, дааай!

— А тут только лед.

— От щей, дяденька?

— От щей.

— Ничего, дяденька. Ты только дай. Я его сейчас... отогрею... Он сейчас вытряхнется. Ты только дай...

В голосе девочки звучала суетливость, жадность и боязнь отказа. Я соображал как-то туго и стоял в нерешимости. Девочка почти вырвала кастрюлю из моих рук. Потом она распахнула рваный зипунишко, под которым не было ничего, только торчали голые острые ребра, прижала кастрюлю к своему голому тельцу, словно своего ребенка, запахнула зипунишко и села на снег.

Я находился в состоянии такой отупелости, что даже не попытался найти объяснение тому, что эта девочка собиралась делать. Только мелькнула ассоциация о ребенке, о материнском инстинкте; который каким-то чудом живет еще в этом иссохшем тельце. Я прошел в палатку отыскивать другую посуду для каши своей насущенной.

В жизни каждого человека бывают минуты великого унижения. Такую минуту пережил я, когда, ползая под нарами в поисках какой-нибудь посуды, я сообразил, что эта девочка собирается теплом изголодавшегося своего тела растопить эту полупудовую глыбу замерзшей, отвратительной, свиной, но все же пищи; и что во всем этом скелетике тепла не хватит и на четверть этой глыбы.

Я очень тяжело ударился головой о какую-то перекладину под нарами и почти оглушенный от удара, отвращения и ярости, выбежал из палатки. Девочка все еще сидела на том же месте, и ее нижняя челюсть дрожала мелкой частой дрожью.

— Дяденька, не отбирай! — завизжала она.

Я схватил ее вместе с кастрюлей и потащил в палатку. В голове мелькали какие-то сумасшедшие мысли. Я что-то, помню, говорил, но думаю, что и мои слова пахли сумасшедшим домом. Девочка вырвалась в истерию у меня из рук и бросилась к выходу из палатки. Я поймал ее и посадил на нары. Лихорадочно, дрожащими руками я стал шарить на полках, под нарами. Нашел чьи-то объедки, пол пайка Юриного хлеба и что-то еще. Девочка не ожидала, чтобы я протянул ей все это. Она судорожно схватила огрызок хлеба и стала запихивать себе в рот. По ее грязному личику катились слезы еще не остывшего испуга. Я стоял перед нею пришибленный, полный великого отвращения ко всему в мире, в том числе и к самому себе. Как это мы, взрослые люди России, тридцать миллионов взрослых мужчин, могли допустить до этого детей нашей страны? Как это мы не додрались до конца? Мы, русские интеллигенты, зная, чем была великая французская революция, могли мы себе представить, чем будет столь же великая революция у нас... Как это мы не додрались? Как это мы все, все поголовно не взялись за винтовки? В какой-то очень короткий миг вся проблема гражданской войны и революции осветилась с беспощадной яркостью. Что помещики? Что капиталисты? Что профессора? Помещики — в Лондоне. Капиталисты — в наркомторге. Профессора — в академии. Без вилл и автомобилей, но живут. А вот все эти безымянные мальчики и девочки? О них мы должны были помнить прежде всего, ибо они — будущее нашей страны. А вот, не вспомнили. И вот на костях этого маленького скелетика, миллионов таких скелетиков, будет строиться социалистический рай. Вспомнился карамазовский вопрос о билете в жизнь. Нет, ежели бы им и удалось построить этот рай, на этих скелетиках, я такого рая не хочу. Вспомнилась и фотография Ленина в позе Христа, окруженного детьми: «Не мешайте детям приходиться ко мне». Какая подлость! Какая лицемерная подлость!

И вот, много вещей видал я на советских просторах; вещей, на много хуже этой девочки с кастрюлей льда. И многое как-то уже забывается. А девочка не забудется никогда. Она для меня стала каким-то символом. Символом того, что сделалось с Россией.

НОЧЬ В УРЧЕ

Шли дни. Уходили эшелоны. Ухудшалось питание. Наши посылки актив из почтово-посылочной экспедиции лагеря разворовывал настойчиво и аккуратно. Риска уже не было никакого, все равно БАМ. Один за другим отправлялись на БАМ и наши славные сотоварищи по УРЧ. Твердун, который принимал хотя и второстепенное, но все же весьма деятельное участие в нашей травле, пропил от обалдения свой

последний бушлат и плакал в мою жилетку о своей загубленной молодой жизни. Он был польским комсомольцем (фамилия настоящая), перебравшимся нелегально. Кажется, из Вильны и по подозрению не известно в чем, отправленным на пять лет сюда. Даже Стародубцев махнул на нас рукой и вынюхивал пути к обходу БАМовских перспектив. Очень грустно констатировать этот факт, но от БАМа Стародубцев как-то отвертелся. А силы все падали. Я хирел и тупел с каждым днем.

Мы с Юрой кончали наши очередные списки. Было часа два ночи. УРЧ был пуст. Юра кончил свою простыню.

— Иди-ка, Квакушка, в палатку. Ложись спать.

— Ничего, Ватик, посижу. Пойдем вместе.

У меня оставалось работы минут на пять. Когда я вынул из машинки последние листы, то оказалось, что Юра уселся на пол, прислонился спиной к стене и спит. Будить его не хотелось. Нести в палатку? Не донесу. В комнате была лежанка, на которой подремывали все, у кого были свободные полчаса, в том числе и Якименко. Нужно взгромоздить Юру на эту лежанку, там будет тепло, пусть спит. На полу оставлять нельзя. Сквозь щели пола дули зимние сквозняки, наметая у плинтуса тоненькие сугробики снега.

Я наклонился и поднял Юру. Первое, что меня поразило, это его страшная тяжесть. Откуда? Но потом я понял. Это не тяжесть, а моя слабость. Юрины пудов шесть брутто казались тяжелее, чем раньше были пудов десять.

Лежанка была на уровне глаз. У меня хватило силы поднять Юру до уровня груди, но дальше не шло никак. Я положил Юру на пол и попробовал разбудить. Не выходило ничего. Это был уже не сон. Это был, выражаясь спортивным языком, коллапс.

Я все-таки изловчился. Подтащил к лежанке ящик, опять поднял Юру, взобрался с ним на ящик, положил на край ладони и, приподнявшись, перекатил Юру на лежанку. Перекаtywаясь, Юра ударился виском о край кирпичного изголовья. Тоненькая струйка крови побежала по лицу. Обрывком папиросной бумаги я заклеил ранку. Юра не проснулся. Его лицо было похоже на лицо покойника, умершего от долгой и изнурительной болезни. Алые пятна крови резким контрастом подчеркивали мертвенную синеву лица. Провалившиеся впадины глаз. Заострившийся нос. Высохшие губы. Неужели, это конец? Впечатление было таким страшным, что я наклонился и стал слушать сердце. Нет, сердце билось. Плохо, с аритмией, но билось. Этот короткий, на несколько секунд ужас оглушил меня. Голова кружилась, и ноги подгибались. Хорошо бы никуда не идти, свалиться прямо здесь и

заснуть. Но я пошатываясь, вышел из УРЧ и стал спускаться с лестницы. По дороге вспомнил о нашем списке для Чекалина. Список относился к этапу, который должен был отправиться завтра или точнее, сегодня. Ну, конечно, Чекалин этот список взял, как и прежние списки. А вдруг не взял? Чепуха. Почему бы он мог не взять? Ну, а если не взял? Это был наш рекордный список — на 147 человек. И оставлять его в щели на завтра? Днем могут заметить. И тогда?

Потоптавшись в нерешительности на лестнице, я все-таки пополз наверх. Открыл дверь в неопишную урчевскую уборную, просунул руку. Список был здесь.

Я чиркнул спичку. Да, это был наш список. Иногда бывали списки от Чекалина, драгоценный документ на всякий случай; Чекалин был очень не осторожен. Почему Чекалин не взял его? Не мог? Не было времени? Что ж теперь? Придется занести его Чекалину.

Но при мысли о том, что придется проваливаться по сугробам куда-то за две версты до чекалинской избы, меня даже озноб прошиб. А не пойти? Завтра эти 147 человек поедут на БАМ.

Какие-то обрывки мыслей и доводов путано бродили в голове. Я вышел на крыльцо.

Окна УРЧ отбрасывали белые прямоугольники света, заносимые снегом и тьмой. Там, за этими прямоугольниками, металась вьюжная приполярная ночь. Две версты. Не дойду. Ну, его к чертям! И с БАМом и со списками и с этими людьми. Им все равно погибать, не по дороге на БАМ, так где-нибудь на Лесной Речке. Пойду в палатку и завалюсь спать. Там весело трещит печурка, можно будет завернуться в два одеяла; и в Юрино тоже. Буду засыпать и думать о земле, где нет расстрелов, БАМа, девочки со льдом, мертвенного лица сына. Буду мечтать о какой-то странной жизни, может быть, очень простой, может быть, очень бедной, но о жизни на воле. О невероятной жизни на воле... Да, а список как?

Я не без труда сообразил, что сижу на снегу, упершись спиной в крыльцо и вытянув ноги, которые снег уже замел до кончиков носков.

Я вскочил, как будто мною выстрелили из пушки. Так поидиотски погибнуть? Замерзнуть на дороге между УРЧ и палаткой? распустить свои нервы до степени какого-то лунатизма? К чертовой матери! Пойду к Чекалину. Спит — разбужу. Черт с ним.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН

Пошел. Путался во тьме и в сугробах. Наконец, набрел на плетень, от которого можно было танцевать дальше. Мыслями о том, как

бы дотанцевать, как бы не запутаться, как бы не свалиться — было занято все внимание. Так что возглас «Стой! Руки вверх!» застал меня в состоянии полнейшего равнодушия. Я послал возглагошающего в нехорошее место и побрел дальше. Но голос крикнул: «Это вы!»

Я резонно ответил, что это, конечно, я.

Из вьюги вынырнула какая-то фигура с револьвером в руках.

— Вы куда? Ко мне?

Я узнал голос Чекалина.

— Да, я к вам.

— Список несете? Хорошо, что я вас встретил. Только что приехал. Шел за этим самым списком. Хорошо, что вы его несете. Только послушайте, ведь вы же интеллигентный человек. Нельзя же так писать. Ведь, это черт знает, что такое: не то, что фамилий, а и цифр разобрать нельзя.

Я покорно согласился, что почерк у меня действительно, бывает и хуже, но не часто.

— Ну, идем ко мне. Там разберемся. Чекалин повернулся и нырнул во тьму. Я с трудом поспевал за ним. Проваливались в какие-то сугробы, натыкались на какие-то пни. Наконец, добрались.

Мы поднялись по темной скрипучей лестнице. Чекалин зажег свет.

— Ну, вот. Смотрите. — сказал он своим скрипучим, раздраженным голосом. — Ну, на что это похоже? Что это у вас? 4? 1? 7? 9? Ничего не разобрать. Вот вам карандаш. Садитесь, поправьте так, чтобы было понятно.

Я взял карандаш и уселся. Руки дрожали от холода, от голода и от многих других вещей. Карандаш прыгал в пальцах, цифры расплывались в глазах.

— Ну и распустили же вы себя, — сказал Чекалин укоризненно, но в голосе его не было прежней скрипучести.

Я что-то ответил.

— Давайте, я буду поправлять. Вы только говорите мне, что ваши закорючки означают.

Закорюк было не так уж много, как это можно было бы ожидать. Когда все они были расшифрованы, Чекалин спросил меня:

— Это все больные завтрашнего эшелона?

Я махнул рукой.

— Какое все. Я вообще не знаю, есть ли в этом эшелоне здоровые.

— Так почему же вы не дали списка на всех больных?

— Знаете, товарищ Чекалин, даже самая красивая девушка не может дать ничего путного, если у нее нет времени для сна.

Чекалин посмотрел на мою руку.

— Н-да, — протянул он. — А больше в УРЧ вам не на кого положиться?

Я посмотрел на Чекалина с изумлением.

— Ну да, — поправился он. — Извините за нелепость. А сколько по-вашему еще остается здоровых?

— По-моему, вовсе не остается. Точнее, по мнению брата.

— Существенный парень ваш брат, — сказал ни с того, ни с сего Чекалин. — Его даже работники третьей части и те побаиваются. Да. Так, говорите, все резервы Якименки уже исчерпаны?

— Пожалуй, даже больше, чем исчерпаны. На днях мой сын открыл такую штуку: в последние списки УРЧ включил людей, которых вы уже по два раза снимали с эшелонов.

Брови Чекалина поднялись.

— Ого! Даже так! Вы в этом уверены?

— У вас, вероятно, есть старые списки. Давайте проверим. Некоторые фамилии я помню.

Проверили. Несколько повторяющихся фамилий нашел и сам Чекалин.

— Так, — сказал Чекалин раздумчиво. — Так, значит, «Елизавет Воробей»?

— В этом роде. Или сказка про белого бычка.

— Так, значит, Якименко идет уже на настоящий подлог. Значит, действительно давать ему больше некого. Черт знает, что такое. Приемку придется закончить. За такие потери я отвечать не могу.

— А что, очень велики потери в дороге?

Я ожидал, что Чекалин ответит мне, как прошлый раз, «Не ваше дело», но к моему удивлению, он нервно повел плечами и сказал:

— Совершенно безобразные потери. Да, кстати, — вдруг прервал он самого себя. — Как вы насчет моего предложения? На БАМ?

— Если вы разрешите, я откажусь.

— Почему?

— Есть две основных причины. Первая — здесь Ленинград под боком, и ко мне люди будут приезжать на свидания. Вторая — увязавшись с вами, я автоматически попадаю под вашу протекцию. Вы — человек партийный, следовательно, подверженный всяким мобилизации и переброскам. Протекция исчезает, и я остаюсь на растерзание тех людей, у кого эта протекция и привилегированность были бельмом в глазу.

— Первое соображение верно. Вот второе — не стоит ничего. Там в БАМовском ГПУ я ведь расскажу всю эту историю со списками, с Якименкой, с вашей ролью во всем этом.

— Спасибо. Это значит, что БАМовское ГПУ меня разменяет при первом же удобном случае.

— То есть, почему это?

Я посмотрел на Чекалина не без удивления и соболезнования: такая простая вещь.

— Потому, что из всего этого будет видно довольно явственно: парень зубастый и парень не свой. Вчера он подвел ББК, а сегодня он подведет БАМ.

Чекалин повернулся ко мне всем своим корпусом и спросил:

— Вы никогда в ГПУ не работали?

— Нет. ГПУ надо мной работало.

Чекалин закурил папиросу и стал смотреть, как струйка дыма разбивалась струями холодного воздуха от окна.

Я решил внести некоторую ясность.

— Это не только система ГПУ. Об этом и Макиавелли говорил.

— Кто такой Макиавелли?

— Итальянец эпохи Возрождения. Издал, так сказать, учебник большевизма. Там обо всем этом довольно подробно сказано. Пятьсот лет тому назад.

Чекалин поднял брови.

— Н-да, за пятьсот лет человеческая жизнь по существу не на много усовершенствовалась, — сказал он, как бы что-то разясняя. — И пока капитализма мы не ликвидируем и не усовершенствуется. Да, на счет БАМа вы, пожалуй и правы. Хотя и не совсем. На БАМ посланы наши лучшие силы.

Я не стал выяснять, с какой точки зрения, эти лучшие силы являются лучшими. Собственно, пора было уже уходить, пока мне об

ртом не сказали. Но как-то трудно было подняться. В голове был туман, хотелось заснуть тут же на табуретке. Однако, я приподнялся.

— Посидите, отогрейтесь, — сказал Чекалин и протянул мне папиросы. Я закурил. Чекалин как-то слегка съездившись сел на табуретку, и его поза странно напомнила мне давешнюю девочку со льдом. В этой позе, в лице, в устало положенной руке было что-то сурово безнадежное, усталое, одинокое. Это было лицо человека, который привык жить, как говорится, сжавши зубы. Сколько их, таких твердокаменных партийцев, энтузиастов и тюремщиков, жертв и палачей, созидателей и опустошителей! Но идут беспросветные годы энтузиазм выветривается, подвалы коммунистических ауто-да-фе давят на совесть все большее, жертвы и свои и чужие, как-то больше опустошают, чем созидают. Какая в сущности беспросветная жизнь у них, у этих энтузиастов. Недаром один за другим уходят они на тот свет, добровольно и не добровольно, на Соловки, в басмаческие районы Средней Азии, в политизоляторы ГПУ. Больше им, кажется, некуда уходить.

Чекалин поднял голову и поймал мой пристальный взгляд. Я не сделал вида, что этот взгляд был только случайностью. Чекалин как-то болезненно и криво усмехнулся.

— Изучаете? А сколько, по-вашему, мне лет? Вопрос был несколько неожиданным. Я сделал поправку на то, что на языке официальной советской медицины называется «советской изношенностью», на необходимость какого-то процента подбадривания и сказал — лет сорок пять. Чекалин повел плечами.

— Да? А мне тридцать четыре. Вот вам и чекист, — он совсем криво усмехнулся и добавил:

— Палач, как вы говорите.

— Я не говорил.

— Мне не говорили — другим говорили. Или, во всяком случае думали.

Было бы глупо отрицать, что такой ход мыслей действительно существовал.

— Разные палачи бывают. Те, кто идет по любви к этому делу — выживают. Те, кто только по убеждению — гибнут. Я думаю, что вот Якименко очень мало беспокоится о потерях в эшелонах.

— А откуда вы взяли, что я беспокоюсь?

— Таскаетесь по ночам за моими списками в УРЧ. Якименко бы таскаться не стал. Да и вообще видно. Если бы я этого не видел, я бы к вам с этими списками не пошел бы.

— Да? Очень любопытно. Знаете, что? Откровенность за откровенность.

Я насторожился. Но несмотря на столь многообещающее вступление, Чекалин как-то замялся, потом подумал, потом, как бы решившись окончательно, сказал:

— Вы не думаете, что Якименко что-то подозревает о ваших комбинациях со списками?

Мне стало беспокоило. Якименко мог и подозревать, но если об его подозрениях уже и Чекалин знает, дело могло принять совсем серьезный оборот.

— Якименко на днях дал распоряжение отставить моего сына от отправки на БАМ.

— Вот как? Совсем занимательно.

Мы недоуменно посмотрели друг на друга.

— А что вы, собственно говоря, знаете о подозрениях Якименки?

— Так, ничего в сущности определенного. Трудно сказать. Какие-то намеки, что ли...

— Тогда почему Якименко нас не ликвидировал?

— Это не так просто. В лагерях есть закон. Конечно, сами знаете, он не всегда соблюдается, но он есть. И если человек зубастый... По отношению к зубастому человеку... а вас здесь целых трое зубастых. Ликвидировать не так легко. Якименко человек осторожный. Мало ли, какие у вас могут быть связи. А у нас в ГПУ за нарушение закона... по отношению, к тем, кто имеет связи... — Чекалин посмотрел на меня недовольно и закончил: — Спуску не дают.

Заявление Чекалина вызвало необходимость обдумать целый ряд вещей, в частности и такую, не лучше ли нам при таком ходе событий принять предложение Чекалина насчет БАМа, чем оставаться здесь под эгидой Якименки. Но это был момент малодушия, попытка измены принципу «все для побега». Нет. Конечно, все — для побега. Как-нибудь споемся и с Якименкой. К теме о БАМе не стоит даже возвращаться.

— Знаете что, товарищ Чекалин, насчет закона и спуска, пожалуй, нет смысла и говорить.

— Я вам отвечу прежним вопросом, почему на ответственных местах сидят Якименки, а не вы? Сами виноваты.

— Я вам отвечу прежним ответом, потому что во имя приказа или точнее, во имя карьеры он пойдет, на что хотите. А я не пойду.

— Якименко только один из винтиков колоссального аппарата. Если каждый винтик будет рассуждать...

— Боюсь, что вот вы все-таки рассуждаете. И я тоже. Мы все-таки, так сказать, продукты индивидуального творчества. Вот когда додумаются делать людей на конвейерах, как винты и гайки, тогда будет дело другое.

Чекалин презрительно пожал плечами.

— Гнилой индивидуализм. Таким, как вы, хода нет.

Я несколько обозлился. Почему мне нет хода? В любой стране для меня был бы свободен любой ход.

— Товарищ Чекалин. — сказал я раздраженно. — Для вас тоже хода нет. Потому что с каждым вершком углубления революции власть все больше и больше нуждается в людях не рассуждающих и не поддающихся никаким угрызениям совести, в стародубцевых, в якименках. Вот именно поэтому и вам хода нет. Эти эшелоны и эту комнатуху едва ли можно назвать ходом. Вам тоже нет хода, как нет его и всей старой ленинской гвардии. Вы обречены, как обречена и она. То, что я попал в лагерь несколько раньше, а вы попадете несколько позже, ничего не решает. Вот только мне в лагере не из-за чего биться головой об стенку. А вы будете биться головой об стенку. И у вас будет, за что. Во всем этом моя трагедия и ваша трагедия; но в этом же и трагедия большевизма, взятого вместе. Все равно, вся эта штука полным ходом идет в болото. Кто утонет раньше, кто позже — этот вопрос никакого принципиального значения не имеет.

— Ого, — поднял брови Чекалин. — Вы, кажется, целую политическую программу развиваете.

Я понял, что я несколько зарвался, если не в словах, то в тоне, но отступить было бы глупо.

— Этот разговор подняли вы, а не я. А здесь не лагерный барак с сексотами и горячим материалом «масс». С чего бы я стал перед вами разыгрывать угнетенную невинность? С моими-то восемью годами приговора?

Чекалин как будто бы несколько сконфузился за чекистскую нотку, которая прозвучала в его вопросе.

— Кстати, а почему вам дали такой странный срок — восемь лет, а не пять и не десять?

— Очевидно, предполагается, что для моей перековки в честного советского энтузиаста требуется ровно восемь лет... Если я эти восемь лет проживу.

— Конечно, проживете. Думаю, что вы себе здесь и карьеру сделаете.

— Меня московская карьера не интересовала, а уж на лагерную вы меня, товарищ Чекалин, извините — на лагерную уж мне совсем наплевать. Проканителюсь как-нибудь. В общем и целом дело все равно пропащее. Жизнь все равно испорчена вдрызг. Не лагерем, конечно. И ваша тоже. Вы, ведь, товарищ Чекалин — один из последних могикан идейного большевизма. Тут и дискуссировать нечего. Довольно на вашу физиономию посмотреть.

— А позвольте вас спросить, что же вы вычитали на моей физиономии?

— Многое. Например, вашу небритую щетину. Якименко каждый день вызывает к себе казенного парикмахера, бреется, опрыскивается одеколоном. А вы уже не брились недели две и вам не до одеколона.

— Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. — продекламировал Чекалин.

— Я не говорю, что Якименко не дельный. А только бывают моменты, когда порядочному человеку, хотя бы и дельному, не до ногтей и не до бритвы. Вот вы живете, черт знает, в каком сарае. У вас даже не топлено. Якименко так жить не будет. И Стародубцев тоже. При первой же возможности, конечно. У вас есть возможность и вызвать заключенного парикмахера и приказать натопить печку.

Чекалин ничего не ответил. Я чувствовал, что моя безмерная усталость начинает переходить в какое-то раздражение. Лучше уйти. Я поднялся.

— Уходите?

— Да, нужно все-таки хоть немного вздремнуть. Завтра опять эти списки.

Чекалин тяжело поднялся со своей табуретки.

— Списков завтра не будет, — сказал он твердо. — Я завтра устрою массовую проверку здоровья этого эшелона и не приму его. И вообще, на этом приемку прекращаю, — он протянул мне руку. Я пожал ее. Чекалин задержал рукопожатие.

— Во всяком случае, — сказал он каким-то начальственным, но все же чуть-чуть взволнованным тоном. — Во всяком случае, товарищ

Солоневич, за эти списки я должен вас поблагодарить... от имени той самой коммунистической партии, к которой вы так относитесь. Вы должны понять, что если партия не очень жалеет людей, то она не жалеет и себя.

— Вы бы лучше говорили от своего имени, тогда мне было бы легче вам поверить. От имени партии говорят разные люди. Как от имени Христа говорили и апостолы и инквизиторы.

— Н-да, — протянул Чекалин раздумчиво. Мы стояли в дурацкой позе у косяка дверей, не разжимая протянутых для рукопожатия рук. Чекалин был, казалось, в какой-то нерешимости. Я еще раз потряс ему руку и повернулся.

— Знаете что, товарищ Солоневич, — сказал Чекалин. — Вот, тоже. Спать времени нет. А когда урвешь часок, так все равно не спится. Торчишь вот тут...

Я оглядел большую, холодную, пустую, похожую на сарай комнату. Посмотрел на Чекалина. В его глазах было одиночество.

— Ваша семья на Дальнем Востоке?

Чекалин пожал плечами.

— Какая тут может быть семья? При нашей-то работе? Значит, уходите? Знаете, что? На завтра этих списков у вас больше не будет. Эшелонов я больше не приму. Точка. К чертовой матери. Так вот, давайте-ка посидим, поболтаем. У меня коньяк есть. И закуска. А?

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА

Коньяк меня в данный момент не интересовал. Закуска интересовала. Правда, голод стал каким-то хроническим фоном жизни и особо болезненных ощущений не вызывал. Но есть всегда хотелось. На секунду мелькнуло смутное подозрение о мотивах этого необычного приглашения, я посмотрел в глаза Чекалину и увидел, что мой отказ будет чем-то глубоко оскорбительным, каким-то странным оскорблением его одиночеству.

Я вздохнул:

— Коньяку бы не плохо.

Лицо Чекалина как-то повеселело.

— Ну, вот и замечательно. Посидим, побалакаем. Я сейчас.

Чекалин засуетился. Полез под кровать, вытащил оттуда обдранный фанерный чемодан, извлек из него литровую бутылку

коньяку и основательную, литров на пять жестяную коробку, в которой оказалась амурская кетовая икра.

— Наша икра, БАМовская, — пояснил Чекалин.

— Сюда ехать, нужно и свой продукт везти. Чужое ведомство. Да еще и конкурирующее. Для того, чтобы отстаивать свои ведомственные интересы, нужно и свой ведомственный паек иметь. А то так: не примешь эшелона — есть не дадут.

Из покосившегося, потрескавшегося пустого шкафа Чекалин достал мутного стекла стакан и какую-то глиняную плошку. Вытер их клочком газетной бумаги. Пошарил еще по пустым полкам шкафа. Обнаружил кусок зачерствевшего хлеба, весом в фунт. Положил этот кусок на стол и посмотрел на него с сомнением.

— Насчет хлеба дело, кажется, дрянь. Сейчас посмотрю еще.

С хлебом дело действительно оказалось дрянью.

— Вот так загвоздка. Придется к хозяйке идти. Будить не стоит. Пошарю, может быть, что-нибудь выищется.

Чекалин ушел вниз. Я остался сидеть, пытаюсь отуманенными мозгами собрать разбегающиеся мысли и подвести нынешнюю беседу под какую-то мало-мальски вразумительную классификацию.

Беседа эта, впрочем, в классификацию входила. Сколько есть на Святой Руси этих загубленных коммунистических душ, взявшихся не за свое дело, гибнущих молчком, сжавши зубы и где-то в самых глубоких тайниках своей души мечтающих о васильках. О тех васильках, которые когда-то после и в результате «всего этого» будут доступны пролетариату всего мира. Васильки эти остаются невысказанными. Васильки эти изнутри давят на душу. Со Стародубцевым о них нельзя говорить. Но на черноземе доброй русской души, политой доброй российской водкой, эти васильки распускаются целыми голубыми коврами самых затаенных мечтаний. Сколько на моем советском веку выпито было под эти васильки!

Мелькнуло и было отброшено мимолетное сомнение в возможном подводе со стороны Чекалина. И подводить, собственно, было нечего и чувствовалось, что предложение Чекалина шло так сказать, от «широкого сердца», от пустоты и одиночества его жизни.

Потом мысли перепрыгнули на другое. Я в вагоне номер 13. Руки скованы наручниками и распухли. На душе мучительная, свербящая злость на самого себя. Так проворонить! Такого идиота сыграть! И бесконечная тоска за все то, что уже пропало, чего уже никак не поправишь.

На какой-то станции один из дежурных чекистов приносит обед, вопреки ожиданиям, вполне съедобный обед. Я вспоминаю, что у меня в рюкзаке фляга с литром чистого спирта. Эх, сейчас выпить бы!

Говорю об этом дежурному чекисту. Дайте, дескать, выпить последний раз.

— Бросьте вы Лазаря разыгрывать. Выпьете еще на своем веку... Сейчас я спрошу.

Вышел в соседнее купе.

— Товарищ Добротин, арестованный просит разрешения... — т.д.

Из соседнего купе высовывается круглая заспанная физиономия Добротина. Добротин смотрит на меня испытующе.

— А вы в пьяном виде скандалить не будете?

— Пьяного вида у меня вообще не бывает. Выпью и постараюсь заснуть.

— Ну, ладно.

Дежурный чекист приволок мой рюкзак, достал флягу и кружку.

— Как вам развести? Напополам? А то хватили бы кружки две — заснете.

Я выпил две кружки. Один из чекистов принес мне сложенное одеяло и положил на скамью под голову.

— Постарайтесь заснуть. Чего зря мучиться. Нет, наручников снять не можем. Не имеем права. А вы вот так с руками устройтесь. Будет удобнее.

Идиллия...

Вернулся Чекалин. В руках у него три огромных печеных репы и тарелка с кислой капустой.

— Хлеба нет. — сказал он и опять как-то покорежился. — Но и репа не плохо.

— Совсем не плохо, — ляпнул я. — Наши товарищи, пролетарии всего мира и репы сейчас не имеют. — и сейчас же почувствовал, как это вышло безвкусно и неуместно.

Чекалин даже остановился со обоими репами в руках.

— Простите, товарищ Чекалин, — сказал я искренно. — Так ляпнул. Для красного словца и от хорошей нашей жизни.

Чекалин как-то вздохнул, положил на стол репы, налил коньяку, мне в стакан, себе в плошку.

— Ну, что ж, товарищ Солоневич, выпьем за грядущее, за бескровные революции. Каждому, так сказать, свое. Я буду пить за революцию, а вы за бескровную.

— А такие бывают?

— Будем надеяться, что мировая — она будет бескровной, — иронически усмехнулся Чекалин.

— А за грядущую русскую революцию вы пить не хотите?

— Ох, товарищ Солоневич, — серьезно сказал Чекалин. — Не накликайте. Ох, не накликайте. Будете потом и по сталинским временам плакать. Ну, я вижу, что вы ни за какую революцию пить не хотите, то есть за мировую. А я за грядущую русскую тоже не хочу. А коньяк, как говорится, стынет. Давайте так, за «вообще».

Чокнулись и выпили за «вообще». Коньяк был великолепен, старых подвалов Армении. Зачерпнули деревянными ложками икры. Комок икры свалился с ложки Чекалина на стол. Чекалин стал машинально подбирать отдельные крупинки.

— Третья революция, третья революция. Что тут скрывать? Скрывать тут нечего. Мы, конечно, знаем, что три четверти населения ждут падения советской власти. Глупо это. Не только потому глупо, что у нас хватит сил и гибкости, чтобы этой революции не допустить. А потому, что сейчас при Сталине — есть будущее. Сейчас контрреволюция — это фашизм, диктатура иностранного капитала, превращение страны в колонию. Вот вроде Индии. И как этого люди не понимают? От нашего отсталого крестьянства, конечно, требовать понимания нельзя. Но интеллигенция? Будете потом бегать в какой-нибудь подпольный профсоюз и просить там помощи против какого-нибудь американского буржуя. Сейчас жить плохо. А тогда жить будет скучно. Тогда ничего не будет впереди. А теперь еще два-три года, ну пять лет — и вы увидите, какой у нас будет расцвет.

— Не случилось ли вам читать «Правды» или «Известий» так в году двадцать восьмом, двадцать седьмом?

Чекалин удивленно пожал плечами.

— Ну, конечно, читал. А что?

— Да так, особенного ничего. Один мой приятель — большой остряк. В прошлом году весной обсуждался, кажется, какой-то заем... второй пятилетки. Вылез на трибуну и прочел передовую статью из Правды начала первой пятилетки... О том, как будут жить в конце первой пятилетки.

Чекалин смотрел на меня непонимающим взглядом.

— Ну и что?

— Да так, особенного ничего. Посадили. Сейчас, кажется, в Вишерском концлагере сидит: не вспоминай.

Чекалин насупился.

— Это все — мешанский подход. Обывательская точка зрения. Боязнь усилий и жертв. Мы честно говорим, что жертвы неизбежны. Но мы знаем, во имя чего мы требуем жертв и сами их приносим... — я вспомнил вудвортовский афоризм о самом гениальном изобретении в мировой истории — об осле, перед мордой которого привязан клочок сена. И топает бедный осел и приносит жертвы, а клочок сена, как был — вот-вот достать, так и остается. Чекалин снова наполнил наши «бокалы», и лицо его снова стало суровым и замкнутым.

— Мы идем вперед. Мы ошибаемся, мы спотыкаемся, но мы идем во имя самой великой цели, которая только ставилась перед человечеством. А вот вы вместо того, чтобы помочь, сидите себе тихонько и зубоскалите, саботируете, ставите палки в колеса.

— Ну, знаете ли, все-таки трудно сказать, чтобы я очень уж комфортабельно сидел.

— Да я не о вас говорю, не о вас персонально. Я говорю об интеллигенции вообще. Конечно, без нее не обойтись, а — сволочь. На народные, на трудовые деньги росла и училась. Звала народ к лучшему будущему, к борьбе со всякой мерзостью, со всякой эксплуатацией, со всяким суеверием. Звала к человеческой жизни на земле. А когда дело дошло до строительства этой жизни, струсил, хвостом накрылась, побежала ко всяким Колчакам и Детердингам. Мутила, где только могла. Оставила нас состародубцевыми, с неграмотным мужиком. А теперь вот: ах, что делают эти стародубцевы! Стародубцевы губят тысячи и сотни тысяч, а вот вы, интеллигент, подсовываете мне ваши дурацкие гомеопатические списки и думаете, ах, какая я в сущности честная женщина. Меньше, чем за миллион, я не отдаюсь. Грязного белья своей страны я стирать не буду. Вам нужен миллион, чтобы и белья не стирать, и чтобы ваши ручки остались нежными и чистыми. Вам нужна этакая, черт вас дерит, чистоплюйская гордость. Не вы, дескать, чистили сортиры старых гнойников. Вы, конечно, вы говорили, что купец — это сволочь, что царь — дурак, что генералы — старое рваньё. Зачем вы это говорили? Я вас спрашиваю, — голос Чекалина стал снова скрипуч и резок. — Я вас спрашиваю, зачем вы это говорили? Что, вы думали, купец отдаст вам свои капиталы, царь — свою власть, генералы — свои орден так здорово живешь, без драки, без боя, без выбитых зубов с обеих сторон? Что по дороге к этой человеческой жизни, к которой вы, вы звали массы, никакая сволочь вам в горло не вцепится?

— Подымали массы, черт вас раздери. А когда массы поднялись, вы их предали и продали. Социалисты, мать вашу. Вот вам социалисты, ваши германские друзья и приятели, разве мы, марксисты, это не предсказывали, что они готовят фашизм, что они будут лизать пятки любому Гитлеру, что они точно так же продадут и предадут германские массы, как вот вы предали русские? А теперь тоже вроде вас думают: ах, какие мы девственные; ах, какие мы чистые. Ах, мы никого не изнасиловали. А что этих социалистов всякий, у кого есть деньги — и спереди и сзади. Так ведь это же за настоящие деньги, за валюту, не за какой-нибудь советский червонец. Не за трудовой кусок хлеба.

Голос Чекалина стал визглив. Он жестикулировал своим бутербродом из репы, икра разлеталась во все стороны, но он этого не замечал. Потом он как-то спохватился.

— Простите, что я так крою. Это, понимаете, не вас персонально... Давайте что ли, выпьем.

Выпили.

— ...Не вас персонально. Что вас расстреливать? Это всякий дурак может. А вот вы мне ответьте.

Я подумал о той смертельной братской ненависти, которая и разделяет и связывает эти две подсекты социализма — большевиков и меньшевиков. Ненависть эта тянется уже полвека — и говорить о ней не стоило.

— Ответить, конечно, можно было бы, но это не моя тема. Я, видите ли, никогда в своей жизни ни на секунду не был социалистом.

Чекалин усталился на меня в недоумении и замешательстве. Вся его филиппика пролетела впустую, как заряд картечи сквозь привидение.

— Ах, так. Тогда извините. Не знал. А кем же вы были?

— Говоря ориентировочно, монархистом. О чем ваше уважаемое заведение имеет исчерпывающие данные. Так что и скромничать не стоит.

Видно было, Чекалин чувствовал, что со всем своим негодованием против социалистов он попал в какое-то глупое и потому беспомощное положение. Он воззрился на меня с каким-то недоумением.

— Послушайте. Документы я ваши видел... в вашем личном деле. Ведь, вы же из крестьян. Или документы липовые?

— Документы настоящие. Предупреждаю вас по хорошему. Насчет классового анализа здесь ничего не выйдет. Маркса я знаю не хуже, чем Бухарин. А если и выйдет, так совсем не по Марксу. Насчет классового анализа и не пробуйте.

Чекалин пожал плечами.

— Ну, в этом разрезе монархия для меня — четвертое измерение. Я понимаю, представителей дворянского землевладения... Там были прямые классовые интересы. Что вам от монархии?

— Много. В частности то, что монархия была единственным стержнем государственной жизни. Правда, не густым, но все же единственным.

Чекалин несколько оправился от своего смущения и смотрел на меня с явным любопытством, как некий ученый смотрел бы на некое очень любопытное ископаемое.

— Так. Вы говорите, единственным стержнем. А теперь, дескать, с этого стержня сорвались и летим, значит, к чертовой матери.

— Давайте уговоримся не митинговать. Масс тут никаких нету. Мировая революция лопнула явственно. Куда же мы летим?

— К строительству социализма в одной стране. — сказал Чекалин, и в голосе его особой убедительности не было.

— Так. А вы не находите, что все это гораздо ближе стоит к какой-нибудь весьма свирепой азиатской деспотии, чем к самому завалющему социализму. И столько народу придется еще истребить, чтобы построить этот социализм так, как он строится теперь, то есть пулеметами. И не останется ли в конце концов на всей пустой русской земле два настоящих социалиста безо всяких уклонов — Сталин и Каганович?

— Это, извините, жульническая постановка вопроса. Конечно, без жертв не обойтись. Вы говорите, пулеметами? Что ж, картофель тоже штыками выколачивали. Не нужно уж слишком высоко ценить человеческую жизнь. Когда правительство строит железную дорогу, оно тоже приносит человеческие жертвы. Статистика, кажется, даже подсчитала, что на столько-то километров пути приходится столько-то человеческих жертв в год. Так что ж, по-вашему и железных дорог не строить? Тут ничего не поделаешь. Математика. Так с нашими эшелонами. Конечно, тяжело. Вот вы несколько снизили процент этих несчастных случаев, но в общем — все это пустяки. Командир, который в бою будет заботиться не о победе, а о том, как бы избежать потерь, такой командир ни черта не стоит. Такого выкрасить да выбросить. Вы говорите, зверства резолюции. Пустое слово. Зверства тогда остаются зверствами, когда их недостаточно. Когда они достигают цели, они становятся святой жертвой. Армия, которая пошла в бой, потеряла десять процентов своего состава и не достигла цели, она эти десять процентов потеряла зря. Если она потеряла девяносто процентов и выиграла бой, ее

потери исторически оправданы. То же и с нами. Мы думаем не о потере, а о победе. Нам отступать нельзя. Ни перед какими потерями. Если мы только на вершок не дотянем до социализма, тог да все это будет зверством и только. Тогда идея социализма будет дискредитирована навсегда. Нам остановки не дано. Еще десять миллионов. Еще двадцать миллионов. Все равно. Назад дороги нет. Нужно идти дальше. Ну, что ж, — добавил он, заглянув в свою пустую плошку. — Давайте что ли действовать дальше?

Я кивнул головой. Чекалин налил наши сосуды. Мы молча чокнулись.

— Да, — сказал я, — Вы наполовину правы. Назад действительно дороги нет. Но согласитесь сами, что и впереди ничего не видать. Господь Бог вовсе не устроил человека социалистом. Может быть, это и не очень удобно, но это факт. Живет человек теми же инстинктами; какими он жил и во время Римской Империи. Римское право исходило из того предположения, что человек действует прежде всего, как добрый отец семейства, *cum bonus pater familias*, то есть он прежде всего, напряженнее всего действует в интересах себя и своей семьи.

— Философия мешанского эгоизма.

— Во-первых, вовсе не философия, а биология. Так устроен человек. У него крыльев нет. Это очень жалко. Но если вы перебьете ему ноги, то он летать все-таки не будет. Вот вы попробуйте вдуматься в эти годы, годы революции. Там, где коммунизм — там голод. Стопроцентный коммунизм — стопроцентный голод. Жизнь начинает расти только там, где коммунизм отступает: НЭП, приусадебные участки, сдельщина. На территориях чистого коммунизма и трава не растет. Мне кажется, что это принадлежит к числу немногих совсем очевидных вещей.

— Да, остатки капиталистического сознания в массах сказались более глубокими, чем мы предполагали. Переделка человека идет очень медленно.

— И вы его переделаете?

— Да, мы создадим новый тип социалистического человека, — сказал Чекалин каким-то партийным тоном, твердо, но без особого внутреннего убеждения.

Я обозлился.

— Переделаете? Или, как в таких случаях говорит церковь . . . совлечете с него ветхого Адама? Господи, какая чушь! За переделку

человека брались организации на много покрупнее и поглубже, чем коммунистическая.

— Кто же это брался?

— Хотя бы религия. А она перед вами имеет совершенно неизмеримые преимущества.

— Религия перед коммунизмом?

— Ну, конечно. Религия имеет перед вами то преимущество, что ее обещания реализуются на том свете. Пойдите, проверьте. А ваши уже много раз проверены. Тем более, что вы с ними очень торопитесь. Социалистический рай у вас уже должен был наступить раз пять — после свержения буржуазного правительства, после захвата фабрик и прочего, после разгрома белой армии, после пятилетки. Теперь — после второй пятилетки.

— Все это верно. История — тугая баба. Но мы обещаем не миф, а реальность.

— Скажите, пожалуйста, разве для средневекового человека рай и ад были мифом, а не реальностью? И рай-то этот был не какой-то куцый, социалистический, на одну человеческую жизнь и на пять фунтов хлеба вместо одного. Это был рай всамделишный — бесконечное блаженство на бесконечный период времени. Или — соответствующий ад. Так вот, и это не помогло. Ничего не переделали. Любои христианин двадцатого века живет и действует по точно таким же стимулам, как действовал римлянин две тысячи лет тому назад — как добрый отец семейства.

— И от нас ничего не останется?

— И от вас ничего не останется. Разве только что-нибудь побочное и решительно ничем не предусмотренное.

Чекалин усмехнулся устало и насмешливо,

— Ну, что ж. Выпьем что ли хоть за не предусмотренное. Не останется, вы говорите. Может быть и не останется. Но если что-нибудь в истории человечества и останется, так от нас, а не от вас. А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют.

— Ежели говорить откровенно, так насчет песен мне в высокой степени плевать. Будут обо мне петь песни или не будут, будут строить мне монументы или не будут, мне решительно все равно. Но я знаю, что монумент — это людей соблазняет. Каким-то таинственным образом, но соблазняет. И всякий норовит взгромоздить на свою шею какой-нибудь монумент. Конечно, жить под ним не очень удобно, зато — монумент!

Но строить его на своей шее и своей кровью? Чтобы потом какая-нибудь скачающая и уж совсем безмозглая американка щелкала своим кодаком сталинские пирамиды, построенные на моих костях — это уж извините. В эту игру я по мере моих возможностей играть не буду.

— Не вы будете играть, так вами будут играть.

— В этом вы правы. Тут крыть нечем. Действительно, играют. И не только мною. Бот поэтому-то милостивые государи, населяющие культурный и христианский мир в двадцатом веке после Рождества Христова и сели в лужу мировой войны, кризиса, коммунизма и прочего.

— Вот поэтому-то мы и строим коммунизм.

— Так сказать, клин клином.

— Да, клин клином.

— Не очень удачно. Когда один клин вышибают другим, то только для того, чтобы в конечном счете вышибить их оба.

— Вот мы и вышибем всякую государственность. И построим свободное человеческое общество.

Я вздохнул. Раз говор начинал приобретать скучный характер. Свободное человеческое общество.

— Я знаю, вы в это не верите.

Чекалин как-то неопределенно пожал плечами.

— Вы, конечно, церковной литературы не читали? — спросил я.

— Откуда?

— Напрасно. Там есть очень глубокие вещи. Вот, например, это и к вам относится: «Верю, Господи, помоги неверию моему».

— Как, как вы сказали?

Я повторил. Чекалин посмотрел на меня не без любопытства

— Сказано крепко. Не знал, что попы такие вещи говорить умеют.

— Вы принадлежите к числу людей, которые не то, что верят, а скорее цепляются за веру, которая когда-то, вероятно, была. И вас все меньше и меньше. На смену вам идут Якименки, которые ни в какой рай не верят, которым на все, кроме своей карьеры, наплевать и для которых вы, Чекалин, как бельмо на глазу. Будущего не знаем ни вы, ни я. Но пока что процесс революции развивается в пользу Якименки, а не в вашу пользу. Люди с убеждениями, какими бы то ни было убеждениями, сейчас не ко двору. И вы не ко двору. На всякие там ваши революции, заслуги, стаж и прочее Сталину в высокой степени наплевать. Ему нужно одно — беспрекословные исполнители.

— Я вовсе и не скрываю, что я, конечно, одна из жертв на пути к социализму.

— Это ваше субъективное ощущение. А объективно вы пропадете потому, что станете на пути Якименко, на пути аппарата, на пути сталинскому абсолютизму.

— Позвольте, ведь вы сами говорили, что вы монархист, следовательно, вы за абсолютизм.

— Самодержавие не было абсолютизмом. И кроме того, монархия не непременно самодержавие. Русский же царь, коронуясь, выходил к народу и троекратно кланялся ему в землю. Это, конечно, символ, но это кое-что значит. А вы попробуйте вашего Сталина заставить поклониться народу, в каком угодно смысле. Куда там к черту. Ведь, это вождь. Гений. Полубог. Вы подумайте только, какой жуткий подхалимаж он около себя развел. Ведь, вчуже противно.

— Да. Но Сталин — это наш стержень. Выдернули царя — и весь старый строй пошел к черту. Выдерните теперь Сталина, и вся партия пойдет к черту. У нас тоже свои керенские есть. Друг другу в глотки вцепятся.

— Позвольте, а как же тогда с массами, которые, как это... беззаветно преданные?

— Послушайте, Солоневич, бросьте вы демагогию разводить. При чем здесь массы? Кто и когда с массами считался? Если массы зашебаршат, мы им такие салазки загнем! Дело не в массах. Дело в руководстве. Вам с Николаем Последним не повезло — это уж действительно не повезло. И нам со Сталиным не везет. Дубина, что и говорить. Прет в тупик полным ходом.

— Ага, — сказал я. — Признаете.

— Да, что уж тут. Германскую революцию проворонили. Китайскую революцию проворонили. Мужика ограбили. Рабочего оттолкнули. Партийный костяк разгромлен. А теперь, не дай Бог, война. Конечно от нас ни пуха, ни пера не останется. Но не много останется и от России вообще. Вот вы о третьей революции говорили. А, знаете ли вы, что конкретно означает третья революция?

— Приблизительно знаю.

— Ой ли? Пойдет мужик колхозы делить — делить их будет, конечно, с оглоблями. Восстанут всякие петрьюры и махно. Разведутся всякие кисло-капустные республики. Подумать страшно. А вы говорите, третья революция. Эх, взялись за гуж — нужно тянуть, ничего не поделаешь. Конечно, вытянем ли, очень еще не известно. Быть может, гуж окажется и действительно не под силу.

Чекалин заглянул в свою плошку, потом в бутылку и, ничего там не обнаружив, молча опять полез под кровать в чемодан.

— Не хватит ли? — сказал я с сомнением.

— Плуньте, — отвечал Чекалин тоном, не допускающим возражений. Я и не стал допускать возражений — Чекалин пошарил по столу.

— Где это мой спутник коммуниста? Я передал ему штопор. Чекалин откупорил бутылку, налил стакан и плошку, мы хлебнули по глотку и закурили. Так мы сидели и молчали. По одну сторону стола с бутылками (общероссийская надпартийная платформа) — каторжники контрреволюционер, по другую — чекист и коммунист. За окном выла вьюга. Мне лезли в голову мысли о великом тупике — то фраза Маяковского о том, что «Для веселия планета наша плохо оборудована», то фраза Ахматовой «Любит, любит кровушку русская земля». Чекалину, видимо, тоже что-то лезло в голову. Он допил свою плошку, поднялся, стал у окна и уставился в черную вьюжную ночь, как бы пытаясь увидеть там какой-то выход, какой-то просвет.

Потом он снова подошел к столу, снова налил наши сосуды, медленно вытянул пол плошки, поставил на стол и спросил:

— Скажите, вот насчет того, что царь кланялся народу, это в самом деле или только выдуманно?

— В самом деле. Древний обряд.

— Интересно. Пожалуй, наше, как вы это говорите, «уважаемое заведение» не очень правильно оценивает настоящую опасность. Может быть, опасность вовсе не со стороны эсеров и меньшевиков. Помню, это было, кажется, в прошлом году. Я работал в Сиблаге около Омска. Прошел по деревням слух, что какая-то великая княжна где-то в батрачках работает. — Чекалин снова передернул плечами. — Так все колхозы опустели, мужик попер на великую княжну смотреть. Да. А кто поперет на социалиста? Чепуха социалисты, только под ногами путались и у нас и у вас. Да, но напугали много. Теперь, черт его знает. В общем, что и говорить. Очень паршиво все это. Но вы делаете одну капитальную ошибку. Вы думаете, что когда нам свернут шею, станет лучше. Да, хлеба будет больше. Эшелонов — не знаю. Ведь, во всяком случае миллионов пять будут драться за Сталина. Значит, разница будет только в том, что вот сейчас я вас угощаю коньяком, а тогда, может быть, вы меня будете угощать в каком-нибудь белогвардейском концлагере. Так что особенно весело оно тоже не будет. Но только вместе с нами пойдут к чертям и все мечты о лучшем будущем человечества. Вылезет какой-нибудь Гитлер. Не этот, этот ерунда, этот глубокий провинциал. А настоящий, мировой.

Какая-нибудь окончательная свинья сядет на трон этой мечты и повертит человечество назад, к средним векам, к папству, к инквизиции. Да, конечно и мы, мы ходим по пуп в крови. И думаем, что есть какое-то небо. А, может и неба никакого нету. Только земля и кровь до пупа. Но если человечество увидит, что неба нет и не было. Что эти миллионы погибли совсем зря...

Чекалин, не переставая говорить, протянул мне свою плешку, чокнулся, опрокинул в себя полный стакан и продолжал взволнованно и сбивчиво:

— Да, конечно. Крови оказалось слишком много. И удастся ли переступить через нее, не знаю. Может быть и не удастся. Нас мало. Вас много. А под ногами всякие стародубцевы. Конечно, насчет мировой революции — это уже пишите письма: проворонили. Теперь бы хоть Россию вытянуть. Что бы хоть штаб мировой революции остался.

— А для вас Россия — только штаб мировой революции и ничего больше?

— А если она не штаб революции, так кому она нужна?

— Многим. В частности и мне.

— Вам?

— Вы за границей не живали? Попробуйте. И если вы в этот самый штаб верите, так только потому, что он русский штаб. Будь он немецкий или китайский, так вы за него гроша ломанного не дали бы, не то, что своей жизни.

Чекалин несколько запнулся.

— Да. Тут, конечно, может быть, вы и правы. Но что же делать? Только у нас, в нашей партии сохранилась идейность, сохранилась общечеловеческая идея. Западный пролетариат оказался сквальгой... Наши братские компартии просто набивают себе карманы. Мы протянули им товарищескую руку, и они протянули нам товарищескую руку. Только мы им протянули с помощью, а они — нельзя ли трешку?

— Давайте поставим вопрос иначе. Никакой пролетариат вам руки не протягивал. Протягивало всякое жулье, так его и в русской компартии хоть отбавляй. А насчет нынешней идейности вашей партии позвольте уж мне вам не поверить. Сейчас в ней идет голая резня за власть и больше ничего. Что у вашего Якименки есть хоть на грош идеи? Хоть самой грошовой? Сталин нацеливается на мировую диктатуру, только не на партийную; партийную он в России слопал, а на свою собственную. Ведь, не будете же вы отрицать, что сейчас на партийные верхи подбирается в общем сволочь и ничего больше. Где Раковский, Троцкий, Рыков, Томский? Впрочем, с моей точки зрения они

не многим лучше. Но все-таки это, если хотите — фанатики, но идея у них есть. А у Сулиманова, Акулова, Литвинова? А о тех уж, кто пониже — не стоит и говорить.

Чекалин ничего не ответил. Он снова налил наши сосуды, пошарил по столу, под газетами. Репа была уже съедена, оставалась икра и кислая капуста.

— Да, а на закуском фронте у нас прорыв. Придется под капусту. Ну, ничего. Зато революция, — кисло усмехнулся он. — Н-да, революция. Вам, видите ли, хорошо стоять в стороне и зубоскалить. Вам что? А вот мне... Я с шестнадцати лет в революции. Три раза ранен. Один брат убит на колчаковском фронте от белых. Другой — на деникинском от красных. Отец железнодорожник помер, кажется, от голода. Вот видите? Жена была. И вот — восемнадцать лет. За восемнадцать лет разве был хоть день человеческой жизни? Ни хрена не было. Так, что вы думаете, разве я теперь могу сказать, что вот все это зря было сделано; давай, братва, обратно? А таких, как я — миллионы.

— Положим, далеко уж не миллионы.

— Миллионы. Нет, товарищ Солоневич, не можем повернуть. Да, много сволочи. Что ж? Мы и сволочь используем. И есть еще у нас союзник. Вы его недооцениваете.

Я вопросительно посмотрел на Чекалина.

— Да, крепкий союзник. Буржуазные правительства. Они на нас работают. Хотят — не хотят, а работают. Так что, может быть, мы и вылезем — не я, конечно, мое дело уже пропавшее, вот только по эшелонам околачиваться.

— Вы думаете, что буржуазными правительствами вы играете, а не они вами?

— Ну, конечно, мы играем, — сказал Чекалин уверенно. — У нас в одних руках все: и армия, и политика, и заказы, и экспорт, и импорт. Там нажмем, там всунем в зубы заказ. И никаких там парламентских запросов. Чистая работа.

— Может быть. Плохое и это утешение — отыграться на организации кабака в мировом масштабе. Если в России делается черт знает что, то Европа такой марки и вообще не выдержит. То, что вы говорите, возможно. Если Сталин досидит еще до одной европейской войны, он ее, конечно, использует. Может быть, он ее и спровоцирует. Но это будет означать гибель всей европейской культуры.

Чекалин посмотрел на меня с пьяной хитрецой.

— На европейскую культуру нам, дорогой товарищ, чхать. Много трудящиеся массы от этой культуры имели? Много мужик и рабочий имели от вашего царя?

— Не очень много. Но, в о всяком случае, неизмеримо больше, чем они имеют от Сталина.

— Сталин — переходный период. Мы с вами — тоже переходный период. По Ленину наступает эпоха войн и революций.

— А вы довольны?

— Всякому человеку, товарищ Солоневич, хочется жить. И мне тоже. Хочется, чтобы была баба, чтобы были ребята, ну и все такое. А раз нет, так нет. Может быть, на наших костях хоть у внуков наших это будет.

Чекалин вдруг странно усмехнулся и посмотрел на меня, как будто сделал во мне какое-то открытие.

— Интересно выходит. Детей у меня нет, так что и внуков не будет. А у вас сын есть. Так что выходит, в конце концов, что я для ваших внуков стараюсь.

— Ох, ей Богу. Было бы на много проще, если бы вы занялись своими собственными внуками, а моих предоставили бы моим заботам. И вашим внукам было бы легче и моим.

— Ну, об моих нечего говорить. Насчет внуков — я уже человек конченный. Такая жизнь даром не проходит.

Это признание застало меня врасплох. Так бывает, бывает очень часто — это я знал. Но признаются в этом очень немногие.

Чекалин смотрел на меня с таким видом, как будто хотел сказать: ну, что? Видал? Но во мне вместо сочувствия подымалась ненависть. Черт их возьми совсем всех этих идеалистов, энтузиастов, фанатиков. С железным и тупым упорством, из века в век, из поколения в поколение они только тем и занимаются, что портят жизнь и себе и еще больше другим. Все эти Торквемады и Саванароллы, Робеспьеры и Ленины. С таинственной силой ухватываются за все, что только ни есть самого идиотского в человеке. И вот, сидит передо мною одна из таких идеалистических душ — до пупа в крови, не только в чужой, но и в своей собственной. Он, конечно, будет переть; он будет переть дальше, разрушая всякую жизнь вокруг себя, принося и других и себя самого в жертву религии организованной ненависти. Есть ли подо всем этим реальная, а не выдуманная любовь хотя бы к этим пресловутым «трудящимся»? Было ли хоть что-нибудь от Евангелия в кострах инквизиции и альбигойских походах? И что такое любовь к человечеству? Реальность? Или «сон золотой», навеянный безумцами,

которые действительно любили человечество, но человечество выдуманное, в реальном мире не существующее. Конечно, Чекалин жалок с его запущенностью, с его собачьей старостью, одиночеством, бесперспективностью. Но Чекалин вместе с тем и страшен, страшен своим упорством, страшен тем, что ему действительно ничего не останется, как переть дальше. И он поперет...

Чекалин, конечно, не мог представить себе характера моих размышлений.

— Да, так вот видите? А вы говорите палачи. Ну, да, — заторопился он. — Не говорите, так думаете. А что вы думаете? Это легко так до пупа в крови ходить? Вы думаете, большое удовольствие работать по концлагерям. Я вот работаю. Партия послала. Выкорчевываем, так сказать, остатки капитализма.

Чекалин налил в стакан и в плошку остатки второго литра. Он уже сильно опьянел. Рука его дрожала, и голос срывался.

— А вот когда выкорчует окончательно, так вопрос — что останется? Может и в самом деле ничего не останется. Пустая земля. И Кагановича, может, не останется, в уклон попадет. А вот жизнь была и пропала. Как псу под хвост. Крышка. Попали мы с вами, товарищ, в переделку. Что называется, влипли. Если бы этак родиться лет через сто да посмотреть, что из этого всего вышло. А если ничего не выйдет? Нет. Ну его к чертям, лучше не родиться. А то посмотришь, увидишь — ни черта не вышло. Тогда что ж? Прямо в петлю. А вот можно было бы жить. Мог бы и сына иметь, вот вроде вашего парнишки. Только мой был бы помоложе. Да, не повезло. Влипли... Ну, что ж, давайте дербалызнем... за ваших внуков. А? За моих? За моих не стоит. Пропашее дело.

Выпив свою плошку, Чекалин неровными шагами направился к кровати и снова вытянул свой чемодан. Но на этот раз я был тверд.

— Нет, товарищ Чекалин, больше не могу категорически. Хватит по литру на брата. А мне завтра работать.

— Ни черта вам работы не будет. Я же сказал — эшелонов больше не приму.

— Нет, нужно идти.

— А вы у меня ночевать оставайтесь. Как-нибудь устроимся.

— Отпадает. Увидит кто-нибудь днем, что я от вас вышел, получится нехорошо.

— Да, это верно. Вот, сволочная жизнь пошла.

— Так вы же и постарались ее сволочной сделать.

— Это не я. Это эпоха. Что я? Такую жизнь сделали миллионы. Сволочная жизнь. Ну уж не много ее осталось. Так все-таки уходите? Жаль.

Мы пожали друг другу руки и подошли к двери.

— На счет социализмов вы извините, что я так крыл.

— А мне что? Я не социалист.

— Ах да, я и забыл. Да все равно. Теперь все к чертовой матери: и социалисты и не социалисты.

— Ах да, постойте, — вдруг что-то вспомнил Чекалин и вернулся в комнату. Я остановился в некоторой нерешимости. Через полминуты Чекалин вышел с чем-то, завернутым в газету и стал запихивать это в карман моего бушлата.

— Это икра. — объяснил он. — Для парнишки вашего. Нет, уж вы не отказывайтесь. Так сказать, для внуков. Ваших внуков. Мои уже к чертовой матери. Стойте, я вам посвечу.

— Не надо, увидят.

— Правда, не надо. Вот, его мать, жизнь пошла.

На дворе выла все та же вьюга. Ветер резко захлопнул дверь за мной. Я постоял на крыльце, подставляя свое лицо освежающим порывам метели. К галерее жертв коммунистической мясорубки прибавился еще один экспонат — товарищ Чекалин, стершийся и проржавевший от крови винтик этой беспримерной в истории машины.

ПРОФЕССОР БУТЬКО

Несмотря на вьюгу, ночь и коньяк, я ни разу не запутался среди плетней и сугробов. Потом из-за пригорка показались освещенные окна УРЧ. Наша импровизированная электростанция работала в сущности на нас двоих, Юру и меня. Крестьянские избы тока не получали, а лагерный штаб спал. Мелькнула мысль о том, что надо бы зайти на станцию и сказать, чтобы люди пошли спать. Но раньше нужно посмотреть, что с Юрой.

Дверь в УРЧ была заперта. Я постучал. Дверь открыл профессор Бутько, тот самый профессор «рефлексологии» о котором я уже говорил. Недели две тому назад он добился некоторого повышения — был назначен уборщиком. Это была «профессия физического труда» и в числе прочих преимуществ давала ему лишних сто грамм хлеба в день.

В первой комнате УРЧ света не было, но ярко пылала печка. Профессор стоял передо мной в одном рваном пиджаке и с кочергой в

руке. Видно было, что он только что сидел у печки и думал какие-то невеселые думы. Его свисающие вниз хохлацкие усы придавали ему вид какой-то унылой безнадежности.

— Пришли потрудиться? — спросил он с некоторой иронией.

— Нет, хочу посмотреть, что там с сыном.

— Спит, только дюже голову себе где-то расквасил.

Я с беспокойством прошел в соседнюю комнату. Юра спал. Изголовье лежанки было вымазано кровью. Очевидно моя папиросная бумага отклеилась. Голова Юры была обвязана чем-то вроде полотенца, а на ногах лежал бушлат; ясно, бушлат профессора Бутько. А профессор Бутько вместо того, чтобы лечь спать, сидит и топит печку, потому что без бушлата спать холодно. А никакого другого суррогата одеяла у Бутько не было. Мне стало стыдно.

До очень недавнего времени профессор Бутько был, по его словам, преподавателем провинциальной средней школы десятилетки. В эпоху украинизации и «выдвижения новых научных кадров» его произвели в профессора, что на советской Руси делается очень легко, беззаботно и никого ни к чему не обязывает. В Каменец-Подольском педагогическом институте он преподавал ту, не очень ярко очерченную дисциплину, которая называется рефлексологией. В нее по мере надобности впихивают и педагогику и профессиональный отбор и остатки разгромленной и перекочевавшей в подполье психологии и многое другое. И профессуру и украинизацию Бутько принял как-то слишком всерьез, не разглядев за всей этой волюнкой самой прозаической и довольно банальной советской халтуры.

Когда политическая надобность в украинизации миновала, и лозунг о культурах национальных по форме и пролетарских по существу был выброшен в очередную помойную яму, профессор Бутько, вкупе с очень многими коллегами своими поехал в концлагерь на пять лет и с очень скверной статьей о шпионаже (58, пункт 6). Семью его выслали куда-то в Сибирь, не в концлагерь, а просто так — делай, что хочешь. Туда же после отбытия срока предстояло поехать и самому Бутько, видимо, на вечные времена; живи, дескать и плодись, а на Украину и носа не показывай. Перспектива никогда больше не увидеть своей родины угнетала Бутько больше, чем пять лет концлагеря.

Профессор Бутько, как и очень многие из самостийных малых сил, был твердо убежден в том, что Украину разорили, а его выслали в концлагерь не большевики, а «кацапы». На эту тему мы как-то спорили, и я сказал ему, что я прежде всего никак не кацап, а стопроцентный белорус, что я очень рад, что меня учили русскому языку, а не

белорусской мове, что Пушкина не заменили Янкой Купалой и просторов Империи уездным патриотизмом «с сеймом у Вильни, або у Минску», и что в результате всего этого я не вырос таким олухом Царя Небесного, как хотя бы тот же профессор Бутько.

Не люблю я, грешный человек, всех этих культур местечкового масштаба, всех этих попыток разодрать общерусскую культуру, какая она ни на есть, в клочки всяких кислокапустенских сепаратизмов. Но фраза об олухе Царя Небесного была сказана и глупо и грубо. Глупо, потому что профессор Бутько, как он ни старался этого скрыть, был воспитан на том же Пушкине; грубо потому, что олухом Царя Небесного Бутько, конечно, не был, он был просто провинциальным романтиком. Но в каторжной обстановке УРЧ и прочего не всегда хватало сил удержать свои нервы в узде. Бутько обиделся, и он был прав. Я не извинился, и я был не прав. Дальше пошло еще хуже. А вот сидит человек и не спит, потому что прикрыл своим бушлатом кацапского юношу.

— Зачем же вы это, товарищ Бутько? Возьмите своей бушлат. Я сбегаю в палатку и принесу одеяло.

— Да не стоит. Уже развидняться скоро будет. Вот сижу у печки и греюсь. Хотите в компанию?

Спать мне не хотелось. И от необычного возбуждения, вызванного коньяком и разговором с Чекалиным и от дикой нервной взвинченности и от предчувствия жестокой нервной реакции после этих недель безмерного нервного напряжения.

Мы уселись у печки. Бутько с недоумением повел носом. Я полез в карман за махоркой. Махорки не оказалось; вот досада, вероятно, забыл у Чекалина. А может быть, затесался под сверток с икрой. Вытащил сверток. Газетная бумага разлетелась, и сквозь ее дыры виднелись комки икры. Под икрой оказался еще один неожиданный подарок Чекалина — три коробки папирос «Тройка» которые продаются только в самых привилегированных распределителях и по цене 20 штук семь с полтиной. Я протянул Бутько папиросы. В его глазах стояло подозрительное недоумение. Он взял папиросу и нерешительно спросил:

— И где ж это вы, И.Л., так наклюкались?

— А что, заметно?

— Чтоб очень, так нет. А дух идет. Дух, нужно сказать, добрый. Вроде, как коньяк.

— Коньяк.

Бутько вздохнул.

— А все потому, что вы великодержавный шовинист. Свой своему поневоле брат. Все вы москали — империалисты: и большевики, и меньшевики, и монархисты; и кто его знает, кто еще. Это у вас в крови.

— Я ведь вам говорил, что великорусской крови у меня ни капли нет.

— Значит заразились. Империализм — он прилипчивый.

— Летописец писал о славянах, что они любят «жить розно». Вот это, пожалуй, в крови. Можете вы себе представить немца, воюющего из-за какой-нибудь баварской самостоятельности? А, ведь, язык баварского и прусского крестьянина отличается больше, чем язык великорусского и украинского.

— Что хорошего в том, что Пруссия задавила всю Германию?

— Для нас ничего. Есть риск, что скажем Украину слопают так же, как в свое время слопали полабских и других прочих славян.

— Раз уж такое дело, пусть лучше немцы лопают. Мы при них по крайней мере не будем голодать да по лагерям сидеть. Для нас ваши кацапы хуже татарского нашествия. И при Батые так не было.

— Разве при царском режиме кто-нибудь на Украине голодал?

— Голодать не голодал, а давили наш народ, душили нашу культуру. Это у вас в крови. — с хохлацким упрямством повторял Бутько. — Не вас лично; вы ренегат, отщепенец от своего народа.

Я вспомнил о бушлате и сдержался.

— Будет, Тарас Яковлевич, говорить так; вот у меня в Белоруссии живут родичи крестьяне. Если я считаю, что вот лично мне русская культура, общерусская культура, включая сюда и Гоголя, открыла дорогу в широкий мир, почему я не имею права желать той же дороги и для моих родичей. Я часто и подолгу жывал в белорусской деревне; и мне никогда и в голову не приходило, что мои родичи не русские. И им тоже. Я провел лет шесть на Украине, и сколько раз мне случалось переводить украинским крестьянам газеты и правительственные распоряжения с украинского языка на русский; на русском им было понятнее.

— Ну, уж это вы, И.Л., заливаете.

— Не заливаю. Сам Скрыпник принужден был чистить официальный украинский язык от галицизмов, которые на Украине никому, кроме специалистов, не понятны. Ведь, это не язык Шевченко.

— Конечно, под московской властью разве мог развиваться украинский язык?

— Мог или не мог — это дело шестнадцатое. А сейчас и белорусская и украинская самостоятельность имеют в сущности один, правда невысказанный, может быть даже и неосознанный довод: сколько министерских постов будет организовано для людей, которые по своему масштабу на общерусский министерский пост никак претендовать не могут. А мужику, белорусскому и украинскому, эти лишние министерские, посольские и генеральские посты ни на какого черта не нужны. Он за вами не пойдет. Опыт был. Кто пошел во имя самостоятельности за Петлюрой? Никто не пошел. Так и остались «В вагоне директория, а под вагоном территория».

— Сейчас пойдут все.

— Пойдут. Но не против кацапов, а против большевиков. Против Москвы сейчас пойдут. Против русского языка не пойдут. Вот и сейчас украинский мужик учиться по-украински не хочет, говорит, что большевики нарочно не учат его «паньской мове», чтобы он мужиком и остался.

— Народ еще не сознателен.

— До чего это все вы сознательные — и большевики, и украинцы, и меньшевики, и эсеры. Все вы великолепно сознаете, что нужно мужику, вот только он сам ничего не сознает. Вот еще тоже сознательный дядя... — я хотел было сказать о Чекалине, но вовремя спохватился. — Что уж «сознательнее» коммунистов. Они, правда, опустошают страну, но ведь это делается не как-нибудь, а на базе самой современной, самой научной социологической теории.

— А вы не кирпичитесь.

— Как это не кирпичиться. Сидим мы с вами, слава Тебе Господи, в концлагере, так нам-то есть из-за чего кирпичиться. И если уж здесь мы не поумнеем, не разучимся «жить розно», так нас всякая сволочь будет по концлагерям таскать. Любители найдутся.

— Если вы доберетесь до власти, вы тоже будете в числе этих любителей.

— Я не буду. Говорите, на каком хотите языке и не мешайте никому говорить, на каком он хочет. Вот и все.

— Это не подходит. В Москве говорите, на каком хотите. А на Украине — только по-украински.

— Значит, нужно заставить?

— Да, на первое время нужно заставить.

— Большевики тоже на первое время заставляют.

— Мы боремся за свое, за свою хату. В вашей хате делайте, что вам угодно, а в нашу не лезьте.

— А в чьей хате жил Гоголь?

— Гоголь тоже ренегат, — угрюмо сказал Бутько. Дискуссия была и ненужной и безнадежной. Бутько тоже один из «мучеников идеи», из тех, кто во имя идеи подставляет свою голову, а о чужих уже и говорить не стоит. Но Бутько еще не дошел до Чекалинского прозрения. Ему еще не случалось быть победителем, и для него грядущая самостоятельность — такой же рай земной, каким в свое время была для Чекалина «победа трудящихся классов».

— Разве при каком угодно строе самостоятельной Украины возможно было бы то, что там делается сейчас? — сурово спросил Бутько. — Украина для всех вас это только хинтерлянд для вашей империи, белой или красной, это все равно. Конечно, того, что у нас делает красный империализм, царскому и в голову не приходило. Нет, с Москвой своей судьбы мы связывать не хотим. Слишком дорого стоит. Нет, России с нас хватит. Мы получили от нее крепостное право, на нашем хлебе строилась царская империя, а теперь строится сталинская. Хватит. Буде. У нас на Украине теперь уже и песен не спивают. Так. А наш народ — кто в Сибири, кто тут в лагере, кто на том свете.

В голосе Бутько была великая любовь к своей родине и великая боль за ее нынешние судьбы. Мне было жаль Бутько. Но чем его утешить?

— И в лагерях и на том свете — не одни украинцы. Там и ярославцы, и сибиряки, и белорусы. Но Бутько как будто и не слышал моих слов.

— А у нас сейчас степи цветут, — сказал он, глядя на догорающий огонь печки.

Да, ведь начало марта. Я вспомнил о степях. Они действительно сейчас начинают цвести. А здесь мечется вьюга. Нужно все-таки пойти хоть на час уснуть.

— Да, такое дело, И.Л. — сказал Бутько. — Наши споры — недолгие споры. Все равно, все в один гроб ляжем — и хохол и москаль и жид. И даже не в гроб, а так, просто в общую яму.

ЛИКВИДАЦИЯ

ПРОБУЖДЕНИЕ

Я добрался до своей палатки и залез на нары. Хорошо бы скорее заснуть. Так неудобно было думать о том, что через час-полтора дневальный потянет — за ноги и скажет:

— Товарищ Солоневич, в УРЧ зовут. Но не спалось. В мозгу бродили обрывки разговоров с Чекалиным, волновало сдержанное предостережение Чекалина о том, что Якименко что-то знает о наших комбинациях. Всплывало помертвевшее лицо Юры и сдавленная ярость Бориса. Потом из хаоса образов показалась фигурка Юрочки, не такого, каким он стал сейчас, а маленького, кругленького и чрезвычайно съедобного. Своей маленькой лапкой он тянет меня за нос, а в другой лапке что-то блестит.

— Ватик, Ватик, надень очки, а то тебе холодно.

Да. А что теперь с ним стало? И что будет дальше?... Постепенно мысли стали пугаться.

Когда я проснулся, полоска яркого солнечного света прорезала полутьму палатки от двери к печурке. У печурки, свернувшись калачиком и накрывшись каким-то тряпьем, дремал дневальный. Больше в палатке никого не было. Я почувствовал, что, наконец, выспался и что, очевидно, спал долго. Посмотрел на часы. Часы стояли. С чувством приятного освежения во всем теле я растянулся и собирался, было, подремать еще, так редко это удавалось. Но внезапно вспыхнула тревожная мысль: что-то случилось! Почему меня не будили? Почему в палатке никого нет? Что с Юрой?

Я вскочил со своих нар и пошел в УРЧ. Стоял ослепительный день. Нанесенный вьюгой новый снег резал глаза. Ветра не было. В воздухе была радостная морозная бодрость.

Дверь в УРЧ была распахнута настежь. Удивительно! Еще удивительнее было то, что я увидел внутри. Пустые комнаты, ни столов, ни пишущих машинок, ни личных дел. Обломки досок, обрывки бумаги, в окнах повынута стекла. Сквозняки разгуливали по урчевским закоулкам, перекатывая из угла в угол обрывки бумаги. Я поднял одну из них. Это был «Зачетный листок» какого-то вовсе не известного мне Сидорова или Петрова. Здесь за подписями и печатями было

удостоверено, что за семь лет своего сидения этот Сидоров или Петров заработал что-то около шестисот дней скидки. Так. Потеряли, значит, бумажку, а вместе с бумажкой потеряли почти два года человеческой жизни. Я сунул бумажку в карман. А все-таки, где же Юра?

Я побежал в палатку и разбудил дневального.

— Так воны с вашим братом гулять пийшли.

— А УРЧ?

— Так УРЧ же эвакуировались. Уси чисто уихавши.

— И Якименко?

— Так я ж кажу, уси. Позабирали свою бумагу, тай уихали.

Более толковой информации от дневального добиться было, видимо, нельзя. Но и этой было пока достаточно. Значит, Чекалин сдержал свое слово, эшелонов больше не принял, а Якименко, собрав свои бумаги и свой актив, свернул удочки и уехал в Медгору. Интересно, куда делся Стародубцев? Впрочем, мне теперь плевать на Стародубцева.

Я вышел во двор и почувствовал себя таким калифом на час или, пожалуй, даже на несколько часов. Дошел до берега реки. Направо в версте, над обрывом спокойно и ясно сияла голубая луковка деревенской церкви. Я пошел туда. Там оказалось сельское кладбище, раскинутое над даями, над «вечным покоем». Что-то левитановское было в бледных прозрачных красках северной зимы, в приземистых соснах с нахлобученными снежными шапками, в пустой звоннице старенькой церковушки, откуда колокола давно уже были сняты для какой-то очередной индустриализации, в запустелости, в заброшенности, безлюдности, в разбитые окна церковушки влетали и вылетали деловитые воробьи. Под обрывом журчали незамерзающие быстрины реки. Вдалеке густой грозной синевой село обкладывали тяжелые, таежные карельские леса, те самые, через которые...

Я сел в снег над обрывом, закурил папиросу и стал думать. Несмотря на то, что УРЧ, Якименко, БАМ, тревога и безысходность уже кончились, думы были невеселые.

Я в сотый раз задавал себе вопрос, так как же это случилось так, что вот нам троим и то только в благоприятном случае придется волчьими тропами пробираться через леса, уходить от преследования оперативников с их ищейками, вырываться из облав, озираться на каждый куст — нет ли под ним секрета, прорываться через пограничные заставы, рисковать своей жизнью каждую секунду, и все это только для того, чтобы уйти со своей родины. Или, рассматривая вопрос с несколько другой точки зрения — реализовать свое, столь уже раз рекламированное всякими социалистическими партиями и уже так основательно забытое,

право на свободу передвижения. Как это все сложилось, и как это все складывалось? Были ли мы трое ненужными для нашей страны, бесталанными, бесполезными? Были ли мы «антисоциальным элементом, нетерпимым в благоустроенном человеческом обществе»?

Вспомнилось, как однажды ночью в УРЧ, когда мы остались одни, и Борис пришел помогать нам перестукивать списки эшелонов и выискывать в картотеке «мертвые души», Юра, растирая свои изсохшие пальцы, стал вслух мечтать о том, как бы хорошо было драпануть из лагеря прямо куда-нибудь на Гавайские острова, где не будет ни войн, ни ГПУ, ни каталажек, ни этапов, ни классовой, ни надклассовой резни. Борис оторвался от картотеки и сурово сказал:

— Рано ты собираешься отдыхать, Юрчик. Драться еще придется. И крепко драться.

Да, конечно, Борис был прав. Драться придется. Вот, не додрались в свое время. И вот — расстрелы, эшелоны, девочка со льдом. Но мне не очень хочется драться. В этом мире, в котором жили ведь и Ньютон и Достоевский, живут ведь Эйнштейн и Эдисон, еще не успели догнать миллионы героев мировой войны, еще гниют десятки миллионов героев и жертв социалистической резни, а бесчисленные *sancta simplicitas* уже сносят охапки дров, оттачивают штыки и устанавливают пулеметы для чужаков по партии, подданству, форме носа. И каждый такой простец, вероятно, искренно считает, что в распоротом животе ближнего сидит ответ на все нехитрые его, простеца, вопросы и нужды.

Так было. Так, вероятно, еще долго будет. Но в советской России все это приняло формы уже совсем невыносимые, как гоголевские кожаные канчуки — в большом количестве вещь нестерпимая. Евангелие ненависти, вколачиваемое ежедневно в газетах и ежечасно по радио, евангелие ненависти, вербующее своих адептов из совсем уже несусветимой сволочи... Нет, просто, какие уж там мы ни на есть, а жить стало невозможно. Год тому назад побег был такою же необходимостью; как и сейчас. Нельзя было нам жить. Или, как говорила моя знакомая:

— Дядя Ваня, ведь здесь дышать нечем.

Кто-то резко навалился на меня сзади, и, чьи-то руки плотно обхватили меня поперек груди. В мозгу молнией вспыхнул ужас, и такую же молнией инстинкт, рефлекс, выработанный долгими годами спорта, бросил меня вниз, в обрыв. Я не стал сопротивляться. Мне нужно только помочь падающему, то есть сделать то, чего он никак не ожидает. Мы покатались вниз, свалились в какой-то сугроб. Снег сразу залепил лицо и, главное, очки. Я так же инстинктивно уже нащупал ногу нападавшего и подвернул под нее свое колено — получается страшный «ключ», ломающий ногу, как щепку. Сверху раздался громкий хохот Бориса, а

над своим ухом я расслышал натужное сопенье Юрочки. Через несколько секунд Юра лежал на обоих лопатках.

Я был раздражен до ярости. Конечно, дружеская драка давно уже вошла в традиции нашего, как когда-то говорил Юра, развеселого семейства таким веселым, жизнерадостным, малость жеребьячим обрядом. С самых юных лет для Юрочки не было большего удовольствия, как подраться со своим собственным отцом и после часа возни взобраться на отцовский живот и пропищать: «Сдаешься?» Но это было на воле. А здесь, в лагере, в состоянии такой дикой нервной напряженности? Что было бы, если бы Бобин смех я услышал на полминуты позже?

Но у Юры был такой сияющий вид, он был так облеплен снегом, ему было так весело после всех этих урчевских ночей, БАМа, списков, эшелонов и прочего, жеребенком поваляться в снегу, что я только вздохнул. За столько месяцев — первый проблеск юности и жизнерадостности.

Зачем я буду портить его?

Прочистили очки, выковыряли снег из-за воротов и из рукавов и поползли наверх. Борис протянул свою лапу и с мягкой укоризной сказал Юре:

— А все-таки, Юрчик, так делать не полагается. Жаль, что я не успел тебя перехватить.

— А что тут особенного? Что, у Ватика разрыв сердца будет?

— С Ваниным сердцем ничего не будет, а вот с твоей рукой или ребрами может выйти что-нибудь вроде перелома. Разве Ва мог знать, кто на него нападает. Мы, ведь, в лагере, а не в Салтыковке.

Юра был несколько сконфужен, но солнце сияло слишком ярко, чтобы об этом инциденте стоило говорить.

Мы уселись в снег, и я сообщил о своей ночной беседе с Чекалиным, которая, впрочем, актуального интереса теперь уже не представляла. Борис и Юра сообщили мне следующее.

Я, оказывается, проспал больше суток. Вчера утром Чекалин со своим доктором пришел на погрузочный пункт, проверил десятка три этапников, составил акт о том, что ББК подсовывает ему людей, уже дважды снятых с этапов по состоянию здоровья, сел в поезд и уехал, оставив Якименку, так сказать, с разинутым ртом. Якименко забрал своих медгорских специалистов, урчевский актив, личные дела, машинки и прочее и изволил отбыть в Медгору. О нас с Юрой никто почему-то не заикался, то ли потому, что мы еще не были официально проведены в штат УРЧ, то ли потому, что Якименко предпочел в дальнейшем нашими

просвещенными услугами не пользоваться. Остатки подпорожского отделения, как будто, будут переданы соседнему с ним Свирскому лагерю. Границы лагерей на окраинах проведены с такой же точностью, как раньше были проведены границы губерний; на картах этих лагерных границ, конечно, нет. Возникла проблема, следует ли нам «сориентироваться» так, чтобы остаться здесь за Свирьлагом или попытаться перебраться на север, в ББК, куда будет переправлена часть оставшегося административного персонала подпорожского отделения. Но там будет видно. «Довлеет дневи злоба его». Пока что светит солнышко; на душе легко и оптимистично. В кармане лежит еще чекалинская икра, словом *carpe diem*. Чем мы и занялись.

ЛИКВИДКОМ

Несколько дней мы с Юрой болтались в совсем неприкаянном виде. Комендатура пока что выдавала нам талончики на обед и хлеб, дрова для опустелой палатки мы воровали на электростанции. Юра, пользуясь свободным временем, приноворился ловить силками ворон в подкрепление нашему лагерному меню. Борис возился со своими амбулаториями, больницами и слабосилками.

Через несколько дней выяснилось, что Подпорожье действительно передается Свирьлагу, и на месте Подпорожского штаба возник ликвидационный комитет во главе с бывшим начальником отделения тов. Бидеманом, массивным и мрачным мужчиной, с объемистым животом и многоэтажным затылком, несмотря на его лет 30-35.

Я смотрел на него и думал, что этот-то до импотенции не дойдет, как дошел Чекалин. Этому пальца в рот не клади.

Управляющим делами ликвидкома была милая женщина Надежда Константиновна; жена заключенного агронома, бывшего коммуниста и бывшего заместителя наркома земледелия, я уже не помню, какой республики. Сама она была вольнонаемной.

Мы с Юрой приноворились в этот ликвидком на скромные ампулы «завпишмашенек». От планово-экономических и литературно-юридических перспектив я ухитрился уклониться, хватит. Работа в ликвидкоме была тихая. Работали ровно 10 часов в сутки, были даже выходные дни. Спешить было некому и некуда.

И вот, я сижу за машинкой и под диктовку представителей ликвидационной комиссии ББК и приемочной комиссии Свирьлага мирно выстукиваю бесконечные ведомости.

«Барак 47, дощатый, в вагонку. Кубатура 50 на 7, 5 на 3, 2 м. Полы настланные, струганные. Дверей плотничной работы 1, окон плотничной работы 2».

Никакого барака 47 в природе давно уже не существует, он прошел в трубу, в печку со своей кубатурой, окнами и прочим. В те дни, когда ББК всучивал БАМу мертвые или, как дипломатически выражался Павел Иванович Чичиков, «как бы несуществующие» души. Теперь ББК всучивает и Свирьлагу несуществующие бараки. Представители Свирьлага с полной серьезностью подписывают эти чичиковские ведомости. Я молчу. Мне какое дело.

Приняв таким манером половину Подпорожского отделения, свирьлаговцы, наконец, спохватились. Прибыла какая-то свирьлаговская бригада и проявила необычайную прозорливость — поехала на Погру и обнаружила, что бараков, принятых Свирьлагом, уже давно и в помине нет. Затем произошел такой приблизительно диалог.

ББК: Знать ничего не знаем. Подписали приемочный акт, ну и расхлебывайте.

Свирьлаг: Мы принимаем только по описи, а не в натуре. Тех, кто принимал, посадим; акты считаем аннулированными.

ББК: Ну и считайте. Акты у нас, и кончен бал.

Свирьлаг: Мы вас на чистую воду выведем.

ББК: Знать ничего не знаем. У нас бараки по описям числятся, мы их по описям и сдать должны. А вы тоже кому-нибудь передайте. Так оно и пойдет.

Свирьлаг: А кому мы будем передавать?

ББК: Ну, уж это дело ваше. Выкручивайтесь, как знаете.

Ну и так далее. Обе тяжущиеся стороны поехали жаловаться друг на друга в Москву, в Гулаг. Опять же и командировочные перепадают.

Мы с Юрой за это время наслаждались полным бездельем, первыми проблесками весны и даже посылками. После ликвидации почтово-посылочной экспедиции лагеря посылки стали приходиться по почте. А почта, не имея еще достаточной квалификации, разворовывала их робко и скромно, кое-что оставалось и нам.

Потом из Москвы пришел приказ: принимать по фактическому наличию. Стали принимать по фактическому наличию, и тут уж совсем ничего нельзя было разобрать. Десятки тысяч топоров, пил, ломов, лопат, саней и прочего лежали погребенными под сугробами снега где-то на лесосеках, на карьерах, где их побросали охваченные БАМовской

паникой лагерники. Существуют ли эти пилы и прочее в «фактическом наличии» или не существуют?

ББК говорит: существуют, вот видите, по описи значится.

Свирьлаг говорит: знаем мы ваши описи.

ББК: ну, так ведь это пилы, не могли же они сгореть.

Свирьлаг: ну, знаете, у таких жуликов, как вы, и пилы гореть могут.

Было пять локомотивов. Два взорванных и один целый (на электростанции) на лицо. Недостающих двух никак не могут найти. Как будто бы не совсем иголка, а вот искали, искали, да так и не нашли. Свирьлаг говорит: вот видите, ваши описи. ББК задумчиво скребет затылок: надо полагать, БАМовская комиссия сперла; уж такое жулье в этой комиссии. Свирьлаг: чего уж скромничать. Такого жулья, как в ББК...

Экскаватор, с брошенный в Свирь, приняли, как «груды железного лома, весом около трехсот тонн». Приняли и нашу электростанцию-генератор и локомотив, и как только приняли — сейчас же погрузили Подпорожье в полный мрак: не зазнавайтесь, теперь мы хозяева. Керосину не было, свечей тем более. Вечерами работать было нечего. Мы по причине «ликвидации» нашей палатки переехали в пустующую карельскую избу и тихо зажили там. Дрова воровали не на электростанции; ибо ее уже не было, а в самом ликвидкоме. Кто-то из ББК поехал в Москву жаловаться на Свирьлаг. Кто-то из Свирьлага поехал в Москву жаловаться на ББК. Из Москвы телеграмма: станцию пустить. А за это время Свирьлаг ухитрился уволочь куда-то генератор. Опять телеграммы, опять командировки. Из Москвы приказ: станцию пустить под чью-то личную ответственность. В случае невозможности перейти на керосиновое освещение. В Москву телеграмма: «Просим приказа о внеплановой и внеочередной отгрузке керосина».

Дело о выеденном яйце начинало принимать подлинно большевицкий размах.

СУДЬБЫ ЖИВОГО ИНВЕНТАРЯ

С передачей живого инвентаря Подпорожья дело шло и труднее и хуже. Свирьлаг не без некоторого основания исходил из того предположения, что если даже такое жулье, как ББК, не сумело всучить этот живой инвентарь БАМу, то значит, этот инвентарь действительно никуда не годится. Зачем же Свирьлагу взваливать его себе на шею и подрывать свой хозяйственный расчет? ББК с вороватой спешкой и с

ясно выраженным намерением оставить Свирьлагу одну слабосилку, перебрасывал на север тех людей, которые не попали на БАМ «по социальным признакам», то есть относительно здоровых. Свирьлаг негодовал, слал в Москву телеграммы и представителей, а пока что выставил свои посты в уже принятой части Подпорожья, ББК же в отместку поставило свои посты на остальной территории отделения. Этот междуведомственный мордобой выражался в частности в том, что свирьлаговские посты перехватывали и арестовывали ББКовских лагерников, а ББКовские посты — Свирьлаговских. В виду того, что весь ВОХР был занят этим увлекательный ведомственным спортом, ямы, в которых зимою были закопаны павшие от веточного корма и от других социалистических причин лошади, остались без охраны, и это спасло много лагерников от голодной смерти.

ББК считал, что он уже сдал «по описям» подпорожское отделение. Свирьлаг считал, что он его «по фактической наличности» не принял. Поэтому лагерников норовили накормить ни Свирьлаг, ни ББК. Оба ругаясь и скандаля, выдавали «авансы» то за счет друг друга, то за счет Гулага. Случалось так, что на каком-нибудь заседании в десять, одиннадцать часов вечера после того, как аргументы обеих сторон были исчерпаны, выяснялось, что на завтра двадцать тысяч лагерников кормить решительно нечем. Тогда летели радио в Медгору и в Лодейное Поле (свирьлаговская столица), телеграммы-молнии в Москву, и через день из Петрозаводска, из складов кооперации, доставлялся хлеб. Но день или два лагерь ничего не ел, кроме дохлой конины, которую лагерники вырубали топорами и жарили на кострах. Для разбора всей этой канители из Москвы прибыла какая-то представительница Гулага, и из Медгоры в помощь нехитрой голове Видемана приехал Якименко.

Борис, который эти дни ходил сжавши зубы и кулаки, пошел по старой памяти к Якименко. Нельзя же так, чтобы людей уж совсем не кормить. Якименко был очень любезен, сказал, что это маленькие недостатки ликвидационного механизма, и что наряды на отгрузку продовольствия Гулагом уже даны. Наряды действительно были, но продовольствия по ним не было. Начальники лагпунктов с помощью своего Вохра грабили сельские кооперативы и склады какого-то Севзаплеса.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ

Лагерь неистово голодал, а ликвидком с большевицкой настойчивостью заседал. Протоколы этих заседаний вела Надежда Константиновна. Она была хорошей стенографисткой и добросовестной, дотошной женщиной. Именно ввиду этого речи тов. Видемана в

расшифрованном виде были решительно ни на что не похожи. Надежда Константиновна, сдерживая свое волнение, несла их на подпись Видеману, и из начальственного кабинета слышался густой бас:

— Ну, что это вы тут намазали? Ни черта подобного я не говорил! Черт знает, что такое! А еще стенографистка! Немедленно переправьте, как я говорил!

Н.К. возвращалась, переправляла, я переписывал; потом мне все это надоело, да и на заседания эти интересно было посмотреть. Я предложил Надежде Константиновне:

— Знаете, что? Давайте, протоколы буду вести я. А вы за меня на машинке стучайте.

— Да ведь вы стенографии не знаете.

— Не играет никакой роли. Полная гарантия успеха. Не понравится — деньги обратно.

Для первого случая Н.К. сказалась больной, и я скромно просунулся в кабинет Видемана.

— Товарищ Заневская больная. Просила меня заменить ее, если разрешите.

— А вы стенографию, хорошо знаете?

— Да. У меня своя система.

— Ну, смотрите.

На другое утро «стенограмма» была готова. Нечленораздельный рык тов. Видемана приобрел в ней литературный формы и кое-какой логический смысл. Кроме того, там, где по моему мнению в речи тов. Видемана должны были фигурировать «интересы индустриализации страны», фигурировали «интересы индустриализации страны». Там, где по-моему должен был торчать «наш великий вождь», торчал «наш великий вождь» Мало ли я такой ахинеи рецензировал на своем веку.

Н.К. понесла на подпись протоколы моего производства, предварительно усомнившись в том, что Видеман говорил действительно то, что у меня было написано. Я рассеял сомнения Надежды Константиновны: Видеман говорил что-то только весьма отдаленно похожее на мою запись. Н.К. тяжело вздохнула и пошла. Слышу видемановский бас:

— Вот это я понимаю. Это протокол. А то вы, товарищ Заневская, понавдумаете, что ни уха, ни рыла не разберешь.

В своих протоколах я, конечно, блюл и некоторые ведомственные интересы, то есть интересы. ББК: на чьем возу едешь... Поэтому перед тем, как подписывать мои литературно-протокольные

измышления, свирьляговцы часто обнаруживали некоторые признаки сомнения, и тогда гудел видемановский бас:

— Ну, уж это черт знает, что. Ведь вы же сами говорили. Ведь, все же слышали. Ведь, это же стенография, слово в слово. Ну, уж если вы таким способом будете нашу работу срывать...

Видеман был парень напористый. Свирьляговцы, видимо, вздыхали — их вздохом я в соседней комнате слышать не мог — но подписывали. Видеман стал замечать мое существование. Входя в нашу комнату и передавая какие-нибудь бумаги Н.К., он клал ей на плечо свою лапу, в которой было чувство собственника и смотрел на меня грозным, взглядом. На чужой, дескать, каравай рта не разевай. Грозный взгляд Видемана был направлен не по адресу.

Тем не менее я опять начинал жалеть о том, что черт снова впутал нас в высокие сферы лагеря.

САНИТАРНЫЙ ГОРОДОК

Однако, черт продолжал впутывать нас и дальше. Как-то раз в нашу пустую избу пришел Борис. Он жил то с нами, то на Погре, как попадалось. Мы у строились по лагерным масштабам довольно уютно. Света не было, но зато весь вечер ярко пылали в печке ворованные в ликвидкоме дрова, и была почти полная иллюзия домашнего быта. Борис начал сразу.

— У меня появилась идея такого сорта. Сейчас на Погре делается черт знает, что. Инвалидов и слабосилку совсем не кормят, и я думаю, при нынешней постановке вопроса, едва ли будут кормить. Нужно бы устроить так, чтобы превратить Погру в санитарный городок, собрать туда всех инвалидов северных лагерей, слабосилок и прочее, наладить какое-нибудь несложное производство и привести все это под высокую руку Гулага. Если достаточно хорошо расписать все это, Гулаг может дать кое-какие продовольственные фонды. Иначе и ББК и Свирьлаг будут крутить и заедать, пока все мои настоящие и будущие пациенты не вымрут окончательно. Как твое мнение?

Мое мнение было отрицательным.

— Только что вырвались живьем из БАМовской эпопеи — и слава Тебе, Господи. Опять влезать в какую-то халтуру?

— Это не халтура, — серьезно поправил» Борис.

— Правда, что не халтура. И тем хуже. Нам до побега осталось каких-нибудь четыре месяца. Какого черта нам ввязываться?

— Ты, Ва, говоришь так потому, что ты не работал в этих слабосилках и больницах. Если бы работал, вязался бы. Вот вязался же ты в подлоги с БАМовскими ведомостями.

В тоне Бориса был легкий намек на мою некорректность. Я-то считал возможным вязаться, почему же оспариваю его право вязываться?

— Ты понимаешь, Ва? Ведь, это намного серьезнее твоих списков.

Это было действительно намного серьезнее моих списков. Дело заключалось в том, что при всей системе эксплуатации лагерной рабочей силы, огромная масса людей навсегда теряла свое здоровье и работоспособность. Несколько лет тому назад таких лагерных инвалидов «активировали». Комиссия врачей и представителей лагерной администрации составляла акты которые устанавливали, что Иванов 7-й потерял свою работоспособность навсегда, и Иванова 7-го после некоторой административной волокиты из лагеря выпускали обычно в ссылку на собственное иждивение: хочешь живи, хочешь помирай. Нечего греха таить, по таким актам врачи норовили выручать из лагеря в первую очередь интеллигенцию. По такому акту, в частности, выкрутился из Соловков и Борис, когда его зрение снизилось почти до границ слепоты. Для ГПУ эта тенденция не осталась, разумеется, в тайне и «активация» была прекращена. На работу их не посылали и давали им по 400 грамм хлеба в день — норма медленного умирания. Более удачливые устраивались дневальными, сторожами; курьерами; менее удачливые постепенно вымидали, даже и при нормальном ходе вещей. При всяком же нарушении снабжения, таком, например; какой в данный момент претерпевало Подпорожье, инвалиды вымидали в ускоренном порядке, ибо при нехватке продовольствия лагерь а первую очередь кормил более или менее полноценную рабочую силу, а инвалиды предоставлялись своей собственной участи. По одному подпорожскому отделению полных инвалидов, то есть людей даже по критерию ГПУ не способных ни к какому труду, насчитывалось 4 500 человек, слабосилии — еще тысяч семь. Да, все это было немного серьезнее моих списков.

— А материальная база? — спросил я. — Так тебе Гулаг и даст лишний хлеб для твоих инвалидов.

Сейчас они ничего не делают и получают фунт. Если собрать их со всех северных лагерей, наберется, вероятно, тысяч 40-50, можно наладить какую-нибудь работенку, и они будут получать по полтора фунта. Но это дело отдаленное. Сейчас важно подsunуть Гулагу такой проект и под этим соусом сейчас же получить продовольственные фонды. Если здесь запахнет дело производством, хорошо бы выдумать

какое-нибудь производство на экспорт. Гулаг дополнительный хлеб может дать.

— По-моему, — вмешался Юра, — тут и спорить совершенно не о чем. Конечно, Боб прав. А ты Ватик, опять начинаешь дрейфить. Материальную базу можно подыскать. Вот, например, березы здесь рубится до черта. Можно организовать какое-нибудь берестяное производство — коробочки, лукошки, всякое такое. И кроме того, чем нам может угрожать такой проект.

— Ох, дети мои, — вздохнул я. — Согласитесь сами, что насчет познания всякого рода советских дел я имею достаточный опыт. Во что-нибудь да влипнем. Я сейчас не могу сказать, во что именно, но обязательно влипнем. Просто потому, что иначе не бывает, раз какое-нибудь дело, так в него обязательно втешутся и партийный карьеризм и склока и подсиживание, прорывы и черт его знает, что еще. И все это отзовется на ближайшей беспартийной шее, т.е. в данном случае на Бобиной. Да еще в лагере.

— Ну и черт с ним, — сказал Юра. — Влипнем и влипнем. Не в первый раз. Тоже, подумаешь, удовольствие жить в этом рае, — и Юра стал развивать свою обычную теорию.

— Дядя Ваня, — сурово сказал Борис, — помимо всяких других соображений на нас лежат ведь и некоторые моральные обязанности.

Я чувствовал, что моя позиция, да еще при атаке на нее с обоих флангов, совершенно безнадежна. Я попытался оттянуть решение вопроса.

— Нужно бы предварительно прощупать, что это за представительница Гулага.

— Дядя Ваня, ни для чего этого времени нет. У меня только на Погре умирает ежедневно от голода от пятнадцати до пятидесяти человек.

Таким образом мы влипли в историю с санитарным городком на Погре. Мы все оказались пророками, все трое; я — потому, что мы действительно влипли в нехорошую историю, в результате которой Борис вынужден был бежать отдельно от нас; Борис — потому, что хотя из сангородка не получилось ровно ничего, инвалиды на данный «отрезок времени» были спасены; и наконец, Юра — потому, что, как бы тяжело это все ни было, мы в конечном счете все же выкрутились.

ПАНЫ ДЕРУТСЯ

Проект организации санитарного городка был обмозгован со всех точек зрения. Производства для этого городка были придуманы. Чего они стоили в реальности — это вопрос второстепенный. Докладная записка была выдержана в строго марксистских тонах: избави, Боже, что-нибудь ляпнуть о том, что люди гибнут зря, о человеколюбии, об элементарной человечности — это внушило бы подозрения, что инициатор проекта просто хочет вытянуть от советской власти несколько лишних тонн хлеба, а хлеба советская власть давать не любит, насчет хлеба у советской власти психология плюшкинская. Было сказано о необходимости планомерного ремонта живой рабочей силы, об использовании неизбежных во всяком производственном процессе отбросов человеческого материала, о роли неполноценной рабочей силы в деле индустриализации нашего социалистического отечества, было подсчитано количество трудодней при производствах — берестяном, подсобном, игрушечном и прочем, была подсчитана рентабельность производства, наконец, эта рентабельность была выражена в соблазнительной цифре экспортных золотых рублей. Было весьма мало вероятно, что перед золотыми рублями Гулаг бы устоял. В конце доклада было скромно указано, что проект этот желательнее рассмотреть в спешном порядке, так как в лагере «наблюдается процесс исключительно быстрого распыления неполноценной рабочей силы», вежливо и для понимающих понятно.

По ночам Борис пробирался в ликвидком и перестукивал на машинке свой доклад. Днем этого сделать было нельзя: Боже, упаси, если бы Видеман увидал, что на его ББКовской машинке печатается что-то для этого паршивого Свирылага. По-видимому, на почве, свободной от всяких человеческих чувств, ведомственный патриотизм разрастается особо пышными и колючими зарослями.

Проект был подан представительнице Гулага, какой-то тов. Шац; Видеману, как представителя ББК; кому-то, как представителю Свирылага и Якименке, просто по старой памяти. Товарищ Шац поставила доклад Бориса на повестку ближайшего заседания ликвидкома.

В кабинет Видемана, где проходили все эти ликвидационные и прочие заседания, потихоньку собирается вся участвующая публика. Спокойной походкой человека, знающего свою цену, входит Якименко. Молодцевато шагает Непомнящий, начальник третьей части. Представители Свирылага с деловым видом раскладывают свои бумаги. Д-р Щуквец нервным шопотком о чем-то переговаривается с Борисом. Наконец, огромными размашистыми шагами является представительница

Гулага тов. Шац. За нею грузно вваливается Видеман. Видеман как-то — боком и сверху смотрит на путаную копну седоватых волос тов. Шац, и вид у него крайне недовольный.

Тов. Шац объявляет заседание открытым, водружает на стол огромный, чемоданного вида портфель и на портфель ни с того, ни с сего кладет тяжелый крупнокалиберный кольт. Делает она это не без некоторой демонстративности, то ли желая этим подчеркнуть, что она здесь не женщина, а чекист; даже не чекистка, а именно чекист; то ли пытаясь этим кольтем символизировать свою верховную власть в этом собрании, исключительно мужском.

Я смотрю на тов. Шац, и по моей коже начинают бегать мурашки. Что-то неопределенно женского пола, в возрасте от 30 до 50 лет, уродливое, как все смертных семь грехов, вместе взятых, с добавлением восьмого, священным писанием не предусмотренного — чекистского стажа. Она мне напоминает иссохший скелет какой-то злобной зубастой птицы, допотопной птицы, вроде археоптерикса. Ее маленькая птичья головка с хищным клювом все время вертится на худой жилистой шее, ощупывая собравшихся колючим, недоверчивым взглядом. У нее во рту дымит невероятно махорочная козья ножка. (Почему не папироса? Тоже демонстрация?). Правой рукой она все время вертит положенный на портфель кольт. Сидящий рядом с нею Видеман поглядывает на этот вертящийся кольт искоса и с видом крайнего неодобрения. Я начинаю мечтать о том, как было бы хорошо, если бы этот кольт бабахнул в товарища Видемана или еще лучше в самое тов. Шац. Но мои розовые мечтания прерывает скрипучий голос председательницы.

— Ну-с, так на повестке дня — доклад доктора, как там его... Только не тяните. Здесь вам не университет. Чтоб коротко и ясно.

Тон у тов. Шац отвратительный. Якименко недоуменно подымает брови, но он чем-то доволен. Я думаю о том, что раньше, чем пускать свой проект, Борису надо было пощупать, что за персона тов. Шац. И пощупав, воздержаться. Потому что этакая изуродованная истеричка может загнуть такое, чего и не предусмотреть заранее и не очухаешься потом. Она, конечно, из «старой гвардии» большевизма. Она, конечно, полна глубочайшего презрения не только к нам, заключенным, но и к чекистской части собрания — к тем революционным парвеню, которые на ее революционные заслуги смотрят без особенного благоговения, которые имеют нахальство гнуть какую-то свою линию, опрыскиваются одеколоном, и это в тот момент, когда мировая революция еще не наступила! И вообще в первый попавшийся момент норовят подложить старой большевичке первую попавшуюся свинью.

Вот, вероятно, поэтому-то и козья ножка и кольт и манеры укротительницы зверей. Сколько таких истеричек прошло через историю русской революции! Больших дел они не сделали. Но озлобленность их исковерканного секса придавала революции особенно отвратительные черточки. Такому товарищу Шац попасться в переplet — упаси, Господи!

Борис докладывает. Я сижу, слушаю и чувствую: хорошо. Никаких «интеллигентских соплей». Вполне марксистский подход. Такой-то процент бракованного человеческого материала. Непроизводительные накладные расходы на обремененные бюджеты лагерей. Скрытые ресурсы неиспользованной рабочей силы. Примеры из московской практики — использование глухонемых на котельном производстве, безногих — на конвейерах треста точной механики. Советская трудовая терапия — лечение заболеваний «трудовыми процессами». Интересы индустриализации страны. Исторические шесть условий тов. Сталина. Мельком и очень вскользь о том, что в данный переходный период жизни нашего отделения... некоторые перебои в снабжении... ставят под угрозу... возможность использования указанных скрытых ресурсов и в дальнейшем.

— Я полагаю, — кончает Борис, — что рассматривая данный проект исключительно с точки зрения индустриализации нашей страны, только с точки зрения роста ее производительных сил и использования для этого всех наличных материальных и человеческих ресурсов, хотя бы и незначительных и неполноценных, данное собрание найдет, конечно, чисто большевицкий подход в обсуждении предложенного ему проекта.

Хорошо сделано. Немного длинно и литературно. К концу слова Видеман, вероятно, уже забыл, что было в начале его. Но здесь будет решать не Видеман.

На губах тов. Шац появляется презрительная усмешка.

— И это все?

— Все.

— Ну-ну...

Нервно подымается д-р Шуквец.

— Разрешите мне.

— А вам очень хочется? Валяйте.

Д-р Шуквец озадачен.

— Не в том дело, хочется ли мне иди не хочется. Но поскольку обсуждается вопрос, касающийся медицинской части...

— Не тяните kota за хвост. Ближе к делу.

Шуквец свирепо топорщит свои колючие усики.

— Хорошо. Ближе к делу. Дело заключается в том, что 90 процентов наших инвалидов потеряли свое здоровье и свою работоспособность на работах для лагеря. Лагерь морально обязан...

— Довольно, садитесь. Это вы можете рассказывать при луне вашим влюбленным институткам.

Но д-р Шуквец не сдается.

— Мой уважаемый коллега...

— Никаких тут коллег нет, а тем более уважаемых. Я вам говорю — садитесь.

Шуквец растерянно садится. Тов. Шац обращает свой колючий взор на Бориса.

— Тааак. Хорошенькое дело. А скажите, пожалуйста, а какое вам дело для всего этого? Ваше дело лечить, кого вам приказывают, а не заниматься какими-то там ресурсами.

Якименко презрительно щурит глаза. Борис пожимает плечами.

— Всякому советскому гражданину есть дело до всего, что касается индустриализации страны. Это раз. Второе, если вы находите, что это не мое дело, не надо было ставить моего доклада.

— Я поручил доктору Солоневичу... — начинает Видеман.

Шац резко поворачивается к Видеману.

— Никто вас не спрашивает, что вы поручали и чего вам не поручали.

Видеман умолкает, но его лицо заливается густой кровью. Борис молчит и вертит в руках толстую дубовую дощечку от пресс-папье. Дощечка с треском ломается в его пальцах, Борис как бы автоматически, но не без некоторой затаенной демонстративности сжимает эту дощечку в кулаке, и она крошится в щепки. Все почему-то смотрят на Бобину руку и на дощечку. Тов. Шац тоже перестает вертеть свой кольт. Видеман улавливает момент и подсовывает кольт под портфель. Тов. Шац жестом разъяренной тигрицы выхватывает кольт обратно и снова кладет его на портфель. Начальник третьей части тов. Непомнящий смотрит на этот кольт так же неодобрительно, как и все остальные.

— А у вас, тов. Шац, предохранитель закрыт?

— Я умела обращаться с оружием, когда вы еще под стол пешком ходили.

— С тех пор тов. Шац, вы, видимо, забыли, как с ним следует обращаться, — несколько юмористически заявляет Якименко. — С тех пор тов. Непомнящий уже под потолок вырос.

— Я прошу вас, тов. Якименко, на официальном заседании зубоскальством не заниматься. А вас, доктор (Шац поворачивается к Борису), я вас спрашиваю, «какое вам дело» вовсе не потому, что вы там доктор или не доктор, а потому что вы контрреволюционер. В ваше сочувствие социалистическому строительству и ни капли не верю. Если вы думаете, что вашими этими ресурсами вы кого-то там проведете, так вы немножко ошибаетесь. Я — старая партийная работница. Таких типиков, как вы, я видала. В вашем проекте есть, конечно, какая-то антипартийная вылазка, может быть, даже прямая контрреволюция.

Я чувствую некоторое смущение. Неужели, уже влипли? Так сказать» с первого же шага. Якименко все-таки был намного умнее.

— Ну, насчет антипартийной линии, это дело ваше хозяйское, — говорит Борис. — Этот вопрос меня совершенно не интересует.

— То есть как это так, это вас может не интересовать?

— Чрезвычайно просто, никак не интересует. Шац, видимо, не сразу соображает, как ей реагировать на эту демонстрацию.

— Ого-го. Вас, я вижу, ГПУ сюда не даром посадило.

— О чем вы можете и доложить в Гулаге, — с прежним равнодушием говорит Борис.

— Я и без вас знаю, что мне докладывать. Хорошенькое дело. — Обращается она к Якименко. — Ведь это же все белыми нитками шито. Этот ваш доктор, так он просто хочет получить для всех этих бандитов, лодырей, кулаков лишний советский хлеб. Так мы этот хлеб и дали. У нас эти фунты хлеба по улицам не валяются.

Вопрос предстал передо мною в несколько другом освещении. Ведь, в самом деле, проект Бориса используют, производственное дело поставят, но лишнего хлеба не дадут. Из-за чего было огород городить?

— А таких типиков, как вы, — обращается она к Борису, — я этим самым кольцом.

Борис приподымается и молча собирает бумаги.

— Вы это что?

— К себе на Погру.

— А кто вам разрешил? Что, вы забываете, что вы в лагере?

— В лагере или не в лагере, но если человека вызывают на заседание и ставят его доклад, так для того, чтобы выслушивать, а не оскорблять.

— Я вам приказываю остаться! — визжит тов. Шац, хватаясь за кольт.

— Приказывать мне может тов. Видеман, мой начальник. Вы мне приказывать ничего не можете.

— Послушайте, доктор Солоневич, — начинает Якименко успокоительным тоном. Шац сразу набрасывается на него.

— А кто вас уполномочивает вмешиваться в мои приказания? Кто тут председательствует, вы или я?

— Оставайтесь пока, доктор Солоневич. — говорит Якименко сухим, резким и властным тоном, но этот тон обращен не к Борису; — Я считаю, тов. Шац, что так вести заседание, как ведете его вы, — нельзя.

— Я сама знаю, что мне можно и что нельзя. Я была связана с нашими вождями, когда вы, товарищ Якименко, о партийном билете еще и мечтать не смели.

Начальник третьей части с треском отодвигает свой стул и подымается.

— С кем вы там, тов. Шац, были в связи, это нас не касается. Это дело ваше частное. А ежели люди пришли говорить о деле, так нечего им глотку затыкать.

— Еще вы, вы меня, старую большевичку, будете учить! Что это здесь такое, б... или военное учреждение?

Видеман грузно всем своим седалищем поворачивается к Шац. Тугие жернова его мышления добрались, наконец, до того, что он то уж военный в гораздо большей степени, чем тов. Шац, что он здесь хозяин, что, наконец, старая большевичка ухитрилась сколотить против себя единый фронт всех присутствующих.

— Ну, это ни к каким чертям не годится. Что это вы, тов. Шац, как с цепи сорвались?

Шац от негодования не может произнести ни слова.

— Иван Лукьянович, — с подчеркнутой любезностью обращается ко мне Якименко, — будьте добры внести в протокол собрания мой протест против действий тов. Шац.

— Это вы можете говорить на партийном собрании, а не здесь, — взъедается на него Шац.

Якименко отвечает сурово.

— Я очень сожалею, что на этом открытом беспартийном собрании вы сочли возможным говорить о ваших интимных связях с вождями партии.

Вот это удар! Шац вбирает в себя всю птичью шею и окидывает собравшихся злобным, но уже несколько растерянным взглядом. Против нее — единый фронт. И революционных парвеню, для которых партийный «аристократизм» тов. Шац, как бельмо в глазу и заключенных и наконец, просто единый мужской фронт против зарвавшейся бабы. Представитель Свирылага смотрит на Шац с ядовитой усмешечкой.

— Я присоединяюсь к протесту тов. Якименко.

— Объявляю заседание закрытым, — резко бросает Шац и подымается.

— Ну, это уж позвольте, — говорит второй представитель Свирылага. — Мы не можем срывать работу по передаче лагеря из-за ваших женских нервов.

— Ах, так, — шипит тов. Шац. — Ну, хорошо. Мы с вами поговорим об этом... в другом месте.

— Поговорим, — равнодушно бросает Якименко. — А пока что я предлагаю доклад д-ра Солоневича принять, как основу и переслать его в Гулаг с заключениями местных работников. Я полагаю, что эти заключения в общем и целом будут положительными.

Видеман кивает головой.

— Правильно. Послать в Гулаг. Толковый проект. Я голосую за.

— Я вопроса о голосовании не ставила. Я вам приказываю замолчать, тов. Якименко... — Шац близка к истерике. Ее левая рука размахивает козьей ножкой, а правая вертит колт. Якименко протягивает руку через стол, забирает его и передает Непомнящему.

— Товарищ начальник третьей части, вы вернете это оружие тов. Шац, когда она научится с ним обращаться.

Тов. Шац стоит некоторое время, как бы задыхаясь от злобы и судорожными шагами выбегает из комнаты.

— Так, значит, — говорит Якименко таким тоном, как будто ничего не случилось, — проект д-ра Солоневича в принципе принять. Следующий вопрос.

Остаток заседания проходит, как по маслу. Даже взорванный железнодорожный мостик на Погре принимается, как целехонький; без сучка и задоринки.

ЯКИМЕНКО НАЧИНАЕТ ИНТРИГУ

Заседание кончилось. Публика разошлась. Я правлю свою «стенограмму». Якименко сидит против и докуривает свою папиросу.

— Ну и номер, — говорит Якименко. Отрываю глаза от бумаги. В глазах Якименки — насмешка и удовлетворение победителя.

— Вы когда-нибудь такую б... видали?

— Ну, не думаю, чтобы на этом поприще тов. Шац удалось сделать большие обороты.

Якименко смотрит на меня с усмешкой и с любопытством.

— А скажите мне по совести, тов. Солоневич, что это за новый оборот вы придумали?

— Какой оборот?

— Да вот с этим санитарным городком.

— Простите, не понимаю вопроса.

— Понимаете. Что уж там. Чего это вы все крутите? Не из-за человеколюбия же.

— Позвольте, а почему бы и нет?

Якименко скептически пожимает плечами. Соображения такого рода не по его департаменту.

— Ой ли? А, впрочем, дело ваше. Только знаете ли, если этот сангородок попадет Гулагу, и тов. Шац будет приезжать вашего брата наставлять и инспектировать...

Это соображение приходило в голову и мне.

— Ну, что ж. Придется Борису и товарища Шац расхлебывать.

— Пожалуй, придется. Впрочем, должен сказать честно. Семейка-то у вас крепколобая.

Я изумленно воззрился на Якименку. Якименко смотрит на меня подсмеивающимся взглядом.

— На месте ГПУ, выпер бы я вас всех к чертовой матери, на все четыре стороны. А то накрутите вы здесь.

— То есть, как это так, накрутим?

— Да вот так, накрутите и все. Впрочем, это пока моя личная точка зрения.

— А вы ее сообщите ГПУ, пусть выпустят.

— Не поверят, товарищ Иван Лукьянович, — сказал, усмехаясь, Якименко, ткнул в пепельницу свой окурочек и вышел из комнаты прежде, чем я успел сообразить подходящую реплику.

Внизу на крылечке меня ждали Борис и Юра.

— Ну, — сказал я не без некоторого злорадства, — как мне кажется, мы уже влипли. А?

— Для твоей паники нет никакого основания, — сказал Борис.

— Никакой паники и нет. А только эта самая мадемуазель Шац работы наладит, хлеба не даст, и будешь ты ее непосредственным подчиненным. Так сказать, неземное наслаждение.

— Неправильно. За нас теперь вся остальная публика.

— А что она вся стоит, если твой городок будет по твоему же предложению подчинен непосредственно Гулагу?

— Эта публика ее съест. Теперь у них такое положение: или им ее съесть или она их съест.

На крыльцо вышел Якименко.

— А, все три мушкетера, по обыкновению, в полном сборе.

— Да, так сказать, прорабатываем результаты сегодняшнего заседания.

— Я ведь вам говорил, что заседание будет занимательное.

— По-видимому, тов. Шац находится в состоянии некоторой...

— Да, именно в состоянии некоторой. Вот в этом некотором состоянии она, видимо, находится лет пятьдесят. Видеман уже три дня ходит, как очумелый, — в тоне Якименки — небывалые до сих пор потки интимности, и я не могу сообразить, к чему он клонит.

— Во всяком случае, — говорит Борис, — я со своим проектом попался, кажется, как кур по ши.

— Н-да. Ваши опасения некоторых оснований не лишены. С такой стервой работать, конечно, невозможно. Кстати, Иван Лукьянович, вот вы завтра вашу стенограмму редактировать будете. Весьма существенно, чтобы эта фраза насчет вождей не была опущена. И вообще, постарайтесь, чтобы ваш протокол был сделан во всю меру ваших литературных дарований. И так сказать, в расчете на культурный уровень читательских масс, ну например, Гулага. А протокол подпишут все. Кроме, разумеется, тов. Шац.

Заметив в моем лице некоторое размышление, Якименко добавляет:

— Можете не опасаться. Я вас, кажется, до сих пор не подводил.

В тоне Якименки — некоторая таинственность, и я снова задаю себе вопрос, знает ли он о БАМовских списках или нет. А влезать в партийную склоку мне очень не хочется. Чтобы выиграть время для размышления, я задаю вопрос:

— А что она действительно близко стоит к вождям?

— Стоит или лежит, не знаю. Разве в дореволюционное время. Знаете, во всяких там глубинах сибирских руд, на полном беслгиичьи и Шац — соловушко. Впрочем, это вымирающая порода. Ну, так протокол будет, как полагается?

Протокол был сделан, как полагается. Его подписали все, и его не подписала тов. Шац. На другой же день после этого заседания тов. Шац сорвалась и уехала в Москву. Вслед за нею выехал в Москву и Якименко.

ТЕОРИЯ СКЛОКИ

Мы шли домой молча и в весьма невеселом настроении. Становилось более или менее очевидным, что мы уже влипли в нехорошую историю. С проектом санитарного городка получается ерунда. Мы оказались помимо всего прочего запутанными в какую-то внутрипартийную интригу. А в интригах такого рода коммунисты могут и проигрывать, могут и выигрывать; беспартийная же публика проигрывает более или менее наверняка. Каждая партиячка, рассматриваемая, так сказать, с близкой дистанции, представляет собою этакое уютное общежитие змей, василисков и ехидн, из которых каждая норовит ужалить свою соседку в самое больное административно-партийное место. Я в сущности не очень ясно знаю, для чего все это делается, ибо выигрыш даже в случае победы так ничтожен, так нищ и так зыбок; просто партийный портфель чуть-чуть потолще. Но «большевицкая спаянность» действует только по адресу остального населения страны. Внутри ячеек все друг под друга подкапываются, подсиживают, выживают. На советском языке это называется партийной склокой. На уровне Сталина-Троцкого это декорируется идейными разногласиями, на уровне Якименко-Шац это ничем не декорируется, просто склока, «как таковая», в голом виде. Вот в такую склоку попали и мы и при этом безо всякой возможности сохранить нейтралитет. Волевым образом приходилось ставить свою ставку на Якименко. А какие, собственно, у Якименки шансы съесть товарища Шац?

Шац в Москве, в центре у себя дома; она там свой человек, у нее там всякие «свои ребята» и Кацы и Пацы и Ваньки и Петьки, по — существу такие же «корешки», как любая банда сельсоветских

активистов, коллективно пропивающих госспиртовскую водку, кулацкую свинью и колхозные «заготовки». Для этого центра все эти Якименки, Видеманы и прочие — только уездные держиморды, выскочки, пытающиеся всякими правдами и неправдами оттеснить их, «старую гвардию», от призрака власти, от начальственных командировок по всему лицу земли русской и не брезгающие при этом решительно никакими средствами. Правда, насчет средств и «старая гвардия» тоже не брезгует. При данной комбинации обстоятельств средствами придется не побрезговать и мне; что там ни говорить, а литературная обработка фразы тов. Шац о близости к вождям к числу особо джентльменских приемов борьбы не принадлежит. Оно, конечно, с волками жить — по-волчьи выть, но только в советской России можно понять настоящую тоску по настоящему человеческому языку, вместо волчьего воя, то голодного, то разбойного.

Конечно, если у Якименки есть связи в Москве (а видимо. Есть, иначе зачем ему туда ехать), то он с этим протоколом обратится не в Гулаг и даже не в ГПУ, а в какую-нибудь совершенно незаметную извне партийную дыру. В составе этой партийной дыры будут сидеть Ваньки и Петьки, среди которых Якименко — свой человек. Кто-то из Ванек вхож в московский комитет партии, кто-то в контрольную партийную комиссию (ЦКК); кто-то, допустим, имеет какой-то блат, например, у товарища Землячки. Тогда через несколько дней в соответствующих дистанциях пойдут слухи: тов. Шац вела себя так-то и так-то, дискредитировала вождей. Вероятно, будет сказано, что занимаясь административными загибами, тов. Шац подкрепляла свои загибы ссылками на интимную близость с самим Сталиным. Вообще, создастся атмосфера, в которой чуткий нос уловит, что кто-то влиятельный собирает товарища Шац съезд. Враги тов. Шац постараются эту атмосферу сгустить, нейтральные станут во враждебную позицию, друзья, если не очень близкие, умоют лапки и отойдут в стороночку: как бы и меня вместе с тов. Шац не съели.

Да, конечно, Якименко имеет крупные шансы на победу. Помимо всего прочего, он всегда спокоен, выдержан, и он, конечно, на много умнее тов. Шац. А сверх всего этого, тов. Шац — представительница той «старой гвардии ленинизма», которую снизу подмывают волны молодой сволочи, а сверху организационно ликвидирует Сталин, подбирая себе кадры бестрепетных «твердой души прохвостов». Тов. Шац — только жалкая, истрепанная в клочки тень былой героики коммунизма. Якименко — представитель молодой сволочи, властной и жадной. Более или менее толковая партийная дыра должна, конечно, понять, что при таких обстоятельствах умнее стать на сторону Якименки.

Я не знал, да так и не узнал, какие деловые столкновения возникли между тов. Шац и Якименкой до нашего пресловутого заседания; в сущности, это и не важно. Товарищ Шац всем своим существом, всем своим видом говорит Якименке:

«Я вот всю свою жизнь отдала мировой революции, отдавай и ты». Якименко отвечает: «Ну и дура. Я буду отдавать чужие, а не свою». Шац говорит: «Я — соратница самого Ленина». Якименко отвечает: «Твой Ленин давно подох. Да и тебе пора». Ну и так далее.

Из всей этой грызни между Шацами и Якименками можно при известной настроенности сделать такой вывод, что вот, дескать, тов. Шац (кстати и еврейка) — это символ мировой революции. Товарищ Якименко — это молодая, возрождающаяся и национальная Россия (кстати, он русский или точнее — малоросс); что Шац строила Гулаг в пользу мировой революции, а Якименко истребляет мужика в пользу национального возрождения.

С теорией национального перерождения Стародубцева, Якименки, Ягоды, Кагановича и Сталина (русского, малоросса, латыша, еврея и грузина) я встретился только здесь, в эмиграции. В России такая: идея и в голову не приходила. Но, конечно, вопрос о том, что будут делать якименки, добравшись до власти, вставал перед всеми нами в том аспекте, какого эмиграция не знает. Отказ от идеи мировой революции, конечно, ни в какой мере не означает отказа от коммунизма в России. Но если, добравшись до власти, якименки в интересах собственного благополучия, а если хотите, то и собственной безопасности, начнут сворачивать коммунистические знамена и постепенно на тормозах переходить к строительству того, что в эмиграции называют национальной Россией (почему, собственно, коммунизм не может быть «национальным явлением», была же инквизиция национальным испанским явлением?), то тогда какой смысл нам троим рисковать своей жизнью? Зачем предпринимать побег? Не лучше ли еще подождать? Ждали же вот 18 лет. Ну, еще подождем пять. Тяжело, но легче, чем прорываться тайгой через границу, в неизвестность эмигрантского бытия.

Если для эмиграции вопрос о «национальном перерождении» (этот термин я принимаю очень условно) — это очень, конечно, наболевший, очень близкий, но все же более или менее теоретический вопрос, то для нас всех трех он ставился, как вопрос собственной жизни. Идти ли на смертельный риск побега или мудрее и патриотичнее будет переждать? Можно предположить, что вопросы, которые ставятся в такой плоскости, решаются с несколько меньшей оглядкой на партийные традиции и с несколько более четким разделением желаемого от сущего, чем когда те же вопросы обсуждаются и решаются под влиянием очень

хороших импульсов, но все же без ощущения непосредственного риска собственной головой.

У меня, как и у очень многих нынешних российских людей, годы войны и революции и в особенности большевизм весьма прочно вколотили в голову твердое убеждение в том, что ни одна историко-философская и социалистическая теория не стоит ни одной копейки. Конечно, гегелевский мировой дух почти так же занимателен, как и марксистская борьба классов. И философские объяснения прошлого можно перечитывать не без некоторого интереса. Но как-то так выходит, что ни одна теория решительно ничего не может предсказать на будущий день. Более или менее удачными пророками оказывались люди, которые или только прикрывались теорией или вообще никаких дел с нею не имели.

Таким образом, для нас вопрос шел не о перспективах революции, рассматриваемых с какой бы то ни было философской точки зрения, а только о живых взаимоотношениях живых людей, рассматриваемых с точки зрения самого элементарного здравого смысла.

Да, совершенно ясно, что ленинская старая гвардия доживает свои последние дни. И потому, что она оказалась некоторым конкурентом сталинской гениальности и потому, что в ней все же были люди, державшие сметь свое суждение иметь, а этого никакая деспотия не любит и потому, что вот такая тов. Шац, при всей ее несимпатичности, воровать все-таки не будет (вот, курит же козьи ножки вместо папирос) и Якименке воровать не позволит. Тов. Шац, конечно, фанатичка, истеричка, может быть и садистка, но какая-то идея у нее есть. У Якименки нет решительно никакой идеи. О Видемане и Стародубцеве и говорить нечего. Вся эта старая гвардия — и Рязанов, и Чекалин, и Шац чувствуют, что знамя «трудящихся всего мира» и власть, для поддержки этого знамени созданная, попадают просто в руки сволочи, и сволочь стоит вокруг каждого из них, лязгая молодыми волчьими зубами.

Что будет делать нарицательный Якименко, перегрызая глотку нарицательной Шац? Может ли Сталин обойтись без Ягоды, Ягода — без Якименки, Якименко — без Видемана, Видеман — без Стародубцева и т.д.? Все они, от Сталина до Стародубцева акклиматизировались в той специфической атмосфере большевицкого строя которая создана ими самими и вне которой им никакого житья нет. Все они — профессионалы советского управления. Если вы ликвидируете это управление, всем им делать в мире будет решительно нечего. Что будут делать все эти чекисты, хлебозаготовители, сексоты, кооператоры, председатели завкомов, секретари партячеек, раскулачиватели, политруки, выдвиненцы, активисты и прочие, там же им легион? Ведь, их

миллионы! Если даже и не говорить о том, что при перевороте большинство из них будет зарезано сразу, а после постепенной эволюции будет зарезано постепенно, то все-таки нужно дать себе ясный отчет в том, что они — «специалисты» большевицкого управленческого аппарата, самого громоздкого и самого кровавого в истории мира. Какая профессия будет доступна для всех них в условиях небольшевицкого строя? И может ли Сталин эволюционным или революционным путем сбросить со своих счетов миллиона три-четыре людей, вооруженных до зубов? На кого он тогда обопрется? И какой слой в России ему поверит и не припомнит ему великих кладбищ коллективизации, раскулачивания, лагерей и Беломорско-Балтийского Канала?

Нет, все эти люди, как бы они ни грызлись между собою, в отношении к остальной стране спаяны крепко, до гроба спаяны кровью, спаяны на жизнь и на смерть. Им повернуть некуда, даже если бы они этого и хотели. «Национальная» или «интернациональная» Россия при сталинском аппарате остается все-таки Россией большевицкой.

Вот почему нашей последней свободной (с воли) попытки побега не остановило даже и то обстоятельство, что в государственных магазинах Москвы хлеб и масло стали продаваться кому угодно и в каких угодно количествах. В 1933 году в Москве можно было купить все; тем, у кого были деньги. У меня деньги были.

...Мы пришли в нашу избу итак как есть все равно было нечего, то сразу улеглись спать. Но я спать не мог. Лежал, ворочался, курил свою махорку и ставил перед собою вопросы, на которые ясного ответа не было. А что же дальше? Да, в перспективе десятилетий «кадры» вымрут, актив сопьется, и какие-то таинственные силы страны возьмут верх. А какие это силы? Да, конечно, интеллектуальные силы народа возросли безмерно; не потому, что народ учила советская власть, а потому, что народ учила советская жизнь. А физические силы?

Перед памятью пронеслись торфоразработки, шахты, колхозы, заводы, месяцами не мытые лица поваров заводских столовок, годами недоедающие рабочие Сормова, Коломны, Сталинграда, кочующие по Средней Азии таборы раскулаченных донцов и кубанцев, дагестанская малярия, эшелоны на БАМ, девочка со льдом — будущая, если выживет, мать русских мужчин и женщин... Хватит ли физических сил?

Вот я, из крепчайшей мужицко-поповской семьи, где люди умирали «по Мечникову», их клал в гроб «инстинкт естественной смерти»; я, в свое время один из сильнейших физических людей России — и вот в 42 года я уже сед. Уже здесь, за границей, мне в первые месяцы после бегства давали 55-60 лет. Но с тех пор я лет на 10 помолодел. Но те, которые остались там? Они не молодеют!

Не спалось. Я встал и вышел на крыльцо. Стояла тихая морозная ночь. Плавными пушистыми коврами спускались к Свири заснеженные поля. Левее черными точками и пятнами разбросались избы огромного села. Ни звука, ни лая, ни огонька... Вдруг с Погры донеслись два-три выстрела — обычная история. Потом с юга, с диковского оврага, четко и сухо в морозном воздухе, разделенные равными в секунд десять промежутками, раздалась восемь винтовочных выстрелов. Жуть и отвращение холодными струйками пробежали по спине.

Около месяца тому назад я сделал глупость — пошел посмотреть на диковский овраг. Он начинался в лесах, верстах в пяти от Погры, — огибал ее полукольцом и спускался в Свирь верстах в трех ниже Подпорожья. В верховьях это была глубокая узкая щель, заваленная трупами расстрелянных, верстах в двух ниже овраг был превращен в братское кладбище лагеря, еще ниже в него сваливали конскую падаль, которую лагерники вырубали топорами для своих социалистических пиршеств. Этого оврага я описывать не в состоянии. Но эти выстрелы напомнили мне о нем во всей его ужасной реалистичности. Я почувствовал, что у меня начинают дрожать колени и холодеет в груди. Я вошел в избу и старательно заложил дверь толстым деревянным брусом. Меня охватывал какой-то непреодолимый мистический ужас. Пустые комнаты огромной избы наполнялись какими-то тенями и шорохами. Я почти видел, как в углу, под пустыми нарами, какая-то съежившаяся старушонка догрызает изсохшую детскую руку. Холодный пот — не литературный, а настоящий — заливал очки и сквозь его капли пятна лунного света начинали принимать чудовищные очертания.

Я очнулся от встревоженного голоса Юры, который стоял рядом со мною и крепко держал меня за плечи. В комнату вбежал Борис. Я плохо понимал, в чем дело. Пот заливал лицо, и сердце колотилось, как сумасшедшее. Шатаясь, я дошел до нар и сел. На вопрос Бориса я ответил, что просто что-то нездоровится. Борис пощупал пульс — Юра положил мне руку на лоб.

— Что с тобой, Ватик? Ты весь мокрый.

Борис и Юра быстро сняли с меня белье, которое действительно все было мокрое, я лег на нары, и в дрожащей памяти снова всплывали картины: Одесса и Николаев во время голода, людоеды, торфоразработки, Магнитострой, ГПУ, лагерь, диковский овраг...

НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА

После отъезда в Москву Якименки и Шац бурная деятельность ликвидкома несколько утихла. Свирьляговцы слегка пооколачивались и

уехали себе, оставив в Подпорожья одного своего представителя. Между ним и Видеманом шли споры только об административно-техническом персонале. Если цинготный крестьянин никуда не был годен, и ни ББК, ни Свирьлаг не хотели взваливать его на свои пайковые плечи, то интеллигент, даже и цинготный, еще кое-как мог быть использован. Поэтому Свирьлаг пытался получить сколько возможно интеллигенции, и поэтому же ББК норовил не дать ни души. В этом торге между двумя рабовладельцами мы имели все-таки некоторую возможность изворачиваться. Все списки лагерников, передаваемых в Свирьлаг или оставляемых за ББК, составлялись в ликвидкоме под техническим руководством Надежды Константиновны, а мы с Юрой переписывали их на пишущей машинке. Тут можно было извернуться. Вопрос заключался преимущественно в том, в каком именно направлении нам следует изворачиваться. ББК был вообще «аристократическим» лагерем, там кормили лучше и лучше обращались с заключенными. Как кормили и как обращались, я об этом уже писал. Выводы о Свирьлаге читатель может сделать самостоятельно. Но ББК — это гигантская территория. В какой степени вероятно, что нам трем удастся остаться вместе, что нас не перебросят куда-нибудь на такие чертовы кулички, что из них и не выберешься, куда-нибудь в окончателное болото, по которому люди и летом ходят на лыжах, иначе засосет и от которого до границы будет верст 200-250 по местам почти абсолютно непроходимым? Мы решили сориентироваться на Свирьлаг.

Уговорить Н.К. на некоторую служебную некорректность было не очень трудно. Она слегка поохала, слегка побранилась, и наши имена попали в списки заключенных, оставляемых за Свирьлагом. Это была ошибка. И это была грубая ошибка. Мы уже начали изворачиваться, еще не собрав достаточно полной информации. А потом стало выясняться. В Свирьлаге не только плохо кормят, это еще бы полбеды, но в Свирьлаге статья 58-б находится под особенно неусыпным контролем, отношение к контрреволюционерам особенно зверское, лагерные пункты все опутаны колючей проволокой и даже административных служащих выпускают по служебным поручениям только на основании особых пропусков и каждый раз после обыска. И кроме того, Свирьлаг собирается всех купленных в ББК интеллигентов перебросить на свои отдаленные лагпункты, где «адмтехперсонала» не хватало. Мы разыскали по карте, которая висела на стене ликвидкома, эти пункты и пришли в настроение весьма неутешительное: Свирьлаг тоже занимал огромную территорию, и были пункты, отстоящие от границы на 400 верст — четыреста верст ходу по населенной и, следовательно, хорошо охраняемой местности. Это было совсем плохо. Но наши имена были уже в Свирьляговских списках!

Н.К. наговорила много всяких слов о мужском непостоянстве, Н.К. весьма убедительно доказывала мне, что уже ничего нельзя сделать, я отвечал, что для женщины нет ничего невозможного — *се que la femme veut — Deu le veut*, был пущен в ход ряд весьма запутанных лагерно — бюрократических трюков, и Н.К. вошла в комнатку нашего секретариата с видом Клеопатры, которая только что и как-то очень ловко обставила некоего Антония: наши имена были официально изъяты из Свирьлага и закреплены за ББК. Н.К. сияла от торжества. Юра поцеловал ей пальчики, я сказал, что век буду за нее Бога молить, протоколы вести и на машинке стучать.

Вообще, после урчевского зверинца ликвидкомовский секретариат казался нам раем земным или во всяком случае лагерным раем. В значительной степени это зависело от Надежды Константиновны, от ее милой женской суматошливости и покровительственности, от ее шуточных препирательств с Юрочкой, которого она, выражаясь советским языком, взяла на буксир, заставила причесываться и даже ногти чистить. В свое время Юра счел возможным плевать на Добротина, но Надежде Константиновне он повиновался беспрекословно, безо всяких разговоров.

Н.К. была, конечно, очень, нервной и не всегда выдержанной женщиной, но всем, кому она могла помочь, она помогала. Бывало, придет какой-нибудь инженер и слезно умоляет не отдавать его на растерзание Свирьлагу. Конечно, от Н.К. де юре ничего не зависит, но мало ли, что можно сделать в порядке низового бумажного производства, в обход всяких де юре. Однако, таких инженеров, экономистов, врачей и прочих было слишком много. Н.К. выслушивала просьбу и начинала кипятиваться.

— Сколько раз я говорила, что я ничего, совсем ничего, не могу сделать. Что вы ко мне пристаёте? Идите к Видеману. Ничего, ничего не могу сделать. Пожалуйста, не приставайте.

Заметив выражение умоляющей настойчивости на лице одного инженера, Н.К. затыкала уши пальчиками и начинала быстро твердить:

— Ничего не могу. Не приставайте. Уходите, пожалуйста. А то я рассержусь.

Инженер, потупившись, уходит. Н.К., заткнув уши и зажмурив глаза, продолжает твердить:

— Не могу, не могу. Пожалуйста, уходите. Потом с расстроенным видом, перебирая свои бумаги, она жаловалась мне:

— Ну, вот видите, как они все лезут. Им, конечно, не хочется в Свирьлаг. А они и не думают о том, что у меня на руках двое детей. И

что я за все это тоже могу в Свирьлаг попасть, только не вольнонаемной, а уж заключенной. Все вы эгоисты, мужчины.

Я скромно соглашался с тем, что наш брат, мужчина, конечно, мог бы быть несколько альтруистичнее. Тем более, что в дальнейшем ходе событий я уже был более или менее уверен. Через некоторое время Н.К. говорила мне раздраженным тоном:

— Ну, что же вы сидите и смотрите? Ну, что же вы, мне ничего не посоветуете? Все должна я да я. Как вы думаете, если мы этого инженера проведем по спискам, как десятника?

Обычно к этому моменту техника превращения инженера в десятника, врача в лекпома или какой-нибудь значительно более сложной лагерно-бюрократической механики была уже обдумана и мной и Надеждой Константиновной. Н.К. охала и бранилась, но инженер все-таки оставался за ББК. Некоторым устраивались командировки в Медгору со свирепым наставлением оставаться там, даже рискуя отсидкой в Шизо. Многие на время исчезали вообще со списочного горизонта — во всяком случае, не много интеллигенции получил Свирьлаг. Во всех этих операциях я, мелкая сошка, переписчик и к тому же уже заключенный, рисковал немногим. Н.К. иногда шла на очень серьезный риск.

Это была еще молодая, лет 32-33 женщина, очень милая и привлекательная и с большими запасами *sex appeal*. Не будем зря швырять в нее бульжниками. Как и очень многие женщины в этом мире, особенно неудобно оборудованном для женщин, она рассматривала, свой *sex appeal*, как капитал, который должен быть вложен в наиболее рентабельное предприятие этого рода. Какое предприятие в советской России могло бы быть более рентабельным, чем брак с высокопоставленным коммунистом?

В долгие вечера, когда мы с Надеждой Константиновной дежурили в ликвидкоме при свете керосиновой коптилки, она мне урывками рассказала кое-что из своей путаной и жестокой жизни. Она была во всяком случае из очень культурной семьи, она хорошо знала иностранные языки и при этом так, как их знают по гувернанткам, а не по самоучителям. Потом — одинокая девушка, не очень подходящего происхождения, в жестокой борьбе за жизнь, за советскую жизнь. Потом брак с высокопоставленным коммунистом, директором какого-то завода. Директор какого-то завода попал в троцкистско-вредительскую историю и был отправлен на тот свет. Н.К. опять осталась одна, впрочем, не совсем одна, на руках остался малыш размером года в полтора. Конечно, старые сотоварищи бывшего директора предпочли ее не узнавать, блажен муж, иже не возжается с классовыми врагами и даже с их вдовами. Снова

пишущая машинка, снова голод, на этот раз голод вдвоем, снова месяцами нарастающая жуть перед каждой чисткой, и происхождение, и покойный муж, и совершенно правильная презумпция, что вдова расстрелянного человека не может очень уж пылать коммунистическим энтузиазмом. Словом, очень плохо.

Н.К. решила, что в следующий раз она такого faux pas уже не сделает. Следующий раз sex appeal был вложен в максимально солидное предприятие — в старого большевика, когда-то ученика самого Ленина, подпольщика? политкаторжанина, ученого лесовода и члена коллегии Наркомзема Андрея Ивановича Запевского. Был какой-то промежуток отдыха, был второй ребенок, и потом Андрей Иванович поехал в концлагерь сроком на 10 лет. На этот раз уклон оказался правым. А.И., попавши в лагерь и будучи бывшим коммунистом, имеющим еще кое-какую специальность (редкий случай), кроме обычных партийных специальностей (ГПУ, кооперация, военная служба, профсоюз) ценой трех лет самоотверженной, то есть совсем уж каторжной работы, заработал себе право на совместное проживание с семьей. Такое право давалось очень немногим и особо избранным лагерникам и заключалось оно в том, что этот лагерник мог выписывать к себе семью и житье нею в какой-нибудь частной избе, не в бараке. Все остальные условия его лагерной жизни — паек, работа и что всего хуже, переброски, оставались прежними.

Итак, Н.К. в третий раз начала вить свое гнездышко, на этот раз в лагере, так сказать, совсем уж непосредственно под пятой ГПУ. Впрочем, Н.К. довольно быстро устроилась. На фоне кувшинных рыл советского актива она, к тому же вольнонаемная, была как работница, конечно, сокровищем. Не говоря уже о ее культурности и ее конторских познаниях, она при ее двойной зависимости за себя и за мужа, не могла не стараться изо всех своих сил.

Муж ее, Андрей Иванович, был невысоким худощавым человеком лет пятидесяти со спокойными умными глазами, в которых, казалось, на весь остаток его жизни осела какая-то жестокая, едкая, незабываемая горечь. У него, старого подпольщика, каторжанина и пр. доводов для этой горечи было более, чем достаточно, но один из них действовал на мое воображение как-то особенно гнетуще — это была волосатая лапа тов. Видемана, с собственническим чувством положенная на съезживающееся плечо Н.К.

На Андрея Ивановича у меня были некоторые виды. Остаток наших лагерных дней мы хотели провести где-нибудь не в канцелярии. Андрей Иванович заведовал в Подпорожьи лесным отделом, я просил его устроить нас обоих — меня и Юру — на каких-нибудь лесных работах,

кем-нибудь вроде таксаторов, десятников и т.д. Андрей Иванович дал нам кое-какую литературу, и мы мечтали о том времени, когда мы сможем шататься по лесу, вместо того, чтобы сидеть за пишущей машинкой.

...Как-то днем в обеденный перерыв я иду в свою избу. Слышу сзади чей-то голосок. Оглядываюсь, Н.К., тщетно стараясь меня догнать, что-то кричит и машет мне рукой. Останавливаюсь.

— Господи, да вы совсем глухи стали. Кричу, кричу, а вы хоть бы что. Давайте пойдем вместе, ведь нам по дороге.

Пошли вместе. Обсуждали текущие дела лагеря. Потом Н.К. как-то забеспокоилась.

— Посмотрите, это, кажется, мой Любик. Это был, возможно, он. Но, во-первых, ее Любика я в жизни в глаза не видал, а во-вторых, то, что могло быть Любиком, представляло собою черную фигуру на фоне белого снега, шагах в ста от нас. На такую дистанцию мои очки не работали, фигурка стояла у края дороги и свирепо молотила чем-то по снежному сугробу. Мы подошли ближе и выяснили, что это действительно был Любик, возвращающийся из школы.

— Господи, да у него все лицо в крови! Любик, Любик!

Фигурка обернулась и, узрев свою единственную мамашу, сразу пустилась в рев, полагаю, что так на всякий случай. После этого Любик прекратил избиение своей книжной сумкой снежного сугроба и, размазывая по своей рожице кровь и слезы, заковылял к нам. При ближайшем рассмотрении Любик оказался мальчишкой лет восьми, одетым в какую-то чистую и хорошо залатанную рвань, со следами недавней потасовки во всем своем облике, в том числе и на рожице. Н.К. опустилась перед ним на колени и стала вытирать с его рожицы слезы, кровь и грязь. Любик использовал все свои наличные возможности, чтобы поорать всласть. Конечно, был какой-то трагический злодей, именуемый не то Митькой, не то Петькой; конечно, этот врожденный преступник изуродовал Любика ни за что, ни про что, конечно, материнское сердце Н.К. преисполнилось горечи, обиды и возмущения. Во мне же расквашенная рожица Любика не вызвала решительно никакого соболезнования, точно так же, как во время оно расквашенная рожица Юрочки, особенно если она была расквашена по всем правилам неписанной конституции великой мальчишеской нации. Вопросы же этой конституции, я полагал, всецело входили в мою мужскую компетенцию. И я спросил деловым тоном:

— А ты ему, Любик, тоже ведь дал?

— Я ему как дал! А он мне. А я его еще. У!

Вопрос еще более деловой:

— А ты ему как, правой рукой или левой? Тема была перенесена в область чистой техники, и для эмоций места не оставалось. Любик отстранил материнский платок, вытиравший его оскорбленную физиономию, и в его глазенках сквозь невысохшие еще слезы мелькнуло любопытство.

— А как это левой?

Я показал. Любик с весьма деловым видом выкарабкался из материнских объятий; разговор зашел о деле, и тут уж было не до слез и не до сентиментов.

— Дядя, а ты меня научишь?

— Обязательно научу.

Между мною и Любиком был, таким образом, заключен пакт технической помощи. Любик вцепился в мою руку, и мы зашагали. Н.К. горько жаловалась на беспризорность Любика. Сама она сутками не выходила из ликвидкома, и Любик болтался, Бог знает, где и ел, Бог знает, что. Любик прерывал ее всякими деловыми вопросами, относящимися к области потасовочной техники. Через весьма короткое время Любик сообразил, что столь исключительное стечение обстоятельств должно быть использовано на все сто процентов, стал усиленно подхрамывать и в результате этой дипломатической акции не без удовлетворения уместился на моем плече. Мы подымались в гору. Стало жарко. Я снял шапку. Любикины пальчики стали тщательно исследовать мой череп.

— Дядя, а почему у тебя волосов мало?

— Вылезли, Любик.

— А куда они вылезли?

— Так, совсем вылезли.

— Как совсем? Совсем из лагеря?

Лагерь для Любика был всем миром. Разваливающиеся избы, голодающие карельские ребятишки, вшивая и голодная рвань заключенных, бараки, вохр, стрельба — это был весь мир, известный Любику. Может быть, по вечерам в своей кровати он слышал сказки, которые ему рассказывала мать; сказки о мире без заключенных, без колючей проволоки, без оборванных толп, ведомых вохровскими конвоирами куда-нибудь на БАМ. Впрочем, было ли у Н.К. время для сказок?

Мы вошли в огромную комнату карельской избы. Комната была так же нелепа и пуста, как и наша. Но какие-то открытки, тряпочки,

бумажки, салфеточки и кто его знает, что еще, придавали ей тот жилой вид, который мужским рукам, видимо, совсем не под силу. Н.К. оставила Любика на моем попечении и побежала к хозяйке избы. От хозяйки она вернулась еще с одним потомком. Потомку было три года. Сердобольная старушка хозяйка присматривала за ним вовремя служебной деятельности Н.К.

— Не уходите, И.Л., я вас супом угощу. Н.К., как вольнонаемная работница лагеря, находилась на службе ГПУ и получала чекистский паек — не первой и не второй категории, но все же чекистский. Это давало ей возможность кормить свою семью и жить, не голодая. Она начала хлопотать у огромной русской печки. Я помог ей нарубить дров. На огонь был водружен какой-то горшок. Хлопоча и суетясь, Н.К. все время оживленно болтала и я не без некоторой зависти отмечал тот запас жизненной энергии, цепкости и бодрости, которых так много русских женщин пронесит сквозь весь кровавый кабак революции. Как никак, а прошлое у Надежды Константиновны было невеселое. В настоящем в сущности каторга, а в будущем? Вот мне сейчас все-таки уютно у этого, пусть временного пусть очень хлипкого, но все же человеческого очага; даже мне, постороннему человеку, становится как-то теплее на душе. Но ведь не может же Н.К. не понимать, что этот очаг — дом на песке. Подуют какие-нибудь видемановские или БАМовские ветры, устремятся на дом сей — и не останется от этого гнезда ни одной пушинки.

Пришел Андрей Иванович, как всегда, горько равнодушный. Взял на руки своего потомка и стал разговаривать с ним на том мало понятном постороннему человеку диалекте, который существует во всякой семье. Потом мы завели разговор о предстоящих лесных работах. Я честно сознался, что мы в них решительно ничего не понимаем. Андрей Иванович сказал, что это не играет никакой роли, что он нас проинструктирует, если только он здесь останется.

— Ах, пожалуйста, не говори этого, Андрюша. — прервала его Н.К. — Ну, конечно, останемся здесь. Все-таки хоть как-нибудь, да устроились. Нужно остаться.

Андрей Иванович пожал плечами.

— Надюша, мы ведь в советской стране и в советском лагере. О каком устройстве можно говорить всерьез?

Я не удержался и кольнул Андрея Ивановича: уж ему-то, столько сил положившему на создание советской страны и советского лагеря, и на страну и на лагерь плакаться не следовало бы. Уж кому, кому, а ему никак не мешает попробовать, что такое коммунистический концентрационный лагерь.

— Вы почти правы. — с прежним горьким равнодушием сказал Андрей Иванович. — Почти. Почто потому, что и в лагере нашего брата нужно каждый выходной день нещадно пороть. Пороть и приговаривать: не делай, сукин сын, революции, не делай, сукин сын, революции!

Финал этого семейного уюта наступил скорее, чем я ожидал. Как-то поздно вечером в комнату нашего секретариата, где сидели только мы с Юрой, вошла Н.К. В руках у нее была какая-то бумажка. Н.К. для чего-то уставилась в телефонный аппарат, потом в расписание поездов, потом протянула мне эту бумажку. В бумажке стояло:

«Запевского Андрея Ивановича немедленно под конвоем доставить в Повенецкое отделение ББК».

Что я мог сказать?

Н.К. смотрела на меня в упор, и в лице ее была судорожная мимика женщины, которая собирает свои последние силы, чтобы остановиться на пороге истерики. Сил не хватило. Н.К. рухнула на стул, уткнула голову в колени и зарыдала глухими, тяжелыми рыданиями так, что в соседней комнате не было слышно. Что я мог ей сказать? Я вспомнил владетельную лапу Видемана. Зачем ему, Видеману, этот лесовод из старой гвардии? Записочка кому-то в Медгору, и тов. Запевский вылетает черт его знает, куда, даже и без его, Видемана, видимого участия, и он, Видеман, остается полным хозяином. Н.К. он никуда не пустит в порядке чекистской дисциплины. Андрей Иванович будет гнить где-нибудь на Лесной Речке в порядке лагерной дисциплины. Тов. Видеман кому-то из своих корешков намекнет на то, что этого лесовода никуда выпускать не следует, и корешок в чаянии ответной услуги от Видемана постарается Андрея Ивановича «сгноить на корню».

Я на мгновение пытался представить себе психологию и переживания Андрея Ивановича. Ну, вот мы с Юрой тоже в лагере. Но у нас все это так просто: мы просто в плену у обезьян. А Андрей Иванович? Разве сидя в тюрьмах царского режима и плетя паутину будущей резолюции, разве о такой жизни мечтал он для человечества и для себя? Разве для этого шел он в ученики Ленину?

Юра подбежал к Н.К. и стал ее утешать неуклюже, нелепо, неумело, но каким-то таинственным образом это утешение подействовало на Н.К. Она схватила Юрину руку, как бы в этой руке, руке юноши-каторжника, ища какой-то поддержки и продолжала рыдать, но не так уж безнадежно, хотя какая надежда оставалась ей?

Я сидел и молчал. Я ничего не мог сказать и ничем не мог утешить, ибо впереди ни ей, ни Андрею Ивановичу никакого утешения не было. Здесь, в этой комнатухе, была бита последняя ставка,

последняя карта революционных иллюзий Андрея Ивановича и семейных — Надежды Константиновны.

В июне того же года, объезжая заброшенные лесные пункты Повенецкого отделения, я встретился с Андреем Ивановичем. Он постарался меня не узнать. Но я все же подошел к нему и спросил о здоровье Надежды Константиновны. Андрей Иванович посмотрел на меня глазами, в которых уже, ничего не было, кроме огромной пустоты и горечи, потом подумал, как бы соображая, стоит ли отвечать или не стоит и потом сказал:

— Приказала, как говорится, долго жить.

Больше ни о чем не спрашивал.

СВИРЬЛАГ

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ КВАРТАЛ

Из ликвидкома ББК я был временно переброшен в штаб Подпорожского отделения Свирьлага. Штаб этот находился рядом, в том же селе, в просторной и чистой квартире бывшего начальника Подпорожского отделения ББК.

Меня назначили экономистом-плановиком с совершенно невразумительными функциями и обязанностями. Каждое уважающее себя советское заведение имеет плановый отдел; никогда этот отдел толком не знает, что ему надо делать, но так как советское хозяйство есть плановое хозяйство, то все эти отделы весьма напряженно занимаются переливанием из пустого в порожнее. Этой деятельностью предстояло заняться и мне. С тем только осложнением, что планового отдела еще не было и нужно было создавать его заново, чтобы, так сказать, лагерь не отставал от темпов социалистического строительства в стране, и чтобы все было, «как у людей». Планировать же совершенно было нечего, ибо лагерь, как опять же и всякое советское хозяйство, был построен на таком хозяйственном песке, которого заранее никак не учесть. Сегодня из лагеря помимо, конечно, всяких планирующих организаций заберут пять или десять тысяч мужиков. Завтра пришлют две или три тысячи уголовников. Сегодня доставят хлеб, завтра хлеба не доставят. Сегодня небольшой морозец, следовательно, даже полураздетые свирьлаговцы кое-как могут ковыряться в лесу, а дохлые лошади кое-как вытаскивать баланы. Если завтра будет мороз, то полураздетые или, если хотите, полуголые люди ничего нарубить не смогут. Если будет оттепель, то по размокшей дороге наши дохлые клячи не вывезут ни одного воза. Вчера я сидел на ликвидкоме этакой немудрящей завпишмашенькой, сегодня я — начальник не существующего планового от дела, а завтра я, может быть, буду в лесу дрова рубить. Вот и планируй тут.

Свою деятельность я начал с ознакомления со свирьлаговскими условиями. Это всегда пригодится. Оказалось, что Свирьлаг занят почти исключительно заготовкой дров, а отчасти и строевого леса для Ленинграда и по-видимому для экспорта. Чтобы от этого леса не шел слишком дурной запах, лес передавался всякого рода декоративным организациям, вроде Севзаплеса, Кооплеса и уже от их имени шел в Ленинград.

В Свирьлаге находилось около 70 тысяч заключенных с почти ежедневными колебаниями в 5-10 тысяч в ту или иную сторону. Интеллигенции оказалось в нем еще меньше, чем в ББК — всего 2,5 процента. Рабочих гораздо больше — 22 процента, вероятно, сказывалась близость Ленинграда. Урок меньше — около 12 процентов. Остальные — все те же мужики, преимущественно сибирские.

Свирьлаг был нищим лагерем даже по сравнению с ББК. Нормы снабжения были урезаны до последней возможности, до пределов клинического голодания всей лагерной массы. Запасы лагпунктовских баз были так ничтожны, что малейшие перебои в доставке продовольствия оставляли лагерное население без хлеба и вызывали зияющие производственные прорывы.

Этому лагерному населению даже каша перепадала редко. Кормили хлебом, прокисшей капустой и протухшей рыбой. Норма хлебного снабжения была на 15 процентов ниже нормы ББК. Дохлая рыба время от времени вызывала массовые желудочные заболевания — как их предусмотреть по плану? Продукция лагеря падала почти до нуля. Начальник отделения получал жестокий разнос из Лодейного Поля, но никогда не посмел ответить на этот разнос аргументом, как будто неотразимым, этой самой дохлой рыбой. Но дохлую рыбу слало то же самое начальство, которое сейчас устраивало разнос. Куда пойдешь, кому скажешь?

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Отделение слало в Лодейное Поле огромные ежедневные простыни производственных сводок. В одной из таких сводок стояла графа: «Невыходы на работу по раздетости и разутости». В конце февраля и начале марта стукнули морозы, и цифра этой графы стала катастрофически повышаться. Одежды и обуви не хватало. Стали расти цифры заболевших и замерзших, в угрожающем количестве появились «саморубы» — люди, которые отрубали себе пальцы на руках, разрубали топорами ступни ног, лишь бы не идти на работу в лес, где многих ждала верная гибель.

Невидимому, точно так же обстояло дело и в других лагерях, ибо мы получили из Гулага приказ об инвентаризации. Нужно было составить списки всего имеющегося на лагерниках обмундирования, в том числе и их собственного и перераспределить его так, чтобы по мере возможности одеть и обуть работающие в лесу бригады.

Но в Свирьлаге все были полуголые. Решено было некоторые категории лагерников — слабосилку, промотчиков, урок — раздеть

почти догола. Даже с обслуживающего персонала решено было снять сапоги и валенки. Для урок в каком-то отдаленном будущем проектировалась особая форма — балахоны, сшитые из ярких и разноцветных кусков всякого тряпья, чтобы уж никак и никому загнать нельзя было.

РАЗБОЙ СРЕДИ ГОЛЫХ

Вся эта работа была возложена на лагерную администрацию всех ступеней. Мы, «техническая интеллигенция», были мобилизованы на это дело как-то непонятно и очень уж «беспланово». Мне ткнули в руки мандат на руководство инвентаризацией обмундирования на 19 квартале. Никаких мало-мальски толковых инструкций я добиться не мог, И вот с этим мандатом топаю за 12 верст от Подпорожья.

Я иду без конвоя. Мороз крепкий, но на мне свой свитер, своя кожанка, казенный еще из ББК бушлат, полученный вполне официально, и на ногах добротные валенки ББК, полученные слегка по блату. Приятно идти по морозцу, почти на свободе, чувствуя, что хоть часть прежних сил все-таки вернулась. Мы съели уже две посылки с воли. Две были раскрадены на почте и одна из палатки, было очень обидно.

Перед входом в лагерь — покосившаяся будка, перед нею костер, и у костра двое вохровцев. Они тщательно проверяют мои документы. Лагерь крепко оплетен колючей проволокой и оцеплен вооруженной охраной. Посты вохра стоят и внутри лагеря— Всякое движение прекращено, и все население лагпункта заперто по своим баракам. Для того, чтобы не терять драгоценного рабочего времени; для инвентаризации был выбран день отдыха. Все эти дни лагерникам для «отдыха» преподносится то субботник, то инвентаризация, то что-нибудь в этом роде.

В кабинете УРЧ начальство заканчивает последние распоряжения я вижу, что решительно ничем мне руководить не придется. Там, где дело касается мероприятий раздевательного и ограбительного характера, актив действует молниеносно и без промаха. Только на это он, собственно и тренирован. Только на это к способен.

Я думал, что на пространстве одной шестой части земного шара ограблено уже все, что только можно ограбить. Оказалось, что я ошибался. В этот день мне предстояло присутствовать при ограблении такой голи и такой нищеты, что дальше этого грабить действительно физически уже нечего. Разве что сдирать с людей кожу для экспорта за границу.

ВШИВЫЙ АД

В бараке жара и духота. Обе стандартных печурки раскалены почти добела. По бараку мечутся, как угорелые, оперативники, вохровцы, лагерники и всякое начальство местного масштаба. Бестолковый начальственно-командный крик, подзатыльники, гнетущий лагерный мат. До жути оборванные люди, истощенные землисто-зеленые лица,

В одном конце барака — стол для «комиссии». Комиссия — это, собственно, я и больше никого. К другому концу барака сгоняют всю толпу лагерников, кого с вещами, кого без вещей, сгоняют с ненужной грубостью, с ударами, с расшвыриванием по бараку жалкого барахла лагерников. Да, это вам не Якименко с его патрицианским профилем, с его маникюром и с его «будьте добры». Или, может быть, это просто другое лицо Якименки?

Хаос и кабак. Распоряжается примерно человек восемь, и каждый по-своему. Поэтому никто не знает, что от него требуется, и о чем в сущности идет речь. Наконец, все три сотни лагерников согнаны в один конец барака, и начинается «инвентаризация».

Передо мной — списки заключенных с отметками о количестве отработанных дней и куча «арматурных книжек». Это маленькие книжки из желтой ноздреватой бумаги, куда записывается, обычно карандашом, все получаемое лагерником «вещевое довольствие».

Тетрадки порастрепаны, бумага разлезлась, записи местами стерты. В большинстве случаев их и вовсе нельзя разобрать. А ведь Дело идет о таких «материальных ценностях», за утрату которых лагерник обязан оплатить их стоимость в десятикратном размере. Конечно, заплатить этого он вообще не может, но за то его лишают и той жалкой трешницы «премвознаграждения», которая время от времени дает ему возможность побаловаться пайковой махоркой или сахаром.

Между записями этих книжек и наличием на лагернике записанного на него «вещдоловствия» нет никакого соответствия, хотя бы даже приблизительного. Вот стоит передо мной почти ничего не понимающий по-русски и, видимо, помиравший от цинги дагестанский горец. На нем нет отмеченного на книжке бушлата. Пойдите, разберитесь, его ли подпись поставлена в книжке в виде кособокого крестика в графе «подпись заключенного». Получил ли он этот бушлат в реальности, или сей последний был пропит соответствующим каптером в компании соответствующего начальства, с помощью какого-нибудь бывалого урки сплавлен куда-нибудь на олонцкий базар и приписан ничего не подозревающему горцу? Сколько тонн советской сивухи было опрокинуто в бездонные начальственные глотки за счет никогда не

выданных бушлатов, сапог, шаровар, приписанных мертвецам, беглецам, этапникам на какой-нибудь БАМ, неграмотным или полуграмотным мужиками, не знающим русского языка нацменам. И вот где-нибудь в Чите, на Вишере, на Ухте будут забирать от этого Халил Оглы его последние гроши. К попробуйте доказать, что инкриминируемые ему сапоги никогда и не болтались на его цинготных ногах. Попробуйте доказать это здесь, на девятнадцатом квартале! И платит Халил Оглы свои трешницы. Впрочем, с данного Халила особенно много трешниц взять уже не успеют.

Сам процесс «инвентаризации» проходит так: из толпы лагерников вызывают по списку одного. Он подходит к месту своего постоянного жительства на нарах, забирает свой скарб и становится шагах в пяти от стола. К месту жительства на нарах ищейками бросаются двое оперативников и устраивают там пронзительный обыск. Лазают под нарами и над нарами, вытаскивают мятую бумагу и тряпье, затыкающее многочисленные барачные дыры из барака во двор, выколупывают глину, которую замазаны бесчисленные клопные гнезда.

Двое других накидываются на лагерника, ощупывают его, вывертывают наизнанку все его тряпье, вывернули бы наизнанку и его самого, если бы к тому была хоть малейшая техническая возможность. Ничего этого не нужно ни по инструкции, ни по существу, но привычка — вторая натура.

Я на своем веку видал много грязи, голода, нищеты и всяческой рвани. Я видал одесский и николаевский голод, видал таборы раскулаченных кулаков в Средней Азии, видал рабочие общежития на торфоразработках, но такого я еще не видал никогда.

В бараке было так жарко именно потому, что половина людей была почти гола. Между оперативниками и «инвентаризируемыми» возникали, например, такие споры: считать ли две рубахи за две или только за одну в том случае, если они были приспособлены так, что целые места верхней прикрывали дыры нижней, а целые места нижней более или менее маскировали дыры верхней. Каждая из них, взятая в отдельности, конечно, уже не была рубахой даже по масштабам советского концлагеря, но две они вместе взятые, давали человеку возможность не ходить совсем уж в голом виде. Или на лагернике явственно две пары штанов, но у одной нет левой штанины, а у другой отсутствует весь зад. Обе пары, впрочем, одинаково усыпаны вшами.

Оперативники норовили отобрать все, опять-таки по своей привычке, по своей тренировке ко всякого рода «раскулачиванию» чужих штанов. Как я ни упирался, к концу инвентаризации в углу барака

набралась целая куча рвани, густо усыпанной вшами и немислимой ни в какой буржуазной помойке.

— Вы их водите в баню? — спросил я начальника колонны.

— А в чем их поведешь? Да и сами не пойдут. По крайней мере половине барака в баню идти действительно не в чем.

Есть, впрочем и более одетые. Вот на одном валенок и лапоть. Валенки отбираются в расчете на то, что в каком-нибудь другом бараке будет отобран еще один непарный. На нескольких горцах — их традиционные бурки и почти ничего под бурками. Оперативники нацеливаются и на эти бурки, но бурки не входят в списки лагерного обмундирования и горцев раскулачить не удается.

ИДУЩИЕ НА ДНО

Девятнадцатый квартал был своего рода штрафной командировкой, если и не официально, то фактически. Конечно, не такой, какую бывают настоящие, официальные «штрафные командировки», где фактически каждый вохровец имеет право если не на жизнь и смерть любого лагерника, то во всяком случае на убийство «при попытке к бегству». Сюда же сплавлялся всякого рода отпетый народ — прогульщики, промотчики, филоны, урки, но еще больше было случайного народу, почему-либо не угодившего начальству. И, как везде, урки были менее голодны и менее голы, чем мужики, рабочие, нацмены. Урка всегда сумеет и для себя уворовать и переплавить куда-нибудь уворованное начальством. К тому же это — социально близкий элемент.

Я помню гиганта крестьянина сибиряка. Какой нечеловеческой мощи должен был когда-то быть этот мужик! Когда оперативники стащили с него его рваный и грязный, но все же старательно залатанный бушлат, то под вшивой рванью рубахи обнажились чудовищные суставы и сухожилия. Мускулы уже съел голод. На месте грудных мышц оставались впадины, как лунные кратеры, на дне которых проступали ребра. Своей огромной мозолистой лапой мужик стыдливо прикрывал дыры своего туалета. Сколько десятин земли могла бы запахнуть такая рука! Сколько ртов накормить! Но степь остается не запаханной, рты не накормленными, а сам обладатель этой лапы догнивает здесь заживо. Фантастически глупо все это.

— Как вы попали сюда? — спрашиваю я этого мужика.

— За кулачество.

— Нет, вот на этот лагпункт?

— Да вот, аммоналка покалечила. Мужик протягивает свою искалеченную руку. Теперь все понятно.

На постройке канала людей, пропускали через трех-пятидневные курсы подрывников и бросали на работу. Этого требовали большевистские темпы. Люди сотнями взрывали самих себя, тысячами взрывали других, калечились, попадали в госпиталь, потом в слабосилку с ее фунтом хлеба в день. А могла ли вот такая чудовищная машина поддерживать всю свою чудовищную восьмипудовую массу одним фунтом хлеба в день! И вот пошел мой Святогор шататься по всякого рода черным доскам и Лесным Речкам, попал в филоны и докатился до 19-го квартала.

Ему нужно было пудов пять хлеба, чтобы нарастить хотя бы половину своих прежних мышц на месте теперешних впадин, но этих пяти пудов взять было неоткуда. Они были утопией. Пожалуй, утопией была и мысль спасти этого гиганта от гибели, которая уже проступала в его заострившихся чертах лица, в глубоко запавших, спрятанных под мохнатыми бровями глазах.

...Вот группа дагестанских горцев. Они еще не так раздеты, как остальные, и мне удастся полностью отстоять их одеяние. Но какая в этом польза? Все равно их в полгода-год съедят если не голод, то климат, туберкулез, цинга. Для этих людей, выросших в залитых солнцем безводных дагестанских горах, ссылка сюда в тундру, в болото, в туманы, в полярную ночь — это просто смертная казнь в рассрочку. И эти только на половину живы. Эти уже обречены и ничем, решительно ничем я им помочь не могу. Вот эта — то невозможность ничем, решительно ничем помочь — одна из очень жестоких сторон советской жизни; даже когда сам находишься в положении, не требующем посторонней помощи.

По мере того, как растет куча отобранного тряпья в моем углу, растет и куча уже обысканных заключенных. Они валяются вповалку на полу на этом самом тряпье и вызывают тошную ассоциацию червей на навозной куче. Какие-то облезлые урки подползают ко мне и шепотком, чтобы не слышали оперативники, выклянчивают на козью ножку махорки. Один из урок, наряженный только в кальсоны, очень рваные, сгребает с себя вшей и методически кидает их поджариваться на раскаленную жечь печки. Вообще, урки держат себя относительно не зависимо, они хорохорятся и будут хорохориться до последнего своего часа. Крестьяне сидят, растерянные и пришибленные, вспоминая, вероятно, свои семьи, раскиданные по всем отдаленным местам великого отечества трудящихся, свои заброшенные поля и навсегда покинутые деревни. Да, мужичкам будет чем вспомнить победу трудящихся классов.

Уже перед самым концом инвентаризации перед моим столом предстал какой-то старичок лет шестидесяти, совсем седой и дряхлый. Трясущимися от слабости руками он начал расстегивать свою рвань.

В списке стояло. Авдеев А. С. Преподаватель математики. 42 года.

Сорок два года! На год моложе меня. А передо мною стоял старик, совсем старик.

— Фамилия ваша Авдеев?

— Да, да. Авдеев, Авдеев. — заморгал он как-то суетливо, продолжая расстегиваться. Стало невыразимо, до предела противно. Вот мы — два культурных человека. И этот старик стоит передо мною, расстегивает свои последние кальсоны и боится, чтобы их у него не отобрали, чтобы я их не отобрал. О, черт!

К концу этой подлой инвентаризации я уже несколько укротил оперативников. Они еще слегка рычали, но не так рьяно кидались выворачивать людей наизнанку, а при достаточно выразительном взгляде и не выворачивали вовсе. И поэтому я имел возможность сказать Авдееву:

— Не надо. Забирайте свои вещи и идите.

Он, дрожа и оглядываясь, собрал свое тряпье и исчез на нарах.

Инвентаризация кончилась. От этих страшных лиц, от жуткого тряпья, от вшей, духоты и вони у меня начала кружиться голова. Я, вероятно, был бы плохим врачом. Я не приспособлен ни для лечения гнойников, ни даже для описания их. Я их стараюсь избегать, как только могу, даже в очерках.

Когда в кабинке УРЧ подводились итоги инвентаризации, начальник лагпункта попытался и в весьма грубой форме сделать мне выговор зато, что по моему бараку было отобрано рекордно малое количество барахла. Начальнику лагпункта я ответил не так, может быть, грубо, но подчеркнуто, хлещуще резко. На начальника лагпункта мне было наплевать с самого высокого дерева его лесосеки. Это уже были не дни Погры, когда я был еще дезориентированным или, точнее, еще не сориентировавшимся новичком, и когда каждая сволочь могла ступить мне на мозоли, а то и на горло. Теперь я был членом фактически почти правящей верхушки технической интеллигенции, частицей силы, которая этого начальника со всеми его советскими заслугами и совсем его советским активом могла слопать в два счета, так, чтобы не осталось ни пуха, ни пера. Достаточно было взяться за его арматурные списки. И он это понял. Он не то, чтобы извинился, а как-то поперхнулся, смяк и даже дал мне до Подпорожья какую-то полудохлую кобылу, которая как-то

доволокла меня домой. Но вернуться назад кобыла уже была не в состоянии.

ПРОФЕССОР АВДЕЕВ

В штабе свиряговского отделения подобралась группа интеллигенции, которая отдавала себе совершенно ясный отчет в схеме советского жития вообще и лагерного в частности. Для понимания этой схемы лагерь служит великолепным пособием, излечивающим самых закоренелых советских энтузиастов.

Я вспоминало одного из таких энтузиастов — небезызвестного фельетониста «Известий» Гарри. Он по какой-то опечатке ГПУ попал в Соловки и проторчал там год. Потом эта опечатка была как — то исправлена, и Гарри, судорожно шагая из угла в угол московской комнатухи, рассказывал чудовищные вещи о великом соловецком истреблении людей и истерически повторял:

— Нет, зачем мне показали все это? Зачем мне дали возможность видеть все это? Ведь я когда-то верил.

Грешный человек, я не очень верил Гарри. Я не очень верил даже своему брату, который рассказывал о том же великом истреблении, и о котором ведь я твердо знал, что он вообще не врет. Казалось естественным известное художественное преувеличение, некоторая сгущенность красок, вызванная всем пережитым. И больше того, есть вещи, в которые не хочет верить человеческая биология, не может верить человеческое нутро. Если поверить, уж очень как-то невесело будет смотреть на Божий мир, в котором возможны такие вещи. Гарри, впрочем, снова пишет в «Известиях». Что ему остается делать?

Группа интеллигенции, заседавшая в штабе Свиряга, уже видела все это, видела все способы истребительно-эксплуатационной системы лагерей, и у нее не оставалось ни иллюзий о советском рае, ни возможности из него выбраться. И у нее была очень простая «политическая платформа» — в этой гигантской мясорубке сохранить, во-первых, свою собственную жизнь и, во-вторых, жизнь своих ближних. Для этого нужно было действовать спаянно, толково и осторожно.

Она жила хуже администрации советского актива, ибо если и воровали, то только в пределах самого не обходимого, а не на пропой души. Она жила в бараках, а не в кабинках. В лучшем случае — в случайных общежитиях. В производственном отношении у нее была весьма ясная установка: добиться лучших цифровых показателей и наибольшего количества хлеба. «Цифровые показатели» расхлебывал

потом Севзаплес и прочие «леса», а хлеб иногда удавалось урывать, а иногда не удавалось.

Вот в этой группе я и рассказал о своей встрече с Авдеевым.

План был выработан быстро и с полным знанием обстановки. Борис в течение одного дня извлек Авдеева из 19-го квартала в свою слабосилку, а «штаб» в тот же день извлек Авдеева из слабосилки к себе. Для Авдеева это значило 700 грамм хлеба вместо 300, а в условиях лагерной жизни лишний фунт хлеба никак не может измеряться его денежной ценностью. Лишний фунт хлеба — это не разница в две копейки золотом, а разница между жизнью и умиранием.

ИСТОРИЯ АВДЕЕВА

Вечером Авдеев, уже прошедший баню и вошебойку, сидел у печки в нашей избе и рассказывал свою стандартно-жуткую историю.

Был преподавателем математики в Минске. Брата арестовали и расстреляли «за шпионаж», в приграничных местах это делается совсем легко и просто. Его с дочерью сослали в концлагерь в Кемь, жену — в Вишерский концлагерь. Жена умерла в Вишере, не известно отчего. Дочь умерла в Кеми от знаменитой кемской дезинтерии.

Авдеев с трудом подбирает слова, точно он отвык от человеческой речи.

— ...А она была, видите ли, музыкантшей. Можно сказать, даже композиторшей. В Кеми прачкой работала. Знаете, в лагерной прачечной. 58-6, никуда не устроиться. Маленькая прачечная. Она и еще 13 женщин. Все — ну, как это? Ну, проститутки. Такие, знаете ли, они, собственно и в лагере больше этим самым и занимались. Ну, конечно, как там было Оленьке! Ведь 18 лет ей было. Но, вы сами можете себе представить... Да, — неровное пламя печки освещало лицо старика, покрытое пятнами от замороженных мест. Одного уха не было вовсе. Иссохшие губы шевелились медленно, с трудом.

— Так что, может быть, Господь Бог вовремя взял Оленьку к себе, чтобы сама на себя рук не наложила. Однако, вот, говорите, проститутки. А вот добрая душа нашлась же... Я работал счетоводом на командировке одной, верстах в 20-ти от Кеми. Это тоже не легче прачечной или просто каторги. Только я был прикован не к тачке, а к столу. На нем спал, на нем ел, за ним сидел по 15-20 часов в сутки. Верите ли, по целым неделям вставал из-за стола только в уборную. Такая была работа. Ну и начальник зверь. Зверь, а не человек. Так вот, значит, была все-таки добрая душа, одна ну из этих самых проституток. И вот, звонит нам по телефону, в командировку нашу, значит. Вы,

говорит, Авдеев? Да, говорю, я. А у самого предчувствие что ли, ноги сразу так ослабели, стоять не могу. Да, говорю, я — Авдеев. Это, спрашивает, ваша дочка у нас на кемской прачечной работает. Да, говорю, моя дочка. Так вот, говорит, ваша дочка от дизентерии при смерти, вас хочет видеть. Если к вечеру притопаете, говорит, то может еще застанете, а может и нет... А меня ноги уж совсем не держат. Пошарил рукой табуретку да так и свалился да еще телефон оборвал. Ну, полили меня водой. Очнулся. Прошу начальника, отпустите ради Бога на одну ночь, дочь умирает. Какое! Зверь, а не человек. Здесь, говорит, тысячи умирают. Тут вам не курорт. Тут не институт благородных девиц. Мы, говорит, из-за всякой б..., так и сказал, ей Богу, не можем, говорит, нашу отчетность срывать... Вышел я на улицу, совсем, как помешанный. Ноги, знаете, как без костей. Ну, думаю, будь, что будет. Ночь. Снег тает. Темно. Пошел я в Кемь. Шел, шел, запутался. Под утро пришел... Нет уже Оленьки.

Утром меня тут же у покойницкой арестовали за побег и — на лесозаготовки. Даже на Оленьку не дали посмотреть.

Старик уткнулся лицом в колени, и плечи его затряслись от глухих рыданий. Я подал ему стакан капустного рассола. Он выпил, вероятно, не разбирая, что именно пьет, разливая рассол на грудь и на колени. Зубы трещоткой стучали по краю стакана.

Борис положил ему на плечо свою дружественную и успокаивающую лапу.

— Ну, успокойтесь, голубчик, успокойтесь. Ведь, все мы в таком положении, вся Россия в таком положении. На миру, как говорится, и смерть красна.

— Нет, не все, Борис Лукьянович. Нет, не все, — голос Авдеева дрожал, но в нем чувствовались какие-то твердые нотки, нотки убеждения и пожалуй чего-то близкого к враждебности, — Нет, не все. Вот вы трое, Борис Лукьянович, не пропадете. Одно дело в лагере мужчине, и совсем другое женщине. Я вот вижу, что у вас есть кулаки. Мы, Борис Лукьянович, вернулись в XV век. Тут, в лагере, мы вернулись в доисторические времена. Здесь можно выжить, только будучи зверем... Сильным зверем.

— Я не думаю, Афанасий Степанович, чтобы я, например, был зверем, — сказал я.

— Я не знаю, Иван Лукьянович. Я не знаю. У вас есть кулаки. Я заметил, вас и оперативники боялись. Я интеллигент. Мозговой работник. Я не развивал своих кулаков. Я думал, что живу в — XX веке. Я не думал, что можно вернуться в палеолитическую эпоху. А вот я

вернулся. И я должен погибнуть, потому что я к этой эпохе не приспособлен. И вы, Иван Лукьянович, совершенно напрасно вытянули меня из 19-го квартала.

Я удивился и хотел спросить, почему именно напрасно, но Авдеев торопливо прервал меня.

— Вы, ради Бога, не подумайте, что я что-нибудь такое. Я, конечно, вам очень, очень благодарен. Я понимаю, что у вас были самые возвышенные намерения.

Слово «возвышенные» прозвучало как-то странно. Не то какой-то не ко времени «возвышенный стиль», не то какая-то очень горькая ирония.

— Самые обыкновенные намерения, Афанасий Степанович.

— Да, да. Я понимаю, — снова заторопился Авдеев. — Ну, конечно, простое чувство человечности. Ну, конечно, некоторая, так сказать, солидарность культурных людей, — и опять в голосе Авдеева прозвучали нотки какой-то горькой иронии. — Но вы поймите, с вашей стороны это только жестокость. Совершенно ненужная жестокость.

Я, признаться, несколько растерялся. И Авдеев посмотрел на меня с видом человека, который надо мной, над моими «кулаками» одержал какую-то противоестественную победу.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Не считайте, что я просто неблагодарная сволочь или сумасшедший старик. Хотя я, конечно, сумасшедший старик, — стал путаться Авдеев. — Вы ведь сами знаете, я моложе вас. Но, пожалуйста, поймите, ну что я теперь? Ну, куда я похужь? Я ведь совсем развалина. Вы вот видите, что пальцы у меня поотваливались.

Он протянул свою руку, и пальцев на ней действительно почти не было, но раньше я как-то этого почти не заметил. От Авдеева шел все время какой-то трупный запах. Я думал, что это запах его гниющих от замороженных щек, носа, ушей. Оказалось, что гнила и рука.

— Вот, пальцы вы видите. Но я весь насквозь сгнил. У меня сердце — вот, как эта рука. Теперь смотрите. Я потерял брата; потерял жену, потерял дочь, единственную дочь. Больше в этом мире у меня никого не осталось. Шпионаж? Какая дьявольская чепуха. Брат был микробиологом и никуда из лаборатории не вылезал. А в Польше остались родные. Вы знаете все эти границы через уезды и села. Ну, переписка. Прислали какой-то микроскоп. Бот и пришили дело. Шпионаж? Это я-то с моей Оленькой крепости снимали, что ли? Вы понимаете, Иван Лукьянович, что теперь-то мне уж совсем нечего скрывать. Теперь я был бы счастлив, если бы этот шпионаж

действительно был. Тогда было бы оправдание не только им, но и мне. Мы не даром отдали бы свои жизни. И, подыхая, я бы знал, что я хоть что-нибудь сделал против этой власти дьявола.

Он сказал не дьявола, а именно дьявола, как-то подчеркнуто и малость по-церковному.

— Я, знаете, не был религиозным. Ну, конечно, разве я мог верить в такую чушь как дьявол? Да, а вот теперь я верю. Я верю потому, что я его видел, потому что я его вижу. Я его вижу на каждом лагпункте. И он есть, Иван Лукьянович. Он есть! Это не поповские выдумки. Это реальность. Это научная реальность.

Мне как-то стало жутко, несмотря на мои «кулаки». Юра даже как-то поледенел. В этом полуживом и полусгившем математике, видевшем дьявола на каждом лагпункте и проповедующем нам реальность его бытия, было что-то апокалиптическое, от чего по спине пробегали мурашки. Я представил себе все эти сотни 1 9-ых кварталов, раскинутых по двум тысячам верст непроглядной карельской тайги, придавленной полярными ночами; все эти тысячи бараков, где на кучах гнилого тряпья ползают полусгнившие, обсыпанные вшью люди, и мне показалось, что это не вьюга бьется в окна избы, а ходит кругом и торжествующе гогочет дьявол, тот самый, которого на каждом лагпункте видел Авдеев. Дьявол почему-то имел облик Якименки.

— Так вот, видите. — продолжал Авдеев. — Передо мною еще восемь лет вот таких лагпунктов. Ну, скажите по совести, Борис Лукьянович, ну вот вы врач, скажите по совести, как врач, есть ли у меня хоть малейшие шансы, хоть малейшая доля вероятности, что я эти восемь лет переживу?

Авдеев остановился и посмотрел на брата в упор. И в его взгляде я снова уловил искорки какой-то странной победы.

Вопрос застал брата врасплох.

— Ну, Афанасий Степанович, вы успокойтесь, наладите какой-то более или менее нормальный образ жизни, — начал брат. И в его голосе не было глубокого убеждения.

— Ага. Ну так, значит, я успокоюсь. Потеряв все, что у меня было в этом мире, все, что у меня было близкого и дорогого. Я, значит, успокоюсь. Вот попаду в штаб, сяду за стол и успокоюсь. Так что ли? Да, и как это вы говорили? «Нормальный образ жизни»? Нет-нет. Я понимаю. Не перебивайте, пожалуйста, — заторопился Авдеев. Я понимаю, что пока я нахожусь под высоким покровительством ваших кулаков, я быть может, буду иметь возможность работать меньше 16-ти

часов в сутки. Но я ведь и восьми часов не могу работать вот этими... этими...

Он протянул руку и пошевелил огрызками своих пальцев.

— Ведь, я не смогу. И потом, не могу же я рассчитывать на все восемь лет вашего покровительства... высокого покровительства ваших кулаков. — Авдеев говорил уже с каким-то истерическим сарказмом.

— Нет, пожалуйста, не перебивайте, Иван Лукьянович, — я не собирался перебивать и сидел, оглушенный истерической похоронной логикой этого человека. — Я вам очень, очень благодарен, Иван Лукьянович. За ваши благородные чувства, во всяком случае. Вы помните, Иван Лукьянович, как это я стоял перед вами и расстегивал свои кальсоны. И как вы по благородству своего характера соизволили с меня эти кальсон, последних кальсон, не стянуть. Нет-нет, пожалуйста, не перебивайте, дорогой Иван Лукьянович. Я понимаю, что не стаскивая с меня кальсон, вы рисковали своими... может быть, больше, чем кальсонами... своими кулаками... Как это называется? Бездействие власти, что ли? Власти снимать с людей последние кальсоны.

Авдеев задышался и судорожно хватал воздух открытым ртом.

— Ну, бросьте, Афанасий Степанович. — начал, было, я.

— Нет-нет, И.Л., я не брошу. Ведь, вы же меня не бросили там, на помойной яме 19-го квартала. Не бросили.

Он как-то странно, пожалуй, с какой-то мстительностью посмотрел на меня, опять схватил воздух открытым ртом и сказал глухо, и тяжело:

— А я, ведь, там, было, уже успокоился. Я там уж совсем, было, отупел. Отупел, как полено.

Он встал и, нагибаясь ко мне, дыша мне в лицо своим трупным запахом, сказал раздельно и твердо:

— Здесь можно жить только отупевши. Только отупевши. Только не видя того, как над лагпунктами пляшет дьявол. И как корчатся люди под его пляской. Я там умирал. Вы сами понимаете. Я там умирал. Вы говорите, «правильный образ жизни». Но разве дьявол насытитесь, скажем, ведром моей крови? Он ее потребует всю. Дьявол социалистического строительства требует всей вашей крови, всей, до последней капли. И он ее выпьет всю. Вы думаете, ваш кулак... Впрочем, я знаю. Вы сбежите. Да. Конечно, вы сбежите. Но куда вы от него сбежите? «Камо бегу от лица твоего и от духа твоего камо уйду»

Меня охватывала какая-то гипнотизирующая жуть, и мистическая и прозаическая в одно время. Вот пойдет этот математик с

дьяволом на каждом лагпункте пророчествовать о нашем бегстве где-нибудь не в этой комнате...

— Нет, вы не беспокойтесь, И.Л., — сказал Авдеев, словно угадывая мои мысли. — Я не такой сумасшедший. Это ваше дело. Удастся сбежать — дай, Бог. Дай, Бог. Но куда? — продолжал он раздумчиво. — Но куда? Ага, конечно, за границу. За границу. Ну, что ж. Кулаки у вас есть. Вы, может быть, пройдете.

Мне становилось совсем жутко от этих сумасшедших пророчеств.

— Вы, может быть, пройдете; и предоставите мне тут проходить сызнова все ступени отупения и умирания. Вы вытащили меня только для того, чтобы я опять начал умирать сызнова, чтобы я опять прошел всю эту агонию. Ведь, вы понимаете, что у меня только два пути — в Свирь в прорубь или снова на 19-ый квартал... раньше или позже на 19-ый квартал. Он меня ждет, он меня не перестанет ждать. И он прав. Другого пути у меня нет: даже для пути в прорубь нужны силы. И значит, опять по всем ступенькам вниз. Но, И.Л., пока я снова дойду до этого отупения, ведь я что-то буду чувствовать. Ведь все-таки агонизировать — это не так легко. Ну, прощайте, И.Л., я побегу. Спасибо вам, спасибо, спасибо.

Я сидел, оглушенный. Авдеев ткнул, было, мне свою руку, но потом как-то отдернул ее и пошел к дверям.

— Да погодите, Афанасий Степанович, — очнулся Борис.

— Нет-нет, пожалуйста, не провожайте. Я сам найду дорогу. Здесь до барака близко. Я ведь до Кеми дошел. Тоже была ночь. Меня вел дьявол.

Авдеев выскочил в сени. За ним вышел брат. Донесли их заглушенные голоса. Вьюга резко хлопнула дверью, и стекла в окнах задребезжали. Мне показалось, что под окнами снова ходит этот авдеевский дьявол и выстукивает железными пальцами какой-то третий звонок.

Мы с Юрой сидели и молчали. Через немного минут вернулся брат. Он постоял посредине комнаты, засунув руки в карманы, потом подошел и уставился в занесенное снегом окно, сквозь которое ничего не было видно в черную вьюжную ночь, поглотившую Авдеева.

— Послушай, Ватик, — спросил он. — У тебя деньги есть?

— Есть. А что?

— Сейчас хорошо бы водки. Литра по два на брата. Сейчас для этой водки я не пожалел бы загнать свои последние кальсоны.

ПОД КРЫЛЬЯМИ АВДЕЕВСКОГО ДЬЯВОЛА

Борис собрал деньги и исчез к какой-то бабе, мужа которой он лечил от пулевой раны, полученной при каких-то таинственных обстоятельствах. Лечил нелегально, конечно. Сельского врача здесь не было, а лагерный за связь с местным населением рисковал получить три года прибавки к своему сроку отсидки. Впрочем, при данных условиях прибавка срока Бориса ни в какой степени не смущала.

Борис пошел и пропал. Мы с Юрой сидели молча, тупо глядя на прыгающее пламя печки. Говорить не хотелось. За окном метались снежные привидения вьюги. Где-то среди них еще, может быть, брел к своему бараку человек со сгнившими пальцами, с логикой сумасшедшего и с пронизательностью одержимого. Но брел ли он к бараку или к проруби? Ему в самом деле было проще брести к проруби. И ему было бы спокойнее и, что греха таить, было бы спокойнее и мне. Его сумасшедшее пророчество насчет нашего бегства, сказанное где-нибудь в другом месте могло бы иметь для нас катастрофические последствия. Мне казалось, что «на воре и шапка горит», что всякий мало-мальски толковый чекист должен по одним физиономиям нашим установить наши преступные наклонности к побегу. Так я думал до самого конца. Чекистскую пронизательность я несколько преувеличил. Но этот страх разоблачения и гибели оставался всегда. Если такую штуку мог сообразить Авдеев, то почему ее не может сообразить, скажем, Якименко? Не этим ли объясняется якименковская корректность и прочее? Дать нам возможность подготовиться выйти и потом насмешливо сказать, ну, что ж, поиграли и довольно — пожалуйста к стенке. Ощущение почти мистической беспомощности, некоего невидимого, но весьма недреманного ока, которое, насмешливо прищурившись, не спускает с нас своего взгляда было так реально, что я повернулся и увидел темные углы нашей избы. Но изба была пуста. Да, нервы все-таки сдают.

Борис вернулся и принес две бутылки водки. Юра встал, зябко кутаясь в бушлат, налил в котелок воды и поставил в печку. Расстелили на полу у печки газетный лист, Борис выложил из кармана несколько соленых окуньков, полученных им на предмет санитарного исследования, из посылки мы достали кусок сала, который был уже забронирован для побега и трогать который не следовало бы.

Юра снова уселся у печки, не обращая внимания даже и на сало; водка его вообще не интересовала. Его глаза под темной оправой очков казались провалившимися куда-то в самую глубину — черепа.

— Боба, — спросил он, не отрывая взгляда от печки, — не мог бы ты устроить его в лазарет надолго?

— Сегодня мы приняли 17 человек с совсем отмороженными ногами, — сказал, помолчав, Борис.

— И еще пять саморубов. Ну, тех вообще приказано не принимать и даже не перевязывать.

— Как, и перевязывать нельзя?

— Нельзя. Чтоб не повадно было.

Мы помолчали. Борис налил две кружки и из вежливости предложил Юре. Юра брезгливо поморщился.

— Так что же ты с этими саморубами сделал? — сухо спросил он.

— Положил в покойницкую, где ты от БАМа отсиживался.

— И перевязал?— продолжал допрашивать Юра.

— А ты как думаешь?

— Неужели, — с некоторым раздражением спросил Юра, — этому Авдееву совсем уж никак нельзя помочь?

— Нельзя, — категорически объявил Борис. Юра передернул плечами. — И нельзя по очень простой причине. У каждого из нас есть возможность выручить несколько человек. Не очень много, конечно. Эту ограниченную возможность мы должны использовать для тех людей, которые имеют хоть какие-нибудь шансы стать на ноги. Авдеев не имеет никаких шансов.

— Тогда выходит, что вы с Ватиком глупо сделали, что вытащили его с 19-го квартала.

— Это сделал не я, а Ватик. Я этого Авдеева тогда в глаза не видал.

— А если бы видал?

— Ничего не сделал бы. Ватик просто поддался своему мягкосердечию.

— Интеллигентские сопли?— иронически переспросил я.

— Именно, — отрезал Борис. Мы с Юрой переглянулись. Борис мрачно раздирал руками высохшую в ремень колючую рыбешку.

— Так что наши БАМовские списки по-твоему тоже интеллигентские сопли? — с каким-то вызовом спросил Юра.

— Совершенно верно.

— Ну, Боба, ты иногда такое загнешь, что слушать противно.

— А ты не слушай.

Юра передернул плечами и снова уставился в печку.

— Можно было бы не покупать этой водки и купить Авдееву четыре кило хлеба.

— Можно было бы. Что же, спасут его эти четыре кило?

— А спасет нас эта водка?

— Мы пока нуждаемся не в спасении, а в нервах. Мои нервы хоть на одну ночь отдохнут от лагеря. Ты вот работал со списками, а я работаю с саморубами.

Юра не ответил ничего. Он взял окунька и попробовал разорвать его. Но в его пальцах, иссохших, как этот окунек, силы не хватило. Борис молча взял у него рыбешку и разорвал ее на мелкие клочья. Юра ответил ироническим «спасибо», повернулся к печке и снова уставился в огонь. Несколько погодя он спросил резко и сухо:

— Так все-таки почему же БАМовские списки — это интеллигентские сопли?

Борис помолчал.

— Вот видишь ли, Юрчик, поставим вопрос так: у тебя, допустим, есть возможность выручить от БАМа икс человек. Вы выручали людей, которые все равно не жильцы на этом свете и следовательно, посылали людей, которые еще могли бы прожить какое-то время, если бы не поехали на БАМ. Или будем говорить так: у тебя есть выбор послать на БАМ Авдеева или какого-нибудь более или менее здорового мужика. На этапе Авдеев помрет через неделю. Здесь он помрет, скажем, через полгода, больше и здесь не выдержит. Мужик, оставшись здесь, просидел бы свой срок, вышел бы на волю, ну и так далее. А после БАМовского этапа он станет инвалидом и срока своего, думаю, не переживет. Так вот, что лучше и что человечнее: сократить ли агонию Авдеева или начать агонию мужика.

Вопрос был поставлен с той точки зрения, от которой сознание как-то отмахивалось. В этой точке зрения была какая-то очень жестокая, но все-таки правда. Мы замолчали. Юра снова уставился в огонь.

— Вопрос шел не о замене одних людей другими. — сказал он, наконец. — Всех здоровых все равно послали бы, но вместе с ними послали бы и больных.

— Не совсем так. Но, допустим. Так вот эти больные у меня сейчас вымирают в среднем человек по тридцать в день.

— Если стоять на твоей точке зрения, — вмешался я, — то не стоит и сангородка городить. Все равно только отсрочка агонии.

— Сангородок — это другое дело. Он может стать постоянным учреждением.

— Я ведь не возражаю против твоего городка.

— Я не возражал и против ваших списков. Но если смотреть в корень вещей, то и списки и городок в конце концов ерунда. Тут вообще ничем не поможешь. Все это для очистки совести и больше ничего. Единственно, что реально, нужно драпать, а Ватик все тянет.

Мне не хотелось говорить ни о бегстве, ни о том трагическом для русских людей лозунге «Чем хуже, тем лучше» Теоретически, конечно, оправдан всякий саботаж: чем скорее все это кончится, тем лучше. Но на практике саботаж оказывается психологически невозможным. Ничего не выходит. Теоретически Борис прав: на Авдеева нужно махнуть рукой. А практически?

— Я думаю, — сказал я, — что пока я торчу в этом самом штабе, я смогу устроить Авдеева так, чтобы он ничего не делал.

— Дядя Ваня, — сурово сказал Борис, — на Медгору все кнопки уже нажаты. Не сегодня — завтра нас туда перебросят, и тут уж мы ничего не поделаем. Твоя публика из свирьлаговского штаба тоже через месяц сменится и Авдеева после некоторой передышки снова выкинут догнывать на 19-ый квартал. Ты жалеешь потому, что еще только два месяца в лагере, и ты в сущности ни черта еще не видал. Что ты видал? Был ты на сплаве, на лесосеках, на штрафных лагпунктах, на настоящих штрафных лагпунктах. Нигде ты еще, кроме своего Урча, не был. Когда я вам в Салтыковке рассказывал о Соловках, так Юрчик чуть не в глаза мне говорил, что я не то преувеличиваю, не то вру; вот еще посмотрим, что нас там на севере в ББК ожидает. Ни черта мы по существу сделать не можем, одно самоутешение. Мы не имеем права тратить своих нервов на Авдеева. Что мы можем сделать? Одно мы можем сделать — сохранить и собрать все свои силы, бежать и там, за границей, тыкать в нос всем тем идиотам, которые вопят о советских достижениях, что когда эта желанная и великая революция придет к ним, то они будутдохнуть точно так же, как дохнет сейчас Авдеев. Что их дочери пойдут стирать белье в Кемь и станут лагерными проститутками, что трупы их сыновей будут выкидываться из вагонов.

Бориса, видимо, прорвало. Он сжал в кулаке окунышка и нещадно мят его в пальцах.

— Эти идиоты думают, что за их теперешнюю левизну, за славословие, за лизание сталинских пяток им потом дадут персональную пенсию. Они де будут первыми людьми своей страны. Первым человеком из этой сволочи будет тот, кто ломает всех остальных, как Сталин

сломал и Троцкого и прочих. Сукины дети! Уж после наших эсеров, меньшевиков, Раковских, Муравьевых и прочих можно было бы хоть чему-нибудь научиться. Нужно им сказать, что когда придет революция, то мистер Эррио будет сидеть в подвале, дочь его в лагерной прачечной, сын — на том свете, а заправлять будут Сталин и Стародубцев. Вот, что мы должны сделать. И нужно бежать. Как можно скорее. Не тянуть и не возжаться с Авдеевыми. К чертовой матери!

Борис высыпал на газету измятые остатки рыбешки и вытер платком окровавленную колючками ладонь. Юра искоса посмотрел на его руку и опять устоялся в огонь. Я думал о том, что пожалуй действительно нужно не тянуть. Но как? Лыжи, снег, засыпанные снегом леса, незамерзающие горные ручьи. Ну его к черту. — Хотя бы один вечер не думать обо всем этом. Юра как будто уловил мое настроение, как-то не очень логично спросил, мечтательно смотря в печку.

— Но неужели настанет, наконец, время, «когда мы не будем видеть всего этого? Как-то не верится...

Разговор перепрыгнул на будущее, которое казалось одновременно и таким возможным и таким невероятным, о будущем по ту сторону. Авдеевский дьявол перестал бродить перед окнами, а опасности побега перестали сверлить мозг.

На другой день один из моих свирьлаговских сослуживцев ухитрился устроить для Авдеева работу сторожем на еще не существующей свирьлаговской телефонной станции; из своей станции ББК уволок все, включая и оконные стекла. Послали курьера за Авдеевым, но тот его не нашел.

Вечером в нашу берлогу ввалился Борис и мрачно сообщил, что с Авдеевым все устроено.

— Ну, вот. Я ведь говорил. — обрадовался Юра. — Если поднажать, можно все устроить.

Борис помялся и посмотрел на Юру крайне неодобрительно.

— Только что подписал свидетельство о смерти. Вышел от нас, запутался что ли. Днем нашли его в сугробе, за электростанцией. Нужно было вчера проводить его все-таки.

Юра замолчал и съезжился. Борис подошел к окну и снова стал смотреть в черный прямоугольник вьюжной ночи.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОДПОРОЖЬЯ

Из Москвы, из Гулага пришла телеграмма: лагерный пункт Погра со всем его населением и инвентарем считать за Гулагом, запретить всякие переброски с лагпункта.

Об этой телеграмме мне в штаб Свирьлага позвонил Юра, и тон Юры был растерянный и угнетенный. К этому времени всякими способами были, как выражался Борис, нажаты все кнопки на Медгору. Это означало, что со дня на день из Медгоры должны привезти требование на всех нас троих. Но Борис фигурировал в списках живого инвентаря Погры, Погра закреплена за Гулагом. Из-под высокой руки Гулага выбираться было не так просто, как из Свирьлага в ББК или из ББК в Свирьлаг. Значит, меня и Юру заберут под конвоем в ББК, а Борис останется тут. Это одно. Второе: из-за этой телеграммы угрожающей тенью вставала мадемуазель Шац, которая со дня на день могла приехать ревизовать свои новые владения и «укрощать» Бориса своей махоркой и своим кольцом.

Борис сказал: надо бежать, не откладывая ни на один день. Я сказал: нужно попробовать извернуться. Нам не удалось ни бежать, ни извернуться.

Вечером в день получения — этой телеграммы Борис пришел в нашу избу, мы продискуссировали еще раз: вопрос о возможном завтрашнем побеге, не пришли ни к какому соглашению и легли спать. Ночью Борис попросил у меня кружку воды. Я подал воду и пощупал пульс. Пульс у Бориса был под 120. Это был припадок его старинной малярии — вещь, которая в России сейчас чрезвычайно распространена. Проект завтрашнего побега был ликвидирован автоматически. Следовательно, оставалось только изворачиваться.

Мне было очень неприятно обращаться с этим делом к Надежде Константиновне: женщина переживала трагедию почище нашей. Но я попробовал. Ничего не вышло. Н.К. смотрела на меня пустыми глазами и махнула рукой: «Ах, теперь мне все безразлично». У меня не хватило духу настаивать.

15-го марта вечером мне позвонили из ликвидкома и сообщили, что я откомандировываюсь обратно в ББК. Я пришел в ликвидком. Оказалось, что на нас двоих, меня и Юру, пришло требование из Медгоры в числе еще восьми человек интеллигентного живого инвентаря, который ББК забирает себе. Отправка завтра в 6 часов утра. Сейчас я думал, что болезнь Бориса была везеньем. Сейчас, после опыта шестнадцати суток ходьбы через Карельскую тайгу, я уже знаю, что зимой мы не прошли бы. Тогда я этого еще не знал. Болезнь Бориса была

снова как какой-то рок, как удар, которого мы не могли ни предусмотреть, ни предотвратить. Но списки были уже готовы, конвой уже ждал нас, и оставалось только одно: идти по течению событий.

Утром мы сурово и почти молча попрощались с Борисом.

Коротко и твердо условились о том, что где бы мы ни были, 28 июля утром мы бежим. Больше об этом ничего не было сказано. Перекинулись несколькими незначительными фразами. Кто-то из нас попытался было даже деланно пошутить, но ничего не вышло. Борис с трудом поднялся с нар, проводил до дверей и на прощание сунул мне в руку какую-то бумажку: после прочтешь. Я зашагал, не оглядываясь. Зачем оглядываться?

Итак, еще одно последнее прощанье. Оно было не первым. Но сейчас, какие шансы, что нам удастся бежать всем трем? В подавленности и боли этих минут мне показалось, что шансов никаких или почти никаких. Мы шли по темным еще улицам Подпорожья, и в памяти упорно вставали наши предыдущие «последние» прощания в Ленинградском ГПУ полгода тому назад, на Николаевском вокзале в Москве в ноябре 1926 года, когда Бориса за его скаутские грехи отправляли на пять лет в Соловки.

...Помню, уже с утра голодного и дождливого, на Николаевском вокзале собралась толпа мужчин и женщин, друзей и родных тех, которых в тот день должны были пересаживать с черного ворона Лубянки на арестантский поезд на Соловки. Вместе со мною была жена брата Ирина, и был его первенец, которого Борис еще не видал: семейное счастье Бориса длилось всего пять месяцев.

Никто из нас не знал ни времени, когда привезут заключенных, ни места, где их будут перегружать. В те добрые старые времена, когда ГПУский террор еще не охватывал миллионов, как он охватывает сейчас, погрузочные операции еще не были индустриализованы. ГПУ еще не имело своих погрузочных платформ, какие оно имеет сейчас. Возникали и исчезали слухи. Толпа провожающих металась по путям, платформам и тупичкам. Бледные, безмерно усталые женщины, кто с узелком, кто с ребенком на руках то бежали куда-то к посту второй версты, то разочарованно и бессильно плелись обратно. Потом новый слух, и толпа точно в панике опять устремляется куда-то на вокзальные задворки. Даже я устал от этих путешествий по стрелкам и по лужам, закутанный в одеяло ребенок оттягивал даже мои онемевшие руки, но эти женщины, казалось, не испытывали усталости: их вела любовь. Так промотались мы целый день. Наконец, поздно вечером, часов около 11-ти, кто-то прибежал и крикнул: «Везут!» Все бросились к тупичку, на который уже подали арестантские вагоны. Тогда это были вагоны настоящие,

классные, хотя и с решетками, но вагоны, а не бесконечные телячьи составы, как сейчас. Первый «ворон» молодежато описав круг, повернулся задом к вагонам. Конвой выстроился двойной цепью. Дверцы «ворона» раскрылись, и из него в вагоны потянулась процессия страшных людей, людей изжеванных голодом и ужасом, тоской за близких и ужасом Соловков — Острова смерти. Шли какие-то люди в священнических рясах и люди в военной форме, люди в очках и без очков, с бородами и безусые. В неровном свете раскачиваемых ветром фонарей сквозь пелену дождя мелькали не известные мне лица, шедшие вероятнее всего на тот свет. И вот!

Полусогнувшись, из дверцы «ворона» выходит Борис. В руках мешок с нашей последней передачей — вещи и провиант. Лицо стало бледным, как бумага: пять месяцев одиночки без прогулок, свиданий и книг. Но плечи так же массивны, как и раньше. Он выпрямляется и своими близорукими глазами ищет меня и Ирину. Я кричу:

— Cheer up, Bobby.

Борис что-то отвечает, но его голоса не слышно: не я один бросаю такой, может быть, прощальный крик. Борис выпрямляется, на его лице бодрость, которую он хочет внушить нам, он подымает руку, но думаю, он нас не видит: темно и далеко. Через несколько секунд его могучая фигура исчезает в рамке вагонной двери. Сердце сжимается ненавистью и болью. Но, о Господи!

Идут еще, еще... Вот, какие-то девушки в косыночках, в ситцевых юбочках, без пальто, без одеял, безо всяких вещей. Какой-то юноша лет 17-ти в одних только трусиках и тюремных «котах». Голова и туловище закутаны каким-то насквозь продырявленным одеялом. Еще юноша, почти мальчик в стоптанных тапочках в безрукавке и без ничего больше. И этих детей в таком виде шлют в Соловки. Что они, шестнадцатилетние, сделали, чтобы их обрекать на медленную и мучительную смерть? Какие шансы у них вырваться живыми из Соловецкого ада?

Личную боль перехлестывает что-то большее. Ну, что Борис? С его физической силой и жизненным опытом, с моей финансовой и прочей поддержкой с воли — а у меня есть, чем поддержать, и пока у меня есть кусок хлеба, он будет и у Бориса; Борис, может быть, пройдет через ад, но у него есть шансы и пройти и выйти. Какие шансы у этих детей? Откуда они? Что случилось с их родителями? Почему они здесь, полуголые, без вещей, без продовольствия? Где отец вот этой 15-16-ти летней девочки, которая ослабевшими ногами пытается переступить с камня на камень, чтобы не промочить своих изодранных полотняных туфель? У нее в руках — ни одной тряпочки, а в лице ни кровинки. Кто ее отец?

Контрреволюционер ли, уже ликвидированный, как «класс», священник ли, уже таскающий бревна в ледяной воде Белого моря, меньшевик ли, замешанный в шпионаже и ликвидирующий свою революционную веру в камере какого-нибудь страшного суздальского изолятора?

Но процессия уже закончилась. «Вороны» ушли. У вагонов стоит караул. Вагонов не так и много, всего пять штук. Я тогда еще не знал, что в 1933 году будут слать не вагонами, а поездами.

Публика расходится. Мы с Ириной еще остаемся. Ирина хочет продемонстрировать Борису своего потомка, я хочу передать еще кое-какие вещи и деньги. В дипломатические переговоры с караульным начальником вступает Ирина с потомком на руках. Я остаюсь на заднем плане. Молодая мать с двумя длинными косами и с малюткой, конечно, подействует гораздо сильнее, чем вся моя советская опытность.

Начальник конвоя, звеня шашкой, спускается со ступенек вагона. «Не полагается, да уж раз такое дело...» Берет на руки сверток с первенцем. «Ишь ты, какой он. У меня тоже малец вроде этого есть, только постарше... Ну, не ори, не ори, не съем. Сейчас папаше тебя покажем».

Начальник конвоя со свертком в руках исчезает в вагоне. Нам удается передать Борису все, что нужно было передать.

И все это уже в прошлом. Сейчас снова боль и тоска и тревога. Но сколько раз был последний раз, который не оказывался последним. Может быть и сейчас вывезет.

...От Подпорожья мы под небольшим конвоем идем к станции. Начальник конвоя — развеселый и забубенного вида паренек лет двадцати, заключенный, попавший сюда на пять лет за какое-то убийство, связанное с превышением власти. Пареньку очень весело идти по освещенному ярким солнцем и уже подтаивающему снегу, он болтает, поет, то начинает рассказывать какие-то весьма путанные истории из своей милицейской и конвойной практики, то снова заводит высоким голосом:

Ой, на гори, тай жинци жнуууть...

Он даже пытается рассеять мое настроение. Как это ни глупо, но это ему удается.

На станции он для нас восьмерых выгоняет полвагона пассажиров.

— Нужно, чтобы нашим арестантикам место было. Те сволочи кажинный день в своих постелях дрыхают, надо и нам буржуями проехаться.

ПРОЛЕТАРИАТ

МЕДГОРА

Поехали. Я вытаскиваю письмо Бориса, прочитываю его и выхожу на площадку вагона, чтобы никто не видел моего лица. Холодный ветер сквозь разбитое окно несколько успокаивает душу. Минут через десять на площадку осторожненько входит начальник конвоя.

— И чего это вы себя грызете? Нашему брату жить надо так: день прожил, поллитровку выдул, бабу тиснул, ну и давай, Господи, до другого дня. Тут главное — ни об чем не думать. Не думай — вот тебе и весь сказ.

У начальника конвоя оказалась более глубокая философия, чем я ожидал...

Вечереет. Я лежу на верхней полке с краю купе. За продырявленной дощатой перегородкой уже другой мир, вольный мир. Какой-то деревенский паренек рассказывают кому-то старинную сказку о Царевне Лебеди. Слушатели сочувственно охают.

— ...И вот, приходит, брат ты мой, Иван Царевич к Царевне Лебеди. А сидит та вся заплаканная. А перышки у нее серебрянные. А слезы она льет алмазные. И говорит ей тут Иван Царевич. Не могу я, говорит, без тебя, Царевна Лебедь, ни грудью дышать, ни очами смотреть. А ему Царевна Лебедь. Заколдовала меня, говорит, злая мачеха. Не могу я, говорит, Иван Царевич, за тебя замуж пойтить. Да и ты, говорит, Иван Царевич, покеда цел, иди ты к ... матери.

— Ишь ты, — сочувственно охают слушатели. Советский фольклор несколько рассеивает тяжесть на душе Мы подъезжаем к Медгоре. Подпорожская эпопея закончилась. Какая в сущности короткая эпопея, всего 66 дней! Какая эпопея ожидает нас в Медгоре?

Медвежья Гора, столица Беломорско-Балтийского лагеря и комбината, еще не так давно была микроскопическим железнодорожным поселком, расположенным у стыка Мурманской железной дороги и самой северной оконечностью Онежского озера. С воцарением над Карельской республикой Беломорско-Балтийского Лагеря Медгора превратилась в столицу ББК и, следовательно, столицу Карелии. В нескольких сотнях метрах к западу от железной дороги вырос целый городок плотно и прочно сколоченных из лучшего леса зданий — центральное управление ББК, его отделы, канцелярии, лаборатории, здания чекистских квартир и общежитии, огромный, расположенный отдельно в парке особняк высшего начальства лагеря.

На восток от железной дороги раскинул свои привилегированные бараки первый лагпункт. Тут живут заключенные служащие управления — инженеры, плановики, техники, бухгалтеры, канцеляристы и прочие. На берегу озера, у пристани второй лагпункт. Здесь живут рабочие многочисленных предприятий лагерной столицы — мукомолен, пристани, складов, мастерских, гаража, телефонной и радио станций, типографии и многочисленные плотничьи бригады, строящие все новые и новые дома, бараки, склады и тюрьмы. Сворачиваться, сокращать свое производство и свое население лагерь никак не собирается.

Медвежья Гора — это наиболее привилегированный пункт Беломорско-Балтийского лагеря, по-видимому, наиболее привилегированного из всех лагерей СССР. Был даже проект показывать ее иностранным туристам. 19-ый квартал показывать бы не стали. Верстах в четырех к северу был третий лагпункт, менее привилегированный и уж совсем не для показа иностранным туристам. Он играл роль пересыльного пункта. Туда попадали люди, доставленные в лагерь в индивидуальном порядке, перебрасываемые из отделения в отделение и прочие в этом роде. На третьем лагпункте людей держали 2-3 дня и отправляли дальше на север. Медвежья Гора была в сущности самым южным пунктом ББК после ликвидации Подпорожья. Южнее Медгоры оставался только незначительный Петрозаводский лагпункт.

В окрестностях Медгоры, в радиусе 25-30 верст, было раскидано еще несколько лагерных пунктов, огромное оранжерейное хозяйство

лагерного совхоза Вичка, где лед оранжевыми было занято до двух гектаров земли, мануфактурные и пошивочные мастерские шестого пункта и верстах в 10 к северу по железной дороге еще какие-то лесные пункты, занимавшиеся лесоразработками. Народу во всех этих пунктах было тысяч пятнадцать.

В южной части городка был вольный железнодорожный поселок, клуб и базар. Были магазины, был Госспирт, был Торгсин — словом, все, как полагается. Заключенным доступ в вольный городок был воспрещен, по крайней мере официально. Вольному населению воспрещалось вступать в какую бы то ни было связь с заключенными, тоже по крайней мере официально. Неофициально эти запреты нарушались всегда, и это обстоятельство давало возможность администрации время от времени сажать лагерников в Шизо, а население в лагерь; и этим способом поддерживать свой престиж: не зазнавайтесь. Никаких оград вокруг лагеря не было.

Мы попали в Медгору в исключительно неудачный момент, там шло очередное избиение младенцев, сокращали аппарат. На воле эта операция производится с неукоснительной регулярностью, приблизительно один раз в полгода. Теория этих сокращений происходит от того нелепого представления, что бюрократическая система может существовать без бюрократического аппарата, что власть, которая планирует и контролирует политику и экономику, и идеологию, и географическое размещение промышленности, и мужицкую корову, и жилищную склоку, и торговлю селедкой, и фасон платья, и брачную любовь; власть, которая, говоря проще, насаждает на все и все выслеживает, что такая власть может обойтись без чудовищно разбухших аппаратов всяческого прожектерства и всяческой слежки. Но такая презумпция существует. Очень долго она казалась мне совершенно бессмысленной. Потом, въедаюсь и вглядываюсь в советскую систему, я, кажется, понял, в чем тут зарыта социалистическая собака: правительство хочет показать, что оно, правительство (власть, система), стоит, так сказать, на вершине всех человеческих достижений, а вот аппарат, извините, сволочной. Вот мы, власть, о этим аппаратом и боремся. Уж так боремся! Не шадя, можно сказать, животов аппаратных. И если какую-нибудь колхозницу заставляют кормить грудью поросят, то причем власть? Власть не при чем. Недостатки механизма. Наследие проклятого старого режима. Бюрократический подход. Отрыв от масс. Потеря классового чутья. Ну и так далее. Система, во всяком случае, не виновата. Система такая, что хоть сейчас ее на весь мир пересаживай.

По части приискания всевозможных и невозможных козлов отпущения советская власть переплонула лучших в истории

последователей Макиавелли. Но с каждым годом козлы помогают все меньше и меньше. В самую тупую голову начинает закрадываться сомнение: что ж это вы, голубчики, полтора десятка лет все сокращаетесь и приближаетесь к массам, а как была ерунда, так и осталась. На восемнадцатом году революции женщину заставляют кормить грудью поросят, а над школьницами учиняют массовый медицинский осмотр на предмет установления невинности. И эти вещи могут случаться в стране, которая официально зовется самой свободной в мире. «Проклятым старым режимом», «наследием крепостничества», «вековой темнотой России» и прочими несколько мистического характера вещами тут уж не отделаешься: при дореволюционном правительстве, которое исторически все же ближе было к крепостному праву, чем советское, такие вещи были бы просто невозможны. Не потому, чтобы кто-либо запрещал, а потому, что никому бы в голову такое не пришло. А если бы и нашлась, такая сумасшедшая голова, так ни один врач не стал бы осматривать, и ни одна школьница на осмотр не пошла бы.

Да, в России сомнения начинают закрадываться в самые тупые головы. Оттого-то для этих голов начинают придумывать новые побрякушки, вот вроде красивой жизни. Некоторые головы в эмиграции начинают эти сомнения изживать. Занятие исключительно своевременное.

В мелькании всяческих административных мероприятий каждое советское заведение, как планета по орбите, проходит такое коловращение: сокращение, укрупнение, разукрупнение, разбухание... У попа была собака.

Когда вследствие предшествующих мероприятий аппарат разбух до такой степени, что ему действительно и повернуться нельзя, начинается кампания по сокращению. Аппарат сокращают неукоснительно, скорострельно, беспощадно и бестолково. Из этой операции он вылезает в таком изуродованном виде, что ни жить, ни работать он в самом деле не может. От него отгрызли все то, что не имело связей, партийного билета, умения извернуться или пустить пыль в глаза. Изгрызенный аппарат временно оставляют в покое со свирепым внушением: впредь не разбухать. Тогда возникает теория укрупнения. Несколько изгрызенных аппаратов соединяются вкуче, как слепой соединяется с глухим. «Укрупнившись» и получив новую вывеску и новые плановые задания, новорожденный аппарат начинает потихоньку разбухать. Когда разбухание достигает какого-то предела, при котором снова не повернуться, ни дохнуть, на сцену приходит теория «разукрупнения». Укрупнение соответствует централизации, индустриализации и вообще «масштабам». Разукрупнение выдвигает

лозунги приближения. Приближаются к массам, к производству, к женщинам, к быту, к коровам. Во времена пресловутой кроличьей эпопеи был даже выброшен лозунг приближения к бытовым нуждам кроликов. Приблизилась. Кролики передохли.

Так вот, вчера еще единое всесоюзное, всеобъемлющее заведение начинает почковаться на отдельные «строи», «тресты», «управления» и прочее. Все они куда-то приближаются. Все они открывают новые методы и новые перспективы. Для новых методов и перспектив явственно нужны и новые люди. «Строи» и «тресты» начинают разбухать, на этот раз беззастенчиво и беспардонно. Опять же до того момента, когда ни повернуться, ни дохнуть.

Начинается новое сокращение.

Так идет вот уже 18 лет. Так идти будет еще очень долго, ибо советская система ставит задачи, никакому аппарату непосильные. Никакой аппарат не сможет спланировать красивой жизни и установить количество поцелуев, допустимое теорией Маркса-Ленина-Сталина. Никакой контроль не может уследить за каждой селедкой в каждом кооперативе. Приходится нагромождать плановика на плановика, контролера на контролера, сыщика на сыщика. И потом планировать и контроль и сыск.

Процесс разбухания объясняется тем, что когда вчерне установлены планы, контроль и сыск, выясняется, что нужно планировать сыщиков и организовывать слежку за плановиками. Организуется новый отдел в ГПУ и сыскное отделение в Госплане. В плановом отделе ГПУ организуется собственная сыскная ячейка, а в сыском отделении Госплана — планово-контрольная группа. Каждая гнилая кооперативная селедка начинает обрастать плановиками, контролерами и сыщиками. Такой марки не в состоянии выдержать и гнилая кооперативная селедка. Начинается перестройка... У попа была собака.

Впрочем, на воле эти сокращения происходят более или менее безболезненно. Резиновый советский быт прировнялся к ним. Как-то выходит, что когда сокращается аппарат А, начинает разбухать аппарат Б. Когда сокращается Б, разбухает А. Иван Иванович, сидящий в А и ожидающий сокращения, звонит по телефону Ивану Петровичу, сидящему в Б, начинающему разбухать: нет ли у вас, Иван Петрович, чего-нибудь такого подходящего. Что-нибудь такое подходящее обыкновенно отыскивается. Через месяцев 5-6 и Иван Иванович и Иван Петрович мирно переключиваются снова в аппарат А. Так оно и крутится. Особой безработицы от этого не получается. Некоторое углубление всероссийского кабака, от всего этого происходящее, в общей тенденции

развития мало заметно и в глаза не бросается. Конечно, покидая аппарат А, Иван Иванович никому не станет сдавать дел, просто вытряхнет из портфеля свои бумаги и уйдет. В аппарате Б Иван Иванович три месяца будет разбирать бумаги, точно таким же образом вытряхнутые кем-то другим. К тому времени, когда он с ними разберется, его уже начнут укрупнять или разукрупнять. Засидеться на своем месте Иван Иванович не имеет почти никаких шансов, да и засиживаться опасно

Здесь же, собственно говоря, начинается форменный бедлам, каковому бедламу лично я никакого социологического объяснения найти не могу. Когда в силу какой-то таинственной игры обстоятельств Ивану Ивановичу удастся усидеть на одном месте 3-4 года и, следовательно как-то познакомиться с тем делом, на котором он работает, то на ближайшей чистке ему бросят обвинение в том, что он «засиделся»; и этого обвинения будет достаточно для того, чтобы Ивана Ивановича вышибли вон, правда, без порочащих его добрую советскую честь отметок. Мне, по-видимому, удалось установить всесоюзный рекорд «засиживанья». Я просидел на одном месте почти 6 лет. Правда, место было, так сказать, вне конкуренции, физкультура. Ей все весьма сочувствуют, и никто ничего не понимает. И все же на шестой год меня вышибли. И в отзыве комиссии по чистке было сказано буквально:

«Уволить, как засидевшегося, малограмотного, не имеющего никакого отношения к физкультуре, заделавшегося инструктором и ничем себя не проявившего».

А Госиздат за эти годы выпустил шесть моих руководств по физкультуре.

Нет уж. Бог с ним, лучше не засиживаться... Засидеться в Медгоре у нас, к сожалению, не было почти никаких шансов: обстоятельство, которое мы (тоже, к сожалению) узнали уже только после нажатия всех кнопок. Медгора свирепо сокращала свои штаты. А рядом с управлением лагеря здесь не было того гипотетического заведения Б, которое, будучи рядом, не могло не разбухать. Инженеры, плановики, бухгалтеры, машинистки вышибались вон, в тот же день переводились с первого лагпункта на третий, два—три дня пилили дрова или чистили клозеты в управлении и исчезали куда-то на север, в Сороку, в Сегежу, в Кемь... Конечно, через месяц—два Медгора снова будет разбухать. И лагерное управление подвластно неизменным законам природы социалистической, но это будет через месяц-два. Мы же с Юрой рисковали не через месяц-два, а дня через два-три попасть куда-нибудь в такие места, что из них к границе совсем выбраться будет невозможно.

Эти мысли, соображения и перспективы лезли мне в голову, когда мы по размокшему снегу под дождем и под конвоем нашего

забубенного чекиста топали со станции в Медгорский УРЧ. Юра был настроен весело и боеспособно и даже напевал: «Что УРЧ грядущий нам готовит?»

Ничего путного от этого грядущего УРЧа ждать не приходилось.

ТРЕТИЙ ЛАГПУНКТ

УРЧ Медгорского отделения — приблизительно такое же завалившее и отвратное заведение, каким было и наше Подпорожское. Между нарядчиком УРЧ и нашим начальником конвоя возникает дискуссия. Конвой сдал нас и получил расписку. Но у нарядчика УРЧ нет конвоя, чтобы переправить нас на третий лагпункт. Нарядчик требует, чтобы туда доставил нас наш подпорожский конвой. Начальник конвоя растекается соловьиным матом и исчезает. Нам, следовательно, предстоит провести ночь в новых урчевских закоулках. Возникает перебранка, в результате которой мы получаем сопроводительную бумажку для нас и сани для нашего багажа. Идем самостоятельно, без конвоя.

На третьем лагпункте часа три тыкаемся от лагпунктского УРЧ к начальнику колонны, от начальника колонны к статистикам, от статистиков к каким-то старостам и, наконец, попадаем в барак номер 19.

Это высокий, просторный барак, на много лучше, чем на Погре. Горит электричество. Окон раза в три больше, чем в погровских бараках. Холод совсем собачий, ибо печек только две. Посредине одной из длинных сторон барака нечто вроде ниши с окном. Там «красный уголок». Стол покрыт кумачом. На столе несколько агитационных брошюрок, на стенах портреты вождей и лозунги. На нарах много пустых мест: только что переправили на север очередную партию сокращенной публики. Дня через три-четыре будут отправлять еще один этап. В него рискуем попасть и мы. Но довлеет дневи злоба его. Пока что нужно спать.

Нас разбудили в половине шестого — идти в Медгору на работу. Но мы знаем, что ни в какую бригаду мы еще не зачислены и поэтому повторяем наш погровский прием — выходим, околачиваемся по уборным, пока колонны не исчезают и потом снова заваливаемся спать.

Утром осматриваем лагпункт. Да, это несколько лучше Погры. Не на много, но все же лучше. Однако, пройти из лагпункта в Медгору мне не удастся. Ограды, правда, нет, но между горой и лагпунктом — речка Вичка, не замерзающая даже в самые суровые зимы. Берега ее в отвесных сугробах снега, обледенелых от брызг стремительного течения.

Через такую речку пробираться крайне некомфортабельно. А по дороге к границе таких речек десятки. Нет, зимой бы мы не прошли.

На этой речке мост. И на мосту попка. Нужно получить пропуск от начальника лагпункта. Иду к начальнику лагпункта. Тот подозрительно смотрит и отказывает наотрез: никаких пропусков; а почему вы не на работе? Отвечаю: прибыли в пять утра. И чувствую, что тут спецовским видом никого не проймешь. Мало ли специалистов проходили через третий лагпункт, чистку уборных и прочие удовольствия. Методы психологического воздействия здесь должны быть какие-то другие. Какие именно, я еще не знаю. В виду этого мы вернулись в свой красный уголок, засели в шахматы. Днем нас приписали к бригаде какого-то Махоренкова. К вечеру из Медгоры вернулись бригады. Публика очень путанная. Несколько преподавателей и инженеров. Какой-то химик. Много рабочих. И еще больше урок. Какой-то урка подходит ко мне и с дружественным видом шупает добротность моей кожанки.

— Подходящая кожанка. И где это вы ее купили?

По роже урки видно ясно: он подсчитывает, за такую кожанку не меньше, как литров пять перепадет. Обязательно сопру.

Урки в бараке — это хуже холода, тесноты, вшей и клопов. Вы уходите на работу, ваши вещи, и ваше продовольствие остаются в бараке, вместе с вещами и продовольствием ухитрится остаться какой-нибудь урка. Вы возвращаетесь — и ни вещей, не продовольствия, ни урки. Через день-два урка появляется. Ваше продовольствие съедено, ваши вещи пропиты, но в этом пропитии принимали участие не только урки, но и кто-то из местного актива, начальник колонны, статистик, кто-нибудь из УРЧ и прочее. Словом, взывать вам не к кому и просить о расследовании тоже некого. Бывалые лагерники говорили, что самое простое, когда человека сразу по прибытии в лагерь оберут, как липку, и человек начинает жить по классическому образцу: все мое ношу с собой. Нас в Погре ограбить не успели, в силу обстоятельств, уже знакомых читателю и подвергаться ограблению нам не очень хотелось. Не только в силу, так сказать, обычного человеческого эгоизма, но также и потому, что без некоторых вещей бежать было бы некомфортабельно.

Но урки — это все-таки актив. Дня два-три мы изворачивались таким образом. Навьючивали на себя елико возможное количество вещей и так шли на работу. А потом случилось непредвиденное происшествие.

Около нас, точнее над нами, помещался какой-то паренек лет этак двадцати пяти. Как-то ночью меня разбудили его стоны. «Что с вами?» «Да живот болит. Ой, не могу. Ой, прямо горит». Утром паренька стали было гнать на работу. Он кое-как сполз с нар и тут же свалился.

Его подняли и опять положили на нары. Статистик изрек несколько богохульств и оставил паренька в покое, пообещав все же пайка ему не выписывать. Мы вернулись поздно вечером. Паренек все стонал.

Я его ощупал. Даже в масштабах моих медицинских познаний можно было догадаться, что на почве неизменных лагерных катаров у паренька что-то вроде язвы желудка. Спросили старшину барака. Тот ответил, что во врачебный пункт уже заявлено. Мы легли спать. И от физической усталости и непривычных дней, проводимых на чистом воздухе, я заснул, как убитый. Проснулся от холода. Юры нет. Мы с Юрой приноровились спать, прижавшись спиной к спине. В этом положении нашего наличного постельного инвентаря хватало, чтобы не замерзать по ночам. Через полчаса возвращается Юра. Вид у него мрачный и решительный. Рядом с ним какой-то старичок, как потом оказалось, доктор. Доктор пытается говорить что-то о том, что он разорваться не может, что ни медикаментов, ни мест в больнице нет, но Юра стоит над ним этаким коршуном и вид у Юры профессионального убийцы. Юра говорит угрожающим тоном:

— Вы раньше осмотрите, а потом уж мы с вами будем разговаривать. Места найдутся. В крайности я к Успенскому пойду.

Успенский — начальник лагеря. Доктор не может знать, откуда на горизонте третьего лагпункта появился Юра, и какие у него были или могли быть отношения с Успенским. Доктор тяжело вздыхает. Я говорю о том, что у паренька, по-видимому, язва привратника. Доктор смотрит на меня подозрительно.

— Да, нужно бы везти в больницу. Ну, что ж. Завтра пошлем санитаров.

— Это завтра, — говорит Юра, — а парня надо отнести сегодня.

Несколько уроков уже столпились у постели болящего. Они откуда-то в один момент вытащили старые, рваные и окровавленные носилки, и у доктора никакого выхода не оказалось. Парня взвалили на носилки, и носилки в сопровождении Юры, доктора и еще какой-то шпаны потащились куда-то в больницу.

Утром мы по обыкновению стали выючить на себя необходимейшую часть нашего имущества. К Юре подошел какой-то чрезвычайно ясно выраженный урка, остановился перед нами, потягивая свою цыгарку и лихо сплевывая.

— Это что, пахан твой? — спросил он Юру.

— Какой пахан?

— Ну, батько, отец. Человечьего языка не понимаешь.

— Отец.

— Так, значит, вот что. Насчет барахла вашего. Не бойтесь, Никто ни шпинта не возьмет. Будьте покойнички. Парнишка-то этот с нашей шпаны. Так что, вы — нам, а мы — вам.

О твердости урочьих обещаний я кое-что слышал, но не очень этому верил. Однако, Юра решительно снял свое «барахло» и мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. Если уж оказывать доверие, так без запинки. Урка посмотрел на нас одобрительно, еще сплюнул и сказал:

— А ежели кто тронет, скажите мне. Тут тебе не третий отдел. Найдем враз.

Урки оказались действительно не третьим отделом и не активистами. За все время нашего пребывания в Медгоре у нас не пропало ни одной тряпки. Даже и после того, как мы перебрались из третьего лагпункта. Тайнственная организация урок оказалась, так сказать, вездесущей. Нечто вроде китайских тайных обществ нищих и бродяг. Несколько позже Юра познакомился ближе с этим миром, оторванным от всего человечества и живущим по своим таинственным и жестоким законам. Но пока что за свои вещи мы могли быть спокойны.

НА ЧЕРНОРАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Нас будят в половине шестого утра. На дворе еще тьма. В этой тьме выстраиваются длинные очереди лагерников за своей порцией утренней каши. Здесь порции раза в два больше, чем в Подпорожьи. Так всякий советский быт тучнеет по мере приближения к начальственным центрам и тощает по мере удаления от них. Потом нас выстраивают по бригадам, и мы топаем, кто куда. Наша бригада идет в Медгору, в распоряжение комендатуры управления.

Приходим в Медгору. На огромной площади управленческого городка разбросаны здания, службы, склады. Все это выстроено на много солиднее лагерных бараков. Посредине двора — фантастического вида столп, и на столпе оном — бюст Дзержинского, так сказать, основателя здешних мест и благодетеля здешнего населения.

Наш бригадир исчезает в двери комендатуры и оттуда появляется в сопровождении какого-то мрачного мужчины в лагерном бушлате, с длинными висячими усами и изрытым оспой лицом. Мужчина презрительным оком оглядывает нашу разнокалиберную, но в общем довольно рваную шеренгу. Нас человек тридцать. Одни отправляются чистить снег, другие рыть ямы для будущего ледника чекистской столовой. Мрачный мужчина, распределив всю шеренгу, заявляет:

— А вот вас двое, которые в очках, берите лопаты и айда за мной.

Мы берем лопаты к идем. Мрачный мужчина широкими шагами перемахивает через кучи снега, сора, опилок, досок и черт его знает, чего еще. Мы идем за ним. Я стараюсь сообразить, кто бы это мог быть, не по его нынешнему официальному положению, а по его прошлой жизни. В общем сильно похоже на кондового рабочего, наследственного пролетария и прочее. А, впрочем, увидим.

Пришли в один из дворов, заваленный пиленным лесом — досками, брусками, балками, обрезками. Мрачный мужчина осмотрел все это испытующим оком и сказал:

— Ну, так вот, значит, что. Всю эту хреновину нужно разобрать так, чтобы доски к доскам, бруски к брускам. В штабели, как полагается.

Я осмотрел все это столпотворение еще более испытующим оком.

— Тут на десять человек работы на месяц будет. «Комендант» презрительно пожал плечами.

— А что вам? Сроку не хватит? Лет десять, небось, имеется?

— Десять — не десять, а восемь есть.

— Ну вот и складывайте себе. А как пошабашите, приходите ко мне. Рабочее сведение дам. Шабашить в четыре часа... Только что прибыли?

— Да.

— Ну, так вот, значит и складайте. Только жил из себя тянуть никакого расчета нет. Всех дел не переделаешь, а сроку хватит.

Комендант повернулся и ушел. Мы с Юрой спланировали нашу работу и начали потихоньку перекладывать доски, бревна и прочее. Тут только я понял, до чего я ослаб физически. После часа этой в сущности очень неторопливой работы уже еле ноги двигались.

Погода выяснилась. Мы уселись на досках на солнце, достали из карманов по куску хлеба и позавтракали так, как завтракают и обедают и в лагерях и в России вообще: тщательно пережевывая каждую драгоценную крошку и подбирая крошки, упавшие с досок и с полбушлата. Потом посидели и поговорили о массе вещей. Потом снова взялись за работу. Так незаметно и прошло время. В 4 часа мы отправились в комендатуру за «рабочими сведениями». Рабочие сведения — это нечто вроде квитанции, на которой «работодатель» отмечает, что такой-то заключенный работал столько-то времени и выполнил такой-то процент нормы.

Мрачный мужчина сидел за столиком и с кем-то говорил по телефону. Мы подождали. Повесив трубку, он спросил мою фамилию. Я сказал. Он записал, поставил какую-то норму и спросил Юру. Юра сказал. Комендант поднял на нас свои очки.

— Что, родственники? Я объяснил.

— Эге, — сказал комендант, — заворочено здорово... Чтобы и семени на воле не осталось.

Он протянул заполненную бумажку. Юра взял ее, и мы вышли на двор. На дворе Юра посмотрел на бумажку и сделал индейское антраша — отголоски тех индейских танцев, которые он в особо торжественных случаях своей жизни выполнял семь лет тому назад.

— Смотри!

Я посмотрел. На бумажке было: «Солоневич Иван. 8 часов. 135 проц.». «Солоневич Юрий. 8 часов. 135 проц.»...

Это означало, что мы выполнили по 135 процентов какой-то не известной нам нормы и поэтому имеем право на получение сверхударного обеда и сверхударного пайка размером в 1 100 грамм хлеба.

Тысяча сто грамм хлеба это, конечно, был капитал. Но еще большим капиталом было ощущение, что даже лагерный свет не без добрых людей.

РАЗГАДКА 135 ПРОЦЕНТОВ

Наша бригада нестройной и рваной толпой вяло шествовала домой на третий лагпункт. Шествовали и мы с Юрой. Все-таки очень устали, хотя и наработали не Бог знает, сколько. Рабочие сведения с отметкой о ста тридцати пяти процентах выработки лежали у меня в кармане и вызывали некоторое недоумение: с чего бы это?

Здесь, в Медгоре, мы очутились на самых низах социальной лестницы лагеря. Мы были окружены и придавлены количеством неисчислимым всяческого начальства, которое было поставлено над нами с преимущественной целью выколотить из нас возможно большее количество коммунистической прибавочной стоимости. А коммунистическая прибавочная стоимость — вещь гораздо более серьезная, чем та, капиталистическая, которую в свое время так наивно разоблачал Маркс. Здесь выколачивают все, до костей. Основные функции выколачивания лежат на всех работодателях, то есть в данном случае на всех, кто подписывал нам эти рабочие сведения.

Проработав 8 часов на перекладке досок и бревен, мы ощутили с достаточной ясностью, что при существующем уровне питания и тренированности мы не то, что 135, а пожалуй и 35 процентов не выработаем. Хорошо, попалась добрая душа, которая поставила нам 135 процентов. А если завтра доброй души не окажется? Перспективы могут быть очень невеселыми.

Я догнал нашего бригадира, угостил его папироской и завел с ним разговор о предстоящих нам работах и о том, кто же, собственно, является нашим начальством на этих рабствах. К термину «начальство» наш бригадир отнесся весьма скептически.

— Э, какое тут начальство! Все своя бражка.

Это объяснение меня не удовлетворило. Внешность бригадира была несколько путанной. Какая же бражка является для него своей? Я переспросил.

— Да, в общем же свои ребята. Рабочая публика.

Это было яснее, но не на много. Во-первых, потому, что сейчас в России нет слоя более разнокалиберного, чем пресловутый рабочий класс и во-вторых, потому, что званием рабочего прикрывается очень много очень разнообразной публики — и урки, и кулаки, и делающие карьеру активисты, и интеллигентская молодежь, зарабатывающая пролетарские мозоли и пролетарский стаж, и многие другие.

— Ну, знаете, рабочая публика бывает уж очень разная.

Бригадир беззаботно передернул плечами.

— Где разная, а где и нет. Тут гаражи, электростанции, мастерские, мельницы. Кого попало не поставишь. Тут заводуют рабочие, которые с квалификацией, с царского времени рабочие.

Квалифицированный рабочий да еще с царского времени, это уже было ясно, определено и весьма утешительно. 135 процентов выработки, лежавшие в моем кармане, потеряли характер приятной неожиданности и приобрели некоторую закономерность: рабочий всамделишный, квалифицированный, да еще царского времени не мог не оказать нам, интеллигентам, всей той поддержки, на которую он при данных обстоятельствах мог быть способен. Прав да, при «данных обстоятельствах» наш еще не известный мне комендант кое-чем и рисковал. А вдруг бы кто-нибудь разоблачил нашу фактическую выработку! Но в советской России люди привыкли к риску и к риску не только за себя самого.

Не знаю, кто как, но лично я всегда считал теорию разрыва интеллигенции с народом кабинетной выдумкой, чем-то весьма близким к так называемым сапогам всмятку, одним из тех изобретений, на

которые так охочи и такие мастера русские пишущие люди. Сколько было выдумано всяких мировоззренческих, мистических, философских и потусторонних небылиц! И какая от всего этого получилась путаница в терминах, понятиях и мозгах! Думаю, что ликвидация всего этого является основной, насущнейшей задачей русской мысли, вопросом жизни и смерти интеллигенции, не столько подсоветской, ибо там процесс обезвздоривания мозгов в основном уже проведен, сколько эмигрантской.

...В 1921-22 годах Одесса переживала так называемые дни мирного восстания. «Рабочие» ходили по квартирам «буржуазии», и грабили все, что де-юре было лишним для буржуев и де-факто казалось не лишним для восставших. Было очень просто сказать: вот вам ваши рабочие, вот вам русский рабочий класс! А это был никакой не класс, никакие не рабочие. Это была портовая шпана, люмпен-пролетариат Молдованки и Пересыпи, всякие отбившиеся люди, так сказать, генеалогический корень нынешнего актива. Они не были рабочими в совершенно в той же степени, как не был интеллигентом дореволюционный околодочный надзиратель, бывший морду пьяному дворнику, как не был интеллигентом, то есть профессионалом умственного труда, старый барин, пропивавший последние закладные.

Все эти мистически-кабинетные теории и прозрения сыграли свою жестокую роль. Они раздробили единый народ на противостоящие друг другу группы. Отбросы классов были представлены, как характерные представители их. Большевизм почти гениально использовал путаницу кабинетных мозгов, извлек из нее далеко не кабинетные последствия.

Русская революция, которая меня, как и почти всех русских интеллигентов, свихнула с «верхов», в моем случае очень относительных, и погрузила в «низы», в моем случае очень не относительные (уборка мусорных ям в концлагере — чего уж глубже), дала мне блестящую возможность проверить свои и чужие точки зрения на некоторые вопросы. Должен сказать откровенно что за такую проверку годом концлагеря заплатить стоило. Склонен также утверждать, что для некоторой части российской эмиграции год концлагеря был бы великолепным средством для протирания глаз и приведения в порядок мозгов. Очень вероятно, что некоторая группа новых возвращенцев этим средством принуждена будет воспользоваться.

В те дни, когда культурную Одессу грабили «мирными восстаниями», я работал грузчиком в одесском рабочем кооперативе. Меня послали с грузовиком пересыпать бобы из каких-то закромов в мешки, на завод Гена на Пересыпи. Шофер с грузовиком уехал, и мне

пришлось работать одному. Было очень неудобно, некому мешок держать. Работаю. Прогудел заводской гудок. Мимо склада, который был несколько в сторонке, бредут кучки рабочих, голодных, рваных, истомленных. Прошли, заглянули, пошептались, потоптались, вошли в склад.

— Что ж они, сукины дети, на такую работу одного человека поставили?

Я ответил, что же делать, вероятно, людей больше нет.

— У них-то грузчиков нету! У них по комиссариатам одни грузчики и сидят. Ну, давайте, мы вам подсобим.

Подсобили. Их было человек десять, и бобы были ликвидированы в течение часа. Один из рабочих похлопал ладонью последний завязанный мешок.

— Вот, значит, ежели коллективно поднажать, так раз — и готово. Ну, закурим что ли, чтоб дома не журились.

Закурили, поговорили о том, о сем. Стали прощаться. Я поблагодарил. Один из рабочих, сумрачно оглядывая мою внешность, как-то, как мне показалось, подозрительно спросил:

— А вы-то давно на этом деле работаете?

Я промычал что-то не особенно внятное. Первый рабочий вмешался в мои междометия.

— А ты, товарищ, дуру из себя не строй. Видишь, человек образованный, разве его дело с мешками таскаться.

Сумрачный рабочий плюнул и матерно выругался.

— Вот поэтому то, мать его, так все и идет. Которому мешки грузить, так он законы пишет, а кому законы писать, так он с мешками возится. Учился человек. Деньги на него трачены. По такому пути далекооо мы пойдем.

Первый рабочий, прощаясь и подтягивал на дорогу свои подвязанные веревочкой штаны, успокоительно сказал:

— Ну, ни черта. Мы им кишки выпустим.

Я от неожиданности задал явственно глуповатый вопрос: кому это им?

— Ну, уж кому, это и вы знаете, и мы знаем.

Повернулся, подошел к двери, снова повернулся ко мне и показал на свои рваные штаны.

— А вы это видали?

Я не нашел, что ответить. Я и не такие штаны видал. Да и мои собственные были ничуть не лучше.

— Так вот, значит, в семнадцатом году, когда товарищи про все это разорались, вот, думаю, будет рабочая власть, так будет у меня и костюмчик и все такое. А вот с того времени, как были эти штаны, так одни и остались. Одного прибавилось — дыр. И во всем так. Хозяева! Управители! Нет уж, мы им кишки выпустим.

Насчет кишок пока что не вышло. Сумрачный рабочий оказался пророком: пошли действительно далеко, гораздо дальше, чем в те годы мог кто бы то ни было предполагать.

Кто же был типичен для рабочего класса? Те, кто грабил буржуйские квартиры или те, кто помогал мне грузить мешки? Донбассовские рабочие, которые шли против добровольцев, подпираемые сзади латышско-китайско-венгерскими пулеметчиками, или ижевские рабочие, сформировавшиеся в ударные колчаковские полки?

Прошло много, очень много лет. Потом были «углубления революции», «ликвидация кулака, как класса, на базе сплошной коллективизации деревни», голод на заводах и в деревнях, пять миллионов людей в концлагерях, ни на один день не прекращающаяся работа подвалов ВЧК-ГПУ-НКВД.

За эти путанные и трагические годы я работал грузчиком, рыбаком, кооператором, чернорабочим, работником социального страхования, профработником и, наконец, журналистом. В порядке ознакомления читателей с источниками моей информации о рабочем классе России, а также и об источниках пропитания этого рабочего класса, мне хотелось бы сделать маленькое отступление на аксаковскую тему о рыбной ловле удочкой. В нынешней советской жизни это не только тихий спорт, на одном конце которого помещается червяк, а на другом дурак. Это способ пропитания. Это один, только один из многих ответов на вопрос: как же это, при том способе хозяйствования, какой ведется в советской России, пролетарская и не пролетарская Русь не окончательно вымирает от голода. Спасают в частности просторы. В странах, где этих просторов нет, революция обойдется дороже.

Я знаю инженеров, бросивших свою профессию для рыбной ловли, сбора грибов и ягод. Рыбной ловлей, при всей моей бесталанности в этом направлении, не раз пропитывался и я. Так вот. Бесчисленные таборы рабочих и использующих свой выходной день и тех, кто добывает пропитание свое в порядке прогулов, «лодырничанья» и «летучести», бродят по изобильным берегам российских озер, прудов, рек и речушек. Около крупных центров, в частности под Москвой, эти берега усеяны «куренями» — земляночки, прикрытые сверху хворостом, еловыми

лапками и мхом. Там ночуют пролетарские рыбаки, или в ожидании клева отсиживаются от непогоды.

...Берег Учи. Под Москвой. Последняя полоска заката уже догорела. Последняя удочка уже свернута. У ближайшего куреня собирается компания соседствующих удельщиков. Зажигается костер, ставится уха. Из одного мешка вынимается одна поллитровочка, из другого — другая. Спать до утренней зари не стоит. Потрескивает костер, побулькивают поллитровочки, изголодавшиеся за неделю желудки наполняются пищей и теплом. И вот, у этих-то костров начинаются самые стоящие разговоры с пролетариатом. Хорошие разговоры! Никакой мистики. Никаких вечных в опросов. Никаких потусторонних тем. Простой хороший здравый смысл. Или в английском переводе *common sense*, проверенный веками лучшего в мире государственного и общественного устройства. Революция, интеллигенция, партия, промфинплан, цех, инженеры, прорывы, быт, война и прочее встают в таком виде, о каком и не заикается советская печать и в таких формулировках, какие не приняты ни в одной печати мира.

За этими куренями увязались было профсоюзные культотделы и понастроили там «красных куреней» — домиков с культработой, портретами Маркса, Ленина, Сталина и прочим принудительным ассортиментом. Из окрестностей этих куреней не то, что рабочие, а и окуни, кажется, разбежались. «Красные курени» поразвалились и были забыты. Разговоры у костров с ухой ведутся без наблюдения и руководства со стороны профсоюзов. Эти разговоры могли бы дать необычайный материал для этих предрассветных «записок удильщика»; таких же предрассветных, какими перед освобождением крестьян были тургеневские «Записки охотника».

Из бесконечных опросов, подымавшихся в этих разговорах «по душам», здесь я могу коснуться только одного, да и то мельком, без доказательств — это вопроса отношения рабочего к интеллигенции.

Если «разрыва» не было и до революции, то до последних лет не было и ясного, исчерпывающего понимания той взаимосвязанности, нарушение которой оставляет кровоточащие раны на теле и пролетариата, и интеллигенции. Сейчас после страшных лет социалистического наступления вся трудящаяся масса частью сочувствовала, а частью и сознательно поняла, что когда-то и как-то она интеллигенцию проворонила. Ту интеллигенцию, среди которой были и идеалисты, была, конечно и сволочь (где же можно обойтись без сволочи?), но которая в массе функции руководства страной выполняла во много раз лучше, честнее и человечнее, чем их сейчас выполняют

партия и актив. И пролетариат и крестьянство — я говорю о среднем рабочем и о среднем крестьянине — как-то ощущают свою вину перед интеллигенцией, в особенности перед интеллигенцией старой, которую они считают более толковой, более образованной и более способной к руководству, чем новую интеллигенцию. И вот поэтому везде, где мне приходилось сталкиваться с рабочими и крестьянами не в качестве «начальства», а в качестве равного или подчиненного, я ощущал с каждым годом революции все резче и резче некий неписанный лозунг русской трудовой массы:

Интеллигенцию надо беречь.

Это не есть пресловутая российская жалостливость; какая уж тут жалостливость в лагере, который живет трупами и на трупах. Это не есть сердобольная сострадательность богоносца к пропившемуся барину. Ни я, ни Юра не принадлежали и в лагере к числу людей, способных особенно в лагерной обстановке, вызвать чувство жалости и сострадания: мы были и сильнее и сытее среднего уровня. Это была поддержка «трудящейся массы» того самого ценного, что у нее осталось — наследников и будущих продолжателей великих строек русской государственности и русской культуры.

...И я, интеллигент, ощущаю ясно, ощущаю всем нутром своим: я должен делать то, что нужно и что полезно русскому рабочему и русскому мужику. Больше я не должен делать ничего. Остальное меня не касается, остальное от лукавого.

ТРУДОВЫЕ ДНИ

Итак, на третьем лагпункте мы погрузились в лагерные низы и почувствовали, что мы здесь находимся совсем среди своих. Мы перекладывали доски и чистили снег на дворах управления, грузили мешки на мельнице, ломали лед на Онежском озере, пилили и рубили дрова для чекистских квартир, расчищали подъездные пути и пристани, чистили мусорные ямы в управленческом городке. Из десятка заведующих, комендантов, смотрителей и прочих не подвел ни один: все ставили 135 процентов выработки — максимум того, что можно было поставить по лагерной конституции. Только один раз заведующий какой-то мельницей поставил нам 125 процентов. Юра помялся, помялся и сказал:

— Что же это вы, товарищ, нам так мало поставили? Все ставили по 135, чего уж вам попадать в отстающие?

Заведующий с колеблющимся выражением на обалделом и замороженном лице посмотрел на наши фигуры и сказал:

— Пожалуй, не поверят, сволочи.

— Поверят, — убежденно сказал я. — Уже один случай был, наш статистик заел, сказал, что в его колонне сроду такой выработки не было.

— Ну? — с интересом спросил заведующий.

— Я ему дал мускулы пощупать.

— Пощупал?

— Пощупал.

Заведующий осмотрел нас оценивающим взглядом.

— Ну, ежели так, давайте вам переправлю. А то бывает и так: и хочешь человеку, ну хоть сто процентов поставить, а в нем еле душа держится, кто ж поверит? Такому, может, больше, чем вам, поставить нужно бы. А поставишь, потом устроят проверку — и поминай, как звали.

...Жизнь шла так. Нас будили в половине шестого, мы завтракали неизменной ячменной кашей, и бригады шли на Медвежью Гору, работали по десять часов. Но так как в советской России официально существует восьмичасовой рабочий день, то во всех решительно документах, справках и сведениях ставилось: отработано часов... 6. Возвращались домой около семи, как говорится, без рук и без ног. Затем нужно было стать в очередь к статистике, обменять у него рабочие сведения на талоны на хлеб и на обед, потом стать в очередь за хлебом, потом стать в очередь за обедом. Пообедав, мы заваливались спать, тесно прижавшись друг к другу, накрывшись всем, что у нас было и засыпали, как убитые, без всяких снов.

Кстати, о снах. Чернавины рассказывали мне, что уже здесь за границей их долго терзали мучительные кошмары бегства и преследования. У нас всех трех тоже есть свои кошмары до сих пор. Но они почему-то носят иной, тоже какой-то стандартизованный характер. Все снится, что я снова в Москве и что надо снова бежать. Бежать, конечно, нужно. Это аксиома. Но как это я сюда опять попал? Ведь вот был же уже за границей, не правдоподобная жизнь на воле ведь была уже реальностью и, как часто бывает в снах, как-то понимаешь, что это только сон, что уже не первую ночь насаждает на душу этот угнетающий кошмар, кошмар возвращения к советской жизни. И иногда просыпаюсь от того, что Юра и Борис стоят над кроватью и будят меня.

Но в Медгоре снов не было. Какой бы холод ни стоял в бараке, как бы ни выла полярная вьюга за его тонкими и дырявыми стенками, часы сна проходили, как мгновение. За свои 135 процентов выработки мы все-таки старались изо всех сил. По многим причинам. Главное, может быть потому, чтобы не показать барского отношения к

физическому труду. Было очень трудно первые дни. Но килограмм с лишним хлеба и кое-что из посылок, которые здесь в лагерной столице совсем не разворовывалась, с каждым днем вливали новые силы в наши одряблевшие было мышцы.

Пяти-шести часовая работа с полупудовым ломом была великолепной тренировкой. В обязательной еженедельной бане я с чувством великого удовлетворения ощупывал свои и Юрочкины мускулы и с еще большим удовлетворением отмечал, что порох в пороховницах еще есть. Мы оба считали, что мы устроились почти идеально, лучшего и не придумаешь. Вопрос шел только о том, как бы нам на этой почти идеальной позиции удержаться возможно дольше. Как я уже говорил, третий лагпункт был только пересыльным лагпунктом и на задержку здесь рассчитывать не приходилось. Как всегда и везде в советской России, приходилось изворачиваться.

ИЗВЕРНУЛИСЬ

Наши работы имели еще и то преимущество, что у меня была возможность в любое время прервать их и пойти околачиваться по своим личным делам,

Я пошел в УРО — учетно-распределительный отдел лагеря. Там у меня были кое-какие знакомые из той полусотни специалистов учетно-распределительной работы, которых Якименко привез в Подпорожье в дни БАМовской эпопеи. Об устройстве в Медгоре нечего было и думать: медгорские учреждения переживали период жесточайшего сокращения. Я прибегнул к путанному и в сущности нехитрому трюку: от нескольких отделов УРО я получил ряд взаимно исключающих друг друга требований на меня и на Юру в разные отделения, перепутал наши имена, возрасты и специальности и потом лицемерно помогал нарядчику в УРЧе первого отделения разобраться в полученных им на нас требованиях: разобраться в них вообще было невозможно. Я выразил нарядчику свое глубокое и искреннее соболезнование.

— Вот, сукины дети, сидят там, путают, а потом на нас ведь все свалят.

Нарядчик, конечно, понимал: свалят именно на него. На кого же больше? Он свирепо собрал пачку наших требований и засунул их под самый низ огромной бумажной кучи, украшавшей его хромой дощатый стол.

— Так ну их всех к чертовой матери. Никаких путевок по этим хреновинам я вам подписывать не буду. Идите сами в УРО, пусть там

мне шлют бумажку, как следует. Напутают, сукины дети, а потом меня из-за вас за зебры и в Шизо.

Нарядчик посмотрел на меня раздраженно и свирепо. Я еще раз выразил свое соболезнование.

— А я-то здесь причем?

— Ну и я не при чем. А отвечать никому не охота. Я вам говорю: пока официальной бумажки от УРО не будет, так вот ваши требования хоть до конца срока пролежат здесь.

Что мне и требовалось. Нарядчик из УРЧа не мог подозревать, что я, интеллигент, считаю свое положение на третьем лагпункте почти идеальным и что никакой бумажки от УРО он не получит. Наши документы выпали из нормального оборота бумажного конвейера лагерной канцелярщины, а этот конвейер, потеряв бумажку, теряет и стоящего за нею живого человека. Словом, на некоторое время мы прочно угнездились на третьем лагпункте. А дальше будет видно.

Был еще один забавный эпизод. 135 проц. выработки давали нам право на сверхударный паек и на сверхударный обед. Паек 1100 грамм хлеба мы получали регулярно. А сверхударных обедов и в заводе не было. Право на сверхударный обед, как и очень многие из советских прав вообще, оставалось какою-то весьма отдаленной, оторванной от действительности абстракцией, и я, как и другие, весьма впрочем немногочисленные обладатели столь счастливых рабочих сведений, махнули на эти сверхударные обеды рукой. Однако, Юра считал, что махать рукой не следует: с худого пса хоть шерсти клок. После некоторой дискуссии я был вынужден преодолеть свою лень и пойти к заведующему снабжением третьего лагпункта.

Заведующий снабжением принял меня весьма неприветливо; не то, чтобы сразу послал меня к черту, но во всяком случае выразил весьма близкую к этому мысль. Однако, заведующий снабжением несколько ошибся в сценке моего советского стажа. Я сказал, что обеды — обедами, дело тут вовсе не в них, а в том, что он, заведующий, срывает политику советской власти, что он, заведующий, занимается уравниловкой, каковая уравниловка является конкретным проявлением троцкистского загиба.

Проблема сверхударного обеда предстала перед заведующим в новом для него аспекте. Тон был снижен на целую октаву. Чертова мать была отодвинута в сторону.

— Так, что же я, товарищ, сделаю, когда у нас таких обедов вовсе нет?

— Это, товарищ заведующий, дело не мое. Нет обедов, давайте другое. Тут вопрос не в обеде, а в стимулировании.

Заведующий поднял брови и сделал вид, что насчет стимулирования он, конечно, понимает. Необходимо стимулировать лагерную массу. Чтобы никакой уравниловки. Тут же, понимаете, политическая линия.

Политическая линия доканала заведующего окончательно. Мы стали получать сверх обеда то по сто грамм творогу, то по копченой рыбе, то по куску конской колбасы.

Заведующий снабжением стал относиться к нам с несколько беспокойным вниманием: как бы эти сукины дети еще какого-нибудь загиба не откопали.

СУДОРОГА ТЕКУЧЕСТИ

Однако, наше низовое положение изобиловало не одними розами, были и некоторые шипы. Одним из наименее приятных были переборки из барака в барак. По приблизительному подсчету Юры нам в лагере пришлось переменить 17 барачков.

В советской России все течет, а больше всего течет всякое начальство. Есть даже такой официальный термин — текучесть руководящего состава. Так вот, всякое такое текучее и протекающее начальство считает необходимым ознаменовать первые шаги своего нового административного поприща хоть какими-нибудь, да нововведениями. Основная цель — показать, что вот де товарищ X инициативы не лишен. В чем же товарищ X, на новом, как и на старом поприще не понимающий ни уха, ни рыла, может проявить свою просвещенную инициативу? А проявить нужно. События разворачиваются по линии наименьшего сопротивления — из обретаются бесконечные и абсолютно бессмысленные переборки с места на место вещей и людей. На воле это непрерывные реорганизации всевозможных советских аппаратов, с перекрасками вывесок, с передвижками отделов и подотделов, переборками людей, столов и пишущих машинок с улицы на улицу или по крайней мере из комнаты в комнату.

Эта традиция так сильна, что она не может удержаться даже и в государственных границах СССР. Один из моих знакомых, полунемец, ныне обретающийся в том же ББК, прослужил несколько меньше трех лет в Берлинском торгпредстве СССР. Торгпредство занимает колоссальный дом в четыреста комнат. Немецкая кровь моего знакомого сказалась в некотором пристрастии к статистике. Он подсчитал, что за два года и 8 месяцев пребывания его в торгпредстве его отдел перекочевывал из комнаты в комнату и с этажа на этаж ровно 23 раза. Изумленные немецкие клиенты торгпредства беспомощно тыкались с

этажа на этаж в поисках отдела, который вчера был в комнате, скажем, 171-ой, а сегодня пребывает Бог его знает, где. Но новое становище перекочевавшего отдела не было известно не только немцам, потрясенным бурными темпами социалистической текучести, но и самим торгпредским работникам. Разводили руки и советовали пойти в справочное бюро. Справочное бюро тоже разводило руками: позвольте, вот же записано 171-я комната. Потрясенному иностранцу не оставалось ничего другого, как в свою очередь развести руками, отправиться домой и подождать, пока в торгпредских джунглях местоположение отдела избудет установлено твердо.

Но на воле на это более или менее плевать. Вы просто связываете в кучу ваши бумаги, перекочевываете в другой этаж и потом две недели отбрыкиваетесь от всякой работы: знаете ли, только что переехали, я еще с делами не разобрался. А в лагере это хуже. Во-первых, в другом бараке для вас и места, может, никакого нету, а во-вторых, вы никогда не можете быть уверенным, переводят ли вас в другой барак, на другой лагпункт или по чьему-то вам не известному доносу вас собираются сплавить куда-нибудь верст на пятьсот севернее, скажем, на Лесную Речку — это и есть место, которое верст на пятьсот севернее и из которого выбраться живьем шансов нет почти никаких.

Всякий вновь притекший начальник лагпункта или колонны обязательно норовит выдумать какую-нибудь новую комбинацию или классификацию для нового перераспределения своих подданных. Днем для этих перераспределений времени нет, люди или на работе или в очередях за обедом. И вот, в результате этих тяжких начальственных размышлений вас среди ночи кто-то тащит с нар за ноги.

— Фамилия?... Собирайте вещи.

Вы, сонный и промерзший, собираете ваше барахло и топаете куда-то в ночь, задавая себе беспокойный вопрос, куда это вас волокут? То ли в другой барак, то ли на Лесную Речку. Потом оказалось, что выйдя с пожитками из барака и потеряв в темноте свое начальство, вы имеете возможность плюнуть на все его классификации и реорганизации и просто вернуться на старое место. Но если это место было у печки, оно в течение нескольких секунд будет занято кем-то другим. Ввиду этих обстоятельств был придуман другой метод. Очередного начальника колонны, стаскивавшего меня за ноги, я с максимальной свирепостью послал, в нехорошее место, лежащее дальше Лесной Речки.

Посланный в нехорошее место начальник колонны сперва удивился, потом рассвирепел. Я послал его еще раз и высунулся из нар с заведомо мордобойным видом. О моих троцкистских загибах с

заведующим снабжением начальник колонны уже знал, но, вероятно, в его памяти моя физиономия с моим рвением связана не была.

Высунувшись, я сказал, что он, начальник колонны, подрывает лагерную дисциплину и занимается административным головокружением, что ежели он меня еще раз потащит за ноги, так я его так в «Перековке» продерну, что он света Божьего не увидит.

«Перековка», как я уже говорил, это листок лагерных доносов. В Медгоре было ее центральное издание. Начальник колонны запнулся и ушел. Но впоследствии эта сценка мне даром не прошла.

КАБИНКА МОНТЕРОВ

Одной из самых тяжелых работ была пила и рубка дров. Рубка еще туда-сюда, а с пилой было очень тяжело. У меня очень мало выносливости к однообразным механическим движениям. Пила же была советская, на сучках гнулась, оттопыривались в стороны зубцы, разводить их мы вообще не умели; пила тупилась после пяти-шести часов работы. Вот согнулись мы над козлами и пилим. Подошел какой-то рабочий, маленького роста, вертлявый и смешливый.

— Что пилите, господа честные? Этаким пилой хоть отца родного перепилить. А ну-ка дайте я на струмент ваш посмотрю.

Я с трудом вытащил пилу из зареза. Рабочий крикнул:

— Ее пустую таскать, так нужно до трактору с каждой стороны поставить. Эх уж, так и быть, дам-ка я вам пилочку одну, у нас в кабинке стоит, еще старорежимная.

Рабочий как-то замялся, испытующе осмотрел наши очки; «Ну, вы, я вижу, не из таких, чтобы сперли; как попилите, так поставьте ее обратно в кабинку».

Рабочий исчез и через минуту вернулся с пилой. Постучал по полотнищу. Пила действительно звенела. «Посмотрите, ус-то какой» На зубцах пилы действительно был «ус» — отточенный, как иголка, острый конец зубца. Рабочий поднял пилу к своему глазу и посмотрел на линию зубцов:

«А разводка-то, как по ниточке». Разводка действительно была, как по ниточке. Такой пилой в самом деле можно было и норму выработать. Рабочий вручил мне эту пилу с какой-то веселой торжественностью и с видом мастерового человека, знающего цену хорошему инструменту.

— Вот это пила. Даром, что при царе сделана. Хорошие пилы при царе делали. Чтобы, так сказать, трудящийся класс пополам

перепиливать и кровь из него сосать. Н-да. Такое дельце, господа товарищи. А теперь ни царя, ни пилы, ни дров. Семья у меня в Питере, так черт его знает, чем она там топит. Ну, прощайте, бегу. Замерзнете, валийте к нам в кабинку греться. Ребята там подходящие. Еще при царе сделаны. Ну, бегу.

Эта пила сама в руках ходила. Попилили, сели отдохнуть. Достали из карманов по куску промерзшего хлеба и стали завтракать. Шла мимо какая-то группа рабочих. Предложили попилить: вот, мы вам покажем класс. Показали. Класс действительно был высокий, чурбашки отскакивали от бревна, как искры.

— Ко всякому делу нужно свою сноровку иметь, — с каким-то поучительным сожалением сказал высокий мрачный рабочий. На его изможденном лице была характерная татуировка углекопа: голубые пятна царапин с въевшейся на всю жизнь угольной пылью.

— А у вас-то откуда такая сноровка? — спросил я. — Вы, видимо, горняк. Не из Донбасса?

— И в Донбассе был. А вы по этим меткам смотрите? — я кивнул головой. — Да, уж кто в шахтах был, на всю жизнь меченным остается. Да, там пришлось. А вы не инженер?

Так мы познакомились с кондовым, наследственным петербургским рабочим, товарищем Мухиным. Революция мотала его по всем концам земли русской, но в лагерь он поехал из своего родного Петербурга. История была довольно стандартная. На заводе ставили новый американский сверлильный автомат, очень путанный, очень сложный. В целях экономии валюты и утирания носа заграничной буржуазии какая-то комсомольская бригада взялась смонтировать этот станок самостоятельно, без помощи фирменных монтажников. Работали действительно зверски. Иностранной буржуазии нос действительно утерли. Станок был смонтирован что-то в два или три раза скорее, чем его полагается монтировать на американских заводах. Какой-то злосчастный инженер, которому в порядке «дисциплины» навязали руководство этим монтажом, получил даже какую-то премию. Позднее я этого инженера встретил здесь же в ББК.

Словом, смонтировали. Во главе бригады, обслуживающей этот автомат, был поставлен Мухин. «Я уж, знаете, стрелянный воробей. А тут вертелся, вертелся и — никакая сила. Сглупил. Думал, покручусь неделю — другую да и назад в Донбасс убегу. Не успел, черт его дери».

...Станок лопнул в процессе основания. Инженер, Мухин и еще двое рабочих поехали в концлагерь по обвинению во вредительстве.

Мухину, впрочем, припаяли очень немного, всего три года. Инженер за советские «темпы» заплатил значительно дороже.

— Так вот, значит и сижу. Да мне-то что! Если про себя говорить, так мне тут лучше, чем на воле было. На воле у меня одних ребятшек четверо. Жена, видите ли, у меня ребят очень уж любит. — Мухин уныло усмехнулся. — Ребят, что и говорить, и я люблю. Да разве такое теперь время. Ну, значит, на заводе две смены подряд работаешь. Домой придешь — еле живой. Ребята полуголодные, а сам уж и вовсе голодный. Здесь нормы не хуже, чем на воле были. Где в квартире у вольнонаемных проводку поправишь, где что перепадет. Н-да, мне-то что. Ничего. А вот, как семья живет! И думать страшно.

На другой день мы пилили все те же дрова. С северо-востока, от Белого Моря и тундр рвался к Ладоге пронизывающий полярный ветер. Бушлат он пробивал насквозь. Но даже и бушлат и кожанка очень мало защищали наши коченеющие тела от его сумасшедших порывов. Временами он вздымал тучи колючей, сухой снежной пыли, засыпавшей лицо и проникавшей во все скважины наших костюмов, прятал под непроницаемым для глаза пологом соседнего здания электростанцию и прилепившуюся к ней кабинку монтеров, тревожно гудел в ветвях сосен. Я чувствовал, что работу нужно бросать и удирать. Но куда удирать? Юра прыгал поочередно то на правой, то на левой ноге, прятал свои руки за пазуху. И лицо его совсем уж посинело.

Из кабинки монтеров выскочила какая-то смутная, завьюженная фигура, и чей-то относимый бурей голос проревел:

— Эй, хозяин! Мальца своего заморозишь. Айда к нам в кабинку! Чайком угостим.

Мы с великой готовностью устремились в кабинку. Монтеры — народ дружный и хозяйственный. Кабинка представляла собою дощатую пристрочку. Внутри были нары человек на 10-15. Стоял большой, чисто выструганный стол. На стенках висели географические карты, старые изодранные и старательно подклеенные школьные полушария. Висело весьма скромное количество вождей — так сказать, ни энтузиазма, но и ни контрреволюции; вырезанные из каких-то журналов портреты Тургенева, Достоевского и Толстого — тоже изорванные и тоже подклеенные. Была полочка с книгами, десятка четыре книг. Была шахматная доска и самодельные шахматы. На специальных полочках с какими-то дырками были поразвешены всякие слесарные и монтерские инструменты. Основательная печурка, не жестяная, а каменная, пылала приветливо и уютно. Над ней стоял громадный жестяной чайник, и из чайника шел пар.

Все это я, впрочем, увидел только после того, как снял и протер запотевшие очки. Увидел и человека, который натужным басом звал нас в кабинку. Это оказался рабочий, давеча снабдивший нас старорежимной пилой. Рабочий тщательно припер за нами дверь.

— Никуда такое дело не годится. По такой погоде пусть сами пилят, сволочи. Этак, был нос. Хвать и нету. Что вам казенные дрова дороже своего носа? К чертовой матери. Посидите, обогрейтесь, снимите бушлаты. У нас тут тепло.

Мы сняли бушлаты. На столе появился чаек — конечно, по-советски, просто кипяток, без сахара и безо всякой заварки. Над нарами высунулась чья-то взлохмаченная голова.

— Что, Ван Палыч, пильщиков наших приволок?

— Приволок.

— Давно бы надо. Погодка стоит, можно сказать, партийная. Ну и сволочь же погода, прости, Господи. Чаек, говоришь, есть. Сейчас слезу.

С нар слез человек лет тридцати невысокого роста, смуглый крепыш с неунывающими, разбитными глазами. Чем-то он напоминал Гендельмана.

— Ну, как вы у нас в гостях, позвольте уж представиться по всей форме: Петр Миронович Середа, потомственный почетный пролетарий. Был техником, потом думал стать инженером, а сижу здесь. Статья 56, пункт 7 (вредительство), срок десять, пять отсидел. А это, — Середа кивнул на нашего смешливого рабочего с пилой, — это как говорится, просто Ленчик. Ван Палыч Ленчик. Из неунывающего трудящегося класса. Пункт 59-3 (бандитизм). А сроку всего пять. Повезло нашему Ленчику. Людей резал, можно сказать, почем зря — а лет всего пять.

Ленчик запихнул в печку полено, вероятно, нашей же пилки, вытер руку об штаны.

— Значит, давайте знакомиться по всей форме. Только фамилия моя не Ленчик; Мироныч — он мастер врать. Ленчицкий я. Но для простоты обращения и за Ленчика хожу. Хлеба хотите?

Хлеб у нас был свой. Мы отказались и представились по всей форме.

— Это мы знаем, — сказал Середа. — Мухин об вас все доложил. Да вот он, кажется и топает.

За дверью раздался ожесточенный топот ног обивающих снег, и в кабинку вошли двое: Мухин и какой-то молодой парнишка лет 22-23-х.

Поздоровались. Парнишка пожал нам руки и хмыкнул что-то невразумительное.

— А ты, Пиголица, ежели с людьми знакомишься, так скажи, как тебя и по батюшке и по матушке величать. Когда это мы тебя, дите ты колхозное, настоящему обращению выучим? Был бы я на месте папашки твоего званого, так порол бы я тебя на каждом общем собрании.

Мухин устало сложил свои инструменты.

— Брось ты, Ленчик, зубоскалить.

— Да, Господи же. Здесь одним зубоскальством и можно прожить. Ежели бы мы с Середой не зубоскалили бы и день и ночь, так ты бы давно повесился. Мы тебя, браток, одним зубоскальством от петли спасаем. Нету у людей благодарности. Ну, давай что ли с горя чай пить.

Уселись за стол. Пиголица мрачно и молчаливо нацедил себе кружку кипятку, потом, как бы спохватившись, передал эту кружку мне. Ленчик лукаво подмигнул мне: обучается, дескать, парень настоящему обращению. Середа полез на свои нары и извлек оттуда небольшую булку белого хлеба, порезал ее на части и молча разложил перед каждым из присутствующих. Белого хлеба мы не видали с момента нашего водворения в ГПУ. Юра посмотрел на него не без вождления в сердце своем и сказал:

— У нас, товарищи, свой хлеб есть. Спасибо, не стоит.

Середа посмотрел на него с деланной внушительностью.

— А вы, молодой человек, не кочевряжьтесь. Берите пример со старших, те отказываться не будут. Это хлеб трудовой. Чинил проводку и от пролетарской барыни на чаек, так сказать, получил.

Монтеры и вообще всякий трудовой народ ухитрялись даже здесь в лагере заниматься кое-какой частной практикой. Кто занимался проводкой и починкой электрического освещения у вольнонаемных, то есть в чекистских квартирах, кто из ворованных казенных материалов мастерил ножи, серпы или даже косы для вольного населения, кто чинил замки, кто занимался «внутренним товарооборотом» по такой примерно схеме: монтеры снабжают кабинку мукомолов спертым с электростанции керосином, мукомолы снабдят монтеров спертой с мельницы мукой — все довольны, и все сыты. Не жирно, но сыты. Так что, например, Мухин высушивал на печке почти весь свой пайковый хлеб и слал его через подставных, конечно, лиц на волю в Питер своим ребятишкам. Вся эта рабочая публика жила дружно и спаянно, в актив не лезла, доносами не занималась, выкручивалась, как могла и выкручивала, кого могла.

Ленчик взял свой ломоток белого хлеба и счел своим долгом поддержать Середу:

— Как сказано в писании, дают — бери, а бьют — беги. Середа у нас парень умственный. Он жратву из такого места выкопает, где десятеро других с голоду бы по дошли. Говорил я вам, ребята у нас гвозди, при старом режиме сделаны, не то, что какая-нибудь советская фабрикация.

— Ленчик похлопал по плечу Пиголицу. — Не то, что вот выдвигенец этот.

Пиголица сумрачно отвел плечо.

— Бросил бы ты трепаться, Ленчик. Что это ты все про старый режим врешь? Мало тебя что ли по морде били?

— Насчет морды не приходилось, браток. Не приходилось. Конечно, люди мы простые. По пьяному делу — не без того, чтобы потасовочку завести. Был грех, был грех. Так я, браток, на свои деньги пил, на заработанные. Да и денег у меня, браток, довольно было, чтобы и выпить и закусить и машину завести, чтоб играла вальс «Дунайские волны». А ежели перегрузочка случалась, это значит — «Извозчик, на Петербургскую, двугривенный!» За двугривенный две версты барином едешь. Вот как оно, браток.

— И все ты врешь. — сказал Пиголица. — Уж врал бы в своей компании, черт с тобой.

— Для нас, браток, всяк человек — своя компания.

— Наш Пиголица, — вставил свое разъяснение Середа, — парень хороший. Что он несколько волком глядит, ото оттого; что в мозгах у него малость промфинплана не хватает. И чего ты треплешься, чучело? Говорят люди, которые «почище твоего видали. Сиди и слушай. Про хорошую жизнь в лагере вспоминать приятно.

— А вот я послушаю. — раздраженно сказал Пиголица. — Все вы старое хвалите, как сговорились. А вот я свежего человека спрошу.

— Ну, ну. Спроси.

Пиголица испытующе уставился в меня.

— Вы, товарищ, старый режим, вероятно, помните?

— Помню.

— Значит и закусточку и выпивку покупать приходилось?

— Не без того.

— Вот старички эти меня разыгрывали. Ну, они сговорившись. Вот, скажем, если Ленчик дал бы мне в старое время рубль и сказал — пойди купи, — дальнейшее Пиголица стал отсчитывать по пальцам: —

Полбутылки водки, фунт колбасы, белую булку, селедку, два огурца да... что еще? Да еще папирос коробку; так сколько с рубля будет сдачи?

Вопрос Пиголицы застал меня несколько врасплох. Черт его знает, сколько все это стоило. Кроме того, в советской России не очень уж удобно вспоминать старое время, особенно не в терминах официальной анафемы. Я слегка замялся. Мухин посмотрел на меня со своей невеселой улыбкой.

— Ничего, не бойтесь. У парня в голове путаница. А так он парень ничего, в стукачах не работает. Я сам понимаю, полбутылки...

— А ты не подсказывай. Довольно уже разыгрывали. Ну, так сколько будет сдачи?

Я стал отсчитывать тоже по пальцам: полбутылки примерно четвертак; колбаса, вероятно, тоже (Мухин подтверждает кивнул головой, а Пиголица беспокойно оглянулся на него), булка — пятак, селедка — три копейки, огурцы тоже вроде пятака, папиросы... Да, так с двугривенный сдачи будет.

— Никаких сдачей! — восторженно заорал Ленчик. — Кутить, так кутить. Гони, Пиголица, еще пару пива и четыре копейки сдачи. А? Видал миндал?

Пиголица растерянно и подозрительно осмотрел всю компанию.

— Что? — спросил Мухин. — Опять скажешь, сговорились?

Вид у Пиголицы был мрачный, но отнюдь не убежденный.

— Все это ни черта подобно. Если бы такие цены были и революции никакой не было бы. Ясно.

— Вот такие-то умники вроде тебя революцию и устраивали.

— А ты не устраивал?

— Я?

— Ну да, ты?

— Таких умников и без меня хватало, — не слишком искренно ответил Середа.

— Тебе, Пиголица, — вмешался Ленчик, — чтобы прорыв в мозгах заткнуть, по старым ценам не иначе, как рублей тысячу пропить было нужно. Ох и балда, прости Господи! Толкуешь тут ему, толкуешь. Заладил про буржуев, а того, что под носом, так ему не видать.

— А тебе буржуи нравятся?

— А ты видал буржуя?

— Не видал, а знаю.

— Сукин ты сын, Пиголица. Вот, что я тебе скажу. Что ты, орясина, о буржуе знаешь? Сидел у тебя буржуй и торговал картошкой. Шел ты к этому буржую и покупал на три копейки картофеля, и горюшка тебе было мало. А как остался без буржуй, на заготовки картофеля не ездил?

— Не ездил.

— Ну, так на хлебозаготовки ездил; все одно один черт. Ездил?

— Ездил.

— Очень хорошо. Очень замечательно. Значит, будем говорить так: заместо того, чтобы пойти к буржую и купить у него на три копейки пять фунтов картофеля, — Ленчик поднял указующий перст. — На три копейки пять фунтов безо всякого там бюрократизма, очередей, — ехал, значит, наш уважаемый и дорогой пролетарский товарищ Пиголица у мужика картошку грабить. Так. Ограбил. Привез. Потом говорят нашему дороговому и уважаемому товарищу Пиголице, не будете ли вы любезны в порядке комсомольской или там профсоюзной дисциплины идти на станцию и насыпать эту самую картошку в мешки, субботник, значит? На субботники ходил?

— А ты не ходил?

— И я ходил. Так я этим не хвастаюсь.

— И я не хвастаюсь.

— Вот это очень замечательно. Хвастаться тут, братишечка, нечем. Гнали — ходил. Попробовал бы не пойти. Так вот, значит, ограбивши картошку, ходил наш Пиголица и картошку грузил. Конечно, не все Пиголицы ходили и грузили. Кое-кто и кишки свои у мужика оставил. Потом Пиголица ссыпал картошку из мешков в подвалы, потом перебирал Пиголица гнилую картошку от здоровой, потом мотался наш Пиголица по разным бригадам и кавалериям — то кооператив ревизовал, то чистку устраивал, то карточки проверял и черт его знает, что... И за всю эту за вольнку получил Пиголица карточку, а по карточке пять кил картошки в месяц, только кила-то эти, извините, уж не по три копеечки, а по 30. Да еще в очереди постоишь.

— За такую работу да при старом режиме пять вагонов можно было бы заработать.

— Почему пять вагонов? — спросил Пиголица.

— А очень просто, я, скажем, рабочий. Мое дело за станком стоять. Если бы я все это время, что я на заготовки ездил, на субботники ходил, по бригадам мотался, в очередях торчал — ты подумай, сколько я

бы за это время рублей выработал. Да настоящих рублей, золотых. Так вагонов на пять и вышло бы.

— Что это вы все только на копейки да на рубли все считаете?

— А ты на что считаешь?

— Вот и сидел буржуй на твоей шее.

— А на твоей шее никто не сидит? И сам-то ты где сидишь? Если уж об шее говорить пошел — тут уж молчал бы ты лучше. За что тебе пять лет припаяли? Дал бы ты в морду старому буржую отсидел бы неделю и кончено. А теперь вместо буржуй — ячейка. Кому ты дал в морду? А вот пять лет просидишь. Да потом еще домой не пустят. Езжай куда-нибудь к чертовой матери. И поедешь. Насчет шеи — кому уж кому, а тебе бы, Пиголица, помалкивать лучше.

— Если бы старый буржуй, — сказал Ленчик, — если бы старый буржуй тебе такую картошку дал как кооператив сейчас дает, так этому бы буржую всю морду его же картошкой вымазали бы

— Так у нас еще не налажено. Не научились.

— Оно, конечно, не научились. За пятнадцать-то лет! За 15 лет из обезьяны профессора сделать можно, а не то что картошкой торговать. Наука, подумаешь. Раньше никто не умел ни картошку садить, ни картошкой торговать. Инструкций, видишь ли, не было. Картофельной политграмоты не проходили. Скоро не то, что сажать а и жевать картошку разучимся.

Пиголица мрачно поднялся и молча стал вытаскивать из полок какие-то инструменты. Вид у него был явно отступательный.

— Нужно эти разговоры в самом деле бросить, — степенно сказал Мухин. — Что тут человеку говорить, когда он уши затыкает. Вот посидит еще года два и поумнеет.

— Кто поумнеет, так еще не известно. Вы все в старое смотрите, а мы наперед смотрим.

— Семнадцать лет смотрите.

— Ну и семнадцать лет. Ну, еще семнадцать лет смотреть будем. А заводы-то построили?

— Иди ты к чертовой матери со своими заводами, дурак! — обозлился Середа. — Заводы построили! Так чего же ты, сукин сын, на Тулому не едешь электростанцию строить? Ты почему, сукин сын, не едешь? А? Чтобы строили, да не на твоих костях? Дурак, а своих костей подкладывать не хочет.

На Туломе, это верстах в десяти южнее Мурманска, шла в это время стройка электростанции, конечно, ударная стройка и конечно, на

костях, на большом количестве костей. Все, кто мог как-нибудь извернуться от посылки на Тулому, изворачивались изо всех сил. Видимо, изворачивался и Пиголица.

— А ты думаешь, не поеду?

— Ну и поезжай ко всем чертям.

— Подумаешь, умники нашлись. В семнадцатом году, небось, все против буржуев перли. А теперь остались без буржуев, так кишка тонка. Няньки нету. Хотел бы я послушать, что это вы в семнадцатом году про буржуев говорили. Тыкать в нос кооперативом да лагерем теперь всякий дурак может. Умники... Где ваши мозги были, когда вы революцию устраивали?

Пиголица засунул в карманы свои инструменты и исчез. Мухин подмигнул мне:

— Вот ведь правильно сказано, здорово заворочено. А то в самом деле, насели все на одного, — в тоне Мухина было какое-то удовлетворение. Он не без некоторого ехидства посмотрел на Середу. — А то тоже, кто там ни устраивал, а Пиголицам расхлебывать приходится. А Пиголицам-то куда податься?

— Н-да, — как бы оправдываясь перед кем-то, протянул Середа. — В семнадцатом году оно, конечно. Опять же война. Дурака, однако, что и говорить, свалили. Так не век же из-за этого в дураках торчать. Поумнеть пора бы.

— Ну и Пиголица поживет с твое — поумнеет. А тыкать парню в нос, дурак да дурак — это тоже не дело. В такие годы кто в дураках не ходил?

— А что за парень этот Пиголица? — спросил я. — Вы уверены, что он в третью часть не бегаёт?

— Ну, нет. Этого нету. — торопливо сказал Середа, как бы обрадовавшись перемене темы. — Этого нет. Это сын мухинского приятеля, Мухин его здесь и подобрал. Набил морду какому-то комсомольскому секретарю — вот ему пять лет и припаяли. Без Мухина пропал бы пожалуй парнишка. Середа как-то неуютно поежился, как бы что-то вспоминая. — Таким вот, как Пиголица, здесь хуже всего. Ума еще немного, опыта и меньше того, во всякие там политграмоты взаправду верят. Думает, что и в самом деле царство трудящихся. Но вот пока что пять лет еще имеет. Какие-то там свои комсомольские права отстаивал. А начнет отстаивать здесь — совсем пропадет. Ты, Мухин, зря за него заступаешься. Никто его не обижает, а нужно, чтобы парень ходил, глаза раскрывши. Ежели бы нам в семнадцатом году так бы

прямо, как дважды два, доказали, дураки вы, ребята, сами себе яму роете — мы бы здесь не сидели.

— А вот вы лично в семнадцатом году такие доказательства стали бы слушать?

Середа кисло поморщился и для чего-то посмотрел в окно.

— Вот то-то и оно, — неопределенно сказал он.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

В этой кабинке мы провели много часов, то скрываясь в ней от последних зимних бурь, то просто принимая приглашения кого-нибудь из ее обитателей насчет чайку. Очень скоро в этой кабинке и около нее установились взаимоотношения, так сказать, стандартные между толковой частью интеллигенции и толковой частью пролетариата. Пролетарские отношения выражались в том, что у нас всегда была отточенная на ять пила, что мы, например, были предупреждены о перемене коменданта и о необходимости выполнить норму целиком. Норму выполняла почти вся кабинка, так что, когда новый, на этот раз вольнонаемный комендант пришел проверить наши фантастические 135 процентов, ему оставалось только недоуменно потоптаться и искупить свое, гнусное подозрение путаной фразой:

— Ну, вот. Если человек образованный... Почему образованный человек мог выполнить количество работы, решительно непосильное никакому профессионалу пильщику, осталось, конечно, не выясненным, но наши 135 процентов были, так сказать, официально проверены и официально подтверждены. Ленчик, не без некоторого волнения смотревший со стороны на эту проверку, не удержался и показал нос удалявшейся комендантской спине.

— Эх, елочки вы мои палочки! Если бы нам да всем вместе, вот как пальцы на кулаке! — Ленчик для вразумительности растопырил было пальцы и потом сжал их в кулак. — Если бы нам, да всем вместе, показали бы мы этой сволочи!

— Да, — сумрачно сказал Юра. — Дело только в том, что сволочь все это знает еще лучше, чем мы с вами.

— Это, молодой человек, ничего. Историю-то вы знаете. Ну, как были удельные князья, всякий врозь норовил — вот и насели татары. А как взялись все скопом, так от татар мокрое место осталось.

— Верно, — сказал Юра еще сумрачнее. — Только татары сидели триста лет.

Ленчик как-то осел.

— Да, конечно, триста лет. Ну, теперь и темпы не те и народ не тот. Долго не просидят.

С нашей же стороны мы поставляем кабинке, так сказать, интеллектуальную продукцию. Сейчас выбитые из всех своих колея русские массы очень в этом нуждаются. Но к кому мужик подойдет, скажем, с вопросом об одобрении своего приусадебного участка? К активу? Так актив к нему приставлен не для разъяснения, а для ограбления. К кому обратится рабочий с вопросами насчет пенсии, переезда в другое место, жилищного прижима или уклонения от какой-нибудь очередной мобилизации куда-нибудь к чертовой матери. К профсоюзному работнику? Так профсоюзный работник приставлен, как «приводной ремень» от партии к массам, и ремень этот закручен туго. Словом, мужик пойдет к какому-нибудь сельскому интеллигенту, обязательно беспартийному, а рабочий пойдет к какому-нибудь городскому интеллигенту, предпочтительно контрреволюционеру. И оба они — и крестьянин и рабочий — всегда рады потолковать с хорошим, образованным человеком и о политике, какой, например, подвох заключается в законе о колхозной торговле, ибо во всяком законе публика ищет прежде всего подвоха, или что такое японец, и как обстоит дело с войной, ну и так далее. Обо всем этом, конечно, написано в советской печати, но советская печать занимает совершенно исключительную позицию: ей решительно никто не верит, в том числе и партийцы. Не верят даже и в том, где она не врет.

В частном случае лагерной жизни возникает ряд особых проблем, например, с Мухиным. Семья осталась в Питере, семью лишают паспорта — куда деваться? Все переполнено, везде голод. В какой-нибудь Костроме придется месяцами жить в станционном зале, в пустых товарных вагонах, под заборами и т.д. Жилищный кризис. На любом заводе жену Мухина спросят: а почему вы уехали из Ленинграда, и где ваш паспорт? Понятно, что с такими вопросами Мухин не обратится ни к юрисконсульту, ни в культурно-просветительный отдел. Я же имел возможность сказать Мухину: нужно ехать не в Кострому, а в Махачкала или Пишпек, там русских мало и там насчет паспортов не придираются. В Пишпек, скажем, можно обратиться к некоему Ивану Ивановичу, вероятно, еще восседающему в овцеводческом тресте или где-нибудь около. Иван Иванович имеет возможность переправить жену Мухина или в опиумный совхоз в Каракола или в овцеводческий совхоз на Качкоре. Жить придется в юрте, но с голоду не пропадут.

Все это, так сказать, житейская проза. Но кроме прозы возникают и некоторые другие вопросы. Например, о старой русской литературе, которую читают взапрос, до полного измочаливания страниц, трижды

подклеенных, замусоленных, наполненных карандашными вставками окончательно неразборчивых мест. Вот уж действительно пришло времечко, «когда мужик не Блюхера и не Милорда глупова...» Марксистскую расшифровку русских классиков знают приблизительно все, но что «товарищи» пишут, это уже в зубах навязло, в это никто не верит, хотя как раз тут-то марксистская критика достаточно сильна. Но все равно, это «наши пишут», и читать не стоит.

Так в миллионах мест и по миллиону поводов идет процесс выковывания нового народного сознания.

КУЛАК АКУЛЬШИН

В виду приближающейся весны все наши бригады были мобилизованы на уборку мусора в многочисленных дворах управления ББК. Юра к этому времени успел приноровиться к другой работе. По дороге между Медгорой и третьим лагпунктом достраивалось здание какого-то будущего техникума ББК, в здании уже жил его будущий заведующий, и Юра совершенно резонно рассудил что ему целесообразнее околачиваться у этого техникума с заранее обдуманной намерением потом влезть в него в качестве учащегося. О техникуме речь будет позже. Мне же нельзя было покидать управленческих дворов, так как из них я мог совершать разведывательные вылазки по всякого рода лагерным заведениям. Словом, я попал в окончательные чернорабочие

Я был приставлен в качестве подручного к крестьянину возчику, крупному мужику лет сорока пяти, с изрытым оспой рябым лицом и угрюмым взглядом, прикрытым нависающими лохматыми бровями. Наши функции заключались в выковырывании содержимого мусорных ящиков и в отвозке нашей добычи за пределы управленческой территории. Содержимое же представляло глыбы замерзших отбросов, которые нужно было разбивать ломом и потом лопатами накладывать в сани.

К моей подмоге мужик отнесся несколько мрачно. Некоторые основания у него для этого были. Я, вероятно, был сильнее его, но моя городская и спортивная выносливость по сравнению с его деревенской и трудовой не стоила конечно, ни копейки. Он работал ломом, как машина, из часу в час. Я непрерывной работы в данном темпе больше получаса без передышки выдержать не мог. И кроме того, сноровки по части мусорных ям у меня не было никакой.

Мужик не говорил почти ничего, но его междометия и мимику можно было расшифровать так: «Не ваше это дело. Я уж сам управлюсь. Не лезьте только под ноги». Я очутился в неприятной роли человека

ненужного и бестолково смотрящего на то, как кто-то делает свою работу.

Потом вышло так. Мой патрон отбил три стенки очередного ящика и оттуда из-за досок вылезла глыба льда пудов этак двенадцать. Она была надтреснутой, и мужик очень ловко разбил ее на две части. Я внес предложение, не разбивая их, взгромоздить прямо на сани, чтобы потом на возиться с лопатами. Мужик усмехнулся снисходительно, говорит де человек о деле, в котором ничего не понимает. Я сказал: нужно попробовать. Мужик пожал плечами: попробуйте. Я присел, обхватил глыбу, глаза полезли на лоб, но глыба все же была водружена на сани; сначала одна, потом другая.

Мужик сказал: «Иль ты» и «Ну и ну» и потом спросил: «А очки-то вы давно носите?» «Лет тридцать». «Что ж это вы так? Ну, давайте закурим». Закурили, пошли рядом с санями. Садиться на сани было нельзя. За это давали год добавочного срока. Конское поголовье итак еле живо. До человеческого поголовья начальству дела не было.

Начался обычный разговор. Давно ли в лагере, какой срок и статья, кто остался на воле.

— Из этого разговора я узнал, что мужика зовут Акульшиным, что получил он десять лет за сопротивление коллективизации, но что, впрочем, влип не он один, все село выслали в Сибирь с женами и детьми, но без скота и без инвентаря.

Сам он в числе коноводов чином помельче получил десять лет. Коноводы чином покрупнее были расстреляны там же, на месте происшествия. Где-то там в Сибири как-то неопределенно околачивается его семья — жена («Жена-то у меня прямо клад, а не баба») и шестеро ребят от трех до 25-ти лет («Дети у меня подходящие, Бога гневить нечего»). «А где этот город Барнаул?» Я ответил. «А за Барнаулом что? Места дикие? Ну, ежели дикие места, смыслись мои куда-нибудь в тайгу. У нас давно уже такой разговор был — в тайгу смываться. Ну, мы сами не успели. Жена тут писала, что значит, за Барнаулом». Мужик замялся и замолк.

На другой день наши дружественные отношения несколько продвинулись вперед. Акульшин заявил насчет этого мусора, что черт с ним, что и он сам напрасно старался, и я зря глыбы ворочал; над этим мусором никакого контроля и быть не может, кто его знает, сколько там его было...

Скинули в лесу очередную порцию мусора, сели, закурили. Говорили о том, о сем, о минеральных удобрениях («Хороши, да нету их»), о японце («До Барнаула, должно быть, доберутся — вот радость-то

сибирякам будет!»), о совхозах («Плакали мужики на помещика, а теперь бы черт с ним, с помещиком, самим бы живьем выкрутиться»), потом опять свернули на Барнаул, что это за места и как далеко туда ехать. Я вынул блокнот и схематически изобразил; Мурманская железная дорога, Москва, Урал, Сибирский тракт, Алтайская ветка... «Н-да, далековато ехать-то. Но тут главное продовольствие. Ну, продовольствие уж я добуду...»

Эта фраза выскочила у Акульшина как-то самотеком. Чувствовалось, что он обо всем этом уже много, много думал. Акульшин передернул плечами и деланно усмехнулся, искоса глядя на меня. Вот так люди и пропадают. Думает про себя, думает, да потом возьмет и ляпнет. Я постарался успокоить Акульшина: я вообще не ляпаю ни за себя, ни за других. «Ну, дай-то, Бог. Сейчас такое время, что и перед отцом родным лучше не ляпать. Ну, уж раз сказано, чего тут скрывать. Семья-то моя, должно, в тайгу подалась, так мне тут сидеть нет никакого расчета»

— А как же вы семью-то в тайге найдете?

— Уж найду. Есть такой способ. Сговоримшись уже были.

— А как с побегом, деньгами и едой на дорогу?

— Да нам что, мы сами лесные, уральские. Там лесом, там к поездам прицеплюсь.

— А деньги и еду?

Акульшин усмехнулся: руки есть. Я посмотрел на его руки. Акульшин сжал их в кулак, кулак вздулся желваками мускулов. Я сказал, что это не так просто.

— А что тут мудреного? Мало ли какой сволочи с наганами и портфелями ездит. Взял за глотку и кончено.

В числе моих весьма многочисленных и весьма разнообразных подсоветских профессий была и такая: преподаватель бокса и джиуджитсу. По некоторым весьма нужным мне основаниям я продумывал комбинацию из обеих этих систем, а по миновании этих обстоятельств часть придуманного использовал для «извлечения прибыли», преподавал на курсах командного состава милиции и выпустил книгу. Книга была немедленно конфискована ГПУ, пришли даже ко мне, не очень, чтобы с обыском, но весьма настойчиво: давайте-ка все авторские экземпляры. Я от дал. Почти все. Один, прошедший весьма путанный путь, сейчас у меня на руках. Акульшин не знал, что десять тысяч экземпляров моего злополучного руководства было использовано для ГПУ и Динамо и, следовательно, не знал, что с хваткой за горло дело может обстоять далеко не так просто, как ему кажется.

— Ничего тут мудреного нет, — несколько беззаботно повторил Акульшин.

— А вот вы попробуйте, а я покажу, что из этого выйдет.

Акульшин попробовал. Ничего не вышло. Через полсекунды Акульшин лежал на снегу в положении полной беспомощности. Следующий час нашего трудового дня был посвящен разучиванию некоторых элементов благородного искусства бесшумной ликвидации ближнего своего в вариантах, не попавших даже и в мое пресловутое руководство. Через час я выбился из сил окончательно. Акульшин был еще свеж.

— Да, вот что значит образование, — довольно неожиданно заключил он.

— При чем тут образование?

— Да, так. Вот сила у меня есть, а уметь не умею. Вообще, если народ без образованных людей — все равно, как если бы армия в одном месте все ротные, да без рот, а в другом солдаты, да без ротных. Ну и бьет, кто хочет. Наши товарищи это ловко удумали. Образованные, они сидят вроде, как без рук и без ног, а мы сидим вроде, как без головы. Вот оно так и выходит...

Акульшин подумал и веско добавил:

— Организации нету!

— Что имеем — не храним, потерявши — плачем, — сыронизировал я.

Акульшин сделал вид, что не слышал моего замечания.

— Теперь возьмите вы нашего брата, крестьянство. Ну, конечно, с революцией это все горожане завели. Да и теперь нам без города ничего не сделать. Народу-то нас сколько! Одними топорами справились бы, да вот организации нету. Сколько у нас на Урале восстаний было, да все вразброд, в одиночку. Одни воюют, другие ничего не знают, сидят и ждут. Потом этих подавили — те поднимаются. Так вот все сколько уж лет идет. И толку никакого нет. Без командиров живем. Разбрелся народ, кто куда. Пропасть оно, конечно, не пропадем, а дело выходит невеселое.

Я посмотрел на квадратные плечи Акульшина и на его крепкую, упрямую челюсть и внутренне согласился. Такой действительно не пропадет. Но таких не очень-то и много. Биографию Акульшина легко можно было восстановить из скудной и отрывочной информации давешнего разговора. Всю свою жизнь работал мужик, как машина. Приблизительно так же, как вчера он работал ломом. И работая, толково работая, не мог не становиться «кулаком». Это, вероятно, выходит и

помимо его воли. Попал в классовые враги и сидит в лагере. Но Акульшин выкрутится и в лагере. Из хорошего дуба сделан человек. Вспомнились кулаки, которых я в свое время видал под Архангельском, в Сванетии и у Памира — высланные, сосланные, а то и просто бежавшие, куда глаза глядят. В Архангельск они прибывали буквально, в чем стояли. Их выгружали толпами из ГПУских эшелонов и отпускали на все четыре стороны. Дети и старики вымирали быстро, взрослые железной хваткой цеплялись за жизнь и за работу... и потом через год-два какими-то исповедимыми путями опять вылезали в кулаки. Кто по извозной части, кто по рыбопромышленной, кто сколачивал лесорубочные артели. Смотришь, опять сапоги бутылками, борода лопатой... до очередного раскулачивания. В Киргизии, далеко за Иссык-Кулем, «кулаки», сосланные на земли уж окончательно неудобоевсвояемые занимаются какими-то весьма путанными промыслами, вроде добычи свинца из таинственных горных руд, ловлей и копчением форели, пойманной в горных речках, какой-то самодельной охотой — то силками, то какими-то допотопными мултуками, живут в неопикуемых шалашах и мирно уживаются даже с басмачами. В Сванетии они действуют организованнее. Сколотили артели по добыче экспортных и очень дорогих древесных пород вроде сампита, торгуют с советской властью «в порядке товарообмена», имеют свои пулеметные команды. Советская власть сампит принимает, товары сдает, но в горы предпочитает не соваться и делает вид, что все обстоит в порядке. Это то, что я сам видал. Мои приятели — участники многочисленных географических, геологических, ботанических и прочих экспедиций, рассказывали вещи еще более интересные. Экспедиций этих сейчас расплодилось невероятное количество. Для их участников — это способ отдохнуть от советской жизни. Для правительства — это глубокая разведка в дебри страны. Для страны — это подсчет скрытых ресурсов, на которых будет расти будущее хозяйство страны. Ресурсы эти огромны. Мне рассказывали о целых деревнях, скрытых в тайге, окруженных сторожевыми пунктами. Пункты сигнализируют о приближении вооруженных отрядов, и село уходит в тайгу. Вооруженный отряд находит пустые избы и редко выбирается оттуда живьем. В деревнях есть американские граммофоны, японские винтовки и японская мануфактура.

По всей видимости в одно из таких сел пробралась и семья Акульшина. В таком случае ему конечно, нет никакого смысла торчать в лагере. Прижмет за горло какого-нибудь чекиста, отберет винтовку и пойдет в обход Онежского озера на восток, к Уралу. Я бы не прошел, но Акульшин, вероятно, пройдет. Для него лес, как своя изба. Он найдет пищу там, где я погиб бы от голода. Он пройдет по местам, в которых я запутался бы безвыходно и безнадежно. Своим уроком джиу-джитсу я,

конечно, стал соучастником убийства какого-нибудь зазевавшегося чекиста. Едва ли чекист этот имеет шансы уйти живьем из дубовых лап Акульшина. Но жизнь этого чекиста меня ни в какой степени не интересовала. Мне самому надо было подумать об оружии для побега. К кроме того, Акульшин — свой брат, товарищ по родине и по несчастью. Нет, жизнь чекиста меня не интересовала.

Акульшин тяжело поднялся.

— Ну, а пока там до хорошей жизни — поедем г... возить.

Да, до хорошей жизни его еще много остается.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА

Как-то мы с Акульшиным выгружали нашу добычу в лесу, верстах в двух от Медгоры. Все эти дни с северо-востока дул тяжелый морозный ветер, но сейчас этот ветер превращался в бурю; сосны гнулись и скрипели. Тучи снежной пыли засыпали дорогу и лес. Акульшин стал торопиться. Только что мы успели разгрузить наши сани, как по лесу, приближаясь к нам, прошел низкий и тревожный гул: шла пурга. В несколько минут и лес и дорога исчезли в хаосе метели. Мы почти ошупью, согнувшись в три погибели, стали пробираться в Медгору. На открытых местах ветер почти сбивал с ног. Шагах в десяти уже не было видно ничего. Без Акульшина я запутался бы и замерз. Но он шел уверенно, ведя на поводу тревожно фыркавшую и упиравшуюся лошаденку, то нащупывая ногой заносимую снегом колею дороги, то ориентируясь уж Бог его знает, каким лесным чутьем.

До Медгоры мы брели почти час. Я промерз насквозь. Акульшин все время оглядывался на меня: «Уши-те, уши потрите!» Посоветовал сесть на сани. Все равно в такой пурге никто не увидит. Но я чувствовал, что если я усядусь, то замерзну окончательно. Наконец, мы уперлись в обрывистый берег речушки Кумсы, огибавшей территорию управленческого городка. Отсюда до третьего лагпункта оставалось версты четыре. О дальнейшей работе нечего было, конечно и думать. Но и четыре версты до третьего лагпункта я пожалуй не пройду.

Я предложил обоим нам завернуть в кабинку монтеров. Акульшин стал отказываться: «А коня — то куда я дену?» Но у кабинки стоял маленький почти пустой дровяной сарайчик, куда можно было поставить коня. Подошли к кабинке.

— Вы уж без меня не заходите. Подождите, я с конем справлюсь. Одному, не знакомому, не подходяще как-то заходить.

Я стал ждать. Акульшин распряг свою лошаденку, завел ее в сарай, старательно вытер ее клочком сена, накрыл какой-то дерюгой. Я стоял, все больше замерзая и злясь на Акульшина за его возню с лошаденкой. А лошаденка ласково ловила губами его грязный и рваный рукав. Акульшин стал давать ей сено, а я примирился со своей участью и думал о том, что вот для Акульшина эта лагерная кляча — не просто «живой инвентарь» и не просто «тягловая сила», а живое существо, помощница его трудовой мужицкой жизни. Ну, как же Акульшину не становиться кулаком? Ну, как же Акульшину не становиться бельмом в глазу любого совхоза, колхоза и прочих предприятий социалистического типа?

В кабинке я к своему удивлению обнаружил Юру. Он удрал со своего техникума, где он промышлял по плотницкой части. Рядом с ним сидел Пиголица и слышались разговоры о тангенсах и котангенсах. Акульшин истово поздоровался с Юрой и Пиголицей, попросил разрешения погреться и сразу направился к печке. Я протер очки и обнаружил, что кроме Пиголицы и Юры в кабинке больше никого не было. Пиголица конфузливо стал собирать со стола какие-то бумаги, Юра сказал:

— Постой, Саша, не убирай. Мы сейчас мобилизуем старшее поколение. Ватик, мы тут с тригонометрией возимся, требуется твоя консультация.

На мою консультацию было рассчитывать трудно. За четверть века, прошедших со времени моего экстерничания на аттестат зрелости у меня ни разу ж возникала необходимость обращаться к тригонометрии, и тангенсы из моей головы выветрились, невидимому, окончательно. Было не до тангенсов. Юра же математику проходил в германской школе и в немецких терминах. Произошла некоторая путаница в терминах. Путаницу эту мы кое-как расшифровали. Пиголица поблагодарил меня.

— А Юра-то взял надо мною, так сказать, шефство по части математики, — конфузливо объяснил он. — Наши-то старички тоже зубрят, да и сами-то не больно много понимают.

Акульшин повернулся от печки к нам:

— Вот это, ребята, дело, что хоть в лагере, а все же учитесь. Образованность — большое дело, ох большое. С образованием не пропадешь.

Я вспомнил об Авдееве и высказал свое сомнение. Юра. сказал:

— Вы, знаете, что. Вы нам пока не мешайте. А то времени у Саши мало.

Акульшин снова отвернулся к своей печке, а я стал ковыряться на книжной полке кабинки. Тут было несколько популярных руководств по электротехнике и математике, какой-то толстый том сопротивления материалов, полдесятка неразрезанных брошюр пятилетнего характера, гладковский «Цемент», два тома «Войны и мира», мелкие остатки второго тома «Братьев Карамазовых», экономическая география России и «Фрегат Паллада». Я, конечно, взял «Фрегат Палладу». Уютно ехал и уютно писал старик. За всеми бурями житейских и прочих морей у него всегда оставалась Россия, в России — Петербург, и в Петербурге — дом, все это налаженное, твердое и все это свое. Свой очаг и личный и национальный, в который он мог вернуться в любой момент своей жизни. А куда вернуться нам, русским, ныне пребывающим и по эту и по ту сторону исторического рубежа двух миров? Мы бездомны и здесь и там, но только там это ощущение бездомности безмерно острее. Здесь у меня нет родины, но здесь есть по крайней мере ощущение своего дома, из которого, если я не украду и не зарежу, меня никто ни в одиночку, ни на тот свет не пошлет. Там нет ни родины, ни дома. Там совсем заячья бездомность. На ночь прикорнул, день как-то извернулся, и опять навостренные уши, как бы не мобилизовали, не посадили, не уморили голодом и меня самого и близких моих; как бы не отобрали жилплощади, логовища моего, не послали Юру на хлебозаготовки под «кулацкий» обрез, не расстреляли Бориса за его скаутские грехи, не поперли бы жену на культурабату среди горячков советской концессии на Шпицбергене, не припаяли бы мне самому вредительства, контрреволюции и чего-нибудь в этом роде. Вот, жена была мобилизована переводчицей в иностранной рабочей делегации. Ездил, переводила. Контроль, конечно, аховый. Делегация произносила речи, потом уехала, а потом оказалось, что среди нее был человек, знающий русский язык. И, вернувшись на родину, ляпнул печатно о том, как это все переводилось. Жену вызвали в соответствующее место, выпытывали, выпрашивали, сказали: «Угу, гм и посмотрим еще». Было несколько совсем неуютных недель, совсем заячьих недель. Да, Гончарову и ездить и жить было не в пример уютнее. Поэтому-то, вероятно, так замусолен и истрепан его том. И в страницах большая нехватка. Ну, все равно. Я полез на чью-то пустую нару, усмехаясь уже привычным своим мыслям о бренности статистики.

...В эпоху служения своего в ЦК ССТС (центральный комитет профессионального союза служащих) я, как было уже сказано, руководил спортом, который я знаю и люблю. Потом мне навязали шахматы, которых я не знаю и терпеть не могу. Заведовал шахматами. Шахмат не люблю по чисто идеологическим причинам: они чрезвычайно широко были использованы для заморачивания голов и отвлечения оных от политики. Теперь в этих же целях и по совершенно такой же системе

используется, скажем, фокстрот: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы есть не просило. Потом в качестве наиболее грамотного человека в ЦК я получил в свое заведывание библиотечное дело — около семисот стационарных и около двух тысяч неподвижных библиотек. Я этого дела не знал, но это дело было очень интересное. В числе прочих мероприятий мы проводили и статистические обследования читаемости различных авторов.

Всякая советская статистика — это некое жизненное, выраженное в цифрах явление, однако, исковерканное до полной неузнаваемости различными «заданиями». Иногда из-под этих заданий явление можно вытащить, иногда оно уже задавлено окончательно. По нашей статистике выходило, что на первом месте — политическая литература, на втором — англосаксы, на третьем — Толстой и Горький, дальше шли советские авторы и после них остальные русские классики. Я для собственного употребления стал очищать статистику от всяких «заданий», но все же оставался огромный пробел между тем, что я видел в жизни и тем, что показывали мною же очищенные цифры. Потом после бесед с библиотекарями и собственных размышлений тайна была более или менее разгадана: советский читатель, получивший в библиотеке том Достоевского или Гончарова, не имеет никаких шансов этого тома не спереть. Так бывало и со мной, но я считал, что это только индивидуальное явление. Придет некая Марья Ивановна и увидит на столе, скажем, «Братьев Карамазовых»

— И. Л., голубчик, ну только на два дня, ей Богу, только на два дня, вы все равно заняты. Ну, что вы в самом деле, я ведь культурный человек. После завтра вечером обязательно принесу.

Дней через пять приходите к Марье Ивановне.

— Вы уж извините, И.Л., ради Бога. Тут заходил Ваня Иванов. Очень просил. Ну, знаете, неудобно все-таки не дать. Наша молодежь так мало знакома с классиками. Нет, нет, уж вы не беспокойтесь. Он обязательно вернет. Я сама схожу и возьму.

Еще через неделю вы идете к Ване Иванову. Ваня встречает вас несколько шумно.

— Я уже знаю. Вы за Достоевским. Как же, прочел. Очень здорово. Эти старички умели, сукины дети, писать. Но, скажите, чего этот старец...

Когда после некоторой литературной дискуссии вы ухитряетесь вернуться к судьбе книги, то выясняется, что книги уже нет, ее читает какая-то Маруся.

— Ну, знаете, что я за буржуй такой, чтобы не дать девочке книгу? Что съест она ее? Книги для того, чтобы читать. В библиотеке? Черта с два получишь что-нибудь путное в библиотеке. Ничего, прочтет и вернет. Я вам сам принесу.

Словом, вы идете каяться в библиотеку, платите рубля три штрафа, книга исчезает из каталога, и начинается ее интенсивное хождение по рукам. Через год зачитанный у вас том окажется где-нибудь на стройке Игарского порта или на хлопковых полях Узбекистана. Но ни вы, ни тем паче библиотека, этого тома больше не увидит. И ни в какую статистику эта читаемость не попадет.

Так более или менее мирно в советской стране существуют две системы духовного питания масс: с одной стороны мощная сеть профсоюзных библиотек, где специально натасканные и ответственные за наличие советского спроса библиотекари втолковывают каким-нибудь заводским парням:

— А вы «Гидроцентрали» еще не читали? Ну, как же так! Обязательно возьмите! Замечательная книга, изумительная книга!

С другой стороны:

а) классиков, которых рвут из рук, к которым власть относится весьма снисходительно, но все же не переиздает: бумаги нет. В последнее время не взлюбили Салтыкова-Щедрина: очень уж для современного фельетона годится.

б) ряд советских писателей, которые и существуют и как бы не существуют. Из библиотек изъяты весь Есенин, почти весь Эренбург (даром, что теперь так старается), почти весь Пильняк, «Уляевщина» и «Пушторг» Сельвинского, «12 стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова и многое еще в том же роде. Оно, конечно, нужно же иметь и свою лирику и свою сатиру, иначе где же золотой сталинский век литературы? Но масс сюда лучше не пускать.

в) подпольная литература, ходячая по рукам в гектографированных списках; еще почти никому неизвестные будущие русские классики, вроде Крыжановского (не члена ЦК партии), испывающие «для души» сотни печатных листов или Сельвинского, пишущего, как часто дельвал и автор этих строк, одной рукой (правой) для души и другой рукой (левой) для хлеба халтурного, который, увы, нужен все-таки «днесь». Нелегальные кружки читателе и, которые, рискуя местами весьма отдаленными, складываются по трешке, покупают, вынюхивают, выскивают все, лишенное официального штампа. И многое другое.

Ясное, определенное место занимает политическая литература. Она печатается миллионными тиражами и в любой библиотеке губернского масштаба она валяется вагонами, буквально вагонами, неразрезанной бумажной макулатуры и губит бюджеты библиотек.

А как же со статистикой?

А со статистикой вот как.

Всякая библиотекарьша служебно заинтересована в том, чтобы показать наивысший процент читаемости политической и вообще советской литературы. Всякий инструктор цэка, вот вроде меня, заинтересован в том, чтобы по своей линии продемонстрировать наиболее советскую постановку библиотечного дела. Всякий профессиональный союз заинтересован в том, чтобы показать ЦК партии, что у него культурно-просветительная работа поставлена по-сталински.

Следовательно: а) библиотекарьша врет; б) я вру; в) профсоюз врет. Врут еще и многие другие «промежуточные звенья». И я и библиотекарьша и ЦК союза и промежуточные звенья все это отлично понимаем: не высказанная, но полная договоренность. И в результате получается, извините за выражение, статистика.

По совершенно такой же схеме получается статистика колхозных посевов, добычи угля, ремонта тракторов. Нет, статистикой теперь меня не проймешь.

ЗУБАМИ — ГРАНИТ НАУКИ

От Гончарова меня оторвал Юра: снова понадобилось мое математическое вмешательство. Стали разбираться. Выяснилось, что наседая на тригонометрию, Пиголица имел весьма неясное представление об основах алгебры и геометрии. Тангенсы цеплялись за логарифмы, логарифмы за степени, и вообще было непонятно, почему доброе русское «Х» именуется иксом. Кое-какие формулы были вызубрены на зубок, но между ними оказались провалы, разрыв всякой логической связи между предыдущим и последующим; то, что на советском языке именуется абсолютной неувязкой. Попытались увязать. По этому поводу я не без некоторого удовольствия убедился, что как ни прочно забыта моя гимназическая математика, я имею возможность восстановить логическим путем очень многое, почти все. В назидание Пиголице, а кстати и Юре, я сказал несколько вдумчивых слов о необходимости систематической учебы. Вот де, учил это 25 лет тому назад и никогда не вспоминал, а когда пришлось, вспомнил. К моему назиданию Пиголица отнесся раздражительно:

— Ну и чего вы мне об этом рассказываете, будто я сам не знаю. Вам хорошо было учиться, куда вас не гоняли, сидели и зубрили. А тут мотаешься, как навоз в проруби. И работа на производстве и комсомольская нагрузка и всякие субботники. Чтобы учиться, зубами время вырывать надо. Месяц поучишься, потом попрут куда-нибудь на село. Начинать сначала. Да еще и жрать нечего. Нет, уж вы мне насчет старого режима оставьте.

Я ответил, что хлеб свой я зарабатывал с пятнадцати лет, экзамен на аттестат зрелости сдал экстерном, в университете учился на собственные деньги и что таких, как я, было сколько угодно. Пиголица отнесся к моему сообщению с нескрываемым недоверием, но спорить не стал.

— Теперь старого режима нету, так можно про него что угодно говорить. Правящим классам, конечно, очень неплохо жилось, зато трудящийся народ...

Акульшин угрюмо кашлянул.

— Трудящийся народ, — сказал он, не отрывая глаз от печки, — трудящийся народ по лагерям не сидел и с голодухи недох. А ход был, куда хочешь. Хочешь на завод, хочешь в университет.

— Так ты мне еще скажешь, что крестьянскому парню можно было в университет пойти?

— Скажу. И не то еще скажу. А куда теперь крестьянскому парню податься, когда ему есть нечего? В колхоз?

— А почему же не в колхоз?

— А такие, как ты, будут командовать? — презрительно спросил Акульшин и не дожидаясь ответа, продолжал о давно наболевшем. — На дураках власть держится. Понабрали дураков, лодырей, пропойц, вот и командуют. Пятнадцать лет из голодухи вылезть не можем.

— Из голодухи? Ты думаешь, городской рабочий не голодает? А кто эту голодуху устроил? Саботируют, сволочи, скот режут, кулачье...

— Кулачье? — усы Акульшина встали дыбом. — Кулачье! Это кулачье-то Россию разорило? А? Кулачье, а не товарищи-то ваши с револьверами и лагерями? Кулачье? Ах ты, сукин ты сын, сопляк. — Акульшин запнулся, как бы не находя слов для выражения своей ярости. — Ах ты, сукин сын, выдвигенец.

Выдвигенца Пиголица вынести не смог.

— А вы, папаша, — сказал он ледяным тоном, — если пришли греться; так грейтесь, а за выдвигенца можно и по морде получить.

Акульшин грозно поднялся с табуретки.

— Это ты... по морде... — и сделал шаг вперед. Вскочил и Пиголица. В лице Акульшина была неуголимая ненависть ко всякого рода активистам, а в Пиголице он не без некоторого основания чувствовал нечто активистское. Выдвигенец же окончательно вывел Пиголицу из его и без того весьма неустойчивого нервного раздражения. Термин «выдвигенец» звучит в неофициальной России чем-то глубоко издевательским и по убойности своей превосходит самый оглушительный мат. Запахло дракой. Юра тоже вскочил.

— Да, бросьте вы, ребята. — начал было он. Однако, момент для мирных переговоров оказался не подходящим. Акульшин вежливо отстранил Юру, как-то странно исподлобья уставился на Пиголицу и вдруг схватил его за горло. Я, проклиная свои давешние уроки джиуджитсу, ринулся на пост миротворца. Но в этот момент дверь кабинки раскрылась и оттуда как *deus ex machina*, появились Ленчик и Середа. На все происходящее Ленчик реагировал довольно неожиданно.

— Ура! — заорал он. — Потасовочка! Рабоче-крестьянская смычка! Вот это я люблю. Вдарь ему, папаша, по заду! Покажи ему, папаша!

Середа отнесся ко всему этому с менее зрелищной точки зрения.

— Эй, хозяин, пришел в чужой дом, так рукам воли не давай. Пусти руку. В чем тут дело?

К этому моменту я уже вежливо обжимал Акульшина за талию. Акульшин опустил руку и стоял, тяжело сопя и не сводя с Пиголицы взгляда, исполненного ненависти. Пиголица стоял, задыхаясь, с перекошенным лицом.

— Тааак. — протянул он. — Цельной, значит, бандой собрались. Тааак.

Никакой «цельной банды», конечно и в помине не было. Наоборот, в сущности все стали на его, Пиголицы, защиту. Но под бандой Пиголица разумел, видимо, весь «старый мир», который он когда-то был призван разрушать, да и едва ли Пиголица находился в особенно вменяемом состоянии.

— Тааак. — продолжал он. — По старому режиму, значит, действуете.

— При старом режиме, дорогая моя пташечка Пиголица, — снова затараторил Ленчик, — ни в каком лагере ты бы не сидел, а уважаемый покойничек, папаша твой то есть, просто загнул бы тебе в свое время салазки, да всыпал бы тебе, сколько полагается.

«Салазки» добились Пиголицу окончательно. Он осекся и стремительно ринулся к полочке с инструментами и дрожащими руками

стал вытаскивать оттуда какое-то зубило. «Ах, так салазки — я вам покажу салазки». Юра протиснулся как-то между ним и полкой и дружественно обхватил парня за плечи.

— Да брось ты, Сашка. Брось. Не видишь, что ли, что ребята просто дурака валяют, разыгрывают тебя.

— Ага, разыгрывают. Вот я им покажу розыгрыш, — зубило было уже в руках Пиголицы.

На помощь Юре бросились Середа и я.

— Разыгрывают. Осточертели мне эти розыгрыши. Всякая сволочь в нос тыкает: дурак, выдвигенец, грабитель. Что, я грабил тебя? — вдруг яростно обернулся он к Акульшину.

— А что не грабил?

— Послушай, Саша, — несколько неудачно вмешался Юра. — Ведь и в самом деле грабил. На хлебозаготовки ведь ездил.

Теперь вся ярость Пиголицы обрушилась на Юру:

— И ты тоже! Ах ты, сволочь! А тебя пошлют, так ты не поедешь? А ты на каком хлебе в Берлине учился? Не на том, что я на заготовках грабил?

Замечание Пиголицы могло быть верно в прямом смысле, и оно безусловно было верно в переносном. Юра сконфузился.

— Я не про себя говорю. Но ведь Акульшину-то от этого не легче, что ты не сам, а тебя посылали.

— Стойте, ребята! — сказал Середа. — Стойте! А ты, папашка, послушай. Я тебя знаю. Ты в третьей плотницкой бригаде работал?

— Ну, работал, — как-то подозрительно ответил Акульшин.

— Новое здание Шизо строил?

— Строил.

— Заставляли?

— А что я по своей воле здесь?

— Так, какая разница? Этого паренька заставляли грабить тебя, а тебя заставляли строить тюрьму, в которой этот паренек сидеть, может, будет. Что, своей волей мы все тут сидим? Тьфу! — свирепо сплюнул Середа. — Вот, мать вашу, сукины дети. Семнадцать лет Пиголицу мужиком по затылку бьют, а Пиголицей из мужика кишки вытягивают. Так еще не хватало, чтобы вы для полного комплекта удовольствия еще друг другу в горло по своей воле вцеплялись. Ну и дубина народ, прости Господи! Вместо того, чтобы раскумекать, кто и кем вас лупит, не нашли

другого разговору, как друг другу морды бить. А тебе стыдно, хозяин. Старый ты мужик, тебе уж давно пора понять.

— Давно понял, — сумрачно сказал Акульшин.

— Так чего же ты в Пиголицу вцепился?

— А ты видал, что по деревням твои Пиголицы делают?

— Видал. Так, что? Он по своей воле?

— Эх, ребята, — снова затараторил Ленчик. — Не по своей воле воробей навоз клюет. Конечно, ежели потасовочка по-хорошему, от доброго сердца, отчего же и кулаки не почесать? А всамделишно за горло цепляться никакого расчета нет.

Юра за это время что-то потихоньку втолковывал Пиголице,

— Ну и хрен с ними, — вдруг сказал тот. — Сами же, сволочи, все это устроили, а теперь мне в нос тычут. Что, я революцию подымал? Я советскую власть устраивал? А теперь, как вы устроили, так я буду жить. Что, я в Америку поеду? Хорошо этому, — Пиголица кивнул на Юру. — Он всякие там языки знает, а я куда денусь? Если вам всем про старый режим поверить, так выходит, просто с жиру бесились, революции вам только не хватало. А я за кооперативный кусок хлеба, как сукин сын, работать должен. А мне чтобы учиться, так последнее здоровье отдать нужно, — в голосе Пиголицы зазвучали нотки истерики. — Ты что меня, сволочь, за глотку берешь? — повернулся он к Акульшину. — Ты что меня за грудь давишь? Ты, сукин сын, не на пайковом хлебе рос, так ты меня, как муху, задушить можешь. Ну и души, мать твою. Души! — Пиголица судорожно стал расстегивать воротник своей рубашки, застегнутой не пуговицами, а веревочками. Натё, бейте, душите, что я дурак, что я выдвигенец, что у меня сил нету, нате, душите...

Юра дружественно обнял Пиголицу и говорил ему какие-то довольно бессмысленные слова. Середа сурово сказал Акульшину:

— А ты бы, хозяин, подумать должен: может, и сын твой где-нибудь тоже болтается. Ты вот хоть молодость видал, а они что? Что они видали? Разве, от хорошей жизни на хлебозаготовки перли? Разве, ты таким в 20 лет был? Помочь парню надо, а не за горло его хватать.

— Помочь? — презрительно огрызнулся Пиголица. — Помочь? Много вы тут мне помогли.

— Не треплись, Саша, зря. Конечно, иногда, может, очень уж круто заворачивали, а все же вот подцепил же тебя Мухин и живешь ты не в бараке, а в кабинке и учим мы тебя ремеслу, и вот Юра с тобой

математикой занимается, и вот товарищ Солоневич о писателях рассказывает. Значит, хотели помочь.

— Не надо мне такой помощи, — сумрачно, но уже тише сказал Пиголица.

Акульшин вдруг схватился за шапку и направился к двери:

— Тут одна только помощь: за топор и в лес.

— Постой, папашка. Ты куда? — вскочил Ленчик, но Акульшина уже не было. — Вот, совсем послезала публика с мозгов, ах Ты., Господи, такая пурга... — Ленчик схватил свою шапку и выбежал во двор. Мы остались втроем. Пиголица в изнеможении сел на лавку.

— А ну его. Тут все равно никуда не вылезешь. Все равно пропадать. Не учишь — с голоду дохнуть будешь. Учиться — все равно здоровья не хватит. Тут только одно есть. Чем на старое оглядываться, лучше уж вперед смотреть. Может быть, что-нибудь и выйдет. Вот, пятилетка.

Пиголица запнулся, о пятилетке говорить не стоило.

— Как-нибудь выберемся, — оптимистически сказал Юра.

— Да ты-то выберешься. Тебе что. Образование имеешь. Парень здоровый. Отец у тебя есть. Мне, брат, труднее.

— Так ты, Саша, не ершись, когда тебе опытные люди говорят. Не лезь в бутылку со своим коммунизмом. Изворачивайся.

Пиголица в упор уставился на Середу.

— Изворачиваться? А куда мне прикажете изворачиваться? — потом Пиголица повернулся ко мне и повторил свой вопрос. — Ну, куда?

Мне с какой-то небывалой до того времени остротой представилась вся жизнь Пиголицы. Для него советский строй со всеми его украшениями — единственно знакомая ему социальная среда. Другой среды он не знает. Юрины рассказы о Германии 1927-1930 годов оставили в нем только спутанность мыслей, от которой он инстинктивно стремился отделаться самым простым путем — путем отрицания. Для него советский строй есть исторически данный строй, и Пиголица, как большинство всяких живых существ, хочет приспособиться к среде, из которой у него выхода нет. Да, мне хорошо говорить о старом строе и критиковать советский строй! Советский строй для меня всегда был, есть и будет чужим строем, «пленом у обезьян», я отсюда все равно сбегу, сбегу ценой любого риска. Но куда идти Пиголице? Или во всяком случае, куда ему идти, пока миллионы Пиголиц и Акульшинных не осознали силы организации и единства.

Я стал разбирать некоторые применительно к Пиголице теории учебы, изворачивания, устройства. Середа одобрительно поддакивал. Это были приспособленческие теории. Ничего другого я Пиголице предложить не мог. Пиголица слушал мрачно, ковыряя зубилом стол. Не было видно, согласен ли он со мной и с Середой или не согласен. В кабинку вошел Ленчик с Акульшиным.

— Ну, вот. Уговорил папашку, — весело сказал Ленчик. — Ах ты, Господи!

Акульшин потоптался.

— Ты уж, парнишка, не сердчай. Жизнь такая, что хоть себе самому в глотку цепляйся.

Пиголица устало пожал плечами.

— Ну, что ж, хозяин. — обратился Акульшин ко мне. — Домой что ли поедем. Такая тьма. Никто не увидит.

Нужно было ехать. А то могут побег припаять. Я поднялся. Попрощались. Уходя, Акульшин снова потоптался у дверей и потом сказал:

— А ты, паренек, главное — учишь. Образование — это... Учишь.

— Да, тут уж хоть кровь из носу, — угрюмо ответил Пиголица. — Так ты, Юра, завтра убежишь?

— Обязательно. — сказал Юра. Мы вышли.

НА ВЕРХАХ

ИДИЛЛИЯ КОНЧАЕТСЯ

Наше по лагерным масштабам идиллическое житье на третьем лагпункте, к сожалению, оказалось непродолжительным. Виноват был я сам. Не нужно было запугивать заведующего снабжением теориями троцкистского загиба да еще в применении оных теорий к получению сверхударного обеда, не нужно было посылать начальника колонны в нехорошее место. Нужно было сидеть, как мышь под метлой и не рыпаться. Нужно было сделаться, как можно более незаметным.

Как-то поздно вечером наш барак обходил начальник лагпункта, сопровождаемый почтительной фигурой начальника колонны, того самого, которого я послал в нехорошее место. Начальник лагпункта величественно проследовал мимо всех наших клопичных дыр; начальник колонны что-то в полголоса объяснил ему и многозначительно указал глазами на меня с Юрой. Начальник лагпункта бросил в нашу сторону неопределенно-недоуменный взгляд, и оба ушли. О таких случаях говорится: «Мрачное предчувствие сжало его сердце». Но тут и без предчувствий было ясно: нас попытаются сплавить в возможно более скорострельном порядке. Я негласно и свирепо выругал самого себя и решил на другой день предпринять какие-то еще неясные, но героические меры. Но на другой день утром, когда бригады проходили на работу мимо начальника лагпункта, он вызвал меня из строя и подозрительно спросил, чего это я так долго околачиваюсь на третьем лагпункте? Я сделал вполне невинное лицо и ответил, что мое дело маленькое, раз держат, значит, у начальства есть какие-то соображения по этому поводу. Начальник лагпункта с сомнением посмотрел на меня и сказал, что нужно будет навести справки.

Наведение справок в мои расчеты никак не входило. Разобравшись в наших «требованиях», нас сейчас же вышибли бы с третьего лагпункта куда-нибудь хоть и не на север, но мои мероприятия с оными требованиями не принадлежали к числу одобряемых советской властью деяний. На работу в этот день я не пошел вовсе и стал неистово бегать по всяким лагерным заведениям. Перспектив был миллион: можно было устроиться плотником в одной из бригад, переводчиками в технической библиотеке управления, переписчиками на пишущей машинке, штатными грузчиками на центральной базе снабжения,

лаборантом в фотолаборатории и еще в целом ряде мест. Я попытался было устроиться в колонизационном отделе; этот отдел промышлял расселением «вольно-ссылных» крестьян в карельской тайге. У меня было некоторое имя в области туризма и краеведения, и тут дело было на мази. Но все эти проекты наткнулись на сократительную горячку, эту горячку нужно было переждать: «Придите-ка этак через месяц. Обязательно устроим». Но меня месяц никак не устраивал; не только через месяц, а и через неделю мы рисковали попасть в какую-нибудь Сегежу, а из Сегежи, как нам уже было известно, никуда не сбежишь: кругом трясины, в которых не то, что люди, а и лоси тонут.

Решил тряхнуть своей физкультурной стариной и пошел непосредственно к начальнику культурно-воспитательного отдела (КВО) тов. Корзуну. Товарищ Корзун, слегка горбатый, маленький человек, встретил меня чрезвычайно вежливо и корректно: да, такие работники нам нужны... а статьи ваши? Я ответил, что статьями хвастаться нечего 58-6 и прочее. Корзун безнадежно развел руками. «Ничего не выйдет. Ваша работа по культурно-воспитательной линии да еще в центральном аппарате КВО абсолютно исключена. Не о чем и говорить».

...Через месяц тот же тов. Корзун вел упорный бой за то, чтобы перетащить меня в КВО, хотя статьи мои за это время не изменились. Но в этот момент такой возможности тов. Корзун еще не предусматривал. Я извинился и стал уходить.

— Знаете, что? — сказал мне Корзун вдогонку. — Попробуйте-ка вы поговорить с «Динамо». Оно лагерным порядкам не подчинено, может, что и выйдет.

«ДИНАМО»

«Динамо» — это пролетарское спортивное общество войск и сотрудников ГПУ, в сущности один из подразделов ГПУ — заведение отвратительное в самой высокой степени, даже и по советским масштабам. Официально оно занимается физической подготовкой чекистов, неофициально оно скупает всех мало-мальски выдающихся спортсменов СССР и, следовательно, во всех видах спорта занимает в СССР первое место. К какому-нибудь Иванову, подающему надежды в области голкиперского искусства подходит этакий жучок, то есть специальный и штатный вербовщик-скупщик и говорит:

— Переходите к нам, тов. Иванов. Сами понимаете, паек, ставка, квартира...

Перед квартирой устоять трудно. Но если паче чаяния Иванов устоит даже и перед квартирой, жучок подозрительно говорит:

— Что, стесняетесь под чекистской маркой выступать? Н-да, придется вами поинтересоваться.

«Динамо» выполняет функции слежки в спортивных кругах, «Динамо» занимается весьма разносторонней хозяйственной деятельностью, строит стадионы, монополизировало производство спортивного инвентаря, имеет целый ряд фабрик — и все это строится и производится исключительно трудом каторжников. «Динамо» в корне подрезывает всю спортивную этику («морально то, что служит целям мировой революции»).

На «Мировой спартакиаде» 1928 г. я в качестве судьи снял с беговой дорожки одного из динамовских чемпионов, который с заранее обдуманном намерением разодрал шипами своих беговых туфель ногу своего конкурента. Конкурент выбыл из спортивного фронта навсегда. Чемпион же, уходя с дорожки, сказал мне: «Ну, мы еще посмотрим». В тот же день вечером я получил повестку в ГПУ; не веселое приглашение. В ГПУ мне сказали просто, чтобы этого больше не было. Этого больше и не было, я в качестве судьи предпочел больше не фигурировать.

Нужно отдать справедливость и «Динамо». Своих чемпионов оно кормит блестяще. Это один из секретов спортивных успехов СССР. Иногда эти чемпионы выступают под флагом профсоюзов, иногда под военным флагом, иногда даже от имени промысловой кооперации, в зависимости от политических требований дня. Но все они прочно закуплены «Динамо».

В те годы, когда я еще мог ставить рекорды, мне стоило больших усилий отбояриться от приглашений «Динамо». Единственной возможностью было прекратить всякую тренировку, по крайней мере официальную. Потом наши дружественные отношения с «Динамо» шли, все ухудшаясь и ухудшаясь, и если я сел в лагерь не из-за «Динамо», то это во всяком случае не от избытка симпатий ко мне со стороны этой почтенной организации. В силу всего этого, а так же и статей моего приговора я в «Динамо» решил не идти. Настроение было окаянное.

Я зашел в кабинку монтеров, где Юра и Пиголица сидели за своей тригонометрией, а Мухин чинил валенок. Юра сообщил, что его дело уже в шляпе, и что Мухин устраивает его монтером. Я выразил некоторое сомнение; люди покрупнее Мухина ничего не могут устроить. Мухин пожал плечами.

— А мы люди маленькие, так у нас это совсем просто. Вот сейчас перегорела проводка у начальника третьей части, так я ему позвоню, что никакой возможности нету: все мастера в дежурстве, не хватает рабочих рук. Посидит вечер без света — какое угодно требование подпишет.

Стало легче на душе. Если даже меня попрут куда-нибудь, а Юра останется, останется и возможность через медгорских знакомых вытащить меня обратно. Но все-таки...

По дороге из кабинки я доложил Юре о положении дел на моем участке фронта. Юра взелся на меня сразу. Конечно, нужно идти в «Динамо», если там на устройство есть хоть один шанс из ста. Мне идти очень не хотелось. Так мы с Юрой шествовали и ругались. Я представил себе, что даже в удачном случае мне не без злорадства скажут: ага, когда мы вас звали, вы не шли. Ну и так далее. Да и шансы-то были нулевые. Впоследствии оказалось, что я сильно недооценил большевицкой реалистичности и некоторых других вещей. Словом, в результате этой перепалки я уныло поволокся в «Динамо».

ТОВАРИЩ МЕДОВАР

На территории вольного городка расположен динамовский стадион. На стадионе — низенькие деревянные домики, канцелярии, склады, жилища служащих. В первой комнате — бильярдный зал. На двери второй надпись: Правление «Динамо». Вхожу. Очки запотели, снимаю их и, почти ничего не видя, спрашиваю:

— Могу я видеть начальника учебной части? Из-за письменного стола подымается некто туманный и, уставившись на меня, некоторое время молчит. Молчу и я. И чувствую себя в исключительно нелепом положении. Некто туманный разводит руками.

— Елки-палки или, говоря вежливее, сапен-батон. Какими вы путями, товарищ Солоневич, сюда попали? Или это, может быть, вовсе не вы?

— По-видимому, это я. А попал, как обыкновенно — по этапу.

— И давно? И что вы теперь делаете?

— Примерно месяц. Чищу уборные.

— Ну, это же, знаете, совсем безобразно. Что вы не знали, что существует в ББК отделение «Динамо»? Словом, с этой секунды вы состоите на службе в пролетарском спортивном обществе «Динамо». О должности мы поговорим потом. Ну, садитесь, рассказывайте.

Я протер очки. Передо мною — фигура, мне вовсе не известная, но во всяком случае ясно выраженный одессит: его собственная мамаша не могла бы определить процент турецкой, еврейской, греческой, русской и прочей крови, текущей в его жилах. На крепком туловище дубовая шея, на шее — жуликовато-добродушная и энергичная голова, покрытая гостей черной шерстью. Где это я мог его видеть? Понятия не имею.

Я сажусь.

— Насчет моей работы в «Динамо» дело, мне кажется, не так просто. Мои статьи...

— А плевать нам на ваши статьи. Очень мне нужны ваши статьи. Я о них даже и спрашивать не хочу. Что, вы будете толкать штангу статьями или вы будете толкать ее руками? Вы раньше рассказываете.

Я рассказываю.

— Ну, в общем все в порядке. Страницы вашей истории перевертываются дальше. Мы здесь такое дело развернем, что Москва ахнет. На начальника лагпункта вы можете наплевать. Вы же понимаете, у нас председатель — сам Успенский (начальник ББК); заместителем его — Радецкий начальник третьего отдела (лагерное ГПУ). Что нам УРО? Хе. плевать мы хотели на УРО.

Я смотрю на начальника учебной части и начинаю соображать, что во-первых, за ним не пропадешь и что во-вторых, он собирается моими руками сделать себе какую-то карьеру. Но кто он? Спросить не удобно.

— А жить вы с сыном будете здесь. Мы вам отведем комнату. Ну, да конечно же и сына вашего мы тоже устроим. Это же, знаете, если «Динамо» за что-нибудь берется, так оно это устраивает на бене мунес. А вот, кстати и Батюшков идет. Вы не знакомы с Батюшковым?

В комнату вошел крепкий, по-военному подтянутый человек. Это был Федор Николаевич Батюшков, один из лучших московских инструкторов, исчезнувший с московского горизонта в связи с уже известной политизацией физкультуры. Мы с ним обмениваемся подходящими к данному случаю междометиями.

— Так, — заканчивает Батюшков свои междометия. — Словом, как говорится, все дороги ведут в Рим. Но, главное, сколько?

— Восемь.

— Статьи?

— 58-6 и так далее.

— И давно вы здесь?

Рассказываю.

— Ну, уж это вы, И.Л., извините — это просто свинство. Если вам самому доставляет удовольствие чистить уборные, ваше дело. Но ведь вы с сыном. Неужели, вы думали, что в России есть спортивная организация, в которой вас не знают? В мире есть солидарность классовая, национальная, ну я не знаю, какая еще, но превыше

спортивной солидарности — нет ничего. Мы бы вас в два счета приспособили бы.

— Вы, Ф.Н., не суйтесь. — сказал начальник учебной части. — Мы уже обо всем договорились.

— Ну, вы договорились, а я поговорить хочу. Эх и заживем мы тут с вами. Будем, во-первых, — Батюшков загнул палец, — играть в теннис, во-вторых, купаться, в-третьих, пить водку, в-четвертых... в четвертых, кажется, ничего.

— Послушайте, Батюшков, — официальным тоном прервал его начальник учебной части. — Что вы себе, в самом деле, позволяете? Ведь, работа же есть.

— Ах, плюньте вы на это, к чертовой матери, Яков Самойлович. Кому вы будете рассказывать? Ивану Лукьяновичу? Да он на своем веку сто тысяч всяких спортивных организаций ревизовал. Что он не знает? Еще не хватало, чтобы мы друг перед другом дурака валять начали. Вид, конечно, нужно делать...

— Ну, да вы понимаете, — несколько забеспокоился начальник учебной части. — Понимаете, нам нужно показать класс работы.

— Ну, само собой разумеется. Делать вид — это единственное, что мы должны будем делать. Вы уж будьте спокойны, Я.С.; И.Л. тут такой вид разведет, что вы прямо в члены ЦК партии попадете. Верхом ездите? Нет? Ну, так я вас научу. Будем вместе прогулки делать. Вы, И.Л., конечно, может быть, не знаете, а может быть и знаете, что приятно увидеть человека, который за спорт дрался всерьез. Мы же, низовые работники, понимали, что кто-кто, а уж Солоневич работал за спорт всерьез, по совести. Это не то, что Медовар. Медовар просто спекулирует на спорте. Почему он спекулирует на спорте, а не презервативами, понять не могу.

— Послушайте, Батюшков, — сказал Медовар. — Идите вы ко всем чертям. Очень уж много вы себе позволяете.

— А вы не орите, Яков Самойлович. Я ведь вас знаю. Вы просто милейшей души человек. Вы сделали ошибку, что родились перед революцией и Медоваром, а не тысячу лет назад и не багдадским вором.

— Тьфу, — плюнул Медовар. — Разве с ним можно говорить? Вы же видите, у нас серьезный разговор, а эта пьяная рожа...

— Я абсолютно трезв. И вчера, к сожалению, был абсолютно трезв.

— На какие же деньги вы пьянствуете? — удивился я.

— Вот, на те же самые, на которые будете пьянствовать и вы. Великая тайна лагерного блага. Не будете? Это оставьте. Обязательно будете. В общем, через месяц вы будете ругать себя за то, что не сели в лагерь на пять лет раньше, что вы были дураком, трепали нервы в Москве и все такое. Уверяю вас, самое спокойное место в СССР — это медгорское «Динамо». Не верите? Ну, поживете — увидите.

СУДЬБА ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ

Из «Динамо» я вышел в весьма путанном настроении духа. Впоследствии я убедился в том, что в «Динамо» ББК ГПУ, среди заваленных трупами болот, девятнадцатых кварталов и беспризорных колоний можно было действительно вести курортный образ жизни, но в этот момент я этого не знал. Юра, выслушав мой доклад, сказал мне поучительно и весело: ну, вот видишь? А ты не хотел идти. Я ведь тебе говорю, что когда очень туго — должен явиться Шпигель.

— Да оно, конечно, повезло. И, главное, вовремя. Хотя, если бы опасность со стороны начальника лагпункта обрисовалась несколько раньше, я бы и раньше пошел в Динамо. В данном положении идти больше было некуда. А почему бы Динамо могло не взять меня на работу?

На другой день мы с Медоваром пошли в третий отдел «оформлять» мое назначение.

— А, это пустяки, — говорил Медовар. — Одна формальность. Гольман, наш секретарь, подпишет — и все в шляпе.

— Какой Гольман? Из высшего совета физкультуры?

— Ну-да. Какой же еще?

Розовые перспективы стали блекнуть. Гольман был одним из тех активистов, которые делали карьеру на политизации физкультуры, я был одним из немногих, кто с этой политизацией боролся и единственный, который из этой борьбы выскочил целиком. Гольман же после одной из моих перепалок с ним спросил кого-то из присутствующих:

— Какой это Солоневич? Тот, что в Соловках сидел?

— Нет, это брат его сидел.

— Ага. Так передайте ему, что он тоже сядет.

Мне, конечно, передали.

Гольман, увы, оказался пророком. Не знаю, примирит ли его это ощущение с проектом моей работы в Динамо. Однако, Гольман встретил меня весьма корректно, даже несколько церемонно. Долго и въедливо

расспрашивал, за что я, собственно, сел и потом сказал, что он против моего назначения ничего не имеет, но что он надеется на мою безусловную лояльность.

— Вы понимаете, мы вам оказываем исключительное доверие, и если вы его не оправдаете...

Это было ясно и без его намеков, хотя никакого доверия, а тем паче исключительного, Гольман мне не оказывал.

— Приказ по линии Динамо подпишу я. А по лагерной линии Медовар получит бумажку от Радецкого о вашем переводе и устройстве. Ну, пока. Я пошел в Динамо поговорить с Батюшковым. Как дошел он до жизни такой. Ход оказался очень простым, с тем только осложнением, что по поводу этой политизации Батюшков получи не 5 лет, как остальные, а 10 лет, как бывший офицер. Пять лет он уже отсидел, часть из них на Соловках. Жизнь его оказалась не столь уж курортной, как он описывал: на воле осталась жена с ребенком.

Часа через два с расстроенным видом пришел Медовар.

— Эх, ничего с вашим назначением не вышло. Стопроцентный провал. Вот, черт бы его подрал. Стало очень беспокойно. В чем дело?

— А я знаю? Там, в третьем отделе, оказывается, на вас какое-то дело лежит. Какие-то бумаги вы в подпорожском отделении украли. Я говорю Гольману, вы же должны понимать; зачем Солоневичу какие-то там бумаги красть, разве он такой человек? Гольман говорит, что он знает ничего не знает. Раз Солоневич такими делами и в лагере занимается...

Я соображаю, что это тот самый стародубцевский донос, который я считал давно ликвидированным. Я пошел к Гольману. Гольман отнесся ко мне по-прежнему корректно; но весьма сухо. Я повторил свой старый довод, что если бы я стал красть бумаги с целью, так сказать, саботажа, я украл бы какие угодно, но только не те, по которым 70 человек должны были освободиться. Гольман пожал плечами.

— Мы не можем вдаваться в психологические изыскания. Дело имеется, и вопрос полностью исчерпан.

Я решаю ухватиться за последнюю соломинку, за Якименку. Не надежная соломинка, но чем я рискую?

— Начальник УРО тов. Якименко вполне в курсе этого дела. По его приказу в подпорожском отделении это дело было прекращено.

— А вы откуда знаете?

— Да он сам мне сказывал.

— Ах, так? Ну, посмотрим, — Гольман снял телефонную трубку.

— Кабинет начальника УРО, тов. Якименко? Говорит начальник оперативной группы Гольман. Здесь у нас в производстве имеется дело по обвинению некоего Солоневича в краже документов Подпорожского УРЧ... Ага. Так-Так. Ну, хорошо. Пустим на прекращение. Да, здесь. У меня в кабинете. — Гольман протягивает мне трубку.

— Вы, оказывается, здесь. — слышу голос Якименки. — А ваш сын? Великолепно! Где работаете?

Я сказал, что вот собираюсь устраиваться по старой специальности, по спорту.

— Ага. Ну, желаю вам успеха. Если что-нибудь будет нужно, обращайтесь ко мне.

И тон и предложения Якименки оставляют во мне недоумение. Я так был уверен, что Якименко знает всю историю с БАМовскими списками, и что мне было бы лучше ему на глаза не показываться. И — вот.

— Значит, вопрос урегулирован. Очень рад. Я знаю, что вы можете работать, если захотите. Но, тов. Солоневич, никаких прений! Абсолютная дисциплина!

— Мне сейчас не до прений.

— Давно бы так. Не сидели бы здесь. Сейчас я занесу Радецкому для подписи бумажку насчет вас. Посидите в приемной, подождите.

Я сижу в приемной. Здесь — центр ГПУ ББК. Из кабинетов выходят и входят какие-то личности пинкертоновского типа. Тащат каких-то арестованных. Рядом со мною под охраной двух оперативников сидит какой-то старик, судя по внешнему виду, священник. Он прямо, не мигая, смотрит куда-то вдаль, за стенки третьего отдела и как будто подсчитывает оставшиеся ему дни его земной жизни. Напротив — какой-то не определенного вида парень с лицом, изможденным до полного сходства с лицом скелета. Какая-то женщина беззвучно плачет, уткнувшись лицом в свои колени. Это, видимо, люди, ждущие расстрела, мелкоту сюда не вызывают. Меня охватывает чувство какого-то гнусного, липкого отвращения в том числе и к самому себе: почему я здесь сижу не в качестве арестованного, хотя и я ведь заключенный? Нет, нужно выкарабкиваться и бежать, бежать, бежать...

Приходит Гольман с бумажкой в руке.

— Вот это для перевода вас на первый лагпункт и прочее, подписано Радецким. — Гольман недоуменно и как-то чуть недовольно пожимает плечами. — Радецкий вызывает вас к себе с сыном. Как будто он вас знает. Завтра в девять утра.

О Радецком я не знаю решительно ничего, кроме того, что он, так сказать, Дзержинский или Ягода в Карельском или ББКовском масштабе. Какого черта ему от меня нужно? Да еще с Юрой! Опять в голову лезут десятки беспокойных вопросов.

ПРОЩАНИЕ С НАЧАЛЬНИКОМ ТРЕТЬЕГО ЛАГПУНКТА

Вечером ко мне приходит начальник колонны:

— Солоневич старший, к начальнику лагпункта. Вид у начальника колонны мрачно-угрожающий. Вот теперь, мол, ты насчет загибов не поговоришь... Начальник лагпункта смотрит совсем уж этаким волостного масштаба инквизитором.

— Ну-с, гражданин Солоневич, — начинает он леденящим душу тоном. — Потрудитесь-ка вы разъяснить нам всю эту хреновину. На, столе у него целая кипа пресловутых моих требований. А у меня в кармане бумажка за подписью Радецкого.

— Загибчики все разъяснял, — хихикает начальник колонны.

У обоих удовлетворенно-сладострастный вид. Вот, дескать, поймали интеллигента. Вот мы его сейчас. Во мне подымается острая режущая злоба, злоба на всю эту стародубцевскую сволочь. Ах, так думаете, что поймали? Ну, мы еще посмотрим, кто — кого.

— Какую хреновину? — спрашиваю я спокойным тоном. — Ах, это. С требованиями? Это меня никак не интересует.

— Что вы мне тут дурака валяете! — вдруг заорал начальник колонны. — Я вас, мать вашу...

Я протягиваю к лицу начальника колонны лагпункта свой кулак:

— А вы это видали? Я вам такой мат покажу, что вы и на Лесной Речке не очухаетесь...

По тупой роже начальника, как тени по экрану, мелькает ощущение, что если некто поднес ему кулак к носу, значит, у этого некто есть какие-то основания не бояться; мелькает ярость, оскорбленное самолюбие, и много мелькает совершенно того же, что в свое время мелькало на лице Стародубцева.

— Я вообще с вами разговаривать не желаю, — отрезаю я. — Будьте добры заготовить мне на завтра препроводительную бумажку на первый лагпункт.

Я протягиваю начальнику лагпункта бумажку, на которой над жирным красным росчерком Радецкого значится: такого-то и такого-то

немедленно откомандировать в непосредственное распоряжение третьего отдела, начальнику первого лагпункта предписывается обеспечить указанных...

Начальнику первого лагпункта предписывается, а у начальника третьего лагпункта глаза на лоб лезут. «В непосредственное распоряжение третьего отдела!» Значит, какой-то временно опальный и крупной марки чекист. И сидел-то он тут не иначе, как с каким-нибудь «совершенно секретным предписанием». Сидел, высматривал, вынюхивал...

Начальник лагпункта вытирает ладонью вспотевший лоб. Голос у него прерывается.

— Вы уж, товарищ, извините. Сами знаете, служба. Всякие тут люди бывают. Стараешься изо всех сил... Ну, конечно и ошибки бывают. Я вам, конечно, сейчас же. Подводочку вам снарядим. Не нести же вам вещички на спине. Вы уж, пожалуйста, извините.

Если бы у начальника третьего лагпункта был хвост, он бы вилял хвостом. Но хвоста у него нет. Есть только беспредельное лакейство, созданное атмосферой беспредельного рабства.

— Завтра утречком все будет готово. Вы уж не беспокойтесь. Уж, знаете, так вышло. Вы уж извините.

Я, конечно, извиняю и уйду. Начальник колонны забегает вперед и открывает передо мной двери. В бараке Юра меня спрашивает, отчего у меня руки дрожат. Нет, нельзя жить, нельзя здесь жить, нельзя здесь жить... Можно сгореть в этой атмосфере непрерывно сдавливаемых ощущений ненависти, отвращения и беспомощности. Нельзя жить. Господи, когда же я смогу, наконец, жить не здесь?

АУДИЕНЦИЯ

На утро нам действительно дали подводу до Медгоры. Начальник лагпункта подобоострастно крутился около нас. Моя душевная злоба уже поутихла, и я увидел, что начальник лагпункта просто забитый и загнанный человек, конечно, вор, сволочь, но в общем, примерно такая же жертва системы всеобщего рабства, как и я. Мне стало неловко за свою вчерашнюю вспышку, за грубость, за кулак, поднесенный к носу начальника.

Сейчас он помогал нам укладывать наше нищее барахло на подводу и еще раз извинился за вчерашний мат. Я ответил тоже извинением за свой кулак. Мы расстались вполне дружески и так же дружески встречались впоследствии. Что ж, каждый в этом кабаке

выкручивается, как может. Что я сам бы стал делать, если бы у меня не было моих нынешних данных выкручиваться? Была бы возможно и такая альтернатива — или в актив или на Лесную Речку. В теории эта альтернатива решается весьма просто. На практике это сложнее.

На первом лагпункте нас поместили в один из наиболее привилегированных барачков, населенный исключительно управленческими служащими, преимущественно железнодорожниками и водниками. Урок здесь не было вовсе! Барак был сделан в вагонку; то есть нары были не сплошные, а с проходами, как скамьи в вагонах третьего класса. Мы забрались на второй этаж, положили свои вещи и с тревожным недоумением на душе пошли на аудиенцию к тов. Радецкому.

Радецкий принял нас в точно назначенный час. Пропуск для входа в третий отдел был уже заготовлен. Гольман вышел посмотреть, мы ли идем по этому пропуску или не мы. Удостоверившись в наших личностях, он провел нас в кабинет Радецкого — огромную комнату, стены которой были увешаны портретами вождей и географическими картами края. Я с вожделением в сердце посмотрел на эти карты.

Крупный и грузный человек лет сорока пяти встретил нас дружелюбно и чуть-чуть насмешливо: хотел де возобновить наше знакомство, не помните?

Я не помню и проклиная свою зрительную память. Правда, столько тысяч народу промелькнуло перед глазами за эти годы... У Радецкого полное, чисто выбритое, очень интеллигентное лицо, спокойные и корректные манеры партийного вельможи, разговаривающего с беспартийным спецом. Партийные вельможи всегда разговаривают с изысканной корректностью. Но все-таки не помню.

— А это ваш сын? Тоже спортсмен? Ну, будем-те знакомы, молодой человек. Что ж это вы вашу карьеру так нехорошо начинаете, прямо с лагеря. А-я-яй, нехорошо, нехорошо.

— Такая уж судьба, — улыбается Юра.

— Ну, ничего, ничего. Не унывайте, юноша. Все образуется. Знаете, откуда это?

— Знаю.

— Ну, откуда?

— Из Толстого.

— Хорошо, хорошо. Молодец. Ну, усаживайтесь.

Чего, чего, а уж такой встречи я никак не ожидал. Что это? Какой-то подвох? Или просто комедия? Этакие отцовского стиля разговоры в кабинете, в котором каждый день подписываются смертные

приговоры, вероятно, десятками. Чувствую отвращение и некоторую растерянность.

— Так, не помните? — оборачивается Радецкий ко мне. — Ладно, я вам помогу. Кажется, в 28 году вы строили спортивный парк в Ростове и по этому поводу ругались, с кем было надо и с кем было не надо, в том числе и со мною.

— Вспомнил! Вы были секретарем Северо-Кавказского крайисполкома.

— Совершенно верно, — удовлетворенно кивает головой Радецкий. — И следовательно, председателем совета физкультуры. Парк этот, нужно отдать вам справедливость, вы спланировали великолепно, так что ругались вы не совсем зря. Кстати, парк-то этот мы забрали себе. Динамо все же лучший хозяин, чем союз совторгслужащих.

Радецкий испытующе и иронически смотрит на меня: рассчитывал ли я в то время, что строю парк для чекистов? Я не рассчитывал. Спортивные парки ростовский и харьковский были моим изобретением и, так сказать, апофеозом моей спортивной деятельности. Я старался сильно и рисковал многим. И старался и рисковал, оказывается, для чекистов. Обидно. Но этой обиды показывать нельзя.

— Ну, что ж, — пожимаю я плечами. — Вопрос не в хозяине. Вы, я думаю, пускаете в этот парк всех трудящихся.

При слове «трудящихся» Радецкий иронически приподымает брови.

— Ну, это как сказать. Иных пускаем, иных нет. Во всяком случае, ваша идея оказалась технически правильной. Берите папиросу. А вы, молодой человек? Не курите? И водки не льете?

Очень хорошо, великолепно. Совсем образцовый спортсмен. А только вы, *cum bonus pater familias*, все-таки поприглядите за вашим наследником, как бы в Динамо его не споили, там сидят великие специалисты по этой части.

Я выразил некоторое сомнение.

— Нет, уж вы мне поверьте. В нашу специальность входит все знать. И то, что нужно сейчас и то, что пригодится впоследствии. Так, например, вашу биографию мы знаем с совершенной точностью.

— Само собой разумеется. Если я в течение десяти лет и писал и выступал под своей фамилией.

— Вот и хорошо делали. Вы показали нам, что ведете открытую игру. А с нашей точки зрения быть молодцу не в укор.

Я поддакивающе киваю головой. Я вел не очень уж открытую игру, о многих деталях моей биографии ГПУ и понятия не имело; за «быль» молодых расстреливали без никаких, но опровергать Радецкого было бы уж совсем излишней роскошью, пусть пребывает в своем ведомственном самоутешении. Легенду о всевидящем оке ГПУ пускает весьма широко и с заранее обдуманной намерением запугать обывателя. Я к этой легенде отношусь весьма скептически, а в том, что Радецкий о моей биографии имеет весьма отдаленное представление, я уверен вполне. Но зачем спорить?

— Итак, перейдемте к деловой части нашего совещания. Вы, конечно, понимаете, что мы приглашаем вас в Динамо не из-за ваших прекрасных глаз (я киваю головой). Мы знаем вас, как крупного, всесоюзного масштаба работника по физкультуре и блестящего организатора (я скромно опускаю очи). Работников такого масштаба у нас в ББК нет. Медовар — вообще не специалист, Батюшков только инструктор. Следовательно, предоставлять вам возможность чистить дворы у нас нет никакого расчета. Мы используем вас по вашей прямой специальности. Я не хочу спрашивать, за что вас сюда посадили, я узнаю это и без вас и точнее, чем вы сами об этом знаете. Но меня в данный момент это не интересует. Мы ставим перед вами задачу: создать образцовое динамовское отделение. Ну вот, скажем, осенью будут разыгрываться первенства северо-западной области, динамовские первенства. Можете ли вы такую команду сколотить, чтобы ленинградскому отделению перо вставить? А? А ну-ка, покажите класс!

Тайна аудиенции разъясняется сразу. Для любого заводского комитета и для любого отделения Динамо спортивная победа — это вопрос самолюбия, моды, азарта; чего хотите. Заводы переманивают себе форвардов, а Динамо скупает чемпионов. Для заводского комитета заводское производство — это не приятная, но не неизбежная проза жизни; футбольная же команда — это предмет гордости, объект нежного ухода, поэтическая полоска на сером фоне жизни. Так приблизительно барин прошлого века вкладывал в свою псарню гораздо больше эмоций, чем в урожайность своих полей; хорошая борзая стоила гораздо дороже самого работающего мужика, а квалифицированный псарь шел, вероятно, совсем на вес золота. Вот на амплуа этого квалифицированного псаля попадаю и я. «Вставить перо» Ленинграду Радецкому очень хочется. Для такого торжества он, конечно, закроет глаза на любые мои статьи.

— Тов. Радецкий, я все-таки хочу по-честному предупредить вас: непосильных вещей я вам обещать не могу.

— Почему непосильных?

— Каким образом Медгора с ее 10.000 населения может конкурировать с Ленинградом?

— Ах, вы об этом. Медгора здесь ни при чем. Мы вовсе не собираемся использовать вас в масштабе Медгоры. Вы у нас будете работать в масштабе ББК. Объедете все отделения, подберете людей. Выбор у вас будет приблизительно из трехсот тысяч людей.

Трехсот тысяч! Я в Подпорожьях пытался подсчитать население ББК, и у меня выходило гораздо меньше. Неужели же триста тысяч? О, Господи! Но подобрать команду, конечно, можно будет. Сколько здесь одних инструкторов сидит!

— Так вот, начните с Медгорского отделения. Осмотрите все лагпункты, подберите команды. Если у вас выйдут какие-нибудь деловые недоразумения с Медоваром или Гольманом, обращайтесь прямо ко мне.

— Меня тов. Гольман предупреждал, чтобы я работал «без прений».

— Здесь хозяин не Гольман, а я. Да, я знаю, у вас с Гольманом были в Москве не очень блестящие отношения, от того он... Я понимаю, портить дальше эти отношения нет смысла вам. Если возникнут какие-нибудь недоразумения, вы обращайтесь ко мне, так сказать, задним ходом. Мы это обсудим, и Гольман с Медоваром будут иметь мои приказания, и вы здесь будете не при чем. Да, что касается ваших бытовых нужд, мы их обеспечим: мы заинтересованы в том, чтобы вы работали, как следует. Для вашего сына вы придумайте что-нибудь подходящее. Мы его пока тоже зачислим инструктором.

— Я хотел в техникум поступить.

— В техникум? Ну, что ж, валяйте в техникум. Правда, с вашими статьями вас туда нельзя бы пускать. Но я надеюсь, — Радецкий добродушно и иронически ухмыльнулся. — Я надеюсь, вы перекуетесь.

— Я уже, гражданин начальник, почти наполовину перековался, — подхватывает шутку Юра.

— Ну, вот. Осталось, значит, пустяки. Ну-с, будем считать наше совещание законченным, а резолюцию принятой единогласно. Кстати, — обращается Радецкий ко мне. — Вы, кажется, хороший игрок в теннис?

— Нет, весьма посредственный.

— Позвольте. Мне Батюшков говорил, что вы вели целую кампанию в пользу, так сказать, реабилитации тенниса. Доказывали, что это вполне пролетарский вид спорта. Ну, словом, мы с вами как-нибудь сразимся. Идет? Ну, пока. Желаю вам успеха.

Мы вышли от Радецкого.

— Нужно будет устроить еще одно заседание, — сказал Юра. — А то я ничегошеньки не понимаю.

Мы завернули в тот двор, на котором так еще недавно мы складывали доски, уселись на нашем собственном сооружении и я прочел Юре маленькую лекцию о спорте и о динамовском спортивном честолюбии. Юра не очень был в курсе моих физкультурных деяний, они оставили во мне слишком горький осадок. Сколько было вложено мозгов, нервов и денег, и в сущности почти безрезультатно. От тридцати двух водных станций остались рожки да ножки, ибо там распоряжались все, кому не лень, а на спортивное самоуправление даже в чисто хозяйственных делах смотрели, как на контрреволюцию. Спортивные парки попали в руки ГПУ, а в теннис, под который я так старательно подводил идеологическую базу играют Радецкие и иже с ними и больше почти никого. Какой там спорт для массы, когда массе помимо всего прочего есть нечего. Зря было ухлопано шесть лет работы и риска, а о таких вещах не очень хочется рассказывать. Но конечно, с точки зрения побега мое новое амплуа дает такие возможности, о каких я и мечтать не мог.

На другой ж день я получил пропуск, предоставляющий мне право свободного передвижения на территории всего медгоровского отделения, т. е. верст пятидесяти по меридиану и верст десяти к западу и в любое время дня и ночи Это было великое приобретение. фактически оно давало мне большую свободу передвижения чем та, какую пользовалось окрестное вольное население. Планы побега стали становиться конкретными.

ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР

В Динамо было пусто. Только Батюшков со скучающим видом сам с собой играл на бильярде. Мое появление несколько оживило его.

— Вот хорошо, партнер есть. Хотите пирамидку? Я пирамидки не хотел, было не до того. «В пирамидку мы как-нибудь потом, а в от вы мне пока скажите, кто собственно такой этот Медовар?» Батюшков уселся на край бильярда.

— Медовар. По основной профессии — одессит.

Это определение меня не удовлетворило.

— Видите ли, — пояснил Батюшков, — одессит — это человек, который живет с воздуха. Ничего толком не знает, за все берется и представьте себе, кое-что у него выходит. В Москве он был каким-то спекулянтом, потом примазался к Динамо, ездил от него представителем московских команд, знаете, так, чтобы выторговать и суточные и обеды и

все такое. Потом как-то пролез в партию. Но жить с ним можно, сам живет и другим дает жить. Жулик, но очень порядочный человек. — довольно неожиданно закончил Батюшков.

— Откуда он меня знает?

— Послушайте, И.Л., вас же каждая спортивная собака знает. Приблизительно в три раза больше, чем вы этого заслуживаете... Почему в три раза? Вы выступали в спорте и двое ваших братьев. Кто там разберет, который из вас Солоневич первый и который третий. Кстати, а где ваш средний брат?

Мой средний брат погиб в армии Врангеля, но об этом говорить не следовало. Я сказал что-то подходящее к данному случаю. Батюшков посмотрел на меня понимающе.

— М-да. Не много старых спортсменов уцелело. Вот я думал, что уцелею. В белых армиях не был, политикой не занимался, а вот сижу. А с Медоваром вы споетесь, с ним дело можно иметь. Кстати, вот он и шествует.

Медовар, впрочем, не шествовал никогда, он летал. И сейчас, влетев в комнату, он сразу накинулся на меня с вопросами:

— Ну, что у вас с Радецким? Чего вас Радецкий вызывал? И откуда он вас знает? И что вы, Федор Николаевич, сидите, как ворона, на этом паршивом бильярде, когда работа есть? Сегодня с меня спрашивают сводки мартовский работы Динамо, так что я им дам, как вы думаете, что я им дам?

— Ничего я не думаю. Я и без думанья знаю. Медовар бросил на бильярд свой портфель.

— Ну, вот вы сами видите, И.Л., он даже не хочет делать вида, что работа есть. Послал в Ленинград сводку о нашей февральской работе и даже копии не оставил. И вы думаете, он помнит, что там в этой сводке было? Так теперь что мы будем писать за март? Нужно же нам рост показать. А какой рост? А из чего мы будем исходить?

— Не кирпичитесь, Яков Самойлович. Ерунда все это.

— Хорошенькая ерунда.

— Ерунда. В феврале был зимний сезон, сейчас весенний. Не могут же у вас в марте лыжные команды расти. На весну нужно совсем другое выдумывать. — Батюшков попытался засунуть окурочек в лузу, но одумался и сунул его в медоваровский портфель.

— Знаете что, Ф.Н., вы хороший парень, но за такие одесские штучки я вам морду набью.

— Морды вы не набьете, а в пирамидку я вам дам 30 очков вперед и обставлю, как миленького.

— Ну, это вы рассказывайте вашей бабушке.

— Он меня обставит! Вы такого нахала видали? А вы сами 15 очков не хотите?

Разговор начинал приобретать ведомственный характер. Батюшков начал ставить пирамидку. Медовар засунул свой портфель под бильярд и вооружился кием. Я ввиду всего этого повернулся уходить.

— Позвольте, И.Л., куда же вы это? Я же с вами хотел о Радецком поговорить. Такая масса работы, прямо голова кругом идет. Знаете, что, Батюшков, — с сожалением посмотрел Медовар на уже готовую пирамидку. — Смывайтесь вы пока к чертовой матери, приходите через час, я вам покажу, где раки зимуют.

— Завтра покажете. Я пошел спать.

— Ну, вот видите. Опять пьян, как великомученица. Тьфу. — Медовар полез под бильярд, достал свой портфель. — Идемте в кабинет.

Лицо Медовара выражало искреннее возмущение.

— Вот, видите сами. Работнички. Я на вас, И.Л., буду крепко рассчитывать. Вы человек солидный. Вы себе представьте, придет инспекция из центра, так какие мы красавцы будем. Закопаемся к чертям. И Батюшкову не поздоровится. Этого еще мало, что он с Радецким в теннис играет и со всей головкой пьянствует. Если инспекция из центра...

— Я вижу, что вы, Я.С., человек на этом деле новый и несколько излишне нервничаете. Я сам из центра инспектировал раз двести. Все это ерунда, халоймес.

Медовар посмотрел на меня боком, как курица. Термин «халоймес» на одесском жаргоне означает халтуру, взятую, так сказать, в кубе.

— А вы в Одессе жили? — спросил он осторожно.

— Был грех. Шесть лет.

— Знаете что. И.Л., давайте говорить прямо, как деловые люди. Только чтобы, понимаете, между нами никаких испанцев.

— Ладно, никаких испанцев.

— Вы же понимаете, что мне вам объяснять? Я на такой ответственной работе первый раз, мне нужно класс показать. Это же для меня вопрос карьеры. Да, так что же у вас с Радецким?

Я сообщил, о своем разговоре с Радецким.

— Вот это замечательно. Что Якименко вас поддержал с этим делом, это хорошо. Но раз Радецкий вас знает, обошлись бы и без Якименки. Хотя вы знаете, Гольман очень не хотел вас принимать. Знаете, что? Давайте работать на пару. У меня, знаете, есть проект, только между нами. Здесь в управлении есть культурно-воспитательный отдел. Это же в общем вроде профсоюзного культпросвета. Теперь каждый культпросвет имеет своего инструктора. Это же неотъемлемая часть культработы, это же свинство, что наш КВО не имеет инструктора. Это недооценка политической и воспитательной роли физкультуры. Что, не правду я говорю?

— Конечно, недооценка. — согласился я.

— Вы же понимаете, им нужен работник. И не какой-нибудь, а крупного масштаба, вроде вас. Но если я вас спрашиваю, вы пойдете в КВО...

— Ходил. Не приняли.

— Не приняли! — обрадовался Медовар. — Ну, вот. Что я вам говорил? А если бы и приняли, так дали бы вам 30 рублей жалованья. Какой вам расчет? Никакого расчета. Знаете, И.Л., мы люди свои. Зачем нам дурака валять? Я же знаю, что вы по сравнению со мной мирового масштаба специалист. Но вы заключенный, а я член партии. Теперь допустите, что я получил бы место инспектора физкультуры при КВО, они бы мне дали 500 рублей. Нет, пожалуй, пятисот сволочи не дадут. Скажут, работаю по совместительству с Динамо. Ну, 300 рублей дадут. Дадут обязательно. Теперь так. Вы писали бы мне всякие там директивы, методические указания, инструкции и все такое; я бы бегал и все это оформлял. А жалование, понимаете, пополам. Вы же понимаете, И.Л., я вовсе не хочу вас грабить, но вам же, как заключенному, за ту же самую работу дали бы копейки. И я тоже не даром буду эти полтора рубля получать, мне тоже нужно будет бегать.

Медовар смотрел на меня с таким видом, словно я подозревал его в эксплуатационных тенденциях. Я смотрел на Медовара, как на благодетеля рода человеческого. Полтора рубля в месяц! Это для нас с Юрой по кило хлеба и литру молока в день! Это значит, что в побег мы пойдем не истощенными, как почти все, кто покушается бежать, у кого сил хватает на пять дней и потом гибель.

— Знаете что, Яков Самойлович, в моем положении вы могли бы мне предложить не полтора, а пятнадцать рублей, и я бы их взял. А за то, что вы предложили мне полтора да еще с извиняющимся видом, я вам предлагаю, так сказать, встречный промфинплан.

— Какой промфинплан? — слегка забеспокоился Медовар.

— Попробуйте заключить с Гулагом договор на книгу. Ну вроде «Руководства по физкультурной работе в исправительно-трудовых лагерях ГПУ» Писать буду я. Гонорар пополам. Идет?

— Идет! — восторженно сказал Медовар. — Вы, я вижу, не даром жили в Одессе. Честное мое слово, это же совсем великолепно. Мы, я вам говорю, мы-таки сделаем себе имя. То есть, конечно, с делаю я. Зачем вам имя в Гулаге? У вас и без Гулага имя есть. Пишите план книги и план работы в КВО. Я сейчас побегу в КВО Корзуна обрабатывать. Или нет, лучше не Корзуна. Корзун по части физкультуры совсем идиот. Он же горбатый. Нет, я сделаю так. Я пойду к Успенскому — это голова. Ну, конечно же, к Успенскому. Как я, идиот, сразу этого не сообразил? Ну, а вы, конечно, сидите без денег?

Без денег я, к сожалению, сидел уже давно.

— Так я вам завтра аванс выпишу. Мы вам будем платить 60 рублей в месяц. Больше не можем. Ей Богу, больше не можем. Мы же за вас и еще лагерю должны платить 180 рублей. Ну к сыну тоже что-нибудь назначим. Я вас завтра еще в столовку ИТР устрою.

БЕСПЕЧАЛЬНОЕ ЖИТЬЕ

Весна 1934 года, дружная и жаркая, застала нас с Юрой в совершенно фантастическом положении. Медовар реализовал свой проект, устроился «инспектором» физкультуры в КВО и мои 150 рублей выплачивал мне честно. Кроме того, я получал с Динамо еще 60 рублей и давал уроки физкультуры и литературы в техникуме. Уроки эти оплачивались уже по лагерным расценкам 50 копеек за академический час. Полтинник равнялся цене 30 грамм сахарного песка. Питались мы в столовой ИТР, которую нам устроил тот же Медовар, при поддержке Радецкого. Медовар дал мне бумажку начальнику отдела снабжения тов. Неймайеру.

В бумажке было написано: «Инструктор физкультуры не может работать, когда голодный». Почему когда голодный, может работать лесоруб и землекоп, я конечно, выяснять не стал. Кроме того, в бумажке была и ссылка «По распоряжению тов. Радецкого».

Неймайер встретил меня свирепо:

— Мы только что сняли со столовой ИТР сто сорок два человека. Так что же, из-за вас мы будем снимать сто сорок третьего?

— И сто сорок четвертого, — наставительно поправил я. — Здесь речь идет о двух человеках.

Неймайер посмотрел на одинаковые фамилии и понял, что вопрос стоит не об ударнике, а о протекции.

— Хорошо. Я позвоню Радецкому, — несколько мягче сказал он.

В столовую ИТР попасть было труднее, чем на воле в партию. Но мы попали. Было неприятно то, что эти карточки были отобраны у каких-то инженеров, но мы утешались тем, что это ненадолго и тем, что этим-то инженерам все равно сидеть, а нам придется бежать, и силы нужны. Впрочем, с Юриной карточкой получилась чепуха. Для него карточку отобрали у его же непосредственного начальства, директора техникума инж. Сташевского; и мы решили ее вернуть, конечно, нелегально, просто из рук в руки, иначе бы Сташевский этой карточки уже не получил, ее перехватили бы по дороге. Но Юрина карточка к тому времени не очень уж была и нужна. Я околачивался по разным лагерным пунктам, меня там кормили и без карточки, а Юра обедал за меня.

В столовой ИТР за завтрак давали примерно тарелку чечевицы; обед — более или менее съедобные щи с отдаленными следами присутствия мяса, какую-нибудь кашу или рыбу и кисель; на ужин — ту же чечевицу или кашу. В общем, очень не густо, но мы не голодали. Было два неудобства: комнатой Динамо мы решили не воспользоваться, чтобы не подводить своим побегом некоторых милых людей, о которых я в этих очерках предпочитаю не говорить вовсе. Мы остались в бараке; побегом оттуда мы подводили только местный актив, к судьбам которого мы были вполне равнодушны. Впрочем, впоследствии вышло так, что самую существенную помощь в нашем побеге нам оказал... начальник лагеря тов. Успенский, с какового, конечно, взятки гладки. Единственное, что ему после нашего побега оставалось, это посмотреть на себя в зеркало и обратиться к своему отражению с парой сочувственных слов. Кроме него ни один человек в лагере и ни в какой степени за наш побег отвечать не мог.

И еще, последнее неудобство. Я так и не ухитрился добыть себе «постельных принадлежностей» — набитого морской травой тюфяка и такой же подушки. Так все наше лагерное житье мы и проспали на голых досках. Юра несколько раз нажимал на меня, и эти «постельные принадлежности» не так уж трудно было получить. И я только позже сообразил, почему я их так и не получил. Инстинктивно не хотелось тратить ни капли нервов ни для чего, не имеющего прямого и непосредственного отношения к побегу. Постели к побегу никакого отношения не имели. В лесу придется спать похуже, чем на нарах.

В части писем, полученных мною от читателей, были легкие намеки на, так сказать, некоторую неправдоподобность нашей лагерной эпопеи. Не в порядке литературного приема, как это делается в начале

утопических романов, а совсем всерьез я хочу сказать следующее. Во всей этой эпопее нет ни одного выдуманного лица и ни одного выдуманного положения, фамилии действующих лиц за особо оговоренными — настоящие фамилии. Из моих лагерных встреч я вынужден был выкинуть некоторые весьма небезынтересные эпизоды, как например, всю свирьляговскую интеллигенцию, чтобы никого не подвести; по следам моего пребывания в лагере ГПУ не так уж трудно было бы установить, кто скрывается за любой вымышленной фамилией. Материал, данный в этих очерках, рассчитан в частности и на то, чтобы никого из людей, оставшихся в лагере, не подвести. Я не думаю, чтобы в этих расчетах могла быть какая-нибудь ошибка. А оговорку о реальности даже и неправдоподобных вещей мне приходится делать потому, что лето 1934 года мы провели в условиях поистине неправдоподобных.

Мы были безусловно сыты. Я не делал почти ничего. Юра не делал решительно ничего. Его техникум оказался такой же халтурой, как и Динамо. Мы играли в теннис, иногда и с Радецким, купались, забирали кипы книг, выходили на берег озера, укладывались на солнышке и читали целыми днями. Это было курортное житье, о каком московский инженер и мечтать не может. Если бы я остался в лагере, то по совокупности тех обстоятельств, о которых речь будет идти ниже, я жил бы в условиях такой сытости, комфорта и безопасности и даже... свободы, какие не доступны и крупному московскому инженеру. Мне все это лето вспоминалась фраза Марковича: если уж нужно, чтобы было ГПУ, так пусть оно лучше будет у меня под боком. У меня ГПУ было под боком, тот же Радецкий. Если бы не перспектива побега, я спал бы в лагере гораздо спокойнее, чем я спал у себя дома под Москвой. Но это райское житье ни в какой степени не противоречило тому, что уже в 15 верстах к северу целые лагпункты вымирили от цинги, что в 60-ти верстах к северу колонизационный отдел рассеял кулацкие семьи, целое воронежское село, потерявшее за время этапа свыше шестисот своих детишек, что еще в 20 верстах севернее была запиханная в безысходное болото колония из 4.000 беспризорников, обреченных на вымирание. Наше райское житье в Медгоре и перспективы такого материального устройства, какого я не знаю, добыюсь ли в эмиграции, ни в какой степени и ни на одну секунду не ослабляли нашей воли к побегу, как не ослабило ее и постановление от 7 июня 1934 года, устанавливающее смертную казнь за попутку покинуть социалистический рай. Можно быть не очень хорошим христианином, но все равно даже лучший паек ББК на фоне девочки со льдом в глотку как-то не лез...

ПО ШПАЛАМ

Методические указания для тов. Медовара занимали очень немного времени. Книги я, само собой разумеется и писать не с обирался, аванс получил сто рублей — единственное, что я остался должен советской власти. Впрочем и советская власть мне кое-что должна. Как-нибудь сосчитаемся.

Моей основной задачей был подбор футбольной команды для того, что Радецкий поэтически определил, как «вставку пера Ленинграду». В сущности вставить можно было, из трехсот тысяч человек можно было бы найти 11 футболистов. В Медгоре из управленческих служащих я организовал три очень слабые команды и для дальнейшего подбора решил осмотреть ближайшие лагерные пункты. Административный отдел заготовил мне командировочное удостоверение для проезда на пятый лагпункт; 16 верст к югу по железной дороге и 10 верст к западу в тайгу. На командировке стоял штамп:

«Следует в сопровождении конвоя».

— По такой командировке, — сказал я начальнику адмотдела, — никуда я не поеду.

— Ваше дело, — огрызнулся начальник. — Не поедете, вас посадят, не меня.

Я пошел к Медовару и сообщил ему об этом штампе; по такой командировке ехать — это значит подрывать динамовский авторитет.

— Так я же вам говорил, там сидят одни сплошные идиоты. Я сейчас позвоню Радецкому.

В тот же вечер мне эту командировку принесли, так сказать, на дом, в барак. О конвое в ней не было уже ни слова.

На проезд по железной дороге я получил 4 р. 74 коп., но пошел пешком, конечно: экономия, тренировка и разведка местности. Свой рюкзак я набил весьма основательно, для пробы, как подорожные патрули отнесутся к такому рюкзаку и в какой степени они будут его ощупывать. Однако, посты, охранявшие выходы из медгорского отделения социалистического рая, у меня даже и документов не спросили. Не знаю, почему.

Железная дорога петлями вилась над берегом Онежского озера. Справа, т. е. с запада, на нее наваливался бесформенный хаос гранитных обломков — следы ледников и динамита. Слева вниз к озеру уходили склоны, поросшие чаще всего кустарников. Дальше расстилалось бледно-голубое полотно озера, изрезанное бухтами, островами,

проливами. С точки зрения живописной этот ландшафт в лучах яркого весеннего солнца был изумителен. С точки зрения практической он производил удручающее и тревожное впечатление, как по таким джунглям и обломкам пройти 120 верст до границы?

Пройдя верст пять и удостоверившись, что меня никто не видит, я нырнул к западу в кусты на разведку местности. Местность была окаянная. Каменные глыбы, навороченные в хаотическом беспорядке. На них каким-то чудом росли сосны, ели, можжевельник, иногда осина и береза. Подлесок состоял из кустарника, через который приходилось не проходить, а пробираться. Кучи этих глыб вдруг обрывались какими-то гигантскими ямами, наполненными водой. Камни были покрыты тонким и скользким слоем мокрого мха. Потом верстах в двух камни кончились, и на ширину метров двухсот протянулось какое-то болото, которое пришлось обойти с юга. Дальше снова начинался поросший лесом каменный хаос, подымавшийся к западу каким-то невысоким хребтом. Я взобрался и на хребет. Он обрывался почти отвесной каменной стеной, метров 50 высоты. На верху были завалы, которые впоследствии в дороге стоили нам столько времени и усилий. Это был в беспорядке наваленный бурелом, сваленные бурями деревья с перепутавшимися ветками, корнями, сучьями. Пробраться вообще невозможно, нужно обходить. Я обошел. Внизу под стеной ржавело какое-то болото, поросшее осокой. Я кинул в него булыжник. Булыжник плюхнулся и исчез. Да, по таким местам бежать — упаси, Господи! Но с другой стороны, в такие места нырнуть, и тут уж никто не разыщет.

Я вышел на железную дорогу. Оглянулся. Никого. Прошел еще версты две и сразу почувствовал, что смертельно устал, ноги не двигаются. Возбуждение от первой прогулки на воле прошло, а месяцы одиночки, Урча, лагерного питания и нервов сказались. Я влез на придорожный камень, разостлал на нем свою кожанку, снял рубашку, подставил свою одряхлевшую за эти месяцы кожу под весеннее солнышко, закурил самокрутку и предался блаженству.

Хорошо. Ни лагеря, ни ГПУ. В траве деловито, как Медовар, суетились какие-то козявки. Какая-то пичужка со столько же деловитым видом перелетела с дерева на дерево и оживленно болтала сама с собой. Дела у нее явственно не было никакого, а болтает к мечется она просто так, от весны, от солнца, от радости птичьей своей жизни. Потом мое внимание привлекла белка, которая занималась делом еще более серьезным, ловила собственный хвост. Хвост удирал, куда глаза глядят, и белка в погоне за своим пушистым продолжением вьюном вертелась вокруг ствола мохнатой ели, рыжим солнечным зайчиком мелькала в ветвях. В этой игре она развивала чудовищное количество лошадиных

сил. Это не то, что я — верст 12 прошел и уже выдохся. Мне бы такой запас энергии, дня не просидел бы в СССР. Я приподнялся, и белочка заметила меня. Ее тоненький подвижной носик выглянул из-за ствола, а хвост остался там, где был, с другой стороны. Мое присутствие белке не понравилось. Она крепко выругалась на своем беличем языке и исчезла. Мне стало как-то и грустно и весело: вот живет же животино, и никаких тебе ГПУ.

ВОЛЬНОНАЕМНЫЕ

По полотну дороги шагали трое каких-то мужиков, один постарше, лет под 50, двое других помоложе, лет по 20-25. Они были невыразимо рваны. На ногах у двоих были лапти, на ногах у третьего рваные сапоги. Весь их багаж состоял из микроскопических узелков, вероятно, с хлебом. На беглецов из лагеря они как-то не были похожи. Подходя, мужики поздоровались со мной. Я ответил. Потом старший остановился и спросил:

— Спичек нетути, хозяин?

Спички были. Я вытащил коробку. Мужик перелез через канаву ко мне. Вид у него был какой-то конфузливый.

— А может быть и махорочка-то найдется? Я об спичках только так, чтобы посмотреть, каков человек есть.

Нашлась и махорочка. Мужик бережно свернул козью ножку. Парни робко топтались около, умильно поглядывая на махорку. Я предложил и им. Они с конфузливой спешкой подхватили мой кисет и так же бережно, не просыпая ни одной крошки, стали сворачивать себе папиросы. Уселись, закурили.

— Дён пять уже не куривши,— сказал старший. — Тянет, не дай, Господи!

— А вы откуда? Заключенные?

— Нет, по вольному найму работали, на лесных работах. Да нету никакой возможности. Еле живы вырвались.

— Заработать собирались, — саркастически сказал один из парней. — Вот и заработали, — он протянул свою ногу в рваном лапте. — Вот и весь заработок.

Мужик как-то виновато поежился.

— Да кто ж его знал.

— Вот то-то и оно, — сказал парень. — Не знаешь — не мути.

— Што ты все коришь? — сказал мужик. Приехали люди служащие, государственные, говорили толком, за кубометр погрузки — руль с полтиной. А как сюда приехали, хороша погрузка. За полверсты баланы таскать да еще и по болоту. А хлеба-то полтора фунта и шабаш и боле ничего, каши и той нету. Потаскаешь тут.

— Значит, завербовали вас.

— Да уж так завербовали, что дальше некуда.

— Одежу собирались справить, — ядовито сказал парень. — Вот тебе и одежда.

Мужик сделал вид, что не слышал этого замечания.

— Через правление колхоза, значит. Тут не поговоришь. Приказ вышел дать от колхоза сорок человек. Ну, кто куда. Кто на торфы подался, кто куда. И договор подписывали. Вот тебе и договор. Теперь дал бы Бог домой добраться.

— А дома-то что? — спросил второй парень.

— Ну, дома-то оно способнее, — не уверенно сказал мужик. — Дома-то оно, не пропадешь.

— Пропадешь в лучшем виде, — сказал ядовитый парень. — Дома для тебя пироги пекут. Приехал, дескать, Федор Иванович, заработок, дескать привез.

— Да и трудодней нету, — грустно заметил парень в сапогах. — Кто и с трудоднями, так есть нечего, а уж ежели и без трудодней, прямо ложись и помирай.

— А откуда вы?

— Да мы смоленские. А вы кто будете? Из начальства здешнего?

— Нет, не из начальства. Заключенный в лагере.

— Ах ты, Господи! А вот люди сказывают, что в лагере теперь лучше, как на воле. Хлеб дают. Кашу дают. А на воле? — продолжал мужик. — Вот тебе и воля. Сманили сюда в тайгу, есть не дают, одежи нету, жить негде, комары поедом едят, а домой не пускают, документа не дают. Мы уж Христом Богом молили, отпустите, видите сами — помрем мы тут. Отощавши мы еще из дому, сил нету, а баланы самые легкие пудов пять. Да еще по болоту. Все одно, говорю, помрем. Ну, пожалели, дали документ. Вот так и идем, где хлеба просим, где что. Верстов с пятьдесят на чугунке проехали. Нам бы до Питера добраться.

— А в Питере что? — спросил ядовитый парень. — Накормят тебя в Питере, как же.

— В Питере накормят, — сказал я. — Я еще не видал примера, чтобы недоедающий горожанин отказал в куске хлеба голодающему мужику. Год тому назад до паспортизации столицы были запружены нищенствующими малороссийскими мужиками. Давали и им.

— Ну, что ж. Придется христарадничать. — Покорно сказал мужик.

— Одежу думал справить, — повторил ядовитый парень. — А теперь что и было, разлезлось. Домой голышом придем. Ну, пошли что ли?

Трое вольных граждан СССР поднялись на ноги. Старший умильно посмотрел на меня. — А, может, хлебца лишнего нету?

Я сообразил, что до лагпункта я могу пойти и не евши, а там уж как-нибудь накормят. Я развязал свою рюкзак, достал хлеб. Вместе с хлебом лежал завернутый кусок сала, граммов на сто. При виде сала у мужика дыханье сперло. «Сало! Вишь ты, Господи Боже!» Я отдал мужикам и сало. Кусочек был с аптекарской точностью поделен на три части. — Вот это, значит, закусим. — восторженно сказал мужик. — Эх ты, на што уж эсесерия, а и тут добрые люди не перевелись.

Вольнонаемные ушли. Белочка снова выглянула из-за елового ствола и уставилась на меня бусинками своих глаз. Бусинки как будто говорили: что, культуру строите? В Бога веруют? Науки развиваете? Ну и дураки.

Возражать было трудно. Я оделся, навьючил на спину свой рюкзак и пошел дальше.

Верстах в двух, за поворотом дороги я наткнулся на своих мужичков, которых обыскивал ВОХРовский патруль; один ВОХРовец ощупывал, другой осматривал документы, третий стоял шагах в десяти с винтовкой наизготовку. Было ясно, что будут проверять и меня. Документы у меня были в полном порядке, но бесчисленные обыски, которым я, как и каждый гражданин самой свободной республики в мире подвергался на своем веку, выработали вместе привычки какую-то особенно отвратительную, нервную, рабью дрожь перед каждой такой проверкой даже и в тех случаях, когда такая проверка никакого решительно риска за собою не влекла, как было и в данном случае. И сейчас же в мозгу привычный советский условный рефлекс — как бы этак извернуться?

Я подошел к группе ВОХРовцев, стал, засунув руки в карманы и посмотрел на все происходящее испытующим оком.

— Что бегунков подцепили?

Вохровец недовольно оторвался от документов.

— Черт его знает, может и бегунки. А вы кто? Из лагеря?

Положение несколько прояснилось. ВОХРовец спросил не грубо: «Вы заключенный?», а дипломатически: «Вы не из лагеря?»

— Из лагеря. — ответил я административным тоном.

— Черт его знает, — сказал ВОХРовец. — Документы-то какие-то липоватые.

— А ну-ка покажите-ка их сюда?

Вохровец протянул мне несколько бумажек. В них нелегко было разобраться и человеку с несколько большим стажем, чем ВОХРовец. Тут было все, что навьючивает на себя многострадальный советский гражданин, действующий по принципу: маслом каши не испортишь. Черт его знает, какая именно бумажка может показаться наиболее убедительной носителям власти и наганов. Был же у меня случай, когда от очень неприятного ареста меня спас сезонный железнодорожный билет, который для властей наиболее убедительно доказывал мою самоличность, и это при наличии паспорта, профсоюзной книжки, постоянного удостоверения газеты «Труд», ее командировочного удостоверения и целой коллекции бумажонок более мелкого масштаба. Исходя из этого принципа, один из парней захватил с собой и свидетельство Загса о рождении у него дочки Евдокии. Евдокия помогала плохо. Самый важный документ, увольнительное свидетельство, было выдано профсоюзом, а профсоюз таких удостоверений выдавать не имеет права. И, вообще, бумажка была, как говорил ВОХРовец, липоватая. Во многих местах СССР, не везде, но почти везде, крестьянин, отлучающийся за пределы своего района, должен иметь увольнительное удостоверение от сельсовета; они выдаются обычно за литр водки. За такой литр получил свою бумажку и этот парень, по лицу его видно было, что за эту-то бумажку он боялся больше всего; парень стоял ни жив, ни мертв.

— Нет, — сказал я чуть разочарованным тоном. — Бумаги в порядке. С каких вы разработок? — сурово спросил я мужика.

— Да с Мессельги, — ответил мужик робко.

— А кто у вас там прораб? Кто предрабочкома? — словом, допрос был учинен по всей форме. ВОХРовцы почувствовали, что перед ними лицо административного персонала.

— Обыскивали? — спросил я.

— Как же.

— А сапоги у этого снимали?

— Нет, об сапогах позабыли. А ну ты, сымай сапоги.

В сапогах, конечно, не было ничего. Но бумажка была забыта.

— Ну, пусть топают. — сказал я. — Там на Званке разберутся.

— Ну, катись катышом, — сказал старший из ВОХРовцев.

Патруль повернулся и пошел на север, документов у меня так и не спросил. Мы с мужиками пошли дальше на юг. Отойдя с версту, я сделал парнишке свирепое внушение, чтобы другой раз не ставил литра водки, кому не нужно, чтобы по пути отставал на полверсты от своих товарищей и, буде последние наткнутся на патруль, нырять в кусты и обходить стороной. Что касается линии реки Свирь и Званки, то тут я никаких путных советов дать не мог, я знал, что эти места охраняются особенно свирепо, но более подробных данных у меня не было. Парень имел вид пришибленный и безнадежный.

— Так ведь никак же не отпускали. Я там одному действительно поставил не литр, на литр денег не хватило, поллитра. Разве ж я знал.

Мне оставалось только вздохнуть. И этот мужик, и эти парни — это не Акульшин. Эти пропадут. Им не только до Свири, а и до Петрозаводска не дойти. Пожилой мужичок был так растерян, что на мои советы только и отвечал:

— Да-да, как же, как же. Понимаем, понимаем.

Но он и плохо слушал и не понимал вовсе их. Парень в сапогах жалобно скулил на свою судьбу, жаловался на жуликов из рабочкома, зря вылакавших его поллитровку. Ядовитый парень шагал молча и свирепо. Мне стало как-то очень тяжело. Я распрощался со своими спутниками и пошел вперед.

ПЯТЫЙ ЛАГПУНКТ

Пятый лагпункт был наиболее привилегированным из производственных пунктов ББК. Занимался он добычей кокор. Кокора — это ствол хвойного дерева с отходящим от него приблизительно под прямым углом крупным корневищем. Кокоры эти шли для шпангоутов и форштевней всякого рода барок, барж, баркасов и всего прочего, что строилось на Пинужской, Сорокской и Кемской верфях ББК. Технические требования к этим кокорам были довольно суровы. Иногда из сотни стволов пригодных оказывалось 30, иногда только 3. А без кокор все эти верфи с их 6—7-ю тысячами заключенных рабочих были обречены на бездействие.

Ввиду этого пятый лагпункт находился на некоем своеобразном хозрасчете. Он обязан был поставить столько-то кокор в месяц и получал за это столько-то продовольствия. Во внутренние дела пункта лагерь

почти не вмешивался, и начальник пункта тов. Васильчук изворачивался там в меру разумения своего, еще больше в меру изворотливости своей. Изворотливости же у него были большие запасы. И заботливости тоже. В силу этого обстоятельства лагпункт питался вполне удовлетворительно, не хуже, чем питаются рабочие московских заводов. И кроме того для добычи кокор требовались очень сильные люди, ибо приходилось возиться не с баланами, а с целыми стволами. Ввиду всего этого я твердо рассчитывал на то, что на пятом лагпункте я уж подыщу людей, необходимых для «вставки пера Ленинграду».

Начальник лагпункта т. Васильчук был типом весьма необычным для советской администрации. Петербургский рабочий, бывший коммунист, он получил три года за какое-то участие в каком-то партийном уклоне и шесть лет уже просидел. Дальнейшие года ему добавлялись автоматически. Одну такую бумажку он как-то получил при мне. В бумажке было написано просто и прозаически: «На основании постановления ПП ГПУ от такого-то числа, за номером таким-то предлагается вам объявить под расписку з-к Васильчуку А.А., что срок его заключения продлен до...»

И точка. Васильчук получил уже четвертую, как он говорил, годовую отсрочку. Он флегматически подмахнул свою подпись под этой бумажкой и сказал:

— Вот, значит и объявил под расписку. Это попасть сюда просто. А выбраться, это еще придется подождать.

Бывших коммунистов, высланных сюда не за воровство, не за убийство, не за изнасилование, а за неповиновение мановениям сталинской власти, не выпускают, по-видимому, никогда и не собираются выпускать. Васильчук же не собирался каяться.

— И вот, буду я сидеть здесь до скончания, — говорил он. — Сволочь, та пусть кается, а мы пока здесь посидим. Ей Богу, чем на хлебозаготовки езжать, лучше уж здесь сидеть. А физкультурой буду заниматься обязательно, иначе сгниешь тут ко всем чертям и мировой революции не увидишь. А мировую революцию хорошо бы повидать. Вот, кабачок будет! А!

Пятый лагпункт я посетил всего 4 раза, но с Васильчуком у нас сразу же установились отношения не очень интимные, но во всяком случае дружественные. Во-первых, Васильчуку и его помощнику бухгалтеру здесь была тоска смертная и во-вторых, моя физкультурная специальность была встречена на пятом лагпункта с такими же симпатиями и упованиями, с какими она встречалась на заводах, в вузах и во многих других местах.

НЕМНОГО О ФИЗКУЛЬТУРЕ

В России есть целый ряд положительных явлений, которые власть засчитывает в список своих достижений. Сюда войдет и укрепление семьи, и более здоровая сексуальная жизнь молодежи, и парашютистки, и тяга к учебе, и многое другое, в том числе и физкультура. Эмигрантская печать напрасно берет этот термин в иронические кавычки. Это нужный термин. Он охватывает все то, что служит человеческому здоровью. Это будет гимнастика в том смысле, в каком Платон противопоставлял ее медицине. Интерес к физкультуре существует огромный, в старой России не виданный. Этот интерес, как и семья, и парашютистки, и многое другое, возник не в результате усилий власти, а как реакция на прочие ее достижения. Рабочие, надорванные непосильным трудом, студенты, изъеденные туберкулезом, служащие, очумелые от вечных перебросок и перестроек — все это недоедающее, истрепанное, охваченное тем, что по официальному термину зовется советской изношенностью, с жадностью совершенно естественной в их положении тянется ко всему, что может поддерживать их растрачиваемые силы.

Я хотел бы привести один пример, который, как мне кажется, может внести некоторую ясность в диалектику советских достижений.

В декабре 1928 года я обследовал лыжные станции Москвы. Обследование выяснило такие факты. Рядовые служащие по своим выходным дням часов с семи-восьми утра приезжают на лыжные станции и становятся в очередь за лыжами. Стоят и два и три и четыре часа, иногда получают лыжи, иногда не получают. Лыж не хватает, потому что власть на их же, этих рабочих и служащих, деньги строит предназначенные для втирания очков стадионы и не строит предназначенных для массы лыжных станций и фабрик. Так она не строит их и до сих пор. Но каждому иностранцу власть может показать великолепный стадион Динамо и сказать: вот наши достижения. Стадион Динамо обошелся около 12 миллионов рублей, и это при условии использования почти бесплатного труда заключенных. А лыжных станций под Москвой путных, хотя и маленьких, только две. Одна военного ведомства, другая союза служащих, построенная мною в результате жестокой борьбы и существенного риска. Стадион занят публикой раза три в год, а остальные 360 дней пуст абсолютно. Лыжные станции работают ежедневно и с работой справиться не могут. Гимнастического зала в Москве нет почти ни одного.

Живая потребность масс в физкультуре, вызванная не усилиями власти, а условиями жизни, остается удовлетворенной по моим

подсчетам примерно на 10-12 процентов. Но перед самым арестом я все еще пытался воевать, правда, уже очень нерешительно, против проекта постройки в Измайловском зверинце гигантского физкультурного комбината с коллизейного типа стадионами на 360.000 сидячих мест! Стоимостью в 60 млн. рублей при использовании того же труда заключенных. Кажется, что этот комбинат все-таки начали строить.

Если вы вместо физкультуры возьмете тягу к учебе, то вы увидите, как оба эти явления рождаются и развиваются по строго параллельным линиям. Тяга к учебе родилась, как реакция против данных советских условий жизни, она охватывает десятки миллионов, и она остается не удовлетворенной: школ нет, учебников нет, программ нет, преподавателей нет. Даже и те школы, которые числятся не только на бумаге, а бумажных школ очень много, отымают у молодежи чудовищное количество времени и сил и не дают почти ничего. Результаты этого обучения видны по тем выдержкам из «Правды», которые время от времени приводятся на страницах эмигрантских газет. Школьные здания даже в Москве заняты в три смены и уже к середине второй смены в классах решительно нечем дышать, и ребята уже не соображают ничего. Но стадионы строятся, а школ нет. Строятся канцелярии, интуристские гостиницы, дома советов и союзов. Но даже в Москве за семь лет моего там пребывания было построено не то 4, не то 5 новых школьных зданий. И уже под Москвой, хотя бы в той же Салтыковке с ее 10-12 тысячами жителей и с двумя школами власть не в состоянии поддерживать существующих школьных зданий.

Объяснять все это глупостью советского режима было бы наивно. Советский режим, что бы ни говорили, организован не для нужд страны, а для мировой революции. Нужды страны ему по существу безразличны. Я не представляю себе, чтобы с какой бы то ни было другой точки зрения можно было логически объяснить и историю с лыжными станциями и историю со школами и эпопею с коллективизацией и трагедию с лагерями. Но если вы станете именно на эту точку зрения, то весь советский быт и в мелочах и в гигантах получает логическое и исчерпывающее объяснение. Оно может нравиться и может не нравиться. Но я думаю, другого не найти.

Пятый лагпункт в силу своеобразного сцепления обстоятельств, несколько изолированный от действий всесоюзного кабака, был сыт. И когда месяцем позже я пришел сюда уже не для вылавливания футболистов, а для организации физкультуры, полуторатысячная масса лагерного населения в течение одного выходного дня построила гимнастический городок и выровняла три площадки для волейбола. В карельских условиях это была весьма существенная работа. Приходилось

выворачивать камни по 5-10 тонн весом и таскать носилками песок для засыпки образовавшихся ям. Но эта работа была сделана быстро и дружно. Когда я стал проводить занятия по легкой атлетике, то выяснилось, что из людей, пытавшихся толкать ядро, 6 человек без всякой тренировки и уж, конечно, без всякого стиля толкнули его за 11 метров. Какой-то крестьянин средних лет в сапогах и арестантском платье тоже без тренировки и тоже без стиля, прыгнул в длину 5,70, он же толкнул ядро на 11,80. Это и есть та черноземная сила, которая русским дореволюционным спортом не была затронута совершенно, но которая при некоторой тренировке могла бы не оставить ни одной стране ни одного мирового рекорда. Я не могу об этом говорить с цифрами в руках, как могу говорить о рекордах, но я совершенно уверен в том, что в этом черноземе не только физическая сила. Отсюда шли Мамонтовы, Морозовы, Рябушинские, Репины. Если сейчас физическая сила подорвана зверски, то интеллектуальная сила этого чернозема, закаленная полутора десятилетиями чудовищного напряжения и опыта, планами и разочарованиями, советской агитацией и советской реальностью, построит такую будущую Россию, о какой нам сейчас трудно и мечтать. Но это в том случае, если физических сил хватит.

«СЕКРЕТ»

Из пятого лагпункта я возвращался в Медгору пешком. Стояло очаровательное весеннее утро, такое утро, что не хотелось думать ни о революции, ни о побеге. По обочинам дороги весело болтали весенние ручейки, угрюмость таежного болота скрашивалась беззаботной болтовней птичьего населения и буйной яркостью весенних цветов. Я шел и думал о самых веселых вещах, и мои думы были прерваны чьим-то возгласом:

— Халё, тов. Солоневич, не узнаете?

Узнавать было некого. Голос исходил откуда-то из-за кустов. Там была густая тень, и мне с моей освещенной солнцем позиции не было видно ничего. Потом из кустов выполз какой-то ВОХРовец с винтовкой в руке и с лицом, закрытым накомарником — густой тюлевой сеткой от комаров.

— Не узнаете? — повторил ВОХРовец.

— Вы бы еще медок на голову накрутили, с овеем легко было бы узнать.

Вохровец снял свой накомарник, и я узнал одного из уроков, в свое время околачивавшегося в третьем лагпункте.

— Как это вы в ВОХР попали? Перековались?

— Перековался к чертовой матери, — сказал урка. — Не житье, а масленица. Лежишь этак цельный день животом вверх. Пташки всякие бегают.

— Что, в секрете лежите?

— В секрете. Бегунков ловим. Махорочки у вас разжиться нельзя? Посидим, покурим. Степка, катай сюда.

Из-под того же куста вылез еще один ВОХРовец, мне не знакомый. Сели, закурили.

— А много вы этих бегунков ловите? — спросил я.

— Чтоб очень много, так нет. А ловим. Да тут главное дело не в ловле. Нам бы со Степкой тут до конца лета доболтаться, а потом айда в Туркестан, в теплые края.

— Выпускают?

— Не, какое там! Сами по себе. Вот сидим, значит и смотрим, как и где какие секреты устроены. Да тут, главное дело, только по дороге и пройти можно; как сажень сто в сторону, так никакая сила, болото. А где нет болота, так вот секреты, вроде нас. Под кустиком яма, а в яме ВОХРа сидит. Все видит, а не видеть.

Слышать о таких секретах было очень неудобно. Я пораспросил урку о их расстановке, но урка и сам не много знал, да и секреты вокруг пятого лагпункта меня не очень интересовали.

А воображение уже стало рисовать. Вот идем мы так с Юрой, и из-под какого-нибудь кустика: «А ну, стой!» И тогда гибель. Весенние краски поблекли. И мир снова стал казаться безвыходно, безвылазно советским.

СЛЕТ УДАРНИКОВ

Я пришел в Медгору светлым весенним вечером. Юры в бараке не было. На душе было очень тоскливо. Я решил пойти послушать «Вселагерный слет лучших ударников ББК», который готовился уже давно, а сегодня вечером открывался в огромном деревянном здании клуба ББК.

Конечно, переполненный зал. Конечно, доклады. Доклад начальника производственной части Вержбицкого о том, как мы растем: как растут совхозы ББК, добыча лесов, гранита, шуньгита, апатитов, как растет стройка туломской электростанции, сорокского порта, стратегических шоссе к границе. Что у нас будет по плану через год, через три года. «К концу второй пятилетки мы будем иметь такие-то и такие-то достижения... В начале третьей пятилетки мы будем иметь...»

Вторая пятилетка должна была по плану ликвидировать классы и как будто бы вследствие этого ликвидировать и лагерь. Но из доклада явствует во всяком случае одно: количество каторжных рабочих рук должно расти, по крайней мере в уровень с остальными темпами социалистического роста. Если и сейчас этих рук что-то около трехсот тысяч пар, то что же будет «в условиях дальнейшего роста»?

Потом доклад начальника КВО тов. Корзуна: как мы перевоспитываем, как мы перековываем. Советская исправительная система построена не на принципе наказания, а на принципе трудового воздействия. Мы не караем, а внимательным товарищеским подходом прививаем заключенным любовь к свободному, творческому социалистическому труду.

В общем, Корзун говорит всего же, что в свое время по поводу открытия Беломорско-Балтийского канала писал Горький. Но с одной только разницей: Горький врал в расчете на неосведомительность «вольного населения» России и паче всего заграницы. На какую же публику рассчитывает Корзун? Здесь все знают об этой исправительной системе, которая «не карает, а перевоспитывает», здесь все знают то, что знаю уже я — и девятнадцатые кварталы и диковские овраги и бессудные расстрелы. Многие знают и то, чего я еще не знаю, и Бог даст, не успею узнать — штрафные командировки вроде Лесной Речки, роты усиленного режима с полуфунтом в день хлеба и с официальным правом каждого начальника колонны на смертный приговор, страшные работы на морсплаве около Кеми, где люди зимой по суткам подряд работают по пояс в ледяной воде незамерзающих горных речек. Эта аудитория все это знает. И ничего. И даже аплодируют. Да, в советской истории поставлено много мировых рекордов, но уж рекорд наглости поставлен поистине всемирно-исторический. Так врать и так к этому вранью привыкнуть, как врут и привыкли ко вранью в России, этого, кажется, не было еще нигде и никогда.

Потом на сцене выстраивается десятка три каких-то очень неплохо одетых людей. Это ударники, отличники, лучшие из лучших. Гремит музыка и аплодисменты. На грудь этим людям Корзун торжественно цепляет ордена Белморстроя, что в лагере соответствует примерно ордену Ленина. Корзун столь же торжественно пожимает руки «лучшим из лучших» и представляет их публике: вот Иванов, бывший вор, создал образцовую бригаду, перевыполнял норму на столько-то процентов, вовлек в перевоспитание столько-то своих товарищей. Ну и так далее. Лучшие из лучших горделиво кланяются публике. Публика аплодирует, в задних рядах весело посмеиваются, лучшие из лучших выходят на трибуну и повествуют о своей перековке. Какой-то парень

цыганского вида говорит на великолепном одесском жаргоне, как он воровал, нюхал кокаин, червонцы поддельвал, и как он теперь на великой стройке социалистического отечества понял, что... и т. д. Хорошо поет собака, убедительно поет. Уж на что я стреляный воробей, а и у меня возникает сомнение, черт его знает, может быть и в самом деле перековался. Начинаются клятвы в верности отечеству всех трудящихся, предстоит торжественное заключение каких-то социалистически-соревновательных договоров, я кое-что по профессиональной привычке записываю в свой блокнот; записанное все-таки не так забывается, но чувствую, что дальше я уже не выдержу. Максимальная длительность советских заседаний, какую я мог выдержать, это два часа. Затем тянет на стенку лезть.

Я пробрался сквозь толпу, загораживавшую вход в зал. У входа меня остановил ВОХР: «Куда это до конца заседания? Заворачивай назад». Я спокойно поднес к носу ВОХРа свой блокнот: на радио сдавать. ВОХРа, конечно, ничего не поняла, но я вышел без задержки.

Решил зайти в Динамо, не без некоторой задней мысли выпить там и закусить. Из комнаты Батюшкова услышал голос Юры. Зашел. В комнате Батюшкова была такая картина. На столе стояло несколько водочных бутылок, частью еще полных. Там же была навалена всякая снедь, полученная из вольнонаемной чекистской столовой. За столом сидел начальник оперативной части медгорского отделения ГПУ Подмоклый в очень сильном подпитии, на кровати сидел Батюшков в менее сильном подпитии. Юра пел немецкую песенку: «Jonny, wenn du Geburstag hast».

Батюшков аккомпанировал на гитаре. При моем входе Батюшков прервал свой аккомпанемент и, неистово бряцая струнами, заорал выученную у Юры же английскую песенку:

«Oh my, what a rotten song».

Закончив браурный куплет, Батюшков встал и обнял меня за плечи:

— Эх, люблю я тебя, Ваня. Хороший ты, сукин сын, человек. Давай-ка, брат, дербалызнем!

— Да, — сказал начальник оперативной части тоном, полным глубочайшего убеждения, — дербалызнуть нужно обязательно.

Дербалызнули. Белая ночь часа этак в три осветила такую картину.

По пустынным улицам Медгоры шествовал начальник оперативной части медгорского отделения ББК ГПУ, тщательно поддерживаемый с двух сторон двумя заключенными, с одной стороны

Солоневичем Юрием, находившимся в абсолютно трезвом виде и с другой стороны Солоневичем Иваном, в абсолютно трезвом виде не находившемся. Мимохожие патрули оперативной части ГПУ ухмылялись умильно и дружелюбно.

Такого типа «действия» совершались в Динамо еженощно с неукоснительной правильностью, и как выяснилось, Батюшков в своих предсказаниях о моей грядущей динамовской жизни оказался совершенно прав. Технически же все это объяснялось так.

Коммунист или не коммунист, а выпить хочет. Выпивать в одиночку — тоска. Выпивать с коммунистами — рискованно. Коммунист коммунисту если и не всегда волк, то уж конкурент во всяком случае. Выпьешь, ляпнешь что-нибудь не вполне генерально-линейное и потом смотришь, подвох и потом смотришь, на какой-нибудь чистке ехидный вопросец: «А не помните ли вы, товарищ, как... и т. д.» Батюшков же никакому чекисту ни с какой стороны не конкурент. Куда деваться, чтобы выпить, как не к Батюшкову? У Батюшкова же денег явственно нет. Потому вот приходит начальник оперативной части и из делового своего портфеля начинает извлекать бутылку за бутылкой. Когда бутылки извлечены, начинается разговор о закуске. Отрывается несколько талонов из обеденной книжки в чекистскую столовую и приносится еда такого типа свинина, жареная тетерка, беломорская семга и так далее, несколько вкуснее даже ИТРовского меню. Всем присутствующим пить полагается обязательно; Юра от этой повинности уклонился, ссылаясь на то, что после одной рюмки он петь больше не может. А у Юры был основательный запас песенок Вертинского, берлинских шлягеров и прочего в этом же роде. Все это было абсолютно ново, душещипательно, и сидел за столом какой-нибудь Подмоклый, который на своем веку убил больше людей, чем добрый охотник зайцев и проливал слезу в стопку с недопитой водкой. Все это вместе взятое особо элегантно не имело. Я вовсе не собираюсь утверждать, что к выпивке и закуске даже и в такой компании меня влекли только деловые мотивы, но во всяком случае за месяц этих мероприятий Юра разузнал приблизительно всё, что нам было нужно: о собаках ищейках, о секретах, сидевших по ямам и о патрулях, обходивших дороги и тропинки, о карельских мужиках. Здесь, в районе лагеря, этих мужиков оставляли только особо проверенных и им за каждого пойманного или выданного беглеца давали по кулю муки. Впрочем, должен сказать, что расписывая о мощи своей организации и о том, что из лагеря не то, что человек, а и крыса не убежит, оперативники ввали сильно. Однако, общую схему охраны лагеря мы кое-как выяснили.

С этими пьянками в Динамо были связаны и наши проекты добыть оружие для побега. Из этих проектов так ничего и не вышло. И однажды, когда мы вдвоём возвращались под утро домой в свой барак, Юра сказал мне:

— Знаешь, Ва, когда мы, наконец, попадём в лес по дороге к границе, нужно будет устроить какой-нибудь обряд омовения что ли. Омыться от всего этого.

Такой обряд Юра впоследствии и сымпровизировал. А пока что мы в Динамо ходить перестали. Предлог был найден более, чем удовлетворительный — приближается де лагерная спартакиада, о которой речь будет дальше, и надо тренироваться к выступлению. И кроме того, побег приближался, нервы сдавали всё больше и больше, и за свою выдержку я уже не ручался. Пьяные разговоры оперативников и прочих, их бахвальство силой своей всеподавляющей организации, их цинизм, с которого в пьяном виде сбрасывались решительно всякие покровы идеи, и оставалась голая психология всемогущей шайки платных, профессиональных убийц, вызывали припадки ненависти, которая слепила мозг. Но семь лет готовиться к побегу и за месяц до него быть расстрелянным за изломанные кости какого-нибудь дегенерата, на место которого других дегенератов найдётся сколько угодно, было бы слишком глупо. С динамовской аристократией мы постепенно прервали всякие связи.

ПЕРЕКОВКА В КАВЫЧКАХ

В здании культурно-просветительного отдела две огромных комнаты были заняты редакцией лагерной газеты «Перековка». Газета выходила три раза в неделю и состояла из двух страниц формата меньше половины полосы парижских эмигрантских газет. Постоянный штат редакционного штаба состоял из 16-ти полуграмотных лоботрясов, хотя со всей работой этой совершенно свободно мог справиться один человек. При появлении в редакции постороннего человека все эти лоботрясы немедленно принимали священнодейственный вид, точно так же, как это делается и вольных советских редакциях и встречали гостя официально недружелюбными взглядами. В редакцию принимались люди особо проверенные и особо заслуженные, исключительно из заключённых; пользовались они самыми широкими привилегиями и возможностями самого широкого — шантажа и в свою среду предпочитали никаких конкурентов не допускать. В те дни, когда подпорожский Маркович пытался устроить меня или брата в совсем уж захудалой редакции своей подпорожской шпаргалки, он завёл на эту тему разговор с приехавшим из Медгоры «инструктором» центрального издания «Перековки» неким

Смирновым. Несмотря на лагерь, Смирнов был одет и выбрит так, как одеваются и бреются советские журналисты и кинорежиссёры. Краги, бриджи, пёстрая «апашка», бритые усы и подбородок и под подбородком этакая американская бороденка. Круглые черные очки давали последний культурный облик импозантной фигуре «инструктора». К предложению Марковича он отнёсся с холодным высокомерием.

— Нам роли не играет, где он там на воле работал. А с такими статьями мы его в редакцию пущать не можем.

Я не удержался и спросил Смирнова, где это он на воле учился русскому языку; для журналиста русский язык не совсем уж бесполезен. От краг, апашки и очков Смирнова излились потоки презрения и холода.

— Не у вас учился.

Увы, кое-чему поучиться у меня Смирнову всё-таки пришлось.

В Медвежьей Горе я в «Перековку» не заходил было вовсе, в первое время ввиду безнадежности попыток устройства там, а в динамовские времена ввиду полной ненужности мне этой редакции. Однако, Радецкий как-то заказал мне статью о динамовской физкультуре с тем, чтобы она была помещена в «Перековке». Зная, что Радецкий в газетном деле не смыслит ни уха, ни рыла, я для чистого издевательства сделал так: подсчитал число строк в «Перековке» и ухитрился написать такую статью, чтобы она' весь номер заняла целиком. Должен отдать себе полную справедливость, статья была написана хорошо, иначе бы Радецкий и не поставил на ней жирной краской надписи: «Ред. газ. Пер. Поместить немедленно целиком».

«Целиком» было подсказано мной. «Я, видите ли, редакционную работу знаю. Парни-то в «Перековке» не больно грамотные, исковеркают до полной неузнаваемости».

С этой статьей, резолюцией и с запасами некоторого ехидства на душе я пришёл в редакцию «Перековки». Смирнов уже оказался её редактором. Его очки стали ещё более черепаховыми и борода ещё более фотогеничной. Вместо прозаической папиросы из угла его рта свешивалась стилизованная трубка, из которой неслась махорочная вонь.

— Ах, это вы! Да я вас, кажется, где-то видал. Вы, кажется, заключённый.

Что я был заключённым, это было видно решительно по всему моему облику. Что Смирнов помнил меня совершенно ясно, в этом для меня не было никаких сомнений.

— Да, да, — сказал подтверждающе Смирнов, хотя я не успел произнести ни одного слова, и подтверждать было решительно нечего. — Так что, конкретно говоря, для вас угодно?

Я молча подвинул себе стул, неспешно уселся на него, неспешно стал вытаскивать из карманов разного рода бумажное барахло и уголком глаза поглядывать, как этот дядя будет реагировать на мой стиль поведения. Трубка в углу рта дяди отвисла ещё больше, а американская бороденка приняла ершистое и шетинистое выражение.

— Ну—с, так в чём дело, молодой человек?

Я был всё-таки минимум лет на десять старше его, но на молодого человека я не ответил ничего и продолжал медленно перебирать бумажки. Только так мельком, уголком глаза бросил на «главного редактора» центрального издания «Перековки» чуть-чуть предупреждающий взгляд. Взгляд оказал своё влияние. Трубка была передвинута чуть-чуть ближе к середине рта.

— Рукопись принесли?

Я достал рукопись и молча протянул её Смирнову. Смирнов прежде всего внимательно изучил резолюцию Радецкого и потом перелистал страницы. Страниц на пишущей машинке было семь, как раз на обе полосы «Перековки». На лице Смирнова выразилось профессиональное возмущение.

— Мы не можем запихивать весь номер одной статьёй.

— Дело не моё. Радецкий поэтому-то и написал «целиком», чтобы вы не вздумали её сокращать.

Смирнов вынул трубку изо рта и положил её на стол. Ещё раз перелистал страницы — как раз на цельный номер.

— Вы, вероятно, полагаете, что Радецкий не знает размеров «Перековки»? Словом, рукопись с резолюцией я вам передал, будьте добры — расписку в получении.

— Никаких расписок редакция не даёт.

— Знаю. А расписку-то всё-таки пожалуйста. Потому что если со статьёй выйдут какие-нибудь недоразумения, так уговаривать вас о помещении ее будет Радецкий. Я заниматься этим не собираюсь. Будьте добры расписку, что я вам передал и статью и приказ. Иначе от вас расписку потребует третья часть.

Борода и очки Смирнова потеряли фотогеничный вид. Он молча написал расписку и протянул ее мне. Расписка меня не удовлетворила: «Будьте добры написать, что вы получили статью с резолюцией». Смирнов посмотрел на меня зверем, но расписку переписал. Очередной номер «Перековки» вышел в идиотском виде — на весь номер одна статья и больше не влезло ни строчки; размер статьи я рассчитал очень точно. За этот номер Корзун аннулировал Смирнову полгода его

«зачётов», которые он заработал перековками и доносами, но к Радецкому никто обратиться не посмел. Я же испытал некоторое, хотя и слабое моральное удовлетворение. После этого номера я не был в редакции «Перековки» недели три.

На другой день после этого слета «лучших ударников», о котором я уже говорил; я поплёлся в «Перековку» сдавать ещё одну халтуру по физкультурной части, тоже с пометкой Радецкого. На этот раз Смирнов не делал американского вида и особой фотогеничностью от него не несло. В его взгляде был укор и почтение. Я вспомнил кольцовские формулировки о «платных перьях буржуазных писак» (Кольцов в «Правде» пишет, конечно, «бесплатно») и думал о том, что нигде в мире и никогда в мире до такого унижения печать все-таки не доходила. Я журналист по наследству, по призванию и по профессии, и у меня даже и после моих советских маршрутов осталось какое-то врождённое уважение к моему ремеслу. Но что вносят в это ремесло товарищи Смирновы и иже с ними?

— Заметочку принесли?

Принимая во внимание мою статью, за которую Смирнов получил лишние полгода, уменьшительное «заметочка» играло ту роль, какую в собачьей драке играет небезызвестный прием: пёсик, чувствуя, что дело его совсем дрянь, опрокидывается на спинку и с трусливой приветливостью перебирает в воздухе лапками. Смирнов лапками, конечно, не перебирал, но сквозь стёкла его очков — простые стёкла, очки носились для импозантности — можно было прочесть такую мысль: ну уж хватит, за Подпорожье отомстил, не подводи уж больше.

Мне стало противно, тоже и за себя. Не стоило, конечно, подводить и Смирнова. Не стоит его особенно и винить. Не будь революции, сидел бы он каким-нибудь захолустным телеграфистом, носил бы сногшибательные галстуки, соблазнял бы окрестных девиц гитарой и романсами и всю свою жизнь мечтал бы об аттестате зрелости и никогда в своей жизни этот аттестат так и не взял бы. И вот здесь, в лагере, пройдя какую-то, видимо, весьма обстоятельную школу доносов и шпионажа, он, дурак, совсем всерьёз принимает своё положение «главного редактора» центрального издания «Перековки», издания, которое в сущности решительно никому не было нужно и содержится исключительно по большевицкой привычке к вранью и доносам. Вранье никуда за пределы лагеря не выходило. Над заголовком была надпись «Не подлежит распространению за пределами лагеря». Для доносов и помимо лагоров существовала сеть «стукачей» третьего отдела, так что от «Перековки» толку не было никому и никакого. Правда, некоторый дополнительный кабак она всё-таки создавала.

Заметка оказалась коротенькой, строк в тридцать, и на лице Смирнова выразилось некоторое облегчение: никаким подвохом не пахнет. К редакторскому столу подошел какой-то из редакционных лоботрясов и спросил Смирнова:

— Ну, так что же мы с этими ударниками будем делать?

— Черт его знает. Придется все снять с номера и отложить.

— А в чем дело? — спросил я.

Смирнов посмотрел на меня недоверчиво. Я успокоил его: подводить его я не собираюсь.

— А вы, кажется, в московской печати работали.

— Было такое дело.

— Тут, понимаете, прямо хоть разорвись. Эти сволочные ударники, которых вчера в клубе чествовали, так они прямо со слета ночью разграбили торгсин.

— Ага, понимаю. Словом, перековались.

— Абсолютно. Часть перепилась, так их поймали. А кое-кто захватил валюту и — смылись. Теперь же такое дело. У нас ихние исповеди набраны, статьи, портреты и все такое. Черт его знает, толи пускать, толи не пускать. А спросить некого. Корзун уехал к Радецкому.

Я посмотрел на «главного редактора» не без удивления.

— Послушайте, а на воле вы где в печати работали?

— Н-ну, в провинции. — ответил он уклончиво.

— Простите, в порядке, так сказать, выдвиженчества?

— А вам какое дело? — обозлился Смирнов.

— Не видно марксистского подхода. Ведь совершенно ясно, что все нужно пускать и портреты и статьи и исповеди. Если не пустите, вас Корзун и Успенский живьем съедят.

— Хорошенькое дело, — развел руками Смирнов. — А если пуцу? Снова мне лишний срок припадают.

— Давайте рассуждать так. Речи этих ударников по радио передавались? (Смирнов кивнул головой). В Москву в «Правду» и ТАСС телеграммы шли? (Смирнов снова кивнул головой). О том, что эти люди перековались, знает, можно сказать, весь мир. О том, что они сегодня ночью проворовались, даже и в Медгоре знает только несколько человек. Для вселенной эти дяди должны остаться святыми, блудными сынами, вернувшимися в отчий дом трудящихся СССР. Если вы не пустите их портретов, вы сорвете целую политическую кампанию.

Главный редактор посмотрел на меня почтительно.

- А вы на воле не в «Правде» работали?
- В «Правде», — соврал я.
- Слушайте, хотите к нам на работу перейти?
- Работа в «Перековке» меня ни в какой степени не интересовала.
- Ну, во всяком случае, захаживайте. Мы вам гонорар заплатим.

ПЕРВЫЕ ТЕРРОРИСТЫ

Размышляя о необычайном своем положении в лагере, я находил его почти идеальным. Вопрос его прочности если и приходил в голову, то только, так сказать, с теоретической точки зрения. Теоретически под серпом советской луны и под молотом советской власти нет прочного ничего. Но до побега осталось около двух месяцев, уж эти два месяца я прокручусь. Я старался предусмотреть и заранее нейтрализовать некоторые угрожающие мне возможности, но некоторых все же не предусмотрел.

Падение мое с динамовских высот началось по вопросу о футбольных командах. Но кто же это мог знать? Я объехал или точнее обошел несколько соседних лагерных пунктов и подобрал там довольно сильных футбольных команды, с запасными 28 людьми. Так как было совершенно очевидно, что при 12-ти часовом рабочем дне и лагерном питании они тренироваться не могли, то их надлежало перевести в места более значные и более спокойные, в данном случае зачислить в ВОХР. Гольман сказал мне составить списки этих игроков, указать их социальное положение, сроки, статьи приговора, и он отдаст приказ о переводе их в ВОХР.

Я составил списки и, составив, с полной ясностью понял, что куда я с этими списками сунуться не могу, и что следовательно вся моя футбольная деятельность повисла в воздухе. Из 28 человек трое сидели за бандитизм, двое по каким-то неопределенно контрреволюционным статьям, а остальные 23 имели в своем формуляре суровое 58-8 — террор. И десятилетние сроки заключения.

5-6 террористов еще могли бы проскочить под прикрытием остальных, но 23 террориста превращали мои футбольные команды в какие-то террористические организации внутри лагеря. Если даже у Гольмана и не явится подозрение, что этих людей я подобрал сознательно, то все равно, ни он, ни даже Радецкий не рискнут перевести в ВОХР этаким террористический букетик. Что же мне делать?

Я решил пойти посоветоваться с Медоваром, но не нашел его. Пошел домой в барак. У барака на солнышке сидели Юра и его приятель

Хлебников (фамилия вымышленна). Хлебникова Юра подцепил откуда-то из барачков второго лагпункта, прельщенный его разносторонними дарованиями. Дарования у Хлебникова были действительно разносторонние, местами по моему скромному мнению подымавшиеся до уровня гениальности. Он торчал здесь в числе десятков двух студентов Высшего Московского Художественного Училища (Вхутемаса), имевших в своем формуляре ту же статью 58-8 и тот же срок 10 лет. О других деталях хлебниковской биографии я предпочитаю молчать.

Юра и Хлебников играли в шахматы. Я подошел и сел рядом. Юра оторвался от доски и посмотрел на меня испытующе, что это у меня такой кислый вид. Я сообщил о положении дел со списками. Хлебников сказал: «За такие списочки вас по головке не погладят». Что не погладят, я это знал и без Хлебникова. Юра внимательно просмотрел списки, как бы желая удостовериться и удостоверившись, сказал: нужно подыскать других.

— Безнадежное дело, — сказал Хлебников.

— Почему безнадежное?

— Очень просто. Хорошие спортсмены у нас почти исключительно студенты.

— Ну, так что?

— А за что может сидеть в лагере советский студент? Воровать ему негде и ничего. Если сажать за агитацию, тогда нужно вузы закрыть; не так просто. Все за террор сидят.

— Не будете же вы утверждать, что советские студенты только тем и занимаются, что бомбы кидают?

— Не буду. Не все и сидят. Попробуйте проанализировать. В мире устроено так, что террором занимается преимущественно молодежь. Из молодежи самая сознательная часть — студенты. Из студентов в террор идет самая энергичная часть, то есть спортсмены. Единственный подбор, ничего не поделаешь. Вот и сидят. То есть сидят те, кто уцелел.

Я был раздражен и списком и связанными с ним перспективами и уверенно академическим тоном Хлебникова.

— Валяют мальчишки дурака, а потом отсиживают по десять лет, черт его знает, где. Хлебников повернулся ко мне.

— А вы совершенно уверены в том, что эти мальчишки только валяют дурака и ничего больше?

Уверенности у меня такой не было. Я знал, что террор идет преимущественно в деревне, что постреливают и в городах, но по

фигурам весьма второстепенным. Об этом в газетах не публикуется ни слова, и об этом ходят по Москве только темные и таинственные шепоты.

— А вы тоже кидали бомбы?

— Я не кидал. Я был на десятых ролях. Вот потому и сижу здесь, а не на том свете. По нашему Вхутемасовскому делу расстреляно пятьдесят два человека.

О вхутемасовском деле и растрепях я кое-что слышал в Москве, что-то очень неясное и путанное. Пятьдесят два человека? Я уставился в Хлебникова не без некоторого интереса.

— И это был не роман, а организация?

— Организация. Наш Вхутемас работал над оформлением декораций в первом МХАТ. Был проект бросить со сцены бомбу в сталинскую ложу. Не успели.

— И бомба была?

— Была.

— И 52 человека собирались ее бросать?

— Ну, И.Л., уж вам-то нужно бы знать, что расстреливают не только тех, кто собирался кидать бомбу, но и тех, кто подвернется под руку ГПУ. Попалась лаборатория, изготавливавшая бомбу и ребята не из нашего вуза, химики. Но в общем могу вас уверить, что вот такие ребята будут, как вы говорите, валять дурака и кончат тем, что они этого дурака свалят к чертовой матери. Своей смертью Сталин не умрет, уж тут вы можете быть спокойны.

В голосе Хлебникова не было никакой ненависти. Он говорил тоном врача, указывающего на необходимость тяжелой, но неизбежной операции.

— А почему тебя не расстреляли? — спросил Юра.

— А тут многое было. И главное, что папаша у меня больно партийный.

— Ах, так это ваш отец возглавляет... — я назвал видное московское заведение.

— Он самый. Вообще, почти все, кто уцелел по этому делу, имеют партийных папаш. Ну, папаша, конечно, забегали. Вероятно, говорили то же самое, что вот вы сейчас — валяют де мальчишки дурака. Или что-нибудь в этом роде. Ну, папаш было много. Вот мы как-то и выскочили.

— Значит, вы студент, так сказать, вполне пролетарский?

— Абсолютно. И даже комсомолец. Я знаю, вы хотите спросить, почему я, пролетарский и все такое, с обирался заняться таким не предусмотренным физкультурой видом спорта, как метание бомб?

— Именно.

— Да вот именно потому, что я пролетарский. Сталин обманул не вас, а меня. Вы ему никогда не верили, а я верил. Сталин эксплуатировал не ваш, а мой энтузиазм. И потом еще, вы вот не верите в это... ну, как сказано у Сельвинского, «В святую банальность о счастье мира».

— Пока что не верю.

— Вот, видите. А я верю. Следовательно, вам наплевать на то, что эту банальность Сталин дискредитирует на веки и века. А мне не наплевать. Если Сталин процарствует еще лет десять, то есть если мы его за это время не ухлопаем, то дело будет стоять так, что вы его повесите.

— Кто это мы?

— Так сказать, старый режим. Помещики, фабриканты...

— Я не помещик и не фабрикант.

— Ну, это не важно. Люди, так сказать, старого мира. Вот те, кто в святую банальность не верят ни на копейку. А если Сталин процарствует этак еще лет десять — кончено. Тогда будет такое положение, что приходи и владей, кто попало. Не то, чтобы Муссолини или Гитлер, а прямо хоть Амманулу подавай.

— А вы не думаете, что такое положение уже создается и сейчас?

— Ну, вот. Тем хуже. Но я не думаю. Еще не создалось. Так понимаете мою мысль: если до этого дойдет, если вы повесите Сталина ну и все такое, тогда всякий будет иметь право мне, пролетарию, сказать: ну что, сделали революцию? Взяли власть в свои мозолистые руки? Довели Россию до точки? А теперь пошли вон! Молчать и не разговаривать! И разговаривать будет не о чем. Вот, какая получается история. Мы не хотим, чтобы над страной, которую мы строим, торчал какой-то готтентотский царек. Понятно?

— Понятно, хотя и несколько путано.

— Почему путано?

— Ухлопав Сталина, что вы будете делать дальше? И почему именно будете делать вы, а не кто-нибудь другой?

— Другого никого нет. Есть трудящиеся массы, и хозяевами будут они.

— А кто этими хозяевами будет управлять?

— Никто не будет управлять. Не будет управления. Будет техническое руководство.

— Так сказать, утопия технократического порядка. — сиронизировал я.

— Да, технократическая, но не утопия. Техническая неизбежность. Дворянства у нас нет. Возьмите любой завод и выкиньте к черту партийную головку. Кто останется? Останутся рабочий и инженер. Партийная головка только тем и занимается, что никому не дает ни житья, ни возможности работать. А инженер с рабочим сговорятся всегда. Нужно вышибить партийную головку всю. Вот мы ее и вышибем.

Тон у Хлебникова был очень уверенный.

— Мы, Николай Второй, самодержец... — начал было я.

— Можете смеяться. Смеется последний. Последними будем смеяться мы. Мы ее вышибем, но помещиков не пустим. Хотят работать директорами совхозов, конечно, те, которые это дело знают — пожалуйста, деньги на бочку, власть в руки, действуйте. Если Рябушинский...

— Откуда вы знаете Рябушинского?

— Знаю. Это он пророчествовал о костлявой руке голода, которая схватит нас за горло и заставит придти к нему с поклоном — придите, дескать, володейте...

— Знаешь, Коля, — сказал Юра, — давай говорить по честному; из всех пророчеств о революции это, кажется, единственное, которое выполняется, так сказать, на все сто процентов.

— Революция еще не кончилась, так что о ста процентах нечего и говорить. Так если он захочет, пусть работает директором треста. Будет хорошо работать — будем платить сотни тысяч. В золоте.

— А откуда у вас сотни тысяч будут?

— Будут. Если все будут работать, и никто не будет мешать, будут сотни миллиардов. Вам, И.Л., отдадим всю физкультуру. Действуйте.

— Вы очень сильно злоупотребляете местоимением «мы». Кто это, собственно, эти «мы»?

— Мы те, кто работает, и те, кто тренируется. Вот, скажем, спортивные организации выбирают вас, и И.Л. действует. И выбирают не на четыре года, как в буржуазных странах, а на двадцать лет, чтобы не было чехарды. А отвечать вы будете только по суду.

В голосе Хлебникова не было ни экстаза, ни энтузиазма, ни так сказать, религиозного подъема. Слова он вбивал, как плотник гвозди, уверенно и спокойно. И даже не жестикулировал при этом. От его крепких плеч веяло силой.

Программа технократии для меня не была новостью, она весьма популярна среди части советской интеллигенции, но там она обсуждается только абстрактно: «Вот ежели бы...» У Хлебникова «ежели бы» не было никаких.

— Так вот, нам нужно торопиться ухлопать Сталина, пока он не довел вещей до окончательного развала. Его и ухлопают.

Я боком посмотрел на Хлебникова. В 32 года жизнь кажется очень простой. Вероятно, такой же простой и кажется техника террора. Думаю, что техника провокации ГПУ стоит несколько выше. И ухлопать Сталина — это не так просто, как вбить гол зазевавшемуся голкиперу.

К этим соображениям Хлебников отнесся довольно равнодушно.

— Да, техника не высока. Вот потому и не ухлопали еще. Но, верьте мне, над этой техникой работают не совсем пустые головы.

— А как же с папашами? — спросил Юра.

— Да вот так же и с папашами. Мой-то еще сравнительно безвредный. Но если станет на дороге, придется ухлопать и его. Удовольствие, конечно, среднее, а ничего не поделаешь.

Юра посмотрел на Хлебникова укоризненно и недоуменно. И техника и психология ухлопывания собственного папаша в его голове не умещалась.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Так я впервые столкнулся с лагерной разновидностью советской учащейся молодежи. Впервые потому, что, как оказалось впоследствии, всю эту публику держат на севере ББК. Даже в Медвежью Гору попадают только единицы; наиболее квалифицированные, наиболее необходимые для всякого рода проектных бюро, лабораторий, изыскательных станций и прочего. Когда я месяцем позже стал подбирать команды для вселагерной спартакиады, для которой статьи приговора не имели никакого значения, я стал выяснять количество пребывающего в ББК студенчества. Для этого выяснения мне были даны все возможности, ибо от полученной цифры зависела сумма, ассигнованная лагерем для закупки спортивного инвентаря. Все же точной цифры мне выяснить не удалось: Кемское и Сегежское отделения, где сосредоточено большинство заключенных студентов, своих данных

не прислали. По остальным семи отделениям я получил цифру, несколько превышающую 6.000 человек. Надо полагать, что общее число студентов доходит до 9-10 тысяч. По этому поводу выяснилась и еще одна довольно неожиданная вещь: те 3, 5-4 процента лагерной интеллигенции, которые я еще в Подпорожье получил, так сказать, методом экстраполяции, состоят почти исключительно из советского студенчества. Да, для того, чтобы узнать нынешнюю Россию, в лагере побывать нужно обязательно. Именно здесь можно разыскать недостающие звенья всяческих проблем «вольной» советской России, в том числе проблемы отцов и детей.

В эмиграции эта проблема решается сравнительно безболезненно. Из литературного архива извлечена столетней давности «усмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом», и дело ограничивается, так сказать, «вербальными нотами». Эмигрантские отцы, что и говорить, промотались, но так промотаться, как промотались советские партийные отцы, не удавалось, кажется, в истории мироздания никому.

Я хотел бы установить свою наблюдательную точку зрения, то есть ту точку, с которой я наблюдаю этот спор. Между отцами и детьми я занимаю некую промежуточную позицию: из «детей» явственно уже вырос, до «отцов» как будто еще не дорос. Мы с Юрой играем в одной и той же футбольной команде: он хавбэком, я — бэком, какие же тут отцы и дети. И как бы ни оценивать политическое значение хлебниковской решимости ухлопать собственного отца, эта решимость производила все-таки тягостнее впечатление и на меня и на Юру.

Когда Хлебников ушел, Юра с рассеянным видом сгреб с доски недоигранную партию и сказал:

— Знаешь, Ватик, нужно драпать. Я не специалист по резне. А здесь будут резать, ох здесь будут резать. Помнишь Сеньку Б.?

Я помнил и Сеньку Б. и многое другое. А с Сенькой произошел такой эпизод, очень коротенький и очень характерный для проблемы «отцов и детей».

У меня в Москве был хороший знакомый Семен Семенович Б., коммунист из рабочих, партийный работник завода из угасающих энтузиастов революции. У меня были с ним кое-какие дела по части культуры быта и красивой жизни. Эти темы разрабатывались уже очень давно, особенно в годы, когда есть совсем было нечего, как сейчас моды и фокстрот. У этого Семена Семеновича был сын Сеня, парень лет 20-22, работавший на том же заводе техником. Он был изобретателем, говорят, талантливым, и Юра был с ним в контакте по поводу постройки лыжного буера. Мы с Юрой как-то зашли в их комнатушку. Сын сидит у окна за

газетой. Отец куда-то собирается и закидывает какие-то бумаги в свой портфель. Спрашиваю:

— Вы куда, Семен Семенович?

— В партком.

Сын, не отрывая глаз от газеты, молвил:

— Папаша в партком идет... торговать своим роскошным пролетарским телом.

Отец оторвался от своего портфеля я посмотрел на сына с каким-то горьким негодованием:

— Уж ты... уж помолчал бы ты.

— Помолчать? Пусть те молчат, которые с голоду подохли. — и обращаясь ко мне: — Наши папаша за партийную книжку на любую кровать.

Отец стукнул кулаком по портфелю,

— Молчи ты, щенок. Гнида. А то я тебя...

— А что вы меня, папаша? К стеночке поставите? А? Вы за партийную книжку не только свой народ, а и своего сына задушить готовы.

Отец сжал зубы, и все лицо его перекошилось. И сын и отец стояли друг перед другом и тяжело дышали. Потом отец судорожным движением ткнул портфель под мышку и бросился к двери.

— Семен Семенович, а шапка? — крикнул ему Юра.

Семен Семенович высунулся из двери и протянул руку за шапкой.

— Вот растил, — сказал он.

— Молчали бы уж, хватит, — крикнул ему сын вдогонку.

Как видите, это несколько посерьезнее «усмешки горькой».

Должен, впрочем, сказать, что в данном конкретном случае сын был не прав. Отец не торговал своим роскошным пролетарским телом. Он был честной водовозной клячей революции, с ранениями, тифами, каторжной работой и с полным сознанием того, что все это было впустую, что годы ушли, что их не воротить, как не воротить загубленные для социалистического рая жизни, и что перед его лицом совсем вплотную стоит смерть, он был весь изъеден туберкулезом, и что перед этой смертью у него не будет никакого, абсолютно никакого утешения. И сын, погибая, не крикнет ему, как Остап Тарасу Бульбе: «Слышишь ли ты меня, батьку!», ибо он считает отца проституткой и палачом.

Да, у большинства партийных отцов есть смягчающие вину обстоятельства. Но дети судят по результатам.

О СВИДЕТЕЛЯХ И О КАБАКЕ

Топая по карельским болотам к финляндской границе, я всячески представлял себе, что и как я буду докладывать эмиграции, то есть той части русского народа, которая осталась на свободе. Все предшествующие побегу годы я рассматривал себя, как некоего разведчика, который должен сообщить все и слабые и сильные стороны врага. Но именно врага. Я не предполагал двух вещей: что мне будет брошен упрек в ненависти к большевизму; и что мне придется доказывать существование советского кабака. Я считал и считаю, что ненависть к строю, который отправляет в могилу миллионы людей моей родины, это не только мое право, но и мой долг.

Я, как спортсмен, считал и считаю, что ни в коем случае нельзя обольщаться слабыми сторонами противника; люди, которые выступали на ринге, понимают это очень хорошо. Момент недооценки — и вы нокаутированы. Что же касается кабака, то мне казалось, что нужно объяснить только технические его корни, его практику и его последствия. Я ошибся. И, наконец, у меня не было никакого сомнения в том, что мне надо будет доказывать свою свидетельскую добропорядочность и перед очень суровым ареопагом.

На каждом судебном процессе каждый свидетель попадает несколько в положение обвиняемого, и в особенности на таком процессе, который касается судеб родины. Свидетели же бывают разные. Вот видал же г-н Эррио пышущую здоровьем и счастьем страну, и вот видал же г-н Соколо чудесно обновленные иконы. При чем оба они видели все это не как-нибудь, а собственными глазами. И поэтому всякий эмигрантский читатель вправе отнестись с суровой подозрительностью к каждому свидетелю: како веруеши и не врешь ли. Переходя к такой острой и такой наболевшей теме, как тема о советской молодежи, я чувствую моральную необходимость отстоять мою свидетельскую добропорядочность, как это ни трудно в моем положении.

Из ряда высказываний по поводу моих очерков мне хотелось бы остановиться на высказываниях г-жи Кусковой. Во-первых, потому, что они несомненно отражают мнение весьма широких читательских кругов; во-вторых, потому, что у меня нет никаких оснований подозревать г-жу Кускову в тенденции поставить интересы партии или группы выше интересов страны. Хочу оговориться: я на г-жу Кускову никак не в претензии. Она не только читательница, она и общественная

деятельница, поэтому «допрос с пристрастием» не только ее право, но и ее обязанность. Мое же право и моя обязанность — отстоять свое доброе свидетельское имя.

Г-жа Кускова противопоставляет моим показаниям показания супругов Чернавиных. Там — «спокойствие и взвешенность каждого слова», у меня — «страсть и ненависть», каковая ненависть «окрасила советскую действительность не в те цвета».

Можно было бы задать вопрос: а какими будут ТЕ цвета? И кто будет достаточно компетентным судьей в соответствии цветов? Г-жа Кускова подчеркивает объективность Чернавиных. В этом отношении я с Кусковой согласен целиком и полностью. Чернавины действительно объективны. Я читал их высказывания и говорил с ними лично. Они стоят левее меня, но в оценке действительности разницы никакой. И по поводу моих очерков Т.В. Чернавина, в частности, писала мне (цитирую с согласия Т.В.): «Очень хорошо. Самое удачное это «Активисты». Это верно и вместе с тем это очень трудно изобразить».

Читатели, вероятно, согласятся с тем, что уж где-где, а в «Активистах» ненависть была, хотя лично мне активисты вцепиться в глотку никогда не ухитрились. О своем следователе в ГПУ, который послал нас на 8 лет каторги, я говорил безо всякой ненависти. Итак, где же «две стороны тамошней психологии»?

Г-н Парчевский, беседуя с 55 переселяющимися в Парагвай мужиками (см. «Посл. Нов.» номер 5271), отмечает их полное единодушие и, как образно выражается он, «Словно не один, а 55 солоневичей». Насчет «двух сторон» опять не выходит. Но можно утверждать, что и я и Чернавин и парагвайские мужики и г-н Тренин — все мы, бежавшие, ущемленные, бессознательно склонны сгущать краски и делать красное черным. Поэтому придется перейти к документальным доказательствам. Ибо если наличие кабака не будет установлено твердо, тогда все дальнейшие выводы и иллюстрации останутся повисшими в воздухе.

Из бесконечной путаницы порочных кругов советской реальности попробуем проанализировать и продумать один круг: раскулачивание — тракторы — тягловая сила — голод — комсомольцы.

По данным, сообщенным Сталиным на последней партконференции, СССР за последние годы потерял 19 млн. лошадей. Было 35 млн. осталось 16. Осталось, положим, меньше — 11 млн. без красной армии, но не в этом дело. Люди, которые хоть сколько-нибудь понимают в сельском хозяйстве, поймут, что имея налицо около 50 процентов прежней тягловой силы, да еще и истощенной бескормницей, физически невозможно обработать сто процентов прежней посевной

площади. Ни коровами, ни девками, ни бабами, таскающими плуги в Малороссии и на Кубани, недостаток 19 млн. лошадей возместить нельзя. Отсюда маленький вывод о статистике. Советская статистика утверждала, что в 1933 году СССР собрал рекордный за всю историю России урожай. По поводу этой, извините за выражение, статистики можно было бы поставить два вопроса: 1) откуда он взялся? и 2) куда он делся? Взяться было неоткуда и деться было некуда. В стране оставалось бы около двух миллиардов пудов свободного зерна, и еврейским общинам не пришлось бы собирать милостыню для спасения погибающих от голода единоверцев (см. статью А.Ф. Керенского в номере 57 «Совр. Записок»). Это, значит, статистика.

Перейдем к планам и стройкам. Ценою, в частности, этих миллионов коней (гибли ведь еще и люди и коровы и прочее) были построены, в частности, три тракторных завода — Сталинградский, Харьковский и Челябинский; построено было еще много заводов, но мы пока будем говорить о тягловых потерях и о «тягловых заводах». По официальным данным, эти заводы плюс импорт дали стране несколько больше двухсот тысяч тракторов. По данным секретаря Сибирского крайкома партии, опубликованным в «Правде», кажется в ноябре 1933 г. (этого номера у меня нет, но за точность цифры я ручаюсь категорически) производительность десяти советских тракторов на практике равна производительности одиннадцати советских же лошадей. Следовательно, для того, чтобы при данных условиях восполнить механической тягловой силой разбазаренную живую, надо построить приблизительно 17 млн. тракторов.

Так вот, если это называется статистикой, планом и строительством, я позволю себе спросить, что же тогда должно означаться техническим термином «кабак»?

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРАЖЕНИЯ КАБАКА

Так вот, русскому молодняку твердили «отцы»: А ну-ка, долбанем! А ну-ка, ухнем! Подтянем живот, поголодаем, поднажмем, зато уж потом сразу в социалистический рай.

Молодняк нажимал, подтягивал живот, подставлял свою головушку под «кулацкий» обрез, гибнул сотнями тысяч и от мороза на зимней стройке Магнитки йог тифа на Днепрострое и от малярии в Азии и от цинги в Соликамске и от голода везде и от несчастных случаев на всех стройках, ибо при всех этих штурмах меры охраны труда были, как на турецкой перестрелке.

И вот, выполнив и перевыполнив, он видит ныне тракторные кладбища. И он чувствует все тот же голод. И он понимает, что вокруг все тот же кабак. Кипит веселая социалистическая стройка, перерабатывающая металл в ржавчину и людей в рабов или в трупы. А когда после всех этих штурмов и побед он попробовал было заикнуться: дорогие папаша, да как же это так — его поперли десятками тысяч в концлагеря.

И сейчас в самое последнее время ему, этому молодняку, преподнесли еще одну «награду победителю» — отмену карточек. Он, этот молодняк, на вольном рынке не покупал никогда и ничего, так как средняя студенческая стипендия была равна 60 рублям в месяц. Теперь эта стипендия уровнем новых цен урезана больше, чем в два раза, следовательно, совсем уж голод и в качестве приправы к этому голоду светятся икряные витрины магазинов «заочного питания».

И еще документик — рассказ секретаря Азовского райкома партии о раскулачивании Кубани из «Комсомольской Правды». Год не указан, но раскулачивание идет хронически, никак не могут раскулачить до конца.

«В пустой станице не горели огни, и не лаяли собаки. Чернели раздувшиеся трупы лошадей. Ежедневно погибало 50 штук тяглового скота (а людей? — И.С.). Из 45 комсомольцев 30 пришлось выслать, четырех арестовать за кражу (процентик-то какой! — И.С.), 11 бежали вместе с раскулаченными... Весной землю пахали девушки, некому больше было. А семена носили в поле на собственных спинах, так как лошадей не осталось (а на чем пахали, если лошадей не осталось? — И.С.)».

По поводу моего очерка о колхозной деревне в номере 58 «Современных Записок» я получил некоторое количество негодующих писем, написанных эмигрантскими толстовцами и вегетарианцами: сгущая краски. Что ж? И «Комсомольская Правда», она тоже сгущает краски?

Здесь в эмиграции обо всем этом можно рассуждать благодушно, спокойно и, так сказать, академически: нам тепло, не дует, и в Соловки нас не волокут. Советский студент, комсомолец, мужик, рабочий так рассуждать не могут. И не будут. Потому что одно — сочувствовать отцу умершего ребенка, и другое — хоронить собственного ребенка, погибшего с голоду.

...Со страниц советской прессы на читателя смотрят круглые, исполненные энтузиазма и прочего лица «смень». В главе о спартакиаде я расскажу, как это делается технически. Да, смена идет. Она не такая

круглая и благодушная, как это кажется по фотографиям. Эта смена придет. Менять она будет сильно.

СПАРТАКИАДА

ДИНАМО ТАЕТ

К концу мая наше каторжно-привилегированное положение в Медгоре закрепилось приблизительно в такой степени, в какой это вообще возможно в текучести советских судеб, и я (оптимистичен человек!) стал было проникаться уверенностью в том, что наш побег, по крайней мере побег из лагеря, можно считать вполне обеспеченным. Одно время возникла была угроза со стороны культурно-воспитательного отдела, который довольно скоро сообразил, что Медовар играет только декоративную роль, и что платить Медовару 300 рублей, когда мне можно было заплатить только 30, нет никакого расчета. От опасности со стороны КВО я отделался довольно просто, сманил Динамо на стройку нового стадиона, благо прежний действительно никуда не годился. Нашел площадку на пригорке за управленческим городком, спланировал постройку. Для нее ежедневно сгоняли из Шизо по 150-200 урок, приволокли откуда-то с лесных работ три трактора, и КВО понял, что уж теперь-то Динамо меня не отдаст. Словом, на Шипке все было спокойно.

Потом в течение приблизительно трех дней все это спокойствие было подорвано со всех сторон, и перед нами в который уже раз снова стала угроза полной катастрофы.

Началось все это с моих футбольно-террористических списков. Хлебников оказался прав. Почто никого, кроме террористов, я среди лагерной физкультурной молодежи разыскать не мог. Гольман же все настойчивее требовал от меня предоставления списков. Люди по этим спискам должны были быть переведены в состав ВОХРа. Исчерпав свои возможности, я пошел к Медовару и сказал ему, чтобы он устроил мне командировку в другие отделения. Здесь все, что можно было выискать, я уже выискал.

— Да-да, — затараторил Медовар. — Ну, это все пустяки. Вы об этих списках пока никому не говорите, понимаете, только дискредитируете себя. (Я, конечно, это понимал.) Я сейчас уезжаю в Москву. Вернусь дней через пять, все это обставим в лучшем виде.

Каким образом можно было обставить все это в лучшем виде, я понятия не имел. Да и вид у Медовара был какой-то очень уж растерянно-жуликоватый. Медовар уехал. Дня через три из Москвы

пришла телеграмма: «Медгору не вернусь тчк вышлите вещи адрес Динамо Москва тчк Медовар».

Итак, великий комбинатор исчез с медгорского горизонта. Поползли слухи о том, что головка центрального Динамо проворовалась в каких-то совсем уж астрономических масштабах, ходили слухи о полной ликвидации Динамо в связи со слиянием ОГПУ и Наркомвнутдела.

Кстати, об этом слиянии. В лагере оно знаменовалось одним единственным событием. На этакой триумфальной арке при входе в первый лагпункт красовались вырезанные из фанеры буквы БЕК ОГПУ. Пришли плотники, сняли ОГПУ и приколотили НКВД. Заключенные толклись около и придумывали всякж расшифровки новой комбинации букв. Все эти расшифрок. и носили характер целиком и полностью непечатный. Никаких других перемен и комментариев «ликвидация ОГПУ не вызвала: в лагере сидели в среднем люди толковые.

Почти одновременно с Медоваром в Москву уехал и Радецкий; подозреваю, что Медовар к нему и пристроился; Радецкий получил какое-то новое назначение. Я остался, так сказать, лицом к лицу с Гольманом. Это было неприятно.

Вопрос о списках Гольман поставил в ультимативном порядке. Я ответил просьбой о командировке на север и показал свои списки. Больше ничего не оставалось делать.

— Разве Медовар вам о них не говорил? — с невинным видом спросил я. Гольман внимательно просмотрел списки и поднял на меня свое испытующее активистское око.

— Не везет вам, товарищ Солоневич, с политикой в физкультуре. Бросили бы это дело.

— Какое дело?

— Оба. И политику и физкультуру.

— Политикой не занимаюсь.

Гольман посмотрел на меня с ехидной усмешечкой, потом сухо сказал:

— Оставьте эти списки здесь. Мы выясним. Я вас вызову. Пока.

И «выясним» и «вызову» и «пока» ничего хорошего не предвещали. На другой день Гольман действительно вызвал меня. Разговор был короток и официален. КВО настаивает на моем переходе туда на работу, и с его настояниями он, Гольман, согласен. Ввиду чего я откомандировываюсь в распоряжение КВО. Однако, по совместительству с работой в КВО я обязан закончить стройку стадиона.

Я вздохнул с облегчением. У Гольмана ко мне было то же активистское чувство, как и у Стародубцева, только несколько, так сказать, облагороженное. Гольман все-таки понимал, что очень уж прижимать меня — не слишком рентабельное предприятие. Но мало ли, как могло прорваться это чувство.

О футбольно-террористических списках ни я, ни Гольман не сказали ни слова.

БЕСЕДА С КОРЗУНОМ

Культурно-воспитательный отдел ББК был здесь тем же, чем на воле являются культурно-просветительные отделы профсоюзов. По коридорам КВО с необычайно деловитым видом околачивались всякие бибработники, музработники, агитпропработники, околачивался и я. И с тем же деловым видом. Делать что-нибудь другое было еще решительно нечего. Во время одной из таких деловых прогулок из комнаты в комнату КВО меня в коридоре перехватил Корзун.

— Ага, тов. Солоневич. Что такое я хотел с вами поговорить. Вот и забыл, черт возьми. Ну, зайдемте ко мне, я вспомню.

Зашли. Уселись. Кабинет Корзуна был увешан фотографическими снимками, иллюстрирующими героизм строительства Беломорско-Балтийского канала, висели фотографии особо перековавшихся ударников, и в числе оных красовался снимок торжественного момента — на сцене клуба тов. Корзун навешивает ордена Белморстроя лучшим из лучших, тем самым, которые после торжества отправились в Торгсин выпить, закусить и разжиться валютой.

Я отвел глаза от фотографии и встретился с иронически-добродушным взглядом Корзуна; видимо, о моем давешнем совете Смирнову он знал.

— У вас, кажется, основательный стаж в области культработы.

Я ответил.

— Но вы едва ли знаете, в чем заключается принципиальная разница между культработой на воле и здесь.

— Думаю, что принципиальной — никакой.

— Есть и принципиальная. На воле культработа должна поднять сознательность среднего трудящегося до уровня сознательности коммуниста. Здесь мы должны поднять социальные инстинкты. — Корзун поднял палец. — Понимаете, социальные трудовые инстинкты деклассированной и контрреволюционной части населения до среднего советского уровня...

— Хм, — сказал я. — Перековка?

Корзун посмотрел на меня как-то искоса.

— Всех перековать мы не можем. Но тех, кого перековать мы не можем, мы уничтожаем.

Утверждение Корзуна было форменным вздором. Лагерь не перековывал никого, но даже и лагерь не был в состоянии уничтожить миллионы не перекованных.

— Боюсь, что для проведения в жизнь этой программы пришлось бы создать очень мощный, так сказать, механизированный аппарат уничтожения.

— Ну, так что ж? — взгляд у Корзуна был ясный, открытый и интеллигентный.

Перед этим «ну, что ж» я замялся. Корзун посмотрел на меня не без соболезнования.

— А вы помните сталинскую фразу о тараканах? — спросил он.

Эту фразу я помнил. Забыть ее трудно. Из всего того, что было сказано о революции ее вождями, более гнусного, чем эта фраза, не было сказано ничего. Той части партии, которая в ужасе остановилась перед неисчислимостью трупов, наваленных на путях коллективизации, перед страданием и гневом народа, Сталин бросил презрительный упрек: тараканов испугались. Для него «трудящиеся» были только тараканами. Выморить их миллионом больше, миллионом меньше — не все ли равно. Я сжал зубы и от всяких комментариев воздержался, ибо единственно подходящий к этому случаю комментарий — это виселица. В моем распоряжении ее не было.

— Да, — продолжал Корзун. — Вот поэтому-то Сталин и вождь, что он — человек абсолютной смелости. Он ни перед чем не остановится. Если для интересов революции потребуется, чтобы он пошел целовать туфлю римского папы, он пойдет.

Что он действительно пойдет, в этом не было никакого сомнения. Я снова, как это часто бывало в разговорах с коммунистами, почувствовал себя во власти спокойной, уверенной, очень умной и беспримерно наглой силы. Настолько большой, что она даже и не дает себе труда скрывать свою наглость. Весь нынешний разговор был нелеп, не нужен, а может быть и опасен.

— Простите, тов. Корзун, мне не хотелось бы разрабатывать эту тему, в особенности здесь, когда я сам нахожусь в положении таракана.

— Ну, нет. Вы не в положении таракана. Вы ведь и сами это прекрасно понимаете. Но вы должны понять, что мы вынуждены к

беспощадности... И в сущности, вне зависимости личной вины тех, кого мы уничтожаем. Разве, например, есть какая-нибудь личная вина в наших беспризорниках, а вот... Ах, черт, наконец, вспомнил. Я вас по поводу беспризорников и искал. Вы знаете о нашей колонии на Водоразделе. Мы там организуем второе Болшево. Там пока около двух тысяч человек. (Пока я доехал до колонии, там оказалось более четырех тысяч). Так вот, мы решили вас туда командировать для постановки физкультурной работы. Вы ведь сами понимаете, что лагерная физкультура — это миф. А там ударная работа. Словом, поезжайте. Жить вы там будете на положении вольнонаемного, ударный зачет сроков. Мы с Гольманом этот вопрос уже обсудили. Он не возражает.

В душе подымается острая боль обиды на судьбу. Водораздел. Это около 250 верст до границы по совсем непроходимым болотам. Если я в Водоразделе, Юра здесь, Борис в Лодейном Поде, то как списаться? У нас пока ни компасов, ни карты, ни сапог. Продовольствия — кот наплакал. В водораздельском болоте может нас засосать и в переносном и в прямом смысле этого слова. Что делать?

Корзун продолжает расписывать прелести работы в колонии. Для того, чтобы выиграть время, я достаю папиросу, зажигаю ее, и спичка в руках прыгает, как зайчик на стене.

Но отказываться нельзя. О, Господи! Снова придется как-то выкручиваться — длинно, мучительно и оскорбительно. И главное, совершенно неизвестно, как.

От Корзуна я вышел в каком-то оглушенном состоянии. Удалось оттянуть отправку в колонию на два дня, на послезавтра. Что делать?

Забрался на берег речки, сидел, курил, выработал план еще небольшой одной отсрочки. Пришел к Гольману, доложил о моей полной договоренности с Корзуном и сделал при этом такой вид: ну, уж теперь я от вас, тов. Гольман, слава Тебе, Господи, отделаюсь окончательно. Точно такой же вид был и у Гольмана.

— А ваши динамовские дела вы сдайте Батюшкову, — сказал он.

— Хорошо. Но так как Батюшков не находится в трезвом виде, то некоторые дела по сооружению стадиона я хотел бы передать лично вам.

— А какие там еще дела?

— Там прораб сделал неправильные насыпи на виражах дорожки, они осели. Нужно пересыпать. И второе, тот строительный мусор, который привезли для теннисных площадок, никуда не годится. Передайте, пожалуйста, Батюшкову, чтобы он подыскал подходящие материалы.

Гольман посмотрел на меня с раздражением.

— Напутали вы с этим стадионом, а теперь хотите на Батюшкова переложить. Нет уж, извините, пока вы стадион не закончите, ни в какие колонии мы вас не отпустим. Извольте немедленно взяться за стадион и закончить его.

Я принимаю сдержанно огорченный вид.

— Позвольте, ведь тов. Корзун уж вот дал приказ.

— Это вас не касается. Беритесь немедленно за стадион.

ПЛАН ВЕЛИКОЙ ХАЛТУРЫ

Какая-то отсрочка была добыта. А дальше что?

Я сообщил Юре о положении вещей. Юра выдвинул проект немедленного побега. Я только посмотрел на него. Юра сконфузился: да, это он просто ляпнул. Но, может быть, можно как-нибудь дать знать Борису, чтобы и он бежал сейчас же.

Это все было утопией. Бежать до нашего общего срока — значило подвести Бориса если и не под расстрел, то под отправку куда-нибудь за Урал или на Соловки. Дать ему знать и получить от него ответ, что он принимает новый срок, было почти невозможно технически, не говоря уже о риске, с которым были сопряжены эти переговоры.

Дня два я бродил по лесу в состоянии какой-то озлобленной решимости. Выход нужно найти. Я восстанавливал в своем воображении всю мою схему советских взаимоотношений, и по этой схеме выходило так, что нужно в самом срочном порядке найти какую-то огромную вопиющую халтуру, которая могла бы кому-то из крупного начальства, хотя бы и тому же Корзуну или Вержбицкому дать какие-то новые карьерные перспективы. Возникали и отбрасывались культурно-просветительные, технически-производственные и всякие другие планы, пока путем исключения не вырисовался в общих чертах план проведения вселагерной спартакиады ББК.

Думаю, что в эти дни вид у меня был не совсем вразумительный. По крайней мере Юра, встретив как-то меня по дороге в техникум, беспокойно сказал:

— Этак, Ва, ты совсем с мозгов слезешь.

— А что?

— Да вот, ходишь и чего-то бормочешь.

Я постарался не бормотать. На другой же день пролез в машинное бюро управления ББК и по благу накатал докладную записку

самому начальнику лагеря Успенскому. Записка касалась вопроса организации вселагерной спартакиады ББК, о том, что эта спартакиада должна служить документальным и неоспоримым доказательством правильности воспитательной системы лагерей, что она должна дать совершенно очевидное доказательство перековки и энтузиазма, что она должна опровергнуть буржуазную клевету о лагере, как о месте истребления людей, ну и прочее в этом же роде. Путем некоторых технических ухищрений я сделал так, чтобы записка эта попала непосредственно к Успенскому без никаких корзунов и гольманов.

Записку взялись передать непосредственно. Я шатался по лесам около Медгоры в странном настроении. От этой записки зависел наш побег или по крайней мере шансы на благополучный исход побега. Иногда мне казалось, что весь этот проект — форменный вздор, и что Успенский в лучшем случае кинет его в корзину, иногда мне казалось, что это идеально выверенный и точный план.

План этот был, конечно, самой вопиющей халтурой, но он был реально выполним и в случае выполнения заложил бы некоторый дополнительный камень в фундамент карьеры тов. Успенского. Временами мне казалось, что на столь наглую и столь очевидную халтуру Успенский все-таки не пойдет. Но по зрелом размышлении я пришел к выводу, что эти опасения — вздор. Для того, чтобы халтурный проект провалился не вследствие технической не выполнимости, а только вследствие своей чрезмерной наглости, нужно было предполагать в начальстве наличие хоть малейшей совестливости. Какие у меня есть основания предполагать эту совестливость в Успенском, если я и на воле не встречался с нею никогда? Об Успенском же говорили, как о человеке очень умном, чрезвычайно властном и совершенно беспощадном, как об очень молодом партийном администраторе, который делает свою карьеру изо всех сил, своих и чужих. На его совести лежало много десятков тысяч человеческих жизней. Он усовестится? Он не клонет на такого жирного халтурного карьерного червяка? Если не клонет, тогда значит во всей механике советского кабака я не понимаю ничего. Должен клонуть. Клонет обязательно.

Я рассчитывал, что меня вызовут дня через два-три и по всей вероятности к Гольману. Но в тот же день вечером в барак торопливо и несколько растерянно вбежал начальник колонны.

— Где тов. Солоневич, старший, Иван... Вас сейчас же требуют к товарищу Успенскому.

С начальником колонны у меня в сущности не было никаких отношений. Он изредка делал начальственные, но бестолковые и

безвредные замечания, и в глазах у него стояло: ты не смотри, что ты в очках. В случае чего, я тебе такие гайки завинчу...

Сейчас в очах начальника колонны не было ни каких гаек. Эти очи трепались растерянно и недоумевающе. К «самому» Успенскому! И в чем же это здесь зарыта собака?

Юра дипломатически и хладнокровно подлил масла в огонь.

— Ну, значит, Ватик, опять до поздней ночи.

— Так вы, тов. Солоневич, пожалуйста. Я сейчас позвоню в Управление, что я вам передал.

— Да, я сейчас иду, — и в моем голосе спокойствие, как будто прогулка к Успенскому — самое обыденные занятие в моей лагерной жизни.

СОЛОВЕЦКИЙ НАПОЛЕОН

В приемной Успенского сидит начальник отдела снабжения и еще несколько человек. Значит, придется подождать.

Я усаживаюсь и оглядываюсь кругом. Публика все хорошо откормленная, чисто выбритая, одетая в новую чекистскую форму, все это головка лагерного ОГПУ. Я здесь единственный в лагерном арестантском одеянии и чувствую себя каким-то пролетарием навыворот. Вот напротив меня сидит грузный суровый старик — это начальник нашего медгорского отделения — Поккалн. Он смотрит на меня неодобрительно. Между мной и им — целая лестница всяческого начальства, из которого каждое может вышибить меня в те не очень отдаленные места, куда даже лагерный Макар телят не гонял, куда-нибудь вроде 19-го квартала, а то и похуже. Поккалн может отправить в те же места почти все это начальство, меня же стереть с лица земли одним дуновением своим. Так что сидеть здесь, под недоуменно-неодобрительными взглядами всей этой чекистской аристократии мне не очень уютно.

Сидеть же, видимо, придется долго. Говорят, что Успенский иногда работает в своем кабинете сутки подряд и те же сутки заставляет ждать в приемной своих подчиненных.

Но дверь кабинета раскрывается, в ее рамке показывается вытянутый в струнку секретарь и говорит:

— Товарищ Солоневич, пожалуйста.

Я «жалую». На лице Поккална неодобрение переходит в полную растерянность. Начальник отдела снабжения, который при появлении секретаря поднялся было и подхватил свой портфель, остается торчать

столбом с видом полного недоумения. Я вхожу в кабинет и думаю: вот это клюнул, вот это глотнул!

Огромный кабинет, обставленный с какою-то выдержанной суровой роскошью. За большим столом «сам» Успенский; молодой сравнительно человек, лет 35-ти, плотный, с какими-то бесцветными светлыми глазами. Умное, властолюбивое лицо. На Соловках его называли Соловецким Наполеоном. Да, этого на мякине не проведешь. Но не на мякине же я и собираюсь его провести.

Он не то, чтобы ощупывал меня глазами, а как будто измерял каким-то точным инструментом каждую часть моего лица и фигуры.

— Садитесь.

Я сажусь.

— Это ваш проект?

— Мой.

— Вы давно в лагере?

— Около полугода.

— Стаж не велик. Лагерные условия знаете?

— В достаточной степени, чтобы быть уверенным в исполнимости моего проекта. Иначе я бы вам его не предлагал.

На лице Успенского настороженность и пожалуй недоверие.

— У меня о вас хорошие отзывы. Но времени слишком мало. По климатическим условиям мы не можем проводить праздник позже середины августа. Я вам советую всерьез подумать.

— Гражданин начальник, у меня обдуманы все детали.

— А ну, расскажите.

К концу моего коротенького доклада Успенский смотрит на меня довольными и даже улыбающимися глазами. Я смотрю на него примерно так же, и мы оба похожи на двух жуликоватых авгуров.

— Берите папиросу. Так вы это все беретесь провести? Как бы только нам с вами на этом деле не оскандалиться.

— Товарищ Успенский. В одиночку, конечно, я ничего не смогу сделать, но если помощь лагерной администрации...

— Об этом не беспокойтесь. Приготовьте завтра мне для подписи ряд приказов в том духе, в каком вы говорили. Поккалну я дам личные распоряжения.

— Товарищ Поккалн сейчас здесь.

— А, тем лучше.

Успенский нажимает кнопку звонка.

— Позовите сюда Поккална.

Входит Поккалн. Немая сцена. Поккалн стоит перед Успенским более или меня на вытяжку. Я, червь у ног Поккална, сижу в кресле не то, чтобы развалившись, но все же заложив ногу на ногу и покуриваю начальственную папиросу.

— Вот что, товарищ Поккалн. Мы будем проводить вселагерную спартакиаду. Руководить ее проведением будет тов. Солоневич. Вам нужно будет озаботиться следующими вещами: выделить специальные фонды усиленного питания на 60 человек, сроком на 2 месяца, выделить отдельный барак или палатку для этих людей, обеспечить этот барак обслуживающим персоналом, дать рабочих для устройства тренировочных площадок. Пока, тов. Солоневич, кажется, все.

— Пока все.

— Ну, подробности вы сами объясните тов. Поккалну. Только, тов. Поккалн, имейте ввиду, что спартакиада имеет большое политическое значение, и что подготовка должна быть проведена в порядке боевого задания.

— Слушаю, товарищ начальник.

Я вижу, что Поккалн не понимает окончательно ничего. Он ни черта не понимает ни насчет спартакиады, ни насчет политического значения. Он не понимает, почему «боевое задание», и почему я, замызганный очкастый арестант, сижу здесь почти развалившись, почти, как у себя дома, а он, Поккалн, стоит навтытяжку. Ничего этого не понимает честная латышская голова Поккална.

— Тов. Солоневич будет руководить проведением спартакиады, и вы ему должны оказать возможное содействие. В случае затруднений обращайтесь ко мне. И вы тоже, тов. Солоневич. Можете идти, тов. Поккалн. Сегодня я вас принять не могу.

Поккалн поворачивается налево кругом и уходит. А я остаюсь. Я чувствую себя немного... скажем, на страницах Шехерезады. Поккалн чувствует себя точно так же, только он еще не знает, что это Шехерезада. Мы с Успенским остаемся одни.

— Здесь, тов. Солоневич, есть все-таки еще один неясный пункт. Скажите, что это у вас за странный набор статей?

Я уже говорил, что ОПТУ не сообщает лагерю, за что именно посажен сюда данный заключенный. Указывается только статья и срок. Поэтому Успенский решительно не знает, в чем тут дело. Конечно, он не очень верит в то, что я занимался шпионажем (58-6), что я работал в

контрреволюционной организации (58-11), ни в то, что я предавался такому пороку, как нелегальная переправка советских граждан за границу, совершаемая в виде промысла (59-10). Статью, карающую за нелегальный переход и предусматривавшую в те времена максимум 3 года, ГПУ из скромности не использовало вовсе.

Во всю эту ахинею Успенский не верит по той простой причине, что люди, осужденные по этим статьям всерьез, получают так называемую птичку или, выражаясь официальной терминологией, «особые указания» и едут в Соловки без всякой переписки. Отсутствие «птички», да еще 8-летний, а не 10-летний срок заключения являются официальным симптомом вздорности всего обвинения. Кроме того, Успенский не может не знать, что статьи советского уголовного кодекса пришиваются вообще кому попало: был бы человек, а статья найдется.

Я знаю, чего боится Успенский. Он боится не того, что я шпион, контрреволюционер и все прочее. Для спартакиады это не имеет никакого значения. Он боится, что я просто не очень удачный халтурщик, и что где-то там на воле я сорвался на какой-то крупной халтуре, а так как этот проступок не предусмотрен уголовным кодексом, то и пришло мне ГПУ первые попавшиеся статьи. Это — одна из возможностей, которая Успенского беспокоит. Если я сорвусь и с этой спартакиадской халтурой, Успенский меня, конечно, живьем съест, но ему-то от этого какое утешение?

Успенского беспокоит возможная нехватка у меня халтурной квалификации. И больше ничего.

Я успокаиваю Успенского. Я сижу за связь с границей и сижу вместе с сыном. Последний факт отмечает последние подозрения насчет неудачной халтуры.

— Так вот, тов. Солоневич, — говорит Успенский, подымаясь. — Надеюсь, что вы это провернете. Если сумеете, я вам гарантирую снижение срока на половину.

Успенский, конечно, не знает, что я не собираюсь сидеть не только половины, но и четверти своего срока. Я сдержанно благодарю. Успенский снова смотрит на меня пристально в упор.

— Да, кстати, — спрашивает он, — как ваши бытовые условия? Не нужно ли вам чего?

— Спасибо, тов. Успенский. Я вполне устроен.

Успенский несколько недоверчиво приподымает брови.

— Я предпочитаю, — поясняю я, — авансов не брать. Надеюсь, что после спартакиады...

— Если вы ее хорошо провернете, вы будете устроены блестяще. Мне кажется, что вы ее... провернете.

И мы снова смотрим друг на друга глазами жуликоватых авгуров.

— Но если вам что-нибудь нужно, говорите прямо.

Но мне не нужно ничего. Во-первых, потому что я не хочу тратить на мелочи ни одной копейки капитала своего «общественного влияния», а во-вторых, потому что теперь все, что мне нужно, я получу и без Успенского.

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ХАЛТУРЫ

Теперь я передам, в чем заключалась высказанная и не высказанная суть нашей беседы.

Само собой разумеется, что ни о какой мало-мальски серьезной постановке физической культуры в концлагере и говорить не приходилось. Нельзя же в самом деле предлагать футбол человеку, который работает физически 12 часов в сутки при недостаточном питании и у самого полярного круга. Не мог же я в самом деле пойти со своей физкультурой на 19-ый квартал. Я сразу намекнул Успенскому, что уж эту-то штуку я понимаю совершенно ясно и этим избавил его от необходимости вдаваться в не совсем все-таки удобные объяснения.

Но я и не собирался ставить физкультуру всерьез. Я только обязался провести спартакиаду так, чтобы а ней была масса, были рекорды, чтобы спартакиада была соответствующе разрекламирована в московской прессе и сочувствующей иностранной, чтобы она была заснята и на фотопластинки и на кинолентку — словом, чтобы *itbi et orbis* и отечественной плотве и заграничным идеалистическим карасям воочию с документами на страницах журналов и на экране кино было показано, вот как советская власть заботится даже о лагерниках, даже о бандитах, контрреволюционерах, вредителях и т.п. Вот, как идет перековка! Вот здесь правда, а не в гнусных буржуазных выдумках о лагерных зверствах, о голоде, о вымирании.

Юманите, которая в механике этой халтуры не понимает ни уха, ни рыла, будет орать об этой спартакиаде на всю Францию; допускаю даже, что искренне. Максим Горький, который приблизительно так же, как и Успенский, знает эту механику, напишет елейно-проститутскую статью в «Правду» и пришлет в ББК приветствие. Об этом приветствии лагерники будут говорить в выражениях, не поддающихся переводу ни на какой иностранный язык — выражениях, формулирующих те предельные степени презрения, какие заваливший урка может чувствовать

к самой завалившей, изъеденной сифилисом подзаборной проститутке. Ибо он, лагерник, уж он-то знает, где именно зарыта собака и знает, что Горькому это известно не хуже, чем ему самому.

О прозаических реальных корнях этой халтуры будут знать все, кому это надлежит знать — и ГПУ и Гулаг и Высший Совет физкультуры, и в глазах всех Успенский будет человеком, который выдумал эту комбинацию, хотя и жульническую, но явно служащую вящей славе Сталина. Успенский на этом деле заработает некоторый административно-политический капитал. Мог ли он не клонуть на такую комбинацию? Мог ли Успенский не остаться довольным нашей беседой, где столь прозаических выражений, как комбинация и жульничество, конечно, не употреблялось, и где все было ясно и понятно само собой.

Еще довольнее был я, ибо в этой игре не Успенский использует и обставит меня, а я использую и обставляю Успенского. Ибо я точно знаю, чего я хочу. И Успенский сделает почти все от него зависящее, чтобы гарантировать безопасность моего побега.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВИХРЬ

В течение ближайших трех дней были изданы приказы;

1. По всему ББК — о спартакиаде вообще, с обязательным опубликованием в «Перековке» не позже 12 июня.
2. Всем начальникам отделений — о подборе инструкторов, команд и прочего «под их личную (начальников отделений) ответственность» и с обязательным докладом непосредственно начальнику ББЛага тов. Успенскому каждую пятитдневку о проделанной работе. Приказ этот был средактирован очень круто: «Тут можно и перегнуть палку, времени мало», — сказал Успенский.
3. Об освобождении всех участников команд от работы и общественной нагрузки и о прекращении их перебросок с лагпункта на лагпункт.
4. О подготовке отдельного барака в совхозе «Вичка» для 60 человек участников спартакиады и о бронировании для них усиленного питания на все время тренировок и состязаний.
5. Об ассигновании 50000 рублей на покупку спортивного инвентаря.
6. и 7. Секретные приказу по ВОХРу, третьему отделу и Динамо об оказании мне содействия.

Когда все это было подписано и «спущено на места», я почувствовал, что дальше этого делать больше было нечего, разве что затребовать автомобиль до границы...

Впрочем, как это ни глупо звучит, такой автомобиль тоже не был совсем утопичным: в 50 км к западу от Медгоры был выстроен поселок для административно ссыльных, и мы с Юрой обсуждали проект поездки в этот поселок в командировку. Это не было бы до границы, но это было бы все-таки почти полдороги до границы. Но я предпочел лишние 5 дней нашего пешего хождения по болотам дополнительному риску автомобильной поездки.

КАК ОТКРЫВАЕТСЯ ЛАРЧИК С ЭНТУЗИАЗМОМ

Какая-то заваливающая спартакиада ББК — это, конечно, мелочь. Это не пятилетка, не Магнитострой и даже не «Магнитострой литературы». Но величие Аллаха проявляется в мельчайшем из его созданий. Халтурные методы ББКовской спартакиады применяются и на московских спартакиадах, на «строях» всех разновидностей и типов, на Магнитостроях литературных и не литературных, печатных и вовсе не печатных и в сумме мелких и крупных слагаемых дают необозримые массивы великой всесоюзной Халтуры с большой буквы.

Ключ к ларчику, в котором были запрятаны успехи, увы, не состоявшейся ББКовской халтуры, будет открывать много советских ларчиков вообще. Не знаю, будет ли это интересно, но поучительно будет во всяком случае.

Спартакиада была назначена на 15 августа, и читатель, не искушенный в советской технике, может меня спросить, каким это образом собирался я за эти полтора-два месяца извлечь из пустого места и массы и энтузиазм и рекорды и прочее. И неискушенному в советской технике читателю я отвечу, даже и не извиняясь за откровенность: точно так же, как я извлекал их на Всесоюзной спартакиаде, точно так же, как эти предметы первой советской необходимости извлекаются по всей советской России вообще.

На воле есть несколько сотен хорошо оплачиваемых профессионалов (рекорды), несколько тысяч кое-как подкармливаемых, но хорошо натренированных в «организационном отношении» комсомольцев (энтузиазм) и десятки тысяч всякой публики вроде осоавиахимовцев и прочего, которые по соответствующему приказу могут воплотиться в соответствующую массу в любой момент и по любому решительному поводу: спартакиада, процесс вредителей, приезд Горького, встреча короля Амманулы и пр. Повод не играет никакой роли. Важен приказ.

У меня для рекордов будет 5-6 десятков людей, которых я помещу в этот курортный барак на Вичке, которые будут там жрать так,

что им на воле и не снилось. Успенский эту жратву даст, и у меня ни один каптер не сопрет ни одной копейки. Которые будут есть, спать, тренироваться и больше ничего. В их числе будут десятка два-три бывших инструкторов физкультуры, то есть профессионалов своего дела.

Кроме того, есть момент и не халтурного свойства, точно так же, как он есть и в пятилетке. Дело в том, что на нашей бывшей святой Руси рассыпаны спортивные таланты феерического масштаба. Сколько раз еще до революции меня, человека исключительного телосложения и многолетней тренировки, били, в том числе и по моим спортивным специальностям совершенно случайные люди, решительно никакого отношения к спорту не имевшие, пастухи, монтеры, гимназисты. Дело прошлое, но тогда было очень обидно.

Таких людей, поискавши, можно найти и в лагере — людей, вроде того сибирского гиганта с 19-го квартала. Нескольких, правда пожиже, но не так изъеденных голодом, я уже подобрал на пятом лагпункте. За полтора месяца они подкормятся. Человек 10 я еще подберу. Но ежели поче чаяния цифры рекордов покажутся мне недостаточными, то что по милости Аллаха мешает мне провести над ними ту же операцию, какую наркомат тяжелой промышленности производит над цифрами добычи угля (в сей последней операции я тоже участвовал). Какой мудрец разберет потом, сколько тонн угля было добыто из шахт Донбасса и сколько из канцелярий Наркомтяжпрома?

Какой мудрец может проверить, действительно ли заключенный Иванов седьмой пробежал стометровку в 11,2 секунды, и в положительном случае был ли он действительно заключенным? Хронометраж будет в моих руках. Судейская коллегия будут свои парни «в доску». Успенскому же важно во-первых, чтобы цифры были хороши и во-вторых, чтобы они были хорошо сделаны, вне подозрений или во всяком случае вне доказуемых подозрений.

Все это будет сделано. Впрочем, ничего этого на этот раз не будет сделано, ибо спартакиада назначена на 15 августа, а побег на 28 июля.

Дальше, роль десятка тысяч энтузиастов будут выполнять сотни две-три ВОХРовцев, оперативников и работников ГПУ — народ откормленный, тренированный и весьма натасканный на всяческий энтузиазм. Они создадут общий спортивный фон, они будут орать, они дадут круглые улыбающиеся лица для съемки передним планом.

Наконец, для массы я мобилирую треть всей Медгоры. Эта треть будет маршировать «мощными колоннами», нести на своих спинах лозунги, получит лишний паек хлеба и освобождение от работ дня на 2-3.

Если спартакиада пройдет успешно, то для этой массы я еще выторгую по какой-нибудь майке. Успенский тогда будет щедр.

Вот эти пайки и майки — единственное, что я для этих масс могу сделать. Да и то относительно, ибо хлеб этот будет отнят от каких-то других масс, и для этих других я не могу сделать решительно ничего; только одно — использовать Успенского до конца, бежать за границу и там на весь христианский и не христианский мир орать благим матом об их, этих масс, судьбе. Здесь же я не могу не только орать, но и пикнуть; меня прирежут в первом же попавшемся чекистском подвале, как поросенка, без публикации не то, что в «Правде» а даже и в «Перековке», прирежут так, что даже родной брат не сможет откопать, куда я делся.

ТРАМПЛИН ДЛЯ ПРЫЖКА К ГРАНИЦЕ

Конечно, при всем этом я малость покривлю душой. Но что поделаешь? Не я выдумал эту систему общеобязательного всесоюзного кривлянья и — Paris vaut la messe.

Вместо «Парижа» я буду иметь всяческую свободу действий, передвижений и разведки, а также практически ничем неограниченный блат. Теперь я могу придти в административный отдел и сказать дружеским, но не допускающим никаких сомнений током:

— Заготовьте-ка мне сегодня вечером командировку туда-то и туда-то. И командировка будет заготовлена мне вне всякой очереди, и ни какая третья часть не поставит на ней штампа:

«Следует в сопровождении конвоя», какой она поставила на моей первой командировке. И никакой ВОХРовец, когда я буду нести в укромное место в лесусвой набитый продовольствием рюкзак, не полезет, ибо и он будет знать о моем великом благе у Успенского. Я уж позабочусь, чтобы он об этом знал. И он будет знать еще о некоторых возможностях, изложенных ниже.

В моем распоряжении окажутся такие великие блага, как тапочки. Я их могу дать, а могу и не дать. И человек будет ходить либо в пудовых казенных сапожищах, либо на своих голых частнособственных подошвах.

И, наконец, если мне это понадобится, я приду, например, к заведующему ларьком тов. Аведисяну и предложу ему полтора месяца жратвы, отдыха, и сладкого бездумья на моем вичкинском курорте. На жратву Аведисяну наплевать, и он может мне ответить:

Наш брат презирает советскую власть,

И дар твой мне вовсе не нужен,
Мы сами с усами и кушаем всласть
На завтрак, обед и на ужин.

Но об отдыхе, об единственном дне отдыха за все свои 6 лет лагерного сидения, Аведисян мечтает все эти 6 лет. Он, конечно, ворует, не столько для себя, сколько для начальства. И он вечно дрожит, не столько за себя, сколько за начальство. Если влипнет он сам — ерунда, начальство выручит, только молчи и не болтай. Но если влипнет начальство, тогда пропал, ибо начальство, чтобы выкрутиться, свалит все на Аведисяна, и некому будет Аведисяна выручать, и сгниет Аведисян где-нибудь на Лесной Речке.

Аведисян облизнется на мой проект, мечтательно посмотрит в окно на недоступное ему голубое небо, хотя и не кавказское, а только карельское и скажет этак безнадежно:

— Полтора месяца? Хотя бы только полтора дня. Но, тов. Солоневич, ничего из этого не выйдет. Не отпустят.

Я знаю, его очень трудно вырвать. Без него начальству придется сызнова и с новым человеком налаживать довольно сложную систему воровства. Хлопотливо и не безопасно. Но я скажу Аведисяну, небрежно и уверенно:

— Ну, уж это вы, т. Аведисян, предоставьте мне.

И я пойду к Дорошенке, начальнику лагпункта. Здесь могут быть два варианта:

1. Если начальник лагпункта человек умный и с нюхом, то он отдаст мне Аведисяна без всяких разговоров. Или если с Аведисяном будет действительно трудно, скажет мне:

— Знаете что, т. Солоневич, мне очень трудно отпустить Аведисяна. Ну, вы знаете, почему. Вы человек бывалый. Идите лучше к начальнику отделения т. Поккалну и поговорите с ним.

2. Если он человек глупый и нюха не имеет, то он, выслушав столь фантастическую просьбу, пошлет меня к чертовой матери, что ему очень дорого обойдется; не потому, чтобы я был мстительным, а потому, что в моем нынешнем положении я вообще не могу позволить себе роскоши быть посланным к чертовой матери.

А так как Дорошенко человек толковый и кроме того знает о моем благе у Успенского, он вероятнее всего уступит мне его безо всяких разговоров. В противном случае мне придется пойти к Поккалну и повторить ему свою просьбу.

Поккалн с сокрушением пожмет плечами, протянет мне свой умиловительный портсигар и скажет:

— Да, но вы знаете, т. Солоневич, как трудно оторвать Аведисяна от ларька, да еще на полтора месяца.

— Ну, конечно, знаю, т. Поккалн. Поэтому-то я и обратился к вам. Вы же понимаете, насколько нам политически важно провести нашу спартакиаду!

Политически! Тут любой стремительно начальственный разбег с размаху сядет в калошу. По-ли-ти-чес-ки! Это пахнет такими никому не понятными вещами, как генеральная линия, коминтерн, интересы мировой революции и всяческие черти в ступе и во всяком случае недооценка, притупление классовой бдительности, хождение на поводу у классового врага и прочие вещи, еще менее понятные, но не приятные во всяком случае. Тем более, что и Успенский говорил «политическое значение». Поккалн не понимает ни черта, но Аведисяна отдаст.

В том совершенно невероятном случае, если откажет и Поккалн, я пойду к Успенскому и скажу ему, что Аведисян — лучшее украшение будущей спартакиады, что он пробегает стометровку в 0,1 секунды, но что по весьма не понятным соображениям администрация лагпункта недочет его отпустить. Успенскому все-таки будет спокойнее иметь настоящие, а не липовые цифры спартакиады и кроме того, Успенскому наплевать на то, с какой степенью комфорта разворовывается лагерный сахар, и Аведисяна я выцарапаю.

Я могу таким же образом вытянуть раздатчика из столовой ИТР и многих других лиц. Даже предубежденный читатель поймет, что в ларьковом сахаре я недостатка терпеть не буду, что ИТР-овских щей я буду хлебать, сколько в меня влезет. И в своем курорте я на всякий случай, например, срыв побега из-за болезни, мало ли, что может быть, я забронировал два десятка мест, необходимых мне исключительно для блага.

Но я не буду беспокоить ни Дорошенко, ни Поккална, ни Аведисяна с его сахаром. Все это мне не нужно. Это — случай гипотетический и, так сказать, не состоявшийся. О случаях, которые состоялись и которые дали нам по компасу, по паре сапог, по плащу, по пропуску и, главное, карту, я не могу говорить по причинам вполне понятным. Но они развивались по канонам гипотетического случая с Аведисяном. Ибо не только кухонному раздатчику, но любому ВОХРовцу и оперативнику перспектива полутора месяцев курорта гораздо приятнее того же срока, проведенного в каких-нибудь засадах, заставах и обходах по топям, болотам и комарам.

А вот вам случай не гипотетический.

Я прохожу по коридору отделения и слышу грохочущий мат Поккална и жалкий лепет оправдания из уст т. Левина, моего начальника колонны. Мне ничего не нужно у Поккална, но мне нужно произвести должное впечатление на Левина. Поэтому я вхожу в кабинет Поккална, конечно без доклада и без очереди, бережно обхожу вытянувшегося в струнку Левина, плотно усаживаюсь в кресло у стола Поккална, закидываю ногу за ногу и осматриваю Левина сочувственно покровительственным взглядом: и как это тебя, братец, так угораздило...

Теперь несколько разъяснений.

Я живу в бараке номер 15, и надо мной в бараке существует начальство — статистик, староста барака и двое дневальных, не говоря о выборном начальстве, вроде, например, уполномоченного по борьбе с прогулами, тройки по борьбе с побегами, тройки по соревнованию и ударничеству и прочее. Я между всем этим начальством, как лист, крутимый бурей. Дневальный, например, может поинтересоваться: почему я, уезжая в двухдневную командировку, уношу особой двухпудовый рюкзак и даже поковыряться в нем. Вы понимаете, какие будут последствия, если он поковыряться! Тройка по борьбе с побегами может в любой момент учинить мне обыск. Староста барака может погнать меня на какое-либо особо неудобное дежурство, на какой-нибудь субботник по чистке отхожих мест, может подложить мне всяческую свинью по административной линии. Начальник колонны может погнать на общие работы, может пересадить меня в какой-нибудь особо дырявый и уголовный барак, перевести куда-нибудь моего сына, зачислить меня в филоны или в антиобщественные и антисоветский элементы и вообще проложить мне прямую дорожку на Лесную Речку. Над начальником колонны стоит начальник Урча, который с начальником колонны может сделать больше, чем начальник колонны со мной, а обо мне уж и говорить нечего... Я возношусь мысленно выше и вижу монументальную фигуру начальника лагпункта, который и меня и Левина просто в порошок стереть может. Еще дальше — начальник отделения, при имени которого прилипает язык к горлу лагерника... Говоря короче, начальство до начальника колонны — это крупные неприятности, до начальника лагпункта — это возможность погребения заживо в каком-нибудь морсплаве, Лесной Речке, Поповом острове, девятнадцатом квартал. Начальник отделения — это уже право жизни и смерти. Это уже право на расстрел.

И все это начальство мне нужно обойти и обставить. И это при том условии, что по линии чисто административной я был у ног не только Поккална, но и Левина, а по линии блага — черт меня разберет. Я

через головы всего этого сногшибательного начальства имею хождение непосредственно к самому Успенскому, одно имя которого вгоняет в пот начальника лагпункта. И разве начальник лагпункта, начальник Урча, начальник колонны могут предусмотреть, что я там брякну насчет воровства, пьянства, начальственных процентных сборов с лагерных проституток, приписки мертвых душ к лагерным столовкам и много, очень много другого?

И вот, я сижу, болтая ногой, покуривая папиросу и глядя на то, как на лбу Левина уже выступили капельки пота. Поккалн спохватывается, что мат ведь официально не одобрен, слегка осекается и говорит мне, как бы извиняясь:

— Ну вот, видите, тов. Солоневич, что с этим народом поделаешь?

Я сочувственно пожимаю плечами.

— Ну, конечно, тов. Поккалн. Что поделаешь? Вопрос кадров. Мы все этим болеем.

— Ступайте вон, — говорит Поккалн Левину.

Левин пробкой вылетает в коридор и, вылетев, не дважды и не трижды возблагодарил Аллаха за то, что ни вчера, ни позавчера, ни даже третьего дня он не подложил мне никакой свиньи. Ибо если бы такая свинья была подложена, то и я не сказал бы Поккалну вот так, как сейчас:

— Что поделаешь... Вопрос кадров.

А сказал бы:

— Что же вы хотите, тов. Поккалн. У них в кабинке перманентное воровство и ежедневное пьянство.

Само собой разумеется, что и об этом воровстве и об этом пьянстве Поккалн знает так же точно, как знаю и я. Поккалн, может быть и хотел бы что-нибудь сделать, но как ему справиться, если ворует вся администрация и в лагере и на воле. Посадишь в Шизо одного, другой на его месте будет воровать точно так же: система. Поэтому Поккалн глядит сквозь пальцы. Но если бы при Поккалне сказал бы о воровстве вслух, то о том же воровстве я мог бы сказать и Успенскому, так, между прочим. И тогда полетит не только Левин, но и Поккалн. Ибо в функции Успенского входит нагонять страх. И значит, в случае подложенной мною свиньи вылетел бы тов. Левин; но уже не в коридор, а в Шизо, под суд, на Лесную Речку, в гниение заживо. Ибо я в числе прочих моих качеств живой свидетель, имеющий доступ к самому Успенскому.

И придя домой и собрав собутыльников и соучастников своих, скажет им тов. Левин, не может не сказать в интересах общей безопасности:

— Обходите вы этого очкастого за 25 верст с правой стороны. Черт его знает, какой у него там блат и у Поккална и у Успенского.

И буду я благоденствовать и не полезет никто ни в карманы мои, ни в рюкзак мой.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате всего этого блата я к 28 июля имел: две командировки в разные стороны для себя самого, что было сравнительно несложно.

Две командировки на тот же срок и тоже в разные стороны для Юры, что было при наших статьях и одинаковых фамилиях чрезвычайно сложно и трудно.

Два разовых пропуска для нас обоих на всякий случай.

И кроме того, этот блат попросту спас нам жизнь. Как я ни обдумывал заранее всех деталей побега, как ни представлял себе всех возможных комбинаций, я проворонил одну. Дорогу к укромному месту в лесу, где был сложен наш багаж, я прошел для разведки раз десять. На этих местах ни разу не было ни души, и эти места не охранялись. Когда я в последний раз шел туда, шел уже в побег, имея на спине рюкзак с тремя пудами вещей и продовольствия, а в кармане компас и карту, я натолкнулся на патруль из двух оперативников. Судьба.

В перспективе было — или арест или расстрел или драка с двумя вооруженными людьми с очень слабыми шансами на победу. И патруль прошел мимо меня, не посмея поинтересоваться не только рюкзак, но и документами.

ЕСЛИ БЫ

Если бы я почему бы то ни было остался в ББК, я провел бы эту спартакиаду так, как она проектировалась. Юманите распирало бы от энтузиазма, а от Горького по всему миру растекался бы его подзаборный елей. Я жил бы лучше, чем на воле; значительно лучше, чем живут квалифицированные специалисты в Москве и не делал бы ровно ни черта.

Все это очень красиво?

Все это просто и прямо отвратительно. Но это есть советская жизнь, такая, какая она есть.

Миллионы людей в России дохнут с голоду и от других причин, но нельзя себе представить дело так, что перед тем, как подохнуть, они не пытаются протестовать, сопротивляться и изворачиваться. Процессами этого изворачивания наполнены все советские будни, ибо протесты и открытое сопротивление безнадежны.

Не нужно схематизировать этих будней. Нельзя представлять себе дело так, что с одной стороны существуют беспощадные палачи, а с другой — безответные агнцы. Палачи — тоже рабы. Успенский — раб перед Ягодой, а Ягода перед Сталиным. Психологией рабства, изворачивания, воровства и халтуры пропитаны эти будни. Нет бога, кроме мировой революции, и Сталин пророк ее. Нет права, а есть революционная целесообразность, и Сталин — единственный толкователь ее. Не человеческие личности, а есть безразличные единицы «массы», приносимой в жертву мировому пожару.

ПРИПОЛЯРНЫЕ ОГУРЦЫ

Административный вихрь, рожденный в кабинете Успенского, произвел должное впечатление на лагерную администрацию всех рангов. Дня через три меня вызвал к себе Поккалн. Вызов был сделан весьма дипломатически. Ко мне пришел начальник лагпункта тов. Дорошенко, сказал, что Поккалн хочет меня видеть, и что если у меня есть время, не соглашусь ли я заглянуть к Поккалну.

Я, конечно, согласился. Поккалн был изысканно вежлив; в одном из приказов всем начальникам отделений вменялось в обязанность каждую пятидневку лично и непосредственно докладывать Успенскому о проделанной работе. А о чем, собственно, мог докладывать Поккалн?

Я был столь же изысканно вежлив. Изобразили доклад Успенскому, и я сказал Поккалну, что для медгорского отделения ему придется найти специального работника. Я, дескать, работаю не как-нибудь, а в масштабе всего ББК. Никакого такого работника у Поккална, конечно и в заводе не было. Поэтому я, снисходя к поккалновской административной слабости, предложил ему пока что услуги Юры. Услуги были приняты с признательностью, и Юра был зачислен инструктором спорта медгорского отделения ББК — это было чрезвычайно важно для побега.

Потом мы с Поккалном наметили место для жилья будущих участников спартакиады. Я предложил лагерный пункт Вичку, лежавшую верстах в шести к западу от Медгоры. Вичка представляла ряд

технических преимуществ для побега, которые, впрочем, впоследствии так и не понадобились. Поккалн сейчас же позвонил по телефону начальнику вичкинского лагпункта, сообщил, что туда прибудет некий т. Солоневич, обремененный по-ли-ти-ческими заданиями и действующий по личному приказу тов. Успенского. Поэтому, когда я пришел на Вичку, начальник лагпункта встретил меня точно так же, как некогда товарищ Хлестаков был встречен товарищем Сквозняк-Дмухановским.

Сама же Вичка, была достаточно любопытным произведением советского строительства. На территории двух десятин был выкорчеван лес, вывезены камни, засыпаны ямы и сооружены оранжереи. Это было огородное хозяйство для нужд чекистских столовых и распределителей.

В Москве для того, чтобы вставить выбитое в окне стекло, нужен великий запас изворотливости и удачи. А тут две десятины были покрыты стеклом, и под этим стеклом выращивались огурцы, помидоры, арбузы и дыни. Со всего ББК поездами свозился навоз, команды ВОХРа выщарапывали из деревень каждую крошку коровьих экскрементов, сюда было ухлопано огромное количество народного труда и народных денег.

Так как я прибыл на Вичку в качестве эдакого почетного, но все же весьма подозрительного гостя (начальник лагпункта, конечно, никак не мог поверить, что все эти приказы и прочее, что все это из-за какого-то футбола; в его глазах стояло: уж вы меня не проведете, знаем мы), то ко мне был приставлен старший агроном Вички, тоже заключенный, который потащил меня демонстрировать свои огородные достижения.

Демонстрировать, собственно, было нечего. Были чахлые, малокровные огурцы и такой же салат, помидоров еще не было, арбузы и дыни еще должны были быть. В общем, приполярное огородное хозяйство. Освоение приполярных массивов. Продолжение социалистической агрокультуры к полярному кругу: для большевиков нет ничего невозможного.

Невозможного действительно нет. При большевицком отношении к труду можно и на северном полюсе кокосовые пальмы выращивать. Отчего нет? Но с затратой только одной сотой доли всего того, что было ухлопано в вичкинские оранжереи, всю Медгору можно было бы завалить помидорами, выращенными в Малороссии безо всякого стекла, безо всяких достижений и без всяких фокусов. Правда, в результате аналогичных фокусов помидоры и в Малороссии расти перестали.

Агроном оказался энтузиастом. Как у всех энтузиастов, у него футурум подавляюще доминировало над презент.

КУРОРТ НА ВИЧКЕ

— Все это, вы понимаете, только начало. Только первые шаги в деле сельскохозяйственного освоения севера. Вот когда будет закончена электростанция на Кумсе, мы будем отапливать эти оранжереи электрическим током.

Вероятно, будут отапливать электрическим током. Уже был почти окончательно разработан проект сооружения на соседней речушке Кумсе гигантской в 80 метров вышиной плотины и постройки там гидростанции. Конечно, постройка проектировалась путем использования каторжного труда и каторжных костей. Какой-нибудь Акульшин вместо того, чтобы у себя дома сотнями тонн производить помидоры безо всяких гидростанций, будет гнить где-то под этой плотинкой, а помидоров, как и раньше, не будет ни там, ни тут.

Еще один из нелепых, порочных кругов советской реальности. Но коллекция этих кругов в каких-то вырванных из общей связи местах создает некоторое впечатление. Так и с этой Вичкой. Месяц позже меня приставили в качестве переводчика к какой-то иностранной делегации. Делегация осматривала, ахала и охала, я же чувствовал себя так глупо и так противно, что даже и писать об этом не хочется.

Я испытующе посмотрел на агронома. Кто его знает? Ведь вот я организую во имя спасения шкуры свою совершенно идиотскую халтуру со спартакиадой. Может быть, спасает свою шкуру и агроном со своей вичкинской халтурой. Правда, Вичка обойдется во много раз дороже моей спартакиады, но когда дело доходит до собственной шкуры, люди расходами обычно не стесняются, особенно расходами за чужой счет.

Я даже попробовал было понимающе подмигнуть этому агроному, как подмигивают друг другу толковые советские люди. Никакого впечатления. Свои приполярные помидоры агроном принимал совершенно всерьез. Мне стало жутко. Боюсь я энтузиастов. И вот еще один энтузиаст. Для этих помидоров он своей головы не пожалеет, это достаточно очевидно. Но еще в меньшей степени он позаботится о моей голове.

От агронома мне стало противно и жутко. Я попытался было намекнуть на то, что на Днепре, Дону, Кубани эти помидоры можно выращивать миллионами тонн и без всяких электрификации, а места там слава Богу хватает и еще на сотни лет хватит. Агроном посмотрел на меня презрительно и замолчал. Не стоит де метать бисера перед свиньями. Впрочем, огурцами он меня снабдил в изобилии.

Никакого барака для участников спартакиады строить не пришлось. В Вичке только что было закончено огромное деревянное здание будущей конторы совхоза, и я пока что прикарманил это здание для жилья моих спортсменов. Впрочем, там оказались не одни спортсмены: спартакиады я все равно проводить не собирался и подбирал туда всякую публику преимущественно по признаку личных симпатий, так сказать, протекционизм. Мы с Юрой оказались в положении этаких Гарун-аль-Рашидов, имеющих возможность на общем фоне каторжной жизни рассыпать вокруг себя благодеяния полутора-двух месяцев сытного и привольного житья на вичкинском курорте. Рассыпали щедро, все равно бежать, чем мы рискуем? Помещение уже было, фонды питания и хорошего питания, уже были выделены. Жалко было оставлять пустующими курортные места. Так, для медицинского надзора за драгоценным здоровьем тренирующихся я извлек из центральной чекистской амбулатории одного престарелого хирурга, окончательно измотанного лагерным житьем и в воздаяние за это, хотя тогда о воздаянии я не думал, я получил возможность подлечить свои нервы душами Шарко, массажем, электротерапией, горным солнцем и прочими вещами, которые в европейских условиях влезают, вероятно, в копейчку. Примерно таким же образом были извлечены две машинистки управления ББК, одна из которых отсидела уже семь лет, другая — шесть. Вообще, на Вичку переводились люди, которые решительно никакого отношения к спартакиаде не имели и иметь не могли.

Все мои предписания насчет таких переводов Поккалн исполнял неукоснительно и без разговоров. Имею основания полагать, что за эти недели я Поккалну осточертел, и моя спартакиада снилась ему каким-то восьминогим кошмаром с очками на каждой ноге. И если кто был обрадован нашим побегом из лагеря, так это был Поккалн: как гора с плеч. Была только одна маленькая зацепочка. Юра через Хлебникова отыскал семидесятилетнего профессора геологии, имя небезызвестное и за границей. Я решил рискнуть и пришел к Поккалну. Даже латышская флегма т. Поккална не выдержала:

— Ну уж позвольте, тов. Солоневич, это уж чересчур. Зачем он вам нужен? Ему же шестьдесят, что он в футбол у вас будет играть?

— Ах, тов. Поккалн, ведь вы сами же понимаете, что спартакиада имеет в сущности вовсе неспортивное, а чисто политическое значение.

Поккалн посмотрел на меня раздраженно, но сделал вид, что о политическом значении он понимает все. Расспрашивать меня и

следовательно, признаваться в обратном было бы неудобно: какой же он после этого член партии?

Профессор в полном изумлении забрел свои пожитки, был перевезен на Вичку, лежал там на солнышке, удил форель и с совершенно недоуменным видом спрашивал меня потом:

— Послушайте, тут вы, кажется, что-то вроде заведующего. Объясните мне рада Бога, что сей сон значит?

Объяснить ему у меня не было никакой возможности. Но в воздаяние за курорт я попросил профессора выучить меня уженью форели. Профессор поучил меня дня два, а потом бросил.

— Простите, я выдвигенцами никогда не занимался. Извините, пожалуйста, но такой бездарности, как вы, еще не встречал. Советую вам никогда и в руки удочки не брать. Профанация.

Юра в своем новом чине инструктора спорта медгорского отделения ББК ОГПУ лазил по лагпунктам и потом говорил мне: там на шестом лагпункте бухгалтерша одна есть. Кандидатура бухгалтерши подвергалась обсуждению, и женщина из обстановки голодного, 12-ти часового рабочего дня, клопных барачков и всяческих понуканий, не веря своим глазам, перебиралась на Вичку.

Я сейчас заплатил бы некоторое количество денег, чтобы посмотреть, как после нашего побега Успенский расхлебывал мою спартакиаду, а Поккалн расхлебывал мой вичкинский курорт. Во всяком случае, это был на редкость веселый период моей жизни.

НА САМЫХ ВЕРХАХ

Мои отношения с Успенским если и были лишены некоторых человеческих черточек, то во всяком случае нехваткой оригинальности никак не страдали. Из положения заключенного и каторжника я одним мановением начальственных рук был перенесен в положение соучастника некой жульнической комбинации, в положение совладельца некой жульнической тайны. Успенский имел в себе достаточно мужества или чего-то иного, чтобы при всем этом не делать честного выражения лица; я тоже. Так что было взаимное понимание, не очень стопроцентное, но было.

Успенский вызывал меня по несколько раз в неделю в самые неподходящие часы дня и ночи, выслушивал мои доклады о ходе дел, заказывал и цензурировал статьи, предназначенные для «Перековки», Москвы и «братских компартий», обсуждал проекты сценария о

спартакиаде и прочее в этом роде. Иногда выходили маленькие недоразумения. Одно из них вышло из-за профессора-геолога.

Успенский вызвал меня, и вид у него был раздраженный.

— На какого же черта вам этот старик нужен?

— А я его в волейбол учу играть. Успенский повернулся ко мне с таким видом, который довольно ясно говорил: будьте добры дурака не разыгрывать, это вам дорого может обойтись. Но вслух спросил:

— А вы знаете, какую должность он занимает в производственном отделе?

— Конечно, знаю.

— Ну-с?

— Видите ли, тов. Успенский, профессора я рассматривал в качестве, так сказать, коронного номера спартакиады. Самый ударный момент. Профессор известен в лицо и не только в России, а пожалуй и за границей. Я его выучу в волейбол играть. Конечно, в его годы это не так просто. Лицо у него этакое патриархальное. Мы его подкормим. И потом заснимем на кино; загорелое лицо под сединой волос. Почтенный старец, отбросивший все свои вредительские заблуждения и в окружении исполненной энтузиазма молодежи, играющий в волейбол или марширующий в колоннах. Вы ведь понимаете, все эти перековавшиеся урки — это и старо и неубедительно. Кто их там знает, этих урок? А тут человек, известный всей России!

Успенский даже папиросу изо рта вынул.

— Неглупо придумано. — сказал он. — Совсем неглупо. Но вы думали о том, что этот старикашка может отказать? Я надеюсь, вы ему о... спартакиаде вообще ничего не говорили.

— Ну, это уж само собой разумеется. О том, что его будут снимать, он до самого последнего момента не должен иметь никакого понятия.

— Так. Мне Вержбицкий, начальник производственного отдела, уже надоел с этим старичком. Ну, черт с ним, с Вержбицким. Только очень уж стар ваш профессор-то. Устроить разве ему диетические питание.

Профессору было устроено диетическое питание. Совершенная фантастика.

ВОДНАЯ СТАНЦИЯ

На берегу Онежского озера была расположена водная станция Динамо. И в Москве и в Петербурге и в Медгоре водные станции Динамо были прибежищем самой высокой преимущественно чекистской, аристократии. Здесь был буфет по ценам кооператива ГПУ, устанавливаемым в том допущении, что советский рубль равен приблизительно золотому — иначе говоря, по ценам, почти даровым. Здесь были лодки, была водка, было пиво. Ни вольной публики, ни тем более заключенных сюда не подпускали на выстрел. Даже местная партийная, но не лагерная аристократия заходила сюда робко, жалась по уголкам и подобострастно взирала на монументально откормленные фигуры чекистов. По роду моей деятельности эта водная станция была подчинена мне.

Приходит на эту станцию секретарь партийного комитета вольного Медгорского района, так сказать, местный предводитель дворянства. Приходит сюда, чтобы хоть бочком прикоснуться к великим мира сего и долго думает, следует ли ему рискнуть на рюмку водки или благоразумнее будет ограничиться кружкой пива. Все эти Радецкие, Якименки, Корзуны и прочие «центральные», т. е. командированные сюда Москвой работники, сытые и уверенные — это чекистские бароны и князья. Он — провинциальный, захоластный секретаришка, которому здесь в районе лагеря и делать-то что, не известно. Хотя у него орден красного знамени — какие-то заслуги в прошлом, но в достаточной степени каторжная жизнь в настоящем; он придавлен массивами, стой лично-чекистской уверенностью и аристократически-пренебрежительными манерами какого-нибудь Якименки, который, проплывая мимо, посмотрит на него, как на пустое место.

А я, так сказать, отрепье социалистической общественности, хожу по станции в одних трусах, и Якименко дружественно пожимает мне руку, хлопается рядом со мной на песок, и мы ведем с ним разные разговоры. Я обучаю Якименко плаванию, снабжаю его туристскими советами, со мной вообще есть о чем поговорить, и у меня — блат у Успенского. Предводитель дворянства чувствует, что его как-то, не известно, как, обставили все — и я, контрреволюционер и Якименко, революционер и еще многие люди. А зарежут его какие-нибудь кулаки где-нибудь на переезде из глухой карельской деревни в другую, и его наследник по партийному посту выкинет его семью из квартиры в 24 часа.

В один из таких жарких июньских дней лежу я на деревянной пристани динамовской станции и читаю Лонгфелло в английском

издании. История же с этой книгой достаточно поучительна и нелепа, чтобы не рассказать о ней.

Управление ББК имело прекрасную библиотеку — исключительно для администрации и для заключенных первого лагпункта. Библиотека была значительно лучше крупнейших профсоюзных библиотек Москвы. Книг отсюда не растаскивали и книг отсюда не изымали, и тут были издания, которые по Москве ходят только подпольно и, наконец, библиотека очень хорошо снабжалась иностранной технической литературой и журналами, из которых кое-что можно было почерпнуть о заграничной жизни вообще. Я попросил мне выписать из Лондона Лонгфелло.

Для того, чтобы московский профессор мог выписать из-за границы необходимый ему научный труд, ему нужно пройти через пятьдесят пять мытарств и с очень невеликими шансами на успех: нет валюты. Здесь же — ГПУ. Деньги ГПУ. Распорядитель этим деньгам Успенский. У меня с Успенским блат.

Итак, лежу я и читаю Лонгфелло. Юра околачивается где-то в воде в полуверсте от берега. Слышу голос Успенского.

— Просвещаетесь?

Переворачиваюсь на бок. Стоит Успенский, одетый, как всегда, по-лагерному — грязноватые красноармейские штаны, расстегнутый ворот рубахи. «Ну и жара!»

— А вы раздевайтесь.

Успенский сел, стянул с себя сапоги и все прочее. Два его телохранителя шатались по берегу и делали вид, что они тут ни при чем. Успенский похлопал себя по впалому животу и сказал:

— Худею, черт его дерит.

Я посоветовал ему мертвый час после обеда.

— Какой тут к черту мертвый час. Передохнуть и то некогда. А вы и английский знаете?

— Знаю.

— Вот, буржуй.

— Не без того.

— Ну и жара.

Юра перестал околачиваться и плыл к берегу классическим кролем. Он этим кролем покрывал стометровку приблизительно в рекордное для России время. Успенский приподнялся.

— Ну и плывет же, сукин сын! Кто это?

— А это мой сын.

— Ага. А вашего брата я в Соловках знал. Ну и медведь.

Юра с полного хода схватился за край мостика и с такой спортивной элегантностью вскочил наверх. С копны его волос текла вода, и вообще без очков он видел не очень много.

— Плаваеете вы, так сказать, большевицкими темпами. — сказал Успенский. Юра покосился на неизвестное ему голое тело.

— Да, так сказать, специализация.

— Это приблизительно скорость всесоюзного рекорда. — пояснил я.

— Всерьез?

— Сами видали.

— А вы в спартакиаде участвуете? — спросил Успенский Юру.

— Коронный номер, — несколько невпопад ответил я.

— Коронным номером будет профессор Х. — сказал Юра.

Успенский недовольно покосился на меня: как это я не умею держать язык за зубами.

— Юра абсолютно в курсе дела. Мой ближайший пом. А в Москве он работал в кино помощником режиссера Ромма. Будет организовывать кинооформление спартакиады.

— Так вас зовут Юрой? Ну, что ж, давайте познакомимся. Моя фамилия Успенский... — Очень приятно. — осклабился Юра. — Я знаю, вы начальник лагеря. Я о вас много слышал.

— Что вы говорите? — иронически удивился Успенский.

Юра выжал волосы, надел очки и уселся рядом в позе, указывавшей на полную непринужденность.

— Вы, вероятно, знаете, что я учусь в техникуме?

— Н-да, знаю. — столь же иронически сказал

Успенский.

— Техникум, конечно, халтурный. Там, вы знаете, одни урки сидят. Очень романтический народ. В общем там по вашему адресу написаны целые баллады. То есть не записаны, а так сочинены. Записываю их я.

— Вы говорите, целые баллады?

— И баллады и поэмы и частушки — все, что хотите.

— Очень интересно. — сказал Успенский. — Так они у вас записаны? Можете вы их мне прочесть?

— Могу. Только они у меня в бараке.

— И на какого черта вы живете в бараке? — повернулся ко мне Успенский. Я же предлагал вам перебраться в общежитие ВОХРа.

Общежитие ВОХРа меня ни в какой степени не устраивало.

— Я думаю на Вичку перебраться.

— А вы наизусть ничего из этих баллад не помните?

Юра кое-что продекламировал; частушки, почтив непереводаемые на обычный русский язык и непечатные абсолютно.

— Да, способные там люди. — сказал Успенский. — А порасстреливать придется почти всех. Ничего не поделаешь.

От разговора о расстрелах я предпочел уклониться.

— Вы говорили, что знали моего брата в Соловках. Вы и там служили?

— Да, примерно так же, как служите теперь вы.

— Были заключенным? — изумился я.

— Да. На десять лет. И как видите, ничего. Можете мне поверить, лет через пять и вы карьеру сделаете.

Я собрался было ответить, как в свое время ответил Якименке: меня де и московская карьера не интересовала, а о лагерной и говорить нечего. Но сообразил, что это было бы неуместно.

— Эй, Гришук! — вдруг заорал Успенский. Один из телохранителей вбежал на мостик.

— Окрошку со льдом, порций пять. Коньяку со льдом — литр. Три стопки. Живо!

— Я не пью, — сказал Юра.

— Ну и не надо. Вы еще маленький, вам еще сладенького. Шоколаду хотите?

— Хочу.

И вот, сидим мы с Успенским, все трое в голом виде, среди белого дня и всякой партийно-чекистской публики и пьем коньяк. Все это было неприличным даже и по чекистским масштабам, но Успенскому при его власти на всякие приличия было плевать. Успенский доказывает мне, что для умного человека нигде нет такого карьерного простора, как в лагере. Здесь все очень просто: нужно быть толковым человеком и не

останавливаться решительно ни перед чем. Эта тема начинает вызывать у меня легкие позывы к тошноте.

— Да, а на счет вашего брата. Где он сейчас?

— По соседству. В Свирьлаге.

— Статьи? Срок?

— Те же, что и у меня.

— Обязательно заберу его сюда. Какого ему там черта? Это я через Гулаг устрою в два счета. А окрошка хороша.

Телохранители сидят под палящим солнцем на песке, шагах в пятнадцати от нас. Ближе не подсел никто. Местный предводитель дворянства в пиджаке к при галстукке цедит пиво, обливается потом. Розетка его красного знамени багровеет, как сгусток крови, пролитой им — и собственной и чужой, и предводитель дворянства чувствует, что кровь эта была пролита зря.

МОЛОДНЯК

ВИЧКИНСКИЙ КУРОРТ

Как бы ни был халтурен самый замысел спартакиады, мне время от времени приходилось демонстрировать Успенскому и прочим чинам ход нашей работы и наши достижения. Поэтому помимо публики, попавшей на Вичку по мотивам, ничего общего со спортом не имеющим, туда же было собрано 42 человека всякой спортивной молодежи. Для показа. Успенскому провели два футбольных матча, не плохо играли; и одно отборочное легкоатлетическое соревнование. Секундомеры были собственные, рулеток никто не проверял, дисков и прочего никто не взвешивал — кроме меня, разумеется — так что за «достижениями» остановки не было. И я имел юридическое право сказать Успенскому:

— Ну, вот видите. Я вам говорил. Еще месяц потренируемся, так только держись.

Моим талантам Успенский воздал должную похвалу.

...Дом на Вичке наполнился самой разнообразной публикой — какая-то помесь спортивного клуба с бандой голливудских статистов. Профессор, о котором я рассказывал в предыдущей главе, как-то уловил меня у речки и сказал:

— Послушайте, если уж взяли на себя роль благодетеля лагерного человечества, так давайте уж до конца. Переведите меня в какое-нибудь здание. Сил нет, круглые сутки галдеж.

Галдеж стоял действительно круглые сутки. Я ходил по Вичке и завидовал. Только что не надолго вырвались ребята из каторги, только что перешли с голодной пайки на бифштексы (кормили и бифштексами, а в Москве на воле бифштекс невиданное дело), и вот — мир для них уже полон радости, оптимизма, бодрости и энергии. Здесь были и русские и узбеки и татары и евреи и Бог его знает, кто еще. Был молчаливый бегун на длинные дистанции, который именовал себя афганским басмачом, был какой-то по подданству англичанин, по происхождению сириец, по национальности еврей, а по прозвищу Чумбурбаба. Росту и силы он был необычайной, и голос у него был, как труба иерихонская. Знаменит он был тем, что дважды пытался бежать с Соловков, мог играть один против целой волейбольной команды и иногда выигрывал. Его жизнерадостный рык гремел по всей Вичке.

Чумбурбабу разыгрывала вся моя «малолетняя колония», и на всех он весело огрызался.

Все это играло в футбол, прыгало, бегало, грелось на солнце и галдело. Более солидную часть колонии пришлось устроить отдельно. Такой марки не могли выдержать даже лагерные бухгалтерши. Мы с Юрой думали было перебраться жить на Вичку, но по ходу лагерных дел наш побег оттуда мог бы очень неприятно отозваться на всей этой компании. Поэтому мы остались в бараке. Но на Вичку я ходил ежедневно и пытался наводить там некоторые порядки. Порядков особенных, впрочем, не вышло, да и незачем было их создавать. Постепенно у меня, а в особенности у Юры образовался небольшой кружок «своих ребят».

Я старался разобраться в новом для меня мире лагерной молодежи и, разобравшись, увидел, что от молодежи на воле она отличается только одним — полным отсутствием каких бы то ни было советских энтузиазмов. На воле они еще есть. Можно было бы сказать, что здесь собирались сливки антисоветской молодежи, если бы настоящие сливки не были на том свете и на Соловках. Таким образом, настроения этой группы не были характерны для всей советской молодежи, но они были характерны все же для 60-70 процентов ее. Разумеется, что о какой-либо точности такой «статистики» и говорить не приходится, но во всяком случае резко антисоветски настроенная молодежь преобладала подавляюще и на воле, а уж о лагере и говорить нечего.

Сидела вся эта публика почти исключительно по статьям о терроре и сроки имела стандартные: по десяти лет. В применении к террористическим статьям приговора это означало то, что на волю им вообще не выйти никогда. После лагеря будет высылка или тот весьма малоизвестный за границе род ссылки, который именуется вольнонаемной лагерной службой: вы ваш срок закончили, никуда из лагеря вас не выпускают, но вы получаете право жить не в бараке, а на частной квартире и получаете в месяц не 3 р. 80 коп., как получает лесоруб, не 15-20 рублей, как получает бухгалтер и даже не 70-80 рублей, как получал я, а например 300-400, но никуда из лагеря вы уехать не можете. Человек, уже раз попавший в хозяйственную машину ГПУ, вообще почти не имеет никаких шансов выбраться из нее, человек, попавший по террористическим делам и тем более.

Ввиду всего этого лагерная молодежь вела себя по отношению к администрации весьма независимо, и я бы сказал, вызывающе. Вид у нее при разговорах с каким-нибудь начальником колонны или лагерного

пункта был приблизительно такой: что уж там дальше будет, это плевать, а пока что я уж тебе морду набью. Психология отчаянности...

Били довольно часто и довольно основательно. За это, конечно, сажали в Шизо, иногда даже и расстреливали, но редко; но все же администрация всяких рангов предпочитала с этим молодняком не связываться, обходила стороной.

Я, конечно, знал, что тов. Подмоклый среди всей этой публики имеет каких-то своих сексотов, но никак не мог себе представить, кто именно из всех моих футболистов и прочих, подобранных лично мной, мог бы пойти на такое занятие. Затесался было какой-то парень, присужденный к пяти годам за превышение власти. Как оказалось впоследствии, это превышение выразилось в незаконном убийстве двух арестованных. Парень был сельским милиционером. Об этом убийстве он проболтался сам, и ему на ближайшей футбольной тренировке сломали ногу. Подмоклый вызвал меня в третью часть и упорно допрашивал: что это, несчастная случайность или «заранее обдуманное намерение».

Подмоклому было доказано, что о заранее обдуманном намерении и говорить нечего. Я сам руководил тренировкой и видал, как все это случилось. Подмоклый смотрел на меня неприязненно и подозрительно. Впрочем, он всегда по утрам переживал мировую скорбь похмелья. Выпытывал, что там за народ собрался у меня на Вичке, о чем они разговаривают и какие имеются «политические настроения». Я сказал:

— Чего вы ко мне пристааете? У вас ведь там свои стукачи есть, у них и спрашивайте.

— Стукачи, конечно, есть, а я хочу от вас подтверждение иметь.

Я понял, что парнишка с превышением власти был его единственным стукачом. Вичка была организована столь стремительно, что третья часть не успела командировать туда своих людей, да и командировать было трудно: подбирал кандидатов лично я.

Разговор с Подмоклым принял чрезвычайно дипломатический характер. Подмоклый крутил, крутил, ходил вокруг да около, рекомендовал мне каких-то замечательных форвардов, которые у него имелись в оперативном отделе. Я сказал:

— Давайте, посмотрим, что это за игроки. Если они действительно хорошие, я их приму.

Подмоклый опять начинал крутить, и я поставил вопрос прямо:

— Вам нужно на Вичке иметь своих людей. С этого бы и начали.

— А что вы из себя наивняка крутите? Что, не понимаете, о чем разговор идет?

Положение создалось невеселое. Отказываться прямо было невозможно технически. Принять кандидатов Подмоклого и не предупредить о них моих спортсменов было невозможно психически. Принять и предупредить, это значило бы, что этим кандидатам на первых же тренировках поломают кости, как поломали бывшему, милиционеру, и отвечать пришлось бы мне. Я сказал Подмоклому, что я ничего против его кандидатов не имею, но что если они не такие уж хорошие игроки, как об этом повествует Подмоклый, то остальные физкультурники поймут сразу, что на Вичку эти кандидаты попали не по своим спортивным заслугам, следовательно, ни за какие последствия я не ручаюсь и не отвечаю.

— Ну и дипломат же вы. — недовольно сказал Подмоклый.

— Еще бы. С вами поживешь, невольно научишься.

Подмоклый был слегка польщен. Достал из портфеля бутылку водки.

— А опохмелиться нужно. Хотите стакашку?

— Нет, мне на тренировку надо. Подмоклый налил себе стакан водки и медленно высосал ее целиком.

— А нам свой глаз обязательно нужно там иметь. Так вы моих ребят возьмите. Поломают ноги, так и черт с ними. Нам этого товара не жалко.

Так попали на Вичку два бывших троцкиста. Перед тем, как перевести их туда, я сказал Хлебникову и еще кое-кому, чтобы ребята зря языком не трепали. Хлебников ответил, что на всяких сексотов ребятам решительно наплевать. На ту же точку зрения стал Корневский, упорный и воинствующий социал-демократ. Корневский сказал, что он и перед самим Сталиным ни в коем случае не желает скрывать своих политических убеждений; за него же, Корневского, работает история и просыпающаяся сознательность пролетарских масс. Я сказал: ну, ваше дело, я предупреждаю.

История и массы не помогли. Корневский вел настойчивую и почти открытую меньшевицкую агитацию. С Вички он поехал на Соловки. И я не уверен, что он туда доехал живым.

Впрочем, меньшевицкая агитация никакого сочувствия в моих физкультурных массах не встречала. Было очень наивно идти с какой бы то ни было социалистической агитацией к людям, на практике переживающим почти стопроцентный социализм. Даже Хлебников, единственный из всей компании, который рисковал произносить слово

«социализм», глядя на результат корневской агитации, перестал оперировать этим термином. С Корневским же я поругался очень сильно.

Это был высокий тощий юноша, с традиционной меньшевицко-народовольческой шевелюрой — вымирающий в России тип книжного идеалиста. О революции, социализме и пролетариате он говорил книжными фразами, фразами довоенных социал-демократических изданий, оперировал эрфуртской программой, Каутским, тоже в довоенном издании, доказывал, что большевики — узурпаторы власти, вульгаризаторы марксизма, диктаторы над пролетариатом и т.п. Вичковская молодежь, уже пережившая и революцию и социализм и пролетариат, смотрела на Корневского, как на человека, малость свихнувшегося и только посмеивалась. Екатеринбургский слесарь Фомко, солидный пролетарий лет 28, как-то отозвал меня в сторону.

— Хотел я с вами насчет Корневского поговорить. Скажите вы ему, чтобы он заткнулся. Я сам пролетарий не хуже другого, так и меня от социализма с души воротит. А хлопца разменяют, ни за полкопейки пропадет. Побалакайте вы с ним, у вас на него авторитет есть.

Авторитета не оказалось никакого. Я вызвал Корневского сопровождать меня с Вички на Медгору и по дороге попытался устроить ему отеческий разнос: вся его агитация, как под стеклышком, не может же он предполагать, что из 60 человек вичкинского населения нет ни одного сексота, а если уж подставлять свою голову под наганы третьего отдела, так уж за что-нибудь менее безнадежное, чем пропаганда социализма в советской России вообще, а в лагере в частности и в особенности.

Но жизнь прошла как-то мимо Корневского. Он нервными жестами откидывал спадавшие на лицо спутанные волосы и отвечал мне Марксом и эрфуртской программой. Я ему сказал, что и то и другое я знаю без него и знаю в изданиях более поздних, чем 1914 года. Ничего не вышло: хоть кол на голове теши. Корневский сказал, что он очень признателен мне за мои дружеские к нему чувства, но что интересы пролетариата для него выше всего. Кстати, с пролетариатом он не имел ничего общего. Отец его был московским врачом, а сам он избрал себе совсем удивительную для советской России профессию астронома. Что ему пролетариат, и что он пролетариату? Я напомнил ему о Фомко. Результат равен нулю.

Недели через две после этого разговора меня при входе на Вичку встретил весьма расстроенный Хлебников.

— Корневского изъяли. Сам он куда-то исчез. Утром пришли оперативники и забрали его вещи.

— Так, — сказал я. — Доигрался.

Хлебников посмотрел на меня ожидающим взором.

— Давайте сядем. Какой-то план нужно выработать.

— Какой тут может быть план? — сказал я раздраженно. — Предупреждали парня.

— Да я знаю. Это утешение, конечно. — Хлебников насмешливо передернул плечами. — Мы, дескать, говорили. Не послушал — твое дело. Черт с ним, с утешением. Пойдите кто-то идет.

Мы помолчали. Мимо прошли какие-то вичкинские лагерники и оглядели нас завистливо-недружелюбными взглядами. Вичкинские бифштексы на фоне соседних «паек» широких симпатий лагерной массы не вызывали. За лагерниками показалась монументальная фигура Фомко, вооруженного удочками. Фомко подошел к нам.

— Насчет Кореневого уже знаете?

— Идем в сторонку, — сказал Хлебников.

Отошли в сторонку и уселись.

— Видите ли, И.Л., — сказал Хлебников. — Я, конечно понимаю, что у вас никаких симпатий к социализму нет. А Кореневого все же надо выручить.

Я только пожал плечами. Как его выручишь?

— Попробуйте подъехать к начальнику третьей части. Я знаю, вы с ним, так сказать, интимно знакомы. — Хлебников посмотрел на меня не без иронии. — А то, может быть и к самому Успенскому.

Фомко смотрел мрачно.

— Тут, тов. Хлебников, не так просто. Вот такие тихонькие, как этот Кореневский, дай ему власть, так он почище Успенского людей резать будет. Пролетарием, сукин сын, заделался. Он еще мне насчет пролетариата будет говорить. Нет, если большевики меньшевиков вырежут, ихнее дело. Нам туда соваться нечего. Одна стерва другую загрызет.

Хлебников посмотрел на Фомко холодно и твердо

— Дурацкие разговоры. Во-первых, Кореневский наш товарищ...

— Если ваш, так вы с ним и целуйтесь. Нам таких товарищей не надо. Товарищами и так сыты.

— А во-вторых, — так же холодно продолжал Хлебников, не обращая внимания на реплику Фомко, — он против сталинского режима и следовательно, нам с ним пока по дороге. А кого там придется вешать

после Сталина, это будет видно. И еще, Кореневский — единственный сын у отца. Если вы, И.Л., можете выручить, вы это должны сделать.

— Я, может, тоже единственный сын, — сказал Фомко. — Сколько этих сыновей ваши социалисты на тот свет отправили. А, впрочем, ваше дело. Хотите — выручайте. А вот стукачей нам отсюда вывести нужно.

Фомко и Хлебников обменялись понимающими взглядами.

— М-да, — неопределенно сказал Хлебников. — Наши ребята очень взволнованы арестом Кореневого, хороший был в сущности парень.

— Парень ничего, — несколько мягче сказал Фомко.

Я не видел решительно никаких возможностей помочь Кореневому. Идти к Подмоклому? Что ему сказать? Меншевицкая агитация Кореневого была поставлена так по-мальчишески, что о ней знали все. Удивительно, как Кореневский не сел раньше. При случае можно попытаться поговорить с Успенским, но это только в том случае, если он меня вызовет. Идти к нему специально с этой целью значило обречь эту попытку на безусловный провал. Но Хлебников смотрел на меня в упор, смотрел, так сказать, прямо мне в совесть, и в его взгляде был намек на то, что если уж я пьянствую с Подмоклым, то я морально обязан как-то и чем-то компенсировать падение свое.

В тот же вечер в Динамо я попытался представить Подмоклому всю эту историю в весьма юмористическом виде. Подмоклый смотрел на меня пьяными и хитрыми глазами и только посмеивался. Я сказал, что эта история с арестом вообще глупо сделана; только что я ввел на Вичку двух явно подозрительных для окружающих «троцкистов», и вот уже арест. Столковались на таких условиях. Подмоклый отпускает Кореневого, я же обязуюсь принять на Вичку еще одного сексота.

— А знаете, кого? — с пьяным торжеством спросил меня Подмоклый.

— А мне все равно.

— Ой ли? Профессора У.

У меня глаза на лоб полезли. Профессор У., человек почти с мировым именем. И он сексот? И моя Вичка превращается из курорта в западню? И моя халтура превращается в трагедию? И главное, как будто ничего не поделаешь.

Но профессор У. на Вичку не попал, а Кореневого выручить так и не удалось. Рыбачья бригада, ставившая сети на озере, при впадении в него реки Вички, вытащила труп одного из «троцкистов».

Ноги трупа запутались в крепкой лесе от удочки, тело было измолото вичкинскими водопадами: удил, значит, парень рыбу, как-то оступился в водопады и поминай, как звали.

На этот раз Подмоклый вызвал меня в официальном порядке и сказал мне:

— Итак, гражданин Солоневич, будьте добры ответить мне.

Произошла некоторая перепалка. Бояться Подмоклого со всей его третьей частью у меня не было никаких оснований. Для проведения спартакиады я был бронирован от всяких покушений с чьей бы то ни было стороны. Поэтому когда Подмоклый попробовал повысить тон, я ему сказал, чтобы он дурака не валял, а то я пойду и доложу Успенскому, что сексотов всадили на Вичку по-дурацки, что я об этом его, Подмоклого, предупреждал, что он, Подмоклый, сам мне сказал, что «этого товара нам не жалко» и что я ему, Подмоклому, категорически предлагаю моей работы не разваливать; всякому понятно, что энтузиастов социалистического строительства на Вичке нет и быть не может, что там сидят контрреволюционеры, не даром же их посадили, и что если третья часть начнет арестовывать моих людей, я пойду к Успенскому и скажу, что проведение спартакиады он, Подмоклый, ставит под угрозу.

— Ну, и чего вы взъерепенились? — сказал Подмоклый. — Я с вами, как с человеком разговариваю .

Инцидент был исчерпан. Виновников гибели «троцкиста» разыскивать так и не стали. Этого товара у третьей части действительно было много. Но и Корневского выручить не удалось. Оставшийся «троцкист» был в тот же день изъят из Вички и куда-то отослан. Но я почувствовал, что после спартакиады, или точнее после моего побега, Подмоклый постарается кое с кем разделаться. Я снова почувствовал один из самых отвратительных, самых идиотских тупиков советской жизни. Чего бы ни организовывать, хотя бы самое беспартийное, самое аполитичное, ту да сейчас же пролезет ГПУ и устроит там западню. Перед самым побегом мне пришлось кое-кого из моих физкультурников изъять из Вички и отправить в качестве инструкторов в другие отделения, подальше от глаз медгорской третьей части. Впрочем, дня за три до побега Подмоклый, подмочившись окончательно, стал стрелять в коридоре общежития ГПУ и куда-то исчез. Что с ним сделалось, я так и не узнал. В этом есть какое-то воздаяние. Из ГПУских палачей не многие выживают. Остатки человеческой совести они глушат алкоголем, морфием, кокаином, и ГПУская машина потом выбрасывает их на свалку, а то и — на тот свет. Туда же, видимо, был выброшен и товарищ Подмоклый.

На Вичке был момент напряженной тревоги, когда в связи с убийством сексота ожидалась налет третьей части, обыски, допросы, аресты. Обычно в таких случаях подвергается разгрому все, что попадает под руку — бригада, барак, иногда и целая колонна. ГПУ не любит оставлять безнаказанной гибель своих агентов. Но здесь разгром Вички означал бы разгром спартакиады, а для спартакиады Успенский охотно пожертвовал бы и сотней своих сексотов. Поэтому Вичку оставили в покое. Напряжение понемногу улеглось; притихшая было молодежь снова подняла свой галдеж, и в небольших разрозненных кружках моих физкультурников снова стали вестись политические прения.

Велись они по всяким более или менее отдаленным уголкам вичкинской территории, и время от времени приходил ко мне какой-нибудь питерский студент или бывший комсомолец московского завода АМО за каким-нибудь фактическими справками. Например, существует ли в Европе легальная коммунистическая печать?

— Да вы возьмите «Правду» и почитайте. Там есть и цитаты из коммунистической печати и цифры коммунистических депутатов в буржуазных парламентах.

— Так-то так, да ведь это все по подпольной линии.

Или:

— Правда ли, что при старом строе был такой порядок: если рабочий сидит в трамвае, а входит буржуй, так рабочий должен был встать и уступить свое место?

Такие вопросы задавались преимущественно со стороны бывших низовых комсомольцев, комсомольцев от станка. Со стороны публики более квалифицированной и вопросы были более сложные, например, по поводу мирового экономического кризиса. Большинство молодежи убеждено, что никакого кризиса вообще нет. Раз об этом пишет советская печать, значит врет. Ну, перебои, конечно, могут быть — вот наши все это и раздувают. Или: была ли в России конституция? Или правда ли, что Троцкий писал о Ленине, как о «профессиональном эксплуататоре всяческой отсталости в русском рабочем классе»? Или: действительно ли до революции принимали в университеты только дворян?

Не на все эти вопросы я рисковал исчерпывающими ответами. Все это были очень толковые ребята, ребята с ясными мозгами, но с чудовищным невежеством в истории России и мира. И все они, как и молодежь на воле, находились в периоде бурлений и исканий. Мои футбольные команды представляли целую радугу политических исканий к политическим настроениям. Был один троцкист, настоящий; а не из

третьей части. Попал он сюда по делу какой-то организации, переправлявшей оружие из-за границы в Россию, но ни об этой организации, ни о своем прошлом он не говорил ни слова. Я даже не уверен, что он был троцкистом; термин «троцкист» отличается такой же юридической точностью, как термины «кулак», «белобандит», «бюрократ». Доказывать, что вы не троцкист или не бюрократ так же трудно, как доказывать, например, что вы не сволочь. Доказывать же по советской практике приходится не обвинителю, а обвиняемому. Во всяком случае, этот троцкист был единственным, приемлющим принцип советской власти. Он и Хлебников занимали крайний левый фланг вичкинского парламента. Остальная публика, в подавляющем большинстве принадлежала к той весьма неопределенной и расплывчатой организации или точнее к тому течению, которое называет себя то союзом русской молодежи, то союзом мыслящей молодежи, то молодой Россией и вообще всякими комбинациями из слов «Россия» и «молодость». На воле все это гнездится по вузовским и рабочим общежитиям, по комсомольским ячейкам, и иногда, смотришь, какой-нибудь Ваня или Петя на открытом собрании распинается за пятилетку так, что только диву даешься. А лотом выясняется: накрыли Ваню или Петю в завкоме, где он на ночном дежурстве отбарабанивал на пишущей машинке самую кровавую антисоветскую листовку. И поехал Ваня или Петя на тот свет.

Должен сказать, что среди этой молодежи напрасно было бы искать какой-нибудь хотя бы начерно выработанной программы, во всяком случае положительной программы. Их идеология строится прежде всего на отнетании того, что их ни в каком случае не устраивает. Их ни в каком отношении не устраивает советская система, не устраивает никакая партийная диктатура, и поэтому между той молодежью (в лагере ее немало), которая хочет изменить нынешнее положение путем, так сказать, «усовершенствования» компартии и той, которая предпочитает эту партию просто перевешать, существует основной решающий перелом: две стороны баррикады.

Вся молодежь, почти без всякого исключения, совершенно индифферентна к каким бы то ни было религиозным вопросам. Это никак не воинствующее безбожие, а просто безразличие — может быть, это кому-нибудь и надо, а нам решительно ни к чему. В этом пункте антирелигиозная пропаганда большевиков сделала свое дело, хотя враждебности к религии внушить не смогла. Монархических настроений нет никаких. О старой России представление весьма сумбурное, создавшееся не без влияния с светского варианта русской истории. Но если на религиозные темы с молодежью и говорить не стоит, выслушают уважительно и даже возражать не будут, то о царе поговорить можно: да,

технически это, может быть, не так плохо. К капитализму отношение в общем неопределенное. С одной стороны, теперь-то уж ясно, что без капиталистов, частного-хозяина не обойтись, а с другой — как же так, строили заводы на своих костях? Каждая группировка имеет свои программы регулирования капитализма. Среди этих программ есть и не безынтересные. В среднем можно сказать бы, что оторванная от всего мира, лишенная всякого руководства со стороны старших, не имеющая никакого доступа к мало-мальски объективной политико-экономической литературе, русская молодежь нащупывает какие-то будущие компромиссы между государственным и частным хозяйством. Ход мышления чисто экономический и технический, земной, если хотите, то даже и шкурный. Никаких «вечных» вопросов и никаких потусторонних тем. И за всем этим — большая и хорошая любовь к своей стране. Это, вероятно и будет то, что в эмиграции называется термином «национальное возрождение». Но термин «национальный» будет для этой молодежи непонятным термином или, пожалуй, хуже, двусмысленным термином, в нем будет заподозрено то, что у нас когда-то называлось зоологическим национализмом — противопоставление одной из российских национальностей другим.

Я позволю себе коснуться здесь мелком и без доказательств очень сложного вопроса о национализме, как таковом, то есть о противопоставлении одной нации другой, вне всякого отношения к моим личным взглядам по этому поводу.

В этом чудовищном смешении «племен, наречий, состояний», которое совершено советской революцией, междунациональная рознь среди молодежи сведена на нет. Противопоставления русского не русскому в быту отсутствует вовсе. Этот факт создает чрезвычайно важные побочные последствия — стремительную русификацию окраинной молодежи.

Как это ни странно, на эту русификацию первый обратил внимание Юра во время наших пеших скитаний по Кавказу. Я потом проверил его выводы и по своим воспоминаниям и по своим дальнейшим наблюдениям и пришел в некоторое изумление: как такой крупный и бьющий в глаза факт прошел мимо моего внимания. Для какого-нибудь Абарцумяна русский язык — это его приобретение, и он, поскольку это касается молодежи, своего завоевания не отдаст ни за какие самостийности. Это его билет на право входа в мировую культуру, а в нынешней России при всех прочих неудобствах советской жизни научились думать в масштабах непровинциальных.

Насильственная коренизация — украинизация, якутизация и прочее обернулись самыми неожиданными последствиями. Украинский

мужик от этой украинизации волком взвыл. Официальной мовы он не понимает и убежден в том, что ему и его детям преграждают доступ к русскому языку со специальной целью, оставить этих детей мужиками и закрыть им все пути вверх. А пути вверх практически доступны только русскому языку. И Днепрострой и Харьковский тракторный и Криворожье и Киев и Одесса — все они говорят по-русски, и опять же в тех же гигантских перебросках массе места на место ни на каких украинских мовах они говорить не могут технически. В Дагестане было сделано еще остроумнее, было установлено восемь официальных государственных языков. Пришлось ликвидировать их все. Железные дороги не могли работать, всегда найдется патриот волостного масштаба, который на основании закона о восьми государственных языках начнет лопотать такое, что уж никто не поймет. Итак, при отсутствии национального подавления и при отсутствии ущемленных национальных самолюбий получило преобладание чисто техническое соображение о том, что без русского языка все равно не обойтись. И украинский бетонщик, который вчера укладывал днепровскую плотину, сегодня переброшен на Волгу, а завтра мечтает попасть в московский ВУЗ, ни на какие соблазны украинизации не пойдет. Основная база всяких камостийных течений — это сравнительно тонкая прослойка полуинтеллигенции, да и ту прослойку большевизм разгромил. Программы, которые «делят Русь по карте указательным перстом», обречены на провал, конечно, поскольку это касается внутренних процессов русской жизни.

ТОВАРИЩ ЧЕРНОВ

За справками политического характера ко мне особенно часто приходил т. Чернов (фамилии всех вичкинских обитателей вымышлены), бывший комсомолец, прошедший своими боками Бобрики, Магнитострой и Беломорско-Балтийский канал — первые два в качестве энтузиаста пятилетки, третий в качестве каторжника ББК. Это был белобрысый, сероглазый парень, лет 23-х, медвежьего сложения, которое и позволило ему выбраться из всех этих энтузиазмов живьем. По некоторым весьма косвенным моим предположениям это именно он сбросил ГПУского троцкиста в вичкинские водопады, впрочем, об этом я его, конечно, не спрашивал.

В своих скитаниях он выработал изумительное умение добывать себе пищу из всех мыслимых и немыслимых источников, готовить для еды сосновую заболонь, выпаривать весенний березовый сок, просто удить рыбу. Наблюдая тщетные мои попытки приноровиться к ужению форели, он предложил мне свои услуги в качестве наставника. Я достал

ему разовый пропуск, мы взяли удочки и пошли вверх подалеже по речке; на территории Вички могли удить рыбу все, для выхода подалеже нужен был специальный пропуск.

Моя система ужения была подвергнута уничтожающей критике, удочка была переконструирована, но с новой системой и удочкой не вышло ровно ничего. Чернов выудил штук 20, я не то одну, не то две. Устроили привал, разложили костер и стали на палочках жарить черновскую добычу. Жарили и разговаривали. Сначала на обычные лагерные темы, какие статьи, какой срок. Чернов получил 10 лет по все той же статье о терроре; был убит секретарь цеховой комячейки и какой-то сексот. Трех по этому делу расстреляли, 8 послали в концлагерь, но фактический убийца так и остался не выясненным.

— Кто убил, конечно, неизвестно, — говорил Чернов, — Может, я. А может и не я. Темное дело.

Я сказал, что в таких случаях убийце лучше сознаться, один бы он и пропал.

— Это нет. Уж уговоры такие есть. Дело в том, что если не сознается никто, ну кое-кого разменяют, а организация останется. А если начать сознаваться, тут уж совсем пропащее дело.

— А какая организация?

— Союз молодежи, известно какая. Других, пожалуй и нет.

— Ну, положим есть и другие.

Чернов пожал плечами.

— Какие там другие, по полтора человека. Троцкисты, рабочая оппозиция. Недоумки.

— Почему недоумки?

— А видите, как считаем мы, молодежь — нужно давать отбой от всей советской системы. По всему фронту. Для нас ясно, что не выходит абсолютно ни хрена. Что уж тут латать да подмазывать, все это нужно скovyривать ко всем чертям, чтобы и советским духом не пахло. Все это, нужно говорить прямо — карьеристы. И у тех и у этих в принципе та же партийная, коммунистическая организация. Только если Троцкий, скажем, сядет на сталинское место, то какой-нибудь там Иванов сядет на место Молотова или в этом роде. Троцкизм и рабочая оппозиция и группа рабочей правды — все они галдят про партийную демократию, на кой черт нам партийная демократия, нам нужна просто демократия. Кто за ними пойдет? Вот, не сделал себе карьеры при сталинской партии, думает сделать ее при троцкистской. Авантюра. Почему авантюра? А как вы думаете? Что, если нам удастся скovyрнуть

Сталина, так кто их пустит на сталинское место? У Сталина место насиженное; везде своя бражка, такой другой организации не скоро сколотишь. Вы думаете, им дадут время сколачивать эту организацию? Держи карман шире.

Я спросил Чернова, насколько по его мнению Хлебников характерен для рабочей молодежи.

Чернов подложил в костер основательный сук навалил сверху свежей хвои: комары одолели.

— Хлебников? — переспросил он. — Да какая же он рабочая молодежь? Тоже вроде Корневского. У Хлебникова отец — большой коммунист. Хлебников видит, что Сталин партию тащит в болото, хочет устроить советский строй, только пожиже. Тех же шей да пожиже влей. Ну да я знаю, он тоже против партийной диктатуры. Разговор один. Что теперь нужно? Нужно крестьянину свободную землю, рабочему свободный профсоюз. Все равно, если я токарь, так я заводом управлять не буду. Кто будет управлять? А черт с ним, кто. Лишь бы не партия. И при капиталисте хуже не будет. Теперь уж это всякий дурак понимает. У нас на Магнитку навезли немецких рабочих. Из безработных там набирали. Елки зеленые! — Чернов даже приподнялся на локте. — Костюмчики, чемоданчики, граммофончики, отдельное снабжение, а работают хуже нашего. Нашему такую кормежку, так он любого немца обставит. Что, не обставит?

Я согласился, что обставит. Действительно обставляли. В данных условиях иностранные рабочие работали в среднем хуже русских.

— Ну, мы от них кое-что разузнали. Вот тебе и капитализм! Вот тебе и кризис! Так это Германия. Есть там нечего, а фабричное производство некуда девать. А у нас? Да, хозяин нужен. Вы говорите, монархия? Что ж и о монархии можно поговорить. Не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Я лично ничего против монархии не имею, но все это сейчас совсем не актуально. Что актуально? А чтобы и у каждого рабочего и у каждого мужика по винтовочке дома висело. Вот это — конституция! А там монархия, президент ли — дело шестнадцатое... Стойте, кто-то там хрустит.

Из-за кустов вышло два ВОХРовца. Один стал в сторонке с винтовкой на изготовку, другой мрачно подошел к нам.

— Документы прошу.

Мы достали наши пропуска. На мой ВОХРовец так и не посмотрел. «Ну, вас-то мы и так знаем». Это было лестно и очень удобно. На пропуск Чернова он взглянул тоже только мельком.

— А на какого вам черта пропуска спрашивать? — интимно-дружеским тоном спросил я. — Сами видите, сидят люди среди белого дня, рыбу жарят.

ВОХРовец посмотрел на меня раздраженно.

— А вы знаете, бывает так. Вот сидит такой. Вот, не спрошу у него пропуска. А он: а ну, товарищ ВОХРовец, ваше удостоверение. А почему вы у меня пропуска не спросили? Вот тебе и месяц в Шизо.

— Житье-то у вас тоже не так, чтобы очень, — сказал Чернов.

— От такого житья к... матери вниз головой. Вот, что, — свирепо ляпнул ВОХРовец. — Только тем и живем, что друг друга караулим. Вот, оборвал накомарник об сучья, другого не дают. Рожа в арбуз распухла.

Лицо у ВОХРовца было действительно опухшее, как от водянки.

Второй ВОХРовец опустил свою винтовку и подошел к костру.

— Трепlesh ты языком, чучело. Ох и сядешь же.

— Знаю я, перед кем трепать, перед кем не трепать. Народ образованный. Можно посидеть?

ВОХРовец забрался в струю дыма от костра, хоть подкоптиться малость, а то совсем комарье заело — хуже революции.

Второй ВОХРовец посмотрел неодобрительно на своего товарища и тревожно — на нас. Чернов невесело усмехнулся.

— А вдруг, значит, мы с товарищем пойдем и заявил, ходил де вот по лесу такой патруль и контрреволюционные разговоры разводил.

— Никаких разговоров я не развожу, — сказал второй ВОХРовец. — А что не бывает так?

— Бывает, — согласился Чернов. — Бывает.

— Ну и хрен с ним. Так жить, совсем от разговора отвыкнешь, только и будем коровами мычать. — ВОХРовец был изъеден комарами; его руки распухли, как и лицо, и настроение у него было крайне оппозиционное.

— Очень приятно; ходишь, как баран, по лесу; опухши, не спамши, а вот товарищ сидит и думает: вот, сволочи, тюремщики.

— Да, так оно и выходит, — сказал Чернов.

— А я разве говорю, что не так? Конечно, так. Так оно и выходит: ты меня караулишь, а я тебя. Тем и занимаемся. А пахать некому. Вот тебе и весь сказ.

— Вас за что посадили? — спросил я ВОХРовца.

ЕЩЕ О КАБИНКЕ МОНТЕРОВ

— За любопытство карахтера. Был в красной армии, спросил командира: как же это так? Царство трудящихся, а нашу деревню всю под метелку к чертовой матери? Кто передох, кого так выселили. Так, я спрашиваю, за какое царство трудящихся мы драться-то будем, товарищ командир?

Второй ВОХРовец аккуратно положил винтовку рядом с собой и вороватым взглядом осмотрел прилегающие кусты, нет ли там кого.

— Вот и здесь договоришься ты, — еще раз сказал он.

Первый ВОХРовец презрительно посмотрел на него сквозь опухшие щечки глаз и не ответил ничего. Тот уставился в костер своими бесцветными глазами, как будто хотел что-то сказать, поперхнулся, потом как-то зябко поежился.

— Да, оно как ни поверни — ни туды, ни сюды.

— Вот, то-то.

Помолчали. Вдруг где-то в полверсте к югу раздался выстрел, потом еще и еще. Оба ВОХРовца вскочили, как встрепанные, сказала военная натаска. Опухшее лицо первого перекосилось озлобленной гримасой.

— Застукали когось-то. Тут только что оперативный патруль прошел, эти уж не спустят.

Вслед за выстрелами раздался тонкий сигнальный свист, потом еще несколько выстрелов.

— Ох ты, мать его... бежать надо, а то еще саботаж пришьют.

Оба чина вооруженной охраны скрылись в чаще.

— Прорвало парня, — сказал Чернов. — Вот так и бывает. Ходит, ходит человек, молчит, молчит, а потом ни с того, ни с сего и прорвется. У нас на Бобриках был такой парторг. Орал, орал, следил, следил, а потом на общем собрании цеха вылез на трибуну. Простите, говорит, товарищи; всю жизнь обманом жил, карьеру я, сволочь, делал, проституткой жил. За наган, сколько там пуль — в президиум. Двух ухлопал, одного ранил, а последнюю пулю себе в рот. Прорвало. А, как вы думаете, среди вот этих караульчиков сколько наших? Девяносто процентов! Вот, говорил я вам, а вы не верили.

— То есть, чему это я не верил?

— А вообще. Вид у вас скептический. Н-нет, в России все готово. Не хватает одного — сигнала. И тогда в два дня все к чертовой матери. Какой сигнал? Да все равно, какой. Хоть война, черт с ней.

Стрельба загрохотала снова и стала приближаться к нам. Мы благоразумно отступили в Вичку.

Вся эта возня со спартакиадой и прочим не прерывала нашей связи с кабинкой монтеров — это было единственное место, где мы чувствовали себя более или менее дома, среди хороших, простых русских людей. Простых не в смысле простонародности. Просто, не валяли люди никакого дурака, не лезли ни в какие активисты, не делали никаких лагерных карьер. Только здесь я хоть на час-другой чувствовал себя как будто я вовсе не в лагере. Только здесь как-то отдыхала душа.

Как-то вечером, возвращаясь с Вички, я завернул в кабинку. У ее дверей на каком-то самодельном верстаке Мухин что-то долбил стамеской:

— Промфинплан выполняете? — пошутил я и протянул Мухину руку.

Мухин оторвался от тисков, как-то странно боком посмотрел на меня. Взгляд его был суров и печален. Вытер руку о штаны и снова взялся за стамеску.

— Простите, рука грязная, — сказал он. Я несколько растерянно опустил свою руку. Мухин продолжал ковыряться со своей стамеской, не глядя на меня и не говоря ни слова. Было ясно, что Мухин руки мне подавать не хочет. Я стоял столбом с ощущением незаслуженной обиды и неожиданной растерянности.

— Вы никак дуетесь на меня? — не очень удачно спросил я.

Мухин продолжал долбить своей стамеской, только стамеска как-то нелепо скользила по зажатой в тиски какой-то гайке.

— Что тут дуться, — помолчав, сказал он. — А рука у меня действительно в масле. Зачем вам моя рука, у вас и другие руки есть.

— Какие руки? — не сообразил я.

Мухин поднял на меня тяжелый взгляд.

— Да уж известно, какие.

Я понял. Что я мог сказать, и как я мог объяснить? Я повернулся и пошел в барак. Юра сидел на завалинке у барака, обхватив руками колени и глядя куда-то вдаль. Рядом лежала раскрытая книга.

— В кабинку заходил? — спросил Юра.

— Заходил.

— Ну?

— И ты заходил?

— Заходил.

— Ну?

Юра помолчал и потом пожал плечами.

— Точно сексота встретили. Ну, я ушел. Пиголица сказал, видали тебя с Подмоклым и у Успенского. Знаешь, Ва, давай больше не откладывать. Как-нибудь дать знать Бобу. Ну его со всем этим к чертовой матери. Прямо, хоть повеситься.

Повеситься хотелось и мне. Можно сказать, доигрался. Дохалтурился. И как объяснить Мухину, что халтуру я вовсе не для того, чтобы потом, как теперь Успенский, сесть на их, Мухиных, Ленчиков, Акульшинных, шеи и на их костях делать советскую карьеру. Если бы хотел делать советскую карьеру, я делал бы ее не в лагере. Как это объяснить? Для того, чтобы объяснить это, пришлось бы сказать слово «побег», но я после опыта с г-жой Е. и с Бабенкой не скажу никому. А как все это объяснить без побега?

— А как Пиголица? — спросил я.

— Так, растерянный какой-то. Подробно я с ним не говорил. О чем говорил? Разве расскажешь?

На душе было исключительно противно. Приблизительно через неделю после этого случая начинался официальный прием в техникум. Юра был принят автоматически, хотя в техникуме делать ему было решительно нечего. Пиголицу не приняли, так как в его формуляре была статья о терроре. Техникум этот был предприятием совершенно идиотским. В нем было человек 300 учащихся, были отделения дорожное, гражданского строительства, геодезическое, лесных десятников и какие-то еще. В составе преподавателей — ряд профессоров Петербурга и Москвы, конечно, заключенных. В составе учащихся — исключительно урки: принимали только социально близкий элемент, следовательно, ни один контрреволюционер и к порогу не допускался. Набрали три сотни полуграмотных уголовников, два месяца подтягивали их по таблице умножения, и уголовники совершенно открыто говорили, что они ни в коем случае ни учиться, ни работать не собираются; как раньше воровали, так и в дальнейшем будут воровать; это на ослах воду возят, поищите других ослов. Юра был единственным исключением — единственным учащимся, имевшим в формуляре контрреволюционные статьи, но на подготовительные курсы Юра был принят по записке Радецкого, а в техникум — по записке Успенского. О какой бы то ни было учебе в этом техникуме и говорить было нечего, но среди учебных пособий были карты района и компасы. В техникум Юра поступил с единственной целью спереть и то и другое, каковое намерение он в свое время и привел в исполнение.

В этом техникуме я некоторое время преподавал физкультуру и русский язык, потом не выдержал и бросил сизифов труд, переливание из пустого в порожнее. Русский язык им вообще не был нужен, у них был свой блатной жаргон, а физкультуру они рассматривали с утилитарной точки зрения, в качестве, так сказать, подсобной дисциплины в их разнообразных воровских специальностях. Впрочем, в этот техникум водили иностранных туристов и показывали: вот, видите, как мы перевоспитываем. Откуда иностранцам было знать? Тут и я мог бы поверить.

Пиголицу в техникум не пустили: в его формуляре была статья о терроре. Правда, террор этот заключался в зуботычине только, данной по поводу каких-то жилищных склок какому-то секретарю ячейки. Правда, большинство урок было не очень уверено, что шестью восемь — 48, а Пиголицу мы с Юрой дотянули до логарифмов включительно; правда, урки совершенно откровенно не хотели ни учиться в техникуме, ни перековываться после его проблематичного окончания, а Пиголица за возможность учебы «Да я бы, знаете, ей Богу, хоть полжизни отдал бы». Но у Пиголицы была статья 58-8.

Юра сказал мне, что Пиголица совсем раздавлен своей неудачей, с обирается не то топиться, не то вешаться. Я пошел к Корзуну. Корзун встретил меня так же корректно и благожелательно, как всегда. Я изложил ему свою просьбу о Пиголице. Корзун развел руками: ничего не могу поделать, инструкция Гулага. Я был очень взвинчен, очень раздражен и сказал Корзуну, что уж здесь-то с глазу на глаз об инструкции Гулага не стоило бы говорить, а то я начну разговаривать о перековке и о пользе лагерной физкультуры — обоим будет неловко.

Корзун пожал плечами.

— И чего это вас заело?

— Вы понимаете, Климченко (фамилия Пиголицы) в сущности единственный человек, который из этого техникума хоть что-нибудь вынесет.

— А ваш сын ничего не вынесет? — не без ехидства спросил Корзун.

— Сыну осталось сидеть ерунда. Дорожным десятником он, конечно, не будет. Я его в Москву в киноинститут отправлю. Послушайте, тов. Корзун, если ваши полномочия недостаточны для принятия Климченки, я обращусь к Успенскому.

Корзун вздохнул: «Эк вас заело!» Пододвинул к себе бумажку. Написал.

— Ну вот, передайте это непосредственно директору техникума.

Пиголица зашел ко мне в барак, как-то путано поблагодарил и исчез. Кабинка, конечно, понимала, что человек который начал делать столь головокружительную карьеру, может сбросить со своего стола кость благотворительности, но от этого сущность его карьеры не меняется. Своей руки кабинка нам все-таки не протянула.

...Возвращаясь вечером к себе в барак, застаю у барака Акульшина. Он как-то исхудал, оброс грязно-рыжей щетиной и вид имел еще более угрюмый, чем обыкновенно.

— А я вас поджидаю, начальник третьего лагпункта требует, чтобы сейчас же зашли.

Начальник третьего лагпункта ничего от меня требовать не мог. Я собрался было в этом тоне и ответить Акульшину, но посмотрев на него, увидал, что тут дело не в начальнике третьего лагпункта.

— Ну, что ж. Пойдем.

Молча пошли. Вышли с территории лагпункта. На берегу Кумсы валялись сотни выкинутых на берег бревен. Акульшин внимательно исподлобья осмотрелся вокруг.

— Давайте присядем. Присели.

— Я это насчет начальника лагпункта только так, для людей сказал.

— Понимаю.

— Тут дело такое, — Акульшин вынул кисет. — Сворачивайте, — начали сворачивать. Чугунные пальцы Акульшина слегка дрожали.

— Я к вам, тов. Солоневич, прямо — пан или пропал. Был у Мухина. Мухин говорит, с сучился твой Солоневич, с Подмоклым пьянствует, у Успенского сидит. Н-да. — Акульшин посмотрел на меня упорным, тяжелым и в то же время каким-то отчаянным взглядом.

— Ну и что? — спросил я.

— Я говорю — не похоже. Мухин говорит, что сами видали. А я говорю, что вот насчет побегу я Солоневичу рассказал. Ну, говорит и дурак. Это, говорю, как сказать. Солоневич меня разным приемам обучил. Середа говорит, что тут черт его разберет, такие люди, они с подходцем действуют, сразу не раскусишь.

Я пожал плечами и помолчал. Помолчал и Акульшин. Потом, точно решившись, как головой в воду, прерывающимся сухим голосом сказал:

— Ну, так я прямо. Пан или пропал. Мне смываться надо. Вроде, как сегодня, а то перебрасывают на Тулому. Завтра утром отправка.

— Смываться на Алтай? — спросил я.

— На Алтай, к семье. Ежели Господь поможет. Да вот, мне бы вокруг озера обойти с севера. На Повенец сейчас не пройти. Ну, на Петрозаводск и говорить нечего. Ежели бы мне... — голос Акульшина прервался, словно перед какой-то совсем безнадежной попыткой.

— Ежели бы мне бумажку какую на Повенец. Без бумажки не пройти.

Акульшин замолчал и посмотрел на меня суровым взглядом, за которым была скрытая мольба. Я посмотрел на Акульшина. Странная получилась игра. Если я дам бумажку, которую я мог достать, и Акульшин об этом или знал или догадывался, и если кто-то из нас сексот, то другой, кто не сексот, пропадет. Так мы сидели и смотрели друг другу в глаза. Конечно, проще было бы сказать — всей душой рад бы, да как ее бумажку-то достанешь. Потом я сообразил, что третьей части сейчас нет никакого смысла подводить меня сексотами; подвести меня, значит сорвать спартакиаду. Если даже у третьей части и есть против меня какие-нибудь порочащие мою советскую невинность материалы, она предъявит их только после спартакиады, а если спартакиада будет проведена хорошо, то не предъявит никогда, не будет смысла.

Я пошел в административную часть и выписал там командировку на имя Юры сроком на один день для доставки в Повенец спортивного инвентаря. Завтра Юра заявит, что у него эта бумажка пропала, и что инвентарь был отправлен с оказией. Он на всякий случай и был отправлен. Акульшин остался сидеть на бревнах; согнув свои квадратные плечи и вероятно представляя себе и предстоящие ему тысячи верст по доуральской и зауральской тайге и возможность того, что я вернусь не с бумажкой, а просто с оперативниками. Но без бумажки в эти недели пройти действительно было нельзя. Севернее Повенца выгружали новые тысячи вольно-ссылных крестьян и вероятно ввиду этого район был оцеплен «маневрами» ГПУских частей.

Командировку мне выписали без всяких разговоров, лагпунктовское начальство была уже вышколено. Я вернулся на берег реки к бревнам. Акульшин сидел все так же, понурился головой и уставившись глазами в землю. Он молча взял у меня из рук бумажку. Я объяснил ему, как с нею нужно действовать и что нужно говорить.

— А на автобус до Повенца деньги у вас есть?

— Это есть. Спасибо. Жизни нету, вот какое дело. Нету жизни да и все тут. Ну, скажем, дойду. А там? Сиди, как в норе барсук, пока не загрызут. Такое можно сказать обстоятельство кругом. А земли кругом! Можно сказать, близок локоть, да нечего лопать.

Я сел на бревно против Акульшина. Закурили.

— А насчет вашей бумажки не бойтесь. Ежели что — зубами вырву, не изжевавши проглочу. А вам бы тоже смываться.

— Мне некуда. Вам еще туда-сюда. Нырнули в тайгу. А я что там буду делать? Да и не доберусь.

— Да, выходит так. Иногда образованному лучше, а иногда образованному-то и совсем плохо.

Тяжело было на душе. Я поднялся. Поднялся и Акульшин.

— Ну, ежели что, давай вам Бог, товарищ Солоневич. Давай вам Бог!

Пожали друг другу руки. Акульшин повернулся и, не оглядываясь, ушел. Его понурая голова мелькала над завалами бревен и потом исчезла.

У меня как-то сжалось сердце. Вот ушел Акульшин, не то на свободу, не то на тот свет. Через месяц так и мы с Юрой пойдем.

ПРИМИРЕНИЕ

В последний месяц перед побегом жизнь сложилась по всем правилам детективного романа, написанного на уровне самой современной техники этого искусства. Убийство троцкиста на Вичке, побег Акульшина и расследование по поводу этого побега, раскрытие «панамы» на моем вичкинском курорте, первые точные известия о Борисе, подкоп, который Гольман неудачно пытался подвести под мой блат у Успенского и многое другое — все это спуталось в такой нелепый комок, что рассказать о нем более или менее связно моей литературной техники не хватит. Чтобы проветриться, посмотреть на лагерь вообще, я поехал в командировку на север. Об этой поездке позже. Поездку не кончил, главным образом от того отвращения, которое вызвало во мне впечатление лагеря, настоящего лагеря, не Медвежьей Горы с Успенскими, Корзунами и благом, а лагеря по всем правилам социалистического искусства. Когда приехал, потянуло в кабинку, но в кабинку хода уже не было.

Как-то раз по дороге на Вичку я увидел Ленчика, куда-то суетливо бежавшего с какими-то молотками, ключами и прочими приспособлениями монтерского ремесла. Было неприятно встречаться. Я свернул было в сторонку в переулок между сараями. Ленчик догнал меня.

— Товарищ Солоневич. — сказал он просительным тоном, — заглянули бы вы к нам в кабинку. Разговор есть.

— А какой разговор? — пожал я плечами.

Ленчик левой рукой взял меня за пуговицу и быстро заговорил. Правая рука жестиком показала французским ключом.

— Уж вы, товарищ Солоневич, не сердчайте. Все тут, как пауки живем. Кому поверишь? Вот думали, хорош человек подобрался; потом смотрим, с Подмоклым. Разве разберешь. Вот думаем, так подъехал. А думали, свой брат. Ну, конечно же, сами понимаете, обидно стало, притом так обидно! Хорошие слова говорил человек, а тут на: с третьей частью. Я Мухину и говорю, что ты так сразу с плеча, может у человека какой свой расчет есть, а мы этого расчета не знаем. А Мухин, ну тоже надо понять. Семья у него там в Питере была, теперь вот, как вы сказали, в Туркестан выехавши. Но ежели, например, вы да в третьей части, так как у него с семьей будет? Так я, конечно, понимаю. Ну а Мухину-то так за сердце схватило.

— Вы сами бы, Ленчик, подумали. Да если бы я и в третьей части был, какой мне расчет подводить мухинскую семью?

— Вот опять же, то-то и я говорю, какой вам расчет? И потом же, какой вам расчет был в кабинке? Ну, знаете, люди теперь живут, наершившись. Ну, потом пришел Акульшин. Прощайте, говорит, ребята. Ежели не поймают меня, так значит Солоневичей вы зря забили. Ну больше говорить не стал, ушел, потом розыск на него был. Не поймали.

— Наверно, не поймали?

— Не поймали. Уж мы спрашивали, кого надо. Ушел...

Я только в этот момент сообразил, что где-то очень глубоко в подсознании была у меня суеверная мысль: если Акульшин уйдет, уйдем и мы. Сейчас из подсознания эта мысль вырвалась наружу каким-то весенним потоком. Стало так весело и так хорошо.

Ленчик продолжал держать меня за пуговицу.

— Так уж вы прихватывайте Юрочку и прилазьте. Эх, по такому случаю, мы уж проголосовали, нас значит будет шестеро. Две литрочки — черт с ним, кутить, так кутить. А? Придете?

— Приду. Только литрочки-то эти я принесу.

— Э, нет уж. Проголосовано единогласно.

— Ну ладно, Ленчик. А закуска-то уж моя.

— И закуска будет. Эх, вот выпьем по-хорошему. Для примирения, значит. Во!

Ленчик оставил в покое мою пуговицу и изобразил жестом — на большой палец!

«НАЦИОНАЛИСТЫ»

Промфинплан был перевыполнен. Я принес в кабинку две литровки и закуску, невиданную и неслыханную. И грешный человек, спертую на моем Вичкинском курорте. Впрочем, не очень даже спертую, потому что мы с Юрой не каждый день пользовались нашей правой курортной пропитания.

Мухин встретил меня молчаливо и торжественно — пожал руку и сказал только: «Ну уж, не обессудьте». Ленчик суетливо хлопотал вокруг стола. Середа подсмеивался в усы, а Пиголица и Юра просто были очень довольны.

Середа внимательным оком осмотрел мои приношения. Там была ветчина, масло, вареные яйца и 6 жареных свиных котлет. О способе их приобретения кабинка уже информирована. Поэтому Середа только развел руками и сказал:

— А еще говорят, что в советской России есть нечего. А тут прямо, как при старом режиме.

Когда уже слегка было выпито, Пиголица ни с того, ни с сего вернулся к теме о старом режиме.

Середа слегка пожал плечами: «Ну, я не очень-то об нем говорю. А все лучше было». Пиголица вдруг вскочил:

— Вот я вам сейчас одну штуку покажу, речь Сталина...

— А зачем это? — спросил я.

— Вот вы все про Сталина говорили, что он Россию морит.

— Я и сейчас это говорю.

— Так вот это и есть неверно. Вот я вам сейчас разыщу.

Пиголица стал рыться на полке.

— Да бросьте вы. Речи Сталина я и без вас знаю.

— Э, нет. Пойдите, послушайте. Сталин говорит о России, то есть, что нас все, кому не лень, били. О России, значит, заботится. А вот, вы послушайте.

Пиголица достал брошюру с одной из «исторических» речей Сталина и начал торжественно скандировать:

— «Мы отстали от капиталистического строя на сто лет. А за отсталость бьют. За отсталость нас били шведы и поляки. За отсталость нас били турки и били татары. Били немцы и били японцы. Мы отстали на сто лет. Мы должны проделать это расстояние в десять лет или нас сомнут».

Эту речь я, конечно, знал. У меня под руками нет никаких «источников», но не думаю, чтобы я сильно ее переврал, в тоне и смысле во всяком случае. В натуре эта тирада несколько длиннее. Пиголица скандировал торжественно и со вкусом: били-били, били-били. Его белобрысая шевелюра стояла торчком, а в выражении лица было предвкушение того, что вот раньше де все били, а теперь извините, бить не будут. Середа мрачно вздохнул:

— Да это что и говорить, влетало.

— Вот, — сказал Пиголица торжествуя. — А вы говорите, что Сталин против России идет.

— Он, Саша, не идет специально против России, он идет за мировую революцию. И за некоторые другие вещи. А в общем, здесь, как и всегда, врет он и больше ничего.

— То есть, как это врет? — возмутился Пиголица.

— Что действительно били, — скорбно сказал Ленчик, — так это что и говорить.

— То есть, как это врет? — повторил Пиголица. — Что, не били нас?

— Били. И шведы били, и татары били. Ну и что дальше?

Я решил использовать свое торжество, так сказать, в рассрочку — пусть Пиголица догадается сам. Но Пиголица опустил брошюру и смотрел на меня откровенно растерянным взглядом.

— Ну, скажем, Саша, нас били татары. И шведы и прочие. По думайте, каким же образом вот тот же Сталин мог бы править одной шестой частью суши, если бы до него только то и делали мы, что шею свои подставляли? А? Не выходит?

— Что-то не выходит, Саша, — подхватил Ленчик. — Вот, скажем, татары. Где они теперь? Или шведы. Вот этот самый лагерь, рассказывают, раньше на шведской земле стоял. Была тут Швеция. Значит, не только нас били, а и мы кое-кому шею костыляли, только про это Сталин помалкивает.

— А вы знаете, Саша, что мы и Париж брали, и Берлин брали?

— Ну, это уж, И. Л., извините. Тут уж вы малость заврались. Насчет татар еще туда-сюда, а о Берлине уж извините.

— Брали, — спокойно подтвердил Юра. — Хочешь, завтра книгу принесу. Советское издание. — Юра рассказал о случае во время ревельского свидания монархов, когда Вильгельм II спросил трубача, какого-то поляка, за что получены его серебряные трубы. «За взятие

Берлина, Ваше Величество» «Ну, этого больше не случится». «Не могу знать. Ваше Величество».

— Так и сказал, сукин сын? — обрадовался Пиголица.

— Насчет Берлина, — сказал Середа, — это не то, что Пиголица, а и я сам слыхом не слыхал.

— Учили же когда-то русскую историю?

— Учить не учил, а так, книжки читал; до революции подпольные, а после советские. Не много тут узнаешь.

— Вот, что. — предложил Ленчик. — мы пока по стаканчику выпьем, а там устроил маленькую передышку, а вы нам, товарищ Солоневич, о русской истории малость порасскажете. Так, коротенько. А то в самом деле птичку Пиголицу обучать надо. В техникуме не научат.

— А тебя не надо?

— И меня надо. Я, конечно, читал порядочно. Только, знаете, все больше наше, советское.

— А в самом деле, рассказали бы, — поддержал Середа.

— Ну вот и послушаем! — заорал Ленчик.

— Да тише ты, — зашипел на него Мухин.

— Так вот, значит, на порядке дня — стопочка во славу русского оружия и доклад т. Солоневича. Слово предоставляется стопочке, за славу.

— Ну это как какого оружия, — угрюмо сказал Мухин. — За красное, хоть оно пять раз будет русским, пей сам.

— Э, нет. За красное и я пить не буду, — сказал Ленчик.

Пиголица поставил поднятую было стопку на стол.

— Так это вы, значит, за то, чтобы нас опять били?

— Кого это нас? Нас и так бьют. Лучше и не надо. А если вам шею накостыляют — для всех прямой выигрыш. — Середа выпил свою стопку и поставил ее на стол.

— Тут, птичка моя Пиголица, такое дело, — затараторил Ленчик. — Русский мужик, он известное дело, задним умом крепок, пока по шею не вдарят — не перекрестится. А когда вдарят — перекрестится так, только зубы держи. Скажем, при Петре набили зубы под Нарвой — перекрестился, и крышка шведам. Опять же при Наполеоне. Теперь, конечно, тоже бьют. Никуда не денешься.

— Так что? И ты—то морду бить будешь?

— А ты в красную армию пойдешь?

— И пойду.

Мухин тяжело хлопнул кулаком по столу.

— Сукин ты сын! За кого ты пойдешь? За лагеря? За то, чтобы дети твои в беспризорниках бегали? За ГПУ, сволочь, пойдешь? Я тебе, сукиному сыну, сам первый голову проломаю.

Лицо Мухина перекошилось, он оперся руками о край стола и приподнялся. Запахло скандалом.

— Послушайте, товарищи. Кажется, речь шла о русской истории. Давайте перейдем к порядку дня, — вмешался я.

Но Пиголица не возразил ничего. Мухин был кем-то вроде его приемного отца, и некоторый респект к нему Пиголица чувствовал. Пиголица выпил свою стопку и что-то пробормотал Юре, вроде: «Ну, уж там насчет головы еще посмотрим»

Середа поднял брови:

— Ох и умный же ты, Сашка. Таких умных немного уже осталось. Вот поживешь еще с годик в лагере...

— Так вы хотите слушать или не хотите? — снова вмешался я.

Перешли к русской истории. Для всех моих слушателей, кроме Юры, это был новый мир. Как ни были бездарны и тенденциозны Иловайские старого времени, у них были хоть факты. У Иловайских советского производства нет вообще ничего, ни фактов, ни самой элементарной добросовестности. По этим Иловайским доленинская Россия представлялась какой-то сплошной помойкой, ее деятели — сплошными идиотами и пьяницами, ее история — сплошной цепью поражений, позора. Об основном стержне ее истории, о тысячелетней борьбе со степью, о разгроме этой степи ничего не слыхал не только Пиголица, но даже и Ленчик. От хазар, половцев, печенегов, татар, от полоняничной дани, которую платила крымскому хану еще Россия Екатерины Второй до постепенного и последовательного разгрома величайших военных могуществ мира — татар, турок, шведов, Наполеона; от удельных князей, правивших по ханским полномочиям, до гигантской империи, которою вчера правили цари, а сегодня правит Сталин — весь этот путь был моим слушателям неизвестен совершенно.

— Вот мать их... — сказал Середа. — Читал, читал, а об этом, как это на самом деле, слышу первый раз.

Фраза Александра Третьего: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать» привела Пиголицу в восторженное настроение.

— В самом деле? Так и сказал? Вот сукин сын! Смотри ты... А?

— Про этого Александра, — вставил Середа, — пишут: пьяница был.

— У Горького о нем хорошо сказано каким-то мастеровым: «Вот это был царь, знал свое ремесло», — сказал Юра. — Звезд с неба не хватал, а ремесло свое знал.

— Всякое ремесло знать надо, — веско сказал Мухин. — Вот понаставили «правлящий класс», а он ни уха, ни рыла.

Я не согласился с Мухиным. Эти свое ремесло знают почище, чем, Александр Третий знал свое, только ремесло у них разбойное. «Ну а возьмите вы Успенского. Необразованный же человек». Я и с этим не согласился. «Очень умный человек Успенский и свое ремесло знает, иначе бы мы с вами, товарищ Мухин, в лагере не сидели».

— А главное, так что же дальше? — скорбно спросил Середа.

— Э, как-нибудь выберемся, — оптимистически сказал Ленчик.

— Внуки, те может выберутся, — мрачно заметил Мухин. — А нам уж не видать.

— Знаете, Алексей Толстой писал о том моменте, когда Москва была занята французами: «Казалось, что уж ниже нельзя сидеть в дыре. Ан глянь, уж мы в Париже». Думаю, выберемся и мы.

— Вот, я говорю. Вы смотрите. — Ленчик протянул руку над столом и стал отсчитывать по пальцам. — Первое дело, раньше всякий думал: моя хата с краю, нам до государства ни которого дела нету, теперь Пиголица и тот — ну, не буду, не буду я о тебе, только так, для примера — теперь каждый понимает: ежели государство есть, держаться за него надо. Хоть плохое, а держись.

— Так ведь и теперь у нас государство есть, — прервал его Юра.

— Теперь? — Ленчик недоуменно воззрился на Юру. — Какое же теперь государство? Ну, земля? Земля есть, черт ли с ней. У нас теперь не государство, а сидит хулиганская банда, как знаете в деревнях бывает. Собирается десяток хулиганов... Ну, не в том дело. Второе: вот возьмите вы Акульшина. Можно сказать, глухой мужик, дремучий мужик, с Уральских лесов. Так вот ежели ему после всего этого о социализме да об революции начнут агитировать, так он же зубами глотку перервет. Теперь, третье: скажем, Середа. Он там когда-то тоже насчет революции возжался (Середа недовольно передернул плечами: «Ты бы о себе говорил»); так что ж, я и о себе скажу. Тоже думал, книжки всякие читал. Вот, значит, свернем царя, Керенского, буржуев, хозяев — заживем! Зажили. Нет, теперь на дурницу у нас никого не поймаешь. — Ленчик посмотрел на свою ладонь. Там еще осталось два неиспользованных пальца. — Да. Словом, выпьем пока что. А главное,

народ-то поумнел. Вот трахнули по черепу. Ежели теперь хулиганов этих перевешаем, государство будет — во! — Ленчик сжал руку в кулак и поднял в верх большой палец. — Как уж оно будет, конечно, неизвестно. А, черт его деря, будет! Мы им еще покажем!

— Кому это им?

— Да вообще. Чтоб не зазнавались. Россию, сукины дети, делить собрались.

— Да, — сказал Мухин, уже забыв о «внуках».

— Да, кое-кому морды набить придется, ничего не поделаешь.

— Так как же вы будете бить морду? — спросил Юра. — С красной армией?

Мухин запнулся.

— Нет, это не выйдет. Тут не по дороге.

— А это — как большевики сделали. Они сделали по-своему правильно, — академическим тоном пояснил Середа. — Старую армию развалили. Пока там что, немцы Украину пробовали оттяпать.

— Пока там что, — передразнил Юра. — Ничего хорошего и не вышло.

— Ну, у них выйти не может. А у нас выйдет.

Это сказал Пиголица. Я в изумлении обернулся к нему. Пиголица уже был сильно навеселе. Его вихры торчали в разные стороны, а глаза блестели возбужденными искорками. Он уже забыл и о Сталине и о «били-били».

— У кого это у нас? — мне вспомнилось о том, как о «нас» говорил Хлебников.

— Вообще у нас, у всей России, значит. Вы подумайте, полтора миллиона, да если мы всем телом навалимся, ну все, ну черт с ними, без партийцев, конечно. А то, вот хочешь учиться — сволочь всякую учат, а мне... Или скажем у нас в комсомоле. Ох и способные же ребята есть. Я не про себя говорю. В комсомол полезли, чтобы учиться можно было, а их на хлебозаготовки. У меня там одна девочка была. Послали. Ну, да что и говорить. Без печенок обратно привезли. — По веснушчатому лицу Пиголицы катились слезы. Юра быстро и ловко подsunул четвертую бутылку под чей-то тюфяк. Я одобрительно кивнул ему головой: хватит. Пиголица опустил на стол, уткнул голову на руки, и плечи его стали вздрагивать. Мухин посмотрел на Пиголицу. потом на таинственные манипуляции Юры — что же это вы, молодой человек. Я наступил Мухину на ногу и показал головой на Пиголицу. Мухин кивнул

поддакивающе. Ленчик обежал вокруг стола и стал трясти Пиголицу за плечи.

— Да брось ты, Саша. Ну, померла. Мало ли народу померло этак. Ничего, пройдет, забудется.

Пиголица поднял свое заплаканное лицо и удивил меня еще раз.

— Нет, это им, брат, не забудется. Уж это, мать их, не забудется.

ПАНАМА НА ВИЧКЕ

Когда я составлял планы питания моих физкультурников, я исходил из расчета на упорный и длительный торг сперва с Успенским, потом с Неймайером, начальником снабжения — Успенский будет урезывать планы, Неймайер будет урезывать выдачи. Но к моему изумлению Успенский утвердил мои планы безо всякого торга.

— Да, так неплохо. Ребят нужно не только кормить, а и откармливать.

И надписал: «Тов. Неймайеру. Выдавать за счет особых фондов ГПУ».

А раскладка питания была доведена до 8 000 калорий в день! Эти калории составлялись из мяса, масла, молока, яиц, ветчины и прочего. Неймайер только спросил, в какой степени можно будет заменять, например, мясо рыбой. Ну, скажем, осетриной. На осетрину я согласился.

Впоследствии я не раз задавал себе вопрос: каким это образом я мог представить себе, что всех этих благ не будут разворовывать; у меня — то дескать уж не украдут. И вообще, насколько в советской России возможна такая постановка дела, при которой не воровали бы. Воровать начали сразу.

Обслуживающий персонал моего курорта состоял из вичкинских лагерников. Следовательно, например, повар, который жарил моим питомцам бифштексы, яичницы с ветчиной, свиные котлеты и прочее, должен был бы обладать характером Св. Антония, чтобы при наличии всех этих соблазнов питаться только тем, что ему полагалось: полутора фунтами отвратного черного хлеба и полутора тарелками такой же отвратной ячменной каши. Повар, конечно, ел бифштексы. Ели их и его помощники. Но это бы еще полбеды.

Начальник вичкинского лагпункта мог из лагпунктского снабжения воровать приблизительно все, что ему было угодно. Но того, чего в этом снабжении не было, не мог уворовать даже и начальник лагпункта. Он, например, мог бы вылизывать в свою пользу все постное масло, полагающееся на его лагпункт по два грамма на человека в день;

практически все это маслом начальством и вылизывалось. Он мог съесть по ведру ячменной каши в день, если бы такой подвиг был в его силах. Но если на лагпункте мяса не было вовсе, то и уворовать его не было никакой технической возможности. Повар не подчинен начальнику лагпункта. Веселые дни вичкинского курорта пройдут, и повар снова поступит в полное и практически бесконтрольное распоряжение начальника. Мог ли повар отказать начальнику? Конечно, не мог. В такой же степени он не мог отказать и начальнику колонны, статистику, командиру ВОХРовского отряда и прочим великим и голодным людям мира сего.

Для того, чтобы уберечь любую советскую организацию от воровства, нужно около каждого служащего поставить по вооруженному чекисту. Впрочем, тогда будут красть и чекисты. Заколдованный круг. Машинистки московских учреждений подкармливаются, например, так. 5 дней в неделю, точнее 5 дней в шестидневку потихоньку подворовывают бумагу, по несколько листиков в день. В день же шестой, субботний, идут на базар и обменивают эту бумагу на хлеб; еще одно объяснение того таинственного факта, что люди вымирают не совсем уж сплошь.

У меня на Вичке был и завхоз, на складе которого были зарыты пиратские сокровища сахара, масла, ветчины, осетрины и прочего. В первые дни моего завхоза стали ревизовать все. Эти ревизии я прекратил. Но как я мог прекратить дружественные хождения начальника лагпункта к оному завхозу? Можно было бы посадить и начальника и повара и завхоза в каталажку. Какой толк?

Из числа физкультурников назначались дежурные на кухню и на склад. Я не предполагал, чтобы это могло кончиться какими-нибудь осложнениями. Я сам раза два дежурил на кухне первого лагпункта. Предполагалось, что я в качестве представителя общественного контроля должен смотреть за тем, чтобы кухня не кормила кого не надо, и чтобы на кухне не разворовывались продукты. Конечно, разворовывались. На эту кухню начальник лагпункта приходил, как на свою собственную: а ну-ка поджарь-ка мне...

Из начальства приходили все, кому не лень и лопали все что в них могло влезть. Если бы я попробовал протестовать, то весь этот союз объединенного начальства слопал бы меня со всеми моими протекциями, а если бы нельзя было слопать, ухлопал бы кто-нибудь из-за угла. Нет уж, общественный контроль в условиях крепостного общественного строя — опасная игрушка даже и на воле. А в лагере — это просто самоубийство. Я полагал, что мои физкультурники эту истину знают достаточно ясно.

Но какая-то нелепая «инициативная группа», не спросив меня, полезла ревизовать склад и кухню. Обревизовали. Уловили. Устроили скандал. Составили протокол. Повар и завхоз были посажены в Шизо. Начальника лагпункта, конечно не тронули. Да и не такие были дураки повар и завхоз, чтобы дискредитировать начальство.

Во главе этой инициативной группы оказался мой меньшевик Кореневский. Полагаю, что в его последующей поездке на Соловки эта ревизия тоже сыграла свою роль. Кореневскому я устроил свирепый разнос: неужели, он не понимает, что на месте повара и завхоза и я и он действовали бы точно таким же образом, и что никаким иным образом действовать нельзя, не жертвуя своей жизнью. «Нужно жертвовать», — сказал Кореневский. Я взъелся окончательно. Если уж жертвовать, так черт вас раздери совсем, из-за чего-нибудь более путного, чем свиные котлеты. Но Кореневский остался непреклонен. Вот тоже олух...

Нового повара нашли довольно скоро. Завхоза не было. Начальник лагпункта, оскорбленный в лучших своих гастрономических чувствах, сказал: «Ищите сами. Я вам одного дал — не понравился. Не мое дело». Фомко как-то пришел ко мне и сказал: «Тут один старый жид есть». «Какой жид и почему жид?» «Хороший жид, старый кооператор. Его просвечивали, теперь он совсем калека. Хороший будет завхоз». «Ну, давайте его»

ПРОСВЕЧИВАНИЕ

Просвечивание — это один из советских терминов, обогативших великий, могучий и свободный русский язык, Обозначает он вот, что.

В поисках валюты для социализации, индустриализации пятилетки в четыре года или, как говорят рабочие, пятилетки в два счета, советская власть выдумывала всякие трюки, вплоть до продажи через интуриста живых или полуживых человеческих шкур. Но самым простым, самым примитивным способом, наиболее соответствующим инстинктам правящего класса, был и остается все-таки грабёж: раньше ограбим, а потом видно будет. Стали грабить. Взялись сначала за зубных техников, у которых предполагались склады золотых коронок, потом за зубных врачей, потом за недорезанные остатки Нэпа, а потом за тех врачей, у которых предполагалась частная практика, потом за всех, у кого предполагались деньги, ибо при стремительном падении советского рубля каждый, кто зарабатывал деньги, старался превратить пустопорожние советские дензнаки хоть во что-нибудь.

Техника этого грабежа была поставлена так. Зубной техник Шепшелевич получает вежливенькое приглашение в ГПУ. Является. Ему

говорят, вежливо и проникновенно: «Мы знаем, что у вас есть золото и валюта. Вы ведь сознательный гражданин отечества трудящихся (конечно, сознательный, оглашается Шепшелевич, как тут не согласишься?). Понимаете, гигантские цели пятилетки, строительство бесклассового общества. Словом, отдавайте по-хорошему».

Кое-кто отдавал. Тех, кто не отдавал, приглашали во второй раз, менее вежливо и под конвоем. Сажали в парилку и в холодильник и в другие столь же уютные приспособления, пока человек или не отдавал или не помирал. Пыток не было никаких. Просто были приспособлены специальные камеры то с температурой ниже нуля, то с температурой Сахары. Давали в день полфунта хлеба, селедку и стакан воды. Жилплощадь камер была рассчитана так, чтобы только половина заключенных могла сидеть, остальные должны были стоять. Но испанских сапог не надевали и на дыбу не подвешивали. Обращались, как в свое время формулировали суды инквизиции, по возможности мягко и без пролития крови.

В Москве выдывал я людей, которые были приглашены по-хорошему и так по-хорошему отдали все, что у них было: крестильные крестики, царские полтинники, обручальные кольца. Видал людей, которые будучи однажды приглашены, бегали по знакомым, занимали по сотне, по две рублей, покупали кольца (в том числе и в государственных магазинах) и сдавали ГПУ. Людей, которые были приглашены во второй раз, я в Москве не встречал ни разу: их видимо не оставляют. Своей главной тяжестью это просвечивание ударило по еврейскому населению городов. ГПУ не без некоторого основания предполагало, что если уж еврей зарабатывал деньги, то он их не пропивал и в дензнаках не держал, следовательно, ежели его хорошенько подержать в парилке, то какие-то ценности из него можно парилке, то какие-то ценности из него можно будет выжарить. Люди осведомленные передавали мне, что в 1931-1933 годах в Москве ГПУ выжимали таким образом от 30 до 100 тысяч долларов в месяц. В связи с этим можно бы провести некоторые параллели с финансовым хозяйством средневековых баронов и можно было бы поговорить о привилегированном положении еврейства в России, но не стоит.

Фомко притащил мне в кабинет старика еврея. У меня был свой кабинет. Начальник лагпункта поставил там трёхногий стол и на дверях приклеил собственноручно изготовленную надпись:

«Кабинет начальника спартакиады». И, подумав, приписал внизу карандашом: «Без доклада не входить». Я начал обрастать подхалимажем.

Поздоровались. Мой будущий завхоз, с трудом сгибая ноги, присел на табуретку.

— Простите, пожалуйста, вы никогда в Минске не жили? . . . Ну, так я же вас помню. И вашего отца. И вы там с братьями ещё на Кокшарской площади в футбол играли. Ну, вы меня, вероятно, не помните. Моя фамилия Данцигер (вымышленна).

Словом, разговорились. Отец моего завхоза имел в Минске завод кожевенный с 15-ю рабочими. Национализировали. Сам Данцигер удрал куда-то на Урал, работал в каком-то кооперативе. Вынюхали «торговое происхождение» и выперли. Голодал. Пристроился к какому-то кустарю выделывать кожи. Через полгода и его кустаря посадили за «спекуляцию» — скупку кож дохлого скота. Удрал в Новороссийск и пристроился там грузчиком, крепкий был мужик. На профсоюзной чистке (чистили и грузчиков) какой-то комсомольский компатриот выскочил: «Так я же его знаю, так это же Данцигер, у его же отца громадный завод был». Выперли и посадили за «сокрытие классового происхождения». Отсидел. Когда стал укореняться НЭП, вкуче с ещё какими-то лишёнными всех прав человеческих устроили кооперативную артель «Самый свободный труд» (так и называлась!). На самых свободных условиях проработали год: посадили всех за дачу взятки.

— Хотел бы я посмотреть, как это можно не дать взятки. У нас договор с военведом. Мы ему сдаем поясные ремни. А сырьё мы получаем от какой-то там Заготкожи. Если я не дам взятки Заготкоже, так я не буду иметь сырья, так меня посадят за срыв договора. Если я куплю сырьё на подпольном рынке, так меня посадят за спекуляцию. Если я дам взятку Заготкоже, так меня рано или поздно посадят за взятку; словом, вы бьётесь, как рыба головой об лед. Ну, опять посадили. Так я уже, знаете, не отпирался; ну да и завод был, и в Кургане сидел, и в Новороссийске сидел, и Заготкоже давал. «Так вы мне скажите, товарищ следователь, так что бы вы на моём месте сделали?» «На вашем месте я бы давно издох». «Ну и я издохну. Разве же так можно жить!»

Принимая во внимание чистосердечное раскаяние, посадили на два года. Отсидел. Вынырнул в Питере; какой-то кузен оказался начальником кронштадтской милиции («вот эти крали, так вы знаете, просто ужас!»). Кузен как-то устроил ему право проживания в Питере. Данцигер открыл галстучное производство: собирал всякие обрывки, мастерил галстуки и продавал их на базаре, работал в единоличном порядке и никаких дел с госучреждениями не имел. «Я уж обжигался, хватит. Ни к каким Заготкожам на порог не подойду». Выписал семью, была и семья, оставалась на Урале, дочь померла с голоду, сын исчез в беспризорники, приехали жена и тесть.

Стали работать втроем. Проработали года полтора. Кое что скопили. Пришло ГПУ и сказало — пожалуйста. Пожаловали. Уговаривали долго и красноречиво, даже со слезой. Посадили. Держали по три дня в парилке, по три дня в холодильнике. Время от времени выводили всех в коридор, и какой-то чин произносил речи. Речи были изысканны и весьма разнообразны. Взывали и к гражданским доблестям и к инстинкту самосохранения и к родительской любви и к супружеской ревности. Мужьям говорили: «Ну, для кого вы своё золото держите? Для жены? Так вот она что делает». Демонстрировались документы об изменах жён, даже и фотографии, снятые, так сказать, *en flagrant delict*.

Втянув голову в плечи, как будто кто-то занёс над ним дубину и глядя на меня навек перепуганными глазами, Данцигер рассказывал, как в этих парилках и холодильках люди падали. Сам он крепкий мужик, бинтюг, как говорил Фомко, держался долго. Распухли ноги, раздулись вены, узлы лопнули в язвы, кости рук скрючило ревматизмом. Потом, вот повезло, потерял сознание.

— Ну, знаете, — вздохнул Фомко, — черт с ними, с деньгами. Я бы отдал.

— Вы бы отдали! Пусть они мне все зубы вырывали бы, не отдал бы. Вы думаете, что если я еврей, так я за деньги больше, чем за жизнь держусь? Так мне, вы знаете, на деньги наплевать. Что деньги? Заработал и проработал. А чтоб мои деньги на их детях язвами выросли! За что они меня 15 лет, как собаку, травят? За что моя дочка померла? За что мой сын? Я же не знаю даже, где он и живой ли он. Так чтоб я им на это ещё свои деньги давал!

— Так и не отдали?

— Что значит не отдал? Ну, я не отдал, так они и жену и тестя взяли.

— И много денег было?

— А и стыдно говорить: две десятки, восемь долларов и обручальное кольцо; не моё, моё давно сняли, а жены.

— Ну и ну, — сказал Фомко.

— Значит, всего рублей на пятьдесят золотом. — сказал я.

— Пятьдесят рублей? Вы говорите за пятьдесят рублей. А мои 15 лет жизни, а мои дети. Это вам 50 рублей? А мои ноги — это вам тоже 50 рублей? Вы посмотрите, — старик засучил штаны. Голени были обвязаны грязными тряпками, сквозь тряпки просачивался гной.

— Вы видите? — жилистые руки старика поднялись вверх, — Если есть Бог, все равно еврейский Бог, христианский Бог, пусть

разобьет о камни их детей; пусть дети их и дети их детей, пусть они будут в язвах, как мои ноги! Пусть!

От минского кожевника веяло библейской жутью. Фомко пугливо отодвинулся от его проклинающих рук и побледнел. Я думал о том, как мало помогают эти проклятия, миллионы и сотни миллионов проклятий. Старик глухо рыдал, уткнувшись лицом в мой стол, а Фомко стоял бледный, растерянный, придавленный...

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

ВТОРОЕ БОЛШЕВО

В конце июня 1934 года я находился, так сказать, на высотах своего ББКовского величия, и на этих высотах я сидел прочно. Спартакиада уже была разрекламирована в «Перековке». В Москву уже были посланы статьи для спортивных журналов, для «Известий», для ТАСС и некоторые «указания» для газет братских компартий. Братские компартии такие указания выполняют безо всяких разговоров. Словом, хотя прочных высот в советской райской жизни вообще не существует, но в данном случае нужны были какие-нибудь совсем уж стихийные обстоятельства, чтобы снова низвергнуть меня в лагерные низы.

Отчасти оттого, что вся эта халтура мне надоела, отчасти повинуюсь моим газетным инстинктам, я решил поехать по лагерю и посмотреть, что где делается. Официальный предлог более, чем удовлетворителен: нужно объездить крупнейшие отделения, что-то там проинструктировать и кого-то там подобрать в дополнение к моим вичкинским командам. Командировка была выписана на Повенец, Водораздел, Сегежу, Кемь, Мурманск.

Когда Корзун узнал, что я буду и на Водоразделе, он попросил меня заехать и в лагерную колонию беспризорников, куда в свое время он собирался посылать меня в качестве инструктора. Что мне там надо было делать, осталось несколько не выясненным.

— У нас там второе Болшево! — сказал Корзун.

Первое Болшево я знал довольно хорошо. Юра знал еще лучше, ибо работал там по подготовке горьковского сценария о перековке беспризорников. Болшево — это в высокой степени образцово-показательная подмосковная колония беспризорников или точнее бывших уголовников, куда в обязательном порядке таскают всех туриствующих иностранцев и демонстрируют им чудеса советской педагогики и ловкость советских рук. Иностранцы приходят в состояние восторга, тихого или бурного, в зависимости от темперамента. Бернард Шоу пришел в состояние бурного. В книге почетных посетителей фигурируют также образчики огненного энтузиазма, которым и Маркович позавидовал бы. Нашелся только один прозаически настроенный американец, если не ошибаюсь, проф. Дьюи, который поставил нескромный и непочтительный вопрос: насколько

целесообразно ставить преступников в такие условия, которые совершенно недоступны честным гражданам страны.

Условия действительно были недоступны. Колонисты работали в мастерских, вырабатывавших материал для Динамо и оплачивались специальными бонами — был в те времена такой специальный ГПУский внутреннего хождения рубль, ценностью приблизительно равный торгсиновскому. Ставки же колебались от 50 до 250 рублей в месяц. Из «честных граждан» таких денег не получал никто, фактическая зарплата среднего инженера была раз в 5-10 ниже фактической зарплаты бывшего убийцы.

Были прекрасные общежития. Новобрачным полагались отдельные комнаты. В остальной России новобрачным не полагается даже отдельного угла. Мы с Юрой философствовали: зачем делать научную или техническую карьеру, зачем писать или изобретать? Не проще ли устроить 2-3 основательных кражи, только не «священной социалистической собственности» или 2-3 убийства, только не политических, потом должным образом покаяться и перековаться. И покаяния и перековка должны, конечно, стоять на уровне самой современной техники, потом пронырнуть себе в Болшево. Не житье, а масленица.

На перековку колонисты были натасканы идеально. Это был отбор из миллионов, от добра добра не ищут, и за побег из Болшево или за «дискредитацию» расстреливали без никаких разговоров. Был еще один мотив, о котором несколько меланхолически сообщил мне один из воспитателей колонии: красть в сущности нечего и негде. Ну, что теперь на воле украдешь?

Это, значит, было «первое Болшево». Стоило посмотреть и на второе. Я согласился заехать в колонию.

ПО КОМАНДИРОВКЕ

От Медгоры до Повенца нужно ехать на автобусе, от Повенца до Водораздела — на моторке по знаменитому Беломорско-Балтийскому каналу. На автобус сажают в первую очередь командировочных ББК, потом остальных командировочных чином повыше; командировочные чином пониже могут и подождать. Которое вольное население может топтать, как ему угодно. Я начинаю чувствовать, что и концлагерь имеет не одни только шипы и плотно втискиваюсь в мягкую кожу сиденья. За окном какая-то старушка слезно молит ВОХРовцев:

— Солдатики голубчики, посадите и меня. Ей Богу, уж третьи сутки здесь жду, измаялась вся.

— И чего тебе, старая, ездить. — философски замечает один из ВОХРовцев. — Сидела бы ты, старая, дома да Богу бы молилась.

— Ничего, мадама, — успокоительно говорит другой ВОХРовец, — Не долго уж ждать осталось.

— А что, голубчик, еще одна машина будет?

— Об машине не знаю, а вот до смерти, так тебе действительно не долго ждать осталось.

ВОХР коллективно гогочет. Автобус трогается. Мы катимся по новенькому с иголочки, но уже в ухабах и выбоинах повенецкому шоссе сооруженному все теми же каторжными руками. Шоссе совершенно пусто. Зачем его строили? Мимо мелькают всякие лагпункты с их рваным населением, покосившиеся и полуразвалившиеся коллективизированные деревушки, опустелые двory единоличников. Но шоссе пусто и мертво. Впрочем, особой жизни не видать и в деревушках. Много людей отсюда повысылали.

Проезжаем тихий уездный и тоже как-то опустелый городишко Повенец. Автобус подходит к повенецкому затону знаменитого Беломорско-Балтийского канала.

Я ожидал увидеть здесь кое-какое оживление — пароходы, баржи, плоты. Но затон пуст. У пристани стоит потертый моторный катер, на который пересаживаются двое пассажиров нашего автобуса: я и какой-то инженер. Катер, натужно пытаясь, тащится на север.

Я сижу на носу катера, зябко подняв воротник своей кожанки и смотрю кругом. Совершенно пусто. Ни судна, ни бревна. Тихо, пусто, холодно, мертво. Кругом озер и протоков, по которым проходит какал, тянется дремучий заболоченный непроходимый лес. Над далями стоит сизый туман болотных испарений. На берегах — ни одной живой души, ни избы, ни печного дыма. Ничего.

А еще год тому назад здесь скрежетали экскаваторы, бухал аммонал, и сотысячные армии людей копошились в этих трясилах, строя монумент товарищу Сталину. Сейчас эти армии куда-то ушли — на БАМ, в Сиблаг, Дмитлаг и прочие лагеря, в другие трясины, строить там другие монументы, оставив здесь в братских могилах болот целые корпуса своих боевых товарищей. Сколько их — безвестных жертв этого канальского участка великого социалистического наступления? Старики беломорстроевцы говорят — двести тысяч. Более компетентные люди из ББК говорили: двести не двести, а несколько больше ста тысяч людей здесь уложено. Имена же их Ты, Господи, веши. Кто узнает и кто будет подсчитывать эти тысячи тонн живого удобрения, брошенного в

карельские трясины ББК, в сибирскую тайгу БАМа, в пески Турксиба, в каменные осыпи Чустроя?

Я вспомнил зимние ночи на Днепрострое, когда ледяный степной ветер выл в обледенелых лесах, карьерах, котловинах, люди валились с ног от холода и усталости, падали у покрытых тонкой ледяной коркой настилов; свирепствовал тиф, амбулатории разрабатывали способы массового производства ампутаций от замороженных конечностей. Стаи собак потом растаскивали и обгладывали эти конечности, а стройка шла и день и ночь, не прекращаясь ни на час, а в газетах трубили о новых мировых рекордах по кладке бетона. Я вспомнил Чустрой, небольшой на 40 тысяч концлагерь на реке Чу в Средней Азии. Там строили плотины для орошения 360.000 гектаров земли под плантации индийской конопли и каучуконосов. Вспомнил и несколько наивный вопрос Юры, который о Чустрое задан был в Дагестане.

Мы заблудились в прибрежных джунглях у станции Берикей, верстах в 50-ти к северу от Дербента. Эти джунгли когда-то были садами и плантациями. Раскулачивание превратило их в пустыню. Система сбегавших с гор оросительных каналов была разрушена, и каналы расплылись в болота — рассадники малярийного комара. От малярии плоскостной Дагестан вымирал почти сплошь. Но природные условия были такие же, что и на Чустрое, тот же климат, та же почва. И Юра задал мне вопрос: зачем, собственно, нужен Чустрой?

А сметные ассигнования на Чустрой равнялись восьмистам миллионам рублей. На Юрин вопрос я не нашел ответа. Точно так же я не нашел ответа и на мой вопрос о том, зачем же строили Беломорско-Балтийский канал? И за что погибло сто тысяч людей?

Несколько позже я спрашивал людей, которые жили на канале год, возят ли что-нибудь. Нет, ничего не возят. Весной по полой воде несколько миноносцев со снятыми орудиями и машина ми были протасены на север и больше ничего. Еще позже я спрашивал у инженеров управления ББК: так зачем же строили? Инженеры разводили руками: приказано было. Что же, так просто, для рекорда и монумента? Один из героев этой стройки, бывший «вредитель», с похоронной иронией спросил меня: а вы к этому еще не привыкли?

Нет, к этому я еще не привык. Бог даст и не привыкну никогда.

Из лесов тянет гнилой, пронизывающей болотной сыростью. Начинает капать мелкий назойливый дождь. Холодно. Пусто. Мертво

Мы подъезжаем ко «второму Болшево».

ЧЕРТОВА КУЧА

Параллельно каналу и метрах в трехстах к востоку от него тянется невысокая каменная гряда в беспорядке набросанных валунов, булыжников, бесформенных и острых обломков гранита. Все это полузасыпано песком и похоже на какую-то мостовую гигантов, развороченную взрывами или землетрясением.

Если стать лицом к северу, то слева от этой гряды идет болотце, по которому проложены доски к пристани, потом канал и потом снова болото и лес. Справа широкая с версту трясины, по которой привидениями стелются промозглые карельские туманы, словно души усопших здесь ББКовских корпусов.

На вершине этой гряды — несколько десятков чахлах сосенок, обнаженными корнями судорожно вцепившихся в камень и песок и десятка два грубо сколоченных бревенчатых барачков, тщательно и плотно обнесенных проволочными ограждениями — это и есть «второе Болшево». «Первая детская трудовая колония ББК».

Дождь продолжается. Мои ноги скользят по мокрым камням, того и гляди поскользнешься и разобьешь себе череп об острые углы гранитных осколков. Я иду, осторожно балансируя и думаю, какой это идиот догадался всадить в эту гибкую трясиновую дыру детскую колонию, 4 тысячи ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Не говоря уж о территориях всей шестой части земной суши, подвластной Кремлю, неужели и на территории ББК не нашлось менее гибкой дыры?

Дождь и ветер мечутся между бараками. Сосны шумят и скрипят. Низкое и холодное небо нахлобучилось почти на их вершины. Мне холодно даже и в моей основательной кожанке, а ведь это конец июня. По двору колонии кое-где понасыпаны дорожки из гравия. Все остальное завалено гранитными обломками, мокрыми от дождя и скользкими, как лед.

«Ликвидация беспризорности» встает передо мною в каком-то новом аспекте. Да, их здесь ликвидируют; ликвидируют, «как класс».

И никто не узнает,
Где могилка моя.

Не узнает действительно никто.

НАЧАЛЬСТВО

Я иду разыскивать начальника колонии и к крайнему своему неудовольствию узнаю, что этим начальником является т. Видеман,

переброшенный сюда из ликвидированного подпорожского отделения ББК.

Там, в Подпорожьи, я не без успеха старался с тов. Видеманом никакого дела не иметь. Видеман принадлежал к числу начинающих преуспевать советских администраторов и переживал свои первые и наиболее бурные припадки административного восторга. Административный же восторг в условиях лагерной жизни подобен той пушке, сорвавшейся в бурю с привязи и тупо мечущейся по палубе фрегата, которую описывает Виктор Гюго.

Видеман не только мог цапнуть человека за икру, как это, скажем, делал Стародубцев, он мог цапнуть человека и за горло, как могли, например, Якименко и Успенский. Но он еще не понимал, как понимали и Якименко и Успенский, что цапать зря не стоит и не выгодно. Эта возможность была для Видемана еще относительно нова, ощущение чужого горла в своих зубах еще, вероятно, волновало его. А может быть, просто тренировка административных челюстей.

Все эти соображения могли бы служить некоторым психологическим объяснением административного характера тов. Видемана, но с моей стороны было бы неискренностью утверждать, что меня тянуло к встрече с ним. Я ругательно ругал себя, что не спрося броду, сунулся в эту колонию. Правда, откуда же мне могло придти в голову, что здесь я встречу с т. Видеманом. Правда и то, что в моем сегодняшнем положении я теоретически был за пределами досягаемости административной хватки тов. Видемана; за всякие поползновения по моему адресу его Успенский по головке не погладил бы. Но за всем этим оставались какие-то «но». О моих делах и отношениях с Успенским Видеман и понятия не имеет, и если бы я стал рассказывать ему, как мы с Успенским в голом виде пили коньяк на водной станции, Видеман бы счел меня за неслыханного вралю. Дальше. Медгора далеко. В колонии Видеман полный хозяин, как некий феодальный вассал, имеющий в своем распоряжении свои собственные подземелья и погреба для консервирования в оных не потрафивших ему дядей. А мне до побега осталось меньше месяца. Как-то выходит нехорошо.

Конечно, схватить меня за горло Видеману как будто нет решительно никакого ни повода; ни расчета, но в том то и дело, что он это может сделать решительно без всякого повода и расчета, просто от избытка власти, от того, что у него, так сказать, административно чешутся зубы. Вам, вероятно, известно ощущение, когда очень зубастый, но еще весьма плохо дисциплинированный пес, рыча, обнюхивает вашу икру. Может быть и нет, а может быть и цапнет. Если цапнет, хозяин его вздует, но вашей-то икре какое от этого утешение?

В Подпорожьи люди от Видемана летели клочьями во все стороны, кто на БАМ, кто в Шизо, кто на Лесную Речку. Я избрал себе сравнительно благоую часть, старался обходить Видемана из дали. Моим единственным личным столкновением с ним я обязан был Надежде Константиновне.

Видеман в какой-то бумажке употребил термин «предговорение». Он видимо находился в сравнительно сытом настроении духа, и Надежда Константиновна рискнула вступить в некую лингвистическую дискуссию: такого де слова в русском языке нет. Видеман сказал: есть. Надежда Константиновна сдуру сказала, что вот у нее работает некий писатель, сиречь я, у него де можно спросить, как у специалиста. Я был вызван в качестве эксперта.

Видеман сидел развалившись в кресле и рычал вполне добродушно. Вопрос же был поставлен, так сказать, дипломатически:

— Так что ж, по-вашему, такого слова, как предговорение, в русском языке нет?

— Нет, — сглупил я.

— А по-моему есть! — заорал Видеман. — А еще писатель! Убирайся вон! Таких не даром сюда сажают.

Нет, Бог уж с ним, с Видеманом, с лингвистикой, русским языком и с прочими дискуссионными проблемами. Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и с оными нечестивыми не дискусирует.

А тут дискуссировать, видимо, придется. С одной стороны, конечно, житья моего в советской райской долине или житья моего вообще, оставалось меньше месяца и черта ли мне ввязываться в дискуссию, которая этот месяц может растянуть на годы.

А с другой стороны, старый, откормленный всякой буржуазной культурой интеллигентский червяк сосет где-то под ложечкой и талдычит о том, что не могу же я уехать из этой вонючей, вымощенной преисподними булыжниками цинготной дыры и не сделать ничего, чтобы убрать из этой дыры четыре тысячи заживо погребенных в ней ребят. Ведь это же дети, черт возьми. Правда, они воры, в чем я через час убедился еще один, совершенно лишний для меня раз, правда, они алкоголики, жулики, кандидаты в профессиональные преступники, но ведь это все-таки дети, черт побери. Разве они виноваты в том, что революция расстреляла их отцов, уморила голодом их матерей, выбросила их на улицу, где им оставалось или умирать с голоду, как умерли миллионы их братьев и сестер, или идти воровать. Разве этого всего не могло быть с моим сыном, например, если бы в свое время не подвернулся Шпигель, и из одесской тюрьмы мы с женой не выскочили

бы живьем? Разве они, эти дети, виноваты в том, что партия проводит коллективизацию деревни, что партия объявила беспризорность ликвидированной, что на семнадцатом году существования социалистического рая их решили убрать куда-нибудь подальше от посторонних глаз. Вот и убрали. Убрали на эту чертову кучу, в приполярные трясины, в цингу, туберкулез.

Я представил себе бесконечные полярные ночи над этими оплетенными колючей проволокой бараками и стало жутко. Да, здесь-то уж эту беспризорность ликвидируют в корне. Сюда-то уж мистера Бернарда Шоу не повезут.

Я чувствую, что червяк одолевает, и что дискуссировать придется.

ТРУДОВОЙ ПЕЙЗАЖ

Но Видемана здесь нет. Оказывается, он в колонии не живет: климат не подходящий. Его резиденция находится где-то в десяти верстах. Тем лучше, можно будет подготовиться к дискуссии, а кстати и поесть.

Брожу по скользким камням колонии. Дождь перестал. В дырах между камнями заседают небольшие группы ребят. Они, точно индейцы трубку мира, тянут махорочные козы ножки, по очереди обходящие всю компанию. Хлеба в колонии мало, но махорку дают. Другие режутся в не известные мне беспризорные игры с монетами и камушками. Это, как я узнал впоследствии, проигрывают пайки или по-местному «птюшки».

Ребята босые, не очень оборванные и более или менее умытые. Я уж так привык видеть беспризорные лица, вымазанные всевозможными сортами грязи и сажи, что эти умытые рожицы производят какое-то особо отвратительное впечатление; весь порок и вся гниль городского дна, все разнообразие сексуальных извращений преждевременной зрелости, скрытые раньше слоем грязи, теперь выступают с угнетающей четкостью.

Ребята откуда-то уже слышали, что приехал инструктор физкультуры и сбегаются ко мне, кто с заискивающей на всякий случай улыбочкой, кто с наглой развязностью. Сыплются вопросы. Хриплые, но все же детские голоса. Липкие, проворные детские руки с непостижимой ловкостью обшаривают все мои карманы, и пока я успеваю спохватиться, из этих карманов исчезает все — махорка, спички, носовой платок.

Когда это они успели так насобачиться? Ведь это все новые беспризорные призывы, призывы 1929-31 годов. Я потом узнал, что есть

и ребята, попавшие в беспризорники и в нынешнем году. Источник, оказывается, не иссякает.

Отряд самоохраны (собственный детский ВОХР) и двое воспитателей волокут за ноги и за голову какого-то крепко связанного пацана. Пацан визжит так, как будто его не только собираются, а и в самом деле режут. Ничьего внимания это не привлекает, обычная история, пацана тащат в изолятор.

Я отправляюсь в штаб. Огромная комната бревенчатого барака переполнена ребятами, которые то греются у печки, то тянут козы ножки, то флегматически выискивают вшей, то так просто галдят. Мат стоит необычайный.

За столом сидит некто, и я узнаю в нем т. Полюдова, который в свое время заведовал культурно-воспитательной частью в Подлорожьи. Полюдов творит суд, пытается установить виновников фабрикации нескольких колод карт. Вещественные доказательства лежат перед ним на столе — отпечатанные шаблоном карты из вырванных листов. Подозреваемых штук десять. Они стоят под конвоем самоохраны, клянутся и божатся наперебой, галдеж стоит несусветный. У Полюдова очумелое лицо и воспаленные от махорки и бессонницы глаза. Он здесь помощник Видемана. Я пока что достаю у него талон на обед в вольнонаемной столовой и ухожу из штаба, обшариваемый глазами и руками беспризорников, но мои карманы все равно уже пусты, пусть шарят.

ИДЕАЛИСТ

На ночлег я отправляюсь в клуб, огромное бревенчатое здание с большим зрительным залом, с библиотекой и с полдюжиной совершенно пустых клубных комнат. Заведующий клубом, высокий истощенный малый, лет 26-ти, встречает меня, как родного.

— Ну, слава Богу, голубчик, что вы, наконец, приехали. Хоть чем-нибудь ребят зайдете. Вы поймите, здесь, на чертовой куче, им решительно нечего делать. Мастерских нет, школы нет, учебников нет, ни черта нет. Даже детских книг в библиотеке ни одной. Играть им негде, сами видите, камни и болото, а в лес ВОХРовцы не пускают. Знаете, здесь эти ребята разлагаются так, как и на воле не разлагались. Подумайте только, 4 тысячи ребят запиханы в одну яму и делать им нечего совершенно.

Я разочаровываю завклуба: я приехал так, мимоходом, на день-два. посмотреть, что здесь вообще можно с делать. Завклуб хватает меня за пуговицу моей кожанки.

— Послушайте. ведь вы же интеллигентный человек...

Я уже знаю наперед, чем кончится тирада, начатая с интеллигентного человека. Я — интеллигентный человек, следовательно, я обязан отдать свои нервы, здоровье, а если потребуется, то и шкуру для залатывания бесконечных дыр советской действительности. Я — интеллигентный человек, следовательно, по своей основной профессии я должен быть великомучеником и страстотерпцем, я должен застрять в этой фантастической трясиной дыре и отдать свою шкуру на заплату на коллективизации деревни, на беспризорности и на ее ликвидации. Но только на заплату дыр, ибо сделать больше нельзя ничего. Вот с этой интеллигентской точки зрения в сущности важен не столько результат, сколько жертвенность.

Я его знаю хорошо, этого завклуба. Это он, вот этакий завклуб, геолог, ботаник, фольклорист, ихтиолог и Бог его знает, кто еще, в сотнях тысячах экземплярах растекается по всему лицу земли русской, сгорает от недоедания, цинги, туберкулеза, малярии, строит тоненькую паутинку культурной работы, то сдуваемую легким дыханием советских Пришибеевых всякого рода, то ликвидируемую на корню чрезвычайкой, попадает в концлагеря, в тюрьмы, под расстрел, но все-таки строит.

Я уже его видал, этого завклуба и на горных пастбищах Памира, где он выводит тонкорунную овцу, и в малярийных дырах Дагестана, где он добывает пробный йод из каспийских водорослей, и в ущельях Сванетии, где он занимается раскрепощением женщины и в украинских колхозах, где он прививает культуру топинамбура, и в лабораториях ЦАГИ, где он изучает обтекаемость авиационных бомб.

Потом тонкорунные овцы гибнут от бескормицы, сванетская раскрепощенная женщина — от голода, топинамбур не хочет расти на раскулаченных почвах, где не выдерживает ко всему привыкшая картошка. Авиабомбами сметают с лица земли целые районы «кулаков», а дети этих кулаков попадают вот сюда, и сказка про красного бычка начинается сначала.

Но кое-что остается. Все-таки кое-что остается. Кровь праведников никогда не пропадает совсем уж зря.

И я конфужусь перед этим завклубом. И вот, знаю же я, что на залатывание дыр, прорванных рогами этого красного быка, не хватит никаких в мире шкур, что пока этот бык не прирезан, количество дыр будет расти из года в год, что и мои и его, завклуба, старания и мужика и ихтиолога — все они бесследно потонут в топах советского кабака, потонет и он сам, этот завклуб. Он вольнонаемный. Его уже наполовину съела цинга, но «понимаете сами, как же я могу бросить: никак не могу найти заместителя». Правда, бросить не так просто; вольнонаемные права

здесь не на много шире каторжных. При поступлении на службу отбирается паспорт и взамен выдается бумажка, по которой никуда вы из лагеря не уедете. Но я знаю, завклуба удерживает не одна эта бумажка.

И я сдаюсь. И вместо того, чтобы удрать из этой дыры на следующее утро, до встречи с Видеманом, я даю завклубу обещание остаться здесь на неделю, проклинаю себя за слабодушие и чувствую, что завтра я с Видеманом буду дискутировать насчет колонии вообще.

Завклуб подзывает к себе двух ребятишек:

— А ну-ка, шпана, набейте товарищу инструктору тюфяк и достаньте в каптерке одеяло. Живо.

— Дяденька, а махорки дашь?

— Даст, даст. Ну, шпанята, живо! «Шпанята» исчезают, сверкая по камням босыми пятками.

— Это мой культактив. Хоть книг, по крайней мере, не воруют.

— А зачем им книги?

— Как зачем? Махорку крутить, карты фабриковать, подложные документы. Червонцы, сволочи, делают, не то, что карты, — не без некоторой гордости разъяснил завклуб. — Замечательно талантливые ребята попадают. Я кое с кем рисованием занимаюсь. Я вам их рисунки покажу. Да вот только бумаги нет.

— А вы на камнях выдалбливайте, — сиронизировал я. — Самая, так сказать, современная техника.

Завклуб не заметил моей иронии.

— Да и на камнях черти выдалбливают, только больше порнографию. Но талантливая публика есть.

— А как вы думаете, из ребят, попавших на беспризорную дорожку, какой процент выживает?

— Ну, этого не знаю. Процентом двадцать должно быть остается.

В 20-ти процентах я усомнился. «Шпана» принесла набитый соломой мешок и ждет обещанного гонорара. Я отсыпая им махорку в подставленную бумажку, и рука завклуба скорбно протягивается к этой бумажке.

— Ну, а это что?

— Дяденька, ей Богу, дяденька, это не мы. Мы это нашли.

Завклуб разворачивает конфискованную бумажку; это свежесорванный лист из какой-то книги.

— Ну, так и есть, — печально констатирует завклуб. — Это из ленинского пятитомника. Ну и как же вам, ребята, не стыдно.

Завклуб читает длинную нотацию. Ребята молниеносно осваиваются с положением: один покорно выслушивает нотацию, в торой за его спиной крутит собачью ножку из другого листа. Завклуб безнадежно машет рукой, и «актив»исчезает.

Я приспособляюсь на ночлег в огромной, совершенно пустой комнате у окна. В окно видны расстилающееся внизу болотце, подернутое туманными испарениями, за болотцем — свинцовая лента канала, дальше — лес, лес и лес. Белая приполярная ночь унылым матовым светом освещает этот безотрадный пейзаж.

Я расстилаю свой тюфяк, кладу под него все свои вещи (так посоветовал завклуб, иначе сопрут), укладываюсь, вооружась найденным в библиотеке томиком Бальзака и собираюсь предаться сладкому «фарниенте». Хорошо все-таки побыть одному.

Но ночная тишина длится недолго. Откуда-то из-за бараков доносится душераздирающий крик, потом ругань, потом обрывается, словно кому-то заткнули глотку тряпкой. Потом где-то за каналом раздаются 5-б ружейных выстрелов. Это, вероятно, каналохрана стреляет по какому-нибудь заблудшему беглецу. Опять тихо. И снова тишину пререзают выстрелы, на этот раз совсем близко. Потом чей-то нечеловеческий, предсмертный вопль, потом опять выстрел.

Бальзак в голову не лезет.

БЕСПРИЗОРНЫЕ БУДНИ

Солнечное утро как-то скрашивает всю безотрадность этой затерянной в болотах каменной гряды, угрюмость серых бараков, бледность и истасканность голодных ребячьих лиц.

В качестве чичероне ко мне приставлен малый лет 35-ти со странной фамилией Ченикал, сухой, подвижной, жилистый, с какими-то волчьими хватками — один из старших воспитателей колонии. Был когда-то каким-то красным партизанским командиром, потом служил в войсках ГПУ, потом где-то в милиции и попал сюда на 5 лет за «превышение властей», как он выражался. В чем именно превысил он эти «власти», я так и не узнал, вероятно, какое-нибудь бессудное убийство. Сейчас он — начальник самоохранны.

Самоохранны — это человек 300 ребят, специально подобранных и натасканных для роли местной полиции или точнее местного ГПУ. Они живут в лучшем бараке, получают лучшее питание, на руках и на груди у них нашиты красные звезды. Они занимаются сыском, облавами, обысками, арестами, несут при ВОХРе вспомогательную службу по охране лагеря. Остальная ребячья масса ненавидит их лютой ненавистью.

По лагерю они ходят только патрулями. Чуть отобьется какой-нибудь, ему сейчас же или голову камнем проломают или ножом кишки выпустят. Недели две тому назад один из самоохранников Ченикала исчез, и его нашли повешенным. Убийц так и не доискались. Отряд Ченикала, взятый в целом, теряет таким образом 5-6 человек в месяц.

Обходим бараки, тесные, грязные, вшивые. Колония была насчитана на две тысячи, сейчас уже больше 4-х тысяч, а ленинградское ГПУ все шлет и шлет новые «подкрепления». Сегодня ждут новую партию человек 250. Ченикал озабочен вопросом, куда их деть. Нары в бараках в два этажа. Придется надстроить третий. Тогда в бараках окончательно нечем будет дышать.

Завклуб был прав: ребятам действительно делать совершенно нечего. Они целыми днями режутся в свои азартные игры и так как проигрывать, кроме птюшек нечего, то они их и проигрывают, а проиграв наличность, режутся дальше в кредит, на будущие птюшки. А когда птюшка проиграна на 2-3 недели вперед и есть кроме того пойла, что дают в столовой, нечего, ребята бегут.

— Да куда же здесь бежать?

Бегут, оказывается, весьма разнообразными путями. Переплывают через канал и выходят на Мурманскую железную дорогу. Там их ловит железнодорожный ВОХР. Ловит, впрочем, немного, меньше половины. Другая половина не то ухитряется пробраться на юг, не то гибнет в болотах. Кое-кто пытается идти на восток, на Вологду. О их судьбах Ченикал не знает ничего. В конце зимы группа человек 30 пыталась пробраться на юг по льду Онежского озера. Буря оторвала кусок льда, на котором находились беглецы. Ребята больше недели находились на плавучей и начинающей таять льдине. Восемь человек утонуло, одного съели товарищи, остальных спасли рыбаки.

Ченикал таскает особой мешочек с содой: почти все ребята страдают не то изжогой, не то катаром. ББКовской пищи не выдерживают даже беспризорные желудки, а они-то уж видали виды. Сода играет поощрительно-воспитательную роль — за хорошее поведение соду дают, за плохое не дают. Впрочем, соды так же мало, как и хорошего поведения. Ребята крутятся около Ченикала, делают страдальческие лица, хватаются за животы и скулят. Вслед нам несется изысканный мат тех, кому в соде было отказано.

Житье Ченикала тоже не Масленица. С одной стороны — административные восторги Видемана, с другой — нож беспризорников, с третьей — ни дня, ни ночи отдыха. В бараках то и дело вспыхивают то кровавые потасовки, то бессмысленные истерические бунты, кое-кого и расстреливать приходится, конфиденциально поясняет Ченикал.

Особенно тяжело было в конце зимы, в начале весны, когда от цинги в один месяц вымерло около семисот человек. А остальные на стенку лезли: все равно помирать. «А почему же не организовали ни школ, ни мастерских?» «Да все прорабатывается этот вопрос». «Сколько же времени он прорабатывается?» «Да вот, как колонию обосновали — года два».

От рассказов Ченикала, от барачной вони, от вида ребят, кучами сидящих на нарах и щелкающих вшей, становится тошно. В лагерной черте решительно ничего физкультурного организовать нельзя: нет буквально ни одного метра не заваленной камнями площади. Я отправляюсь на разведку вокруг лагеря, нет ли поблизости чего-нибудь подходящего для спортивной площадки.

Лагерь прочно оплетен колючей проволокой. У выхода стоит патруль из трех ВОХРовцев и трех самохранников, это вам не Болшево и даже не Медгора. Патруль спрашивает у меня пропуск. Я показываю свое командировочное удостоверение. Патрульных оно не устраивает: нужно вернуться в штаб и там взять специальный разовый пропуск. От этого я отказываюсь категорически: у меня центральная ББКовская командировка по всему лагерю и плевать я хотел на всякие здешние пропускали прохожу мимо. «Будем стрелять». «А ну, попробуйте».

Стрелять они, конечно, не стали бы ни в коем случае, а ВОХРу надо было приучать. Принимая во внимание Видемана, как бы не пришлось мне драпать отсюда не только без пропуска и без оглядки, а даже и без рюкзака.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Лес и камень. Камень и болото. Но в верстах трех у дороги на север я нахожу небольшую площадку, из которой что-то можно с делать; выкорчевать десятка четыре пней, кое-что подравнять и если не в футбол, то в баскетбол играть будет можно. С этим открытием я возвращаюсь в лагерь. ВОХРа смотрит на меня почтительно.

Иду к Видеману.

— Ах, так это вы! — не очень одобряющим тоном встречает меня Видеман и смотрит на меня испытующе: что я собственно такое и следует ли ему административно зарычать или лучше будет корректно вильнуть хвостом. Я ему докладываю, что я и для чего приехал и перехожу к дискуссии. Я говорю, что в самой колонии ни о какой физкультуре не может быть и речи: одни камни.

— Ну, да это мы и без вас понимаем. Наша амбулатория делает по 100-200 перевязок в день. Расшибают себе головы вдребзги.

— Необходимо перевести колонию в какое-нибудь другое место, По приезде в Медгору я поставлю этот вопрос. Надеюсь, тов. Видеман, и вы меня поддержите. Вы, конечно, сами понимаете, в такой дыре, при таких климатических условиях...

Но моя дискуссия лопается сразу, как мыльный пузырь.

— Обо всем этом и без вас известно. Есть распоряжение Гулага оставить колонию здесь. Не о чем разговаривать.

Да, тут разговаривать действительно нечего. С Успенским договориться о переводе колонии, пожалуй, было бы можно; выдумал бы еще какую-нибудь халтуру вроде спартакиады. По разговаривать с Гулагом у меня возможности не было никакой. Я все-таки рискую задать вопрос, а чем, собственно, мотивировано приказание оставить колонию здесь.

— Ну, чем там оно мотивировано, это не ваше дело.

Да, дискуссировать тут трудновато. Я докладываю о своей находке в лесу, хорошо бы соорудить спортивную площадку.

— Ну, вот это дело. Всех туда пускать мы не можем. Пусть вам завтра Полюдов подберет человек сто понадежнее, берите лопаты или что там и валяйте. Только вот что. Лопат у нас нету. Как-то брали в Южном Городке, да потом не вернули. Не дадут, сволочи, разве что вам, человеку свежему.

Я достал лопаты в Южном Городке — одном из лагпунктов водораздельского отделения. Наутро сто беспризорников выстроились во дворе колонии рваной и неистово галдящей колонной. Все рады попасть в лес, всем осточертело это сидение за проволокой, без учебы, без дела и даже без игр. Колонну окружают еще несколько сот завистливых рожиц: «Дяденька, возьмите и меня! Товарищ инструктор, а мне можно...»

Но я чувствую, что с моим предприятием творится что-то неладное. Воспитатели мечутся, как угорелые, из штаба в ВОХР и из ВОХРа в штаб. А мы все стоим и стоим. Наконец, выясняется. Начальник ВОХРа требует, чтобы кто-нибудь из воспитателей расписался на списке отправляемых на работу ребят, взяв на себя ответственность за их сохранность, за то, что они не разбегутся. Никто расписываться не хочет. Видемана в колонии нет. Распорядиться некому. Боюсь, что из моего предприятия ничего не выйдет, и что колонну придется распустить по баракам, но чувствую, что для ребят это будет великим разочарованием.

— Ну, а если распишусь я?

— Ну, конечно. Только в случае побега кого-нибудь, вам и отвечать придется.

Мы идем в ВОХР, и там я равнодушно подмахиваю свою фамилию под длинным списком отправляемых на работу ребят. Начальник ВОХРа смотрит на меня весьма неопределенным напутствием: «Ну, смотрите же!»

На будущей площадке выясняется, что в качестве рабочей силы мои беспризорники не годятся решительно никуда. Несмотря на их волчью выносливость к холоду и голоду, работать они не могут, не хватает сил. Тяжелые лопаты оттягивают их тоненькие, как тростинки руки, дыхания не хватает, мускульной выносливости нет никакой. Работа идет порывами, то сразу бросаются все; точно рыба стайка по неслышной команде своего немого вожака, то сразу все останавливаются; кидают лопаты и укладываются на мокрой холодной траве.

Я их не подгоняю. Торопиться некуда. Какой-то мальчишка выдвигает проект — вместо того, чтобы выкорчевывать пни, разложить по хорошему костру на каждом из них, вот они постепенно сгорят и истлеют. Раскладывать 30 костров рискованно, но штуки три мы все-таки разжигаем. Я подсаживаюсь к группе ребят у одного из костров.

— А ты, дядь, на пенек седай, а то штаны замочишь.

Я сажусь на пенек и из внутреннего кармана кожанки достаю пачку махорки. Жадные глаза смотрят на эту пачку. Я свертываю себе папиросу и молча протягиваю пачку одному из ближайших мальчишек

— Можно свернуть? — несколько недоумевающе спрашивает он.

— Вертайте.

— Нет, мы не всю.

— Да хоть и всю.

— Так мы, дядя, половину отсыпем.

— Валяйте всю, у меня еще махорка есть.

— Ишь ты...

Достаются какие-то листики, конечно, из завклубовской библиотеки, ребята быстро и деловито распределяют между собой полученную махорку. Через минуту все торжественно и молча дымят. Молчу и я.

— Дядь, а площадку-то мы зачем строим?

— Так я же вам, ребята, еще в колонии перед строем объяснял. В футбол будете играть.

— Так это для митингу врал небось, дядя? А?

Я объясняю еще раз. Ребята верят плохо.

— Что б они для нас делать что стали, держи карман. Нас сюда для умору, а не для футбола посадили... Конечно, для умору, какой им хрен нас физкультурой развивать... Знаем мы уж, строить-то нас пошлют, а играть будут гады.

— Какие гады?

— А вот эти, — беспризорник привел непечатный термин, обозначающий самоохранников.

— На гадов работать не будем... Хрен с ними, пусть сами работают.

Я попытался убедить ребят, что играть будут и они... Э, нет. Такое уж мы слышали... Нас, дядя, не проведешь. Заливай кому другому.

Я чувствую, что эту тему лучше бы до поры, до времени оставить в стороне, очень уж широкая тема. На гадов не хочет работать и мужик. На гадов не хочет работать и рабочий. Не хотят и беспризорники. Я вспомнил историю со своими спортспарками, вспомнил сообщение Радецкого о их дальнейшей судьбе и даже несколько удивился: в сущности вот с этой беспризорной площадкой повторяется совершенно та же схема. Я действую, как идеалистически настроенный спец: никто же меня не тянул братья за эту площадку, разве что завклуб. Я значит, буду планировать и организовывать, беспризорники будут строить, а играть будут самообхрана и ВОХР. И в самом деле, стоило ли огород городить. Я переносу вопрос в несколько иную плоскость.

— Так вам же веселее пойти поковыряться здесь в лесу, чем торчать в бараках.

Мои собеседники оказываются гораздо сообразительнее, чем я мог предполагать.

— Об этом и разговору нет, в бараках с тоски подохнуть можно, а еще зимой, так ну его. Нам расчет такой, чтобы строить ее все лето, все лето будут водить.

Беспризорники всех бесконечных советских социалистических, федеративных, автономных и прочих республик говорят на одном и том же блатном жаргоне и с одним и тем же одесским акцентом. По степени выработанности этого жаргона и акцента можно до некоторой степени судить о длительности беспризорного стажа мальчишки. Кое-кто из моих собеседников еще не утерял своего основного акцента. Я спрашиваю одного из них, когда это он попал в беспризорники. Оказывается, с осени прошлого года, с весны нынешнего 1934-го. Таких, призыва этого года в моей группе набирается пять человек, в группе всего человек 40. Еще одно открытие.

Мальчишка со стажем этого года — явственно крестьянский мальчишка с ясно выраженным вологодским акцентом, лет 13-14-ти.

— А ты как попал?

Мальчишка рассказывает. Отец был колхозником, попался на краже колхозной картошки, получил 10 лет. Мать померла с голоду. А в деревне-то пусто стало, все одно, — как в лесу. Повысылали. Младший брат давно болел глазами и ослеп. Рассказчик забрал своего братишку и отправились в Питер, где у него служила какая-то тетка. «Где служила?» «Известно, где. На заводе». «А на каком?» «Ну, просто на заводе»

Словом, тетка Ксюшка, а фамилию забыл, вроде чеховского адреса «На деревню дедушке». Кое-как добрались до Питера, который оказался несколько не похож на все то, что лесной крестьянский мальчишка видал на своем веку. Брат где-то затерялся в вокзальной сутолоке, а парнишку сцапало ГПУ,

— А небось слямзил тоже? — скептически прерывает кто-то из ребят.

— Не, не успел. Не умелый был.

Теперь-то он научится.

Второй призыва этого года — сын московского рабочего. Рабочего с семьей перебрасывали на Магнитку. Мальчишка тоже лет 13-ти не то отстал от поезда, побежав за кипятком, не то набрав кипятку, попал не в тот поезд — толком он рассказать об этом не мог. Ну, тут и завертелось. Мотался по каким-то станциям, разыскивая семью. Вероятно и семья его разыскивала, подобрали его беспризорники, и пошел парень.

Остальные истории совершенно стандартны: голод, священная социалистическая собственность, ссылка отца, а то и обоих родителей за попытку прокормить ребят своим же собственным хлебом, который ныне объявлен колхозным, священным и неприкосновенным для мужичьего рта, ну остальное ясно. У городских преимущественно рабочих детей беспризорность начинается с безнадзорности. Отец на работе часов по 12-15, мать тоже, дома есть нечего. Начинает мальчишка подворовывать, потом собирается целая стая вот таких промышленников, дальше опять все понятно. Новым явлением был еврейский мальчишка, сын еврейского колхозника, побочный продукт коллективизации джойнтовских колоний в Крыму. Продуктов еврейского раскулачивания мне еще видать не приходилось. Другой беспризорник-еврей пережил более путанную историю и связанную с Биробиджаном, эта история слишком длинна для этой темы.

Вообще, здесь был некий новый вид того советского интернационала голода, горя и нищеты, нивелирующего все национальные отличия. Какой-то грузин уже совсем проеденный туберкулезом и все время хрипло кашляющий, утверждает, что он сын доктора, расстрелянного ГПУ.

— Ты по-грузински говоришь?

— Не, забыл.

Тоже русификация. Русификация людей, уходящих на тот свет.

Разговор шел как-то нервно. Ребята то замолкали все, то сразу наперебой. В голову все время приходило сравнение с рыбьей стайкой — точно кто-то невидимый и неслышный командует. И в голосах, в порывистости настроений, охватывающих сразу всю эту беспризорную стайку, было что-то от истерики. Не помню, почему именно, я одному из ребят задал вопрос о родителях, и меня поразила грубость его ответа:

— Подошли. И хрен с ними. Мне и без родителей не хуже.

Я повернулся к нему. Это был мальчишка лет 16-ти, с упрямым лбом и темными озлобленными глазами.

— Ой ли?

— А на хрена они мне сдались? Живу вот и без них.

— И хорошо живешь?

Мальчишка посмотрел на меня злобно.

— Да вот, как хочу, так и живу.

— Уж будто?

В ответ мальчишка виртуозно выругался.

— Вот, — сказал я. — Ел бы ты борщ, сваренный матерью, а не лагерную баланду. Учился бы в футбол играть. Вши бы не ели.

— А ну тебя к матери, — сказал мальчишка, густо сплюнул в костер и ушел, на ходу независимо подтягивая свои спадающие штаны. Отойдя шагов десяток, плюнул еще раз и бросил по моему адресу:

— Вот тоже еще стерва выискалась.

В глазах его ненависть...

Позже по дороге из колонии дальше на север я все вспоминал этого мальчишку с его отвратительным сквернословием и с ненавистью в глазах и думал о полной, так сказать, законности, о неизбежной обусловленности вот такой психологии. Не несчастная случайность, а общество, организованное в государство, лишило этого мальчишку его родителей. Его никто не подобрал и ему никто не помог. С первых же шагов своего самостоятельного и мало-мальски сознательного

существования он был поставлен перед альтернативой — или помереть с голоду или нарушать общественные законы в их самой элементарнейшей форме. Вот один из случаев такого нарушения.

Дело было на базаре в Одессе в 1925 или 1926 году. Какой-то беспризорник вырвал из рук какой-то дамочки каравай хлеба и бросился бежать. Дамочка подняла крик, мальчишку сбили с ног. Падая, мальчишка в кровь разбил себе лицо о мостовую. Дамочка подбежала и стада пинать его в спину и в бок. Примеру дамочки последовал еще кое-кто. С дамочкой, впрочем, было поступлено не по-хорошему. Какой-то студент зверской пощечиной сбил ее с ног. Но не в этом дело. Лежа на земле окровавленный и избиваемый, ежась и подставляя под удары наиболее выносливые части тела, мальчишка с жадной торопливостью рвал зубами и не жуя проглатывал куски измазанного в крови и грязи хлеба. Потом окровавленного мальчишку поволокли в милицию. Он шел, всхлипывая, утирая рукавом слезы и кровь и продолжал с той же жадной спешкой дожевывать такой ценой отвоеванный от судьбы кусок хлеба.

Никто из этих детей не мог, конечно, лечь на землю, сложить руки на животике и с этакой мирной резиньцей помереть во славу будущих социалистических поколений. Они, конечно, стали бороться за жизнь единственным способом, какой у них оставался — воровством. Но, воруя, они крали у людей последний кусок хлеба; предпоследнего не имел почти никто. В нищете советской жизни, в миллионных масштабах социалистической беспризорности они стали общественным бедствием. И они были выброшены из всякого общества и официального и не официального. Они превратились в бешеных волков, за которыми охотятся все.

Но в этом мире, который на них охотился, где — то там оставались все же дети, и родители, и семьи, и забота, какая-то сытость, и даже кое-какая безопасность. Но все это было навсегда потеряно для этих вот десятилетних, для этих детей, объявленных более или менее вне закона. Во имя психического самосохранения, чисто инстинктивно, они вынуждены были выработать в себе психологию отдельной стаи. И ненавидящий взгляд моего мальчишки можно было перевести так: «А ты мне можешь вернуть родителей, семью, мать, борщ? Ну так и иди к чертовой матери, не пили душу».

Мальчишка отошел к другому костру. У нашего опять воцарилось молчание. Кто-то предложил: спеть бы. «Ну, спой». Один из мальчиков лихо вскочил на ноги, извлек из кармана что-то вроде кастаньет и, приплясывая и подергиваясь, задорно начал блатную песенку:

Защо мы страдали., защо мы боролись,

Защо мы проливали свою кровь?
За крашенные губки, за колени ниже юбки,
за эту распроклятую любовь...
Маруха, маруха, ты брось свои замашки,
Они комплементируют мне.
Она ему басом, иди ты к своим массам,
Не буду я сидеть в твоём клубе.

Забубенный мотив не подымает ничего настроения. «Да брось ты!» Певец артистически выругался и сел. Опять молчание. Потом какой-то голосок затянул тягучий мотив:

Эх, свисток, да браток, да на ось,
Нас опять повезет паровоз.
Мы без дома и гнезда, шатя беспризорная.

Песню подхватывают десятки негромких голосов. Поют, кто лежа, кто сидя, кто обхватив колени и уткнув голову, кто тупо и безнадежно уставившись в костер — глаза смотрят не на пламя, а куда-то внутрь, в какое-то будущее. Какое будущее?

... А я, сиротинка,
Позабыт от людей.
Позабыт, позаброшен
С молодых ранних лет
Я остался сиротою,
Счастья, доли мне нет.
Я умру, я умру,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.

Да, о могилке не узнает действительно никто. Негромко тянется разьедающий душу мотив. Посеревшие детские лица как будто все сосредоточились на мыслях об этой могилке, которая ждет их где-то очень недалеко — то ли в трясине ближайшего болота, то ли под колесами поезда, то ли в цинготных братских ямах, то ли просто у стенки ББК ГПУ.

— Сволота пришла, — вдруг говорит один из колонистов.

Оборачиваюсь. Во главе с Ченикалом шествует штук 20 самоохранников. Песня замолкает. «Вот сколопендры, гады, гадючье семя...»

Самоохранники рассаживаются цепью вокруг площадки. Ченикал подсаживается ко мне. Ребята нехотя подымаются.

— Чем с гадами сидеть, пойдем уж копать...

— Хай сами копают. Мы надсаживаться будем, а они сидеть да смотреть. Пусть и эта язва сама себе могилу копает.

Ребята нехотя поднимаются и с презрительной развалочкой покидают наш костер. Мы с Ченикалом остаемся одни. Ченикал мне подмигивает: «Вот, видали, дескать, что за народ». Я это вижу почище Ченикала.

— А вы зачем, собственно, свой отряд привели?

— Да что б не разбежались.

— Нечего сказать, спохватились. Мы тут уж три часа.

Ченикал пожимает плечами, как-то так очень уж скоро все вышло.

К обеденному часу я выстраиваю ребят в колонну, и мы возвращаемся домой. Колонну со всех сторон оцепляют самохранники, вооруженные специальными дубинками. Я иду рядом с колонной. Какой-то мальчишка начинает подозрительно тереться около меня. Мои наружные карманы благоразумно пусты, и я иронически оглядываю мальчишку: опоздал. Мальчишка иронически поблескивает плутоватыми глазками и отстает от меня. В колонне раздается хохот. Смеюсь и я несколько деланно. «А ты, дядь, в кармане пощупай». Я лезу рукой в карман. Хохот усиливается. К своему изумлению, я вытаскиваю из кармана спертый давеча кисет. Но самое удивительное то, что кисет полон, Развязываю — махорка. Ну-ну. Спертую у меня махорку мальчишки, конечно, выкурили сразу, значит потом устроили какой-то сбор. Как и когда? Колонна весело хохочет вся: у дядьки инструктора махорка воскресла, ай да дядя! Говорили тебе, держи карман шире. А в другой раз, дядь, не корчи фраера.

— С чего это вы? — несколько растерявшись спрашиваю ближайшего пацана.

Пацан задорно ухмыльнулся, скаля наполовину выбитые зубы.

— А это у нас по общему собранию делается. Прямо, как у больших.

Я вспомнил повешенного самохранника и подумал о том; что эти детские «общие собрания» будут почище взрослых.

В хвосте колонны послышались крики и ругань. Ченикал своим волчьим броском кинулся и заорал: «Колонна, стой!» Колонна, потоптавшись, остановилась. Я тоже подошел к хвосту колонны. На придорожном камне сидел один из самохранников, всхлипывая и вытирая кровь с разбитой головы. «Камнем заехали». Пояснил Ченикал.

Его волчьи глазки пронзительно шныряли по лицам беспризорников, стараясь отыскать виновников. Беспризорники вели себя издевательски.

— Это я, тов. воспитатель. Это я. А ты мне в глаза посмотри. А ты мне уж, посмотри,— ну и так далее. Было ясно, что виновного не найти. Камень вырвался откуда-то из середины колонны и угодил самохраннику в темя.

Самохранник встал, пошатываясь. Двое из его товарищей поддерживали его под руки. В глазах у всех троих была волчья злоба.

Да, придумано, что и говорить, толково: разделяй и властвуй. Эти самохранники точно так же спаяны в одну цепочку: они, Ченикал, Видеман, Успенский, как на воле советский актив спаян с советской властью в целом. Спаян кровью, спаян ненавистью остальной массы, спаян сознанием, что только их солидарность всей банды, только энергия и беспощадность их вождей могут обеспечить им если и не очень человеческую, то все-таки жизнь.

Чекалин зашагал рядом со мной.

— Вот видите, тов. Солоневич, какая у нас работа. Вот пойдешь, найди. В шестом бараке ночью в дежурного воспитателя пикой швырнули.

— Какой пикой?

— А так: палка, на палке гвоздь. В спину угодили. Не сильно, а проковыряли. Вот так и живем. А то вот весной было. В котел вольнонаемной столовой наклали битого стекла. Хорошо, что еще повар заметил, крупное стекло было. Я, знаете, в партизанской красной армии был, вот там, так это война, не знаешь, с которой стороны резать будут, а резали в капусту. Честное вам слово говорю: там и то легче было.

Я вежливо посочувствовал Ченикалу.

ВИДЕМАН ХВАТАЕТ ЗА ГОРЛО

Придя в колонию, мы пересчитали свой отряд. 16 человек все-таки сбежало. Ченикал в ужасе. Через полчаса меня вызывает начальник ВОХРа. У него повадка боа-констриктора, предвкушающего хороший обед и медленно развивающего свои кольца.

— Так, 16 человек у вас сбежало.

— У меня никто не сбежал.

Удавьи кольца расправляются в мат.

— Вы мне тут янкеля не крутите, я вас...

Совсем дурак человек. Я сажусь на стол, вынимаю из кармана образцово-показательную коробку папирос. Данная коробка была получена в медгорском распределителе ГПУ по специальной записке Успенского, всего было получено сто коробок; единственная бытовая услуга, которую я соизволил взять у Успенского. Наличие коробки папирос сразу ставит человека в некий привилегированный разряд, в лагере в особенности, ибо коробка папирос доступна только привилегированному сословию. От коробки папирос язык начальника прилипают к гортани.

Я достал папиросу, постучал мундштуком, протянул коробку начальнику ВОХРа.

— Курите? А скажите, пожалуйста, сколько вам, собственно, лет?

— Тридцать пять, — ляпает начальник ВОХРа и спохватывается: попал в какой-то подвох. — А вам какое дело, что вы себе это позволяете?

— Некоторое дело есть. Так как вам 35 лет, а не три года, вы бы, кажется, могли понять, что один человек не имеет никакой возможности уследить за сотней беспризорников, да еще в лесу.

— Так чего же вы расписывались?

— Я расписывался в наличии рабочей силы. А для охраны существуете вы. Ежели вы охраны не дали, вы и отвечать будете. А если вы еще раз попытаетесь на меня орать, это для вас может кончиться весьма нехорошо.

— Я доложу начальнику колонны.

— Вот с этого и надо было начать.

Я зажигаю спичку и вежливо подношу ее к папиросе начальника ВОХРа. Тот находится в совсем обалделом виде.

Вечером я отправляюсь к Видеману. По-видимому, за мной была какая-то слежка, ибо вместе со мной к Видеману торопливо вваливается и начальник ВОХРа. Видимо, он боится, что о побеге я доложу первый и не в его пользу.

Начальник ВОХРа докладывает: вот, дескать, этот товарищ взял на работу сто человек, а 16 у него сбежало. Видеман не проявляет никакого волнения: «Так, говорите, 16 человек?»

— Точно так, товарищ начальник.

— Ну и черт с ними.

— Трое вернулись. Сказывают, один утоп в болоте. Хотели вытащить, да чуть сами не утопли.

— Ну и черт с ним.

Начальник ВОХРа балдеет снова. Видеман оборачивается ко мне.

— Вот что, тов. Солоневич. Вы останетесь у нас. Я звонил Корзуну и согласовал с ним все. Он уже давно обещал перебросить вас сюда. Ваши вещи будут доставлены из Медгоры оперативным отделением.

Тон вежливый, но не допускающий никаких возражений. И под вежливым тоном чувствуются оскаленные зубы всегда готового прорваться административного восторга.

На душе становится нехорошо. У меня есть подозрения, что Корзуну он вовсе не звонил, но что я могу поделаться. Здесь я Видеману в сущности не нужен ни к чему, но у Видемана есть ВОХР, и он может меня здесь задержать и если не надолго, то достаточно для того, чтобы сорвать побег. «Вещи будут доставлены оперативным отделением» — значит, оперод ползет на мою полку и обнаружит запасы продовольствия, еще не сплавленные в лес и два компаса, только что спертые Юрой из техникума. С моей задержкой еще не так страшно. Юра пойдет к Успенскому, и Видеману влетит по первое число. Но компасы?

Я чувствую, что зубы Видемана вцепились мне в горло. Но сейчас нужно быть спокойным. Прежде всего нужно быть спокойным.

Я достаю свою коробку папирос и протягиваю Видеману. Тот смотрит на нее недоумевающе.

— Видите ли, тов. Видеман, как раз перед отъездом я на эту тему говорил с тов. Успенским. Просил его о переводе сюда.

— Почему с Успенским? При чем здесь Успенский? — в рыке тов. Видемана чувствуется некоторая неуверенность.

— Я сейчас занят проведением вселагерной спартакиады. Тов. Успенский лично руководит этим делом. Корзун несколько не в курсе всего этого, он все время был в разъездах. Во всяком случае до окончания спартакиады о моем переводе сюда не может быть и речи. Если вы меня оставите здесь вопреки прямому распоряжению Успенского, думаю, могут быть крупные неприятности.

— А вам какое дело? Я вас отсюда не выпущу, и не о чем говорить. С Успенским Корзун договорится и без вас.

Плохо. Видеман и в самом деле может не выпустить меня. И может дать распоряжение оперативному отделению о доставке моих вещей. В частности и компасов. Совсем может быть плохо. Говоря

просто: от того, как я сумею открутиться от Видемана, зависит наша жизнь — моя, Юры и Бориса. Совсем плохо.

— Я вам уже докладывал, что тов. Корзун не вполне в курсе дела. А дело очень срочное. И если подготовка к спартакиаде будет заброшена недели на две...

— Можете уходить, — говорит Видеман начальнику ВОХРа.

Тот поворачивается и уходит.

— Что вы мне плетете про какую-то спартакиаду?

Господи, до чего он прозрачен, этот Видеман. Зубы чешутся, но там, в Медгоре, сидит хозяин с большой палкой. Черт его знает, какие у этого «писателя» отношения с хозяином. Цапнешь за икру, а потом окажется не во время. И потом хозяин, палка. А отступать не хочется; как никак, административное самолюбие.

Я вместо ответа достаю из кармана «Перековку» пачку приказов о спартакиаде. Пожалуйте.

Видемановские челюсти разжимаются, и хвост приобретает вращательное движение. Где-то в глубине души, Видеман уже благодарит своего ГПУского создателя, что за икру он не цапнул.

— Но против вашего перевода сюда после спартакиады вы, тов. Солоневич, надеюсь, ничего иметь не будете?

Ух, выскочил. Можно бы, конечно, задать Видеману вопрос, для чего я ему здесь понадобился. Но, пожалуй, не стоит.

Ночью над колонией ревет приполярная буря. Ветер бьет в окна тучами песку. Мне не спится. В голову почему-то лезут мысли о зиме и о том, что будут делать эти четыре тысячи мальчиков в бесконечные зимние ночи, когда чертова куча будет завалена сажеными сугробами снега, а в бараках будут мерцать тусклые коптилочки. До зимы ведь все эти четыре тысячи ребят ликвидировать еще не успеют. Вспомнился кисет махорки; человеческая реакция на человеческие отношения. Значит, не так уж они безнадежны, эти невольные воры. Значит, Божья искра в них все еще теплится. Но кто ее будет раздувать? Видеман? Остаться здесь что ли? Нет, не возможно ни технически (спартакиада, побег, 28 июля), ни психологически: все равно ничем, ничем не поможешь. Так разве только продлить агонию...

В голову лезет мысль об утонувшем в болоте мальчике, о тех тринадцати, которые сбежали, сколько из них утонуло в карельских трясилах, о девочке с кастрюлей льда, о профессоре Авдееве, замерзшем у своего барака, наборщике Мише, вспоминались все мои горькие опыты

творческой работы, все мое горькое знание о судьбах всякой человечности в этой социалистическом раю. Нет, ничем не поможешь.

Утром я уезжаю из «второго Болшева», аки тать в ночи, не попрощавшись с завклубом; снова возьмет за пуговицу и станет уговаривать. А что я ему скажу?

В мире существует «Лига защиты прав человека». И человек и его права в последние года стали понятием весьма относительным. Человеком, например, перестал быть кулак. Его прав лига даже и не пыталась защищать.

Но есть права, находящиеся абсолютно вне всякого сомнения, это права детей. Они не делали ни революции, ни контрреволюции. Они гибнут абсолютно без всякой вины личной со своей стороны.

К описанию этой колонии я не прибавил ничего ни для очернения большевиков, ни для обеления беспризорников. Сущность дела заключается в том, что для того, чтобы убрать подальше от глаз культурного мира созданную и непрерывно создаваемую вновь большевизмом беспризорность, советская власть, самая «гуманная» в мире, лишила родителей миллионы детей, выкинула этих детей из всякого человеческого общества, заперла их остатки в карельскую тайгу и обрекла на медленную смерть от голода, холода, цинги, туберкулеза.

На просторах райских долин социализма таких колоний имеется не одна. Та, которую я описываю, находится на берегу Беломорско-Балтийского канала, в 27-ми км к северу от г. Повенца.

Если у лиги защиты прав есть хотя бы элементарная человеческая совесть, она, может быть, поинтересуется этой колонией.

Должен добавить, что до введения закона о расстрелах малолетних этих мальчиков расстреливали и безо всяких законов, в порядке, так сказать, обычного советского права.

ВОДОРАЗДЕЛ

На той же моторке и по тому же пустынному каналу я тащусь дальше на север. Через четверть часа лес закрывает от меня чертову кучу беспризорной колонии.

В сущности, мой отъезд сильно похож на бегство, точнее, на дезертирство. А что делать? Строить футбольные площадки на ребячьих костях? Вот, один уже утонул в болоте. Что случилось с теми тринадцатью, которые не вернулись?

Канал тих и пуст. На моторке я — единственный пассажир. Каюта человек на 10-15 загажена и заплевана; на палубе сырой

пронизывающий ветер, несущий над водой длинные вуали утреннего тумана. «Капитан», сидящий в рулевой будке, жестом приглашает меня в эту будку. Захожу и усаживаюсь рядом с капитаном. Здесь тепло и не дует, сквозь окна кабинки можно любоваться надвигающимся пейзажем — болото и лес, узкая лента канала, обломанная грубо отесанными кусками гранита. Местами гранит уже осыпался и на протяжении сотен метров в воду вползают медленные осыпи леску. Капитан обходит эти места, держась поближе к противоположному берегу.

— Что ж это, не успели достроить, уже и разваливается?

Капитан флегматично пожимает плечами.

— Песок — это что. А вот плотины заваливаются. Вот за Водоразделом сами посмотрите. Подмывает их снизу что ли. Гнилая работа, как есть гнилая; тяп да ляп. Гонють, гонють, вот и выходит — не успели построить, глядишь, а все из рук разлзится. Вот сейчас всю весну чинили, экскаваторы работали. Не успели подлатать, снова разлезлось. Да, песок — это что. А как с плотинами будет, никому не известно. Другой канал думают строить, не дай, Господи!

О том, что собираются строить вторую нитку канала, я слышал еще в Медгоре. Изыскательные партии уже работали, и в производственном отделе уже висела карта с двумя вариантами направления этой «второй нитки». Насколько я знаю, ее все-таки не начали строить.

— А что возят по этому каналу?

— Да вот вас возим.

— А еще что?

— Ну, еще кое-кого, вроде вас.

— А грузы?

— Какие тут грузы. Вот вчера на седьмой участок под Повенцом пригнали две баржи со ссыльными. Одни бабы. Тоже груз, можно сказать. Ах ты, мать твою!

Моторка тихо въехала в какую-то мель.

— Стой! Давай полный назад! — Заорал капитан в трубку.

Мотор дал задний ход; пена взбитой воды побежала от кормы к носу; суденышко не сдвинулось ни на вершок. Капитан снова выругался: «Вот заговорились и въехали, ах ты так его!» Снизу прибежал замасленный механик ив свою очередь обложил капитана. «Ну, что ж, пихаться будем». — сказал капитан фаталистически.

На моторке оказалось несколько шестов, специально приспособленных для «пихания», с широкими досками на концах, чтобы

шесты не уходили в песок. Дали полный задний ход, навалились на шесты, моторка мягко скользнула назад, потом, освободившись, резко дернула к берегу. Капитан в несколько прыжков очутился у руля и едва успел спасти корму от удара о береговые камни. Механик, выругавшись еще раз, ушел вниз к мотору. Снова уселись в будку

— Ну, будет лясы точить, — сказал капитан.

— Тут песок из всех щелей лезет, а напорешься на камень — пять лет дадут.

— А вы заключенный?

— А то как же.

Часа через два мы подъезжаем к Водоразделу — высшей точке канала. Отсюда начинается спуск на север, к Соробе. Огромный и совершенно пустой затон, замкнутый с севера гигантской бревенчатой дамбой. Над шлюзом бревенчатая триумфальная арка с надписью об энтузиазме, победах и о чем-то еще. Другая такая же арка, только гранитная, перекинута через дорогу к лагерному пункту. Огромная и тоже пустынная площадь, вымощенная булыжниками, замыкается с севера длинным, метров в сто, двухэтажным бревенчатым домом. По середине площади — гранитный обелиск с бюстом Дзержинского. Все это пусто, занесено песком. Ни на площади, ни на шлюзах — ни одной живой души. Я не догадался спросить у капитана дорогу к лагерному пункту, а тут спросить не у кого. Обхожу дамбу, плотины, шлюзы. На шлюзах оказывается есть караульная будка, в которой мирно почивают двое каналохраников. Выясняю, что до лагпункта — версты две лесом, окаймляющим площадь, вероятно, площадь имени Дзержинского.

У оплетенного проволокой входа в лагерь стояло трое ВОХРовцев, очень рваных, но не очень сытых. Здесь же торчала караульная будка, из которой вышел уже не ВОХРовец, а оперативник то есть вольнонаемный чин ГПУ: в длиннополой кавалерийской шинели с сонным и отъевшимся лицом. Я протянул ему свое командировочное удостоверение. Оперативник даже не посмотрел на него: «Да что там, по личности видно, что свой, проходите». Вот так комплимент! Неужели мимикрия моя дошла до такой степени, что всякая сволочь по одной личности признает меня своим.

Я прошел за ограду лагеря и только там понял, в чем заключалась тайна проницательности этого оперативника: у меня не было голодного лица, следовательно, я был своим. Я понял еще одну вещь, что лагеря, как такового, я еще не видал, если не считать 19-го квартала. Я не рубил дров, не копал песку, не вбивал свай в Беломорско-Балтийскую игрушку тов. Сталина. С первых же дней мы все трое

вылезли на лагерную поверхность. И кроме того, Подпорожье было новым с иголки и сверхударным отделением, Медгора же была столицей, а вот здесь, в Водоразделе просто лагерь, не ударный, не новый и не столичный. Покосившиеся и почерневшие бараки, крытые парусиной, корой, какими-то заплатами из толя, жести, и Бог знает, чего еще. Еле вылезавшие из-под земли землянки, крытые дерном. Понурые, землисто бледные люди, которые не то, чтобы ходили, а волокли свои ноги. На людях несусветная рвань, большей частью собственная, а не казенная. Какой-то довольно интеллигентного вида мужчина в чем-то вроде довоенной дамской жакетки, как она сюда попала? Вероятно, писал домой: пришлите хоть что-нибудь, замерзаю. Вот и прислали то, что на дне семейного сундука еще осталось после раскулачивания и грабежей за полной ненужностью властям предреждающим. Большинство лагерников в лаптях. У некоторых еще проще — ноги обернуты какими-то тряпками и обвязаны мочальными жгутами.

Я поймал себя на том, что глядя на все это, я сам стал не идти, а тоже волочить ноги. Нет, дальше я не поеду. Ни в Сегежу, ни в Кемь, ни даже в Мурманск — к чертовой матери. Мало ли я видал гнусности на своем веку! На сто нормальных жизней хватило бы. И на мою хватит. Что-то было засасывающее, угнетающее в этом пейзаже голода, нищеты и забитости. Медгора показалась домом, уютным и своим. Все в мире относительно.

В штабе я разыскал начальника лагпункта — желчного взъерошенного и очумелого маленького человечка, который сразу дал мне понять, что ни на копейку не верит в то, что я приехал в это полукладбище с целью выискивать среди этих полуживых людей чемпионов для моей спартакиады. Тон у начальника лагпункта был почтительный и чуть-чуть иронический: знаем мы вас, на соломе не поведете, знаем, какие у вас в самом деле поручения.

Настаивать на спортивных целях моей поездки было бы слишком глупо. Мы обменялись многозначительными взглядами. Начальник как-то передернул плечами: «Да еще, вы понимаете, после здешнего восстания».

О восстании я не слыхал ничего; даром что находился в самых лагерных верхах. Но этого нельзя было показывать. Если бы я показал, что о восстании я ничего не знаю, я этим самым отделил бы себя от привилегированной категории «своих людей». Я издал несколько невразумительно сочувствующих фраз. Начальнику лагпункта не то хотелось поделиться хоть с кем-нибудь, не то показалось целесообразным подчеркнуть передо мною, «центральным работником», сложность и тяжесть своего положения. Выяснилось, что три недели

тому назад на лагпункте вспыхнуло восстание. Изрубили ВОХР, разорвали в клочки начальника лагпункта, предшественника моего собеседника и двинулись на Повенец. Стоявший в Повенце 51 стрелковый полк ГПУ загнал восставших в болото, где большая часть их погибла. Оставшихся и сдавшихся в плен водворили на прежнее место, кое-кого расстреляли, кое-кого угнали дальше на север, сюда же перебросили людей из Сегежи и Кеми. Начальник лагпункта не питал никаких иллюзий, ухлопают и его, быть может и не в порядке восстания, а так просто из-за угла.

— Так что вы понимаете, товарищ; какая наша положения. Положения критическая и даже, правду говоря, вовсе хреновая. Ходят эти мужики, а что они думают — всем известно. Которые, так те еще в лесу оставшись. Напали на лесорубочную бригаду, охрану изрубили и съели.

— То есть, как так, съели?

— Да так просто. Порезали на куски и с собою забрали. А потом наши патрули по следу шли, нашли кострище да кости. Что им больше в лесу есть-то?

Так, значит. Общественное питание в стране строящегося социализма. Дожили, о Господи! Нет, нужно обратно в Медгору. Там хоть людей не едят.

Я пообедал в вольнонаемной столовой, попытался было походить по лагпункту, но не выдержал. Деваться было решительно некуда. Узнал, что моторка идет в три часа утра назад. Что делать с собою в эти остающиеся 15 часов? Мои размышления прервал начальник лагпункта, проходивший мимо.

— А то поехали бы на участок, как у нас там лесные работы идут.

Это была неплохая идея. Но на чем поехать? Оказывается, начальник может дать мне верховую лошадь. Ездить верхом я не умею, но до участка верст восемь. Как-нибудь доеду.

Через полчаса к крыльцу штаба подвели оседланную клячу. Кляча стала, растопырив ноги во все четыре стороны и уныло повесив голову. Я довольно лихо сел в седло, дернул поводьями. Нуу! Никакого результата. Стал колотить каблуками. Какой-то из штабных активистов подал мне хворостину. Ни каблуки, ни хворостина не произвели на клячу ровно никакого впечатления.

— Не кормленная она, — сказал активист. — Вот и иттить не хочет. Мы ее сейчас разойдем.

Активист услужливо взял клячу под узцы и поволок. Кляча шла. Я изображал собою не то хана, коня которого ведет под узцы великий визирь, не то просто олуха. Лагерники смотрели на это умильное зрелище и потихоньку зубоскалили. Так выехал я за ограду лагеря и проехал еще около версты. Тут моя тягловая сила забастовала окончательно. Стала на дороге все в той же понуро-растопыренной позе и перестала обращать на меня внимание. Я попытался прибегнуть кое к каким ухищрениям. Слез с седла, стал тащить клячу за собой. Кляча пошла. Потом стал идти с нею рядом. Кляча шла. Потом на ходу вскочил в седло. Кляча стала. Я понял, что мне оставалось одно — тянуть своего буцефала обратно на лагпункт. Но что делать на лагпункте?

Кляча занялась пощипывакием тощего карельского мха и редкой моховой травы. Я сел на придорожном камне, закурил папиросу и окончательно решил, что никуда дальше на север я не поеду. Успенскому что-нибудь сокру. Конечно, это слегка малодушно, но еще две недели пилить свои нервы и свою совесть зрелищем этой бескрайней нищеты и забитости? Нет, Бог с ним. Да и стало беспокоило за Юру. Мало ли что может случиться с этой спартакиадой. И если что случится, сумеет ли Юра выкрутиться. Нет, с ближайшей же моторкой вернусь в Медгору.

Из-за поворота тропинки послышались голоса. Показалась колонна лесорубов человек полсотни под довольно сильным ВОХРовским конвоем. Люди были такими же истощенными, как моя кляча и так же, как она, еле шли, спотыкаясь, волоча ноги и почти не глядя ни на что по сторонам. Один из конвоиров, поняв по неголодному лицу моему, что — я начальство, лихо откозырнул мне. Кое-кто из лагерников бросил на меня равнодушно-враждебный взгляд, и колонна этакой погребальной процессией прошла мимо. Мне она напомнила еще одну колонну.

...Летом 1921 года я с женой и Юрой сидел в одесской чрезвычайке. Техника «высшей меры» тогда была организована так. Три раза в неделю около часу дня к тюрьме подъезжал окруженный кавалерийским конвоем грузовик брать на расстрел. Кого именно будут брать, не знал никто. Чудовишной тягостью ложились на душу кинуты, час-полтора, пока не лягала дверь камеры, не появлялся вестник смерти и не выкликал. Васильев. Иванов. Петров. На букве «С» тупо замирало сердце. Трофимов. Ну, значит, еще не меня. Голод имеет свои преимущества. Без голода этой пытки душа долго не выдержала бы.

Из окон нашей камеры была видна улица. Однажды на ней появился не один, а целых три грузовика, окруженные целым эскадром кавалерии. Минуты проходили особенно тяжело. Но вестник смерти не появлялся. Нас выпустили на прогулку во двор, огороженный от

входного двора тюрьмы воротами из проржавленного волнистого железа. В железе были дыры. Я посмотрел.

В полном и абсолютном молчании там стояла выстроенная прямоугольником толпа молодежи человек 80. Выяснилось впоследствии по спискам расстрелянных, оказалось 83 человека. Большинство было в пестрых украинских рубахах, девчата были в лентах и монистах. Это была украинская просвита, захваченная на какой-то «вечорнице». Самым страшным в этой толпе было ее полное молчание. Ни звука, ни всхлипывания. Толпу окружало десятков шесть чекистов, стоявших у стен двора с наганами к прочим в руках. К завтрашнему утру эти только что начинающие жить юноши и девушки превратятся в груды человеческого мяса. Перед глазами пошли красные круги.

Сейчас, 13 лет спустя, эта картина была так трагически ярка, как если бы я видел ее не в воспоминаниях, а в действительности. Только что прошедшая толпа лесорубов была в сущности такой же обреченной, как и украинская молодежь во дворе одесской тюрьмы. Да, нужно бежать. Дальше на север я не поеду. Нужно возвращаться в Медгору и все силы, нервы, мозги вложить в наш побег. Я взял под узцы свою клячу и поволок ее обратно на лагпункт. Навстречу мне по лагерной улице шел какой-то мужичонка с пилой в руках, остановился, посмотрел на клячу и на меня и сказал: «Доехали, так его...» Да, действительно доехали.

Начальник лагпункта предложил мне другую лошадь, впрочем, без ручательства, что она будет лучше первой. Я отказался: нужно ехать дальше. «Так моторка же только через день на север пойдет». «Я вернусь в Медгору и поеду по железной дороге». Начальник лагпункта посмотрел на меня подозрительно и испуганно.

Было около 6 часов вечера. До отхода моторки на юг оставалось еще 9 часов, но не было сил оставаться на лагпункте. Я взял свой рюкзак и пошел на пристань. Огромная площадь была пуста по-прежнему, в затоне не было ни щепочки. Пронизывающий ветер развеивал по ветру привешенные на триумфальных арках красные полотнища. С этих полотнищ на занесенную песком безлюдную площадь и на мелкую рябь мертвого затона изливался энтузиазм лозунгов о строительстве, о перековке и о чекистских методах труда.

Широкая дамба-плотина шла к шлюзам. У берега дамбу уже подмывали подпочвенные воды, гигантские ряжи выперли и покосились, дорога, проложенная по верху дамбы, осела ямами и промоинами. Я пошел на шлюзы. Сонный каналоохранник боком посмотрел на меня из окна своей караулки, но ничего не сказал. У шлюзных ворот стояла будочка с механизмами, но в будочке не было никого. Сквозь щели в шлюзных воротах звонко лились струйки воды. От шлюзов дальше к

северу шло все то же полотно канала, местами прибрежные болотца переливались через края набережной и намывали у берега кучи облицовочных булыжников. И это у самого Водораздела! Что же делается дальше на север? Видно было, что канал уже удирал. Не успели затухнуть огненные языки энтузиазма, не успели еще догнать в карельских трясилах передовики чекистских методов труда, возможно даже, что последние эшелоны беломорстроевцев не успели еще доехать до БАМа, здесь уже началось запустение и умирание.

И мне показалось: вот, если стать спиной к северу, то впереди окажется почти вся Россия «От хладных финских скал» от Кремля, превращенного в укрепленный замок средневековых завоевателей и дальше до Днепростроя, Криворожья, Донбасса, до прокладки шоссе над стремнинами Ингуна (Сванетия), оросительных работ на Чу и Вахше и еще дальше по Турксибу на Караганду, Магнитогорск — всюду энтузиазм, стройка, темпы, «выполнение и перевыполнение», и потом надо всем этим мертвое молчание.

Один из моих многочисленных и весьма разнообразных приятелей, передовик «Известий», отстаивал такую точку зрения: власть грабит нас до копейки, из каждого ограбленного рубля девяносто копеек пропадает впустую, но на гривенник власть все-таки что-то строит. Тогда, это было в 1930 году, насчет гривенника я не спорил. Да, на гривенник, может быть и остается. Сейчас, в 1934 году да еще на Беломорско-Балтийском канале, я усомнился даже и насчет гривенника. Больше того, этот гривенник правильнее брать со знаком минус: Беломорско-Балтийский канал точно так же, как Турксиб, как сталинградский тракторный, как многое другое — это пока не приобретение для страны, это дальнейшие потери крови на поддержание ненужных гигантов и на продолжение ненужных производств. Сколько еще денег и жизней будет еще сосать этот заваливающийся канал!

Вечерело. Я пошел к пристани. Там не было никого. Я улегся на песке, достал из рюкзака одеяло, покрылся им и постарался вздремнуть. Но сырой и холодный ветер с северо-востока, с затона, холодил ноги и спину, забирался в мельчайшие щели одежды. Я сделал так, как делают на пляжах, нагреб на себя песок, согрелся и уснул.

Проснулся я от грубого окрика. На бледно-зеленом фоне черного неба вырисовывались фигуры трех ВОХРовцев с винтовками на изготовку. В руках одного был керосиновый фонарик.

— А ну, какого черта ты тут разлежся?

Я молча достал свое командировочное удостоверение и протянул его ближайшему ВОХРовцу. Мандат на поездку до Мурманска и подпись Успенского умячили ВОХРовский тон:

— Так чего же вы, товарищ, тут легли? Пошли бы в гостиницу?

— Какую гостиницу?

— Да, вот в энту. — ВОХРовец показал на длинное стометровое здание, замыкавшее площадь с севера.

— Да я моторку жду.

— А когда она еще будет. Может, завтра, а может и послезавтра. Ну, вам там в гостинице скажут.

Я поблагодарив, стряхнул песок со своего одеяла и побрел в гостиницу. Два ряда ее слепых и наполовину выбитых окон смотрели на площадь сумрачно и негостеприимно. Я долго стучал в дверь. Наконец, ко мне вышла какая-то баба в лагерном бушлате.

— Места есть?

— Есть места, есть. Один только постоялец и живет сейчас. Я туда вас и отведу, лампа-то у нас на всю гостиницу одна.

Баба ввела меня в большую комнату, в которой стояло шесть топчанов, покрытых соломенными матрасами. На одном из них кто-то спал. Чье-то заспанное лицо высунулось из-под одеяла и опять нырнуло вниз.

Я не раздеваясь, лег на грязный матрас и заснул моментально.

Когда я проснулся, моего соседа в комнате уже не было, его вещи, портфель к чемодан, лежали еще здесь. Из коридора слышалось хлопанье воды и сдержанное фырканье. Потом полотенцем растирая грудь и руки, в комнату вошел человек, в котором я узнал товарища Королева.

В 1929-30 годах, когда я был заместителем председателя всесоюзного бюро физкультуры (председатель был липовый). Королев был в том же бюро представителем ЦК комсомола. Группа активистов из того же ЦК комсомола начала кампанию за политизацию физкультуры; об этой кампании я в свое время рассказывал. Политизация, конечно, вела к полному разгрому физкультурного движения; на этот счет ни у кого никаких сомнений не было, в том числе и у инициаторов этой политизации. В качестве инициаторов выдвинулась группа совершенно определенной сволочи, которой на все в мире, кроме собственной карьеры, было решительно наплевать. Впрочем, все эти карьеристы, и весь этот актив имеют некую собственную Немезиду: карьера в случае успеха стоит две копейки, в случае неуспеха кончается низовой работой где-нибудь в особо жизнеопасных местах, а то и концлагерем. Так случилось и с данной группой.

Но в те времена, это было, кажется, в конце 1929 года, активисты выиграли свой бой. Из 20 членов бюро физкультуры против этой группы боролись только два человека — я и Королев. Я потому, что физкультура нужна для того, чтобы задержать ход физического вырождения молодежи; Королев потому, что физкультура нужна для поднятия боеспособности будущих бойцов мировой революции. Цели были разные, но дорога до поры до времени была одна. Так в нынешней России совмещаются казалось бы несовместимые вещи; русский инженер строит Челябинский тракторный завод в надежде, что продукция завода пойдет на нужды русского народа, коммунист строит тот же завод с несколько более сложным расчетом: его продукция будет пока что обслуживать нужды российской базы мировой революции до того момента, когда на 40.000 ежегодно выпускаемых машин будет надето 40.000 бронированных капотов, поставлены пулеметы, и сорок тысяч танков, импровизированных, но все же сорок тысяч, пойдут организовывать раскулачивание и ГПУ в Польше, Финляндии и где-нибудь еще; словом, пойдут раздувать мировой пожар-мировой пожар крови...

Так в другой, менее важной и менее заметной области действовал и я. Я организую спорт, русский или советский, как хотите. В том числе и стрелковый спорт. Как будут использованы результаты моей работы? Для народа? Для углубления революции в одной стране? Для перерастания российской революции в мировую? Я этого не знал, да говоря честно, не знаю и до сих пор. Вопрос будет решен в какой-то последний, самый последний момент. И колоссальные силы, аккумулированные на командных высотах, ныне экономически не производительных, будут брошены или на огромный, доселе не виданный подъем страны или на огромный, тоже доселе не виданный, мировой кабак.

Хвастаться тут нечего и нечем. То, что я сделал для спорта, а сделал многое, до настоящего момента используется по линии углубления революции. Мои стадионы, спортивные парки и прочее попали в руки Динамо. Следовательно, на них тренируются Якименки, Радецкие, Успенские. Следовательно, объективно, вне зависимости от добрых или недобрых намерений моих, результаты моей работы, пусть и в незначительной степени, укрепляют тот меч пролетарской диктатуры, от которого стоном стонет вся наша страна.

Но в 1929 году у меня были еще иллюзии, трудно человеку обойтись без иллюзий. Поэтому Королев, который нашел в себе мужество пойти против актива ЦК комсомола, стал моим соратником и попутчиком. Мы потерпели полное поражение. Я, как незаменимый спец,

выскочил из этой перепалки без особого членовредительства, я уже рассказывал, как это произошло. Королев, партийный работник, заменимый, как стандартизованная деталь фордовского автомобиля, исчез с горизонта. Потом в ВЦСПС приходила жена его и просила заступиться за ее нищую жилплощадь, из которой ее с ребенком выбрасывали на улицу. От, нее я узнал, что Королев переброшен куда-то в низовку. С тех пор прошло пять лет, и вот я встречаю Королева в Водораздельском отделе ББК ГПУ.

ПОБЕДИТЕЛИ

Так мы с горестно-ироническим недоумением осмотрели друг друга: я приподнявшись на локте на своем соломенном ложе, Королев несколько растерянно опустив свое полотенце. Тридцатилетнее лицо Королева, как всегда чисто выбритое, обогатилось рядом суровых морщинок, а на висках серебрилась седина.

— Все дороги ведут в Рим, — усмехнулся я.

Королев вздохнул, пожал плечами и протянул мне руку.

— Я читал твою фамилию в «Перековке». Думал, что это твой брат. Как ты попал?

Я коротко рассказал слегка видоизмененную историю моего ареста, конечно, безо всякого упоминания о том, что мы были арестованы за попытку побега. Королев так же коротко и еще менее охотно рассказал мне свою историю, вероятно, тоже несколько видоизмененную по сравнению с голой истиной. За сопротивление политизации физкультуры его вышибли из ЦК комсомола, послали на север Урала вести культурно просветительную работу в какой-то колонии беспризорников. Беспризорники ткнули его ножом. Отлежавшись в больнице, Королев был переброшен на хлебозаготовки в республику немцев Поволжья. Там ему прострелили ногу. После выздоровления Королев очутился на Украине по делам о разгроме украинских самостийников. Как именно шел этот разгром, Королев предпочел не рассказывать, но в результате его Королеву припаяли примиренчество и отсутствие классовой бдительности; это обвинение грозило исключением из партии.

Для людей партийно-комсомольского типа исключение из партии является чем-то средним между гражданской смертью и просто смертью. Партийная, комсомольская, профсоюзная и прочая работа является их единственной специальностью. Исключение из партии закрывает какую бы то ни было возможность работать по этой специальности, не говоря уже о том, что оно рвет все наладившиеся общественные связи. Человек оказывается выкинутым из правящего

слоя, или, если хотите, из правящей банды; и ему нет никакого хода к тем, которыми он вчера управлял. Получается нечто вроде ауткаст или, по-русски, ни пава, ни ворона. Остается идти в приказчики или в чернорабочие, и каждый сотоварищ по новой работе будет говорить: ага, так тебе, сукиному сыну и надо. По естественному ходу событий такой ауткаст будет стараться выслужиться, загладить свою вину перед партией и снова попасть в прежнюю среду. Но не огражденный от массы ни наличием нагана, ни круговой порукой правящей банды, не много он имеет шансов пройти сей тернистый путь и остаться в живых. Вот почему многие из исключенных из партии предпочитают более простой выход из положения пулю в лоб из нагана, пока этого нагана не отобрали вместе с партбилетом.

Но от отсутствия классовой бдительности Королев как-то отделался и попал сюда в ББК на партийно-массовую работу; есть и такая. Ездит человек по всяким партийным ячейкам и контролирует политическое воспитание членов партии, прохождений или марксистско-сталинской учебы, влияние ячейки на окружающие беспартийные массы. В условиях ББК, где не то, что партийных, а просто вольнонаемных было полтора человека на отделение, эта работа была совершеннейшим вздором, о чем я и сказал Королеву. Королев иронически усмехнулся:

— Не хуже твоей спартакиады.

— В качестве халтуры спартакиада придумана совсем не так глупо.

— Я и не говорю, что глупо. Моя работа тоже не так глупа, — как может показаться. Вот приехал сюда выяснять, чем было вызвано восстание.

— Тут и выяснять нечего.

Королев надел на себя рубаху и стал напяливать свою сбрую — пояс и ремень с наганом.

— Надо выяснять. Не везде же идут восстания. Головка отделения разворовала фонды питания. Вот заключенные и полезли на стенку.

— И за это их отправили на тот свет.

— Ничего не поделаешь. Авторитет власти. У заключенных были другие способы обжаловать действия администрации, — в тоне Королева появились новые для меня административные нотки.

Я недоуменно посмотрел на него и помолчал. Королев передернул плечами, неуверенно, как бы оправдываясь.

— Ты начинаешь говорить, как передовица из «Перековки». Ты вот в Москве, будучи в ЦК комсомола, попытался обжаловать действия — что вышло?

— Ничего не поделаешь, революционная дисциплина. Мы не вправе спрашивать руководство партии, зачем оно делает то или это. Тут, как на войне. Приказывают — делай. А зачем — не наше дело.

В Москве Королев в таком тоне не разговаривал. Какие бы у него там ни были точки зрения, он их отстаивал. По-видимому, низовая работа нелегко ему далась. Снова помолчали.

— Знаешь, что? — сказал Королев. — Бросим эти разговоры. Я знаю, что ты мне можешь сказать. Вот канал этот идиотски построили. Все идет несколько хуже, чем думали. А все-таки идет. И нам приходится идти. Хочешь — иди добровольно. Не хочешь — силой потянут. Что тут и говорить, — морщины на лице Королева стали глубже и суровее. — Ты мне лучше скажи, как ты сам думаешь устраиваться здесь.

Я коротко рассказал более или менее правдоподобную теорию моего дальнейшего устройства в лагере — этого устройства мне оставалось уже меньше месяца. Королев кивал головой одобрительно.

— Главное, твоего сына надо вытащить. Приеду в Медгору — поговорю с Успенским. Надо бы ему к осени отсюда изъяться. А тебя, если проведешь спартакиаду, устроим инструктором в Гулаге. Во всесоюзном масштабе будешь работать.

— Я пробовал и во всесоюзном.

— Ну, что делать? Зря мы тогда с тобой сорвались. Нужно бы политичнее. Вот, пять лет верчусь, как навоз в проруби. Понимаешь, жену жилищной площади в Москве лишили. Вот это уж свинство.

— Почему же ты ее сюда не выпишешь?

— Сюда? Да я и недели на одном месте не сижу. Все в разъездах. Да и не нужно ей всего этого видеть.

— Никому этого не нужно видеть.

— Неправильно. Коммунисты должны это видеть. Обязательно видеть. Чтобы знать, как оплачивается эта борьба. Чтобы умели жертвовать не только другими, а и собой. Да ты не смейся, смеяться тут нечего. Вот пустили, сволочи, пятьдесят первый полк на усмирение этого лагпункта — это уж преступление.

— Почему преступление?

— Нужно было мобилизовать коммунистов из Медгоры, Петрозаводска. Нельзя пускать армию.

— Так ведь это же войска ГПУ.

— Да, войска ГПУ, но все-таки не коммунисты. Теперь в полку брожение. Один комроты уже убит. Еще одно такое подавление — и черт его знает, куда полк пойдет. Раз мы за это взялись, на своих плечах и выносить нужно. Начали идти — нужно идти до конца.

— Куда идти?

— К социализму. — в голосе Королева была искусственная и усталая уверенность. Он не глядя на меня, стал собирать свои вещи.

— Скажи мне, где тебя найти в Медгоре. Я в начале августа буду там.

Я сказал, как меня можно будет найти и не сказал, что в начале августа меня ни в лагере, ни вообще в СССР найти по всей вероятности будет невозможно. Мы вместе вышли из гостиницы. Королев навьючил свой чемодан себе на плечо.

— А хорошо бы сейчас в Москву, — сказал он на прощание, — Совсем тут одичаешь и отупеешь.

Для одичания и отупения тут был полный простор. Впрочем, этих возможностей было достаточно и в Москве. Но я не хотел возобновлять дискуссию, которая была и бесцельна и бесперспективна. Мы распрощались. Представитель правящей партии уныло поплелся к лагпункту, согнувшись под своим чемоданом и сильно прихрамывая на правую ногу. Низовая работа сломала парня и физически и морально.

...Моторка уже стояла у пристани, и в ней кроме меня опять не было ни одного пассажира. Капитан снова предложил мне место в своей кабинке и только попросил не разговаривать: заговорюсь опять и на что-нибудь напоремся. Но мне и не хотелось разговаривать. Может быть, откуда-то из перспективы веков все это и примет какой-нибудь смысл, особенно для людей, склонных доискиваться смысла во всякой бессмыслице. Может быть тогда все то, что сейчас делается в России, найдет свой смысл, уложится на соответствующую классификационную полочку и успокоит чью-то не очень уж метущуюся совесть. Тогда историки определят место российской революции в общем ходе человеческого прогресса, как они определили место татарского нашествия, альбгойских войн, святошей инквизиции, как они весьма вероятно найдут место и величайшей бессмыслице мировой войны. Но это еще пока будет, а сейчас, еще не просвещенный светом широких обобщений, видишь, что никто в сущности из всей этой каши ничего не выиграл. И не выиграет. История имеет великое преимущество сбрасывать со счетов все то, что когда-то было живыми людьми, и что сейчас превращается в удобрение для правнуков. Очень вероятно, что и без таких удобрений правнуки жили бы лучше дедов, тем более что и им

грозит опасность превратиться в удобрение опять-таки для каких-то правнуков.

Тов. Королев при его партийной книжке в кармане и при нагане на боку тоже по существу уже перешел в категорию удобрения. Еще он кое-как рыпается и еще говорит душеспасительные слова о жертве или о сотне тысяч жертв для бессмыслицы Беломорско-Балтийского канала. Если бы он несколько более был сведущ в истории, он вероятно козырнул бы дантовскими «Революция — Сатурн, пожирающий своих детей». Но о Сатурне тов. Королев не имеет никакого понятия. Он просто чувствует, что революция жрет своих детей. Впрочем, с одинаковым аппетитом она лопает и своих отцов. Сколько их уцелело, этих отцов и делателей революции? Какой процент груза знаменитого запломбированного вагона может похвастать хотя бы тем, что они в сделанной ими же революции ходят на свободе? И сколько детей революции, энтузиастов, активистов, Королевых, вот так сгорбась и прихрамывая, проходят свои последние безрадостные шаги к могиле в какой-нибудь трясине ББК? И сколько существует в буржуазном мире карьеристов, энтузиастов, протестантов и лоботрясов, которые мечтают о мировой революции или о французской революции, и которых эта революция так же задавит и сгноит, как задавила и сгноила тысячи «отцов» и миллионы «детей» великая российская революция. Это, как рулетка. Люди идут на почти магически верный проигрыш. Но идут. Из миллионов один выигрывает.

Вероятно, выиграл Сталин и еще около десятка человек. Может быть, сотня. А все Королевы, Чекалины, Шацы, Подмоклые... Бессмыслица.

ПОБЕЖДЕННЫЕ

На пустой глади Поневецкого затона, у самых шлюзов стояли две огромные волжского типа баржи. Капитан кивнул в их направление головой:

— Баб с ребятишками привезли. Черт его знает, то их выгружают, то снова на баржи садят. Дня три уж тут маринуют.

— А что это за бабы?

— Да раскулаченные какие-то. Как следует не знаю, не пускают к ним.

Моторка обогнула обе баржи и пристала к бревенчатой набережной. Я распрощался с капитаном и вышел на высокую дамбу. За дамбой была небольшая луговина, покрытая точно цветами, яркими пятнами кумачовых и ситцевых рубах копошившейся на траве детворы,

женских платков и кофт; наваленных тут же добротных «кулацких» сундуков, расписанных пестрыми разводами и окованных жестью. С моей стороны, единственной стороны, откуда эта луговина была окружена водой, угрюмо стояло десятка полтора ВОХРовцев и винтовками. Уже стоял медгорский автобус с тремя пассажирами, в их числе оказались знакомые. Я сдал им на хранение свой рюкзак, достал свои поистине незаменимые папиросы и независимо, закуривая на ходу, прошел через ВОХРовскую цепь. ВОХРовцы покосились, посторонились, но не сказали ничего.

Я поднялся на дамбу. Одна баржа была битком набита тем же пестрым цветником рубах и платков, другая стояла пустой. На обращенном к луговине скате дамбы, где не так пронизывающе дул таежный ветер, сидело на своих сундуках, узлах, мешках несколько десятков баб, окруженных ребятами поменьше. Остальная часть табора расположилась на луговине.

Сорокалетняя баба в плотной ватной кофте и рваных мужицких сапогах сидела на краю в компании какой-то старухи и девочки лет десяти. Я подошел к ней.

— Откуда вы будете?

Баба подняла на меня свое каменное ненавидящее лицо.

— А ты у своих спрашивай. Свои тебе и скажут.

— Вот я у своих и спрашиваю.

Баба посмотрела на меня стой же ненавистью; молча отвернула окаменевшее лицо и уставилась на табор. Старушка оказалась словоохотливее.

— Воронежские мы, родимый. Воронежские. И курские есть, есть и курские, больше вон там на барже. Сидим вот тут на холоду, на ветру, намаялись мы и — Господи! А скажи, родимый, отправлять-то нас когда будут?

— А я, бабушка, не знаю. Я тоже вроде вас, заключенный.

Баба снова повернула ко мне лицо.

— Арестант, значит?

— Да, арестант.

Баба внимательно осмотрела мою кожанку, очки, папиросу и снова отвернулась к табору:

— Этаких мы знаем. Арестанты. Все вы — каторжное семя. При царе не вешали вас.

Старуха испуганно покосилась на бабу и иссохшими птичьими своими руками стала оправлять платочек на головке девочки. Девочка прильнула к старухе, ежась то ли от холода, то ли от страха.

— Третьи сутки вот тут маемся. Хлеба вчера дали по фунту, а сегодня ничего неевши сидим. И наменяли бы где, так солдаты не пускают.

— Наменять тут, бабушка, негде. Все без хлеба сидят.

— Ой грехи, Господи! Ой, грехи!

— Только чьи грехи-то, неизвестно,. — сурово сказала баба, не оборачиваясь ко мне. Старушка с испугом и с состраданием посмотрела на нее.

— Чьи грехи. Господу одному ведомо. Он, Праведный, все рассудит. Горя-то сколько выпито, ай Господи, Боже мой! — старушка закачала головой. — Вот с весны так маемся, ребят-то сколько перемерло, — и снизив свой голос до шепота, как будто рядом сидящая баба ничего не могла услышать, конфиденциально сообщила:

— Вот у бабоньки-то у этой двое померло. Эх, сказывали люди, на миру и смерть красна, а вот ехали мы на барже этой проклятущей, мрут ребяткишки, как мухи, хоронить негде. Так, без панифиды, без христианского погребения. Просто на берег да в яму.

Баба повернулась к старушке: «Молчи уж». Голос ее был озлоблен и глух.

— Почему это вас с весны таскают?

— А кто его знает, родимый. Мужиков-то наших с прошлой осени на высылку послали, нас по весне забрали, к мужикам везут, на поселение то есть, да видно потеряли их, мужиков-то наших. Вот и возют. Там за озером пни мы корчевали, где поставили нас песок копать, а то больше так, на этой барже живем. Хоть бы Бога побоялись, крышу бы какую на барже изделали, а то живем, как звери лесные, под ветром, под дождем. А не слыхал, родимый, куда мужиков-то наших поместили?

Так называемые вольно-ссылные поселения, которыми заведовал колонизационный отдел ББК, тянулись сравнительно узкой полосой, захватывая Повенецкое и Сегежское отделения. Таких поселений было около восьмидесяти. От обычных лагерных пунктов они отличались отсутствием охраны и пайка. ГПУ привозило туда ссыльных крестьян в большинстве случаев с семьями, давало инструмент (топоры, косы, лопаты), по пуду зерна на члена семьи на обзаведение и дальше предоставляло этих мужиков их собственной участи.

Я очень жалею, что мне не пришлось побывать ни в одном из этих поселений. Я видал их только на карте колонизационного отдела в его планах, проектах и даже фотографиях. Но в колонизационном отделе сидела группа интеллигенции того же типа, какая в свое время сидела в свирьском лагере. Я лишен возможности рассказать об этой группе так же, как и о свирьлаговской. Скажу только, что благодаря ее усилиям эти мужики попали в не совсем уж безвыходное положение. Там было много трюков. По совершенно понятным причинам я не могу о них рассказывать даже и с той весьма относительной свободой, с какою я рассказываю о собственных трюках. Чудовищная физическая выносливость и работоспособность этих мужиков, та опора, которую они получали со стороны лагерной интеллигенции, давали этим вольно-ссылным возможность как-то стать на ноги или говоря прозаичнее, не помереть с голоду. Они занимались всякого рода лесными работами, в том числе и по вольному найму для лагеря, ловили рыбу, снабжали ленинградскую кооперацию грибами и ягодами, промышляли силковой охотой и с невероятной быстротой приспособлялись к непривычным для них условиям климата, почвы и труда.

Поэтому я сказал старушке, что самое тяжелое для них уже позади, что ихних мужиков рано или поздно разыщут, и что на новых местах можно будет как-то устраиваться — плохо, но все же будет можно. Старушка вздохнула и перекрестилась.

— Ох уж дал бы Господь. А что плохо будет, так где теперь хорошо? Что там, что здесь, все одно — голод. Земля тут только чужая, холодная земля, что с такой земли возьмешь?

— В этой земле только могилы копать, — сурово сказала баба, не проявившая к моим сообщениям никакого интереса.

— Здесь надо жить не с земли, а с леса. Карельские мужики в старое время богато жили.

— Да нам уж все равно, где жить-то, родимый, абы только жить дали, не мучили бы народ-то. А там хоть в Сибирь, хоть куда. Да разве ж дадут жить. Мне-то, родимый, что. Зажилась я, не прибирает Господь. Кому давно в могилу пора, не берет Господь. А которым жить бы да жить.

— Молчи уж, сколько разов просила тебя, — глухо сказала баба.

— Молчу, молчу, — заторопилась старуха. — А все вот поговорила с человеком — легче стало, вот говорит, не помрем с голоду-то, говорит и здесь люди как-то жили.

У пристани раздался резкий свисток. Я оглянулся. Туда подошла новая группа ВОХРа, человек десять, а во главе ее шел кто-то из начальства.

— А ну, бабы, на баржу грузись. К мужикам своим поедете медовый месяц справлять.

На начальственную шутку никто из ВОХРовцев не улыбнулся. Группа их подошла к нашему биваку.

— А вы кто здесь такой? — подозрительно спросил меня командир.

Я равнодушно поднял на него взгляд.

— Инструктор из Медгоры.

— А, — неопределенно протянул начальник и прошел дальше. — А ну, собирайтесь живо! — покатывался его голос над толпой баб и ребятишек. В толпе послышался детский плач.

— Ужо четвертый раз грузимся. То с баржи, то на баржу. — сказала старушка, суетливо подымаясь. — И чего они думают, прости Господи.

Угрюмый ВОХРовец подошел к ней.

— Ну давай, бабуся, подсоблю.

— Ой, спасибо, родименький, ой спасибо. Все руки понадрывали. Разве бабьей силы хватит.

— Тоже понабирали барахла, камни у тебя ту-то, что ли, — сказал другой ВОХРовец.

— Какие тут камни, родимый. Последнее ведь позабирали, последнее. Скажем, горшок какой, а без него как? Всю жись работали, а вот только и осталось, что на спине вынесли.

— Работали, тоже, — презрительно сказал второй ВОХРовец. — И за работу-то вас в лагерь послали.

Бабка встала со своего сундука и протянула ВОХРовцу свою широкую мозолистую руку.

— Ты на руку-то посмотри. Такие ты у буржуев видал?

— Пошла ты к чертовой матери, — сказал ВОХРовец. — Давай свою скрыню, бери за тот конец.

— Ой спасибо, родименькие, — сказала старушка. — Дай вам, Господи, может, твоей матери кто поможет, вот как ты нам.

ВОХРовец поднял сундук, запнулся за камень.

— Вот, так его, понатыкали сволочи камней, — он со свирепой яростью ткнул камень сапогом и еще раз неистово выругался.

Странная и пестрая толпа баб и детей, всего человек пятьсот, с криками, воем и плачем уже начала переливаться с дамбы на баржу. Плюхнулся в воду какой-то мешок. Какая-то баба неистовым голосом звала какую-то затерявшуюся в толпе Маруську, какую-то бабу столкнули со сходней в воду. ВОХРовцы, кто угрюмо и молча, кто ругаясь и кляня все на свете, то волокли все эти бабьи узлы и сундуки, то стояли истуканами и исподлобья оглядывали этот хаос ГПУского полона.

ПОБЕГ

ОБСТАНОВКА

К Медвежьей Горе я подъезжал с чувством какой-то безотчетной нервной тревоги. Так, по логике тревожиться как будто и нечего, но в нынешней России вообще, а в концлагере в особенности, ощущение безопасности — это редкий и мимолетный сон, развеваемый первым же шумом жизни.

Но в Медвежьей Горе все было спокойно и с моей спартакиадой и с моими физкультурниками и главное, с Юрой. Я снова угнездилился в бараке номер 15, и этот барак после колонии беспризорников, после водораздельского отделения, после ссыльных баб у Повенца, этот барак показался таким отчим домом, куда я, блудный сын, возвращаюсь после скитаний по чужому миру.

До побега нам оставалось 16 дней. Юра был настроен весело и несколько фаталистически. Я был настроен не очень весело и совсем уж не фаталистически, фатализма у меня вообще нет ни на копейку. Наша судьба будет решаться в зависимости не от того, повезет или не повезет, а в зависимости от того, что мы провороним и чего мы не провороним. От наших собственных усилий зависит свести элемент фатума в нашем побеге до какого-то минимума, до процента, который практически может и не приниматься во внимание. На данный момент основная опасность заключалась в том, что третий отдел мог догадываться о злонамеренных наших стремлениях покинуть пышные сады социализма и бежать в бесплодные пустыни буржуазии. Если такие подозрения у него есть, то здесь же в нашем бараке, где-то совсем рядом с нами торчит недреманное око какого-нибудь сексота.

Недреманные очи этой публики никогда особым умом не блещут, и если я это око расшифрую, то я уж как-нибудь обойду его. Поэтому наши последние лагерные дни были посвящены по преимуществу самому пристальному разглядыванию того, что делается в бараке.

Хотелось бы напоследок рассказать о жизни нашего барака. Это был один из наиболее привилегированных барачков лагеря, и жизнь в нем была не хуже жизни привилегированного комсомольского общежития на Сталинградском тракторном, значительно лучше жизни московского студенческого общежития и совсем уж несравненно лучше рабочих

барачников и землянок где-нибудь на новостройках или на торфоразработках.

Барак наш стоял в низинке между управленческим городком и берегом озера, был окружен никогда не просыхавшими лужами и болотами, был умеренно дыряв и населен совсем уж неумеренным количеством клопов.

Публика в бараке была какая-то переходная. Люди прикомандировывались, откомандировывались, приезжали и уезжали; барак был таким же проходным двором, как всякое учреждение, общежитие или предприятие: текучесть кадров. Более или менее стабильным элементом была администрация барака: староста, статистик, двое дневальных и кое-кто из актива; всякого рода тройки — тройка по культурно-просветительной работе, тройка по соцсоревнованию и ударничеству, тройка по борьбе с побегами и прочее. Стабильным элементом были и мы с Юрой. Но мы в бараке занимали совсем особое положение, Мы и приходили и уходили, когда хотели, ночевали то на Вичке, то в бараке, словом; приучали барачную администрацию к нашей, так сказать, экстерриториальности. Но даже и эта экстерриториальность не спасала нас от всех прелестей советской общественной жизни.

Официальный рабочий день начинался в 9 утра и кончался в 11 ночи с трехчасовым перерывом на обед. Для того, чтобы получить талоны на обед и на ; стейк; получить по этим талонам и то и другое, пообедать и вымыть посуду требовались все эти три часа. После одиннадцати наиболее привилегированное сословие лагерников получало еще и ужин, не привилегированное ужина не получало. Во всяком случае, для многопольной общественной деятельности и актива и прочих обитателей лагеря «рабочий день» начинался в 12 ночи. В 12 или в половине первого председатель нашей культтройки громко объявляет.

— Товарищи, сейчас будет доклад тов. Солоневича о работе московского автозавода.

Активисты устремляются к нам подымать уже уснувших обитателей барака. Тов. Солоневич слезит с нар и проклиная свою судьбу, доклады, культработу и активистов, честно старается вложить в 10-15 минут все, что полагается сказать об АМО. Но это тов. Солоневича, конечно и не думает слушать, кроме разве актива. Сонные лица маячат над нарами, босые ноги свешиваются с нар. Доклад кончен. Вопросы есть? Какие там вопросы, людям скорее бы заснуть. Но культтройка хочет проявить активность. «А скажите, тов докладчик, как на заводе поставлено рабочее изобретательство? Ох, еще три минуты. Сказал. «А скажите, тов. докладчик...»

Но тов. Солоневич политического капитала зарабатывать не собирается, и сокращение срока заключения его никак не интересует. По этому на третий вопрос тов. Солоневич отвечает;

«Не знаю; все, что знал, рассказал; А какой-нибудь докладчик из бывших комсомольцев или коммунистов тему «Революционный подъем среди народов Востока» будет размусоливать часа два — три. Революционного подъема на востоке лагерникам как раз и не хватало особенно ночью.

Всеми этими культурно-просветительными мероприятиями заведывал в нашем бараке пожилой петербургский бухгалтер со сладкой фамилией Анютин, толстовец, вегетарианец и человек бестолковый. У меня относительно него было два предположения. Первое, он действует, как действует большинство лагерного актива в нелепом расчете на честность власти, на то, что она сдерживает свои обещания; он пять лет будет из кожи лезть вон, надрываться на работе, на бессонных ночах, проведенных за расписыванием никому не нужной стенгазеты, составлением планов и отчетов по культработе и прочее, и за это за все ему из семи лет его срока два года скинут. Расчет этот неправилен ни с какой стороны. За эти пять лет он очень рискует получить прибавку к своему основному сроку за какой-нибудь допущенный им идеологический перегиб или недогиб. За эти же пять лет, если он все время будет из кожи лезть вон, он станет окончательным инвалидом, и тогда, только тогда власть отпустит его на волю помирать, где ему вздумается. И наконец, сокращение срока добывается вовсе нечестным социалистическим трудом, а исключительно большим или меньшим запасом изворотливости и сообразительности. Этими пороками Анютин не страдал. Вся его игра была совсем впустую. И поэтому возникало второе предположение — Анютин неким образом прикомандирован в барак для специального наблюдения за мною и Юрой. Ни мне, ни Юре он со своей культработой не давал никакого житья. Я долгое время и с большим беспокойством присматривался к Анютину, пока на субботниках (в лагере называют «ударниках») не выяснил с почти окончательной уверенностью, что Анютиным двигают бестолковость и суетливость — отличительные свойства всякого активиста; без суетливости туда не пролезешь, а при наличии хоть некоторой толковости туда и лезть незачем.

В свой план работы Анютин всадил и такой пункт: разбить цветники у нашего барака. Вот поистине одних цветов нам не хватало для полноты нашей красивой жизни. Уж хоть картошку бы предложил посадить.

Субботник или ударник — это работа, выполняемая в порядке общественной нагрузки в свободное время. В лагере это свободное время бывает только в выходные дни. Три выходных дня 70 человек нашего барака ковырялись над пятью грядками для будущих цветов. Здесь я наблюдал социалистический труд в крайнем выражении своего великолепия, работы там было одному человеку на день-полтора. Но ввиду полной бессмысленности всей этой затеи люди работали, как дохлые мухи. Лопат не хватало. Порядка не было. И когда в 210 рабочих дней было сделано пять грядок, то выяснилось, что цветочных семян нет и в заводе. Время же для посадки картошки было слишком позднее. И тогда я сказал Анютину: «Ну уж теперь-то я продерну вас в «Перековке» за бесхозьяственную — растрату 210 рабочих дней». Анютин перепугался смертельно, и это меня успокоило. Если бы он был сексотом, то ни «Перековки», ни бесхозьяственности бояться ему было бы нечего.

Впрочем, несмотря на свою активность, а может быть и вследствие ее, Анютин скоро попал в Шизо: вышел погулять за пределы лагерной черты и напоролся на какого-то активиста из ВОХРовцев. Анютин попал в одну камеру с группой туломских инженеров, которые еще зимой задумали бежать в Финляндию и уже около полугода ждали расстрела. Их жены были арестованы в Петербурге и Москве; и шло следствие, не оказывали ли они своим мужьям помощи в деле подготовки побега. Инженеров было, кажется, 6 или 7 человек. Люди по всей вероятности были неглупые, и их судьба висела над нами каким-то страшным предостережением.

Помню, что когда-то около этого времени ярким летним днем я сидел в густом почти бараке. Ко мне подошел Юра и протянул номер «Правды»:

— Хочешь полюбопытствовать? — в голосе его было что-то чуть-чуть насмешливое. Он показал мне кем-то отчеркнутое красным карандашом «Постановление Совнаркома СССР». В нем было: За попытку побега за границу — объявление вне закона и безусловный расстрел; для военных — тот же расстрел и ссылка семьи в отдаленнейшие места союза.

Мы посмотрели друг на друга.

— Подумаешь, напугали, — сказал Юра.

— Не меняет положения, — сказал я.

— Я думаю, — Юра презрительно пожал плечами.

Вообще, об этом постановлении у нас с Юрой никакого обмена мнений не было. наших планов оно действительно ни в какой степени не

меняло. Но потом я не раз думал о том, какое свидетельство о бедности выдала советская власть и себе и своей армии и своему строю.

Представьте себе любое в мире правительство, которое в мирное время объявило бы всему свету: для того, чтобы поддерживать на должном уровне патриотизм командного состава нашей армии, мы будем расстреливать тех офицеров, которые попытаются оставить подвластную нам страну и ссылать в отдаленнейшие места, то есть на верную смерть, их семьи. Что стали бы говорить о патриотизме французской армии, если бы французское правительство пустило бы в мир такую позорную угрозу!

А эта угроза была сделана всерьез. Большевики не очень серьезно относятся к своим обещаниям, но свои угрозы они по мере технической возможности выполняют и перевыполняют. Эта угроза ни в какой степени не меняла наших намерений и планов, но она могла указывать на какой-то крупный побег, по всей вероятности по военной линии и следовательно на усиление сыска и охраны границ. снова стало мерещиться недреманное око: снова стали чудиться сексоты во всех окружающих.

И в эти дни в нашем бараке появился новый дневальный; я не помню сейчас его фамилии. Вместе с ним в нашем бараке поселились и двое его детей — девочка лет десяти и мальчик лет семи. Юра, как великий специалист в деле возни со всякого рода детворой, вошел с этими детишками в самую тесную дружбу. Детей этих подкармливал весь барак. На них пайка не полагалась. Я же время от времени ловил на себе взгляд дневального, мрачный и пронзительный, как будто этим взглядом дневальный хотел докопаться до самой сущности моей, до самых моих сокровенных мыслей. Становилось жутковато. Я перебирал в памяти все слова, интонации, жесты Подмоклого, Гольмана, Успенского. Нет, ничего подозрительного. Но ведь эта публика, при ее квалификации, никакого подозрения ни одним жестом не вызовет. А этот нехитрый мужичонко приставлен следить; следит неумело, но слежка есть: как воровато отводит он глаза в сторону, когда я ловлю его настороженный взгляд. Да, слежка есть. Что делать?

Бежать сейчас же — значит подвести Бориса. Написать ему? Но если за нами есть слежка, то никакого письма Борис просто напросто не получит. Нужно было придумать какой-то резкий, ни для кого неожиданный поворот от всех наших планов, резкий бросок в какую-то никем не предвиденную сторону. Но в какую сторону? Был начерно придуман такой план. Юра идет в лес к нашему продовольственному складу. Я увязываюсь с динамовцами покататься по озеру на моторной лодке, обычно на этой лодке двое чинов третьего

отдела выезжали на рыбную ловлю. Подманно их к берегу против нашего склада, ликвидирую обоих и попаду к Юре и к складу в момент, которого третий отдел предвидеть не сможет и с оружием, взятым у ликвидированных чекистов. Потом мы двигаемся на моторке на юг и не доезжая устья реки Суны, высаживаемся на берег в уже знакомых нам по моей разведке и по нашему первому побегу местах. Весь этот план висел на волоске. Но другого пока не было. Стали строить и другие планы. Наше строительство было прервано двумя вещами.

Первая — это было письмо Бориса. Из Свирьского лагеря приехал некий дядя, разыскал меня в бараке, начал говорить о пятом и о десятом, оставляя меня в тревожном недоумении относительно смысла и цели этих нелепых разорванных фраз, ускользающей тематики, беспокойного блеска в глазах. Потом мы вышли из барака на свет Божий, дядя всмотрелся в меня и облегченно вздохнул: «Ну, теперь я и без документов вижу, что вы брат Бориса Лукьяновича». Мы оба очень похожи друг на друга, и посторонние люди нас часто путают. Человек достал из двойной стенки берестяной табакерки маленькую записочку.

— Вы пока прочтите, а я в сторонке посижу.

Записка была оптимистична и лаконична. В ней за обычным письмом наш старинный нехитрый, но достаточно остроумный и ни разу чекистами не расшифрованный шифр. Из шифрованной части записки явствовало: дата побега остается прежней, никак не раньше и не позже. До этой даты оставалось не то восемь, него девять дней. Изменить ее для Бориса технически было уже невозможно, разве какая-нибудь уж очень счастливая случайность. Из расспросов выяснилось: Борис работает начальником санитарной части. Это должность, на которой человеку нет покоя ни днем, ни ночью, его требуют все и во все стороны, и побег Бориса будет обнаружен через несколько часов; вот почему Борис так настойчиво указывает на жесткий срок: 12 часов 28 июля. В остальном у Бориса все в порядке, сыт, тренирован, посылки получает, настроение оптимистическое и энергичное.

Уже потом здесь, в Гельсингфорсе, я узнал, как и почему Борис попал из Подпорожья в Лодейное Поле. Из его санитарного городка для слабосильных, выздоравливающих и инвалидов ничего не вышло. Этот городок постепенно вовсе перестали кормить, тысячи людей вымерли, остальных куда-то раскассировали; Бориса перевели в Лодейное Поле, столицу Свирского лагеря. Стало тревожно за Бориса: побег из Лодейного Поля был значительно труднее побега из Подпорожья: нужно будет идти из крупного лагерного центра, как-то переправиться через Свирь, идти по очень населенной местности, имея в запасе очень немного часов, свободных от преследования. Это в частности значило, что какой-

то план Борисом уже разработан до мельчайших деталей, и всякое изменение срока могло бы перевернуть вверх дном все его планы и всю его подготовку. Что делать?

Мои мучительные размышления были прерваны самим дневальным.

Как-то днем я пришел в наш барак. Он был абсолютно пуст. Только у дверей сидел в понурой позе наш дневальный. Он посмотрел на меня уж совсем пронизывающим взором. Я даже поежился — вот, сукин сын.

Думал выпить чаю. Кипятку не было. Я вышел из барака и спросил дневального, когда будет кипяток.

— Да я сейчас сбегаю и принесу.

— Да зачем же вам, я сам могу пойти.

— Нет, уж разрешите мне, потому как и у меня к вам просьба есть.

— Какая просьба?

— Да уж я вам после.

Дневальный принес кипяток. Я достал из нашего «неприказа», неприкосновенного запаса для побега, два куса сахара. Налили чайку.

Дневальный вдруг встал из-за стола, пошел к своим нарам, что-то поковырялся там и принес мне помятое, измазанное письмо в конверте из оберточной бумаги.

— Это от жены моей. А сам я неграмотный. Никому не показывал. Совестно и показывать. Ну, должно в цензуре прочли. Так уж я к вам, как к попу, прочитайте, что тут есть написанное.

— Так чего же вы стесняетесь, если не знаете, что тут написано?

— Знать-то я не знаю, а догадка есть. Уж вы прочитайте. Только что б, как на исповеди, никому не говорить.

Прочитать было трудно. Не думаю, чтобы и в цензуре у кого-нибудь хватило терпения прочитать это странное, измазанное, расплывшимися на ноздреватой бумаге каракулями письмо. Передать его стиль невозможно. Трудно вспомнить этот странный переплет условностей сельской вежливости, деталей колхозной жизни, блесков личной трагедии авторши письма, тревоги за детей, которые остались при ней и за детей, которые поехали кормиться к мужу в концлагерь и прочего. Положение же дел сводилось к следующему.

Председатель колхоза долго и упорно подъезжал к жене моего дневального. Дневальный застал его в сарае на попытке изнасилования и

председатель колхоза был избит. За террористический акт против представителя власти дневального послали на десять лет в концлагерь. Четыре он уже просидел здесь. Посылал жене сухари, не съедал своего пайкового сахара, продавал свою пайковую махорку. Из шести оставшихся на воле детей двое все-таки умерло. Кто-то из сердобольного начальства устроил ему право на жительство с семьей, он выписал к себе вот этих двух ребятишек. В лагере их все-таки кормили. Двое остались на воле. Смысл же письма заключается в следующем: к жене дневального подъезжает новый председатель колхоза. «А еще кланяется вам, дорогой наш супруг, тетенька Марья совсем помиравше, а Митенька наш лежит, ножки распухши и животик раздувши, а председатель трудодней не дает... И Господом Богом прошу я вас, дорогой мой супруг, благословите податься, без вашей воли хоть помру, а детей жалко, а председатель лапает, а трудодней не дает...»

Дневальный уставился глазами в стол. Я не знал, что и сказать. Что тут скажешь?

— Вот, какое дело, — тихо сказал дневальный. — С таким письмом к кому пойдешь, а сердце чуяло. Вот уж судьба.

У меня мелькнула мысль — пойти бы к Успенскому, показать ему это письмо, уцепить его за мужское самолюбие или как-нибудь иначе. Может быть, было бы можно как-нибудь нажать на соответствующий райисполком. Но я представил себе конкретную банду деревенских корешков. Ванька в колхозе, Петька в милиции и пр. Кто пойдет из района защищать женские права какой-то безвестной деревенской бабы; кто и что может раскопать в этой круговой поруке? Просто бабу загрызут со всеми ее ребятами.

— Так уж отпишите, — глухо сказал дневальный. — Отпишите, пусть... подается, — по его бороде потекли крупные слезы.

В нашей путанной человеческой жизни вещи устроены как-то особо по-глупому. Вот прошла передо мною тяжелая, безвыходная, всамделишная человеческая трагедия. Ну, конечно, было сочувствие к судьбе этого рязанского мужичонки, тем более острое, что его судьба была судьбой миллионов, но все же было и великое облегчение, копила? недреманного ока рассеялся, никаких мало-мальски подозрительных симптомов слежки ни с какой стороны не было видно. Под диктовку дневального я слал поклоны каким-то кумам и кумам; в рамке этих поклонов и хозяйственных советов было вставлено мужнино разрешение «податься», дневальный сидел с каменным лицом, по морщинам которого молча скатывались крупные слезы, а вот на душе все же было легче, чем полчаса тому назад. Вспомнился Маяковский. «Для веселия

планета наша плохо оборудована». Да, плохо. И не столько планета, сколько сам человек: изо всех сил своих портит жизнь и себе и другим.

ПОИСКИ ОРУЖИЯ

Для побега было готово все, кроме одного — у нас не было оружия. В наши две первые попытки в 1932 и 1933 годах мы были вооружены до зубов. У меня был тяжелый автоматический дробовик браунинга 12-го калибра, у Юры такого же калибра двустволка. Патроны были снаряжены усиленными зарядами пороха и картечью нашего собственного изобретения, залитой стеарином. По нашим приблизительным подсчетам и пристрелкам такая штукавина метров за сорок и медведя могла свалить с ног. У Бориса была его хорошо пристрелянная малокалиберная винтовка. Вооруженные таким способом, мы могли не бояться встречи ни с чекистскими заставами, ни с патрулем пограничников. В том мало вероятном случае, если бы мы их встретили и в том еще менее вероятном случае, если бы эти чекисты рискнули вступить в перестрелку с хорошо вооруженными людьми, картечь в чаше карельского леса давала бы нам огромные преимущества перед трехлинейками чекистов.

Сейчас мы были безоружны совсем. У нас было по ножу, но это, конечно, не оружие. Планы же добычи оружия восходили еще ко временам Погры, и по всей обстановке лагерной жизни все они были связаны с убийством. Они строились в запас или, как говорят в России, в засол. Оружие нужно было, и раздобыть его следовало за две-три недели до побега, иначе при любой переброске и риск убийства и риск хранения оружия пошел бы впустую. Когда нас с Юрой перебросили в Медвежье Гору, и когда я получил уверенность в том, что отсюда нас до самого побега никуда перебрасывать не будут, я еще слишком слаб был физически, чтобы рискнуть на единоборство с парой ВОХРовцев: ВОХРовцы всегда ходят парами, и всякое вооруженное население лагеря предпочитает в одиночку не ходить. Потом настали белые ночи. Шатавшиеся по пустынным и светлым улиткам ВОХРовские патрули были совершенно недоступны для нападения. Наше внимание постепенно сосредоточилось на динамовском тире.

В маленькой комнатке при этом тире жили инструктор стрелкового спорта Левин и занятый сибирский мужичок Чумин, служивший сторожем тира и кем-то вроде егеря у Успенского. Это глухой, неграмотный, таежный мужичок, который лес, зверя, воду и рыбу знал лучше, чем человеческое общество. Время от времени Чумин приходил ко мне и спрашивал: «Ну, что в газетах сказывают? Скоро война будет?» И выслушав мой ответ, разочарованно вздыхал: «Вот,

Господи Ты Боже мой. Ни откуда выручки нет». Впрочем, для себя Чумин выручку нашел: ограбил до нитки динамовский тир и исчез на лодке куда-то в тайгу. Так его и не нашли.

Левин был длинным, тощим, нелепым парнем лет 25-ти. Вся его нескладная фигура и мечтательные семитические глаза никак не вязались со столь воинственной страстью, как стрелковый спорт. По вечерам он аккуратно наливался в динамовской компании до полного бесчувствия, по утрам он жаловался мне на то, что его стрелковые постижения все тают и тают.

— Так бросьте пить.

Левин тяжело вздыхал.

— Легко сказать. Попробуйте вы от такой жизни не пить. Все равно тонуть, так лучше уж в водке, чем в озере.

У Левина в его комнатухе была целая коллекция оружия и собственного и казенного. Тут были и винтовки и двустволка и маузер и парабеллум и два или три нагана казенного образца и склад патронов для тира. Окна у тира и комнаты Левина были забраны тяжелыми железными решетками, у входа в тир всегда стоял вооруженный караул. Днем Левин все время проводил или в тире или в своей комнатухе; на вечер комнатуха запиралась, и у ее входа ставился еще один караульный. К утру Левин или сам приволакивался домой или чаще его приносил Чумин. В этом тире проходили обязательный курс стрельбы все чекисты Медвежьей Горы. Левинская комнатуха была единственным местом, откуда мы могли раздобыть оружие. Никаких других путей видно не было.

План был выработан по всем правилам образцового детективного романа. Я приду к Левину. Ухлопаю его ударом кулака или как-нибудь в этом роде, неожиданно и неслышно. Потом разожгу примус, туго накачаю его, разолью по столу и по полу поллитра денатурата и несколько литров керосина, стоящих рядом тут же, захвачу маузер и парабеллум, зарою их в песок в конце тира и в одном трусах, как и пришел, пройду мимо караула.

Минут через пять-десять взорвется примус, одновременно с ним взорвутся банки с черным охотничьим порохом, потом начнут взрываться патроны. Комнатуха превратится в факел.

Такая обычная история: взрыв примуса. Советское производство. Самый распространенный вид несчастных случаев в советских городах. Никому ничего и в голову не придет.

Вопрос о моем моральном праве на такое убийство решался для меня совсем просто и ясно. Левин обучает палачей моей страны стрелять

в людей моей страны, в частности в меня, Бориса, Юру. Тот факт, что он, как и некоторые другие узкие специалисты, не отдает себе ясного отчета, какому объективному злу или объективному добру служит его специальность, в данных условиях никакого значения не имеет. Левин — один из виновников гигантской мясорубки. Ломая Левина, я ослабляю эту мясорубку. Чего проще?

Итак, теоретическая и техническая стороны этого предприятия были вполне ясны или точнее казались мне вполне ясными. Практика же ввела в эту ясность весьма существенный корректив. Я раз пять приходил к Левину, предварительно давая себе слово, что вот сегодня я это сделаю, и все пять раз не выходило ровно ничего. Рука не подымалась. И это не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова. Не подымалась. Я клял и себя и свое слабодушие, доказывал себе, что в данной обстановке на одной чаше весов лежит жизнь чекиста, а на другой моя с Юрой, что в сущности было ясно и без доказательств, но очевидно есть убийство и убийство.

В наши жестокие годы мало мужчин прошли свою жизнь, не имея в прошлом убийств на войне, в революции в путанных наших биографиях. Но тут заранее обдуманное убийство человека, который хотя объективно и сволочь, а субъективно вот угощает меня чаем и показывает коллекции своих огнестрельных игрушек. Так ничего и не вышло. Раскольниковского вопроса о Наполеоне и «твари дрожащей» я так и не решил. Мучительная внутренняя борьба была закончена выпивкой в Динамо, и после оной я к этим детективным проектам не возвращался. Стало на много легче.

Один раз оружие чуть было не подвернулось случайно. Я сидел на берегу Вички, верстах в пяти к северу от Медгоры и удил рыбу. Уженье не давалось и я был обижен и на судьбу и на себя: вот люди, которым это в сущности не надо, удят как следует. А мне надо, надо для пропитания во время побега и решительно ничего не удается. Мои прискорбные размышления прервал чей-то голос.

— Позвольте-ка, гражданин, ваши документы.

Оборачиваюсь. Стоит ВОХРовец. Больше не видно никого. Документы ВОХРовец спросил, видимо, только так, для очистки совести: интеллигентного вида мужчина в очках, занимающийся столь мирным промыслом; как уженье рыбы, никаких специальных подозрений вызывать не мог. Поэтому ВОХРовец вел себя несколько небрежно, взял винтовку под мышку и протянул руку за моими документами.

План вспыхнул, как молния, со всеми деталями.левой рукой отбросить в сторону штык винтовки, правой удар кулаком в солнечное сплетение, потом ВОХРовца в Вичку, ну и так далее. Я уже совсем было

приноровился к удару, и вот в кустах хрустнула ветка, я обернулся и увидел второго ВОХРовца с винтовкой на изготовку. Перехватило дыхание. Если бы я этот хруст услышал на секунду позже, я ухлопал бы первого ВОХРовца, и второй ухлопал бы меня. Проверив мои документы, патруль ушел в лес. Я пытался было удить дальше, но руки слегка дрожали.

Так кончились мои попытки добыть оружие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Дата нашего побега — полдень 20-го июля 1934 года — приближалась с какою-то, я бы сказал, космической неотвратимостью. Если при наших первых попытках побега еще оставалось некое ощущение свободы воли, возможность в случае чего, как это было с болезнью Юры, сразу дать отбой, отложить побег, как-то извернуться, то сейчас такой возможности не было вовсе. В 12 часов дня 28 июля Борис уйдет из своего Лодейного Поля в лес, к границе. В этот же полдень должны уйти и мы. Если мы запоздаем — мы пропали. Лодейное Поле даст телеграмму в Медгору: один Солоневич сбежал, присмотрите за оставшимися. И тогда крышка. Или, если бы случилось событие, которое заставило бы нас с Юрой бежать на день раньше Бориса; такую же телеграмму дала бы Медгора Лодейному Полю и с такими же последствиями.

Практически это не осложнило нашего побега. Но психически жестокость даты побега все время висела на душе: а вдруг случится что-нибудь совсем непредвиденное, вот вроде болезнь — и что тогда?

Но ничего не случилось. Технические предпосылки складывались или были подготовлены почти идеально. Мы были сыты, хорошо тренированы, в тайнике в лесу было запрятано несколько пудов продовольствия, были компасы, была такая свобода передвижения, какою не пользовалось даже вольное население Карелии. Меня уже знали в лицо все эти ВОХРовцы, оперативники, чекисты и прочая сволочь. Могли спросить документы, но придирались бы ни в каком случае не стали. А все-таки было очень тревожно. Как-то не верилось: неужели, все это не иллюзия?

Вспоминалось, как в Ленинградском ГПУ мой следователь тов. Добротин говорил мне веско и слегка насмешливо: «Наши границы мы охраняем крепко, железной рукой. Вам повезло, что вас арестовали по дороге. Если бы не мы, вас все равно арестовали бы, но только арестовали бы пограничники. А они разговаривать не любят.

И потом — с презрительной улыбкой:

— И не глупый же вы человек, И.Л., ну как вы могли думать, что из советской России так просто уйти: взял и ушел. Могу вас уверить, это дело не так просто. Одному из тысячи, быть может, удается.

В свое время начальник оперативной части т. Подмоклый говорил приблизительно то же самое. И в сильно пьяном виде, рассказывая мне историю побега туломских инженеров, презрительно оттопыривал мокрые от водки синие свои губы.

— Чудаки. А еще образованные. Так у нас же сексот на сексоте сидит. Чудаки. Продовольствие в лес сносили. А нам что? Пусть себе носят.

Мы тоже носили свое продовольствие в лес. Не такая уж, оказывается, новая система. И может быть, тов. Подмоклый, протягивая мне свою стопку и провозглашая «Ну, дай Бог, в предпоследний», где-то ухмылялся про себя: «Ну, уж теперь-то ты бежишь последний раз. Таскай, таскай свое продовольствие в лес».

Как раз перед побегом я узнал трагическую историю трех священников, которые пытались бежать из Повенца в Финляндию. Двое погибли в лесу от голода, третий наполовину обезумевший от лишений пришел в какую-то деревню и сдался в плен. Его расстреляли даже и без следствия.

Вспоминались рассказы какого-то басмача узбека, с которым мы еще зимой пилили лед на озере. Это был выкованный из тугой бронзы человек с изуродованным сабельными ударами лицом и с неутолимой ненавистью к большевикам. Он пытался бежать три года тому назад, когда отношение к беглецам было снисходительное. Он запутался в лабиринте озер, болот и протоков и был схвачен чекистами, по его словам уже по ту сторону границы.

Все то, что рассказывали всякие чекисты и активисты о попытках побега на запад к финской границе, рисовало почти безнадежную картину. Но в эту картину я вносил весьма существенную поправку: вся эта публика говорит о неудачных попытках; и она ничего не говорит, да и ничего не знает, об удачных. Только потом уже за границей я узнал, как мало их, этих удачных попыток. За весь 1934 год не перешел никто. Только весной на финской стороне был подобран полуразложившийся труп человека, который перешел границу, но нигуда дойти не смог. А сколько таких трупов лежит в карельской тайге!

Я считал, что мои планы побега разработаны досконально. Перед первой попыткой побега была сделана разведка персидской границы по обе стороны Каспийского моря, польской границы у Минска, латвийской границы у Пскова и Финляндской границы в Карелии. Шли, можно

сказать, наверняка, а вот оба раза провалились. Сейчас мне кажется, что все подготовлено идеально, что малейшие детали предусмотрены, что на всякую случайность заранее подготовлен соответствующий трюк. Словом, с точки зрения логики все в порядке. Но что, если моя логика окажется слабее логики ГПУ? Что если все наши затеи просто детская игра под взором недреманного ока? Что если какими-то не известными мне техническими способами ГПУ великолепно знает все: и нашу переписку с Борисом, и наш тайник в лесу и то, как Юра спер компасы в техникуме и то, как я тщетно пытался ухлопать Левина для того, чтобы раздобыть оружие? Дело прошлое, но в те дни провал нашего побега означал бы для меня нечто если не худшее, то более обидное, чем смерть. У каждого человека есть свое маленькое тщеславие. Если бы оказалось, что ГПУ знало о нашей подготовке, это означало бы, что я совсем дурак, что меня обставили и провели, как идиота, и потом нас всех снисходительно разменяют в каком-то подвале третьей части ББК ГПУ. При одной мысли об этом глаза лезли на лоб. Я утешал себя мыслью о том, что вот мы оба, я и Юра, сейчас тренированы, и что до подвала нас ни в коем случае не доведут. Но такой же уговор был и в прошлом году, а сцапали сонных, безоружных и бессильных. Правда, в прошлом году Бабенко врзался в наши планы, как некий дэус экс махина. Правда, от Бабенки шла реальная угроза, которую уже поздно было предотвратить. Бабенко был, видимо, весьма квалифицированным сексотом. В Салтыковке мы напоили его до бесчувствия и устроили обыск на нем и в его вещах. Но ничего не было, что могло бы подтвердить наши подозрения. Но подозрения были. Сейчас никаких подозрений нет. Но есть какое-то липкое ощущение, что вот все наши планы — детская игра перед лицом всемогущей техники ГПУ. Пуганная ворона и куста боится...

Технику эту я знаю хорошо: 18 лет я от этой техники выкручивался и судя по тому, что я сейчас не на том свете, а в Финляндии, выкручивался неплохо. Технику эту я считаю нехитрой техникой, рассчитанной на ротозеев. Или, что еще обиднее, техникой, рассчитанной на наших великолепных подпольщиков: возьмется за эту работу русский офицер, человек смелый, человек готовый идти на любую попытку, а вот выпьет — и прорвется. И кончено.

Словом, техника работы ГПУ — техника не хитрая. Молодец против овец. То, что мы оказались овцами, это не делает особой чести ни нам, ни ГПУ. В порядке изучения этой техники много литров водки выпил я со всякими чекистами, все они хвастались и плакали. Хвастались всемогуществом ГПУ и плакали, что им самим от этого всемогущества нет никакого житья. Нужно быть справедливым и к врагу; жизнь среднего работника ГПУ — это страшная вещь, это жизнь пана

Твардовского, который продал свою душу черту. Но черт пана Твардовского хоть чем-то платил оному пану при его жизни. ГПУ в сущности ничего не платит при жизни, а документ о продаже души все время тычет в нос. Это звучит несколько фантастически и мало правдоподобно, но в двух случаях моей жизни мне удалось выручить из работы в ГПУ двух коммунистов, один из них работал в ГПУ 10 лет. Нет, технику работы ГПУ я знал хорошо. Но в эти дни перед побегом все мое знание заслонялось нелогичной, нелепой, подсознательной тревогой.

Насколько я могу вспомнить, и ни о чем кроме побега не думал. Вероятно, Юра тоже. Но ни он, ни я о побеге не говорили ни слова. Валялись в траве у речки, грелись на солнышке, читали Вудворта. Юра был настроен весьма по-майнридовски и всякими окольными путями старался дать понять мне, как будет великолепно, когда мы, наконец, очутимся в лесу. В эти последние лагерные месяцы Юра катался, как сыр в масле, завел дружную компанию вичкинских ребят, резался с ними в шахматы и волейбол, тренировался в плавание собирался ставить новый русский рекорд на сто метров, ел за троих и на голых досках наших нар засыпал, как убитый. И от юности своей и от солнца, и от прочего, что в человеческой жизни уже неповторимо, как-то сказал мне:

— А знаешь, Ва, в сущности не так плохо жить и в лагере.

Мы лежали на травке за речкой Кумсой после купанья, после маленькой потасовки, под ярким июльским небом. Я оторвался от книг и посмотрел на Юру. К моему удивлению он даже не сконфузился, слишком у него «силушка по жилочкам переливалась». Я спросил: а кто еще живет в лагере так, как мы с тобой живем? Юра согласился: никто, даже и Успенский так не живет. Успенский работает, как вол, а мы ничего не делаем.

— Ну, Ватик, я не говорю, чтобы не бежать. Бежать, конечно, нужно. Но не так плохо и тут.

— А ты вспомни подпорожский УРЧ и профессора Авдеева.

Юра смяк. Но его вопрос доставил мне несколько мучительных часов великого соблазна.

И в самом деле, на кой черт бежать? В лагере я буду жить в соответствии с моими личными вкусами к жизни, а вкусы эти довольно просты. Проведу спартакиаду, получу в свое заведывание команду охотников (была и такая охотничья команда из привилегированных заключенных, поставлявшая рябчиков и медведей к чекистскому столу), Юру устрою в Москву вместо того, чтобы подставлять его кудрявую голову под чекистский наган. Побег Бориса можно остановить. Успенский, конечно, сможет перетащить его сюда. Будем таскаться на

охоту вместе с Борисом. Стоит ли подставлять все наши головы? Словом это были часы великого упадка и малодушия. Они скоро прошли. Подготовка шла своим чередом.

Подготовка же эта заключалась в следующем.

Все, что нужно было на дорогу, мы уже припасли. Продовольствие, одежду, обувь, компасы, медикаменты и прочее. Все это было получено путем блата, кроме компасов. На оружие мы махнули рукой. Я утешал себя тем, что встреча с кем-нибудь в карельской тайге — вещь чрезвычайно мало правдоподобная; впоследствии мы на такую чрезвычайно мало правдоподобную вещь все-таки напоролись. Выйти из лагеря было совершенно просто. Несколько труднее было выйти одновременно вдвоем, в особенности на юг. Еще труднее было выйти вдвоем с вещами, которые у нас еще оставались в бараке. И наконец, для страховки на всякий случай нужно было сделать так, чтобы меня и Юры не так скоро хватились бы.

Все это вместе взятое было довольно сложно технически. Но в результате некоторых мероприятий я раздобыл себе командировку на север до Мурманска сроком на две недели; Юре — командировку в Повенец и Пиндуши сроком на пять дней (для организации обучения плаванию), себе командировку на пятый лагпункт, то есть на юг, сроком на три дня и, наконец, Юре — пропуск на рыбную ловлю — тоже на юг. Наш тайник был расположен к югу от Медвежьей Горы.

Я был уверен, что перед этим днем, днем побега, у меня снова, как это было перед прежними побегам в Москве, нервы дойдут до нестерпимого зуда, снова будет бессонница, снова будет ни на секунду не ослабевающее ощущение, что я что-то проворонил, чего-то недосмотрел, что-то переоценил, что за малейшую ошибку придется, может быть, платить жизнью и не только моей, но и Юриной. Но ничего не было, ни нервов, ни бессонницы. Только когда я добывал путанные командировки, мне померещилась ехидная усмешка в лице заведующего административным отделом. Но эти командировки были нужны. Если о наших планах действительно не подозревает никто, то командировки обеспечат нам минимум пять дней, свободных от поисков и преследования и тот же срок Борису на тот случай, если у него что-нибудь заест. В течение пяти-семи дней нас никто разыскивать не будет. А через пять дней мы будем уже далеко.

У меня были все основания предполагать, что когда Успенский узнает о нашем побеге, узнает о том, что вся уже почти готовая халтура со спартакиадой, с ширококвотательными статьями в Москву, в ТАСС, в братские компартии, с вызовом в Медгору московских кинооператоров пошла ко всем чертям, что он, соловецкий Наполеон, попал в весьма

идиотское положение, он полезет на стенку, и нас будут искать далеко не так, как ищут обычных бегунов. Я дал бы значительную часть своего гонорара, чтобы посмотреть на физиономию Успенского в тот момент, когда ему доложили, что Солоневичей и след уже протыл.

Ночь перед побегом я проспал, как убитый. Вероятно, благодаря опущению полной неотвратности побега: сейчас никакого выбора уже не было. Рано утром, я еще дремал, Юра разбудил меня. За его спиной был рюкзак с кое-какими вещами, которые по ходу дел ему нужно было вынести из лагеря и выбросить по дороге. Кое-кто из соседей по бараку околачивался возле.

— Ну, значит, Ва, я еду. Официально Юра должен был ехать на автобусе до Повенца. Я высунулся из-под одеяла.

— Езжай. Так не забудь зайти в Повенце к Беляеву, у него все пловцы на учете. А вообще, не засиживайся.

— Засиживаться не буду. А если что-нибудь важное, я тебе в КВО телефонирую.

— Меня ведь не будет. Звони прямо Успенскому.

— Ладно. Ну, селям алейкум.

— Алейкум селям.

Длинная фигура Юры исчезла в рамке барачной двери. Сердце как-то сжалось. Не исключена возможность, что Юру я вижу последний раз.

ИСХОД ИЗ ЛАГЕРЯ

По нашему плану Юра должен был выйти из барака несколько раньше девяти утра: в 9 утра уходил автобус на Повенец; оставить в некоем месте свой декоративный узелок с вещами, достать в другом месте удочки и идти на юг, к нашему тайнику. Я должен был выйти в 12 часов — час отправления поезда на юг, взяв с собой еще оставшееся в бараке продовольствие и вещи и двинуться к тому же тайнику. Но что, если у этого тайника уже торчит ГПУская засада? И как быть, если Юру просто задержат по дороге какие-нибудь рьяные оперативники?

Я слез с нар. Староста барака, бывший коммунист и нынешний активист из породы людей, которая лучше всего определяется термином «дубина», спросил меня безразличным тоном:

— Что тоже в командировку едете?

— Да. До Мурманска и обратно.

— Ну, желаю приятной поездки.

В этом пожелании мне почудилась скрытая ирония. Я налил себе кружку кипятку, подумал и сказал: «Особенного удовольствия не видать. Работы будет до черта».

— Да, а все же хоть на людей посмотрите.

И потом, без всякой логической связи:

— А хороший парнишка ваш Юра-то. Вы все-таки поглядывайте., как бы его тут не спортили. Жалко будет парня. Хотя как вы с Успенским знакомые, его должно скоро выпустят.

Я хлебал кипятком и одним уголком глаза тщательно прошупывал игру каждого мускула на дубоватом лице старосты. Нет, ничего подозрительного. А на таком лице все-таки было бы заметно. О Юре же он говорит так, на всякий случай, чтобы сделать приятное человеку, который «знакомый» с самим Успенским. Поболтали еще. До моего выхода остается еще три часа — самые долгие три часа в моей жизни.

Упорно и навязчиво в голову лезли мысли о каком-то таинственном дяде, который сидит где-то в дебрях третьего отдела, видит все наши ухищрения, как сквозь стеклышко и дает нам время и возможность для коллекционирования всех необходимых ему улик. Может быть, когда я получал свою параллельную командировку на юг, дядя позвонил в Адмотдел и сказал: «Выписывайте, пушай едет». И поставил у нашего тайника ВОХРовский секрет.

Для того, чтобы отвязаться от этих мыслей и для того, чтобы сделать все возможные попытки обойти этого дядю, буде он существовал в реальности, я набросал две маленькие статейки о спартакиаде в «Перековку» и в лагерную радио газету, занес их, поболтал со Смирновым; дал ему несколько газетно-отеческих советов; получил несколько поручений в Мурманск, Сегежу и Кемь и, что было совсем уж неожиданно, получил также и аванс 35 рублей в счет гонораров за выполнение этих поручений. Это были последние советские деньги, которые я получил в своей жизни и на них сделал свои последние советские покупки — два кило сахара и три пачки махорки. Полтинник еще остался.

Вышел из редакции и к крайнему своему неудовольствию обнаружил, что до полудня остается еще полтора часа. Пока я ходил в обе редакции, болтал со Смирновым, получал деньги, время тянулось так мучительно, что казалось, полдень совсем уже подошел. Я чувствовал, что этих полутора часов я полностью не выдержу.

Пришел в барак. В бараке было почти пусто. Влез на нары, стал на них, на верхней полке, закрытой от взглядов снизу, нагрузил в свой рюкзак оставшееся продовольствие и вещи; их оказалось гораздо больше,

чем я предполагал, взял с собой для камуфляжа волейбольную сетку, футбольный мяч, связку спортивной литературы, на верху которой было увязано руководство по футболу с рисунком на обложке, понятным всякому ВОХРовцу, прихватил еще и два копыя и вышел из барака.

В сущности не было никаких оснований предполагать, что при выходе из барака кто-нибудь станет ощупывать мой багаж, хотя по правилам или староста или дневальный обязаны это сделать. Если недреманное око не знает о нашем проекте, никто нас обыскивать не посмеет: блат у Успенского. Если знает, нас захватят у тайника. Но все-таки из дверей барака я выходил не с очень спокойной душой. Староста еще раз пожелал мне счастливого пути. Дневальный, сидевший на скамеечке у барака, проделал ту же церемонию и потом как-то замялся.

— А жаль, что вы сегодня едете.

Мне почудилось какое-то дружественное, но неясное предупреждение. Чуть-чуть перехватило дух. Но дневальный продолжал.

— Тут письмо я от жены получил. Так, значит, насчет ответа. Ну, уж когда приедете, так я вас попрошу. Юра? Нет, молодой еще он, что его в такие дела мешать.

Отлегло. Поднялся на горку и последний раз посмотрел на печальное место странного нашего жительства. Барак наш торчал каким-то кособоким гробом; с покосившейся заплатной крышей, с заклеенными бумагой дырами окон, с дневальным, понуро сидевшим у входа в него. Странная вещь, во мне шевелилось какое-то сожаление. В сущности, неплохо жили мы в этом бараке. И в нем было много совсем хороших, близких мне русских людей. И даже нары мои показались мне уютными. А впереди в лучшем случае леса, трясины, ночи под холодным карельским дождем. Нет, для приключений я не устроен.

Стоял жаркий июльский день. Я пошел по сыпучим улицам Медгоры, прошел базар и площадь, тщательно всматриваясь в толпу и выискивая в ней знакомые лица, чтобы обойти их сторонкой, несколько раз оборачивался, закуривал, рассматривал афиши и местную газетенку, расклеенную на столбах и на стенах (подписка не принимается за отсутствием бумаги) и все смотрел, нет ли слежки. Нет, слежки не было, на этот счет глаз у меня наметанный. Прошел ВОХРовскую заставу у выхода из поселка, застава меня ни о чем не спросила. И вышел на железную дорогу.

Первые шесть верст нашего маршрута шли по железной дороге; это была одна из многочисленных предосторожностей на всякий случай. Во время наших выпивок в Динамо мы установили, что по полотну железной дороги собаки ищейки не работают вовсе: паровозная топка

сжигает все доступные собачьему нюху следы. Не следовало пренебрегать и этим.

Идти было трудно. Я был явственно перегружен. На мне было не меньше 4-х пудов всякой ноши. Одна за другой проходили версты. Вот знакомый поворот, вот мостик через прыгающую по камням речку, вот наконец телеграфный столб с цифрой 27-511, откуда в лес сворачивало какое-то подобие тропинки, которая несколько срезала путь к пятому лагпункту. Я на всякий случай оглянулся еще раз. Никого не было. И нырнул в кусты на тропинку.

Она извивалась между скал и коряг, я обливался потом под четырехпудовой тяжестью своей ноши, и вот перед поворотом тропинки, откуда нужно было нырять в окончателную чащу, вижу: навстречу мне шагает патруль из двух оперативников.

Был момент пронизывающего ужаса. Значит, подстерегли. И еще более острой обиды: значит, они оказались умнее. Что же теперь? До оперативников шагов 20. Мысли мелькают с сумасшедшей быстротой. Бросаться в чащу? А Юра? Ввязаться в драку? Их двое. Почему только двое? Если бы этот патруль был снаряжен специально для меня, оперативников было бы больше. Вот отрядили же в вагоне номер 13 человек по десяти на каждого из боеспособных членов нашего «кооператива». А расстояние все сокращается. Нет, нужно идти прямо. Ах, если бы не рюкзак, связывающий движения! Можно было бы схватить одного и прикрываясь им, как щитом; броситься на другого и обоих сбить с ног. Там, на земле, обе их винтовки были бы ни к чему, и мое джиу — джитсу выручило бы меня еще один раз. Сколько раз оно меня уже выручало. Нет, нужно идти прямо, да и поздно уже сворачивать, нас отделяет шагов десять.

Сердце колотилось, как сумасшедшее. Но, по-видимому, снаружи не было заметно ничего, кроме лица, залитого потом. Один из оперативников поднес руку к козырьку и не бег приятности осклабился.

— Жарковато, тов. Солоневич. Что ж вы не поездом?

Что это? Издевочка?

— Режим экономии. Деньги за билет в кармане останутся.

— Да, оно конечно. Лишняя пятерка, оно смотришь и поллитровочка набежала. А вы на пятый?

— На пятый.

Я всматриваюсь в лица этих оперативников. Простые картофельные красноармейские рожи, на такой роже ничего не спрячешь. Ничего подозрительного. Вероятно, оба эти парня видали, как мы с Подмоклым шествовали после динамовских всенощных бдений;

наверное, они видали меня перед строем роты оперативников, из которой я выбирал кандидатов на вичкинский курорт и на спартакиаду; вероятно, они знали о великом моем благе.

— Ну, счастливо, — оперативник опять поднес руку к козырьку, я проделал нечто вроде этого (я шел без шапки), и патруль проследовал дальше. Хруст их шагов постепенно замер вдали. Я остановился, прислушался. Нет, ушли. Пронесло.

Я положил на землю часть своей ноши, прислонился рюкзаком к какой-то скале, вытер пот. Еще прислушался. Нет, ничего. Только сердце колотилось так, что, кажется, из третьего отделения слышно. Свернул в чащу, в кусты, где уж никакие обходы не были мыслимы: все равно в 10-20 шагах ничего не видеть.

До нашего тайника оставалось с полверсты. Подхожу и с ужасом слышу какой-то неясный голос. Вроде песни. То ли это Юра так не вовремя распелся, то ли черт его знает, что. Подполз на карачках к небольшому склону; в конце которого в чаще огромных непроходимо разросшихся кустов были спрятаны все наши дорожные сокровища, и где должен ждать меня Юра. Мелькает что-то бронзовое, похожее на загорелую спину Юры. Неужели, вздумал приникать солнечные ванны и петь Вертинского. С него станется! Ох и идиот же! Ну и скажу же я ему несколько теплых слов!

Но из чащи кустарника раздается нечто вроде змеиного шипения, показываются Юрины очки, и Юра делает жест: ползи скорей сюда. Я ползу.

Здесь, в чаще кустарника, полутьма, и снаружи решительно ничего нельзя разглядеть в этой полутьме.

— Какие-то мужики. — шепчет Юра. — Траву косят, что ли. Скорей укладываться и драпать.

Голоса стали слышнее. Какие-то люди что-то делали шагах в 20-30 от кустов. Их пестрые рубахи время от времени мелькали в просветах деревьев. Да, нужно укладываться и исчезать.

Мяч, копья, литературу, сетку я зарыл в мох, и из-подо мха мы вытащили наши продовольственные запасы, сверху обильно посыпанные махоркой, чтобы какой-нибудь заблудший и голодный пес не соблазнился бы неслыханными запасами торгсиновского сала и торгсиновской колбасы. В лихорадочной и молчаливой спешке мы запихали наши вещи в рюкзаки. Когда я навьючил на себя свой, я почувствовал, что я перегружен: в рюкзаке опять было не менее четырех пудов. Но сейчас не до этого.

Из чаши кустарника ползком по траве и зарослям мы спустились еще ниже, в русло какого-то почти пересохшего ручейка, потом по этому руслу тоже ползком мы обогнули небольшую грядку, которая окончательно закрыла нас от взглядов неизвестных посетителей окрестностей нашего тайника. Поднялись на ноги, прислушались. Напряженный слух и взвинченные нервы подсказывали тревожные оклики. Видимо, заметили.

— Ну, теперь нужно во все лопатки.

Двинулись во все лопатки. По «промфинплану» нам нужно было перейти каменную грядку верстах в пяти от железной дороги и потом перебраться через узкий проток, соединяющий цепь озер верстах в пяти от гряды. Мы шли, ползли, карабкались, лезли, пот заливал очки, глаза лезли на лоб от усталости, дыхание прерывалось, а мы все лезли. Гряда была опасным местом. Ее вершина была оголена полярными бурями, и по ее хребту прогуливались ВОХРОВские патрули. Не часто, но прогуливались. Во время своих разведок по этим местам я разыскал неглубокую поперечную щель в этой гряде, и мы поползли по этой щели, прислушиваясь к каждому звуку и к каждому шороху. За грядой стало спокойнее. Но в безопасности, хотя бы и весьма относительной, мы будем только за линией озер. Еще одна гряда, заваленная буреломом. От нее — окаянный спуск к озеру, гигантские россыпи камней, покрытых мокрым, скользким мхом. Такие места я считал самой опасной частью нашего путешествия. При тяжести наших рюкзаков поскользнуться на таких камнях и в лучшем случае растянуть связки на ноге, ничего не стоило. Тогда пришлось бы засесть на месте происшествия на неделю-две. Без достаточных запасов продовольствия это означало бы гибель. Потому-то мы и захватили такую массу продовольствия.

Часам к пяти мы подошли к озеру, спустились вниз, нашли наш проток, перебрались через него и вздохнули более или менее свободно. По пути, в частности перед грядой, мы перемазывали наши подошвы всякой сильно пахнущей дрянью, так что никакие ищeyки не могли бы пройти по нашим следам. За протоком слегка присели и передохнули. Обсудили инцидент с предполагаемыми крестьянами около нашего тайника и пришли к выводу, что если бы они нас заметили, и если бы у них были агрессивные намерения по нашему адресу, они или побежали бы к железной дороге сообщить кому надо о подозрительных людях в лесу или стали бы преследовать нас. Но ни в том, ни в другом случае они не остались бы около нашего тайника и не стали бы перекликаться. Это одно. Второе, из лагеря мы ушли окончательно. Никто ничего не заподозрил. Срок наших командировок давал все основания предполагать, что нас хватятся не раньше, чем через пять дней. Юрина

командировка была действительна на пять дней. Меня могут хватиться раньше: вздумает Успенский послать мне в Кемь или в Мурманск какой-нибудь запрос или какое-нибудь поручение и выяснит, что там меня и слыхом не слыхать. Но это очень мало вероятно, тем более, что по командировке я должен был объехать шесть мест. И Юрой сразу же после истечения срока его командировки не заинтересуется никто. В среднем неделя нам обеспечена. За эту неделю верст минимум сто мы пройдем, считая, конечно, по воздушной линии. Да, хорошо в общем вышло. Никаких недреманных очей и никаких таинственных дядей из третьего отдела. Выскочили!

Однако, лагерь был все-таки еще слишком близко. Как мы ни были утомлены, мы прошли еще около часу на запад, набрали на глубокую и довольно широкую внизу расщелину, по дну которой переливался маленький ручеек и с чувством великого облегчения сгрузили наши рюкзаки. Юра молниеносно разделся, влез в какой-то омуток ручья и стал смывать с себя пот и грязь. Я сделал то же, разделся и влез в воду; я от пота был мокрый весь, с ног до головы.

— А ну-ка, Ва, повернись. Что это у тебя такое? — вдруг спросил Юра, и в голосе его было беспокойство. Я повернулся спиной.

— Ах, черт возьми. И как же ото ты не заметил? У тебя на пояснице сплошная рана.

Я провел ладонью по пояснице. Ладонь оказалась в крови, и по обеим сторонам позвоночника кожа была сорвана до мышц. Но никакой боли я ж чувствовал раньше, не чувствовал и теперь.

Юра укоризненно суетился, обмывал рану, прижигая ее йодом и окручивая мою поясницу бинтом. Медикаментами на дорогу мы были снабжены неплохо, все по тому же благу. Освидетельствовали рюкзак. Оказалось, что в спешке у нашего тайника я ухитрился уложить огромный кусок торгсиновского сала так, что острое ребро его подошвенной кожи во время хода било меня по пояснице, но в возбуждении этих часов я ничего не чувствовал. Да и сейчас это казалось мне такой мелочью, о которой не стоило и говорить.

Разложили костер из самых сухих веток, чтобы не было дыма, поставили на костер кастрюлю с гречневой кашей и основательным куском сала. Произвели тщательную ревизию нашего багажа, беспощадно выкидывая все то, без чего можно было обойтись — мыло, зубные щетки, лишние трусики. Оставалось все-таки пудов около семи.

Юра со сладострастием запустил ложку в кастрюлю с кашей: «Знаешь, Ватик, ей Богу, не плохо».

Юре было очень весело. Впрочем, весело было и мне. Поев, Юра с наслаждением растянулся во всю свою длину и стал смотреть на яркое летнее небо. Я попробовал сделать то же самое, лег на спину; и тогда к пояснице словно кто-то прикоснулся раскаленным железом. Я выругался и перевернулся на живот. Как это я теперь буду тащить свой рюкзак?

Отдохнули. Я переконструировал ремни рюкзака так, чтобы его нижний край не доставал до поясницы. Вышло плохо. Груз в четыре пуда, помещенный почти на шее, создавал очень неустойчивое положение. Центр тяжести был слишком высоко, и по камням гранитных россыпей приходилось идти, как по канату. Мы отошли с версту от нашего места привала и стали устраиваться на ночлег. Выбрали густую кучу кустарника на вершине какого-то холма, разостлали на земле один плащ, прикрылись друг им, надели накомарники и улеглись в надежде после столь утомительного и богатого переживаниями дня поспать в полное свое удовольствие. Но со сном не вышло ничего. Миллионы комаров, весьма разнообразных по калибру, но совершенно одинаковых по характеру опустились на нас плотной густой массой. Эта мелкая сволочь залезала в мельчайшие щели одежды, набивалась в уши и в нос миллионами противных голосов жужжала над нашими лицами. Мне тогда казалось, что в таких условиях жить вообще нельзя и нельзя идти, нельзя спать. Через несколько ночей мы этой сволочи почти не замечали, ко всему привыкает человек, и пришли в Финляндию с лицами, распухшими, как тесто, поднявшееся на дрожжах.

Так промучились почти всю ночь. Перед рассветом оставили всякую надежду на сон, навьючили рюкзаки и двинулись дальше в предрассветных сумерках по мокрой от росы траве. Выяснилось еще одно непредвиденное неудобство.

Через несколько минут ходьбы брюки промокли насквозь, прилипли к ногам и связывали каждый шаг. Пришлось идти в трусиках.

Не выспавшиеся и усталые, мы уныло брели по склону горы, вышли на какое-то покрытое туманом болото, перешли через него, увязая по бедра в хлюпающей жиже, снова поднялись на какой-то гребень. Солнце взошло, разогнало туман и комаров. Внизу расстилалось крохотное озерко, такое спокойное, уютное и совсем домашнее, словно нигде в мире не было лагерей.

— В сущности, теперь бы самое время поспать, — сказал Юра.

Забрались в кусты, разложили плащ. Юра посмотрел на меня взором какого-то открывателя Америки.

— А ведь, оказывается, все-таки драпанули, черт его дер!

— Не кажи гоп, пока не перескочил.

— Перескочим. А ей Богу, хорошо. Если бы еще по двустволке да по парабеллуму... Вот, была бы жизнь!

ПОРЯДОК ДНЯ

Шли мы так. Просыпались перед рассветом, кипятили чай, шли до 11 часов. Устраивали привал, варили кашу, гасили костер и отойдя на версту, снова укладывались спать. На тех местах, где раскладывались костры, мы не ложились никогда; дым и свет костра могли быть замечены, и какой-нибудь заблудший в лесах активист, вынюхивающий беглецов или урка; ищущий еды и паспорта или приграничный мужик, отсеянный от всяких контрреволюционных плевел и чающий заработать куль муки, могли бы пойти на костер и застать нас спящими.

Вставали часов в пять и снова шли до темноты. Снова привал с кашей и ночлег. С ночными привалами было плохо. Как мы ни принимались друг к другу, как мы ни укутывались всем, что у нас было, мокрый холод приполярной ночи пронизывал насквозь. Потом мы приноровились. Срезывали ножами целые полотнища мха и накрывались им. За ворот забирались целые батальоны всякой насекомой твари, хвои, комки земли, но было тепло.

Наш суррогат карты в первые же дни обнаружил свою полную несостоятельность. Реки на карте и реки в натуре текли каждая по своему усмотрению, без всякого согласования с советскими картографическими заведениями. Впрочем и досоветские карты были не лучше. Для первой попытки нашего побега в 1932 году я раздобыл трехверстки этого района. Таких трехверсток у меня было три варианта; они совпадали друг с другом только в самых общих чертах, и даже такая река, как Суна, на каждой из них текла по-особому.

Но нас это не смущало: мы действовали по принципу некоего героя Джека Лондона — что бы там ни случилось, держите прямо на запад. Один из нас шел впереди, проверяя направление или по солнцу или по компасу, другой шел шагах в двадцати сзади, выправляя мелкие извилины пути. А этих извилин было очень много. Иногда в лабиринтах озер, болот и протоков приходилось делать самые запутанные петли и потом с великим трудом восстанавливать затерянную прямую нашего маршрута. В результате всех этих предосторожностей, а может быть и независимо от них, мы через шестнадцать суток петлистых скитаний по тайге вышли точно в намеченное место. Ошибка в тридцать верст к северу или к югу могла бы нам дорого обойтись; на юге граница делала петлю; и мы, перейдя ее и двигаясь по-прежнему на запад, рисковали снова попасть на советскую территорию и, следовательно, быть

вынужденными перейти границу три раза. На трехкратное везение рассчитывать было трудно. На севере же к границе подходило стратегическое шоссе, на нем стояло большое село Поросозеро, в селе была пограничная комендатура, стояла большая пограничная часть, что-то вроде полка и туда соваться не следовало.

Дни шли однообразной чередой. Мы двигались медленно. И торопиться было некуда, и нужно было рассчитывать свои силы так, чтобы тревога, встреча, преследование никогда не могли бы захватить нас выдохшимися и, наконец, с нашими рюкзаками особенной скорости развить было нельзя.

Моя рана на спине оказалась более мучительной, чем я предполагал. Как я ни устраивался со своим рюкзаком, время от времени он все-таки сползал вниз и срывал подживающую кожу. После долгих споров я принужден был переложить часть моего груза в Юрин рюкзак, тогда на Юриной спине оказалось четыре пуда, и Юра еле выволакивал свои ноги.

ПЕРЕПРАВЫ

Час за часом и день за днем повторялась приблизительно одна и та же последовательность: перепутанная и заваленная камнями чаща леса на склоне горы, потом непроходимые завалы бурелома на ее вершине, потом опять спуск и лес, потом болото или озеро. И вот, выйдем на опушку леса, и перед нами на полверсты—версту шириной расстилается ржавое карельское болото, длинной полосой протянувшееся с северо-запада на юго-восток, в направлении основной массы карельских хребтов. Утром в тумане или вечером в сумерках мы честно месили болотную жижу, иногда проваливались по пояс, иногда переправляясь с кочки на кочку и неизменно вспоминая при этом Бориса. Мы вдвоем и не страшно. Если бы один из нас провалился и стал тонуть в болоте, другой поможет. А каково Борису?

Иногда днем приходилось эти болота обходить. Иногда даже днем, когда ни вправо, ни влево болоту и конца не было видно, мы переглядывались и перли на Миколу Угодника. Тогда 500-700 метров нужно было пройти с максимальной скоростью, чтобы возможно меньше времени быть на открытом месте. Мы шли, увязая по колена, проваливаясь по пояс, пригибаясь к земле, тщательно используя для прикрытия каждый кустик и выбирались на противоположный берег болота выдохшимися окончательно. Это были наиболее опасные места нашего пути. Очень плохо было и с переправами.

На первую из них мы натолкнулись поздно вечером. Около часу шли в густых и высоких, выше роста, зарослях камыша. Заросли обрывались над берегом какой-то тихой и неширокой; метров 20 речки. Пощупали брод — брода не было. Трехметровый шест уходил целиком у берега даже, где на дне прощупывалось что-то склизкое и топкое. Потом мы сообразили, что это в сущности и не был берег в обычном понимании этого слова. Это был плавающий слой мертвого камыша, перепутанных корней, давно перегнившей травы — зачаток будущего торфяного болота. Прошли с версту к югу. Та же картина, решили переправляться вплавь. Насобирали сучьев, связали нечто вроде плотика, веревки для этой цели у нас были припасены; положили на него часть нашего багажа; я разделся, тучи комаров тотчас же облепили меня густым слоем; вода была холодна, как лед, плотик еле держался на воде. Мне пришлось сделать шесть рейсов туда и обратно, пока весь наш багаж не был переправлен, пока я не изыб окончательно до костей и пока не стемнело совсем. Потом переплыл Юра, и оба мы, изыбшие и окоченевшие, собрали свой багаж и почти ощупью стали пробираться на сухое место.

Сухого места не было. Болото, камыш, наполненные водой ямы тянулись, казалось, без конца. Кое-где попадались провалы — узкие «окна» в бездонную торфяную жижу. И идти было нельзя, опасно и не идти было нельзя, замерзнем. Костра же развести и не из чего и негде. Наконец, взобрались на какой-то пригорок, окутанный тьмой и туманом. Разложили костер. С болота доносилось кряканье диких уток. Глухо шумели сосны. Ухала какая-то болотная нечисть. Но над карельской тайгой не было слышно ни одного человеческого звука. Туман надвигался на наше мокрое становище, окутал ватной пеленой ближайšie сосны. Мне казалось, что мы безнадежно и безвылазно затеряны в безлюдьи таежной глуши, и вот будем идти так день за днем, будем идти годы, и не выйти нам из лабиринта ржавых болот, тумана, призрачных берегов и призрачного леса. А лес местами был действительно каким-то призрачным. Вот стоит сухой ствол березы. Обопрешься о него рукой, и он разваливается в мокрую плесень. Иногда лежит по дороге какой-то сваленный бурей гигант. Становишься на него ногой, и нога уходит в мягкую трухлявую гниль.

Наломали еловых веток, разложили на мокрой земле какое-то подобие логова. Костер догорал. Туман и тьма надвинулись совсем вплотную. Плотно прижались друг к другу, и я заснул тревожным болотным сном.

Переправ всего было восемь. Одна из них была очень забавной. Я в первый раз увидел, как Юра струсил.

Ярким августовским днем мы подошли к тихой лесной речушке, метров пять ширины и метра полтора глубины. Черное от спавшей хвои дно. Абсолютно прозрачная вода. Невысокие, поросшие ольшаником берега обрывались прямо вводу. Раздеваться и переходить речку в брод не хотелось. Прошли по берегу в поисках более узкого места. Нашли поваленную бурей сосну, ствол которой был перекинут через речку. Средин ствола прогнулась; и его покрывали вода и тина. Юра решительно вскарабкался на ствол и зашагал на ту сторону.

— Да ты возьми какую-нибудь палку опереться.

— А, ни черта.

Дойдя до середины ствола, Юра вдруг сделал несколько колебательных движений тазом к рукам и остановился, как замороженный. Мне было ясно видно, как побледнело его лицо и судорожно сжались челюсти, как будто он увидел что-то страшное. Но на берегу не было видно никого, а глаза Юры были устремлены вниз, на воду. Что это, не утопленник ли там? Но вода была прозрачна, и на дне не было ничего. Наконец, Юра сказал глухим и прерывающимся голосом:

— Дай палку.

Я протянул ему жердь. Юра, не глядя на нее, нащупал ее конец, оперся о дно и вернулся на прежний берег. Лицо его было бледно, а на лбу выступил пот.

— Да что с тобой?

— Скользко, — сказал Юра глухо.

Я не выдержал. Юра негодуяще посмотрел на меня. Что тут смеяться? Но потом и на его лице появилось слабое подобие улыбки.

— Ну и сдрейфил же я.

— То есть, с чего?

— Как, с чего? Упал бы в воду — от нашего сахара ни крошки бы не осталось.

Следующая переправа носила менее комический оттенок. Ранним утром мы подошли к высокому обрывистому берегу какой-то речки или протока. Противоположный берег такой же крутой и обрывистый виднелся в версте от нас, полускрытый полосами утреннего тумана. Мы пошли на северо-запад в надежде найти более узкое место для переправы. Часа через два ходьбы мы увидели, что река расширяется в озеро, версты в две шириной и версты три-четыре длиной. В самом отдаленном северо-западном углу озера виднелась церковка, несколько строений, и что было хуже всего, виднелся мост. Мост означал обязательное наличие пограничной заставы. На северо-запад хода не

было. Мы повернулись и пошли назад. Еще часа через три ходьбы, причем за час мы успевали пройти не больше полутора-двух верст, решили прилечь отдохнуть. Прилегли. Юра слегка задремал. Стал было дремать и я. Но откуда-то с юга донеслось звяканье деревянных колокольчиков, которые привязываются на шеи карельским коровам. Я приподнялся. Звук, казалось, был еще далеко, и вдруг в нескольких десятках шагов прямо на нас вылезает стадо коров. Мы схватили наши рюкзаки и бросились бежать. Сзади нас раздался какой-то крик. Это кричал пастух, но кричал ли он по нашему адресу или по адресу своих коров, разобрать было нельзя.

Мы свернули на юго-восток. Но впереди снова раздалось дребезжанье колокольчиков и стук топоров. Выходило нехорошо. Оставалось одно — сделать огромный крюк и обойти деревню с мостом с северо-востока. Пошли.

Часа через три-четыре мы вышли на какую-то опушку. Юра сложил свой рюкзак, выполз, осмотрелся и сообщил: дорога. Высунулся и я. Это была новая с иголки дорога, один из тех стратегических путей, которые большевики проводят к финской границе. Оставалось перебежать эту дорогу. Взяли старт и пригнувшись, перебежали на другую сторону. Там стоял телеграфный столб с какими-то надписями, и мы решили рискнуть подойти к столбу и посмотреть, а вдруг мы уже на финляндской территории.

Подошли к столбу. Увы, советские обозначения. И вот, слышу сзади чей-то неистовый крик:

— Сто-о-ой!

Я только мельком успел заметить какую-то человеческую фигуру, видимо, только что вынырнувшую из леса, шагах в сорока-пятидесяти от нас. Фигура выхватила откуда-то что-то весьма похожее на револьвер. В дальнейшее мы всматриваться не стали. Сзади нас бухнули два или три револьверных выстрела, почти заглушенные топотом наших ног. Возможно, что «пули свистали над нашими головами», но нам было не до свиста, мы мчались изо всех наших ног. Я запнулся за какой-то корень, упал и, подымаясь, расслышал чьи-то совсем уж idiotские крики: «Стой! Стой!» Так мы и стали бы стоять и ждать. Потом некто остроумный заорал: «Держи!» Кто бы тут нас стал держать.

Мы пробежали около версты и приостановились. Дело было неудобным. Нас заметили приблизительно в версте-полутора от деревни. В деревне была расположена чекистская застава. У заставы, конечно, собаки. И через минут 15-20 эти собаки будут спущены по нашему следу. И, конечно, будет устроена облава. Как устраивались облавы, об этом мы в Динамо выудили самые исчерпывающие сведения. На крики

таинственной фигуры кто-то отвечал криками из деревни, и послышался разноголосый собачий лай.

Я очень плохой бегун на длинные дистанции. Полтора километра по беговой дорожке для меня — мука мученическая. А тут мы бежали около трех часов, да еще с трехпудовыми рюкзаками, по сумасшедшему хаосу камней, ям, корней, поваленных стволов к черт его знает, чего еще. Правда, мы три раза останавливались, но не для отдыха. В первый раз мы смазали наши подошвы коркой от копченого сала, второй — настойкой махорки, третий — нашатырным спиртом. Самая гениальнейшая ищейка не могла бы сообразить, что первичный запах наших сапог, потом соблазнительный аромат копченого сала, потом махорочная вонь, потом едкие испарения нашатырного спирта — что все это относится к одному и тому же следу.

Мы бежали три часа — дистанция марафонского бега. И ничего. Сердце не разорвалось: нервы — великая вещь. Когда нужно, человек способен на самые неправдоподобные вещи.

Плохо было то, что мы попали в ловушку. Конечным пунктом нашего пробега оказалось какое-то озеро, к востоку переходившее в широкое и со всех сторон открытое болото. Мы вернулись полверсты назад, взобрались на какую-то горку, сняли рюкзаки. Юра посмотрел на часы и сказал:

— Протрепали, оказывается, три часа. В жизнь не поверил бы.

Откуда-то от дороги несся собачий лай. Собак, видимо, было много. Раздались три выстрела: один из винтовки, сухой и резкий, два — из охотничьих ружей, гулкие и раскатистые. Линия всех этих упоительных звуков растянулась примерно от берегов озера, на котором стояла деревушка, до вероятной оконечности болота. Стало ясно, что для нашей поимки мобилизовали и деревенских собак. ГПУские ищейки не лают. И деревенских комсомольцев, которым до нас в сущности никакого дела нет, но которые, войдя в лес, будут охвачены инстинктом охоты за самым благородным зверем, за человеком.

Итак, мы находились в треугольнике, одна сторона которого, юго-западная, была закрыта цепью озер, другая, юго-восточная, была охвачена облавой и третья, северо-восточная, была заперта озером к болотом. Оставалось идти на северо-восток в надежде найти там в вершине треугольника какой-нибудь более или менее доступный выход — перешеек, узкий проток между озерами или что-нибудь в этом роде. Пошли. Я шел, уже еле волоча ноги и в тысячный раз проклиная свою совестьливость или свое слабодушие. Нет, там в Медгоре надо было свернуть шею Левину и добыть оружие. Если бы у нас теперь по двустоволке и, скажем, по нагану, мы бы им показали облаву. Мы бы

показали этим комсомольцам, что это за охота за человеком. Лучше от такой охоты воздержаться. Конечно, и я и Юра стрелки не Бог весть какие, но одно дело уметь стрелять, и совсем другое дело уметь использовать огнестрельное оружие. Я-то еще туда-сюда, нервы не те, а с Юрой по этому делу лучше и не связываться. Да, мы бы им показали облаву. А теперь оружия нет и жизнь висит совсем на волоске. В следующий раз, если не дай Бог, он случится, я переломаю кому нужно кости безо всякой оглядки на высокие материи. Словом, я был очень зол.

На наше счастье уже начало темнеть. Мы уткнулись еще в какое-то озеро, прошли над его берегом еще версты две. Ноги подгибались окончательно. Рюкзак опять сполз вниз и снова ободрал мою рану. Перед нами расстилалось все то же озеро, версты полторы-две водной глади, уже начавшей затягиваться сумерками. Облава все приближалась. Собачий лай и выстрелы были слышны все яснее и яснее. Наконец, мы добрались до места, где озеро или проток слегка суживалось, и до противоположного берега было во всяком случае не больше версты. Решили плыть.

Опустились к берегу, связали из бурелома нелепый и шаткий плотик, грезоподъемности примерно достаточной для обоих наших рюкзаков. За это время стемнело уже совсем, разделись, полезли в воду. Комары облепили нас, как всегда при переправах. Было мелко и топко. Мы побрели по тинистому, вязкому, слизкому тесту топкого дна, дошли до пояса и начали плыть. Только что отплыли метров на 10-15, слышу вдали какой-то мерный стук.

— Вероятно, грузовик по ту сторону озера, — сказал Юра. — Плыдем дальше.

— Нет, давай подождем.

Остановились. Вода оказалась еще неглубокой, до плеч. Подождали. Минуты через две-три стало совсем ясно: с севера, с верховьев реки или озера с большой скоростью идет какая-то моторная лодка. Стук мотора становился все слышнее и слышнее. Где-то за поворотом берега мелькнуло что-то похожее на луч прожектора. Мы панически бросились назад к берегу.

Разбирать плотик и багаж было некогда. Мы схватили плотик, как носилки, но он сразу развалился. Лихорадочно и ошупью мы подобрали его обломки, собрали наши вещи, рюкзаки и одежду. Моторка была совсем уж близко, и луч ее прожектора тщательно ошупывал прибрежные кусты. Мы нырнули в мокрую траву за какими-то кустами, прижались к земле и смотрели, как моторка с истинно сволочной медлительностью шла мимо нашего берега, и шупальца прожектора обыскивали каждый куст. Потом мокрые ветки прикрывавшего нас куста

загорелись белым электрическим светом, мы уткнули лица в траву, и я думал о том, что наше присутствие не так уж хитро обнаружить хотя бы по тем тучам комаров, которые вились над нашими спинами.

Но луч равнодушно скользнул над нашими головами. Моторка торжественно проследовала вниз. Мы подняли головы. Из мокрой тьмы в луче прожектора возникали упавшие в воду стволы деревьев, камыш, каменные осыпи берега. Потом моторка завернула за какой-то полуостров, и стук ее мотора постепенно затих вдали.

Стояла кромешная тьма. О том, чтобы в этой тьме сколотить плотик и думать было нечего. Мы дрожа от холода натянули наше промокшее одеяние, ощупью поднялись на несколько метров выше из прибрежного болота, нащупали какую-то щель в скале и уселись там. Просидели почти всю ночь, молча, неподвижно, чувствуя, как от холода начинают неметь внутренности.

Перед рассветом мы двинулись дальше. Ноги ныли. У Юры лицо мертвецки посинело. Моя рана на спине прилипла к рубашке, и первым же движением я снова сорвал какой-то прижившийся слой. С юго-востока, с линии облавы снова стали доноситься звуки собачьего лая и выстрелов. В кого они там стреляли, понятия не имею.

Мы прошли в предрассветной тьме еще версты полторы-две вдоль берега и обнаружили какой-то полуостровок; совершенно заросший лесом и кустарниками и вдававшийся в озеро метров на двести. С берегом полуостровок соединяла заливаемая водой песчаная коса. Светало. И над водой плыли пронизывающие утренние туманы. Где-то совсем уж недалеко от нас прогрехотал выстрел, и залаяла собака.

Ни я, ни Юра не говорили почти ничего; все и так было ясно. Пробрались на полуостровок, срезали ножами несколько сухих елок; связали длинный, достаточно грузоподъемный, но в общем весьма малостойчивый плотик, подтянули его к воде, нагрузили рюкзаки и одежду. И опять стук моторки. Опять залезли в кусты.

На этот раз моторка прошла к северу, то скрываясь в пелене тумана, то показываясь во всем своем великолепии. Небольшая изящная лодочка с прицепным мотором; с пулеметом и с четырьмя человеками команды. Я сказал Юре: если захватят нас на переправе, капитулировать без никаких, и когда нас станут подымать на борт, схватиться в обнимку с ближайшим из чекистов, всей своей удвоенной тяжестью плюхнуться на борт — моторка, конечно, перевернется. А там в воде действовать по обстоятельствам. Спросил Юру, помнит ли он один из подходящих приемов джиу-джитсу, который мог бы быть применен в таких не совсем обычных условиях. Юра помнил. Стук моторки затих. Едва ли она успеет

вернуться обратно за полчаса. Через полчаса мы будем уже на том берегу.

Никогда ни в одном состязании я не развивал такого количества плавательной энергии. Приходилось работать только левой рукой. Правая буксировала плотик. Юра сделал остроумнее, взял в зубы конец веревки, , которою был привязан к плотнику наш багаж и плыл классическим брассом.

Когда мы вплывали в полосу тумана, я начинал бояться, как бы нам не потерять направления. Когда туман уходил, подымался страх, что нас заметят с берега и начнут стрелять. Но метрах в двухстах опасения насчет стрельбы более или менее улеглись. По роду своей деятельности я сталкивался со стрелковым делом и знал, что на расстоянии двухсот метров советской трехлинейки можно не очень опасаться: дает такое рассеяние, что на двести метров попасть в головную мишень можно только случайно, отчего стрелковые рекорды ставятся преимущественно винтовками Росса.

Камыши противоположного берега приближались с ужасающей медленностью. Наконец, ноги почувствовали топкое и вязкое дно. Идти было еще нельзя, но на душе стало спокойнее. Еще через полсотни метров мы стали на ноги; выволокли плотик на берег, разобрали его, веревки захватили с собой, а бревнышки рассовали по камышам, чтобы не оставлять следов нашей переправы.

То ли от холода, то ли от пережитого волнения я дрожал, как в лихорадке. Пробежали полсотни метров до ближайшего леса. Юра с беспокойством растер меня своей рубашкой. Мы оделись и поднялись на обрывистый берег. Было уже совсем светло. По серебряной поверхности озера скользила все та же моторка. Из лесу с той стороны озера слышались собачьи голоса и ружейные выстрелы.

— Видимо, они там друг по другу шпарят. — сказал Юра. — Хоть бы только не мазали! Эх, если бы нам по винтовке! Мы бы поразговаривали.

Должен признаться, что «поразговаривать» и у меня руки чесались. И в такой степени, что если бы было оружие, то я не столько был бы озабочен спасением собственной жизни, сколько показом этим неизвестным мне комсомольцам всех неудобств азарта охоты за человеком. Но оружия не было. В конечном счете это было не так плохо. Будь оружие, мы вероятно ввязались бы в перепалку. Кое-кого ухлопали бы, но едва ли выскочили бы из этой перепалки живьем...

Была и такая переправа. Днем мы подошли к какой-то реке, разлившейся неширокими затонами и озерами. Прошли версты две

вдоль берега и на противоположном берегу увидели рыбацкую лодку. Лодка, по-видимому, была «на ходу», в ней лежали весла, багор и что-то еще. Это было большой неосторожностью, но мы решили воспользоваться этой лодкой для переправы. Юра молниеносно разделся, переплыл реку, доставил лодку к нашему берегу, и мы в две минуты очутились на той стороне. От места нашего причала, подымаясь круто в гору, шло нечто вроде дорожки. До гребня горы было петров пятьдесят. Юра, как был в голом виде, быстро пополз к гребню, заглянул по другую сторону его и стремительно скатился вниз, делая мне тревожные знаки. Я подхватил уже выгруженное из лодки все наше имущество, и мы оба бросились вправо, в чашу леса. Пробежав сотни две метров, я остановился. Юры не было. Кругом стояла непроницаемая для глаз чаща, и в ней не было слышно ни Юриных шагов, ни Юрино го голоса. Да подавать голос и нельзя было. Очевидно, Юра за этим гребнем увидел кого-то, может быть, патруль. И как это мы с ним ухитрились разъединиться? Я постоял еще минуты две. Юры не было видно. Вдруг он как-то проскочил мимо меня! Вот, пойдём оба мы играть в жмурки в этой чаще, под самым носом у какой-то мне еще неизвестной опасности; и с риском так и не найти друг друга. В душу заполз холодный ужас. Юра совсем голый. Как он станет пробираться через эти кустарники, что он будет делать, если мы запутаемся. Ведь у него ничего, кроме очков. Ни ножа, ни спичек, ничего. Но этот ужас длился недолго. Еще через минуту я услышал легкий хруст ветвей где-то в стороне и тихонько свистнул. Из-за кустов показалась исцарапанная ветвями фигура Юры и его побледневшее лицо.

Юра наскоро оделся. Руки его слегка дрожали. Мы снова всползли на гребень и заглянули по ту сторону. Там внизу расстиралось озеро, на берегу его двое рыбаков ковырялись с сетями. Рядом сидело трое пограничников с винтовками и с собакой. До них было около трехсот метров. Мы сползли обратно.

— Сказано в писании, не искушай Господа Бога твоего всеу. На Миколу Угодника мы переправ больше устраивать не будем.

— Не стоит, — согласился Юра. — Ну его.

В тот день мы постарались сделать очень много верст.

Вот так и шли дни за днями. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Ночь в холодной сырости или под дождем. Днем безмерная усталость от переходов через болота и засеки, все время звериная настороженность к каждому шороху и ощущение абсолютной отрезанности всяких путей назад. И ничего похожего на границу. Мы пересекали многочисленные просеки, прорубленные большевиками сквозь карельскую тайгу, осматривали вкопанные то там, то тут

столбики, натыкались на таинственные палки, вбитые в землю. Одна сторона палки отесана, и на ней химическим карандашом таинственная надпись:

«Команда комвзвода Иванова семь человек прошла 8 — 8 ч. 40 м. Держим С.—З., следов нет».

Чьих следов искала эта команда? Мы круто сворачивали с нашего маршрута и усиленными переходами выбирались из района, оцепленного этими таинственными палками. Раза четыре нам уже казалось, что мы перешли границу. Натыкались на столбы, на одной стороне которых давно уже зарос мохом грубо вырезанный русский двуглавый орел — на другой финский лев. Я предполагал, что это старая граница России и Финляндии. Новая же граница повторяет почти все очертания старой. Но проходил день, другой — снова шли столбики с буквами П. К. или с таинственными письменами какого-то очередного комвзвода.

Началось нечто вроде галлюцинаций. Однажды вечером, когда мы укладывались спать под срезанное ножами одеяло из влажного мха, Юра приподнялся, прислушался и сказал:

— Послушай, Ва. По-моему поезд...

Я прислушался. Откуда-то издали с запада доносился совершенно отчетливый стук колес: та-та-та, та-та-та. Откуда здесь может быть железная дорога? Если бы стук доносился с востока, мы могли бы предположить почти невероятную, но все же теоретически возможную вещь, что мы путали, путали и возвращаемся все к той же Мурманской железной дороге: со многими беглецами это случалось. Но с запада? Ближайшая финляндская дорога отстояла на 150 км от границы, такого пространства мы не могли пройти по финской территории, не заметив этого. Но, может быть, за последние годы там построена какая-нибудь новая ветка?

Стоило сделать над собой усилие воли, и стук колес превращался в своеобразно ритмический шум сосен. Стоило на минутку ослабить это усилие, и стук колес доносился так ясно, так соблазнительно и так убедительно.

Эти полугаллюцинации преследовали нас до самой Финляндии. И с каждой ночью все навязчивее и навязчивее.

Когда я разрабатывал наш маршрут, я рассчитывал в среднем восемь дней ходьбы; по воздушной линии нам нужно было покрыть 125 км. При нашей тренировке по хорошей дороге мы могли бы проделать эту дистанцию в двое суток. О хорошей дороге и речи быть не могло, я взял восемь суток. Юра вел дневник нашего перехода, без дневника мы

совсем сбились бы со счета времени. И вот, прошло восемь дней и десять и двенадцать. Все тот же перепутанный сухими ветвями бурелом на вершинах хребтов. Все те же болота, озера, протоки. Мысль о том, что мы запутались, все назойливее и назойливее лезла в голову. Сильно сбиться с направления мы не могли. Но мы могли завернуть на север, в обход Поросозера. и тогда мы идем приблизительно параллельно границе, которая в этом месте заворачивает на северо-запад. И тогда мы рискуем очень неприятными встречами. Утешал нас огромный запас продовольствия; с таким запасом мы долго еще могли идти, не страшась голода. Утешало и оптимистическое настроение Юры, которое портилось разве только под очень сильным дождем и то, когда этот дождь лил ночью. Мы все продолжали идти по пустыне, лишь два раза натолкнулись на близость населенных пунктов и один раз натолкнулись на пункт уже не населенный.

Наш дневной привал мы провели на берегу совсем очаровательного озера, в камышах. Отойдя от привала, мы увидели на берегу озера развалившиеся деревянные мостки и привязанную к этим мосткам полузатонувшую и полуистлевшую лодку. В лодке были весла, как будто кто-то бросил ее только вчера. Никаких путных теорий мы на этот счет изобрести не смогли. И вот, в пяти минутах ходьбы от озера, продираясь сквозь чащу молодого кустарника, березок и прочего, я натолкнулся лицом к лицу на какую-то бревенчатую стену. Стена оказалась избой. Мы обошли ее кругом. Изба еще стояла прочно, но все кругом заросло буйной лесной порослью. Вошли. Изба была пуста, на полках стояли какие-то горшки. Все было покрыто пылью и плесенью. Сквозь щели пола проросла трава. От избы веяло сыростью и могилой. Мы вышли обратно. Оказалось, что изба эта не одна. В нескольких десятках метров, над зеленью поросли, виднелись еще полдесятка крыш. Я сказал Юре, что это, по-видимому, раскулаченная деревня. Юра подал совет обойти ее, может быть, найдем что-нибудь вроде оружия и мы пошли по избам, таким же запустелым, как и первая. В них не было ничего, кроме заплесневелых горшков, переломанной деревенской мебели, полусгнивших остатков одежды и постелей. В одной избе мы нашли человеческий скелет, и это отбило всякую охоту к дальнейшим поискам.

Подавленные и несколько растерянные, мы вышли из этой заново отвоеванной лесом деревни. Метрах в ста от нее подымался гранитный обрыв хребта, на который нам предстояло взбираться. Пошли вдоль обрыва в поисках наиболее подходящего места для подъема. У подножья обрыва стлались каменные россыпи, на которых даже травка не росла, только чахлый карельский мох покрывал камни своим серозеленым узором. Юра шел впереди. Как-то неожиданно он стал, как

вкопанный и тихо выругался. У подножья обрыва лежала куча костей, среди которых скалили свои зубы восемь человеческих черепов.

— А вот тебе и следы от пуль. — сказал Юра. На высоте человеческой головы в скале было около десятка глубоких щербин. Картина раскулаченной карельской деревушки получила свой заключительный штрих. Мы обошли груды костей и молча двинулись дальше. Часа через два ходьбы Юра сказал:

— Давно уже нужно было драпануть.

— Давно уж и пробуем.

Юра передернул плечами.

...Границу мы, по-видимому, перешли ясным августовским утром. Довольно высокий хребет обрывался на севере крутым спуском к озеру, по гребню хребта шла довольно основательно протоптанная тропинка. Натолкнувшись на нее, мы быстро свернули в кусты. В конце тропинки Юра успел заметить массивный каменный столб; я этого столба не заметил. Внизу, на запад от хребта, расстилалось поросшее мелким кустарником болотце, и по болотцу протекала обычная речушка, в плывучих берегах, метров восемь ширины. Принимая во внимание наличие тропинки и, вероятно, пограничных патрулей, нужно было действовать стремительно и быстро. Я почти на ходу разделся, переплыл; Юра стал перекидывать наши вещи, завернул мои сапоги в рубаху и брюки и во что-то еще и таким дискоболом метнул этот узел ко мне. Сверток налету раскрылся парашютом, и все содержимое его плюхнулось в воду. Все, кроме сапог, мы успели вытащить. Сапоги пошли ко дну. Ругался я сильно. Хорошо еще, что были запасные футбольные ботинки.

Откуда-то с юга, с вершины гребня, хлопнул выстрел, и мы, недоодевшись и недоругавшись, в полуголом виде бросились по болоту на запад. Хлопнуло еще два выстрела, но лесистый берег был близко, и мы кинулись в чащу. Там закончили наш туалет, сообразили, что преследование может быть не так скоро и пошли дальше, опять перемазывая подошвы нашими снадобьями.

Никакого преследования мы не заметили. Вероятно, мы уже были по буржуазную сторону границы.

Часа через три ходьбы я заметил в траве кусок какой-то рыжей бумаги. Поднял. Бумага оказалась кульком, двойным кульком из крепкой проклеенной бумаги, какой в советской России и в заводе нет. Кулек был подвергнут исследованию по методу Шерлока Холмса. Из него были извлечены крошки белого хлеба; явственно буржуазного. Края кулька были когда-то склеены белой бумагой. На кульке виднелся след

перевязывавшего его шпагата. В буржуазном происхождении этого кулька не было никакого сомнения.

Юра торжественно поднялся, торжественно облапил меня, и так мы стояли, тыкая друг друга кулаками и говорили всякие хорошие слова, не переводимые ни на какой язык в мире. Когда все слова были сказаны, Юра снял свой рваный шлем, сделанный по образцу красноармейского из куска старого одеяла и несмотря на все свое свободомыслие, широко перекрестился.

Однако, я не был вполне уверен, что мы уже на финской территории. Кулек мог быть брошен каким-нибудь контрабандистом, каким-нибудь тихим идиотиком из финских коммунистов, стремившимся в социалистический рай и наконец, просто пограничником; у них кто их знает, какие отношения со всяким пограничным народом.

Наконец, я знал и такие случаи, когда беглецы из лагеря захватывались пограничниками и на финской территории. С международным правом товарищи не очень стесняются.

Вечером мы расположились на ночлег на какой-то горе. Погода все портилась. Резкий ветер шумел соснами. Моросил мелкий холодный дождь. Юра устраивал какое-то логово под мохнатыми ветвями елей. Я спустился вниз добыть воды. Внизу расстиралось озеро, задернутое пеленой дождя. На противоположном берегу озера, несколько наискосок от меня, виднелось большое строение. Больше ничего нельзя было разобрать.

Дождь усиливается. Ветер превратился в бурю. Мы дрогли всю ночь. Наутро спустились, к озеру. Погода прояснилась. Строение на той стороне было видно довольно ясно. Что-то вроде огромной избы с какими-то пристройками и с открытой настежь дверью. Мы прошли с полверсты к северу, уселись а кустах прямо против этого строения и стали выжидать. Никакого движения. Дверь оставалась открытой. В ней не появлялся никто. Решили идти к строению.

Обошли озеро, подошли метров на пятьдесят и стали ползти, вслушиваясь в каждый лесной шорох. Юра полз несколько в стороне от меня. И вот, слышу его восторженный голос:

— Никаких гвоздей. Финляндия.

Оказывается. Юра напоз на какую-то мусорную кучу. Там валялись обрывки газет на финском языке. Правда, газеты могли быть и карельскими, мы не знали ни того, ни другого языка. Но здесь были консервные, кофейные, папиросные и прочие банки, на которых были надписи и на шведском языке. Сомнений быть не могло.

В ФИНЛЯНДИИ

Да, конечно. Никаких сомнений уже быть не могло: мы в Финляндии. Оставалось неизвестным, как далеко прошли мы в глубь ее территории, в каких местах мы находимся, и как долго придется еще блуждать по тайге в поисках человеческого жилья. По нашей беглецкой теории нам полагалось бы попасться на глаза любым иностранным властям возможно дальше от границы: кто его знает, какие там неписанные договоры могут существовать между двумя соседствующими пограничными заставами. Политика политикой, а быт бытом. В порядке соседской любезности могут и выдать обратно. Правда, финская граница была в свое время выбрана в частности потому, что из всех границ СССР тут можно было рассчитывать на наиболее корректное отношение и наиболее культурную обстановку, но опять-таки кто его знает, какое обычное право существует в этой таежной глуши. Пока я путано размышлял обо всем этом, Юра уже устремился к строению. Я его попрिдержал, и мы с ненужной осторожностью и с бьющимися сердцами вошли внутрь. Это, очевидно, был барак лесорубов, обитаемый только зимой и пустующий летом. Барак, как барак, не на много лучше нашего Беломорского, только посредине стояли развалины какого-то гигантского очага или печи, а пол, нары, столы были завалены всякими буржуазными отбросами.

Тут Юра разыскал сапоги, которые по буржуазным масштабам, видимо, никуда уже не годились, но которые могли бы сойти за предмет роскоши в СССР, валялись банки от консервов, какао, кофе, сгущенного молока и пустые папиросные коробки. Я не курил уже пять или шесть дней и устремился к этим коробкам. На полпапиросы наскреб. Юра разыскал нечто, похожее на топленое сало и несколько иссохших в камень хлебов. Хлеба у нас не было уже дней шесть.

— Сейчас устройю бутерброд со смальцем, — сказал он.

Я попытался было протестовать, но был слишком занят поисками табаку. Юра намазал салом кусок сухаря и отправил все это в рот. Лицо его стало задумчивым и взгляд устремился, так сказать, внутрь.

— Ну как?

Юра стал старательно выплевывать свой бутерброд.

— Ну что? — переспросил я еще раз, не без некоторого педагогического злорадства

— Лыжная мазь, — сказал Юра деланно безразличным тоном и скромно отошел в угол.

Мы вышли из барака. Небо казалось вымытым как-то особенно тщательно, а таежный ветерок — особенно ароматным. У барака оказался столб с надписью, которая была нам непонятна и со стрелой, указывавшей на запад. В направлении стрелы шла полузаросшая травой тропинка. Юра подтянул свой рюкзак и даже запел: «Эх, полным полна коробушка, плеч не давит ремешок». Ремешок действительно не давил. Потому что наши рюкзаки за шестнадцать суток пути были основательно облегчены и потому что после таежных болот, завалов, каменных осыпей так легко было идти по человеческой дороге и наконец потому, что на душе было действительно очень весело.

Но это настроение было перебито мыслью о Борисе. Как он дошел?

— Нобискум деус, — оптимистически сказал Юра. — Борис нас уже в Гельсингфорсе дожидается. — Юра приблизительно был прав.

Часа через два ходьбы мы вышли к какому-то холмику. огороженному типичным карельским забором — косо установленные еловые жерди. За забором был тщательно обработанный огорожок, за огорожком на верхушке холма стояла небольшая чистенькая изба. На стене избы я сразу заметил бляху страхового общества, рассеявшую последние притаившиеся где-то в глубине души сомнения и страхи. У избы стояло два сарая. Мы заглянули в один из них.

Там за какой-то работой ковырялась девочка лет 10-!2-ти. Юра просунул в дверь свою взлохмаченную голову и попытался изъясниться на всех известных ему диалектах. Его попытки произвели несколько неожиданное впечатление. Девочка ринулась к стенке, прислонилась к ней спиной, в ужасе, прижала руки к груди и стала судорожно и беззвучно хватать воздух раскрытым ртом. Юра продолжал свои лингвистические упражнения. Я вытащил его из сарая. Нужно подождать. Мы сели на бревно у стены сарая, и предались ожиданию. Минуты через полторы-две девочка стрелой выскочила из сарая, шархнула в сторону от нас, каким-то фантастическим стилем перемахнула через забор и только подбегая ко крыльцу избы, подняла неистовый вопль. Дверь избы раскрылась. Оттуда выглянуло перепуганное женское лицо. Девочка исчезла в избе. Дверь снова закрылась. Вопли девочки стали раздаваться глуше и лотом утихли.

Юра осмотрел меня внимательным оком и сказал:

— Собственно говоря, есть чего испугаться. Посмотрел бы ты на себя в зеркало.

Зеркала не было. Но вместо зеркала мне достаточно было посмотреть на Юру: грязная и опухшая от комариных укусов

физиономия, рваное лагерное одеяние, на поясе разбойничий нож, а на носу угрожающие черные очки. Да, с такой внешностью к десятилетним девочкам нужно бы подходить несколько осторожнее.

Прошло еще минут 10-15. Мы терпеливо сидели на бревне в ожидании дальнейших событий. Эти события наступили. Девочка с панической стремительностью выскочила из избы, снова перемахнула через забор и бросилась в лес, подымая пронзительный и судя по тону призывный крик. Через четверть часа из лесу вышел степенный финский мужичок, в таких немисливо желтых сапогах, из-за каких когда-то в далеком Конотопе кончил дни свои незабвенной памяти Хулио Хуренито, в добротной кожанке и с трубкой во рту. Но меня поразили не сапоги и не кожанка. Меня поразило то, отсутствующее в советской России вообще, а в советской деревне в частности и в особенности исходящее от этого мужичонки впечатление полной и абсолютной уверенности в самом себе, в завтрашнем дне, в неприкосновенности его буржуазной личности и его буржуазного клочка земли.

Мужичок неторопливо подошел к нам, осматривая нас внимательным и подозрительным взором. Я встал и спросил, понимает ли он по-русски. К моей великой радости, мужичок на очень ломанном, но все не внятном русском языке ответил, что он немного понимает. Подозрительные морщины в уголках его глаз разгладились, мужичок сочувственно закивал головой и даже трубку изо рта вынул. Да, да. Он понимает, очень хорошо понимает. Там, по ту сторону границы остались два его брата. Оба погибли. Да, он очень хорошо понимает.

Мужичок вытер свою ладонь о штаны и торжественно пожал наши руки. Из-за его спины выглядывала рожица девочки, страх еще боролся с любопытством, со всеми шансами на стороне последнего.

Обстановка прояснилась. Мужичок провел нас в избу. Очень большая комната с низкими потолками, с огромной печью и плитой, на плите и под плитой смачно сияла ярко начищенная медная посуда, у плиты стояла женщина лет 30-ти — белотелая и хозяйственная, смотрела на нас недоверчивым и настороженным взглядом. Из дверей соседней комнаты выглядывали какие-то детские рожицы. Чтобы не было слишком страшно, эти рожицы высовывались над самым полом и смотрели на нас своими льняными глазенками. Во всем был достаток, уют, уверенность. Вспомнились наши раскулаченные деревни; и снова стало больно.

Мужичок принялся обстоятельно докладывать своей хозяйке сущность переживаемого момента. Он наговорил раза в три больше, чем я успел ему рассказать. Настороженное выражение лица хозяйки сменилось сочувственными вздохами и затем последовала стремительная

хозяйственная деятельность. Пока мы сидели на лавке, пока Юра оглядывал комнату, подмигивая высовывавшимся из дверей ребятишкам и строил им рожи, ребятишки тоже начали заигрывать; пока я с наслаждением курил крепчайший мужицкий табак и рассказывал мужику о том, что и как делается по ту сторону границы, огромный обеденный стол начал обрастать невиданным не только для советской деревни, но и для советских столиц обилием всяких яств. В последовательном порядке появился кофе со сливками, как оказалось впоследствии, здесь пьют кофе перед обедом, потом уха, потом жареный налим, потом какой-то пирог, потом творог со сметаной, потом какая-то каша со сладким черничным сиропом, потом кое-что еще; на все это мы смотрели недоуменно и даже несколько растерянно. Юра предусмотрительно передвинул пряжку своего пояса и принялся за дело «всерьез и надолго». После обеда мужичок предложил нам проводить нас или к «уряднику», до которого было верст 20 или на пограничный пункт, до которого было верст 10. «Да мы и сами дойдем». «Не дойдете, заблудитесь».

После обеда мы с час отдохнули. Девочка за это время куда-то исчезла. Долго жали руку хозяйке и двинулись на пограничный пункт. По дороге мужичок объяснял нам систему и результаты своего хозяйства: с нечеловеческим трудом расчищенная в лесу полянка под крохотное поле и огород, невода на озере, зимой лесные работы. «А сколько платят за лесные работы?» «Да 1200-1500 марок в месяц». Я уже после подсчитал. Финская марка по ее покупательной способности чуть больше советского рубля, значит, в среднем полторы тысячи рублей. Да. А по ту сторону такой же мужичок получает 35. Где же тут буржуазной Финляндии конкурировать с пролетарским лесным экспортом?

Мужичок был прав, без него мы бы к пограничному пункту не добрались. Тропинка разветвлялась, путалась между болот, извивалась между каменными грядами, пропадала на россыпях булыжников. На полдороге из-за кустов выскочил огромный пёс и сразу кинулся к Юриным штанам. Юра стремительно отскочил в сторону, защищаясь своей палкой, а я своей уже совсем было собрался перешибить псу позвоночник, когда из-за поворота тропинки послышались какие-то голоса, и выбежали два финских пограничника: один маленький, голубоглазый и необычайно подвижной, другой постарше, посерьёзнее и потемнее. Они отогнали пса и стали о чем-то говорить с мужичком. Мужичок спросил, есть ли у нас оружие. Мы показали на наши ножи. Маленький пограничник сделал вид, что ему полагается нас обыскать, похлопал Юру по карману и этим удовлетворился.

Не нужно быть великим психологом, чтобы понять — оба парня чрезвычайно довольны встречей с нами; это — великое событие в их,

вероятно, не очень разнообразной жизни и некая сенсация. Маленький все время что-то болтал с мужичком, потом завел с Юрой оживленный разговор, состоящий из жестов, междометий и попыток выразить мимикой лица такие, например, вещи, как мировая революция. Не знаю, что понял пограничник, Юра не понял ничего.

Так болтая и кое-как объясняясь при помощи мужичка, мы подошли к неширокому озеру, на другой стороне которого виднелось большое деревянное здание. Переправились на лодке через озеро. Здание оказалось пограничной заставой. Нас встретил начальник заставы, такой же маленький, благодушный и спокойный финн, как наш мужичок. Степенно пожал нам руки. Мы вошли в просторную чистую комнату — казарму пограничников. Здесь стояла дюжина коек, и у стены — стойка с винтовками.

Мы сняли наши рюкзаки. Начальник заставы протянул нам коробку с финскими папиросами. Закурили, уселись у стола перед окном. Мужичок о чем-то вдумчиво докладывал, начальник так же вдумчиво и сочувственно кивал головой. Пограничники стояли около и о чем-то многозначительно перемигивались. Откуда-то вышла и стала в рамке двери какая-то женщина, по всем внешним признакам жена начальника заставы. Какие-то льняные, белобрысы детишки выглядывали из-за косяков.

Разговор клеился очень плохо. Наш мужичок исчерпал свой весьма немноготомный запас русских слов. Мне говорить просто не хотелось. Вот ведь, мечтал об этом дне, первом дне на воле, лет 15-17 планировал, добивался; ставил свою и не свою голову на попа, а сейчас, когда добился, наконец, — просто какая-то растерянность.

Женщина исчезла. Потом снова появилась и что-то сказала. Начальник заставы встал и жестом, не лишённым некоторой церемонности, пригласил нас в соседнюю комнату. Это была чистенькая, словно по всем углам вылизанная комнатка. По середине стоял стол, накрытый белоснежной скатертью, на столе стояли чашки, и дымился кофейник. Так, значит, приглашение на чашку кофе. Не ожидал.

Мы были такими грязными, опухшими, оборванными, что было как-то неловко сидеть за этим нехитрым столом, который мне после свиной жизни лагеря казался чем-то в высокой степени великосветским. Как-то было неловко накладывать в чашку не свой сахар. Неловко было смотреть в глаза этой женщины, которой я никогда не видал и, вероятно, никогда больше не увижу и которая с таким чисто женским инстинктом старалась нас накормить и напоить, хотя мы после обеда у нашего мужичка и так были сыты до отвала.

Посидели, вроде как поговорили. Я почувствовал какую-то смертельную усталость — реакция после напряжения этих лет и этих дней. Поднялся. Вышли в комнату пограничников. Там на зеркально натертом полу был разостлан какой-то ковёр, на ковре лежали две постели — для меня и для Юры. Настоящие постели, человеческие, а мы уже год спали, Бог его знает, на чем. Юра боком посмотрел на эти постели и сказал: «Простыни, черт его дери».

Уж вечерело. Я вышел на двор. Жена начальника заставы стояла на коленях у крыльца и в её засученных руках была наша многострадальная кастрюля, из которой когда-то какая-то не известная мне подпорожская девочка пыталась теплом своего голодного тельца извлечь полпуда замороженных лагерных шей, которая прошла наш первый побег, лагерь и 16 суток скитаний по карельской тайге. Жена начальника заставы явственно пыталась привести эту кастрюлю в христианский вид. Женщина была вооружена какими-то тряпками, щётками и порошками и старалась честно. В дороге мы эту кастрюлю, конечно, не чистили. Копоть костров въелась в мельчайшие поры алюминия. Исходная цилиндрическая форма от ударов о камни, о стволы деревьев и от много другого превратилась в что-то, не имеющее никакого адекватного термина даже в геометрии Лобачевского, а вот стоит женщина на коленях и трет этот алюминиевый обломок крушения. Я стал объяснять ей, что этого делать не стоит, что эта кастрюля уже отжила свой исполненный приключениями век. Женщина понимала плохо. На крыльцо вышел Юра, и мы соединёнными усилиями как-то договорились. Женщина оставила кастрюлю и оглядела нас взглядом, в котором ясно чувствовалась непреоборимая женская тенденция поступить с нами приблизительно так же, как и с этой кастрюлей оттереть, вымыть, заштопать, пришить пуговицы и уложить спать. Я не удержался: взял грязную руку женщины и поцеловал ее. А на душе было очень плохо.

Видимо, как-то плохо было и Юре. Мы постояли под потемневшим уже небом и потом пошли к склону холма над озером. Конечно, этого делать не следовало бы. Как бы там ни обращались с нами, мы были арестованными и не надо было давать повода хотя бы тем же пограничникам подчеркивать этот официальный факт. Но никто его не подчеркнул.

Мы уселись на склоне холма. Перед нами расстилалась светло-свинцовая гладь озера, дальше к востоку от него дремучей и черной щетиной подымалась тайга, по которой, Бог даст, нам никогда больше не придется бродить. Еще далее к востоку шли бесконечные просторы нашей родины, в которую, Бог знает, удастся ли нам вернуться.

Я достал из кармана коробку папирос, которой нас снабдил начальник заставы. Юра протянул руку: «Дай и мне». «С чего это ты?» «Да, так».

Я чиркнул спичку. Юра неумело закурил и поморщился. Сидели и молчали. Над небом востока появились первые звезды — они где-то там светились и над Салтыковкой и над Москвой и над Медвежьей Горой и над Магнитогорском, только пожалуй в Магнитогорске на них и смотреть-то некому, не до того. А на душе было неожиданно и замечательно паршиво.

У ПОГРАНИЧНИКОВ

Невидимому, мы оба чувствовали себя какими-то обломками крушения. Мы боролись за жизнь, за свободу, за какое-то человеческое житье, за право чувствовать себя не удобрением для грядущих озимей социализма, а людьми; я в частности по вьевшимся в душу журнальным инстинктам — за право говорить о том, что я видел и чувствовал. Пока мы, выражаясь поэтически, напрягали свои бицепсы в борьбе с разъяренными волнами социалистического кабака, все было как то просто и прямо. Странно, самое простое время было в тайге. Никаких проблем. Нужно было только одно: идти на запад. Вот и шли. Пришли.

И словом, выбившись из шторма, сидели мы на неизвестном нам берегу и смотрели туда, на восток, где в волнах коммунистического террора и социалистического кабака гибнет столько родных нам людей. Много запоздалых мыслей и чувств лезло в голову. Да, мы проворонили нашу родину. В частности, проворонил и я. Патриотизм? Любовь к родине? Кто боролся просто за это? Боролись за усадьбу, за программу, за партию, за демократию, за самодержавие. Я боролся за семью. Борис за скаутизм. Нужно было, давно нужно было понять, что вне родины нет ни черта — ни усадьбы, ни семьи, ни скаутизма, ни карьеры, ни демократии, ни самодержавия. Ничего нет. Родина, как кантовская категория времени и пространства: вне этих категорий — пустота... И вот, проворонили.

И эти финны. Таежный мужичок, пограничные солдаты, жена начальника, заставы. Я вспомнил финских идеалистических и коммунистических карасей, приехавших в СССР из Америки, ограбленных, как липки и голодавших на Урале и на Алтае, вспомнил лица финских «беженцев» в ленинградской пересылке; лица, в которых от голода глаза ушли куда-то в глубину черепа, и губы ссохлись, обнажая кости челюстей. Вспомнился грузовик с финскими беженцами в Карелии, в селе Койкоры. Да, их принимали не так, как принимают здесь нас. На

чашку кофе их не приглашали и кастрюль их не пытались чистить. Очень ли мы правы, говоря о русской общечеловечности и дружественности? Очень ли уж мы правы, противопоставляя «материалистический Запад» идеалистической русской душе?

Юра сидел с потухшей папиросой в зубах и глядел, как и я, на восток поверх озера и тайги. Заметив мой взгляд, он посмотрел на меня и кисло улыбнулся. Вероятно, ему тоже пришла в голову какая-то параллель между тем, как встречают людей там, и как встречают их тут. Да, объяснить можно, но дать почувствовать — нельзя. Собственно, Юра России не видал. Он видел социализм, Москву, Салтыковку, людей, умирающих от малярии на улицах Дербента, снесенные артиллерией села Украины, лагерь в Чустрое, одиночку ГПУ, лагерь ББК. Может быть, не следовало ему всего этого показывать. А как не показать?

Юра попросил у меня спички. Снова зажег папиросу, руки слегка дрожали. Он ухмыльнулся еще раз, совсем уж деланно и кисло и спросил: «Помнишь, как мы за керосином ездили?» Меня передернуло.

Это было в декабре 1931 года. Юра только что приехал из буржуазного Берлина. В нашей Салтыковке мы сидели без света, керосина не было. Поехали в Москву за керосином. Стали в очередь в 4 часа утра. Мерзли до 10. Я принял на себя административные обязанности и стал выстраивать очередь, вследствие чего, когда лавчонка открылась, я наполнил два пятилитровых бидона вне очереди и сверх нормы. Кое-кто стал протестовать. Кое-кто полез драться. Из-за десяти литров керосина, из-за пятиалтынного по нормам «проклятого царского режима» были пущены в ход кулаки. Что это? Россия? А какую иную Россию видал Юра?

Конечно, можно бы утешаться тем, что путем такой «прививки» с социализмом в России покончено навсегда. Можно бы найти еще несколько столь же утешительных точек зрения, но в тот вечер утешения как-то в голову не лезли. Сзади нас догорал поздний летний закат. С крыльца раздался веселый голос маленького пограничника; голос явственно звал нас. Мы поднялись. На востоке багровели, точно облитые кровью красные знамена, освещенные уже невидимым нами солнцем облака, и глухо шумели леса.

Маленький пограничник действительно звал нас. В небольшой, чистенькой кухне стоял стол, уставленный всякими съестными благами, на которые Юра посмотрел с великим сожалением: есть было больше некуда. Жена начальника заставы, которая, видимо, в этой маленькой семейной казарме была полной хозяйкой, думаю более самодержавной, чем и сам начальник, пыталась было уговорить Юру и меня съесть что-нибудь. Это было безнадежное предприятие. Мы отнекивались и

отказывались. Пограничники о чем-то весело пересмеивались. Из путанных их жестов я понял, что они спрашивают: есть ли в России такое изобилие. В России его не было, но говорить об этом мне не хотелось. Юра пытался было объяснить: Россия — одно, а коммунизм — другое. Для вящей понятливости он в русский язык вставлял немецкие, французские и английские слова, которые пограничникам были не на много понятнее русских. Потом перешли на рисунки. Путем очень сложной и путанной символики нам, невидимому, удалось все же объяснить некоторую разницу между русским и большевиком. Не знаю, впрочем, стоило ли ее объяснять. Нас во всяком случае встречали не как большевиков. Наш маленький пограничник тоже взялся за карандаш. Из его жестов и рисунков мы поняли, что он имеет медаль за отличную стрельбу; медаль эта висела у него на штанах, и что на озере они ловят форелей и стреляют диких уток. Начальник заставы к этим уткам дорисовал еще что-то слегка похожее на тетерева. Житье тут, видимо, было совсем спокойное. Жена начальника заставы погнала нас всех спать: и меня с Юрой и пограничников и начальника заставы. Для нас были уже уготованы две постели, настоящие, всамделишные, человеческие постели. Как-то неудобно было лезть со своими грязными ногами под грубые, но белоснежно чистые простыни, как-то неловко было за нашу лагерную рвань, как-то обидно было, что эту рвань наши пограничники считают не большевицкой, а русской рванью.

Жена начальника заставы что-то накричала на пограничников, которые все перемигивались весело о чем-то. И они, слегка поторговавшись, улеглись спать. Я не без наслаждения вытянулся на постели — первый раз после одиночки ГПУ; где постель все-таки была. В лагере были только голые доски нар. Потом мох и еловые ветки карельской тайги. Нет, что там ни говорить, а комфорт — великая вещь.

Однако, комфорт не помогал. И вместо того ощущения, которое я ожидаю, вместо ощущения достигнутой, наконец, цели, ощущения безопасности, свободы и прочего, в мозгу кружились обрывки тяжелых мыслей и о прошлом и о будущем, а на душе было отвратительно скверно. Чистота и уют этой маленькой семейной казармы, жалостливое гостеприимство жены начальника заставы, дружественное зубоскальство пограничников, покой, сытость, налаженность этой жизни ощущались, как некое национальное оскорбление: почему же у нас так гнусно, так голодно, так жестоко? Почему советские пограничники, советские, но все же русские, встречают беглецов из Финляндии совсем не так, как вот эти финны встречали нас, беглецов из России? Так ли уж много у нас прав на ту монополию «всечеловечности» и дружественности, которую мы утверждаем за русской душой? Не знаю, как будет дальше. По ходу событий нас, конечно, должны арестовать, куда-то посадить; пока наши

личности не будут более или менее выяснены. Но вот пока что никто к нам не относится, как к арестантам, как к подозрительным. Все эти люди принимают нас, как гостей, как усталых, очень усталых путников, которых прежде всего надо накормить и подбодрить. Разве, если бы я был финским коммунистом, прорвавшимся в «отечество всех трудящихся», со мной так обращались бы? Я вспомнил финнов-перебежчиков, отосланных в качестве заключенных на стройку Магнитогорского завода. Они там вымирали сплошь. Вспомнил «знатных иностранцев» в ленинградской пересыльной тюрьме, вспомнил группы финнов-перебежчиков в деревне Койкоры; голодных, обескураженных, растерянных, а в глазах плохо скрытый ужас полной катастрофы, жестокой обманутости, провала всех надежд. Да, их так не встречали, как встречают нас с Юрой. Странно, но если бы на этой финской пограничной заставе к нам отнеслись грубее, официальное, мне было бы как-то легче. Но отнеслись так по-человечески, как я при всем моем оптимизме не ожидал. И контраст с бесчеловечностью всего того, что я видел на территории бывшей Российской Империи, навалился на душу тяжелым национальным оскорблением. Мучительным оскорблением: безвылазностью, безысходностью. И вот, еще стойка с винтовками.

Я, как большинство мужчин, питаю к оружию «влечение, род недуга». Не то, чтобы я был очень кровожадным или воинственным, но всякое оружие, начиная с лука и кончая пулеметом, как-то притягивает. И всякое оружие хочется примерять, пристрелять, почувствовать свою власть над ним. И как это я, человек настроенный безусловно пацифически, безусловно антимилитаристически, так как я питаю безусловное отвращение ко всякому убийству, и что в нелепой моей биографии есть два убийства, да и то оба раза кулаком, то свое влечение к оружию я всегда рассматривал, как своего рода тихое, но совершенно безвредное помешательство, вот вроде собирания почтовых марок: платят же люди деньги за такую ерунду...

Около моей койки была стойка с оружием, штук восемь трехлинейек русского образца, две двустволки и какая-то мне еще не известная мало калиберная винтовочка; завтра надо будет пощупать. Вот тоже, чудачки люди. Конечно, мы арестованные. Но ежели мы находимся под арестом, не следует укладывать нас спать у стойки с оружием. Казарма спит, я не сплю. Под рукой у меня оружие, достаточное для того, чтобы всю эту казарму ликвидировать в два счета, буде мне это понадобится. Над стойкой висит заряженный парабеллум маленького пограничника. В этом парабеллуме полная обойма. Маленький пограничник демонстрировал Юре механизм этого пистолета. Также, чудачки ребята...

И вот, я поймал себя на ощущении, которое стоит вне политики, вне пораженчества или оборончества, может быть, даже вообще вне сознательного «я»: первый раз за 15-16 лет жизни стоящие в стойке у стены винтовки показались мне, как винтовки дружественные, не оружие насилия, а оружие защиты от насилия. Советская винтовка всегда ощущалась, как оружие насилия, насилия надо мной, Юрой, Борисом, Авдеевым, Акульшиным, Батюшковым и так далее по алфавиту. Совершенно точно так же она ощущалась и ими. Сейчас вот эти финские винтовки, стоящие у стены, защищают меня и Юру от советских винтовок. Это очень тяжело, но все-таки это факт. Финские винтовки нас защищают; из русских винтовок мы были бы расстреляны, как были расстреляны миллионы других русских людей — помещиков и мужиков, священников и рабочих, банкиров и беспризорников. Как, вероятно, уже расстреляны те инженеры, которые пытались было бежать из туломского отделения социалистического рая и в момент нашего побега еще досиживали свои последние дни в Медгорской тюрьме, как расстрелян Акульшин, если ему не удалось прорваться в заонежскую тайгу. Как были бы расстреляны сотни тысяч русских эмигрантов, если бы они появились на родной своей земле.

Мне захотелось встать и погладить эту финскую винтовку. Я понимаю, очень плохая иллюстрация для патриотизма. Я не думаю, чтобы я был патриотом хуже всякого другого русского. Плохим был патриотом; плохими патриотами были все мы, хвастаться нам нечем. И мне тут хвастаться нечем. Но вот, при всей моей подсознательной, фрейдовской тяге ко всякому оружию, меня от всякого советского оружия пробирала дрожь отвращения, страха и ненависти. Советское оружие — это в основном орудие расстрела. А самое страшное в нашей жизни заключается в том, что советская винтовка — одновременно и русская винтовка. Эту вещь я понял только на финской пограничной заставе. Раньше я ее не понимал. Для меня, как и для Юры, Бориса, Авдеева, Акульшина, Батюшкова и так далее по алфавиту советская винтовка была только советской винтовкой. О ее русском происхождении там не было и речи. Сейчас, когда эта винтовка не грозит голове моего сына, я могу рассуждать, так сказать, объективно. Когда эта винтовка, советская ли, русская ли, будет направлена в голову моего сына, моего брата, то ни о каком там патриотизме и территориях я рассуждать не буду. И Акульшин не будет. И ни о каком «объективизме» не будет и речи. Но лично я, находясь почти в полной безопасности от советской винтовки, удрав от всех прелестей социалистического строительства, уже начинаю ловить себя на подленькой мысли: я-то удрал, — а ежели там еще миллион людей будет настреляно, что ж, по этому поводу можно будет написать негодующую статью и посоветовать

тов. Сталину согласиться с моими бесспорными доводами о вреде диктатуры, об утопичности социализма, об угашении духа и о прочих подходящих вещах. И, написав статью, мирно и с чувством исполненного морального долга пойти в кафе, выпить чашку кофе со сливками, закурить за две марки сигару и «объективно» философствовать о той девочке, которая пыталась иссохшим своим тельцем растаять кастрюлю замороженных помоев, о тех четырех тысячах ни в чем не повинных русских ребят, которые догнивают страшные дни свои в «трудовой» колонии Водораздельского отделения ББК ГПУ и о многом другом, что я видал «своими очима». Господа Бога молно своего, чтобы хоть эта уж чаша меня миновала.

Никогда в своей жизни, а жизнь у меня была путанная, не переживал я такой страшной ночи, как эта первая ночь под гостеприимной и дружественной крышей финской пограничной заставы. Дошло до великого соблазна: взять парабеллум маленького пограничника и ликвидировать все вопросы «на корню». Вот это дружественное человечье отношение к нам, двум рваным, голодным, опухшим и конечно подозрительным иностранцам — оно для меня было, как пощечина.

Почему же здесь, в Финляндии, такая дружественность, да еще ко мне, представителю народа, когда-то «угнетавшего» Финляндию? Почему же там, на моей родине, без которой мне все равно никакого житья нет и не может быть, такой безвылазный, жестокий, кровавый кабак? Как это все вышло? Как это я, Иван Лукьянович Солоневич, рост выше среднего, глаза обыкновенные, нос картошкой, вес семь пудов, особых примет не имеется, как это я, мужчина и все прочее, мог допустить этот кабак. Почему это я, не так, чтобы трус и не так, чтобы совсем дурак, на практике оказался и трусом и дураком?

Над стойкой с винтовками мирно висел парабеллум. Мне было так мучительно, и этот парабеллум так меня тянул, что мне стало жутко. Что это, с ума схожу? Юра мирно похрапывал. Но Юра за весь этот кабак не ответчик. Я ответчик. И мой сын Юра мог бы, имел право меня спросить: так как же ты все это допустил?

Но Юра не спрашивал. Я встал, чтобы уйти от парабеллума и вышел на двор. Это было несколько неудобно. Конечно, мы были арестованными и конечно не надо было ставить наших хозяев в неприятную необходимость сказать мне: «Ну, уж вы, пожалуйста, не разгуливайте. В сенцах спал пес и сразу на меня окрысился. Маленький пограничник сонно вскочил, попридержал пса, посмотрел на меня сочувственным взглядом — я думаю, вид у меня был совсем сумасшедший — и снова улегся спать. Я сел на пригорке над озером и неистово курил всю ночь. Бледная северная заря поднялась над тайгой. С

того места, на котором я сидел, еще видны были леса русской земли, в которых гибли десятки тысяч русских — невольных насельников Беломорско-Балтийского комбината и прочих в этом же роде.

Было уже совсем светло. Из какого-то обхода вернулся патруль, посмотрел на меня, ничего не сказал и прошел в дом. Через полчаса вышел начальник заставы, оглядел меня сочувственным взглядом, вздохнул и пошел мыться к колодцу. Потом появился и Юра; он подошел ко мне и осмотрел меня критически:

— Как-то не верится, что все это уже сзади. Неужели, в самом деле драпанули?

И потом, заметив мой кислый вид, утешительно добавил:

— Знаешь, у тебя сейчас просто нервная реакция. Отдохнешь — пройдет.

— А у тебя?

Юра пожал плечами.

— Да как-то действительно думал, что будет иначе. Немцы говорят. *Bleibe in Lande und naehre dich reichlich.*

— Так что же? Может быть, лучше было оставаться?

— Э, нет. Ко всем чертям. Когда вспоминаю подпорожский УРЧ, БАМ, детишек — и сейчас еще словно за шиворот холодную воду льют. Ничего. Не раскисай, Ва.

Нас снова накормили до отвала. Потом все население заставы жало нам руки и под конвоем тех же двух пограничников, которые встретили нас в лесу, мы двинулись куда-то пешком. В версте от заставы на каком-то другом озере оказалась моторная лодка, в которую мы и уселись все четверо. Снова лабиринты озер, протоков, речонок. Снова берега, покрытые тайгой, болотами, каменные осыпи, завалы бурелома на вершинах хребтов. Юра посмотрел и сказал: «Брр! Больше я по этим местам не хожу. Даже смотреть не хочется».

Но все-таки стал смотреть. Сейчас из этой моторки своеобразный карельский пейзаж был таким живописным, от него веяло миром лесной пустыни, в которой скрываются не заставы ГПУ, а Божьи отшельники. Моторка вспугивала стаи диких уток. Маленький пограничник пытался было стрелять их из парабеллума. По Юриному лицу было видно, что у него руки чесались. Пограничник протянул парабеллум и Юре. В Медгоре этого бы не сделали. Раза три и Юра промазал по стайке плававших у камышей уток. Утки снялись и улетели.

Солнце подымалось к полдню. На душе становилось как-то яснее и спокойнее. Может быть и в самом деле Юра прав, это было только

нервной реакцией. Около часу дня моторка пристала к какой-то спрятанной в лесных зарослях крохотной деревушке. Наши пограничники побежали в деревенскую лавчонку и принесли папирос, лимонаду и еще что-то в этом роде. Собравшиеся у моторки молчаливые финны сочувственно выслушали оживленное повествование нашего маленького конвоира и задумчиво кивали своими трубками. Маленький конвоир размахивал руками так, как если бы он был не финном, а итальянцем и подозреваю, врал много и сильно. Невидимо, врал достаточно живописно.

К вечеру добрались до какого-то пограничного пункта, в котором обитал патруль из трех солдат. Снова живописные рассказы нашего пограничника; их размер увеличивался с каждым новым опытом и невидимому обогащался новыми подробностями и образами. Наши хозяева наварили нам полный котел ухи и после ужина мы улеглись спать на сене. На этот раз я спал, как убитый.

Рано утром мы пришли в крохотный городок — сотня деревянных домиков, раскинутых среди вырубленных в лесу полянок. Как оказалось впоследствии, городок назывался Иломанси, и в нем находился штаб какой-то пограничной части. Но было еще рано, и штаб еще спал. Наши конвоиры с чего-то стали водить нас по каким-то знакомым своим домам. Все шло, так сказать, по ритуалу. Маленький пограничник размахивал руками и повествовал; хозяйки, охая и ахая, устремлялись к плитам, через 10 минут на столе появлялись кофе, сливки, масло и прочее. Мы с любопытством и не без горечи разглядывали эти крохотные комнатки, вероятно, очень бедных людей, занавесочки, скатерти, наивные олеографии на стенах, пухленьких и чистеньких хозяев — такой слаженный, такой ясный и уверенный быт. Да, сюда бы пустить наших раскулачивателей, на эту нищую землю, на которой люди все-таки строят человеческое житье, а не коллективизированный бедлам.

В третьем по очереди доме мы уже не могли ни выпить, ни съесть ни капли и ни крошки. Хождения эти были закончены перед объективом какого-то местного фотографа, который увековечил нас всех четверых. Наши пограничники чувствовали себя соучастниками небывалой в этих местах сенсации. Потом пошли к штабу. Перед вышедшим к нам офицером наш маленький пограничник петушком вытянулся в струнку и стал о чем-то оживленно рассказывать. Но так как рассказывать да еще и оживленно без жестикуляции он, очевидно, не мог, то от его субординации скоро не осталось ничего: нравы в финской армии, видимо, достаточно демократичны.

С офицером мы, наконец, могли объясниться по-немецки. С нас сняли допрос — первый допрос на буржуазной территории, несложный допрос — кто мы, что мы, откуда и прочее. А после допроса снова стали кормить. Так как в моем лагерном удостоверении моя профессия была указана «Инструктор физкультуры», то к вечеру собралась группа солдат; один из них неплохо говорил по-английски, и мы занялись швырянием диска и ядра. Финские «нейти», что соответствует французскому «мадмазель», стали кругом, пересмеивались и шушукались. Не большая казарма и штаб обслуживались женской прислугой. Все эти «нейти» были такими чистенькими, такими новенькими, как будто их только что выпустили из магазина самой лучшей, самой добросовестной фирмы. Еще какие-то «нейти» принесли нам апельсинов и бананов, потом нас уложили спать на сено, конечно, с простынями и прочим. Утром наши конвоиры очень трогательно распрощались с нами, жали руки, хлопали по плечу и говорили какие-то, вероятно, очень хорошие вещи. Но из этих очень хороших вещей мы не поняли ни слова.

В КАТАЛАЖКЕ

В Иломанси мы были переданы, так сказать, в руки гражданских властей. Какой-то равнодушного вида парень повез нас в автобусе в какой-то городок с населением, вероятно, тысяч в десять, оставил нас на тротуаре и куда-то исчез. Мимохожая публика смотрела на нас взорами, в которых сдержанность тщетно боролась с любопытством и изумлением. Потом подъехал какой-то дядя на мотоцикле, отвез нас на окраину города, и там мы попали в каталажку. Нам впоследствии из вежливости объяснили, что это не каталажка, то есть не арест, а просто карантин. Ну, карантин, так карантин. Каталажка была домашняя, и при нашем опыте удрать из нее не стоило решительно ничего. Но не стоило и удирать. Дядя, который нас привез, сделал было вид, что ему по закону полагается устроить обыск в наших вещах, подумал, махнул рукой и уехал куда-то восвояси. Часа через два вернулся с тем же мотоциклом и повез нас куда-то в город, как оказалось, в политическую полицию.

Я не очень ясно представляю себе, чем и как занята финская политическая полиция. Какой-то высокий, средних лет господин ошаршил меня вопросом: «Ви член векапебе?»

Следующий вопрос заданный по шпаргалке, звучал приблизительно так:

— Ви член мопр, ви член оптете? — под последним, вероятно, подразумевалось «Общество пролетарского туризма», ОПТЭ.

Мы переели на немецкий язык, и вопрос о моих многочисленных членствах как-то отпал. Заполнили нечто вроде анкеты. Я попросил своего следователя о двух услугах: узнать, что стало с Борисом: он должен был перейти границу приблизительно одновременно с нами и одолжить мне денег для телеграммы моей жене в Берлин. На этом допрос и закончился. На другой день в каталажку прибыл мой постоянный перевозчик на мотоцикле в сопровождении какой-то очень делового вида «нейти», такой же чистенькой и новенькой, как и все прочие. «Нейти», оказывается, привезла мне деньги, телеграфный перевод из Берлина и телеграмму с поздравлением. Еще через час меня вызвали к телефону, где следователь, дружески поздравив меня, сообщил, что некто, именуемый себя Борисом Солоневичем, перешел 12-го августа финскую границу в районе Сердоболя. Юра, стоявший рядом, по выражению коего лица понял, в чем дело. — Значит и с Бобом все в порядке. Значит, все курилки живы. Вот это класс! — Юра хотел было ткнуть меня кулаком в живот, но запутался в телефонном проводе. У меня перехватило дыхание: неужели, все это — не сон!

9-го сентября 1934-го года около 11-ти часов утра мы въезжали на автомобиле на свою первую буржуазную квартиру. Присутствие г-жи М., представительницы русской колонии, на попечение и иждивение которой мы были, так сказать, сданы финскими властями, не могло остановить ни дружеских излиятий, ни беспокойных вопросов, как бежали мы, как бежал Борис, и как это все невероятно, неправдоподобно, что вот едем мы по вольной земле, и нет ни ГПУ, ни лагеря, ни девятнадцатого квартала, нет багровой тени Сталина и позорной необходимости славить гениальность тупиц и гуманность палачей.

Борис Солоневич

МОЙ ПОБЕГ ИЗ «РАЯ»

В той массе писем, которыми бомбардирует нас читатели со всех концов мира, все чаще повторяется запрос к брату — а что же случилось с третьим «советским мушкетером» Борисом, то есть со мной. Мой брат Иван, автор книги РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ решил не излагать сам историю моего побега, а так сказать, просто передал мне перо.

Предлагаемый читателям рассказ является заключительной главой моей книги «Русские скауты в пожаре революции» и печатается здесь почти без изменений.

В качестве некоторого предисловия я в нескольких словах сообщу, как проходила моя «единоличная» эпопея после расставания с братом в Подпорожьи.

Санитарный городок прожил недолго. Прежде всего Гулаг не слишком ласково отнесся к мысли концентрировать отбросы лагеря, — инвалидов и слабосильных в одном месте; вдобавок недалеко от железной дороги и судоходной реки. К тому же академик Графтио, строитель гидростанции номер 2, предъявил претензии на бараки Погры для своих рабочих. Словом, сангородок не без содействия лирической мадамзель Шац был раскассирован, и я переброшен в столицу «королевства Свирьлага» Лодейное Поле.

С тех пор, как император Петр строил там свои ладьи, сиречь флот, этот городок мало вырос, в нем было не больше десяти тысяч жителей, и назвать его городом можно было лишь при сильном напряжении фантазии.

На окраине этого городка был расположен лагерный пункт с 3.000 невольных жителей.

И вот туда начальником санитарной части и был назначен я. и вот оттуда-то в один день с братом я бежал из «счастливейшей родины самых счастливых людей во всем мире и его окрестностях» .

В своей медицинской деятельности много мне пришлось видеть таких оборотных сторон лагерной жизни, которые лучше бы никому не

видеть. Если удастся, я расскажу об этих сторонах. Здесь же моя тема — это только побег *historia drapandi*, тот самый «драпеж», о котором сейчас снится с холодным потом, а вспоминается с гордостью и смехом.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ — 28 июля 1 934 года

Третий раз. Неужели, судьба не улыбнется мне и на этот раз!

И я обводил последним взглядом» проволочные заборы лагеря, вооруженную охрану, толпы голодных, измученных заключенных, а в голове все трепетала и билась мысль:

— Неужели и этот побег не удастся!

Хорошо запомнился мне этот день. Ночью меня будили «только» два раза — к самоубийце и тяжело больному. Рано утром привели маленького воришку, почти мальчика лет 14, — который пытался бежать в сторону Ленинграда и был пойман собаками-ищейками. Т ело и кожа висели ключьями. Ну, что ж. Может, завтра и меня приведут в таком виде.

День проходил, как во сне. К побегу все было готово, и нужно было ждать вечера. Из самой ограды лагеря я должен был выйти налегке. Все мои запасы для длительного похода я хранил в аптечке спортивного стадиона в мешочках и пакетах с надписями «Venepa» с черепом и скрещенными костями. А свои запасы я собирал несколько месяцев, урывая от скудного пайка, требуя для «медицинского анализа» продукты из складов и столовых. И для 2-3 недель тяжелого пути у меня было килограмма четыре макарон, кило три сахару, кусок сала и несколько сушеных рыб. Как-нибудь дойду!

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА

Прежде всего нужно было выйти из ограды лагеря так, чтобы не возбудить подозрений. Я, как доктор, пользовался некоторыми возможностями покинуть лагерь на несколько часов, но для успешности побега нужно было обеспечить себе большую свободу действий. Нужно было, чтобы меня не начали искать в этот вечер. Случай помог этому.

— Вам телеграмма, доктор, — сказал, догнав меня, санитар, когда я по дощатому мостку через болото шел в амбулаторию.

Я беспокойно развернул листок. Телефограмма за несколько часов до побега не может не беспокоить.

«Начальнику Санитарной Части, д-ру Солоневичу. Предлагается явиться к 17 часам сегодня на стадион Динамо. Начальник административного отдела Скороскоков».

На душе просветлело, ибо это вполне совпадало с моими планами.

В 4 часа с санитарной сумкой, спокойный с виду, но с сильно бьющимся сердцем, я торопливо направлялся к пропускным воротам лагеря.

— Вам куда, доктор? — лениво спросил сидевший в дежурной комнате комендант.

Увидав его знакомое лицо, я облегченно вздохнул, этот не станет придираться. Не раз, когда ему нужно было заступать на дежурство, а изо рта широкой струей несло винным перегаром, я выручал его ароматическими средствами из аптеки. Этот из простой благодарности не будет ни задерживать, ни торопиться доносить, что такой-то заключенный не прибыл вовремя. А для меня и каждая задержка и каждый лишний час — вопрос, может быть, жизни и смерти.

— Да вот, вызывают в Динамо, а потом на операцию. Вот телефограмма,— ворчливо ответил я. — Тут целую ночь не спал, и теперь, вероятно, опять на всю ночь. Жизнь собачья.

— Ну что ж, дело служебное, — философски заметил комендант, сонно покачивая головой. — А на Динамо-то что сегодня?

— Да наши с Петрозаводском играют.

— Ишь ты, — оживился чекист. — Наше Динамо что ли?

— Да.

— Ну, ну. После расскажете, как там и что. Наши-то небось должны наклепать. Пропуск-то вы взяли, доктор?

— Не в первый раз. Взял, конечно.

— Ладно, проходите. А когда обратно?

— Да верно только утром. Я через северные ворота пройду, там к лазарету ближе. Больные ждут.

— Ладно, идите, — и сонное лицо коменданта опустилось к газете.

Выйдя из ограды лагеря, я облегченно перевел дух. Первая задача была выполнена. Второй задачей было — уйти в леса, а третьей — уйти из СССР. Ладно. «Безумство смелых — вот мудрость жизни». Рискнем!

МОЙ ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

На стадионе Динамо предматчевая лихорадка. Команда Петрозаводска уж тренируется в поле. Два ряда скамей, окружающих

небольшую площадку с громким названием «Стадион» уже полны зрителями,

Из своего маленького врачебного кабинета я слышу взволнованные голоса местных футболистов. Видимо, что-то не клеится, кого-то не хватает.

Приготовив сумку скорой помощи, я уже собирался выйти на площадку, как неожиданно в коридоре раздевалки я столкнулся с капитаном команды, он же начальник адмтдела местного ГПУ. Толстое откормленное лицо чекиста было встревожено.

— Доктор, идите-ка сюда. Только тихонько, чтобы петрозаводцы не услышали. Тут наш игрок один в дымину пьян. Нельзя ли его сделать, чтобы он, стервец, очухался?

На скамейке в раздевалке игроков действительно лежал и что-то мычал человек в форме войск ГПУ. Когда я наклонился над ним и тронул его за плечо, всклокоченная голова пьяного качнулась, повела мутными глазами и снова тяжело легла на лавку.

— Нет, товарищ Скороскоков. Ничего тут не выйдет. Чтобы он очухался, кое-что, конечно, можно устроить. Но играть он все равно не сможет. Это категорически. Лучше уж и не трогать. А то он еще скандалов наделает.

— Вот, сукин сын! И этак подвести всю команду! Посажу я его на недельку под арест. Будет знать. Черт поberi. Лучший бек.

Через несколько минут из раздевалки опять с озабоченным лицом вышел Скороскоков и с таинственным видом поманил меня в кабинет.

— Слушайте, доктор, — взволнованно сказал он тихим голосом, когда мы остались одни. Вот какая штукенция. Ребята предлагают, чтобы вы сегодня за нас сыграли.

— Я? За Динамо?

— Ну да. Игрок вы, кажись, подходящий. Есть ребята, которые вас еще по Москве и по Питеру помнят. Вы тогда в сборной флота играли. Так как, сыграете? А?

— Да я ведь заключенный.

— Ни хрена. Ребята наши не выдадут. А петрозаводцы не знают. Вид у вас знатный. Выручайте, доктор. Не будьте сволочью. Как это говорится. «Чем черт не шутит, когда Бог спит». А для нас без хорошего бека — зарез.

Волна задора взмыла в моей душе. Черт поberi! Действительно, погибать, так с музыкой. Сыграть разве в самом деле в последний

разочек перед побегом, перед ставкой на смерть или победу? Эх, куда ни шло!

— Ладно, давайте форму!

— Вот это дело! — одобрительно хлопнул меня по плечу капитан. — Компанейский вы парень, тов. Солоневич. Сразу видно — свой в доску.

Каково было ему узнать на следующий день, что этот «свой парень» удрал из лагеря сразу же после футбольного матча. Иная гримаса мелькнула у него на лице, когда он, вероятно, отдавал приказание: «Поймать обязательно. В случае сопротивления пристрелить, как собаку»

МАТЧ

«Футбол — это такая игра, где 22 больших дурака гоняют маленький, маленький мячик — и все довольны» — шутка.

Я не берусь описывать ощущений футболиста в горячем серьезном матче. Радостная автоматичность привычных движений, стремительный темп сменяющихся впечатлений, крайняя психическая сосредоточенность, напряжение всех мышц и нервов, биение жизни и силы в каждой клеточке здорового тела — все это создает такой пестрый клубок ярких переживаний, что еще не родился тот поэт или писатель, который справился бы с такой темой.

Да и никто из «артистов пера» кроме, кажется, Конан Дойля, не возвышался до искусства хорошо играть в футбол. А это искусство, батеньки мои, хотя и менее уважаемое, чем искусство писать романы, но никак не менее трудное. Тяжелая задача. Не зря ведь говорит народная мудрость: «У отца было три сына — двое умных, а третий футболист». А если разговор дошел уж до таких интимных ноток, так уж позвольте мне признаться, что у моего отца как раз было три сына и — о, несчастье! — все трое футболисты. А я, мимоходом будь сказано, третий — то и есть.

Ну, словом, минут за пять до конца матча счет был 2:2. Толпа зрителей гудела в волнении. Взрывы нервного смеха и аплодисментов то и дело прокатывались по стадиону, и все растущее напряжение игроков проявлялось в бешеном темпе игры и в резкости.

Вот, недалеко от ворот противника наш центрфорвард удачно послал мяч «на вырыв», и худощавая фигура инсайда метнулась к воротам. Прорыв. Не только зрители, но и все мы, стоящие сзади линии нападения, замираем. Дойдет ли до ворот наш игрок? Но наперерез ему уже бросаются два защитника. Свалка «коробочка», и наш игрок лежит на земле, грубо сбитый с ног. Свисток. Секунда громадного напряжения.

Судья медленно делает шаг к воротам и мгновенно все понимают причину свистка. Penalty kick.

Волна шума пронесется по толпе. А наши нервы, нервы игроков, напрягаются еще сильнее. Как-то сложится штрафной у дар! Пропустить удачный момент в горячке игры не так уж обидно. Но промазать penalty kick, да еще на последних минутах матча — дьявольски обидно. Кому поручат ответственную задачу — бить этот штрафной удар?

У мяча кучкой собрались наши игроки. Я отхожу к своим воротам. Наш голкипер, на совести которого сегодня один легкий мяч, не отрывает глаз от того места, где уже установленный судьей мяч ждет рокового удара.

— Мать моя родная! Неужели смажут?

— Ни черта, — успокаиваю я. — Пробьем, как в бубен.

— Ну, а кто пробьет?

В этот момент через все поле пронесется крик нашего капитана:

— Эй, товарищ Солоневич, кати сюда!

Что за притча? Зачем я им нужен? Неужели, мне поручат бить? Бегу. Взволнованные лица окружают меня. Скороскоков вполголоса говорит:

— А ну-ка, доктор. Ударь-ка ты! Наши ребята так нервничают, что я прямо боюсь. А вы у нас дядя хладнокровный. Людей резать привыкли, так тут вам пустыки. Двиньте-ка.

Господи! И бывают же такие положения. Через несколько часов я буду «в бегах», а теперь я решаю судьбу матча между чекистами, которые завтра будут ловить меня, а потом может быть и расстреливать. Чудеса жизни.

Не торопясь методически я устанавливаю мяч и медленно отхожу для разбега. Кажется, что во всем мире остаются только двое — я и вражеский голкипер, согнувшийся и замерший в воротах. По старому опыту я прекрасно знаю, что в такие минуты игра на нервах — первое дело. Поэтому я уверенно насмешливо улыбаюсь ему в лицо и не спеша засучиваю рукава футбольной майки. Я знаю, что каждая секунда, выигранная мною до удара, ложится таким бременем на психику голкипера. Не хотел бы я быть на его месте.

Все замерло. На поле и среди зрителей есть только одна движущаяся фигура — это я. Но я двигаюсь неторопливо и уверенно. Мяч стоит хорошо. Бутца плотно облегает ногу. В нервах приподнятая уверенность.

Вот, наконец и свисток. Бедный голкипер! Если все в лихорадке ожидания, то каково ему!

Несколько секунд я напряженно всматриваюсь в его глаза, определяю, в какой угол ворот бить и плавно делаю первые шаги разбега. Потом мои глаза опускаются на мяч и — странное дело — продолжают видеть ворота. Последний стремительный рывок; ступня ноги плотно пристает к мячу; и в сознании наступает перерыв в несколько сотых секунды. Я не вижу полета мяча и не вижу рывка голкипера. Эти кадры словно вырезаются из фильма. Но в следующих кадрах я уже вижу, как трепыхается сетка над прыгающим в глубине ворот мечом и слышу какой-то общий вздох игроков и зрителей.

Свисток, и ощущение небытия прекращается. Гол!... Гул аплодисментов сопровождает нас, отбегающих на свои места. Еще несколько секунд игры и конец. 3:2.

ЗАДАЧА НОМЕР ДВА

Затихло футбольное поле. Шумящим потоком вылились за ворота зрители. Оделись и ушли взволнованные матчем игроки. Я задержался в кабинете, собрал в сумку свои запасы и через заднюю калитку вышел со стадиона.

Чтобы уйти в карельские леса, мне нужно было перебраться через большую и полноводную реку Свирь. А весь город, река, паром на ней, все переправы были окружены плотной цепью сторожевых постов. Мало кому из беглецов удавалось прорваться даже через эту первую цепь охраны. И для переправы через реку я прибегаю к целой инсценировке.

В своем белом медицинском халате, с украшенными красными крестами сумками я торопливо сбежал к берегу, изображая страшную спешку. У воды несколько баб стирали белье, рыбаки чинили сети, а двое ребяташек с лодочки удили рыбу. Регулярно обходящего берег красноармейского патруля не было видно.

— Товарищи, — возбужденно сказал я рыбакам. — Дайте лодку поскорее! Там, на другом берегу человек умирает. Лошадь ему грудь копытом пробила. Каждая минута дорога.

— Ах ты, Господи, несчастье-то какое! Что ж его сюда не привезли?

— Да трогаться с места нельзя. На дороге помереть может. Шутка сказать, грудная клетка вся сломана. Нужно на месте операцию делать. Вот у меня с собой и все инструменты и перевязки. Может, Бог даст, еще успею.

— Да, да. Верно. Эй, ребята! — зычно закричал старший рыбак.
— Гребите сюда. Вот доктора отвезите на ту сторону. Да что б живо!

Малыши посадили меня на свою лодочку и под соболезирующие замечания поверивших всему рассказу рыбаков я отъехал от берега.

Вечерело. Солнце уже опускалось к горизонту, и его косые лучи, отражаясь от зеркальной поверхности реки, озаряли все золотым сиянием. Где-то там на западе лежал свободный мир, к которому я так жадно стремился. И я вспомнил слова поэта.

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна;
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Но туда выносят волны
Только бодрого душой.
Смело, братья! Ветром полный,
Прям и крепок парус мой.

Вот, наконец, и северный берег. Толчок, и лодка стала. Я награбил ребят и направился к отдаленным домикам этого пустынного берега, где находился воображаемый пациент. Зная, что за мной могут следить, я шел медленно и не скрываясь. Зайдя за холмик, я пригнулся и скользнул в кусты. Там, выбрав укромное местечко, я прилег и стал жать наступления темноты.

Итак, две задачи уже выполнены успешно: я выбрался из лагеря и переправился через реку. Как будто немедленной погони не должно быть. А к утру я уже буду в глубине карельских лесов и болот. Ищи иголку в стоге сена!

На мне плащ, сапоги, рюкзак. Есть немного продуктов и котелок. Компаса, правда, нет, но есть компасная стрелка, зашитая в рукаве. Карты тоже нет, но как-то на аудиенции начальника лагеря я присмотрелся к висевшей на стене карте. Идти сперва 100 километров прямо на север, потом еще 100 на северо-запад и потом свернуть прямо на запад; пока, если Бог даст, не удастся перейти границы между волей и тюрьмой.

Темнело все сильнее. Где-то вдали гудели паровозы, слышался городской шум и лай собак. На моем берегу было тихо.

Я перевел свое снаряжение на походный лад, снял медицинский халат, достал свою драгоценную компасную стрелку; надев ее на булавку, наметил направление на север и проверил свою боевую готовность.

Теперь, если не будет роковых случайностей, успех моего похода зависит от моей воли, сил и опытности. Мосты к отступлению уже сожжены. Я уже находился в бегах. Сзади меня уже ждала пуля, а впереди, если повезет, свобода.

В торжественном молчании наступившей ночи я снял шапку и перекрестился.

С Богом! Вперед!

СРЕДИ ЛЕСОВ И БОЛОТ

Теперь возьмите. Друг-читатель возьми карту старушки Европы. Там к Северо-востоку от Ленинграда вы легко найдете большую область Карелию, на территории которой живет 150.000 «вольных» людей и 350.000 заключенных в лагери ГПУ. Если вы всмотритесь более пристально, и карта хороша, вы между величайшими в Европе озерами Ладожским и Онежским заметите тоненькую ниточку реки, и на ней маленький кружок обозначающий городок. Вот из этого-то городка Лодейное Поле, на окраине которого расположен один из ЛагереЙ, я и бежал 28 июля 1934 года.

Каким маленьким кажется это — расстояние на карте! А в жизни это настоящий крестный путь.

Впереди передо мной был трудный поход, километров 250 по прямой линии. А какая может быть «прямая линия», когда на пути лежат болота, считающиеся не проходимыми, когда впереди заглохшие леса, где сеть озер переплелась с реками, где каждый клочок удобной земли заселен, когда местное население обязано ловить меня, как дикого зверя, когда мне нельзя пользоваться не только дорогами, но и лесными тропинками из-за опасности встреч, когда у меня нет карты, и свой путь я знаю только ориентировочно, когда посты чекистов со сторожевыми собаками могут ждать меня за любым кустом.

Легко говорить «прямой путь».

И все это одному, отрываясь от всего, что дорого человеческому сердцу — от Родины, от родных и любимых.

Тяжело было у меня на душе в этот тихий июльский вечер.

ВПЕРЕД

Идти ночью с грузом по дикому лесу. Кто из охотников, военных, скаутов не знает всех опасностей такого похода? Буреломы и ямы, корни и суки, стволы упавших деревьев и острые обломки скал, все

это угрозы не меньше, чем пули сторожевого поста. А ведь более нелепого и обидного положения нельзя было и придумать — сломать или вывихнуть себе ногу в нескольких шагах от места побега.

При призрачном свете луны (полнолуние тоже было принято во внимание при назначении дня побега), я благополучно прошел несколько километров и с громадной радостью вышел на обширное болото. Идти по нему было очень трудно: ноги вязли до колен в мокрой траве и мхе. Кочки не давали упора, и не раз я кувыркался лицом в холодную воду болота. Но скоро удалось приноровиться, и в мягкой тишине слышалось только чавканье мокрого мха под моими ногами.

Пройдя 3-4 километра по болоту, я дошел до леса и обернулся, чтобы взглянуть в последний раз на далекий уже город. Чуть заметные огоньки мелькали за темным лесом на высоком берегу Свири, да по-прежнему паровозные гудки изредка своим мягким, протяжным звуком нарушали мрачную тишину и леса и болота.

Невольное чувство печали и одиночества охватило меня.

ГОРЬКИЕ МЫСЛИ

Боже мой! Как могло случиться, что я очутился в дебрях карельских лесов в положении беглеца, человека вне закона, которого каждый должен преследовать, и каждый может убить?

За что разбита и смята моя жизнь? И неужели нет иной жизни, как только по тюрьмам, этапам, концлагерям, ссылкам, в побегах, опасностях, под постоянным гнетом, не зная дома и семьи, никогда не будучи уверенным в куске хлеба и свободе на завтра!

Неужели не дико то, что только из любви и преданности скаутскому братству, только за то, что я старался помочь молодежи в ее горячем стремлении служить Родине по великим законам скаутизма, моя жизнь может быть так исковеркана!

И неужели не может быть иного пути, как только, рискуя жизнью, уйти из родной страны, ставшей мне не матерью, а мачехой!

Так, может быть смириться? Признать несуществующую вину, стать социалистическим рабом, над которым можно делать любые опыты фанатикам?

Нет! Уж лучше погибнуть в лесах, чем задыхаться и гнить душой в стране рабства. И пока я еще не сломан, пока есть еще силы и воля, надо бежать в другой мир, где человек может жить свободно и спокойно, не испытывая гнета и насилия.

Вопрос поставлен правильно. Смерть или свобода! Третьего пути не дано.

Ну, что ж. Я сжал зубы, тряхнул головой к вошел во мрак лесной чащи.

друг всякой пугливой и преследуемой лесной твари. Дождь уничтожат запах моего следа, и теперь я уже не боялся погони из города или лесозаготовительного пункта.

ПЕРВАЯ ОПАСНОСТЬ

Северная летняя ночь коротка. Уже часа через два стало светать, и я шел все увереннее и быстрее, торопясь как можно дальше уйти от проволоки концлагеря.

На пути к северу лежали болота, леса и кустарники. Идти пока было легко. Ноги, как говорят, сами собой двигались, как у вырвавшегося на свободу дикого зверя. И я все ускорял одежда, забыв об отдыхе и пище.

Но вот почва стала повышаться, и в середине дня я услышал невдалеке удары топора. Вслушавшись, я заметил, что удары раздаются и сбоку. Очевидно, я попал на участок лесозаготовок, где работают заключенные под соответствующей охраной. Отступать назад было опасно, сзади все-таки могла быть погоня с собаками из города. Нужно было прорываться вперед.

Я поднял капюшон моего плаща, прикрепил впереди для камуфляжа большую еловую ветку, которая закрывала лицо и медленно двинулся вперед, сожалея, что у меня теперь нет морского бинокля и проверенной дальнобойной малокалиберной винтовки, отобранной в прошлом году при аресте. С ними было бы много спокойней.

Думал ли я, что навыки веселых скаутских лесных игр окажутся для меня спасательными в этом опасном походе?

И я медленно крался вперед, пригибаясь к земле, скользя от дерева к дереву и притаиваясь у кустов.

Вот, что-то мелькнуло впереди. Я замираю за кустом. Говор, шум шагов. Темные человеческие фигуры показались и скрылись за деревьями. Опять ползком вперед. Неуклюжий плащ, тяжелая сумка, еловая ветка мешают и давят. Горячее солнце печет и сияет, пот заливает глаза, рой комаров гудит у лица, руки исцарапаны при ползании, но напряжение таково, что все это не замечается.

Все дальше и дальше, зигзагами обходя опасные места, где рубили лес, выжидая и прячась, бегом и ползком, почти теряя надежду и

опять ободряясь, я прорвался через опасную зону и опять вышел к болоту.

Первое лесное препятствие было обойдено. Правда, мои следы могли еще почуять сторожевые собаки и догнать меня, но на мое счастье к вечеру небо покрылось тучами и начал накрапывать дождик, друг всякой пугливой и преследуемой твари. Дождь уничтожил запах моего следа, и теперь я уже не боялся погони из города или лесозаготовительного пункта.

Этот дождик порвал последнюю нитку моей связи со старым миром. Теперь я был заброшен совсем один в дебри тайги и болот и предоставлен только своим силам и своему счастью.

«Теоретически» плохо было мне спать в эту ночь; дождевые капли монотонно барабанили по моему плащу, пробиваясь сквозь ветки ели, снизу просачивалась влага почвы, в бок кололи всякие сучки и шишки; костра я, конечно, не решался разводить. Но вопреки всему этому спал я превосходно. Первый сон на свободе — это ли не лучшее условие для крепкого сна!

Часа через 3-4 стало светать, и несмотря на дождь я бодро выступил в поход. Тяжелый набухший плащ, оттягивающая плечи сумка, мокрая одежда, насосавшиеся влаги сапоги — все это отнюдь не делало уютной моей прогулки, но несмотря на все это километры откладывались за спиной вполне успешно.

НА ВОЛОСОК ОТ ОБИДНОЙ ГИБЕЛИ

Днем впереди меня развернулось широкое и длинное без конца болото. Дождь прекратился, проглянуло солнышко и высокая зеленая трава болота заискрилась в лучах солнца миллионами разноцветных капель. От солнечной теплоты дали стали закрываться белой дымкой испарений, и я смело, не боясь быть увиденным, стал пересекать это болото.

Ноги увязали чуть ли не по колено. При их вытаскивании болото фыркало, чавкало и свистело, словно смеялось над моими усилиями. Идти было очень трудно. Пот градом катился с лица и заливал очки. Платье все давно было мокро, и мускулы ног начали тупо ныть от усталости.

Скоро появились кочки, идти стало легче. Кочки пружинили под ногами, но все-таки давали какую-то опору. Скоро глаза научились по цвету узнавать наиболее прочные кочки, и только изредка спотыкаясь, я успешно шел вперед.

Уже более половины болота было пройдено, когда почва приняла другой характер. Заблестели небольшие водные пространства, окруженные желтыми болотными цветами, и зеленый ковер под моими ногами стал колебаться. Болото превращалось в трясину.

Стараясь нащупать палкой наиболее твердые места с более темным цветом травы, я пытался продолжать продвигаться вперед, как вдруг моя левая нога, прорвав верхнюю растительную пленку болота, сразу ушла в трясину выше колена. Я пошатнулся и — о, ужас! — и другая нога тоже стала уходить в глубину болота. Под обеими ногами перестала ощущаться сколько-нибудь твердая почва. Они были схвачены словно каким-то невидимым капканом, и непонятная зловещая сила потянула меня вглубь медленно и неумолимо.

Я сразу понял трагичность своего положения. Конечно, звать на помощь в этом безлюдном болоте было бесполезно. Да и помощь все равно не успела бы: болото ведь не ждет, а торжествуя засасывает свою жертву.

Боже мой! Но неужели гибнуть так бесславно, так тоскливо. Неужели сияющее солнце и искрящиеся зеленые луга будут равнодушно смотреть на то, как коричневая жижа болота подымается до груди, до лица, зальет глаза. Почему-то не так страшно, как безмерно обидно стало при мысли о такой смерти.

Эти мысли мелькнули в голове с быстротой электрической искры. Не успела моя правая нога уйти в болото до середины бедра, как я рванулся вперед, распластал руки и лег всем туловищем на поверхность болота. Струйки холодной зеленой воды потекли за ухо, за воротник, в рукава.

Спинная сумка была приторочена со всей скаутской опытностью и отстегнув только один крючок, я через голову сбросил вперед эту лишнюю тяжесть. Распределив вес тела на большую поверхность; я этим облегчил давление своей тяжести на ноги и через полминуты с облегчением почувствовал, что дальнейшее засасывание прекратилось. Упор всего тела и рук на травянистую поверхность болота преодолел силу засасывания, но от этой неустойчивой стабильности до спасения было еще далеко. Удержит ли ковер из корней растений давление моего туловища, когда я буду вытаскивать ноги или оборвется вместе с последними надеждами на спасение?

Зная, что чем отчаянней будут рывки и движения, тем ближе будет гибель, я медленно и постепенно, анализируя каждый трепет и колебание спасительной корочки, отделявшей меня от жадной болотной массы, стал вырывать ноги из капкана, Сантиметр за сантиметром осторожно и плавно я вытаскивал свои ноги из трясины и минут через

десять, показавшихся мне целым столетием, я мог, наконец, распластать их, как и руки, в стороны. Из окна, проделанного моими ногами в зеленом ковре болота, широкой струей с противным фырканьем и пузырьками выливалась на зеленую траву коричневая жижа трясины, словно стараясь не выпустить меня из своей власти.

Отплюнувшись от этой жижицы, залившей мне лицо, я пополз обратно, не решаясь сразу встать на ноги. Бросил вперед палку и зацепив зубами сумку, мне удалось удачно проползти метров 20 к первым кочкам, нащупать самую прочную кочку и встать. Инстинктивное стремление уйти подальше от этого гиблого места не позволило мне даже передохнуть, и по своим старым следам я быстро пошел обратно, с замиранием сердца ощущая под ногами каждое колебание почвы. На второе спасение уже не хватило бы сил.

Все ближе и ближе зеленая полоса леса. Ноги заплетаются от усталости. Сердце бьется в груди, как молот, пот течет, смешиваясь с зелеными струйками болотной воды. Мозг еще не может осознать всей глубины пережитой опасности, и только инстинкт жизни поет торжествующую песнь бытия.

Вот, наконец и край леса. Еще несколько десятков шагов, и я валюсь в полуобмороке к стволу сосны на желтый слой хвои, на настоящую твердую землю.

В ТУПИКЕ

К концу дня утомительной разведки я пришел к печальному выводу: путь на север был прегражден длинными полосами непроходимых болот. Только теперь я понял, почему охрана лагеря не боялась побегов на север: болота ловили беглецов не хуже, чем солдаты.

Боясь заблудиться и потерять много времени на отыскивание обходных путей, на следующий день я еще раз попытался форсировать переход через трясину и едва унес ноги, оставив в дар болотным чертям длинную жердь, спасшую меня при очередном погружении.

Выбора не было. Мне приходилось двигаться на запад, рискуя выйти к городу Олонцу или к советскому берегу Ладожского озера. И более двух суток я лавировал в лабиринте болот, пользуясь всякой возможностью продвинуться на север, но уже не решаясь пересекать широкие, предательские пространства топей.

Во время этих моих странствований как-то днем ветер донес до меня какие-то тархтящие звуки. Странное дело. Эти звуки напоминали грохот колес по мостовой. Но откуда здесь взяться мостовой? Что это, галлюцинация? Осторожно пройдя вперед, я с удивлением и радостью

увидел, что поперек болотистого района на север ведет деревянная дорога из круглых коротких бревен, уложенных в виде своеобразной насыпи, возвышавшейся на метр над поверхностью болота. Так вот откуда звуки колес по мостовой.

В моем положении всякие признаки человеческой жизни были не слишком приятны, но эта дорога была спасительницей для беглеца, застрявшего среди непроходимых топей. Остаток дня провел в глухом уголке леса, наслаждаясь отдыхом и покоем и поздно ночью вышел на дорогу.

НОЧЬЮ

Риск был велик. Любая встреча на этой узкой дороге могла бы кончиться моей поимкой и гибелью. Трудно было представить, чтобы такая дорога не охранялась. Разумеется, встречи с крестьянами я не боялся, но кто из крестьян ходит по таким дорогам?

Но другого выхода не было, и я с напряженными нервами вышел из темного леса на бревенчатую дорогу.

Туманная лунная ночь, белые полосы болотных испарений, угрюмый, молчаливый лес сзади, серо-зеленые пространства холодного болота, мокрая от росы и поблескивающая в лунном свете дорога, вся опасность этого похода со странной яркостью напомнила мне историю «Собаки Баскервилей» Конан Дойля и полные жуткого смысла слова: «Если вам дорога жизнь и рассудок, не ходите один на пустошь, когда наступает мрак, и властвуют злые силы».

Идя с напряженным до последней степени зрением и слухом по этой узкой дороге, протянутой среди пустынных топей и лесов, окруженный словно привидениями, волнами тумана и почти беззвучных шорохов этого «великого молчания», я невольно вздрагивал, и мне все чудилось, что вот-вот сзади раздастся вдруг топот страшных лап, и огненная пасть дьявольской собаки вынырнет из призрачного мрака. И страшно было оглянуться.

И вдруг... Чу! Где-то сзади, еще далеко, далеко раздался смутный шум. Неужели это галлюцинация? Я наклонился к дороге, прильнул ухом к бревнам и ясно услышал шум едущей телеги. Опасность!

Уж, конечно, не мирные крестьяне ночью ездят по таким пустынным и гибельным местам.

Нужно было добраться до леса впереди в полукилометре, и я бросился вперед, стремясь спрятаться в лесу до того, как меня заметят с телеги. Задыхаясь и скользя по мокрым бревнам, я добежал со своим

тяжелым грузом до опушки леса, соскочил с дороги и раза два провалившись в какие-то ямы, наполненные водой, залег в кусты.

Скоро телега, дребезжа, пронеслась мимо, и в тумане над силуэтами нескольких людей при свете луны блеснули штыки винтовок.

Остаток моего пути прошел благополучно, и только при проблесках утра я с сожалением свернул в лес, радуясь, что пройденные 20 километров помогли мне преодолеть самую тяжелую часть пути.

Забравшись в глушь леса, я разостлал плащ и не успев от усталости даже поесть, сразу уснул.

Проснулся я от странных звуков и, открыв глаза, увидел славную рыжую белочку, прыгавшую в 2-3 метрах над моей головой. Ее забавная острая мордочка, ловкие движения, блестящие глазки, пушистый хвостик, комичная смесь страшного любопытства и боязливости заставили меня неожиданно для самого себя весело рассмеяться. Испуганная белочка с тревожным чоканьем мгновенно взвилась вверх и там, в безопасной по ее мнению вершине, перепрыгивала с ветки на ветку, поблескивая на солнышке своей рыжей шерстью, ворча и наблюдая за названным гостем.

Почему-то эта встреча с белочкой сильно ободрила меня и смягчила мою напряженность. «Вот живет же такая животина, и горюшка ей мало», подумал я, опять засмеялся и почувствовал себя не загнанным и затравленным, а молодым, полным жизни диким зверем, наслаждающимся чудесным, опасным спортом в родном лесу, смеясь над погоней охотников.

И с новым приливом бодрости я опять пошел вперед.

Когда-нибудь сидя в своем коттедже при уютном свете и тепле массивного камина, после хорошего ужина, я не без удовольствия расскажу паре дюжин своих внучат о всех подробностях, приключениях и ощущениях этих 12-ти дней, которые, как в сказке, перенесли меня в иной мир, мир свободы и человечности.

А пока на этих страницах я опишу только некоторые кадры того многодневного, яркого фильма, которые запечатлелись в моей памяти.

ВПЛАВЬ

Предрассветный час на берегу озера. Дрожа от холода после ночи, проведенной на болоте, я собираю сучки и хворост для плота. Обходить озеро и долго и рискованно. Оно длинное; и на обоих концах видны какие-то домики. Идти без карты в обход — это, может быть, значит попасть в еще более худшую переделку.

Три связки хворосту, перевязанные шпагатом и поясами, уже на воде. Раздевшись и завернув все свое имущество в один тюк, скользя по илистому берегу, я спускаюсь в воду озера и, укрепив свой тюк на плотике, толкаю его вперед сквозь стену камыша.

Под ногами расплозятся стебли и корневища болотных растений, вокруг булькают, всплывая, пузырьки болотного газа, коричневая жижа, поднятая моими ногами со дна, расплывается в чистой воде, и желтые лилии укоризненно качают своими чашечками от поднятых моими движениями волн. Линия камыша кончается, и мой ковчег выплывает на простер озерных волн. Толкая вперед свой плотик; я не спеша плыву за ним, меняя руки и оберегая от толчков. Для меня почти каждая неудача может быть роковой. Вот если расплозится мой плотик, и вещи утонут, куда пойду я без одежды и пищи?

Метр за метром, минута за минутой все ближе противоположный берег. Не трудно одолеть 300-400 метров налегке днем, при свете солнца в компании беззаботных товарищей-пловцов. Значительно менее уютно быть одному в середине холодного карельского озера, в сыром тумане утра с качающимся впереди плотиком и далеко не ясным будущим.

Вот, наконец, опять стена камыша. Ноги находят илистый грунт, и я, окутанный, как озерный бог, зелеными травами и стеблями, выхожу на берег. Под немолчный писк тучи комаров, жалящих мое обнаженное тело, околеченев от холода, я спешу одеться и иду по холму, окружающему озеро, торопясь разогреться быстрой ходьбой.

Чу. Станный ритмичный шум. Стук мотора. Все ближе.

Притаившись за елью, я наблюдаю, как мимо по озеру проходит сторожевой катер с пулеметом на носу. Часом раньше он застал бы меня на середине озера. И тут моя фантазия отказывается рисовать невеселые картины того, что было бы дальше

ЛАЙ СЗАДИ

«От людей уйдут, от собак не уйдут», — уверенно говорили про беглецов солдаты лагерной охраны. Действительно для беглецов самой страшной угрозой были громадные ищейки, специально дрессированные для поимки заключенных, бежавших из лагеря. Патрули с такой собакой ходили по тропинкам, и собака, почуявшая след в лесу, спускалась с цепи и догоняла человека. Если последний не имел причин скрываться, он останавливался и ждал прихода патруля. Если он убегал, собака рвала его и не давала уйти.

Встречи с собаками я боялся больше всего, ибо у меня не было огнестрельного оружия, а идти рядом, отмахиваясь палкой от нападения громадного зверя — не выход из положения.

Готовясь к побегу, я достал из дезинфекционной камеры бутылку специальной жидкости — хлор-пикрина, испаряющего удушливый газ, надеясь, что это средство может обезопасить меня от погони патруля с собакой.

И вот, как-то а середине своего трудного пути мне пришлось пересечь какую-то просеку в лесу со слабо обозначенной тропинкой. Углубившись в лес дальше, я через полчаса услышал сзади себя звуки собачьего лая. Эти звуки, как мороз, пробежали у меня по коже. Погоня!

Обогнать собаку — безнадежно. Ну-ка, хлор-пикрин, выручай, дружище, не дай погибнуть. Я добежал до небольшой прогалины и, дойдя до середины, где росло несколько кустиков, залил свои следы доброй порцией ядовитой жидкости.

Потом я побежал дальше, сделал большой крюк и подошел к поляне сбоку, метрах в 300. Сзади меня была небольшая речка, которая на всякий случай была мне последней надеждой; текучая вода замывает всякий след.

Притаившись за кустом, я минут через 20 увидел, как из лесу по направлению моего следа выбежала большая сторожевая собака и, опустив голову, направилась по моему следу прямо к кустам. Сердце у меня замерло. Неужели мой хлор-пикрин не будет действовать? Но ведь тогда я беспомощен перед любой собакой, почуявшей мой след. А в приграничной полосе на каждой просеке налажены постоянные обходы солдат с собаками.

Собака бежит прямо к кустам. Все ближе. Вот она ткнулась носом во что-то и вдруг, как бы отброшенная невидимой пружиной, отскакивает назад. По ее суетливым, порывистым движениям видно, что она ошеломлена этим запахом. Из кустов неслышно выходит солдат и с удивлением смотрит, как собака трет морду о траву и мечется во все стороны. Попытки заставить ее идти вперед тщетны. И красноармеец, внимательно осмотрев местность и поставив веху, торопливо уходит назад, сопровождаемый собакой. Несмотря на всю опасность положения и возможность организованной погони я в восторге. Мой хлор-пикрин действует! Собачья угроза перестает тенью висеть над моей головой.

ВСТРЕЧА

Я застрял. Впереди — цепь озер, связанных протоками и болотами. С одной и с другой стороны видны деревни. Обойти трудно и

опасно: время жатвы, и весь крестьянский народ на полях. А путь на север лежит через озера.

Ну, что ж. Значит, опять и опять вплавь. Я осторожно выхожу из леса на луг, покрытый кустами, чтобы высмотреть место переправы на утро. Подхожу к берегу и... о, ужас! Вижу, как из прибрежных кустов на меня удивленно и испуганно смотрит человеческое лицо.

Попался, мелькает у меня в голове. Конец.

В этой пограничной местности каждый житель обязан немедленно донести на ближайший пост ГПУ о всяком незнакомом человеке. Сейчас же облава, погоня и — аминь. Я мгновенно соображаю, что в таком положении бежать — худший выход. Поэтому я нахожу в себе силы приветливо улыбнуться и сказать:

— Здорово, товарищ.

Испуг на лице человека сменяется недоверием и настороженностью, но я ободряюсь все больше, человек один и в крестьянском костюме. На крайний случай придется ему полежать связанным и с заткнутым ртом пару дней.

— Не знаете ли, далеко еще до деревни Видлино?

— Не. Не знаю, — отвечает крестьянин, сорокалетний, обросший бородой, босой человек в рваной одежде, опоясанный веревкой.

— А вы кто такой будете? — спросил он.

— Я-то? — спокойно отвечал я — А я землемер с Олонца. В вашей деревне землеустроительная комиссия была уже?

— Не. Не знаю, — мрачно и по-прежнему недоверчиво отвечает крестьянин.

— Ах, черт возьми. Неужели еще не пришли, — сержусь я. — А я-то от них отбился, думал, что они здесь. Хотел вот осмотреть погоревший лес, да заблудился.

Я знаю, как тяжело приходится теперь крестьянству при новых порядках, когда их силой заставили коллективизировать свое хозяйство. Знаю, что вопрос о своей земле, о своем хозяйстве для каждого крестьянина самый жгучий и назревший. Поэтому я стараюсь отвлечь его подозрения в том, что я беглец и спрашиваю:

— Да разве вам в деревне еще не объявили насчет передела земли?

— Какого передела? — оживляется крестьянин. Неужели в колхозы остальных загонять будут?

— Да нет. Землю по-старому, по-справедливому распределять будут. Вот у меня тут и инструменты с собой. — указываю я на свою сумку.

Разговор принимает нужное мне направление. Подогрев вопросы крестьянина несколькими фантастическими, но розовыми сообщениями об улучшении деревенской жизни, я говорю с досадой:

— Вот, вот. Дело нужное и спешное. Там меня ждут, а я вот через эту дурацкую реку перебраться не могу.

— Так вам в Ипполитово, значит? — переспрашивает мой собеседник. А у меня тут лодка. Я вас перевезу.

Вот это называется удача.

Во время переезда крестьянин, захлебываясь от волнения и путаясь в словах, рассказывает о голодной жизни в деревне, о гнете, о несправедливости, терроре. Я утешаю его своими фантазиями, и к берегу мы подъезжаем почти друзьями. Он берет у меня обещание остановиться у него в хате и на прощанье крепко пожимает мне руку.

Скрывшись в лесу, я облегченно вздыхаю. Могло бы быть много хуже.

СТОЙ!

Солнце бьет своими лучами прямо в лицо. Я иду уже на запад. По моим приблизительным расчетам граница должна быть не далее 20-30 км. Теперь передо мной самая опасная зона, пустынная, перерезанная страшными для меня просеками тропинками, дорогами и телефонными столбами. Ни одно государство в мире не охраняет так свои границы, как СССР.

Тяжело достаются последние десятки километров! Ноги изранены и опухли. Тело ноет от усталости. На плечах ремни сумки давно уже растерли кровавые полосы. Лицо опухло от укусов комаров. Через всю щеку идет шрам от острого сучка, распоровшего мне лицо при падении в лесных зарослях.

250 километров! Как это легко написать и выговорить. Какой маленькой выглядит эта дистанция на карте! А как тяжела она в жизни, в карельской тайге и болотах, когда километр лесных зарослей приходится преодолевать часто несколько часов, а топкое болото обходить несколько суток. Но несмотря на все тяжести пути, испытания и опасности, на душе все звучнее пело ощущение силы, бодрости и жизнерадостности. Черт возьми, неужели мне, старому скауту, «серому волку» охотнику и спортсмену, не выдержать этого похода!

Вот перехожу широкую, длинную болотистую поляну. Еще светло. Лучи солнца пронизывают гущу высокого леса, до которого осталось уже немного. Комары роем вьются около лица, порой заглушая все остальные звуки. Увязающие ноги тяжело переступают в густой мокрой траве.

И вдруг крик:

— Эй, стой!

Этот крик не только не остановил меня, но как электрическим разрядом рванул к лесу. 30 метров. Успею ли?

Еще крик, и гулкий выстрел прорезывает тишину. По старому опыту стрелка я мгновенно определяю, что стреляет военная винтовка не ближе, чем в 200 метрах. Ладно. Бог не выдаст — чекист не съест. Ходу!

Лес уже близко. Над головой знакомым звуком щелкнула по стволам пуля. Гул выстрела еще катился по лесу, когда я нырнул в сумрак деревьев.

Бегом я одолел еще полкилометра; окропил свои следы хлорпикрином и самым форсированным маршем пошел дальше.

На сердце было беспокойно. Разумеется, за мной будет послана погоня. Хуже всего то, что ночь застала меня в диком лесу, по которому в темноте идти было невозможно. А до утра сторожевые посты времени терять не будут.

Очевидно, приказание об облаве было передано во все деревни, лежавшие между местом нашей встречи и границей, ибо днем с вершины холма я заметил кучку рассыпавшихся в цепь людей, медленно идущих мне навстречу.

Спрятаться? Это сделать было бы нетрудно в таких густых лесах и обломках скал. Но собаки! Они ведь почуют меня везде.

Назад хода тоже не было. И с той стороны может быть погоня. Надо было изворачиваться. Недалеко влево текла речка с болотистыми берегами. Судя по медленному передвижению людей, у меня было еще полчаса времени. Если бы мне удалось переправиться через речку, я поставил бы между собой и преследователями такой барьер, который им наскоро удалось бы перешагнуть.

Я бросился к реке. К моей радости на берегу валялось бревно, очевидно, вывернутое и принесенное сюда половодьем. С громадным напряжением я стащил его в воду, на его ветви уложил все то, что боялось воды, продовольствие, часы и не раздеваясь, вошел в воду.

В сапоги хлынула вода. Все глубже. До пояса, до плеч; до шеи. Плыть пришлось немного, метров 20, но плыть, таща за собой бревно и

не теряя ни минуты! Подплыв к берегу, я снял вещи, оттолкнул дерево на середину реки и бегом пустился в лес. И была пора. Через минуту показались люди, шеренга крестьян под командой солдата. На мое счастье собаки в этой группе не было, и я с замиранием сердца следил, как последние люди облавы скрылись в лесу.

Еще одна опасность осталась позади. А сколько их впереди?

К вечеру налетели тучи и полил дождь. Опять струи воды залили мои следы, и я почувствовал себя во временной безопасности от погони.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГАЗ

Последние десятки километров. Все ближе.

Как раз перед границей пошли крупные хвойные леса. загроможденные буреломом. Стволы, сучья, пни, кустарник, молодая поросль — все это делало путь очень трудным. То ползком под упавшими деревьями, то обходя, то перелезая через баррикады наваленных стволов, я медленно двигался вперед, будучи в таком лесу в безопасности, но рискуя сломать ногу в любой момент.

Бедя пришла совсем неожиданно. Перебираясь через кучу поваленных бурей стволов, я почувствовал, что гнилое дерево поддается под ногой, и качнувшись в сторону, ударился боком о ствол сосенки. Внезапно из кармана раздался хруст раздавленного стекла.

Молнией мелькнула мысль — бутылка хлор-пикрина. Боже мой! Меня начинает обливаться та жидкость, быть около которой можно только в противогазе. Через несколько секунд ядовитый газ охватит меня своим зловещим объятием. Два-три вдоха, обморок, и через минуту-две — смерть. И это в диком лесу, когда я в плаще, связанном снаряжением.

Я отчаянным вдохом захватил в легкие запас воздуха, мгновенно отстегнул и отбросил назад спинную сумку отрывая пуговицы, сорвал с себя злополучный плащ и рванулся вперед с колотящимся сердцем и разрывающимися легкими.

Как я не сломал себе ног в своих безумных прыжках через бурелом — не могу понять. Помню только, как в полуобмороке я бросился на землю метрах в тридцати, задыхаясь и хватая воздух открытым ртом.

Эта быстрота бегства да еще плотность брезента плаща, не позволившая жидкости смочить платье, спасли меня.

Отдышавшись, я выбрал длинную жердь и осторожно стал подкрадываться к своим вещам, заходя со стороны ветра. Увидев плащ, я опять задержал воздух в легких, подбежал к нему, зацепил жердью,

забросил на ствол поваленного дерева и убежал. Через пять минут я таким же способом перевернул его так, чтобы хлор-пикрин вылился из кармана, потом выудил сумку и провел целую ночь без плаща, дрожа от сырого холода болотного леса.

Почти весь следующий день я не рискнул одеть плащ и тащил его за собой на веревке. Только к вечеру, проветрив его на ветру и солнышке, я смог одеть его. И вот теперь этот плащ, едва не ставший для меня саваном, со мной. И когда пережитое кажется сном, я разворачивая его с изнанки, осматриваю пятно от ядовитой жидкости и с понятной гордостью вглядываюсь в слова казенного штампа «Свирьлаг ОГПУ».

ГРАНИЦА

Не могу сказать, когда я перешел границу. Просек пришлось пересекать много. На каждой из них таились опасности, и мне не было времени вглядываться, имеются ли на них пограничные столбы, расставленные на километр друг от друга. Но все-таки стали замечаться признаки чего-то нового. Вот, через болото осушительные каналы. Их раньше не было. Но разве эти каналы не могли быть прокопаны на каком-нибудь «образцовом совхозе ОГПУ»?

Вот на тропинке отрывок газеты. Язык незнакомый. Финский? Но ведь, может быть, это советская газета, изданная в Петрозаводске, и на карельском языке. Вот, вдали небольшое стадо овец. Можно ли сказать с уверенностью, что это финское хозяйство только потому, что в Карелии я нигде не видал ни одной овцы?

Или вот, старая коробка от папирос с финской маркой. Но разве не мог пройти здесь советский пограничник, куря контрабандные папиросы? Словом, я не знал точно, где я нахожусь и решил идти вперед до тех пор, пока есть силы и продовольствие и пока я не получу бесспорных сведений, что я уже в Финляндии.

Помню, свою последнюю ночь в лесу я провел совсем без сна, настолько были напряжены нервы. Близился момент, которого я так страстно ждал столько лет!

СПАСЕН

К вечеру следующего дня, пересекая узел проселочных дорог, я наткнулся на финского пограничника. Момент, когда я ясно увидел его нерусскую военную форму, был для меня одним из счастливейших в моей жизни.

Я радостно бросился вперед, совсем забыв, что представляю отнюдь не внушающую доверия картину: рослый парень с измученном, обросшим бородой лицом в набухшем и измятом плаще, обвешанный сумками, с толстой палкой в руке. Не мудрено, что пограничник не понял изъявления моего дружелюбия и ошетинился своей винтовкой. Маленький и щуплый, он все пытался сперва словами, а потом движениями винтовки заставить меня поднять руки вверх. Славный парень! Он, вероятно и до сих пор не понимает, почему я и не подумал выполнить его распоряжение и весело смеялся, глядя на его суетливо угрожающую винтовку. Наконец, он стал стрелять вверх, и через полчаса я уже шел, окруженный солдатами и крестьянам в финскую деревню. Боже мой, как легко было на душе!

СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Я не верил в то, что Финляндия может меня выдать по требованию советской власти. Я ведь не бандит, не убийца и не вор. Я политический эмигрант, ищущий покровительства в стране, где есть свобода и право.

Но я ожидал недоверия, тюрем, допросов, этапов — всего того, к чему я так привык в СССР. И я верил, что все это неизбежные, но последние испытания в моей жизни.

В маленькой чистенькой деревушке меня отвели в баню, где я с громадным наслаждением разгрузился, вымылся и стал ждать очередных событий. Многого я ждал, но того, что со мной произошло, я никак не мог ожидать.

В раздевалку бани вошел какой-то благодушный финн, потрепал меня по плечу, весело улыбнулся и пригласил жестом за собой.

«В тюрьму переводят. Но почему без вещей?» — мелькнуло у меня в голове.

На веранде уютного домика начальника охраны уже стоял накрытый стол, и мои голодные глаза сразу же заметили, как много вкусного на этом столе. А последние дни я шел уже на половинном пайке, пайке беглеца. Я отвернулся и вздохнул.

К моему искреннему удивлению меня провели именно к этому столу и любезно пригласили сесть. Хозяйка дома, говорившая по-русски, принялась угощать меня невиданно вкусными вещами. За столом сидело несколько мужчин, дам и детей. Все улыбались мне, пожимали руку, говорили непонятные уму, но также понятные сердцу ласковые слова, и никто не намекнул ни интонацией, ни движением, что я арестант, неизвестный подозрительный беглец, может быть, преступник. Все это

хорошее человеческое отношение, все это внимание, тепло и ласка потрясли меня. Какой контраст с тем, к чему я привык там, в СССР, где *homo homini lupus est*.

А вот здесь я — человек вне закона, нарушивший неприкосновенность чужой границы, подозрительный незнакомец с опухшим, исцарапанным лицом, в рваном платье — я вот нахожусь не в тюрьме под охраной штыков, а в доме начальника охраны, среди его семьи. Я для них прежде всего — человек.

Потрясенный этими мыслями и растроганный атмосферой внимания и ласки, я почувствовал всем сердцем, что я действительно попал в иной мир, не только географически и политически отличающийся от советского, но и духовно диаметрально противоположный — мир человечности и покоя. Хорошо, что мои очки не дали хозяевам заметить влажность моих глаз. Как бы смог я объяснить им это чувство растроганного сердца, отогревающегося от своего ожесточения в этой атмосфере ласки?

За непринужденной веселой беседой, охотно отвечая на все вопросы любознательных хозяев, я скоро совсем перестал чувствовать себя загнанным зверем, беглецом и преступником и впервые за много-много лет почувствовал себя человеком, находящимся среди людей.

Какие чудесно радостные понятия — человечность и свобода, и как беспросветна и горька жизнь тех, чей путь перестал освещаться сиянием этих великих маяков человечества.

...К концу вечера после обеда, показавшегося мне необыкновенно вкусным, моя милая хозяйка с сердечной настойчивостью предлагала мне уже пятую чашку кофе. Заметив, что я немного стесняюсь, она, наклонившись ко мне, неожиданно тихо и ласково спросила.

— Пейте, голубчик. Ведь вы, вероятно, давно уже не пили кофе с булочками?

— Четырнадцать лет. — ответил я.

ЭПИЛОГ

Гельсингфорс. Политическая тюрьма.

Ко мне входит спокойный, вежливый надзиратель в пиджаке и с галстуком, без револьвера, сжатых челюстей и настороженного взгляда. Улыбаясь, он знаками показывает, что нужно взять сумку и выйти. Очевидно, куда-то переводят. Я оглядываю свою камеру, в которой я мирно провел две недели, Бог даст, последние тюремные недели в моей жизни, и выхожу. Мягкий автомобиль мчит меня по нарядным, чистым

улицам города. Да, это тебе не черный ворон и ОГПУ. Большое здание. Центральная политическая тюрьма.

В комнате ожидания меня просят присесть. Нигде нет решеток, оружия, часовых. Чудеса! Проходит несколько минут, и в дверях показывается низенькая, толстенная фигура начальника русского отдела политической полиции, а за ним... Боже мой! За ним — массив плеч брата, а еще дальше — смеющееся лицо Юры.

Обычно строгое и хмурое лицо нашего политического патрона сейчас мягко улыбается. Он сочувственно смотрит на наши объятия, и когда наступает секунда перерыва в наших вопросах и восклицаниях, спокойно говорит:

— О вас получены лучшие отзывы и правильность ваших показаний подтверждена. Господа, вы свободны.

НА НАСТОЯЩЕЙ ВОЛЕ

Мы идем втроем, тесно подхватив друг друга под руки, по широким улицам Гельсингфорса и с удивлением и любопытством засматриваемся на полные витрины магазинов, на белые булки хлеба, на чистые костюмы прохожих, на улыбающиеся губы хорошо одетых женщин, на спокойные лица мужчин. Все так ново и так чудесно!

Многие оборачиваются нам вслед и с улыбкой смотрят, не пьяна ли эта тройка здоровяков? Они, видимо, не из деревни, все в очках. Так что же так изумляет и поражает их?

Внезапно Юра просит:

— Ватик, а ну-ка дай-ка мне как следует кулаком в спину, а то кажется, я сплю в лагерном бараке к все это во сне вижу.

И идущие сзади солидные европейцы шокированы ударом кулака по спине, веселым смехом и радостным возгласом:

— Ну, слава Богу, больно. Значит, наяву!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Время событий, описанных в этой книге — четверть века тому назад. Но эти 25 лет ничего не изменили в самой сущности того, о чем она написана. Эта книга сегодня так же нова, как и 25 лет назад. Да и не было с тех пор ничего лучшего на эту тему.

Было много напечатано книг о России в коммунистическом концлагере. Большинство их только описывало, и лишь очень немногие объясняли. Но ни одна из них так и не объяснила.

«РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ» объясняет. Даже для тех, которые сами прошли между жерновами, все испытали, все видели, все знают — даже для них многое становится яснее, почему было, есть и будет именно так, а не как-либо иначе, пока наша Родина находится в руках коммунистических «скорпионов в банке».

Юрий Солоневич

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Иван Лукьянович Солоневич, автор «РОССИИ В КОНЦЛАГЕРЕ» и многих других прекрасных книг, прожил поистине трудную и богатую жизнь. Он родился 14 ноября 1891 года и с 16-ти лет стал самостоятельно работать, продолжая учиться. Он много пережил, много видел, много испытал. И надо было быть таким самобытным, честным, упрямым, надо было пройти все то, что он прошел, чтобы написать такую всеобъемлющую книгу, которая так правдиво и ярко показала всю нашу Россию, стонущую в страшном коммунистическом концлагере.

«Отец мой — крестьянин», — говорит о себе Иван Лукьянович. Поэтому можно сказать, что он вышел из народа. Но лучше сказать иначе. Иван Лукьянович никуда из народа не вышел, он так и остался в народе. Кем бы он ни был по своей профессии, как бы он высоко ни восходил по культурной лестнице интеллигента, по духу он так и остался навсегда крестьянином. Стоит только вспомнить, с какой любовью описывает он крестьян — мучеников тюрем, этапов, концлагерей, чтобы это понять.

Он писал душой и кровью. Ненависть его против коммунизма так же полна и совершенна, как и его любовь к России. Вот почему чекисты много раз арестовывали его, три раза приговаривали к смертной казни и трижды покушались на его жизнь за границей. Одно из этих покушений закончилось гибелью его супруги Тамары Владимировны и его секретаря.

Иван Лукьянович умер 24 апреля 1953 года.

Жизнь этого поистине великого человека является примером того, как надо ненавидеть врагов России и любить родную землю.

Книга Ивана Лукьяновича «РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ» — это безусловно самое лучшее, самое правдивое из всего того, что написано о жизни в современной России. Она должна стать настольной книгой каждого русского человека в эмиграции. Потому я и печатаю ее, чтобы каждый человек мог приобрести эту книгу.

«РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ» является страшной книгой не только для коммунистических палачей в самой России; она одинаково страшна и для местных марксистов, троцкистов, социалистов и прочей несущей погибель нечисти.

Русские люди!

Читайте эту книгу, чтобы понять все происходящее у нас на Родине. Читайте сами и давайте читать другим, чтобы все видели, что коммунизм не может «совершенствоваться».

Коммунизм все тот же, что и 40 лет назад. Те же концлагеря. Та же колхозная кабала. Те же чекистские убийцы. Только все это действительно «усовершенствовалось» и стало еще более страшным.

Читайте и боритесь!

П. Р. Ваулин